



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКА

МЕЖДУ ЛОЖЬЮ
И ФАНТАЗИЕЙ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ



ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКА

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ



ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКА

МЕЖДУ ЛОЖЬЮ И ФАНТАЗИЕЙ

Ответственный редактор
член-корреспондент РАН *Н. Д. Арутюнова*

 ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИНДРИК»

Москва 2008

УДК 81
ББК 81
Л 69

*Издание осуществлено при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(проект № 07-04-16134д)*



Редакционная коллегия:

кандидат филол. наук *М. Л. Ковшова*
кандидат филол. наук *Н. Ф. Спиридонова*
А. А. Стригина

**Логический анализ языка. Между ложью и фантазией / Отв. ред.
Н. Д. Арутюнова. — М.: Издательство «Индрик», 2008. — 672 с.**

ISBN 987-5-85759-461-2

Целью предлагаемых вниманию читателей статей и очерков является анализ способов, приемов и целей отклонения от истины в разных видах дискурса — в художественных текстах разного стиля и жанра — прозаических и поэтических, деловых и публицистических, разговорных и ораторских. Анализ начинается с общего обзора диахронической истории возникновения оппозиции истины и лжи и способов ее ослабления и устранения. От диахронического плана авторы постепенно переходят к анализу истины и лжи в обыденном сознании людей и в повседневной коммуникации. Не оставлен без внимания материал фольклора и народной культуры, а также их этическая значимость. Исследование выполнено на материале разных языков — европейских и азиатских. Объектом рассмотрения являются также игровые ходы и действия говорящего, вводящие в заблуждение его адресатов и обращающие текст в пародию или сатиру.

Другое направление исследований составляет анализ внутренних — ментальных и эмоциональных — состояний (видений), отвлекающих человека от действительного мира и погружающих его в сферу воображения и фантазии. Непосредственное восприятие действительности органами чувств, прежде всего зрением и слухом, соединяясь с внутренними впечатлениями, исходящими из духа и души человека, совместно образуют эстетическое восприятие мира. Итак, в конечном счете, вдохновение, воображение, фантазия, ложь, обман и иллюзия поднимают действительность на эстетическую высоту разных форм красоты.

© Текст. Коллектив авторов, 2008

ISBN 987-5-85759-461-2

© Оформление. Издательство «Индрик», 2008

ПАМЯТИ МАКСИМА ИЛЬИЧА ШАПИРА

(1962–2006)

3 августа 2006 года скорпостижно скончался Максим Ильич Шапир — выдающийся ученый, ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН, главный научный сотрудник Института мировой культуры МГУ. В свои неполные 44 года М. И. успел сделать очень многое. Ему принадлежит около 200 публикаций по самому широкому спектру гуманитарных дисциплин — в круг его непосредственных интересов входили история и теория русского стиха, теория поэтического языка, лингвистическая поэтика, текстология, история литературы, семиотика, логика и методология науки, точные методы в гуманитарных науках, история филологических наук. Во всех этих областях ему удалось открыть новые научные направления.

Шапир счастливо совмещал в себе теоретика и эмпирика, новатора и традиционалиста, лингвиста и литературоведа. Он был филологом в самом точном смысле слова: его интересовала прежде всего филология как наука о тексте и его смысле, в отличие от лингвистики (науки о языке), семиотики (науки о знаках и их значениях), истории литературы (науки о генезисе поэтических форм) и исторической поэтики (науки об эволюции поэтических форм). Такое понимание филологии в русской традиции восходит к Г. О. Винокуру. В 80-е годы ушедшего столетия одним из немногих последователей Винокура был Шапир, который в своем подходе к явлениям языка и культуры сумел синтезировать достижения ОПОЯЗа (прежде всего Ю. Н. Тынянова), с одной стороны, и Московского лингвистического кружка, с другой. Более того, Шапир как методолог и практик плодотворно использовал конкурирующие, некогда антагонистические тенденции внутри самого Московского лингвистического кружка — шпетовскую феноменологию М. М. Кёнигсберга, фундаментальный филологизм Г. О. Винокура, структурализм Р. О. Якобсона и теоретико-вероятностный подход Б. И. Ярхо.

За всеми сюжетами исследований Шапира просматривается высшая цель: понимание и истолкование дошедшего до нас текста. Конкретные интерпретации, сколь бы неожиданными и неортодоксальными (по мнению иных — скандальными) они ни были, никогда не грешили волюнтаризмом. Вслед за Г. Г. Шпетом и Б. И. Ярхо Шапир считал науку не столько особым способом познания, сколько особым способом изложения познанного — специфичным языком духовной культуры [Шапир 1990]. Главная черта научного дискурса — общеобязательность выводов. В статье «О деонтологии науки» Шапир писал: «...основным

содержанием собственно научной этики является этика языка, то есть строгое соблюдение норм научного языкового поведения. В общем виде эти нормы, или требования к языку науки, столь же просто сформулировать, сколь непросто исполнить. Научные высказывания должны отличаться четкостью, ясностью, логической непротиворечивостью и поддаваться проверке, то есть быть в принципе доказуемыми либо опровержимыми: претендовать на научность может только такое знание, которое способно оказаться как истинным, так и ложным...» [Шапир 2001а: 259]. Поэтому М. И. не просто пытался убедить читателей или слушателей в открывшейся ему самому истине, а последовательно и методично доказывал ее. В русской филологии он был одним из тех, кто признавал верифицируемость эмпирических данных и фальсифицируемость теории обязательными для гуманитарных наук. В этом отношении он был верным последователем Карла Поппера, чья «Логика научного открытия» должна, по справедливому мнению Шапира, стать настольной книгой для всякого гуманитария.

Будучи поппенианцем, Шапир, как никто другой, понимал, что научное высказывание — это высказывание принципиально опровергаемое. Он жаждал, чтобы его научные построения обсуждались и (если доказана их непригодность!) отвергались. Но он хотел честных и открытых дискуссий, а такая возможность предоставлялась ему не часто. Свой удивительный талант полемиста ему нередко приходилось растрачивать на ответы недобросовестным оппонентам. Не беремся сказать, имеют ли такие выступления методологическое значение, но высокий этический смысл они имели бесспорно [см., например, Шапир 1999а; 2003а]. А одно из публичных полемических выступлений М. И. Шапира может послужить прекрасным введением в его научное наследие [Шапир 2005а].

Гёте где-то говорит, что нам претит истина и приятно заблуждение, потому что истина рисует нас самим себе ограниченными, а заблуждение — всеильными. Как всякого настоящего ученого, Шапира отличало мужество, с которым он глядел на возможности и границы гуманитарного знания. Этому вопросу посвящена одна из его последних статей [Шапир 2005б]. Вспомним также одну из самых ярких работ Шапира — многоаспектное исследование стиха, языка, стилистики и поэтики декабриста Батенькова [Шапир 1997/1998; 2000: 335–458]. В результате тончайшего филологического и статистического анализа, использующего целый комплекс традиционных и оригинальных исследовательских приемов, Шапир вплотную подошел к выводу о том, что значительную часть корпуса батеньковских текстов нельзя считать аутентичными — это, может быть, «самая искусная русская литературная мистификация». Однако этого вывода ученый не сделал! Хотя тезис о контрафакции звучал

более чем убедительно, альтернативная гипотеза не была безоговорочно признана ложной. Шапир обнаружил, что на всякий аргумент в пользу подделки отыщется контраргумент: всякие расхождения между подлинным (как правило, более ранним) и сомнительным (как правило, более поздним) Батеньковым «можно объяснить метаморфозами, которые личность Батенькова претерпела в тюрьме и ссылке». Были поэты, которые за те же годы проделали не меньшую эволюцию (например, Тютчев). А это значит, что «в области атетезы и атрибуции филологическая критика текста, по большому счету, бессильна». По крайней мере, пока.

На весьма нетривиальном материале Шапир поставил и решил интереснейшую методологическую задачу: построение сквозного («сверху донизу») контрастивного описания двух групп текстов, сопоставленных по всем стиховым и языковым параметрам. Кроме того, в работе сделано немало сопутствующих наблюдений и выводов, касающихся, в частности, проблемы авторства. Если Ролан Барт заявил о смерти автора в рамках импрессионистического эссе, то Шапир сказал о том, что автор по-прежнему остается научной фикцией, после внимательного обследования таких эмпирических особенностей текста, из которых, казалось бы, можно вывести авторскую индивидуальность. При этом Шапир вовсе не был убежден в том, что смысл произведения ограничен рамками самого текста: мы иначе воспринимаем текст, зная, кто его автор: мужчина или женщина, Пушкин или Хармс, известная историческая личность или аноним.

Многие наши современники видят в Шапире прежде всего стиховеда. Думается, это верно в том смысле, что он был стиховедом *par excellence*. Среди его наиболее существенных достижений — оригинальное, стройное (хотя и, увы, недостроенное) здание общей теории стиха, позволившей ему дать непротиворечивые определения базовых стиховедческих понятий, начиная с самого основного — стиха как такового в его отличии от прозы. На материале всевозможных систем стихосложения — от силлабики до верлибра, от Симеона Полоцкого до поэзии соц-арта — Шапир показал, что любой стих представляет собой систему сквозных принудительных членений, структурирующих в тексте дополнительное (четвертое — по отношению к речевой, языковой и семиотической координатам) измерение, единицы которого связаны между собой парадигматически, то есть как реализации единого инварианта, подобно этическим и эмическим единицам языка. Тем самым был получен ответ на вопрос, чем метр, ритм или рифма в стихе отличаются от одноименных явлений в прозе [см. Шапир 1995; 1998; 2000: 36–128; 2001б; и мн. др.].

Помимо новаторского решения проблемы соотношения стиха и прозы, Шапир успел предложить новые, и притом чрезвычайно убе-

дительные, решения двух других фундаментальных теоретико-стиховедческих вопросов — о соотношении стиха и языка и о соотношении стиха и смысла. Революционные открытия Шапира изложены в его блистательном двухтомнике «Universum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII–XX веков» [Шапир 2000; 2008].

В работе о стихе раннего Ломоносова, детально освещающей происхождение и развитие русского 4-стопного ямба, ученый открыл, что своим ритмическим обликом русский классический стих «пушкинского образца» в большой мере обязан такому постороннему для поэтики событию, как восшествие на престол императрицы Елизаветы Петровны: необходимость ввести в торжественную оду имя монаршей особы, каждое упоминание которой влекло за собой один-два пиррихия, заставило Ломоносова радикально пересмотреть теорию и практику стихосложения. Не случись этого, писал Шапир, русский стих мог бы пойти по другому пути [Шапир 1996; 2000: 131–160].

Стиховедческие штудии М. И. Шапира никогда не были чисто формальными: в них все аспекты стихотворной формы (метрика, ритмика, рифма, строфика) затрагивались в их взаимодействии и в связи со всеми уровнями поэтического языка (фонетика, морфология и синтаксис, лексика и фразеология). Например, ученый показал, что хотя «елизаветинская» реформа русского стиха, осуществленная Ломоносовым, была вызвана к жизни одной темой и чуть ли не одним словом, эта реформа существенно расширила словарь ломоносовской оды, сказала на репертуаре и частотности морфологических форм стихотворного языка и кардинально перестроила весь поэтический синтаксис: появление длинных слов привело к удлинению предложения и усилению межстрочных грамматических связей; в результате сформировался классический строфико-синтаксический период [Шапир 1999б; 2000: 161–186]. Историю его становления и разрушения (от Ломоносова и Сумарокова до Бродского и Кибирова) Шапир проследил в специальной работе, из которой видно, как по мере усиления межстрочных синтаксических связей последовательно выкристаллизовались три способа построения стихотворной речи: «синтаксический», «антисинтаксический» и, наконец, «парасинтаксический» (с необходимыми оговорками эти три системы Шапир интерпретирует как «классическую», «романтическую» и «модернистскую») [Шапир 2003б].

Впервые поставив вопрос об исторической грамматике русского стиха, Шапир проложил от него путь к проблемам исторической стилистики. В фундаментальной статье «Барков и Державин» исследователь сформулировал тезис о принципиальной роли бурлескной поэтики в национальной традиции [Шапир 2002а]. На этой основе М. И. Шапир совместно с И. А. Пильщиковым начал разрабатывать новую глобаль-

ную модель эволюции русских поэтических стилей, построенную на противопоставлении двух типов стилистической организации: гомогенного (ровного, построенного на соположении элементов, равных по своему регистру) и гетерогенного (построенного на неравенстве, «разнообразии», на стилистических контрастах) [Пильщиков, Шапир 2006]. Первый гомогенный стиль создает Ломоносов (апология высокого стиля), альтернативный гомогенный стиль — Сумароков (апология среднего стиля). Первый гетерогенный стиль — это обценный бурлеск Баркова, следующий шаг — «официальный» бурлеск Державина (синтез Ломоносова и Баркова). Стилистика Карамзина и карамзинистов продолжает линию Сумарокова, однако бурлескная полемика Батюшкова и Пушкина с архаистами представляет новый виток рецепции барковщины. Пушкин развивает ряд малых жанров в рамках карамзинской традиции, но в стилистической эволюции пушкинских *grands genres*, напротив, выстраивается бурлескная магистраль: от ирои-комической поэмы «Монах» через бурлескно-порнографическую «Тень Баркова» [Пильщиков, Шапир 2005] к роман(т)ической поэме «Руслан и Людмила» и далее — к «Евгению Онегину» с его пародией на классическую эпопею [Шапир 1999в; 2000: 241–251] и автопародийному «Домику в Коломне». В одной из своих последних работ, опубликованной в основанном им в 1994 году журнале «Philologica», М. И. изучает генезис «Домика в Коломне» как памятника бурлескной литературы, разбирая его связь с сатирическими поэмами Байрона и раскрывая десятки не опознанных ранее цитат. Вторая часть статьи посвящена продолжению этой традиции вплоть до конца XX века [Шапир 2006].

Основной пафос большинства, если не всех, работ Шапира — взаимосвязь разных уровней поэтического языка и художественного текста, изоморфизм и гомология формы и содержания. В своем исследовании «Горя от ума» Шапир изучал, как связаны между собой различные уровни художественного текста: жанр, сюжет, персонаж, стиль, стих, язык и т. д. Ученому удалось, опираясь на точные цифры, продемонстрировать, какими средствами создается трагикомический характер «Горя от ума»: оказалось, что по многим параметрам (таким, как средняя длина реплики, живость диалога и т. д.) это произведение находится на полпути между комедией и трагедией [Шапир 1992; 2000: 252–276]. В работе о поэме Катенина «Инвалид Горев» дана не только метрическая, ритмическая и семантическая эволюция русского гексаметра и всех его дериватов за сто лет (1730–1830-е годы), но показано, что своеобразие темы, сюжета, жанра, персонажей, стиха и стиля замечательной поэмы Катенина определяются зависимостью и отталкиванием от Гомеровой «Одиссеи» [Шапир 1994а; 2000: 277–334]. В этой безукоризненной содержательной ин-

терпретации формальных особенностей анализируемого текста и заключается «филологизм» Шапира.

Представление о потенциальной значимости формы Шапир распространил на все уровни и аспекты поэтического языка, включая орфографию и пунктуацию. Ученый доказал, что практически любая модернизация и унификация поэтического памятника неизбежно ведут к искажению его языка, поэтики, семантики и прагматики [Шапир 1999г; 2000: 224–240; 2001в]. В основу оригинальной текстологической концепции Шапира положен отказ от представлений об «идеальном» тексте: любая презентация памятника в научном издании должна отражать реальный этап в истории произведения, а не быть произвольным совмещением хронологически (а иногда стилистически и содержательно) несовместимых фрагментов, отражающих разные стадии работы автора. Не только при атрибуции и датировке, но и при выборе наиболее предпочтительных текстологических вариантов традиционные приемы текстологического анализа Шапир дополняет лингвистическим, поэтологическим и структурно-семиотическим изучением текста, иногда с опорой на математическую статистику. Все эти приемы применены в издании баллады Пушкина «Тень Баркова» (М.: Языки русской культуры, 2002; совместно с И. А. Пильщиковым), реконструирующем текст и окружающем его целой серией разносторонних (текстологических, лингвистических и стиховедческих) комментариев. Новые текстологические принципы позволили Шапиру исправить десятки искажений в тексте «Евгения Онегина», которые были канонизированы большим академическим изданием сочинений Пушкина, и указать наиболее типичные случаи привнесенной стилистической какофонии и содержательных противоречий, возникших вследствие неоправданной контаминации разных редакций и вариантов [Шапир 2002б].

Филологизм Шапира-текстолога сказался в комментированных изданиях классики нашей науки. Его героями становились выдающиеся ученые XX века, и Шапиру довелось заново открыть их наследие и объяснить значение их деятельности. Его особенно привлекал Московский лингвистический кружок, с которым связаны имена филологов, обретших вторую жизнь благодаря подвижническим трудам М. И.: это Г. О. Винокур [1990] (историко-научный аппарат, включающий вступительную статью, комментарии, библиографии и указатели, — 22 авт. л.), М. М. Кенигсберг [Шапир 1994б; Кенигсберг 1994] и, наконец, Б. И. Ярхо, чьим «эпигоном» всегда скромно именовал себя М. Л. Гаспаров. 960-страничный том «Избранных трудов» Ярхо, содержащий, в частности, первую полную публикацию знаменитой «Методологии точного литературоведения», вышел совсем недавно [Ярхо 2006]. Шапир задумал это издание еще в начале 1990-х гг., а со-

вместная с коллегами работа над томом растянулась почти на 10 лет. М. И. успел отдать справедливую дань большому филологу, спасти от забвения его труды, напомнить о подвиге ученого, растоптанного варварским режимом.

Интересы Шапира затрагивали и поэзию XX века. Его последним публичным выступлением стал доклад о символической зауми Федора Сологуба, прочитанный в Институте языкознания РАН в конце июня 2006 г. (см. наст. изд., с. 14–22). Еще раньше Шапир оставил яркий след в изучении поэтики других классиков серебряного века: в 1990-е гг. он проанализировал два ранних стихотворения Хлебникова [Шапир 1992/2000а; 1992/2000б], а несколько лет назад написал сжатый очерк поэтического языка Мандельштама [Шапир 2003а] (в дальнейшем М. И. планировал провести контрастивный анализ поэтики Мандельштама и Пастернака). В этой связи нельзя не упомянуть и одну из главных работ Шапира последних лет — исследование, в котором доказано, что небрежность «является неотъемлемой чертой индивидуального стиля Пастернака» [Шапир 2004: 45].

Шапир был открыт для нового, его привлекала современная поэзия: героями его работ становились Бродский, Пригов, Кибиров, Рубинштейн (к сожалению, работу о рубинштейновских стихах на карточках, которые интерпретируются как особая система стихосложения, М. И. завершить не успел). У М. И. осталась масса несобранных или неопубликованных работ. Теперь его творческому наследию предстоит новая, долгая жизнь. Его соавторы, ученики, последователи занимаются подготовкой будущих изданий.

М. В. Акимова, И. А. Пильщиков

ЛИТЕРАТУРА

- Винокур 1990 — Винокур Г. О. Филологические исследования: Лингвистика и поэтика / Сост. Т. Г. Винокур, М. И. Шапир. Вступ. ст. и коммент. М. И. Шапира. М., 1990.
- Кенигсберг 1994 — Кенигсберг М. М. Из стихологических этюдов. 1. Анализ понятия «стих» / Подгот. текста и публ. С. Ю. Мазура и М. И. Шапира; Вступ. заметка и примеч. М. И. Шапира // *Philologica*. 1994. Т. 1. № 1/2. С. 149–185.
- Пильщиков, Шапир 2005 — Пильщиков И. А., Шапир М. И. Текстология vs аксиология: Еще раз об авторстве баллады Пушкина «Тень Баркова» // *Антропология культуры*. М., 2005. Вып. 3: К 75-летию Вяч. Вс. Иванова. С. 219–248.
- Пильщиков, Шапир 2006 — Пильщиков И., Шапир М. Эволюция стилей в русской поэзии от Ломоносова до Пушкина (Набросок концепции) // *Стих. Язык. Поэзия: Памяти Михаила Леоновича Гаспарова*. М., 2006. С. 510–546.

- Шапир 1990 — *Шапир М. И.* Язык быта / языки духовной культуры // *Russian Linguistics*. 1990. Vol. 14, № 2. P. 129–146.
- Шапир 1992 — *Шапир М. И.* «Горе от ума»: семантика поэтической формы (Опыт практической философии стиха) // *Вопросы языкознания*. 1992. № 5. С. 90–105.
- Шапир 1992/2000а — *Шапир М. И.* О «звукосимволизме» у раннего Хлебникова («Бобзоби пелись губы...: фоническая структура») // *Мир Велимира Хлебникова: Статьи; Исследования 1911–1998* / Сост. Вяч. Вс. Иванов, З. С. Паперный, А. Е. Парнис. М., 2000. С. 348–354, 812–814.
- Шапир 1992/2000б — *Шапир М. И.* Об одном анаграмматическом стихотворении Хлебникова: К реконструкции «московского мифа» // *Поэзия и живопись: Сборник трудов памяти Н. И. Харджиева* / Сост. и общ. ред. М. Б. Мейлаха и Д. В. Сарабьянова. М., 2000. С. 460–466.
- Шапир 1994а — *Шапир М. И.* Гексаметр и пентаметр в поэзии Катенина (О формально-семантической деривации стихотворных размеров) // *Philologica*. 1994. Т. 1, № 1/2. С. 43–107.
- Шапир 1994б — *Шапир М. И.* М. М. Кенигсберг и его феноменология стиха // *Russian Linguistics*. 1994. Vol. 18, № 1. P. 73–113.
- Шапир 1995 — *Шапир М. И.* «Versus» vs «prosa»: пространство-время поэтического текста // *Philologica*. 1995. Т. 2, № 3/4. С. 7–47.
- Шапир 1996 — *Шапир М. И.* У истоков русского четырехстопного ямба: генезис и эволюция ритма (К социолингвистической характеристике стиха раннего Ломоносова) // *Philologica*. 1996. Т. 3, № 5/7. С. 69–101.
- Шапир 1997/1998 — *Шапир М. И.* Феномен Батенькова и проблема мистификации (Лингвостиховедческий аспект. 1–5) // *Philologica*. 1997. Т. 4, № 8/10. С. 85–139; Т. 5, № 11/13. С. 49–125.
- Шапир 1998 — *Шапир М. И.* Теория русского стиха: Итоги и перспективы изучения // *Литературоведение на пороге XXI века: Материалы международной научной конференции (МГУ, май 1997)*. М., 1998. С. 235–241.
- Шапир 1999а — *Шапир М. И.* Продолжение следует // *Вопросы литературы*. 1999. № 1. С. 335–338.
- Шапир 1999б — *Шапир М. И.* Ритм и синтаксис ломоносовской оды (К вопросу об исторической грамматике русского стиха) // *Поэтика. История литературы. Лингвистика: Сборник к 70-летию Вяч. Вс. Иванова*. М., 1999. С. 55–79.
- Шапир 1999в — *Шапир М. И.* «...Хоть поздно, а вступление есть» («Евгений Онегин» и поэтика бурлеска) // *Изв. РАН. Сер. лит. и яз.* 1999. Т. 58, № 3. С. 31–35.
- Шапир 1999г — *Шапир М. И.* К текстологии «Евгения Онегина» (орфография, поэтика и семантика) // *Вопросы языкознания*. 1999. № 5. С. 101–112.
- Шапир 2000 — *Шапир М. И.* *Universum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII—XX веков*. М., 2000. Кн. 1. (*Philologica russica et speculativa*; Т. I).

- Шапир 2001a — *Шапир М. И.* Язык этики или этика языка? О деонтологии науки // Язык и культура: Факты и ценности: К 70-летию Юрия Сергеевича Степанова / Отв. ред. Е. С. Кубрякова, Т. Е. Янко. М., 2001. С. 257–266.
- Шапир 2001б — *Шапир М. И.* На подступах к общей теории стиха (основные методы и понятия) // Славянский стих: Лингвистическая и прикладная поэтика: Материалы международной конференции 23–27 июня 1998 г. М., 2001. С. 13–26.
- Шапир 2001в — *Шапир М. И.* Об орфографическом режиме в академических изданиях Пушкина // Московский пушкинист: Ежегодный сборник. М., 2001. [Вып.] IX. С. 45–58.
- Шапир 2002а — *Шапир М. И.* Барков и Державин: Из истории русского бурлеска // *Пушкин А. С.* Тень Баркова: Тексты. Комментарии. Экскурсы / Изд. подгот. И. А. Пильщиков и М. И. Шапир. М., 2002. С. 397–457. (*Philologica russica et speculativa*; Т. II).
- Шапир 2002б — *Шапир М. И.* «Евгений Онегин»: проблема аутентичного текста // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 2002. Т. 61, № 3. С. 3–17.
- Шапир 2003а — *Шапир М.* Отповедь на заданную тему (К спорам по поводу текстологии «Евгения Онегина» // Новый мир. 2002. № 4. С. 144–156.
- Шапир 2003б — *Шапир М. И.* Три реформы русского стихотворного синтаксиса (Ломоносов — Пушкин — Иосиф Бродский) // Вопросы языкознания. 2003. № 3. С. 31–78.
- Шапир 2003в — *Шапир М. И.* Время и пространство в поэтическом языке раннего Мандельштама // Евразийское пространство: Звук, слово, образ / Отв. ред. Вяч. Вс. Иванов. М., 2003. С. 371–382.
- Шапир 2004 — *Шапир М. И.* Эстетика небрежности в поэзии Пастернака (Идеология одного идиолекта) // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 2004. Т. 63, № 4. С. 31–35.
- Шапир 2005а — *Шапир М.* Вопиющие в пустыне // Знамя. 2005. № 1. С. 198–201.
- Шапир 2005б — *Шапир М. И.* «Тебе числа и меры нет»: О возможностях и границах «точных методов» в гуманитарных науках // Вопросы языкознания. 2005. № 1. С. 43–62.
- Шапир 2006 — *Шапир М. И.* Семантические лейтмотивы иронии-комической октавы (Байрон — Пушкин — Тимур Кибиров) // *Philologica*. 2003/2005. М., 2006. Т. 8. № 19/20. С. 91–168.
- Шапир 2007 — *Шапир М. И.* Universum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII–XX веков. М., 2000. Кн. 2. (*Philologica russica et speculativa*. Т. VII).
- Ярхо 2006 — *Ярхо Б. И.* Методология точного литературоведения: Избр. тр. по теории лит. / Изд. подгот. М. В. Акимова, И. А. Пильщиков и М. И. Шапир; Под общей ред. М. И. Шапира. М., 2006. (*Philologica russica et speculativa*. Т. V).

М. И. ШАПИР

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЗАУМЬ ФЕДОРА СОЛОГУБА: МЕЖДУ ЛОЖЬЮ И ФАНТАЗИЕЙ

Мы слышали крик. Беготню! Визготню! Суетню!
Темные рассуждения о фантазии.

Козьма Прутков

Всё нижеследующее я прошу воспринимать как семиотический и лингвопоэтический комментарий к одному стихотворению Сологуба, написанному в январе 1908 г.:

Подъ сѣнью тилій и темаль,
Склонясь на бѣлые киферы,
Я улыбаясь задремаль
Въ объятяхъ милой Мейтанеры,

И, затаивши два огня
Въ очахъ за синія зарницы,
Она смотрѣла на меня
Сквозь дымно-длинные рѣсницы.

Въ передзакатной тишинѣ
Смиряя пляской ярость Змѣя,
Она показывала мнѣ,
Какъ пляшетъ зыбкая алмея.

И вся бѣла въ тѣни темаль,
Бѣлѣй, чѣмъ нѣжный цвѣтъ кифера,
Отбросивъ скуку покрываль,
Плясала долго Мейтанера.

И утомилась, и легла,
Орошена росой усталой,
Склоняя жемчуги чела
Къ благоуханью азры алой.

[Сологуб 1911: 212–213]

Прежде всего здесь бросаются в глаза незнакомые, странные существительные. Таковых шесть, но три из них употреблены по два раза — итого девять словоформ на 20 строк: достаточно, чтобы окрасить лексику этого текста в целом. При этом семь из девяти слово-

форм стоит в самой сильной позиции стиха — в рифме, что делает их еще более заметными¹.

О том, какой обычно видится читателю лексическая окраска разбираемого стихотворения, можно судить по комментарию к большой серии Библиотеки поэта: *«Тилии, темалы, киферы, алмея, азра — названия, по-видимому введенные Сологубом для придания стих(отворению) экзотического колорита»* [Сологуб 1975: 618, примеч. 454]. Но читатель более искушенный не может не чувствовать, что *тилии* и *темалы* отличаются от экзотических новообразований вроде *звѣзды Мауръ* и *рѣки Лигой*, которые Сологуб воспевал десятилетием раньше. Прочитав статью М. Л. Гаспарова «Поэтика „серебряного века“»: «Слова, используемые для символов — для неопределенного размытия их значений, — поначалу предпочитались высокие, редкие, красивые, такие, как „восторг“ или „бездна“, „смарагд“ или „лал“, „фиал“ или „тирс“». Но «когда в 1908 г. Ф. Сологуб пишет: „Под сенью тилий и темал, / Склонясь на белые киферы, / Я, улыбаясь, задремал / В объятьях милой Мейтанеры“ — это уже несомненная ирония» [Гаспаров 1993: 20]. В чем, однако, эта ирония состоит, на что направлена и так ли уж очевидна — вот вопросы, которые пока остаются без ответа.

Я думаю, ирония в том, что поэт намеренно и с успехом вводит читателя в заблуждение: все диковинные слова, за вычетом разве что имени собственного *Мейтанера*, выглядят стилистически однородными — например, в Библиотеке поэта они толкуются как плоды окказионального словотворчества, «загримированные» Сологубом под экзотизмы. Между тем они почти поровну делятся на две группы, слова в которых имеют принципиальное семиотическое отличие: некоторые действительно изобретены *ad hoc*, другие существовали раньше.

В свою очередь непридуманные слова тоже неоднородны. *Тилия* — это транслитерированный латинизм (ср. лат. *tilia* ‘липа’). Стихотворение Сологуба, видимо, фиксирует первую попытку его русификации, цель которой, понятная сама по себе, становится совершенно прозрач-

¹ Несколько выбивается из тона вторая строфа — единственная полностью свободная от слов, значение которых «темно иль ничтожно». Она хранит на себе явные следы зависимости от Тютчева: *...И сквозь опущенных ресниц // Угрюмый, тусклый огонь желанья* («Люблю глаза твои, мой друг...», <1836>); *Словно тяжкие ресницы // Подымались над землею, // И сквозь беглые зарницы // Чьи-то грозные зеницы // Загорались порою...* («Не остывшая от зною...», 1851). Композит *дымно-длинные* тоже мог быть навеян Тютчевым: *...Дымно-легко, мгlisto-лилейно // Вдруг что-то порхнуло в окно <...> Раскрыло шелк ресниц твоих!* («Вчера, в мечтах обвороченных...», 1836).

ной в сравнении с пушкинскими стихами: *Но и в дали, в краю чужом // Я буду мыслию всегдашней // Бродить Тригорского кругом <...> В саду под сенью лип домашней* («П. А. О***», 1825). Вместо «домашних лип» Сологубу понадобились чужие *тили*.

В отличие от них, *алмея* на русской почве имела свою историю уже ко времени появления сологубовских стихов. В 1901 г. это слово, называющее восточную танцовщицу-стриптизершу, использовал И. Анненский в переводе из Верлена, по обыкновению весьма вольном: *...Соблазны гибкие с улыбками алмей // Им пены розовой бокалы разносили* («Преступление любви», опубл. 1904). Во французском оригинале никаких алмей нет; там сказано только: *...Les Appétits, pages prompts que l'on harcèle, // Promenaient des vins roses dans des cristaux* [«...Желания, эти прыткие пажи, коим нет покоя, // Разносят розовые вина в бокалах»] («Crimen amoris», 1873). А в последнем стихотворении Анненского, написанном за месяц до смерти (возможно, не без влияния Сологуба), лирический герой засыпает, мечтая об объятиях алмеи:

Мои вы, о дальние руки,
Ваш сладостно-сильный зажим
Я выносил в холоде скуки,
Я счастьем обвеял чужим.

Но знаю... дремотно хмелея,
Я брошу волшебную нить,
И мне будут сниться, алмея,
Слова, чтоб тебя оскорбить.

«Дальние руки», 1909²

Но Анненский тоже не был первым, кто стихами сказал об алмеях по-русски. На полстолетия раньше это слово в несколько ином написании появилось у К. Павловой — в стихотворении о человеке, который «везде и всегда» думал о «милой подруге»:

...И там, где снится о гуаре
Разбойнику в чалме,
И там, где пляшет в Сингапуре
Индийская альмэ...

«Везде и всегда», 1846

² После Анненского и Сологуба это слово получило в русской поэзии более широкие права: оно дважды встречается у Б. Лившица («Мне ль не знать, что слово бродит...», 1922; «Вот оно — ниспровержение в камень...», 1922), а затем у ряда позднейших поэтов.

Судя по фонетике и графике, слово, арабское по своему происхождению, русские поэты позаимствовали у французов (*almé, almée*), а не у англичан (*alma, almah*, также *alme, almeh*). У тех и у других оно обозначает египетскую певицу и танцовщицу и произведено из субстантивированного причастия женского рода *عَالِمَة* (араб. *‘ālīmā^h*; перс. *ālīma*) ‘певица’ от глагола *عَلِمَ* (араб. *‘alima*) ‘знать; быть знающим, сведущим’ (ср. [Михельсон 1865: 35; Dauzat, Dubois, Mitterand 1964: 25; OED: 351]), тогда как индийская *альма* в европейских языках называется словом *баядера* (фр. *bayadère*, нем. *Bajadere* < португ. *bailadeira*), которое вряд ли случайно рифмуется с именем *Мейтанера*. По данным историко-этимологического словаря А. Доза, арабизм *almé(e)* во французский язык ввел в 1785 г. Клод-Этьенн Савари — путешественник, знаток восточных языков, знаменитый переводчик Корана (см. [Dauzat, Dubois, Mitterand 1964: 25]). Но хотя это слово встречается у многих французских писателей, скажем у Бальзака (1836), Барбе д’Оревильи (1874), Золя (1880), можно предположить, что русским символистам образ алмеи был подсказан Артюром Рембо, чье стихотворение «Est-elle almée?...» («Алмея ли она?...») Сологуб перевел на русский язык в марте всё того же 1908 года ³.

Вернемся к предмету нашего анализа. Между словами, несходными по своему происхождению, Сологуб обдуманно стирает ощутимые различия, прибегая для этого к самым разным средствам: фонетическим, синтаксическим, композиционным. Варваризмы, отобранные поэтом, были вовсе или почти неупотребительны, что делало их значение смутным, а языковое существование — призрачным. Напротив, неологизмам, по крайней мере некоторым, Сологуб старался придать более или менее привычный звуковой облик, что должно было создавать иллюзию реального существования слов и якобы стоящих за ними предметов. Так, *киферы* приводят на память сразу два грецизма: *кивара* (греч. *κῑβάρα*) и *Кивера* (греч. *Κυθήρη*); кроме того, форма единственного числа *киферь* ассоциируется с нем. *Kiefer* ‘сосна’. Слово *азра* кажется знакомым благодаря омонимичному арабскому имени *عُذْرَا* (*‘Uzrā*) или *عُذْرَة* (*‘Uzra^h*), которое прославил Стендаль в трактате «О любви» («De l’amour», 1822, гл. LIII), а за ним — Гейне в стихотворении «Азра» («Der Asra», 1846); что касается словосочетания *азры алой*, то оно могло быть дополнительно мотивировано именем ангела смерти у мусульман — *Азраиль* (عزرائيل),

³ *Песнь Корсака* (*la chanson du Corsaire*), упомянутая в этом коротком стихотворении Рембо, понуждает вспомнить о поэме Байрона (1813), в одном из эпизодов которой *алмеи пляшут под дикий аккомпанемент* = *dance the Almas to wild minstrelsy* (Corsair II, ii: 8).

‘Izrā’īl) ⁴. Даже *Мейтанера* — и та получила свое прозвание неспроста: оно образовано с помощью метатезы из имени *Метанейра*, или в другой транскрипции *Метанира* (из греч. Μετάνειρα, Gen. Μετάνειρας). Так звали жену элевсинского царя Келея (их сына нянчила Деметра), а еще, что в нашем случае намного важнее, афинскую гетеру, любовницу софиста Лисия, о которой говорится в речи «Против Нерэры», долгое время приписывавшейся Демосфену (см. [Pseudo-Demosthenes Orat. 59, 19, 21–23]).

Другой способ уравнивания варваризмов и окказионализмов применен в первой строке, где сочинительный союз соединяет слово реальное с мифическим: *Подъ сѣнью тилій и темаль...* Наконец, опровергая знаменитое правило А. А. Потебни, согласно которому «образъ есть нѣчто гораздо болѣе простое и ясное, чѣмъ объясняемое» [1905: 314; ср. Шкловский 1919: 5], у Сологуба слова с загадочной семантикой дважды занимают позицию второго члена сравнения. Один раз в данной роли выступает окказионализм: *...Бѣлѣй, чѣмъ нѣжный цвѣтъ кифера...* Конечно, ни сам *киферъ*, ни степень его близости (надо думать, очень высокая) нам в ощущении не даны ⁵. С этим сравнительным оборотом в композиции стихотворения соотносится конструкция с варваризмом, которая по форме представляет собой придаточное дополнительное, но по сути, тоже включает в себе сравнение:

...Смиря пляской ярость Змѣя,
Она показывала мнѣ,
Какъ пляшетъ зыбкая алмея.

Показывать, какъ пляшетъ алмея, — значит ‘плясать так, как алмея’ Но как она пляшет и даже как выглядит, читателю, скорее всего, неизвестно: значение слова *алмея* зыбко, как и она сама ⁶.

Итак, стихотворение Сологуба — это один из ранних, дофутуристических опытов беспредметного, безобразного словотворчества. Но в таком случае, если мы, следуя нашим лексикографам, будем пони-

⁴ Популярности имени *Азра* способствовали также одноименные романс А. Рубинштейна (1856) и опера М. Ипполитова-Иванова (1890).

⁵ Не исключаю, что на Сологуба мог оказать влияние цвет *кефира*: это слово, пришедшее с Кавказа, к тому времени уже прочно вошло в русский язык (см. [Черных 1993: 393–394]).

⁶ Общую неопределенность усиливает двусмысленность всей конструкции: мы не можем точно сказать про Мейтанеру, «алмея ли она» или только пляшет, как алмея. Мы не знаем также, что это за *Змѣй*, ярость которого смиряет дева, пляшущая перед героем: сам ли субъект речи, часть его тела или же третий персонаж.

мать фантазию как творческое воображение, а его, в свою очередь, — как способность мыслить образами, живописать умственные картины (см. [Даль 1863, I: 213; 1866, IV: 485; БАС₁: стб. 1245; БАС₂: 445]; и др.), нам придется признать, что в узком смысле слова никакой фантазии в сологубовских глоссолалиях нет: это чисто звуковые построения, право на которые В. Б. Шкловский [1916; 1919] и другие формалисты теоретически обосновывали в полемике с Потебней. Однако в отличие от авангардистской зауми, открыто нарушающей коммуникативную перспективу, заумь Сологуба ловко маскируется под поэтический символ. Возникает кажимость, обман, ложь, каковою, признаём, с легкостью может стать даже мысль неизреченная.

Ложь адресанта, встраиваясь в традиционный контекст, провоцирует фантазию адресата, который пустые звуки силится наполнить глубоким содержанием. Заумные неологизмы Сологуба тем более требуют предметного осмысления, что рядятся в обличье имен нарицательных и часто принимают форму множественного числа. Но, как правило, в своих фантазиях читатель далеко не заходит: воображение услужливо рисует ему лишь те картины, подобные которым он уже наблюдал. Об этом верно сказал Эдгар По, рассуждая о сходстве и различии между *Imagination* и *Fancy*: «Фантазия творит столько же, сколько воображение, а в сущности, этого не делают ни та, ни другое. Новые концепции — это всего лишь необычные комбинации. Человеческий ум не может вообразить то, чего не существует, — если бы он мог, то творил бы не только духовное, но и материальное, подобно Богу. На это скажут: „Мы воображаем гриффона, хотя его не существует“. Сам гриффон — разумеется, нет, но существуют его составные части. Он — только соединение уже известных органов и свойств. И так обстоит со всем, что претендует на новизну, что представляется *созданием* нашего разума: оно может быть разложено на старые части» [Рое 1902: 3].

В поисках предметного смысла читательская фантазия неуклонно движется по пути наименьшего сопротивления, ученически пользуясь подсказками, оставленными Сологубом. Результат вчитывания банален и заранее предсказуем. Пусть читатель не знает, что такое *азра*, но ведь она *алая*, *благоухает* и по звуку так похожа на *розу*, да к тому же где-то на втором плане мелькают *азалии* и *астры*⁷. Фонетическое сходство осмысляется как семантическая смежность, а точнее синекдоха: *азра* — ‘цветок’ Это умозаключение подкрепляется всем читательским опытом, в том числе вынесенным из знакомства с поэзией Сологуба:

⁷ Подобие рифмы *астры* : *азров* возникает в стихотворении Брюсова «Я помню легкие пиластры...» (1913).

С тобою на лугу несмятом
 Целуясь в тени берез,
 Я упивался ароматом,
 Благоуханней алых роз.

«Любовью легкою играя...», 1901

Хотя ход мысли, опредметившей *азру*, понятен, никакой фатальности в этих рабских ассоциациях нет: у Сологуба, помимо цветов, благоухают травы, весна, женщина, сигара, кадило, молитва, завет... Но чаще всего — именно цветы ⁸.

Без особых проблем читатель справляется и с заумными *темалами*, даже если в прошлом ему никогда не приходилось сталкиваться с латинским словом *tilia*. На то, что у *темалы* есть ствол и ветви, намекает предложно-падежная конструкция *подъ сѣнью*...: шаблонным дополнением к ней в поэтическом языке становятся видовые или родовые наименования деревьев. Лирический герой дремлет *подъ сѣнью тилій и темаль*, а пробуждаясь, лицезреет женщину — в поэзии Сологуба эта картина не уникальна: *Но я под сенью злого древа // Заснул... проснулся, — предо мной // Стояла и смеялась Ева...* («Я был один в моём раю...», 1905). Или в позднем стихотворении Сологуба: *Тирсис под сенью ив // Мечтает о Нанетте <...>* («Тирсис под сенью ив...», 1921). Вот почему ‘дерево’ — это первое, что приходит в голову, хотя и тут язык не диктует одного-единственного решения. У Сологуба мужчина и женщина вовсе не обязательно уединяются под сенью древесной кроны:

Темнота ночная пала, скрылась бледная луна,
 И под сенью покрывала ты опять со мной одна.

«Я один в безбрежном мире, я обман личин отверг...», 1904

Чуть сложнее обстоит дело с *киферомъ*. Мы видим, что даже *темалы* при желании можно интерпретировать как ‘покрывала’ Тем

⁸ Ср. другие примеры из поэзии Сологуба: *Цветут, благоухают // Кругом цветы в полях...* («О, жизнь моя без хлеба...», 1898); *Бряцанье лир, цветов благоуханье...* («Звезда Маир сияет надо мною...», 1898); *...И благоухают чудные цветы...* («Всё, чего нам здесь недоставало...»); *...Как белых роз благоуханье* («Чиста любовь моя...», 1898); *...Благоуханные цветы* («От злой работы палачей», 1898, 1904); *...Благоуханнейших земных цветов* («Радуйся, радуйся, Ева...», 1906); *Благоухает роза Жакмино* («Мерцает запах розы Жакмино...», 1913); *Цветам — благоухая цвести...* («Как Дон-Кихоту Дульцинея...», 1919) и т. п.

более *бѣлые киферы*, на которые склонился охваченный дремотой герой, легко представить себе в виде мягких подушек или тканей, устилающих ложе страсти. Но всё же гораздо вероятнее, что *киферы* — тоже ‘цветы’: на них *въ тѣни темаль* возлежат Мейтанера и тот, кто потом рассказал о ней в стихах⁹. Сходный образ есть в любовной лирике Сологуба, где герой под деревом засыпает прямо на траве:

Невинный цвет и грешный аромат
 Левкоя
 Пленительным желанием томят
 Покоя.
 Так сладостно склоняться в полусне
 Под тенью
 К желанному и радостному мне
 Забвенью...

«Невинный цвет и грешный аромат...», 1904

Невинный цвет левкоя (его латинское название — *Mattiola incana*) перекликается не только с «нежным цветом кифера»: *mattioly*, или в просторечии *метиолы*, могут фонетически мотивировать неологизм *темалы* (подобно тому, как *liliu* усиливают растительную семантику *тилий*)¹⁰.

Я постарался показать, как Сологуб играет с читателем, манипулирует им, посмеивается над робостью его воображения. Правда, делает он это с большой осторожностью и тактом, чтобы не разрушить эмоциональную двойственность стихотворения, которое написано так, что его позволительно принять всерьез или обратить в шутку, в зависимости от расположения и познаний читающего. Эта лукавая сказка — ложь, но намек в ней действительно есть, однако извлечь из него урок под силу разве что филологу.

⁹ Тогда *покрывала* — это не ‘род постельного убранства’, а ‘деталь женской одежды’: ...*Она коварно убегала, // За ней бежал всё дальше он, // Держась за кончик покрывала...* (Ф. Сологуб. «Он песни пел, пленял он дев...», 1901).

¹⁰ Форма *метиола* распространилась еще до революции. Укажу на воспоминания Р. Гуля, относящиеся к 1914 году: «Только на несколько месяцев пережила деда бабушка Марья Петровна; она умирала в июле, когда из раскрытых балконных дверей тянуло уже левкоями и метиолой» [1952: 30].

ЛИТЕРАТУРА

- БАС₁ — Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1964. Т. 16: У–Ф.
- БАС₂ — Словарь современного русского литературного языка: В 20 т. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1991. Т. II: В.
- Гаспаров 1993 — *Гаспаров М. Л.* Поэтика «серебряного века» // *Русская поэзия серебряного века. 1890–1917. Антология.* М., 1993, С. 5–44.
- Гуль 1952 — *Гуль Р.* Конь рыжий. Нью-Йорк, 1952.
- Даль 1863–1866 — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1863. Ч. 1; 1866. Ч. 4.
- Михельсон 1865 — *Михельсон [А. Д.]* Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней. М., 1865.
- Потебня 1905 — *Потебня А. А.* Из записок по теории словесности: Поэзия и проза. Тропы и фигуры. Мышление поэтическое и мифическое. Приложения / Издание М. В. Потебни. Харьков, 1905.
- Сологуб [1911] — *Сологуб Ф.* Собрание сочинений. СПб., 1911. Т. IX: Стихи.
- Сологуб 1975 — *Сологуб Ф.* Стихотворения / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. М. И. Дикман. Л., 1975.
- Черных 1993 — *Черных П. Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1993. Т. I: А — Пантомима.
- Шкловский 1916 — *Шкловский В.* О поэзии и заумном языке // *Сборники по теории поэтического языка.* Пг., 1916. Вып. I. С. 1–15.
- Шкловский 1919 — *Шкловский В.* Потебня // *Поэтика: Сборники по теории поэтического языка.* Пг., 1919. С. 3–6.
- Dauzat, Dubois, Mitterand 1964 — *Dauzat A., Dubois J., Mitterand H.* Nouveau dictionnaire étymologique et historique. 3^e édition revue et corrigée. Paris, 1964.
- OED — Oxford English Dictionary. 2nd edition / Prepared by J. A. Simpson and E. S. C. Weiner. Oxford 1989. Vol. I: A — Bazouki.
- Poe 1902 — *Poe E. A.* American Prose Writers. № 2. N. P. Willis. New Views — Imagination — Fancy — Fantasy — Humor — Wit — Sarcasm — The Prose Style of Mr. Willis' [1845] // *Poe E. A. The Complete Works* / Ed. by J. A. Harrison. New York, 1902. Vol. XII: Literary Criticism; Vol. V. P. 36–40.

Ю. Д. АПРЕСЯН

ОТ ИСТИНЫ ДО ЛЖИ ПО ПРОСТРАНСТВУ ЯЗЫКА

1. Беглый обзор лексики мнимого (обманного) мира. Язык свободен и дает человеку средства, позволяющие с одинаковой легкостью говорить (а) о фактах (*Я знаю, что он перешел в МГУ*), (б) об информации, в истинности которой говорящий не уверен (*Я слышал, что он перешел в МГУ*), (в) о добросовестной ошибке, иллюзии или фантазии (*Он заблуждается <фантазирует>*), (г) об имитации (*Он прикидывается <симулирует сумасшествие>*) и (д) о заведомой лжи (*Он клеветничает <лжет, обманывает вас>*). В случаях (в)–(д) мы имеем дело с мнимым или обманным миром, а (б) является связующим звеном между ними и миром фактов.

Возможности говорить о мнимом и обманном мирах язык придает очень большое значение. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что языковые средства, которые используются для обозначения картин и образов этих миров, представлены не только всеми знаменательными частями речи (см. ниже), но и: а) некоторыми служебными единицами, особенно союзами и частицами, например, *будто, якобы, вроде, как будто, как бы, точно*; б) деривационными элементами, например, *псевдо-, квази-, лже-, ложно-*; в) грамматическими формами и синтаксическими конструкциями, например, сослагательным наклонением, некоторыми типами вводных конструкций и синтаксическим ирреалисом типа *Приди мы на пять минут раньше, мы бы еще застали их дома*; г) просодическими средствами, например, эмфатической интонацией, которая в Брызгунова 1977 названа ИК-7, ср. *Какой у нее голос!* ≈ ‘на самом деле плохой, вопреки тому, что думает адресат или кто-то другой’

Данная работа была поддержана грантом РГНФ № 06-04-00289а, грантом РФФИ № 05-06-80361, грантом Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «Русская культура в мировой истории» и грантом Президента РФ для поддержки научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ № НШ-5611. 2006.6. В ней частично используется материал из [Апресян 2004].

В полнозначной лексике этого семантического поля интересны прежде всего предикаты и их актантные производные.

Среди предикатов хорошо представлены названия обманных действий и их результатов, а также названия некоторых обманных состояний и свойств, но, например, не названия процессов, поскольку последние не управляются ничьей волей.

а) Действия и поведение субъекта: *воображать, грезить, мечтать, фантазировать; выгораживать, шельмовать; завышать, занижать, лакировать, обелять, преувеличивать, преуменьшать, приукрашивать, чернить; втирать очки, выдавать (себя за сына императора), выдумывать, играть роль, изображать (скромника), ломать комедию, ломаться, прикидываться, притворяться, симулировать; замести следы, запутать, мистифицировать, надуть, направить по ложному пути, обвести вокруг пальца, обмануть, одурачить, оставить в дураках, перехитрить, провести, разыграть (кого-л.), разыграть (что-л., например, удивление), сбить, сбить с панталыку; врать, говорить неправду, клеветать, лгать, плести небылицы, сочинять; имитировать, инсценировать; камуфлировать, маскировать; фанфаронить, хорохориться, храбриться; аффектированный, деланный, наигранный, напускной, нарочитый, натянутый, показной, принужденный, притворный; искусственный, неестественный, неискренний, фальшивый (смех); двуличный, лживый, лицемерный; аффектация; мимикрия; ханжество.*

б) Результаты работы воображения и эффекты воздействий на объект или на адресата: *(охотничьи) басни, воздушные замки, выдумка, вымысел, домысел, миф, побасенки, сказки; галлюцинация, иллюзия, мираж, обман зрения, плод воображения, привидение, призрак, фантазии, фантом, химера; клюнуть, разг.-сниж. купиться, попасться на удочку, принять за чистую монету, проглотить наживку.*

в) Ментальные состояния, в частности, ложные впечатления от реального мира: *заблуждаться, обманываться, ошибаться; казаться, мерещиться, послышаться, привидеться, примститься, чудиться; (один) вид, видимость, личина, маска (идиота), фикция; искаженный, ложный, неверный, неправильный, обманчивый, ошибочный, превратный; воображаемый, иллюзорный, мнимый, фиктивный.*

г) Различные свойства живых существ и артефактов: *дутый [об авторитете, плане, цифрах и т. п.], защитный [об окраске]; искусственный [о волосах, зубах, коже]; накладной (накладные ресницы <ногти>, накладной бюст); липовый, ненастоящий, поддельный, подложный, фальшивый [о справке, паспорте или ином документе].*

Среди актантных производных представлены преимущественно имена исполнителей действия, инструментов, средств и способов (при-

емов) действий, но, например, не имена мест и времен; ср. *мошенник, обманищик, плут, шарлатан, шулер; двурушник, хамелеон; актер, ло-мака, пародия 2 (Уж не пародия ли он?), позер; клоун, паяц, петрушка, шут; иллюзионист, мистификатор, фокусник [исполнители]; бутафория, декорации, липа [об удостоверении и т. п.], ловушка, (карнавальная) маска, парик, подделка, подсадная утка, пугало, чучело [инструменты]; грим, наживка, румяна, суррогат, эрзац [средства]; блеф, маневр, поза 2 (типичная поза интеллигента), трюк, увертка, уловка, финт, фокус, хитрость [способы].*

Распределение «обманной» лексики по указанным классам актантов имеет похожую семантическую подоплеку. В основе всех перечисленных семантических ролей, в отличие от ролей места и времени, лежит значение действия, а главным участником всякого действия является агенс, т.е. персонаж, способный творить новые миры. Благодаря этой способности и возникает, среди прочих, возможность создания обманного мира.

2. Важнейшие оппозиции в пространстве между истиной и ложью. Материал, который мы бегло обозрели выше, организован следующими тремя крупными семантическими оппозициями:

1. 'Соответствие действительному положению дел' (*факт, объективность, сущность, истина*) — 'возможность несоответствия действительному положению дел' (*мнение, субъективность, интерпретация, впечатление, проявление, видимость*) — 'несоответствие действительному положению дел' (*ошибка, иллюзия, фантазия, мнимость, миф, имитация, подделка, выдумка, обман, ложь*).

2. 'Рассмотрение ситуации со стороны производителя действия (перспектива агенса или экспериенсера)' — 'рассмотрение ситуации со стороны воспринимающего лица (перспектива наблюдателя)'

3. Для первой из этих перспектив — 'добросовестность/недобросовестность агенса', с дальнейшей классификацией типов недобросовестности.

2.1. Факт — мнение — выдумка. Первая оппозиция (действительность — мнение о ней — мнимый или обманный образ мира) будет проиллюстрирована на материале синонимического ряда *причина 2* из [Богуславская 2004]. Я воспроизведу главные отмеченные ею различия, с одним небольшим уточнением.

Факты. Слово *причина* в своем первом значении описывает реально существующую связь между двумя фактами (объективная причина); ср. *Причиной пожара было короткое замыкание. У причины 1 в русском языке нет синонимов.*

Субъективные мотивы. Во втором значении, выделяемом и другими исследователями (см., например, [Арутюнова 1992: 15, Шве-

дова 2005: 536–538]), а также толковыми словарями русского языка, оно описывает связь между двумя ситуациями, устанавливаемую говорящим или заинтересованным участником одной из них (субъективная причина). У *причины* 2 есть синонимы — *основание*, *резон* и *мотив*; ср. *У меня были причины <основания> возражать против вашего назначения; Так Донату прямой резон меня скорей на тот свет спровадить* (Б. Акунин, Пелагия и белый бульдог); *Он был вырван из обычного, понятного ему, не понимая мотивов поступка Варвары, уже инстинктивно одобрял его* (М. Горький, Жизнь Клима Самгина).

Если *причина* 1 (объективная) относится к области фактов, то *причина* 2 (субъективная) относится к области мнений и интерпретаций¹.

Псевдопричина. Наконец, О. Ю. Богуславская выделяет несколько слов, обозначающих мнимую причину, или ситуацию, которую заинтересованный участник, желающий скрыть истинные мотивы своих действий, выдает за их непосредственную причину. Это существительные *предлог*, *повод*, *отговорка*. Ср. *Под предлогом внезапной болезни он уклонялся от участия в разных собраниях и от приема неудобных посетителей* (В. Ходасевич, Горький); *Всякий мало-мальски непочтительный выпад против члена королевского дома служил достаточным поводом к тому, чтобы газету прикончить* (В. Набоков, Незавершенный роман); — *Пустая отговорка*, — сказал он, — *громкая газетная фраза, <...> не более! Этим можно объяснить и извинить всякое насилие и неправду* (Г. П. Данилевский, Сожженная Москва).

Итак, на материале части семантического поля ‘причина’ ясно различимы все три области — причина как факт, как субъективный мотив и как псевдопричина.

¹ О. Ю. Богуславская усматривает между *причиной* 1 и *причиной* 2 еще одно различие: первая является семантически двухвалентным предикатом, а вторая — трехвалентным, причем ее третьим семантическим актантом является субъект действия, состояния или свойства. Например, для предложения типа *У нее была причина осторожничать* — она была простужена третий актант *причины* — она, т.е. первый актант *простуды*. Мне представляется, что в таких предложениях *причина*, в отличие от *мотива* или *цели*, по-прежнему семантически двухвалентна. Можно говорить о *целях* или *мотивах Петра*, но не о **причинах Петра*. Исключены также словосочетания **мои <твои, ее, их, наши> причины*. В допустимых фразах типа *У него были свои <личные> причины для отказа* прилагательные выполняют не семантическую, а чисто референциальную функцию, а дополнение *у него* есть результат синтаксического смещения актанта от его исконного семантического хозяина к (лексико-функциональному) глаголу, как, скажем, во фразах типа *Сердце у него бьется ровно*.

2.2. Перспектива агенса — перспектива наблюдателя. Перейду ко второй из названных оппозиций. Она представлена словами, которые описывают ситуацию либо с точки зрения агенса (ср. *Я воображаю <представляю, рисую в воображении> тихую дачную жизнь*), либо с точки зрения наблюдателя (*Ему показалось <почудилось, померещилось>, что за дверью кто-то стоит*). Здесь, конечно, более интересна вторая группа слов, т.е. перспектива наблюдателя, и только о ней пойдет речь в дальнейшем.

Существенно, что и для описания мира с точки зрения наблюдателя язык дает говорящим набор средств, позволяющих представить обсуждаемую ситуацию как факт, как впечатление от факта и как кусочек мнимого мира — иллюзию, галлюцинацию, мираж и т. п.

Факты. Самый большой пласт слов, обозначающих объективное восприятие фактов наблюдателем, связан с ситуацией физического восприятия, чаще всего зрительного, а затем слухового и обонятельного. Ср. *Вдруг вдалеке, возле белых оград бунгалов <...> показался человек в белом* (И. Бунин, Братья); *Впереди маячили три жалких столбика ограждения* (В. Аксенов, Остров Крым); *В лунном свете замелькали черные монашеские фигуры, слышались шаги по каменным плитам* (А. П. Чехов, Архиерей); *Здесь было тихо, солнечно, сильно пахло сухими травами* (Ч. Айтматов, Ранние журавли). Сюда же относится и целый лексикографический тип, а именно глаголы *белеть, желтеть, зеленеть* и т. п. в стативном значении 'виднеться' (соответственно о белых, желтых и т. д. объектах). Очевидно, что во всех этих случаях речь идет о вещах, действительно имеющих место.

Впечатления и мнения. Естественные примеры — глаголы *выглядеть* и *казаться*, причем первый из них предполагает восприятие преимущественно видимых признаков объекта (ср. *Он выглядел молодым*), а второй — восприятие в том числе и менее очевидных, более глубоко скрытых признаков объекта (ср. *Многим он казался очень талантливым человеком, где выглядел бы менее уместно*).

Впрочем, зрительное восприятие и в этой области оказывается вне конкуренции. В связи с этим упомяну небольшой, но интересный лексикографический тип — некоторые глаголы перемещения в значении 'стационарный объект кажется перемещающимся перемещающемуся наблюдателю' Ср. *Навстречу плыли белые украинские хаты; За иллюминаторами самолета плыла земля; В лицо ей летели буквы с афиш, вывесок, плакатов, реклам* (В. Аксенов, Папа, сложи!); *Низкие берега, бежавшие мимо парохода, были молчаливы* (Куприн, БАС).

Мнимый мир. Если *выглядеть* и *казаться* обозначают впечатления, которые могут соответствовать действительности или оказаться ошибочными, то *чудиться, мерещиться* и *уходящ.* или *поэт. мниться*

в основном круге употреблений отражают мнимый мир. *Х-у чудится <мерещится, мнится> Р* значит 'В сознании человека *Х* есть образ объекта или ситуации *Р*, который как бы воспринимается органами чувств, хотя на самом деле он не существует' Ср. *Мне чудится, я слышу, как шепчутся с землею колосья, даже слышу, как зреют они* (В. Астафьев, Хлебозары); *В душистой тиши между царственных лип / Мне мачт корабельных мерещится скрип* (А. Ахматова, Летний сад); *Ровный банный гул стоит в шалмане, и слышно или же мнится ему сквозь гул чье-то бормотание за плечом* (А. Дмитриев, Закрытая книга); *И мнится мне — я облачко над бездной, / Я поплавок на грани двух миров, / Кристалл земли в растворе ночи звездной* («Новый мир», № 2, 1998).

К этой же группе относятся глаголы *привидеться* и *примститься*: *И в веселой этой кутерьме где-то на "Миллионной улице <...> вдруг привиделась ему девушка поразительной красоты* (П. Нилин, Интересная жизнь); *Это ее звонок вытащил меня оттуда — или мне и это примстилось?* (Ф. Светов, Мое открытие музея).

2.3. Добросовестность — недобросовестность агенса. Добросовестным в данном контексте я буду называть агенса, который не сомневается в правильности своих представлений о текущей ситуации, хотя на самом деле то, что он думает, говорит или воспринимает, может быть *ошибкой* или *иллюзией*. Недобросовестным я буду называть агенса, который, зная действительное положение дел, по какой-то причине создает у адресата или более широкой аудитории превратное представление о нем. Ср. *врать, обманывать, втирать очки, лгать, клеветать* и т. п.

Как почти всегда в таких случаях, язык располагает гораздо большим числом средств для характеристики недобросовестного агенса, чем добросовестного. Чаще всего они служат для разного представления целей недобросовестного агенса.

Сравним, например, слова *мистификация* и *инсинуация*. Между ними есть то очевидное сходство, что они обозначают сложное хитроspлетение подметных ходов, имеющих целью создать у адресата ложное представление о действительности, и то очевидное различие, что *инсинуация* — всегда речевой акт, а *мистификация* — не всегда.

Однако в случае *мистификации* единственной целью этого хитроspлетения является розыгрыш адресата, не важно, добродушный или злой, причем именно адресат мистификации является одновременно и ее объектом: *Да и в этот день веселых забав и радостных мистификаций они оперировали только одной печальной шуткой: фабриковали на машинке фальшивый приказ об увольнении Кукушкинда и клали ему на стол* (И. Ильф, Е. Петров, Золотой теленок); *Мистификации, вроде той, что я устроил Влачкову, объявив о рес-*

таврации в России монархии, мне постепенно надоели и перестали утолять жажду мести (Ю. Алешковский, Рука (Повествование палача)); Его совет искать второй экземпляр «Слова о полку Игореве» среди гренадерских подшитанников Преображенского полка отдает мистификацией (Б. Штерн, Записки динозавра).

Семантика *инсинуации* сложнее. Во-первых, ее объект не совпадает с адресатом — *инсинуация* всегда имеет целью опорочить какого-то человека в глазах других людей, которым она как раз и адресована. Во-вторых, она иначе исполняется. *Инсинуация* — это несколько звеньев тонко замаскированной лжи, которую легко принять за правду. Наконец, в-третьих, *инсинуация* всегда имеет коварную цель опорочить вполне определенного человека, который рассматривается как препятствие на пути к реализации целей агенса, и тем самым получить преимущество в борьбе или интриге. Ср. *Так что не верьте в эти инсинуации, что якобы Горбачев настроил автономии против России* (ИТАР-ТАСС Экспресс, 1996, вып. 13); *Кутузов, удивлявший своей храбростью самого Суворова, <...> мог, разумеется, презирать гнусные инсинуации своих врагов вроде нечистого на руку Беннигсена, укорявших, за спиной, конечно, старого главнокомандующего в недостатке смелости* (Е. Тарле, Михаил Илларионович Кутузов — полководец и дипломат); *Самые преданные <...> начинали прислушиваться к намекам и инсинуациям Талейрана и Фуше, которые уже давно во мраке и под шумок терпеливо и осторожно готовили измену* (Е. Тарле, Наполеон).

3. Несколько case studies. Ниже перечисленные оппозиции или отдельные члены оппозиций будут рассмотрены более подробно. Особое внимание будет уделено нетривиальным средствам их выражения.

3.1. Знание и мнение. В своих первых работах по лексической семантике Ч. Филмор ввел в оборот пару глаголов *accuse X of P* ‘обвинять X-а в P’ и *critisize X for P* ‘критиковать X-а за P’ (см. [Fillmore 1968, 1969]). Он считал, что в состав значений обоих глаголов входят одни и те же компоненты — ‘отрицательно оценивать действие P’ и ‘X сделал P’, — а принципиальное различие между ними он усматривал в прямо противоположном содержании пресуппозиций и ассерций. В случае *accuse* ‘отрицательно оценивать действие P’ образует пресуппозицию, а ‘X сделал P’ — ассерцию; в случае *critisize*, наоборот, ‘X сделал P’ образует пресуппозицию, а отрицательная оценка этого действия — ассерцию.

Для меня сейчас не слишком важно, верен ли этот анализ; скорее всего, он не совсем верен и заведомо неполон. В контексте интересующей нас темы существенней другое обстоятельство, на которое

Ч. Филмор не обратил внимания. Я имею в виду различие в управляемых предложениях. Оно имеет место и в английском, и в русском языке. В английском это оппозиция предлогов *of* и *for*, а в русском — вполне сравнимая оппозиция предлогов *в* и *за*, о которых и пойдет речь дальше.

Первый в контексте предикатов определенного класса вводит, так сказать, путативное суждение, а второй — фактивное. Действительно, если мы *обвиняем* <подозреваем, укоряем> кого-л. в *себялюбии*, такое высказывание или умонастроение является результатом интерпретации свойств или поступков адресата, т. е. мнением о ком-л., которое вполне может быть и ошибочным². Если же мы *критикуем* <ругаем, браним, осуждаем> кого-л. за *себялюбие*, мы не оставляем места для сомнений в том, что себялюбие действительно имеет место, — мы подаем это как факт.

Замечательно, что это различие сохраняется и в том случае, когда один и тот же глагол в одном и том же значении управляет обоими этими предлогами. Таков глагол *упрекать* (пример из [Апресян, Гловинская 2004]). Ср. [*Газета*] *упрекает* меня в чем угодно, в том числе и в *отступничестве* («Столица», 1992, № 26) [обвинение в отступничестве не только не считается фактом, но и решительно отводится] VS. *Его упрекали* за *бездействие* <за отказ возглавить забастовку, за то, что он бросил семью> [он действительно отказался возглавить забастовку, бросил семью, бездействовал].

Существует еще одна заслуживающая внимания корреляция, которая накладывается на корреляцию «в — путативность» VS. «за — фактивность».

В путативной конструкции (с предлогом *в*) предлог управляет существительными или группами слов с общим значением существования, свойства, состояния, положения дел, но обычно не с акциональными существительными. Ср. *Гумилева упрекнула в отсутствии чуткости, позволившем ему вступить в полемику с задыхающимся, отчаивающимся, больным и желчным Блоком* (П. Лукницкий, Встречи с Анной Ахматовой); *Обыкновенно меня начинали упрекать в том, что я очень «полевел»* (Н.А.Бердяев, Самопознание); *Биографов Пушкина упрекают в том, что его поэзию они делают лишь источником для биографии* (В. Ходасевич, О чтении Пушкина (К 125-летию со дня рождения)).

² Может возникнуть вопрос о допустимости сочетания *укорять* кого-л. в чем-л., но оно встречается у хороших авторов; ср. *В недавнем бреду он укорял небо в безучастии, а небо всею ширью опускалось к его постели, и две большие, белые до плеч, женские руки протягивались к нему* (Б. Пастернак, Доктор Живаго). Ср. также приведенный выше пример из книги Тарле о Кутузове.

Напротив, в фактивной конструкции (с предлогом *за*) предлог управляет именами действий и поступков. Ср. *Его упрекали за эту покупку <за неявку на собрание, за его поведение на приеме>; Один критик еще при жизни Домбровского упрекал его за то, что тот увлекся как художник шекспировской леди Макбет, <...> вместо того, чтобы взять себе в героини нашу русскую женщину* (НМ, №12, 1998); *Его упрекали за опоздание, а он отвечал: «Я всегда засыпаю, когда у меня неприятности»* (Н. Мандельштам, Воспоминания).

Поскольку существительные *покупка, неявка, поведение, опоздание* и т. п. обозначают только сами реальные действия и поступки, а не их интерпретацию, нельзя сказать **Его упрекали в этой покупке <в неявке на собрание, в поведении на приеме, в опоздании>*³

3.2. Свойство или состояние — его проявление (манифестация). В [Апресян 1974] и других работах автора была описана регулярная многозначность прилагательных типа *спокойный — беспокойный, умный — глупый, грустный — веселый, смелый — трусливый, наглый — скромный* и т. п. В своем исходном, или главном значении они характеризуют свойство или состояние Р какого-то человека или другого живого существа. У большинства, хотя и не у всех таких прилагательных есть производное значение 'такой, в котором выражается или проявляется свойство или состояние Р'. Ср. *спокойный <беспокойный> человек — спокойный <беспокойный> взгляд, умный <глупый>*

³ Такова тенденция, из которой, конечно, всегда можно найти исключения. Интересен в этом отношении глагол *уличать*, имеющий следующую семантическую структуру: 'Обнаружив, что человек X сделал или имеет отрицательно оцениваемое Р [слабая пресуппозиция], говорить об этом ему или другим людям [ассерция]' Этот глагол нарушает обе установленные выше корреляции: во-первых, управляя предлогом *в*, он вводит преимущественно фактивные суждения; во-вторых, он с одинаковой легкостью управляет и акциональными существительными, и существительными со значением свойства или состояния. Ср. *Машетта <!...> уличила нашего директора в том, что он <...> напоил ради смеха кобылу Цирцею шампанским* (И. Сергиевская, Флейтист); *Если его уличали в уклонении от истины, он оправдывался беспомощно и смущенно* (В. Ходасевич, Горький); *Он знал, что она не нарочно ошиблась, но ему всегда доставляло удовольствие уличать в ошибках и поправлять грамотных людей* (Ф. Искандер, Сандро из Чегема); *Слава Богу, у меня хватило ума не уличать ее во лжи* (Г. Щербакова, Армия любовников); *Затем невропатолог уличил терапевта в необъективности* (В. Белов, Воспитание по доктору Споку); *И она уличила меня в незнании пунктуации* (А. Рыбаков, Дети Арбата); *Она как будто уличила его в желании скрыть от нее эту самую свадьбу* (И. С. Тургенев, Дым).

нес — умный <глупый> ответ, грустный <веселый> ребенок — грустный <веселый> смех, смелый <трусливый> мальчик — смелый <трусливый> взгляд, наглый парень — наглая ухмылка, скромный молодой человек — скромный кивок головы и т. п.

Дальше меня будут интересовать не сами эти прилагательные, а производные от них предикативы и наречия *спокойно, беспокойно, умно, глупо, грустно, весело, смело, трусливо, нагло, скромно* и т. п.

Некоторые из них сохраняют оба названных значения, ср. *Ей было спокойно* <беспокойно, тревожно> с ним, *Ему было грустно* <весело> [состояние] VS. *Он спокойно* <беспокойно, тревожно, грустно, весело> посмотрел на меня, *Он грустно* <весело> улыбнулся [проявление, или манифестация состояния].

Надо, однако, сказать, что производные предикативы и наречия далеко не всегда дублируют структуру регулярной многозначности, свойственную исходным прилагательным. Гораздо чаще они имеют либо первое, либо второе из названных выше значений. Для русского языка как раз характерно, что эти две идеи — состояние и его манифестация — выражаются формально разными средствами. В частности, для выражения идеи состояния применительно к нашему случаю характерен суффикс *-н-*, ср. *Ему было боязно* <завидно, стыдно>. Для значения манифестации состояния характерен суффикс *-лив-*, ср. *боязливо* <завистливо, опасливо, похотливо, стыдливо, участливо> *посмотрел* <ответил>.

Еще более замечательно то обстоятельство, что две названные серии производных слов находят параллели в области предложно-именных групп в функции предикативов и приглагольных адverbials. При этом предложно-именные группы со значением состояния формируются предложом *в*; ср. *быть в крайнем беспокойстве* <в бешенстве, в крайнем негодовании, в отчаянии, в тревоге, в ярости>, *В восторге от всего увиденного, он не мог вымолвить ни слова, В гневе он был страшен, В сомнении воздержись, Я остановился в изумлении, В надежде славы и добра / Гляжу вперед я без боязни* (А.С.Пушкин, Стансы), *Руки на затворе, голова в тоске* (Б.Окуджава, Старая солдатская песня). В отличие от этого, предложно-именные группы со значением манифестации состояния формируются предложом *с*; ср. *сказать с беспокойством* <с восторгом, с гордостью, с завистью, с надеждой, с отчаянием, с удивлением>, *посмотреть на кого-л. с восторгом* <с изумлением, с интересом, с сомнением, со страхом, со стыдом, с тоской, с тревогой, с яростью>.

3.3. Имитация. Имитация всегда предполагает манифестацию, от которой она отделена идеей преднамеренности и цели. Говоря несколько упрощенно, имитация состоит в том, что человек *X*, не имею-

щий свойства Р или не находящийся в состоянии Р, воспроизводит в своем поведении типичные внешние проявления этого свойства или состояния, обычно с целью сделать так, чтобы потенциальный получатель информации считал, что Х обладает свойством Р или находится в состоянии Р (в этом толковании я сознательно отвлекся от случая, когда *имитируют* что-то, например, *голоса птиц*, из простой любви к искусству).

Лексика имитации весьма разнообразна. Большой ее пласт связан с той областью человеческой деятельности, в которой способность к имитации является главным профессиональным требованием, а именно, с миром сценического искусства и различных его ответвлений. Ср. такие существительные, как *маска* и *личина*, а также фраземы *под маской кого-л.*, *под личиной кого-л.*, *под видом кого-л.*, *надевать на себя маску* <личину> *кого-л.*, *носить маску* <личину> *кого-л.*, *разыгрывать* <играть> *комедию*, *ломать комедию* и т. п. Близки к ним глаголы *изображать* <разыгрывать, строить, корчить> (*из себя*) *кого-л.* и ряд других.

Значительная часть лексики имитации расцвечена всевозможными надбавками к сформулированному выше прототипическому значению. Главное наращение касается цели имитации. Кроме непосредственной цели — заставить потенциального получателя информации считать, что Х обладает свойством Р, различные виды имитации преследуют и какую-то более отдаленную цель, обычно своекорыстную. Ср. *притворяться кем-л.*, *прикидываться кем-л.*, *симулировать что-л.* (*сумасшествие*), *выдавать себя за кого-л.*; подробнее о них см. [Апресян 2004].

Ниже я рассмотрю один менее тривиальный класс глаголов, в которых общее значение имитации осложнено указанием на конечную цель, отличную от непосредственной цели имитации. Это глаголы с суффиксом *-нича-*, производные от основ прилагательных со значением положительно оцениваемых свойств, например, *важничать*, *гениальничать*, *интересничать*, *либеральничать*, *наивничать*, *оригинальничать*, *серьезничать*, *скромничать*, *солидничать*. Ни в академических грамматиках, ни в специальных работах по словообразованию они не выделяются в отдельный класс. Между тем очевидно, что все перечисленные глаголы выражают некий общий смысл, а именно идею имитации свойства, с указанием на неискренность агенса. Недаром в словарях они толкуются с использованием слов *притворяться*, *прикидываться*, *корчить (из себя)*, *напускать (на себя)*, *напускной*, *выставлять себя как*, *держат себя как*, *преуменьшать* и т. п. Ср. *важничать* = 'напускать на себя важность' (МАС), *гениальничать* = 'держат себя или говорить о себе с важностью гения' (СУШ), *интересничать* = 'ко-

кетничая, стараться вызвать к себе интерес' (СУш), *либеральничать* = 'прикидываться либералом' (МАС), *наивничать* = 'притворяться наивным' (СОШ), *оригинальничать* = 'корчить оригинала' (СУш), *серьезничать* = 'держаться с напускной серьезностью' (СОШ), *скромничать* = 'преуменьшать свои заслуги' (БАС), *солидничать* = 'выставлять себя как солидного человека' (СУш).

По-видимому, все эти глаголы могут быть истолкованы по единой схеме, имеющей вид 'не обладая свойством Р, которое Х оценивает положительно, и желая, чтобы другие люди лучше о нем думали, Х воспроизводит в своем поведении типичные внешние проявления этого свойства; другие люди понимают, что поведение Х-а неестественно, и оценивают его слабо отрицательно'

Полезно обратить внимание на то, что семантический инвариант этого класса глаголов сближает его с такими рядами синонимов, как *хвастаться* (своими лошадьми), *хвалиться* (новыми игрушками), *бахвалиться* (своими победами над женщинами) [акт речи] и *рисоваться* (своей выдержкой), *форсить* (своей силой), *щеголять* (своей эрудицией) [поведение]. Ср., с некоторыми уточнениями и упрощениями, толкования этих двух рядов из [Апресян 2004]: *Х хвастается* <*хвалится*, *бахвалится*> *Y-ом* ≈ 'считая, что он имеет очень хороший объект или свойство Y, и желая, чтобы другие люди лучше о нем думали, человек X говорит, что у него есть Y; другие люди понимают, что высказывания X-а нескромны, и оценивают его отрицательно'; *Х рисуется* <*форсит*, *щеголяет*> *Y-ом* ≈ 'считая, что он имеет очень хороший объект или свойство Y, и желая, чтобы другие люди лучше о нем думали, человек X ведет себя так, чтобы другие люди обратили внимание на его Y; другие люди понимают, что X ведет себя нескромно, и оценивают его отрицательно'

3.4. Факт VS. впечатление/(само)ощущение. Эта оппозиция, уже упоминавшаяся в связи с глаголами *быть*, *выглядеть* и *казаться*, заслуживает более подробного обсуждения. Я рассмотрю ее на материале двух небольших словообразовательных типов — отадеквативных глаголов с суффиксами *-еть* и *-ить*, причем сосредоточусь на лексикографических аспектах возникающих здесь проблем.

Обсуждение первого типа я начну с глагола *стареть*, который в своем основном значении во всех словарях современного русского языка (БАС, МАС, БТС, СУш, СОШ) толкуется, с незначительными нюансами, как 'становиться старым или старше, старше', т. е. как обозначение факта. Если устранить из этого толкования очевидную ошибку, а именно компонент 'старше', и менее идиоматично выразить смысл 'старее', то получится толкование 'становиться старым или более старым'

Почти с той же последовательностью, с какой современные толковые словари русского языка приписывают *стареть* объективное

значение 'становиться старым или старше', они усматривают у, казалось бы, антонимичного ему глагола *молодеть* только субъективное значение 'приобретать более молодой вид, чувствовать себя моложе'. Так он описан в БАСе, БТСе, МАСе и СУше. Нельзя не процитировать и замечательное толкование В. Даля, тоже выделяющее в качестве центрального именно субъективный компонент в значении глагола: 'становиться моложе, юнеть, т.е. на вид, принимать вид более молодой, моложавый'. Лишь СОШ считает, что *молодеть*, подобно *стареть*, значит 'становиться моложе', т.е. обозначает факт, а не субъективное впечатление от чьей-л. внешности или чье-л. самоощущение; правда, единственный пример — *молодеть от радости* — вряд ли это подтверждает.

Возникает вопрос, действительно ли семантические структуры глаголов *стареть* и *молодеть* устроены столь асимметрично.

Под приведенное выше «объективное» толкование глагола *стареть* подойдут, в частности, следующие его употребления: *Все сделано, дальше будут только дети расти, а родители — стареть: все уже позади* (М. Веллер, Приключения майора Звягина); *Гнила и старела когда-то шумная, а теперь пустынная изба — и старела в ней бесприступная Матрена* (А. Солженицын, Матренин двор); *К исчезновению этих вещей болезнь не имела никакого отношения: они ускользали по мере того, как он старел* (Ю. Олеша, Лиомпа). Отметим, что в этом случае *стареть* тяготеет к употреблению в форме НЕСОВ.

Однако это толкование не охватывает других, может быть даже более многочисленных, употреблений глагола *стареть*. Ср. *Когда же отсмеивался, то вдруг старел, умолкал* (М. Булгаков, Театральный роман); *Он не только не постарел за последние тридцать лет, но даже стал выглядеть благообразней* (Ф. Искандер, Сандро из Чегема); *Добрый доктор заметно постарел за последний год, но оставался таким же крепким и квадратным, как и всегда* (В. Набоков, Пнин, пер. С. Ильина); *В эту ночь я постарела на десять лет* (А. П. Чехов, Три сестры). В этом случае *стареть* тяготеет к употреблению в форме СОВ.

С учетом сказанного в рассмотренном материале следует выделить, помимо «объективной» лексемы *стареть* 1 (факт), еще и «субъективную» лексему *стареть* 2 (впечатление от внешности или самоощущение), с толкованием 'начинать выглядеть или чувствовать себя старым или более старым'.

Что касается глагола *молодеть*, то не приходится сомневаться в том, что в подавляющем большинстве его употреблений представлено именно субъективное значение 'начинать выглядеть или чувствовать себя молодым или более молодым' (впечатление или самоощущение), в точности антонимичное значению *стареть* 2. В нашем корпусе этот

глагол встречается почти исключительно в форме СОВ *помолодеть*, которая обычно используется для описания впечатления от внезапно наступившей перемены во внешности человека, актуально воспринимаемого каким-то посторонним наблюдателем, или в самочувствии самого экспериенсера. Ср. *Она улыбнулась и <...> от одной улыбки своей помолодела лет на десять* (Г Бакланов, Нездешний); *На ярмарке он постриг волосы, подровнял и укоротил бороду — и очень помолодел* (И. Бунин, Деревня); *Он сказал это очень задорно и как-то внезапно помолодел, подтянулся, готовясь к бою* (М. Горький, Жизнь Клима Самгина); *Но вышел погулять — прошелся по северному своему кругу — помолодел и взбодрился* (А. Твардовский, Рабочие тетради 60-х годов). Впрочем, и в более редкой форме НЕСОВ это значение, в основном, сохраняется: — *А вы все, молодеете, — выговорил он сквозь смех* (А. П. Чехов, Жена); *Я слушаю тебя и сердцем молодею. Мне сладок жар твоих речей* (Пушкин, МАС).

Таким образом, существующие лексикографические описания и данные корпуса текстов позволяют заключить, что объективное значение 'становиться молодым или более молодым' как факт словаря у *молодеть* еще не сформировалось. Впрочем, вполне можно представить себе контекст сказки или других подобных жанров, описывающий, как в результате действия каких-то сверхъестественных сил, например колдовства, мертвой и живой воды и т. п., покойник оживает и начинает *молодеть*. Если учитывать такие употребления, для них можно было бы ввести потенциальную лексему *молодеть* 2, антонимичную лексеме *стареть* 1. Тогда обе лексемы попали бы в тот же словообразовательный и лексикографический тип, что глаголы *белеть*, *бледнеть*, *взрослеть*, *глупеть*, *желтеть*, *зеленеть*, *полнеть*, *синеть*, *слабеть*, *толстеть*, *тупеть* и т. п. в динамическом значении 'становиться Р или более Р', где Р — производящая основа соответствующего прилагательного.

Тем не менее даже в этом случае известная асимметрия глаголов *стареть* и *молодеть*, а именно обратный порядок объективного и субъективного значений в их семантических структурах, все равно сохраняется. Приведем дополнительные аргументы в пользу того, что сам язык трактует их по-разному.

У лексемы *стареть* 1 есть устаревший однокоренной синоним *стариться*, в современном языке сохранившийся в форме СОВ *со-стариться*. В то время как форма СОВ *постареть* в равной мере свойственна и объективному, и субъективному значениям *стареть*, форма *состариться* используется преимущественно в объективном значении 'стать старым' Ср. *Остался я позади, точно перелетная птица, которая состарилась, не может лететь* (А. П. Чехов, Три сест-

ры); *И все бы было хорошо: жила б Мария с нами долго, на свой лад счастливо, могла бы и состариться при нас* (А. Дмитриев, Дорога обратно); *Они выросли, поженились, состарились, и Альфред все спрашивал, а Дженни отвечала: не скажу* (М. Гаспаров, Записи и выписки); *Они должны сами состариться и умереть* (В. Кунин, Русские на Мариенплац); *Тебе тоже, когда ты состаришься, интересно будет вспомнить о прошлом* (В. Набоков, Пнин, пер. С. Ильина).

Формально соответствующий *стариться* глагол *молодиться* коренным образом отличается от него семантически. Он ни в коей мере не является синонимом *молодеть*, а имеет конативное значение 'не будучи молодым, стараться выглядеть или вести себя так, как это свойственно молодому' Ср. *Молодиться вам как-то не к лицу* (Б. Акунин, Турецкий гамбит); *Анна же полагала, что я перезрелый маменькин сынок, такой избалованный московский академический барбос, который молодится и красит волосы, мнит себя Казановой* (А. Ким, Стена); *Софья Ивановна, судя по одежде и прическе, еще, видимо, молодилась и не выставила бы седых буклей, ежели бы они у нее были* (Л. Н. Толстой, Юность)⁴

Иными словами, в то время как в глаголе *стариться* по сравнению со *стареть* усиливается объективный компонент значения, в глаголе *молодиться* по сравнению с *молодеть* усиливается субъективный компонент.

У *стареть* есть субстантивное производное *старение*, которое обозначает только объективный природный процесс. Ср. *Находя в себе какие-либо малейшие признаки старения, [он] очень расстраивался* (В. Аксенов, Остров Крым); *Между физиологическим ростом, взрослением, старением и человеческой историей — принципиальная разница* (НМ, № 9, 1998); *Может быть, в этом и есть симптом старения?* (Ю. Семенов, Аукцион).

У *молодеть* соотносительного производного *моложение* в современном литературном языке нет, а существительное *омоложение* обозначает только искусственное воздействие на организм с целью придания ему функций или внешности, характерных для молодого возраста, или результат такого процесса. Ср. *Постановка опыта <...> с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем и о его влиянии на омоложение организма у людей* (М. Булгаков, Собачье сердце); *Испытал на ней новый состав для омоложения на костной муке со стеклово-*

⁴ Семантически точно так же устроен интересный неологизм И. Анненского: *Нежным баловнем мамаш / То большиться, то шалить... / И рассеянно из чаши / Пену пить, а влагу лить...* (И. Анненский, С четырех сторон чаши).

локном (М. Жванецкий, Миниатюры); *Это широко рекламировавшееся средство омоложения представляло собой вытяжку из семенных желез животных* (М. Одесский, Д. Фельдман, Легенда о великом комбинаторе).

Вообще, в гнезде прилагательного *молодой* широко представлены производные, указывающие на впечатление от внешности: *моложавый* = 'такой, который выглядит молодым, моложе своих лет'; *омолодить* = 'возвратить признаки молодости состарившемуся организму'; *подмолодить* = 'придать кому-л. более молодой, свежий вид'; *подмолодиться* = 'придать себе более молодой, свежий вид'; ср. также анализ глагола *молодиться* выше. Ничего похожего в гнезде *старый* нет.

Итак, в семантической структуре *стареть*, наряду с главной лексемой *стареть* 1, обозначающей факт, следует выделить вторую лексему *стареть* 2, обозначающую впечатление от чьей-л. внешности или самочувствие субъекта. В семантической структуре *молодеть* главной безусловно является лексема *молодеть* 1, обозначающая впечатление от чьей-л. внешности или самочувствие субъекта. Лексема *молодеть* 2, обозначающая факт, может быть признана только потенциальной.

По-видимому, так своеобразно в естественном языке преломляется реально существующее в жизни различие между обратимыми и необратимыми процессами; ср. симметрично устроенную пару типа *увеличиваться* — *уменьшаться* (обратимый процесс) и асимметричную пару *стареть* — *молодеть* (необратимый процесс).

Перейдем ко второму словообразовательному и лексикографическому типу — отадъективным каузативным глаголам с суффиксом *-ить*. Здесь мы находим почти ту же оппозицию 'факт' VS. 'впечатление', которая, однако, предстает как семантически мотивированная, по крайней мере отчасти, различием двух классов фундаментальной классификации предикатов — действий и воздействий.

Поскольку терминология классификации предикатов еще не устоялась, необходимо пояснить, какой смысл вкладывается в понятия действий и воздействий в работах автора. В статье [Апресян 2003] они были определены следующим образом.

Действием (*звонить кому-л.*, *идти куда-л.*, *копать что-л.*) называется глагол, у которого в вершине ассертивной части толкования на последней ступени семантической редукции обнаруживается семантический примитив 'делать', причем время существования ситуации, называемой данным глаголом, укладывается в один раунд наблюдения. Первый актант действий — агенс, целенаправленно изменяющий мир, частицей которого является и он сам.

Воздействием называется глагол, у которого в вершине ассертивной части толкования на последней ступени семантической редукции

обнаруживается семантический примитив 'быть причиной', причем время существования ситуации, называемой данным глаголом, существенной роли не играет. Примеры воздействий: *Шорох в кустах заставляет его остановиться, Парик изменил его до неузнаваемости, Дожди размывают железнодорожное полотно, Ураган разрушил все деревянные дома в поселке* и т. п. Первым актантом воздействий является не агенс, наделенный суверенной волей, а какая-то неодушевленная сила, факт или свойства предмета, изменяющие мир⁵. Семантическая структура воздействий, а именно наличие значения причины и отсутствие значения цели, предопределяет их главные отличия от действий даже в тех случаях, когда формальным подлежащим при глаголе является название человека. Ср. *Она заставила о себе говорить очень рано*: если в ее планы не входило стать предметом разговоров, то она здесь выступает не в роли агенса, а (метонимически) в роли причины.

Теперь можно сформулировать следующие тенденции распределения значений.

Отадъективные каузативные глаголы на *-ить* со значением действия обычно описывают факты и, следовательно, толкуются по общей схеме 'делать так, что объект X становится Р'; ср. *воронить, грязнить, кривить (рот), мельчить (жмыхи для скота), мочить, острить (меч, топор), святить (воду), сушить, тупить* и т. п.

Отадъективные каузативные глаголы на *-ить* со значением воздействия обычно обозначают впечатления. Таковы, например, глаголы *бледнить, взрослеть, молодить, полнить, старить, толстить*, толкуемые по общей схеме 'быть причиной того, что человек X выглядит более Р, чем он есть на самом деле' Ср.: *А мне еще все говорят: сними, оно бледнит* (Л. Петрушевская, Сырая нога, или встреча друзей); *Салатный лучше не носить вообще — он бледнит* (Г. Щербакова, Армия любовников); *В этом костюме я приду на свой первый урок. Он меня взрослит, правда?* (Розов, МАС); *«Пушкин нам кажется старше себя, а Лермонтов моложе, потому что он глупее, глупость очень молодит»*, — заметила Р (М. Гаспаров, Записи и выписки); *Она очень растолстела, что, говорят, молодит женщину; но и на этой белой толщине были заметны крупные мягкие морщины* (Л. Н. Толстой, Два гусара); *Это платье ее полнит* (БАС); *Монгольский склад старил его лицо, все время морщившееся сочувственной улыбкой* (Б. Пастернак, Доктор Живаго); *И наконец гениальный порт-*

⁵ Этим, между прочим, объясняется тот факт, что у прототипических воздействий в узусе отсутствуют формы 1-Л и 2-Л: у них нет разумной прагматической мотивации.

рет, <...> если он написан давно, не довольствуется тем, что старит оригинал (Марсель Пруст, Под сенью девушек в цвету); *Ватные брюки и подтянутая ремнем телогрейка толстили его* (Ажаев, МАС)⁶

4. Подвижность границ между фактами, впечатлениями и мнимым миром. Границы между лексемами, обозначающими факты, впечатления и мнимый мир, весьма подвижны. Точнее говоря, язык устроен так, что одна и та же лексема может обозначать и факт, и впечатление, и мнимый мир.

Для глагола *выглядеть*, например, как было показано выше, прототипическим является значение впечатления, т. е. такого образа мира, в истинности которого субъект не уверен. Ср. *Он выглядел уставшим, На фоне местных алкашей я выглядел педантом* (С. Довлатов, Заповедник). Та же лексема может в определенных условиях сдвигаться либо в сторону объективного *быть*, либо в сторону обманного *мерещиться*.

Сдвиг в сторону объективности обычно происходит в тематической позиции, особенно в контексте «объективных» указательных наречий *иначе, так, следующим образом*, и т. п., которые берут на себя функцию ремы. Ср. *В Новой газете сообщение об этом событии выглядело иначе* [т.е. было иным]; *Наш производственный процесс выглядел следующим образом: с утра мы садились и играли в сику* (Вен. Ерофеев, Москва — Петушки).

Сдвиг в сторону мнимости возникает у *выглядеть* в рематической позиции, более конкретно — в контексте следующих принципиально рематизирующих языковых средств: а) в абсолютных конструкциях с нереализованной валентностью содержания впечатления; б) в контексте кванторных частиц *только, лишь и просто*; в) под логическим (контрастным) ударением⁷. Ср. [*М. Цветаева*] *просто была*,

⁶ Для тех глаголов, которые выражают идею возраста, к этой общей схеме добавляется еще один субъективный компонент — «...выглядит или чувствует себя более Р»; ср.: «*Романовки во как поднялись, а за украинки дают трешку за сотню, советские и те дороже!*» — *Это меня молодит, — рассмеялся Хуренито, — думал ли я, что на старости лет попаду к себе на родину!* (И. Эренбург, Необычайные похождения Хулио Хуренито); *Бог мой, вот бы он снова принялся меня обманывать, это только польстило бы мне, меня это молодит* (Марсель Пруст, Обретенное время).

⁷ Вопреки ожиданиям, под отрицанием и главным фразовым ударением *выглядеть* (как и *казаться*) не превращается в рему (точнее, не входит в рематическую часть высказывания). Ср. *Он не выглядел уставшим* = *Он не производил впечатление уставшего человека*. Отрицание здесь смещенное, следовательно, роль ремы в таких конструкциях выполняет присвязочная

а не слыла, выглядела, казалась (А. Эфрон, Страницы воспоминаний); *Она только* ↓↓ *выглядит здоровой, на самом деле она очень больной человек*. По-видимому, похожий сдвиг происходит и в словосочетаниях, указывающих на трудные условия восприятия (большое расстояние, недостаточное или чрезмерное освещение, туман и т. п.) как на причину, искажающую впечатление от объекта. Ср. *В сумерках ее лицо выглядело совсем молодым*.

Любопытно, что если для слов типа *выглядеть*, занимающих срединное положение на шкале «факт — впечатление — обманный мир», возможно скольжение к обоим полюсам, то для полярных слов (конечно, далеко не для всех и не всегда) возможно скольжение к середине шкалы. Так, *чудиться* (не в положении ремы), в отличие от *мерещиться*, может обозначать вполне реалистическое впечатление. Ср. *Он уже засыпал, когда ему почудился какой-то звук в коридоре; он прислушался: кто-то возился с дверным замком; И дважды опять-таки почудилось финдиректору, что потянуло по полу гнилой малярной сыростью* (М. Булгаков, Мастер и Маргарита) [действительно потянуло].

Аналогичные сдвиги представлены на материале удивительно интересного глагола *послышаться*, с той разницей, что различия между тремя смыслами маркированы в его употреблении гораздо более четко. Иными словами, нельзя исключить, что он состоит из трех лексем. В первом приближении их можно задать следующими квазисинонимами: 1) 'раздаться' [факт], ср. *Почти одновременно послышалось усиливающееся цоканье металла по мрамору, бронзовый звук судьбы* (Ф. Искандер, Сандро из Чегема); 2) 'донестись до кого-л., причем субъект мог ослышаться' [впечатление], ср. *А когда наконец рассвело, послышалось под окнами сквозь шум и грохот вьюги уже совсем явственно, совсем не так, как всю ночь мерещилось, что кто-то подъехал* (И. Бунин, Лапти); 3) 'почудиться, примерещиться' [мнимый мир], ср. — *Мне послышалось, — ответил кот* (М. Булгаков, Мастер и Маргарита). Ниже дается их интегральное описание⁸

Лексема *послышаться* I всегда находится в тематической части высказывания, обычно в постпозиции к субстантивному подлежаще-

часть сказуемого. То же относится и к связке *быть*, с той разницей, что она в этой функции становится энклитикой при отрицании.

⁸ Все три значения зафиксированы в словаре В. И. Даля (но не в других толковых словарях русского языка): *Вдруг послышался колокольчикъ, раздался звон, стал слышным; || Мнѣ послышалось, показалось, что слышу. Это тебѣ только послышалось, почудилось, ничего не было* [Даль 1882: 336]. См. также [Апресян 1997: 471] и [Падучева 2004: 209, 212].

му (в нашем материале — 17 случаев из 20)⁹; для нее характерен контекст слов, указывающих на то, что источник звука пространственно отделен от местоположения потенциального субъекта восприятия, причем валентности субъекта восприятия у *послышаться* 1 нет. Ср. *В наступившей тишине послышалось завывание норд-оста* (В. Аксенов, Остров Крым); *Послышалось стремительное приближающееся фырканье малоомощного моторчика, визгливо заскрежесали тормоза* (Б. Акунин, Алтын-Толобас); *Из номера послышалось слабое рычание затравленного конкурента* (И. Ильф и Е. Петров, Двенадцать стульев); *В это время под скамьей что-то заворчало, вслед за ворчаньем послышалось шипенье* (А. П. Чехов, Беспокойный гость)¹⁰

Лексема *послышаться* 2, обозначающая впечатление, тоже находится в тематической части высказывания в препозиции к подлежащему; для нее характерны придаточные подлежащие, вводимые союзами *что*, *как и будто*; у нее есть синтаксически обязательная валентность субъекта восприятия, потому что впечатление всегда принадлежит конкретному человеку: *Клим у послышалось, что вопрос звучит иронически* (М. Горький, Жизнь Клима Самгина); *Ей послышалось, как будто в мастерской что-то тихо пробежало, по-женски шурша платьем, и когда она поспешила заглянуть в мастерскую, то увидела только кусок коричневой юбки* (А. П. Чехов, Попрыгуны); *В четверть третьего мне послышалось, будто сверху доносятся приглушенные крики, однако я не мог бы поручиться, что не обманываюсь* (Б. Акунин, Любовьница Смерти).

Лексема *послышаться* 3, описывающая фрагмент мнимого мира, всегда образует рему высказывания, маркируемую стандартным набором средств (главное фразовое ударение, контекст частиц *только*, *просто* и т. п., вопросительные и отрицательные предложения); для нее характерна безличная конструкция; у нее тоже есть семантическая валентность субъекта восприятия, которая синтаксически факультативна.

⁹ Если подлежащее выражено не существительным, а прямой речью, то оно, напротив, чаще всего предшествует глаголу-сказуемому: — *Зорин, ты здесь?* — *послышалось из палатки* (В. Белов, Воспитание по доктору Споку); — *Хозяин!* — *послышалось у калитки* (Н. Думбадзе, Я, бабушка, Илико и Илларион); — *Ладно,* — *послышалось из тумана* (В. Гиляровский, Москва и москвичи).

¹⁰ Тяготение к препозиции по отношению к субстантивному подлежащему — характерная черта всех экзистенциальных глаголов, а *послышаться*, вместе с другими глаголами восприятия (ср. выше примеры типа *Вдали показался человек в белом*, *Впереди маячили столбики ограждения*, *В лунном свете замелькали черные фигуры*, *Слышались шаги по каменным плитам*), образует один из подклассов этого класса.

тивна, т. е. может оставаться нереализованной. Ср. *В чем же дело? Кто произнес те слова? Он, или мне только послышалось?* (А. П. Чехов, Шуточка); — *Это я, сестра Пелагия с архиерейского подворья! Послышалось, что ли? Ни звука* (Б. Акунин, Пелагия и белый бульдог); *Он объяснил, что и эта уже вторично попадающаяся Индия, и предбанник — это вовсе не бред и не послышалось мне* (М. Булгаков, Театральный роман)¹¹

О подвижности границ между реальностью, впечатлениями и мнимым миром, как они представлены в языке, свидетельствует и то, что существуют бесспорно многозначные слова, сочетающие в своей семантической структуре все три типа значений. В этом отношении интересно слово *точно*. Оно принадлежит сразу к трем частям речи — наречиям (*точно знать*), частицам типа *вроде, как будто* (*Ты точно расстроен чем-то?* (Помяловский, МАС)) и сравнительным союзам (*точно с неба свалился*)¹²

Для *точно* в роли наречия характерна референция к факту. Ср. *точно известно, сообщите точно, прибыть точно в установленный срок, привести поезд точно по расписанию*.

В роли частицы *точно* имеет значение впечатления, или, по определению МАСа, «указывает на неуверенность, предположительность высказывания, на сомнение в достоверности чего-л., обозначая: кажется, вроде»; ср. — *Я ваши глаза точно где-то видел* (Достоевский, МАС).

Наконец, в роли сравнительного союза *точно*, подобно метафоре, вводит в рассмотрение, помимо реального мира, еще и какой-то воображаемый, мнимый мир. Ср. *Ноги у Мусы точно ртутью налились. Ступни саднило, сбитые о корни пальцы мучительно горели* (Б. Полевой, МАС); *На возу лежит казак, <...> лицо черно от загара, глаза красны от ветра, а борода склеена потом, пылью — точно каменная* (М. Горький, Женщина); *Бедная Настенька сидела бледная, точно мертвая* (Ф. М. Достоевский, Село Степанчиково); *Глаза ее тихо светились, и лицо улыбалось, точно сквозь дымку* (И. С. Тургенев, Первая любовь); *Из-за забора видны были, точно белые облака, цветущие вишни, яблони и сливы* (Л. Толстой, Воскресение).

¹¹ Ни в коем случае не утверждается, что любое употребление глагола *послышаться* укладывается в эту по необходимости идеализированную схему; ср. следующий замечательный пример: — *Примерещилось, что послышалось, — пояснил Омар, не подымая головы* (Ф. Искандер, Сандро из Чегема).

¹² В словарях *точно* в роли наречия, с одной стороны, и *точно* в роли союза и частицы, с другой, описываются как омонимы, но семантических оснований для этого нет.

Интересны письменные контексты, в которых возможно осцил-лирование между первым и третьим значениями, т. е. значениями факта и воображаемого мира; ср. *Он точно воспроизводил его манеру говорить*; *Он точно решил трудную задачу*. В устной речи эта «омо-графия» разрешается, причем именно теми просодическими средст-вами, которые используются и в других случаях такого рода: если *точно* произносится с главным фразовым ударением (*Он [↓]точно вос-производил его манеру говорить*, *Он [↓]точно решил трудную задачу*), то перед нами наречие с фактивным значением; если *точно* фразово безударно (*Он точно [↓]воспроизводил его манеру говорить*, *Он точно [↓]решил трудную задачу*),¹³ то перед нами сравнительный союз, вводя-щий воображаемый мир

Напомню еще хорошо известный в литературе пример с прилага-тельным *настоящий*: *Это [↓]настоящее вино* (под главным фразовым ударением реализуется фактивное значение, ≈ 'Это вино, и притом оно обладает главным свойством всякого хорошего вина') VS. *Это настоящее [↓]вино* (без фразового ударения реализуется путативное и сравнительное значение, ≈ 'Какие-то свойства этого напитка напоми-нают вино, хотя у нет главного свойства вина'). Эти два значения раз-личаются и во всех словарях русского языка.

5. Заключение. В заключение подчеркну еще раз, что каждая из выде-ленных областей на пути от истины ко лжи представлена большим числом языковых средств очень разной природы. Богатство этих средств и их разнообразие — красноречивое свидетельство того, что все выделенные смыслы являются для русского языка системными, а некоторые из них и системообразующими.

ЛИТЕРАТУРА

Апресян 1974 — Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.

¹³ Приведу реальный пример такого рода — отрывок из письма Б. Пас-тернака Тамаре Яшвили, вдове грузинского поэта Паоло Яшвили, который покончил жизнь самоубийством за день до того, как за ним пришли: «Я вдруг то тут, то там стал ловить черты какого-то бесподобного сходства с ушед-шим. Все это было непередаваемо хорошо и страшно его напоминало. Я ви-дел куски и вырезы его духа и стиля: его траву и воду, его осеннее садящееся солнце, его тишину, сырость и потаенность. Так именно бы он и сказал, как они горели и хоронились, перемигивались и потухали. Закатный час точно подражал ему или воспроизводил его на память».

- Апресян 1997 — *Апресян Ю. Д.* Словарная статья *Чудиться* // *Апресян Ю. Д., Богуславская О. Ю., Гловинская М. Я., Крылова Т. В., Левонтина И. Б., Урысон Е. В.* Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск / Под общим руководством акад. Ю. Д. Апресяна. М., 1997.
- Апресян 2003 — *Апресян Ю. Д.* Фундаментальная классификация предикатов и системная лексикография // Грамматические категории: иерархии, связи, взаимодействие. Материалы международной научной конференции. СПб., 2003. С. 7–21.
- Апресян 2004 — *Апресян Ю. Д.* Словарные статьи *Воображать 1, Выглядеть, Казаться 1, Ошибаться, Притворяться, Хвастаться, Чудиться* // НОСС 2004.
- Апресян, Гловинская 2004 — *Апресян Ю. Д., Гловинская М. Я.* Словарная статья *Ругать 1* // НОСС 2004.
- Арутюнова 1992 — *Язык цели* // Логический анализ языка. Модели действия. М., 1992. С. 14–23.
- Богуславская 2004 — *Богуславская О. Ю.* Словарная статья *Причина 2* // НОСС 2004.
- Брызгунова 1977 — *Брызгунова Е. А.* Звуки и интонация русской речи. М., 1977.
- Даль 1882 — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. Т. 3. П. СПб., 1882.
- НОСС 2004 — Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 2-е издание, исправленное и дополненное / Под общим руководством акад. Ю. Д. Апресяна. М., 2004.
- Падучева 2004 — *Падучева Е. В.* Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.
- Шведова 2005 — *Шведова Н. Ю.* Русский язык: Избранные работы. М., 2005.
- Fillmore 1968 — *Fillmore Ch. J.* Lexical Entries for Verbs // *Foundations of Language. International Journal of Language and Philosophy.* 1968. Vol. 4. No. 4.
- Fillmore 1969 — *Fillmore Ch. J.* Types of Lexical Information // *Studies in Syntax and Semantics* / Ed. by P. Kiefer. Dordrecht, 1969.

Е. Г. ДРАГАЛИНА-ЧЕРНАЯ

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ В ВОЗМОЖНЫХ МИРАХ? СЕМАНТИКА ВЕРЫ И НЕВЕРИЯ

Если бы человек во сне оказался в Раю и получил цветок в доказательство того, что он там побывал, и если бы, проснувшись, он обнаружил этот цветок в своей руке... что тогда?

С. Т. Колридж

Объекты, существующие в реальности, характеризуются целостностью и конкретностью. Обладают ли этими качествами концептуальные объекты, «обитающие» в эпистемически возможных мирах, или же разговор о подобных объектах, как, впрочем, и о самих мирах, — лишь аналитический прием, форма речи об объектах реальных? Допустим ли, пусть только в одном исключительном случае, переход от концептуального объекта к объекту реальному? Положительный ответ на этот вопрос почти тысячу лет назад дал Ансельм Кентерберийский (1033-1109), изложивший в своем сочинении «Прослогион» доказательство бытия Бога, позже названное онтологическим аргументом.

В отличие от других доказательств бытия Бога, опирающихся на эмпирические данные или моральный императив, онтологический аргумент апеллирует только к разуму и воле. «Прослогион» начинается с призыва к «человечишке» — «опростай в себе место для Бога», «войди в опочивальню» ума твоего и, «затворив дверь», ищи Бога. С самого начала он предполагает особую установку, волевое усилие, с которым внимание направляется вовнутрь, то усилие, которое еще Платон называл «повернуть глаза души». «Ибо я не разумею ищу, чтобы уверовать, но верую, чтобы уразуметь» [Ансельм Кентерберийский 1995: 128]. Не случайно «Прослогион» первоначально был назван Ансельмом «*Fides quaerens intellectum*» — «Вера, ищущая уразумения». Но также не случайно и переименование его в «*Proslogion*» — «Слово к внемлющему», поскольку онтологический аргумент носит диалогический характер, обращаясь не к идеальному разуму трансцендентального субъекта, а к семантической компетенции реального «человечишки», вос-

принимającego доказательство и понимающего язык, на котором оно сформулировано.

Согласно Ансельму, простой семантической компетенции, понимания смысла слова «Бог» достаточно, чтобы прийти к утверждению Его бытия. Бог, — дает Ансельм так называемое минимальное определение, — есть «то, больше чего нельзя помыслить». Понимание этого определения влечет существование в уме понимающего особого объекта, имя которому — «то, больше чего нельзя помыслить». Это важное положение онтологии Ансельма и практически всей схоластики — то, что понимается, существует в понимании. Картина, задуманная художником, — приводит пример Ансельм, — существует в уме (*animo*) художника как некая часть его разума (*intelligentiae*). Будучи нарисованной, она получит большее существование — в его произведении (*in opere*) (см. [Ансельм Кентерберийский 1995: 148]). Картина, созерцаемая художником во «внутреннем речении» (*locutio mentis*), и картина, нарисованная им, — одна и та же картина, обладающая, правда, большим или меньшим бытием. «Проговаривание» вещи «во внутреннем речении» влечет, согласно Ансельму, существование этой вещи в понимании. Это существование позже будет называться интенциональным, объективным, ментальным (*esse intentionale, objectivum, mentale*) и окажется на рубеже XIII-XIV вв. в центре теологического спора об онтологическом статусе божественных идей (*rationes rerum*)¹. Вместе с тем интенциональным бытием могут обладать отрицания, «лишенности» и вымышленные объекты с неопределенной сущностью, такие как козлоолени, химеры или кентавры. Поэтому решающий шаг аргументации Ансельма — обоснование возможности и даже необходимости перехода от интенционального существования в уме (*in intellectu*) к реальному существованию (*in re*), правда, для одного-единственного случая интенционального существования.

Итак, «то, больше чего нельзя помыслить», будучи понимаемым, существует в уме понимающего. Однако то, что существует в реальности, больше того, что существует только в интеллекте, поскольку не зависит в своем существовании от интеллекта. Следовательно, если бы «то, больше чего нельзя помыслить» существовало бы лишь в уме, но не в реальности, то можно было бы помыслить нечто иное, что было бы больше «того, больше чего нельзя помыслить». Прихо-

¹ Согласно учению Иоанна Дунса Скотта (ок. 1266 — 1308) вещи, сотворенные Богом, существовали до своего сотворения в понимании Бога *виртуально*, обладая «уменьшенным бытием» (*esse diminutum*). Существование он рассматривает как модальность сущности: всякой сущности соразмерна определенная степень существования.

дим к противоречию, возникающему просто потому, что «то, больше чего нельзя помыслить» не может обладать таким незначительным «модусом бытия». Следовательно, существуя в уме, оно существует и в реальности. «Ибо значение (*significatio*), — замечает Ансельм, — этого выражения (*prolationis*) содержит в себе такую силу, что о том, о чем оно сказывается, уже тем самым, что оно представляется и мыслится, доказывається, что оно существует в действительности» [Ансельм Кентерберийский 1995: 164–165].

Каким же образом подобная очевидность бытия Абсолюта совместима с фактом неверия, признаваемым самим Священным Писанием? Как мог «безумец» (*insipiens*), упоминаемый в Псалтири, сказать: «нет Бога»? — ставит вопрос Ансельм («Сказал безумец в сердце своем: нет Бога» [Пс. 13, 1; 52, 1]). Совершенно непонятно, как он вообще смог это произнести? Как ему позволила это семантика? Почему семантика не предотвратила ложь в том редчайшем случае, когда истина удостоверена таким блестящим логическим доказательством, апеллирующим именно к семантике? Не является ли, в свою очередь, безумием обращаться к семантической компетенции «безумца», нарушающего элементарные семантические правила?

Определенный ответ на эти вопросы возможен, на мой взгляд, при перформативном истолковании онтологического аргумента. С перформативной точки зрения любое доказательство есть демонстрация того, каким образом исполнение простых когнитивных актов делает возможным компетентное исполнение более сложного когнитивного акта и оказывается переходом не от одних истинных высказываний к другим, а от одних обоснованных действий к другим, получающим таким образом свою обоснованность. Такого рода обосновывающим действием в случае онтологического аргумента оказывается референция к «тому, больше чего нельзя помыслить». Референция к столь необычному объекту представляет собой особый рефлексивный акт, в котором «познающий интеллект осознает себя познающим», будучи обращен сразу к двум уровням: предметному уровню «вещи, о которой идет речь» и метауровню «мысли об этой вещи». Рефлексивную природу понятия о «том, больше чего нельзя помыслить» подчеркивает сам Ансельм в полемике с монахом Гаунило из Мармутье, выступившим «в защиту безумца». Гаунило упрекает Ансельма в некорректном переходе от понятия «большее из всего» к утверждению реального бытия «того, что больше всего». «Ведь не одно и то же значение имеет (*non enim idem valet*), — отводит это обвинение Ансельм, — „большее из всего“ и „то, больше чего нельзя себе представить“ для доказательства того, что то, о чем говорится, существует в действительности... Ведь первое („большее всего“) нуждается в другом, (до-

полнительном) доводе, кроме того, что оно называется большим из всего; для второго же („то, больше чего нельзя себе представить“) не нужно ничего другого, кроме его собственного звучания: „То, больше чего нельзя себе представить“» [Ансельм Кентерберийский 1995: 159–160]. Осуществляя рефлексивную референцию к «тому, больше чего нельзя помыслить», рациональный субъект не только может, но и обязан мыслить объект своей референции реально существующим.

Вместе с тем перспектива «первого лица», то есть субъекта, проводящего доказательство, оказывается неустранимой из онтологического аргумента. Заключением аргумента является не бытие Абсолюта, а немыслимость его небытия для субъекта, осуществляющего референцию к Абсолюту как к «тому, больше чего нельзя помыслить». Следует ли отсюда реальное существование «того, больше чего нельзя помыслить», — вопрос нетривиальный. Во-первых, возникает вопрос об обоснованности перехода от «немыслимости небытия» к «мыслимости бытия» объектов, задаваемых непредикативными определениями, к числу которых относится «минимальное определение» Ансельма. Как известно, именно такие определения фигурируют во многих знаменитых парадоксах, например, в парадоксе Рассела. Во-вторых, с точки зрения «внешнего наблюдателя», воспринимающего перформативное доказательство в режиме *de dicto*, оно может и не обладать логической принудительностью.

«Иначе ведь представляется вещь, — пишет Ансельм, — когда представляется звук (*vox*), ее обозначающий; иначе, когда мыслится само то, что есть вещь. В первом значении можно представить себе, что Бога нет, во втором — ничуть не бывало» [Ансельм Кентерберийский 1995: 130]. «Безумец», приглашенный Ансельмом к диалогу, может не воспринимать дескрипцию, предложенную Святым, «все-речь» как действительно описывающую «объект речения». «Держа в мысли речения», он осуществляет лишь отсылочную, «притворную» референцию к «тому, больше чего нельзя помыслить», чем придает всему онтологическому аргументу статус «притворного» (и в этом смысле художественного) повествования². Тем самым приостанавливается «нормальная иллюкутивная ответственность» (выражение

² «Главное свойство понятия притворства, — пишет Дж. Серль, — состоит в том, что можно делать вид, будто осуществляешь действие более высокого ранга или более сложное, на самом деле осуществляя действия более низкого ранга или менее сложные... В терминологии Остина, автор притворяется, будто осуществляет иллюкутивные акты посредством того, что на самом деле осуществляет фонетические или фатические акты» [Серль 1999: 41].

Дж.Серля) «безумца»: он освобождается от обязанности выведения логических следствий, предполагаемой нормальной референцией³.

Аргумент Ансельма, воспринимаемый как художественный текст, приобретает модальный характер: только эта модальность носит не внутренний, а внешний характер. Для субъекта доказательства, осуществляющего нормальную, подлинную референцию, бытие «того, больше чего нельзя помыслить» доказано абсолютно, вне какого-либо модального контекста. Однако «внешнего наблюдателя» такая аргументация может не убедить. Повествование, воспринимаемое как художественное, как бы помещается им в модальную рамку, наличие которой может быть выражено, например, нарративными операторами: «В романе таком-то...», «Согласно писателю такому-то...» Скажем, интерпретация высказывания «Шерлок Холмс неженат» как «Согласно Конан Дойлю, Шерлок Холмс неженат» перемещает оценку его истинности в «мир рассказов Конан Дойля»⁴. Аналогичным образом, онтологический аргумент, интерпретируемый как художественный текст, предполагает имплицитный нарративный оператор «Согласно Ансельму Кентерберийскому, ...», «Согласно концепции «Прослогиона», ...». Таким образом, интенциональный объект «то, больше чего нельзя помыслить» существует в концептуальном мире «внутреннего речения» Ансельма, не существуя в мире «безумца», даже осознающего убедительность доказательства Ансельма для самого Ансельма.

Вместе с тем остается открытым важный вопрос: к какому все же объекту осуществляет референцию «безумец», сказавший «в сердце своем: нет Бога»? «Прочитывая» онтологический аргумент как художественный текст, «безумец» может, на мой взгляд, осуществлять референцию не к его эксплицитно выраженному содержанию, а к тому культурному фону коллективных представлений, которым всегда сопровождаются значительные художественные повествования. Отмечая факт «культурализации» художественного творчества, Г.-Н.Кастанеда

³ Вероятно, именно это обстоятельство позволило А.Шопенгауэру называть онтологический аргумент всего лишь «очаровательной шуткой».

⁴ Безусловно, введение нарративных операторов не решает все проблемы логического анализа художественных текстов. Как отмечает А.Д.Шмелев, «извлечение из художественного текста истин относительно соответствующего вымышленного мира не всегда является тривиальной задачей. Никакой текст не может быть полностью эксплицитен относительно всех характеристик соответствующего мира, и неясно, насколько мы вправе восполнять недостающие сведения данными, почерпнутыми из наблюдений над нашим миром» [Шмелев 2002: 239–240].

пишет: «великие литературные герои, в конце концов, не принадлежат какому бы то ни было конкретному произведению: никакой нарративный оператор не может охватить во всей полноте все «жизненные» атрибуты героя. Такие герои, как Гамлет, Фауст, Дон Жуан, Дон Кихот, Анна Каренина, Нора, Эдип и другие, сравнимые с ними по масштабу герои — это часть нашего живого культурного наследия...» [Кастанеда 1999: 78].

Именно экспликация основного содержания фона коллективных представлений о Боге представляется центральной задачей пяти знаменитых доказательств бытия Бога, предложенных Фомой Аквинским (ок. 1224 — 1274). Косвенным подтверждением этой интерпретации служит тот факт, что каждый из пяти «путей» Фомы завершается не стандартным для доказательств оборотом «что и требовалось доказать», но словами «и это все называют Богом» (*et hoc dicimus Deum*)⁵.

Бытие Бога *само по себе* самоочевидно, — полагает Фома, — и было бы очевидным *для нас*, если бы мы знали, что есть Бог. Однако люди не в состоянии познать сущность Бога, и Его бытие не является известным *само по себе*. «Следовательно, — заключает Фома, — существование Бога, поскольку оно не самоочевидно для нас, может быть доказано из тех Его действий, которые известны нам» [Фома Аквинский 2001: 53]. Сам метод Фомы — переход от конечного тварного бытия к бесконечному Творцу — предопределяет то обстоятельство, что каждый из предложенных им «путей» не приводит к дефиниции Бога («де-финиция» — ограничение, оконечивание), а скорее является ин-финицией, раз-ограничением «по способу превышения и отрицания» (*et per modum excellentiae et remotionis*) (см. [Там же: 125]). Согласно Фоме, «из действий Бога можно доказать существование Бога, хотя из них мы не можем совершенным образом познать Бога, как Он есть в своей сущности» [Там же: 54]. Человеческий опыт ограни-

⁵ «Пять путей» Фомы заканчиваются следующими фразами. 1. «Следовательно, необходимо дойти до некоторого перводвигателя, который сам не движим ничем иным; и под ним все разумеют Бога». 2. «Следовательно, необходимо положить некую первую производящую причину, каковую все именуют Богом». 3. «Поэтому необходимо положить нечто необходимое само по себе, не имеющее внешней причины своей необходимости, но само составляющее причину необходимости всего иного необходимо сущего; по общему мнению, это есть Бог». 4. «Отсюда следует, что есть нечто, являющееся для всего сущего причиной блага и всякого совершенства; и ее мы именуем Богом». 5. «Следовательно, есть разумное существо, которое все природные вещи направляет к цели; и его мы именуем Богом» (см. [Фома Аквинский 2001: 55–56]).

чен конечными вещами, бытие которых всегда является «бытием чем-то», «существованием по причастности». «Наша же душа, пока мы обретаемся в этой жизни, — пишет Фома, — имеет свое бытие в телесной материи, а потому естественным образом познает только то, что имеет форму в материи, или то, что может быть познано с помощью чего-то в этом роде» [Там же: 118]. Конечные вещи обладают бытием, но не есть бытие как таковое. Бог же есть чистый акт бытия без какой-либо «примеси потенциальности». Поэтому, доказав истинность высказывания «Бог есть», мы не можем не только познать сущность Бога, но и осознать в полной мере смысл глагола «есть» в этом высказывании. Комментируя слова Дионисия о том, что Бог не является существующим, но «выше существования», Фома отмечает: «Бог не в том смысле называется не существующим, как если бы Он вовсе не существовал; но в том смысле, что Он превосходит все существующее, поскольку Он есть свое бытие. Отсюда не следует, что Бог никоим образом непознаваем, но лишь то, что Он превосходит всякое познание; это и означает, что Он непостижим» [Там же: 99].

Люди могут мыслить о бытии Бога лишь неопределенно, аналогично (*analogice*), в модусе согласия (*assensus*). Даже объединение инфиниций, задаваемых всеми пятью «путями» Фомы, не даст дефиниции Бога. Бог, — говорит Фома, — является совершенно простым, и «именно ущербностью подобия объясняется то обстоятельство, что нечто простое и одно может быть представлено только посредством многого [Там же: 63]. Впрочем, и «минимальное определение» Бога, лежащее в основании онтологического доказательства Ансельма Кентерберийского, оборачивается, в конечном счете, признанием собственной недостаточности. «Ведь сколь велик, — пишет Ансельм, — свет тот, от которого имеет сияние все истинное, что светит разумному уму! Сколь поместительна та истина, в которой все истинно, а вне которой лишь ничто — и все ложно. Сколь поместительна она, видящая одним усмотрением (*intuitu*) и все, что когда-либо было создано, и кем, и через кого и как оно из ничего было создано! Какая там чистота, какая простота, какая надежность и какой блеск! Явно больше, чем тварь может уразуметь. Значит, Господи, Ты не только то, больше чего нельзя представить, но сам Ты есть нечто большее, чем можно представить» [Ансельм Кентерберийский 1995: 138].

Употребляя имя *Бог*, люди не проникают в Его сущность, но приходят все же к определенному взаимопониманию, обеспечивающему возможность коммуникации. «Ведь имя *Бог*, — замечает Фома, — как оно берется для обозначения истинного Бога, присутствует в понятии (*in ratione*) Бога, когда Он именуется согласно мнению или в силу приобщения. Ибо, когда мы называем кого-то Богом в силу приобще-

ния, мы под именем *Бога* понимаем то, что имеет некое сходство с истинным Богом. Подобным образом, когда мы идола называем Богом, мы понимаем, что именем *Бог* обозначается нечто, являющееся в людском мнении Богом. Итак, ясно, что значения имени различны, но одно из этих значений содержится в других значениях. Поэтому очевидно, что они сказываются по аналогии» [Фома Аквинский 2001: 147–148] Томистское «именование по приобщению» имеет, на мой взгляд, много общего с принципом «семейного сходства» позднего Витгенштейна. «Как же тогда объяснить кому-нибудь, что такое игра? — спрашивает Л. Витгенштейн. — Я полагаю, что следует описать ему *игры*, добавив к этому: „Вот это и *подобное* ему называют „играми“» [Витгенштейн 1994: 112]⁶. Только единство «языковой игры» как «формы жизни» делает возможным понимание. Если бы лев умел говорить, — предполагает Витгенштейн, — мы бы его не поняли.

Таким образом, актуальный мир совокупного человеческого опыта складывается из множества возможных миров, «форм жизни», «языковых игр» и не может рассматриваться поэтому как «один из» возможных миров. «Возможные объекты» — не подлинные индивиды с особым онтологическим статусом «чистой возможности», а схемы, способы концептуализации актуального мира. Вопрос не в том, чтобы расселить «возможные индивиды» по объектным областям возможных миров, а в том, чтобы выявить их онтологический статус в актуальном мире, попытаться преодолеть ограниченность различных концептуализаций, прийти к взаимопониманию. И все же у человека, скованного «горизонтальными» конвенциями коммуникации, остается надежда на «прорыв к трансцендентному». Ведь, согласно Фоме Аквинскому, постижение (схватывание) Бога блаженными — «одно из трех дарований души, которое соответствует надежде; так же как созерцание — вере, а наслаждение — любви» [Фома Аквинский 2001: 111].

ЛИТЕРАТУРА

- Ансельм Кентерберийский 1995 — *Ансельм Кентерберийский*. Прослогион // Ансельм Кентерберийский. Сочинения. М., 1995.
- Басос 2002 — *Басос А. В.* «Единственный аргумент» Ансельма Кентерберийского // Истина и благо: универсальное и сингулярное. М., 2002.

⁶ Свой семантический принцип «Не думай, смотри!» Витгенштейн распространяет и на религиозную сферу. Когда ему сообщили, что некто уверовал в Бога, Витгенштейн ответил, что плохо это понимает. Как если бы ему сказали, что кто-то купил канат и положил его дома. «Посмотрим, как он будет по нему ходить!».

- Витгенштейн 1994 — *Витгенштейн Л.* Философские исследования // *Витгенштейн Л.* Философские работы (часть 1). М., 1994.
- Гайденко, Смирнов 1989 — *Гайденко В.П. Смирнов Г.А.* Западноевропейская наука в средние века. М., 1989.
- Кастанеда 1999 — *Кастанеда Г.-Н.* Художественный вымысел и действительность: их фундаментальные связи // *Логос.* 1999. № 3.
- Серль 1999 — *Серль Дж.* Логический статус художественного дискурса // *Логос.* 1999. № 3.
- Фома Аквинский 2001 — *Фома Аквинский.* Сумма теологии // *Фома Аквинский.* Онтология и теория познания: фрагменты сочинений. М., 2001.
- Шмелев 2002 — *Шмелев А.Д.* Референция и художественный текст // *Шмелев А.Д.* Русский язык и внеязыковая действительность. М., 2002.

ОБ АНТИРЕФЕРЕНТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА

Французский психолог Франсуаза Баррио изучала восприятие карикатур детьми разного возраста. Семилетние дети, заметив в карикатуре малейший намек на зло и страдание, часто говорят: *Pas drôle* («не смешно») и игнорируют все остальное. Но в 11–12 лет ребенок начинает реагировать по-другому. Например, ему показывают карикатуру, на которой люди сидят в клетке, а обезьяны на них смотрят снаружи. На это 11-летний ребенок говорит очень примечательную фразу: *C'est drôle parce que c'est pas vrai, mais si ça serait vrai ça serait pas marrant* («Смешно, потому что не на самом деле, а если бы было на самом деле, то было бы не смешно») [Bariaud 1983: 198]. Мы схватываем смысл этой фразы на лету, не замечая в ней ничего аномального. А между тем над ней стоит задуматься.

Чему научается ребенок к 11–12 годам? Понимать условность, отличать фантазию от реальности? Ни в коем случае! Эту способность он приобретает гораздо раньше — еще до овладения речью, с момента начала того, что Ж.Пиаже назвал «символической игрой» [McGhee 1979: 58–59]. То, что дело тут вовсе не в этой способности, легко показать, заменив карикатуру любой серьезной («добросовестной») ¹ картинкой, вымышленный сюжет которой вызывает у ребенка какое-либо чувство. Любая фраза, в которой предикат «смешно» будет заменен любым другим оценочным предикатом, подходящим к ситуации, окажется абсурдной, ср.: *Весело, потому что не на самом деле, а если бы было на самом деле, то было бы не весело; Грустно, потому что не на самом деле...; Страшно, потому что не на самом деле...; Удивительно, потому что не на самом деле... и т. д.*

Нет, именно на самом деле и было бы весело, грустно, страшно, удивительно! Художественный вымысел может (благодаря силе ис-

Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 05-01-01141а. Я сердечно признателен Н. Д. Арутюновой, пригласившей меня участвовать в конференции «Между ложью и фантазией», а также Н. Б. Мечковской и Г. Е. Крейдлину за полезные замечания.

¹ Термин «добросовестная коммуникация» (*bona fide communication*) ввели В. Раскин и С. Аттардо для обозначения коммуникации, подчиняющейся прагматическим правилам. Юмор они считают формой «недобросовестной коммуникации» (*non-bona fide communication*) [Raskin, Attardo 1994].

кусства) действовать на нас сильнее, чем реальность, но не *потому что* он не является реальностью, а *вопреки* этому. И лишь один-единственный предикат — «смешно» — может сделать (хотя и не обязательно делает) подобное высказывание осмысленным.

Мы говорили о фантазии. А как обстоит дело с ложью? Допустим, мы получили неприятное известие, а потом оказалось, что нас обманули. Мы рады этому, но можем ли мы оценить данный факт по той же модели? Можно ли сказать *Хорошо, потому что это ложь*? Нет, нельзя. Причинный союз «потому что» создает событийное значение и требует кореферентности (*Это хорошо, потому что это ложь*). Но кореферентности здесь нет (ср. шуточное **Это было давно и неправда*). В терминах Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1998: 406, 441–447], объект нашей оценки — факт (то, что событие не имело места), а не лживое сообщение и уж тем более не вымышленное событие, о котором в нем говорилось. На самом деле мы так не говорим, мы говорим *Хорошо, что это ложь*, или *Хорошо, что это оказалось ложью*, то есть используем пропозитивное значение и оцениваем именно факт. Дальнейшие пояснения по модели приведенного выше высказывания ребенка (*Если бы это была правда, то было бы не хорошо*) — звучали бы трюистично до нелепости. Значит, комизм противостоит и серьезной фантазии, и лжи, причем язык прекрасно выявляет это противостояние.

То, что верно по отношению ко лжи, верно и по отношению к иронии. На ироническое замечание, с переносным смыслом которого мы согласны, можно ответить: *Хорошо, что ты на самом деле так не думаешь!* Но странно прозвучал бы ответ **Хорошо, потому что ты на самом деле так не думаешь*. А вот слова *Смешно, потому что не на самом деле* звучат вполне уместно и мы без труда улавливаем их смысл. В чем же тут дело? Почему предикат «смешно» выпадает из ряда всех предикатов, выражающих чувства и оценки?

Наивное языковое сознание наталкивается тут на барьер, преодолеть который ему не удастся. Что такое «смешное», какое чувство оно в нас пробуждает и почему вызывает смех — вопросы, на которые у рядовых людей нет ответов. Начиная с 7–8 лет мы пользуемся этим словом безошибочно и бессознательно², но объяснить его смысл не можем. Даже самые лучшие толковые словари неспособны разомкнуть синонимический круг: смешное — то, что вызывает смех, соответственно, смех — то, что вызывается смешным. Ввиду явной неинформативности таких определений, носители языка придали слову

² В более раннем возрасте дети часто путают «смешное» с «веселым» или «приятным» [Herzfeld, Prager, 1930; Бороденко, 1995. С. 48, 53].

«смешной» дополнительное значение, более прочно связанное с объектом: «нелепый», «несообразный». Это значение зафиксировано в словарях как переносное. Но каким образом переносный и притом не-иронический смысл оказался столь далек от прямого? Ведь слова «нелепый» и «несообразный» ассоциируются прежде всего с серьезным чувством (неодобрением), а не со смехом. Язык тут противоречит сам себе. Создавая рядом с прямым значением слова переносное значение, не только независимое от внутренней формы слова, но и способное ей противоречить, он подставляет на место фиктивного качества («быть смешным») реальное, но иное качество³. Наивность наивного языкового сознания проявляется тут с такой ясностью, как, пожалуй, больше ни в одном случае [см.: Козинцев, Крейдлин 2005].

Вдумаемся еще раз в суждение ребенка: *C'est drôle parce que c'est pas vrai, mais si ça serait vrai ça serait pas marrant*. Для большей ясности вставим в русский перевод дейктическое местоимение (хотя французское «се»/«ça» в таких случаях обычно не переводится): *Это смешно, потому что это не на самом деле, а если бы это было на самом деле, это было бы не смешно*. Референцию к чему осуществляет здесь дейксис? Во всех случаях, когда предикат выражает чувство или оценку (весело, грустно, страшно, удивительно, отвратительно, хорошо, плохо и т. д.) — осуществляется референция к означаемому, к той ситуации, которая изображена на картинке. Между тем с предикатом «смешно» дело обстоит иначе. В суждении *Это смешно* референция осуществляется не к тому, что изображено на картинке, не к означаемому. К чему же тогда? Только лишь к самой картинке — к означаемому. А вот сама картинка (или сам анекдот) не отсылает нас ни к чему. Означающее ничего не означает. Как такое возможно?

Полвека назад Грегори Бейтсон [2001: 205–220] ввел понятие игрового фрейма. Картинка оказывается внутри некоей рамки, которая полностью изолирует картинку от того, что на ней изображено. Картинка теряет знаковую функцию. Ее референция к реальности исчезает. Не важно, какого рода знаки были перед нами — графические образы (как в карикатуре) или слова (как в анекдоте). Важно то, что они были знаками — а будучи наглухо заперты внутри фрейма, перестали быть таковыми.

Но при этом мы помним, что если бы это были знаки, к ним нужно было бы отнестись серьезно. И радует нас не изображенное, не рассказанное, иными словами, не означаемое. Но и не означающее в

³ Ситуация со словами «funny» в английском языке и «drôle», «marrant» во французском (в прямом смысле — «смешной») та же, только переносное значение иное, чем в русском — «странный», «чудной», «подозрительный».

паре с означаемым, как в любом серьезном произведении искусства. Радует нас лишь тот факт, что то, что мы по привычке считали означаемым, таковым не является. Именно поэтому дейктическое местоимение «это» в высказывании 11-летнего ребенка имеет совершенно разную отнесенность. Говоря *На самом деле это было бы не смешно*, он имеет в виду означаемое — то, что имеет в виду ребенок 7 лет, когда реагирует на карикатуру с травмирующим содержанием словами *Это не смешно*.

Но когда ребенок начинает реагировать на такую же карикатуру словами *Это смешно*, он имеет в виду уже не означаемое, о котором он теперь говорит в сослагательном наклонении и которого больше нет, а псевдоозначающее. Начиная с этого возраста, говоря о смешном (и только о нем!), мы готовы смириться с отсутствием кореферентности. Но почему?

Ответ, как мне представляется, состоит в том, что предикат «смешно» — псевдопредикат, псевдооценка. В отличие от всех прочих предикатов, выражающих чувства и оценки, он характеризует не объект и не отношение субъекта к объекту, а только лишь психологическое состояние самого воспринимающего субъекта. Говоря *Это смешно*, мы выражаем не чувство, вызванное в нас объектом, и не оценку этого объекта, а, наоборот, радость от исчезновения всяких чувств и оценок. Референция отменена, знак перестал что-либо обозначать, перестал быть знаком. Если бы это был знак, нам следовало бы ужаснуться, возмутиться и т. д. — а потому пояснение *На самом деле это было бы не смешно* не является ни абсурдом, ни трюизмом. Оно указывает на весьма нетривиальное и абсолютно немислимое в «добросовестной» коммуникации свойство комической фантазии — ее полную изолированность от реальности. Этого нет в обычной фантазии, которая, подобно лжи и иронии, имеет дело с полноценными знаками. Серьезное искусство основано на условности, на фреймах, но условность там преодолима, фреймы проницаемы. Баланс между отстраненностью и вовлеченностью составляет суть восприятия серьезного искусства.

Комический же фрейм отличается полной непроницаемостью. Следовательно, суть комизма — в уничтожении всякой вовлеченности и, соответственно, в абсолютной отстраненности. А. Бергсон называл это «анестезией сердца». Нам смешно не *вопреки* тому, что «не на самом деле», а именно *потому что* не на самом деле». Если бы это было на самом деле, нам не было бы смешно, ибо чувства и оценки (например, страх, жалость, мысль о том, что мы зря сажаем обезьян в клетку, будучи так на них похожи, и что они могут нам отомстить) убили бы смех. Но выясняется, что ни чувствовать, ни думать

не нужно, потому что перед нами псевдознак, который лишь притворяется знаком. Именно в разоблачении этого притворства и состоит причина радости, а вовсе не в означаемом, как обычно думают теоретики комического. О том, что суть смеха и юмора — избавление человека от сострадания, стыда, страха и прочих неприятных аффектов, писали неоднократно [см., например: Фрейд 1997: 232, 236; McDougall 1931: 387–397].

Итак, чему же научается ребенок к 11–12 годам? Он приобретает способность делать комический фрейм по-настоящему герметичным. Теперь внутри него можно замкнуть любые, самые неприятные чувства и мысли. Начиная с этого возраста шутливая борьба с референтивной функцией языка распространяется на всю сферу знакового поведения.

В 1958 г. Р.О.Якобсон [1975] выделил шесть функций языка, соответствующих шести компонентам речевого акта — референтивную (главную, связанную с передачей информации), эмотивную, конативную, фатическую, метаязыковую и поэтическую. Наибольший интерес для нас (как и для Якобсона) представляют референтивная функция и поэтическая, прочие нас интересовать не будут. В референтивной функции внимание направлено на содержание сообщения, в поэтической — на языковую форму как таковую. В референтивной функции язык максимально прозрачен и, в идеале, незаметен; в поэтической функции он становится все более заметным и непрозрачным.

Поэтическая функция, по Якобсону, — «единственная, где внимание направлено на сообщение как таковое», причем «главенство поэтической функции над референтивной не уничтожает референцию, но делает ее неоднозначной». Иными словами, референция и средства ее осуществления находятся в неустойчивом равновесии. Язык в состоянии равновесия полупрозрачен. Чем сильнее нарушается равновесие и чем больше акцент сдвигается с референтивной функции на поэтическую, тем более непрозрачной становится языковая форма (вспомним, что питательной средой формальной школы был футуризм).

Но в этих взаимоотношениях нет антагонизма — есть лишь сдвиг равновесия в ту или иную сторону. Так, проза, по Якобсону — область соперничества референтивной и поэтической функций. У каждой из них — свои самостоятельные цели. Поэтическая функция не направлена против референтивной, просто она иногда становится самодовлеющей. Даже заумь не направлена специально против референции, она просто не оставляет ей места⁴.

⁴ Якобсоновская идея «проекции принципа эквивалентности с оси отбора на ось комбинации» находит великолепную иллюстрацию в романе Набо-

Возможно, к функциям языка, перечисленным Якобсоном, необходимо добавить еще одну, седьмую — антиреферентивную, а значит, как ни парадоксально, антиязыковую. Она противостоит остальным функциям. Как и поэтическая, она направлена на сообщение, но, в отличие от поэтической, не усложняет референцию, а уничтожает ее. Почему Якобсон не выделил ее, хотя она занимает огромное место в человеческом общении? Потому что он вынес языковую способность за скобки. Для лингвиста и филолога это позволительно, но для антрополога — нет. Поэтому седьмой (по счету, но не по важности) компонент речевого акта — сам язык, но не конкретный язык, не код, как в метаязыковой функции, а язык как свойство человека, как способность пользоваться кодами.

Как мне представляется, существуют три мира референции. Я продемонстрирую их на примере трех объектов, объединенных общим именем — «Чапаев». Рассмотрим Чапаева как так называемого «реального человека», Чапаева как героя романа (или фильма) и Чапаева как героя анекдотов. В каких же мирах существуют эти объекты?

Первый мир референции — это то, что мы называем «миром реальности», или «внеязыковой действительности». По отношению к этому миру язык выполняет чисто референтивную функцию. Поэтическая функция сюда не допускается. Мы называем этот мир «миром реальности», хотя сведения о нем у нас могут быть самыми неточными. Здесь живет тот человек, которого мы считаем реальным Чапaeвым. Это то, что мы вообще знаем о Чапаеве. Мы можем знать очень мало и наши так называемые «знания» могут быть неверны. Например, сведения, содержащиеся в исторических документах, могут быть неточны, даже лживы, но не ради поэтической функции, а из чисто прагматических соображений. Лживое высказывание, как и ироническое, не нарушает базовых принципов языка. В лингвистическом (хотя и не в житейском) смысле оно «добросовестно», так как значит ровно то же самое, что значило бы, если бы говорящий в него верил. Иными словами, диктум здесь в полном порядке, а не в порядке только модус [Козинцев, 2004, 2006, 2007]. В документе может быть написано: *Чапаев был сыном бедного крестьянина* (то есть *Верно, что*

кова «Камера обскура», где эта проекция показана в динамике. Заумь (обладающая прямо-таки гипнотическим действием) возникает здесь вследствие постепенного вытеснения означаемого означающим. Прием мотивирован ослаблением внимания слушающего к речи говорящего: «...проник в кабинет, где против окна стояло воскресное, и которого, которые на блеск инструментов, почти на зубовные, любовные постучу-постуча... и прежде того то же что и то, и внизу, и на зу, и тараболь...».

Чапаев был...), тогда как на самом деле, возможно, следовало бы сказать: *Неверно, что Чапаев...*, *Сомнительно, что Чапаев...* и т. д. Внося соответствующие поправки, мы меняем модус, но диктум остается в неприкосновенности, как, разумеется, и референция. Лжец, как и иронист, заботится о референции ничуть не меньше, чем кристально честный человек. В терминах С. Крипке [1982], собственное имя «Чапаев» является здесь жестким десигнатором и не зависит от дескрипции. Поэтому всякий раз абсолютно точно известно, *о ком* и *о чем* идет речь и *что именно* говорится. Любое суждение об этом мире может быть истинным или ложным или сомнительным — но оно всегда осмысленно и серьезно.

Второй мир референции — это мир мифопоэтической фантазии. Референтивная функция тут сосуществует с поэтической. Например, в романе Фурманова и в фильме братьев Васильевых живет опоэтизированный Чапаев. В этом же мире фантазии живет Санта Клаус (излюбленный персонаж логиков, занимающихся референцией), в этом мире живут все серьезные персонажи мифов, сказок и литературных произведений. Они вполне реальны в пределах того мира, в котором находятся. Что тут меняется по сравнению с первым миром? В сущности, ничего, кроме того, что, по словам Якобсона, референция становится «неоднозначной». Он называет это «расщепленностью референции» (в сказках — «Было ли это или не было...»).

Да, референт может блистать своим отсутствием в реальном мире. Либо у него нет ничего общего с реальным Чапаевым, кроме имени и фамилии. Но ведь то же самое верно и по отношению к первому миру, который нашим органам чувств сплошь и рядом недоступен. Что касается модально-диктальных отношений, то наблюдается то же самое, что в первом мире — диктум в полном порядке, как и референция. Каким бы маловероятным ни казался поэтический Чапаев или Санта-Клаус или Геракл — любое высказывание о них будет осмысленным, у него есть параметр истинности. Имя собственное остается здесь жестким десигнатором и не зависит от дескрипции. Мы точно знаем, *о ком* мы говорим, *о чем* мы говорим и *что именно* мы говорим. С точки зрения языка, это вполне «добросовестная» коммуникация. Да, правда (в известном смысле), что Санта Клаус живет на Северном полюсе. Правда, что Геракл победил Лернейскую Гидру. Зрители, верящие в подлинность или по крайней мере художественную убедительность Чапаева, каким он изображен в фильме, могут счесть «правдивой», например, сцену, в которой он изображает сражение с помощью картошки, а другие зрители могут назвать ее «лживой». Поэтому, под углом зрения языка, принципиальных различий с первым миром референции здесь нет.

Третий мир референции — это мир комической фантазии. Тут ситуация радикально иная. Это не мир референции, а мир антиреференции. Фиктивность героев анекдотов — принципиально иная, чем фиктивность мифологических персонажей. Те из всех сил стремятся стать реальными (даже более реальными, чем сама реальность!), эти — прямо наоборот. Весь их смысл — в их фиктивности и пародийности. Их попросту нет. Здесь живет не Санта Клаус, а знаменитый «нынешний король Франции, который лыс». Здесь живет и *Чапаев наших анекдотов. И если сравнить трех Чапаевых — так называемого «реального человека», персонажа романа (фильма) и персонажа анекдотов — то оказывается, что не первый (так называемый «реальный человек») противостоит двум другим, а первый и второй противостоят третьему (персонажу анекдотов). На этот мир теория Крипке не распространяется. Говорить здесь об имени «Чапаев» как о жестком десигнаторе уже не приходится. Анекдоты «о Чапаеве» — не о Чапаеве, так же как анекдоты «о Сталине» — не о Сталине, а анекдоты «о чукчах» — не о чукчах.

Первый и второй миры референции — это «возможные миры». Третий мир референции — это «невозможный мир» в полном смысле слова. Дело не в том, что он находится за пределами логики и воображения (часто он наделен чертами внешнего правдоподобия), а в том, что чувство несерьезности отторгает этот всецело фиктивный мир от нас [Chafe, 2007: 8, 11, 124, 138]. Именно в силу своей невозможности он и существует⁵.

⁵ Возникает вопрос: а в каком мире референции живет герой романа Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота»? Если поверить автору, назвавшему свой роман «первым произведением в мировой литературе, действие которого происходит в абсолютной пустоте», то в каком-то особом — четвертом — мире. Но такого мира нет. Действие не может происходить в абсолютной пустоте. В пустоте может происходить лишь «игра представлениями рассудка, посредством которых ничего не мыслится» (это определение юмора принадлежит Канту). В таком случае перед нами был бы третий мир референции. Но разве роман не серьезен, не наполнен смыслом? Разве мы смеемся, читая его? Всей силой своего таланта автор заставляет нас поверить в подлинность своего призрачного героя — верим же мы в подлинность призрака отца Гамлета или мертвой графини, явившейся Германну. Фантазия не знает границ, а потому и в этом случае приходится признать, что перед нами один из возможных миров — второй мир референции, где право на жительство имеет и такой Чапаев. В этом смысле Пелевин ближе к Фурманову и братьям Васильевым, чем к сочинителям анекдотов «о Чапаеве». Впрочем, нельзя исключить, что многие читатели не поддаются иллюзии, помещают пелевинского

Поэтому, с точки зрения языка, главный водораздел пролегает не между правдой и ложью и не между так называемой реальностью и фантазией, а между серьезностью и несерьезностью. Мир несерьезности — это мир антиреференции. Ни референтивная, ни поэтическая функция тут не действуют, потому что единственная цель юмористического высказывания — сперва притвориться референтивным, а затем уничтожить референцию. Серьезный вымысел имеет смысл лишь постольку, поскольку он кажется реальностью. Комический вымысел тоже маскируется под реальность, но маскируется глупо и неумело. В сущности, он стремится быть разоблаченным, и это ему удается — мнимая референтивность оказывается дурным маскараром.

Эсхилловский Прометей — фикция, тогда как человек, считающийся референтом аристофановского «Сократа»-трикстера, не только не был фикцией, но даже явился собственной персоной на представление «Облаков», а во время действия поднялся и стоял во весь рост до самого конца пьесы. И несмотря на это, эсхилловский Прометей имеет для нас смысл ровно в той мере, в какой он воспринимается как часть реальности, тогда как референция к реальному Сократу в «Облаках» фиктивна от начала и до конца, причем именно в этой фиктивности и состоит смысл комедии.

Антиреферентивная функция языка проявляется в любых комических текстах — от древней аттической комедии до современных анекдотов. В самом деле, ни одно утверждение относительно третьего мира референции не имеет параметра истинности. Эти утверждения находятся не «между ложью и фантазией», а в стороне и от того, и от другого. Бессмысленно спрашивать, истинно ли утверждение Аристофана о том, что Сократ — шарлатан и вор. Равным образом, нет смысла выяснять, является ли правдой содержащееся в анекдоте утверждение о том, что Чапаев относит слово «белые» не к противнику, а к грибам. Такое утверждение нельзя назвать ни «правдой», ни «ложью» даже в самом широком смысле. Это фантазия, но это не та фантазия, которая заставляет Чапаева — персонажа фильма — раскладывать картошку на столе. Не модус здесь недоброкачествен, а сама пропозиция, и причина тому — явная и подчеркнутая фиктивность референции. Никаких жестких десигнаторов тут нет. Ни герои, ни рассказчик, ни слушатель в сущности не знают толком ни *о ком* они говорят, ни *о чем* они говорят, ни *что именно* они говорят, ни даже *зачем* они это говорят. Весь смысл подобных высказываний — не в референции к внеязыковому миру (реальному или фантастическому), а наоборот —

Чапаева в третий мир референции и смеются — либо с досадой закрывают книгу, не дочитав.

в целенаправленном подрыве знаковости, в подрыве референции и, соответственно, в преднамеренном разрушении коммуникации. В сущности, весь смысл этих нарративов — даже внешне «реалистических» — в попытке продемонстрировать бессилие языка, его внутреннюю противоречивость. Следовательно, это «недобросовестная коммуникация» в самом полном и точном значении слова.

Подобно поэтической, антиреферентивная функция направлена на само сообщение. Но цели ее совершенно иные, чем у поэтической функции, ведь поэтическая функция не притворяется референтивной и не подрывает ее. Даже когда она вытесняет референтивную, это делается не во имя вытеснения, не ради разрушения значения слова, а ради демонстрации самоценности слова. Единственная же цель антиреферентивной функции — разрушение смысла и, в сущности, подрыв языка⁶. Зачем это нужно — вопрос не праздный, но выходящий за пределы данной заметки.

Итак, антиреферентивная функция направлена не на данное конкретное сообщение (как поэтическая функция) и не на конкретный язык (как метаязыковая функция), а на язык как таковой, как атрибут человека. Вернее, не *на* язык, а *против* языка. Антиреферентивная функция обслуживается особым физиологическим механизмом (смахом), разрушающим речь [Козинцев 2004, 2006]. Это подчеркивает полную самостоятельность антиреферентивной функции и ее кардинальное отличие от прочих языковых функций.

Антиреферентивная функция усиливает и доводит до абсурда все то, что постмодернистские теории пытаются приписать серьезным текстам. Действительность, какой она предстает в комических текстах —

⁶ И поэтическая, и антиреферентивная функция используют «слабость» естественного языка, состоящую в том, что сходство звучания не предполагает сходства значения. Однако цели их прямо противоположные. Поэтическая функция творчески превращает слабость языка в силу. «Незаконно» смещая акцент на означающее, она не пренебрегает и означаемым, в результате чего возникают новые смыслы и ассоциации (ср. у Набокова «воскреслое» вместо «кресло»; «зубовные» и «любовные»). Но когда антиреферентивная функция играет с созвучиями, она беззастенчиво пользуется уязвимостью языка с чисто деструктивной целью. Так, анекдотический «Штирлиц», на которого из окна дуло, выстрелил, после чего дуло исчезло. Каламбур — это, в сущности, пародия на поэтическую функцию. Впрочем, игра с означающими — не главное средство для подрыва референции. Большинство комических текстов работает на уровне означаемого, вернее, того, что кажется означаемым. Результат, однако, получается в точности тем же: мнимое означаемое исчезает, вследствие чего и означающее оказывается мнимым.

всего лишь языковая иллюзия, подлежащая деконструкции, причем никаких усилий для этой деконструкции нам прилагать не нужно. Как только мы сознаем, что перед нами третий мир референции, он разваливается сам собой, как карточный домик. Те его части, которые более прочно связаны с реальностью, то есть заимствованы из первого или второго мира, продолжают существовать сами по себе, вызывая у нас какие угодно чувства, но только не смех (вспомним финал гоголевской повести о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем: «Скучно жить на этом свете, господа!»).

Для постмодернистов же нет различия между серьезностью и несерьезностью, между референтивной функцией, поэтической и антиреферентивной. А между тем эти три функции принципиально различны. Антиреферентивная функция не может быть главной в языке, поскольку язык как средство общения при этом утратил бы смысл, что лишило бы смысла и саму эту функцию.

Антиреферентивная функция языка (языка в широком смысле слова) помогает нам понять смысл того, что мы называем «смешным в жизни», то есть того, что мы воспринимаем не через язык, в частности, и не через язык искусства, а непосредственно. О какой же референции к реальности можно говорить по отношению к самой реальности? Каким образом можно превратить действительность, то есть нечто, не только возможное, но и уже осуществившееся, в третий мир референции, то есть в «невозможный мир»? Приходится признать, что так называемое «смешное в жизни» производно от «комического в искусстве», а не наоборот, как мы обычно думаем. Жизненные ситуации заставляют нас смеяться, если воспринимаются как комические сценки, разыгранные участниками с целью рассмешить нас. При этом мы уже не распознаем условность, а домысливаем ее. Жан-Поль [1981: 136] назвал это «мгновенной иллюзией преднамеренности».

Жизненная ситуация, если смотреть на нее так, утрачивает знакомость, превращается для нас в псевдоозначающее, якобы замкнутое внутри герметичного фрейма и изолированное от реальности — сцену из комедии, карикатуру, анекдот, то есть часть третьего мира референции. И тогда вступает в действие уже знакомый нам принцип: «смешно, *потому что* не на самом деле», вернее, «*как будто* не на самом деле».

Антиреферентивная функция родилась не с анекдотами и не с карикатурами. Она уходит в глубокую древность, к трикстерским мифам и к праздничным ритуалам обновления мира путем временной отмены всех значений. Есть основания полагать, что эта функция была и остается проявлением эволюционного конфликта между обще-

менилось направление синтаксических последствий. В перспективе. На перепутье настоящей работы мы рассмотрим, связанные с адвербиализацией.

2. Истинность адвербиализованных каковы истинностные свойства необходимо иметь в виду два значения предикат чаще всего дающих утвердительность, то есть как истинную или ложную промежуточную между истиной и ложью, значит, что неизвестно, имеет ли. Точнее говоря, имеется два типа лишенные утвердительности, и утвердительность.

Примерами адвербиализованных типа *в подарок* или *в доказательство*, мы не предполагаем, что ср.: *Купил книгу в подарок*; Это ли что-то делается *в доказательство* еще не значит, что доказательство *питан Полянский стал уверяющим холода, и в доказательство привел* (Учитель словесности).

Второй тип адвербиализованных *ми к счастью, к сожалению* или *к счастью*, то уже выражаем положительно. Когда говорим *к сожалению*, мы общаемся об уже имеющемся у меня

Во-вторых, помимо того, что лишен утвердительности, он не контексте. Возьмем в качестве примеры предложения вида *Если* (верительность снята в обеих таких контекстах два типа адвербиализованных ведут себя предсказуемым образом: если он тяготеет к надежным контекстам противопостав-

расположенности-

М., 1998.

1. Ростов-на-Дону,

етики. М., 1981.

ациональная гипотеза
ке. Тезисы доклада

смех // Когнитив-

и // Языковые ме-

7 (в печати).

Переписка о не-
рпине мира // Ан-

вое в зарубежной

ессознательному.

руктурализм: За и

t. Paris, 1983.

t: The Feeling Be-

Scherz und Komik
Bd. 34.

ychology. London,

ent. San Francisco,

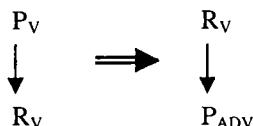
and non-bona fide in
ments of humor //

МЕЖДУ ИСТИНОЙ И ЛОЖЬЮ: АДВЕРБИАЛЫ В КОНТЕКСТЕ СНЯТОЙ УТВЕРДИТЕЛЬНОСТИ

1. Адвербиализация как один из способов выражения пропозиции. Как известно, многие предикативные значения могут иметь разные синтаксические реализации. Пропозиция может быть организована не только глаголом или существительным, но и адвербиальным выражением. Существует большое количество адвербиальных выражений (наречий или групп, образованных с помощью предлогов или союзов), выражающих отдельную пропозицию и по смыслу соотносящихся с глаголами или существительными типа *по мнению* (кого-либо), *по-моему*, *как считает* (кто-либо), *по привычке*, *по приказу*, *по утверждению* (кого-либо), *под предлогом* (чего-либо), *к сожалению*, *в доказательство*, *в подтверждение*, *в подарок* и др. Адвербиальное выражение отличается от глагольного в первую очередь тем, что понижается статус выражаемой им пропозиции. Ср. следующие пары предложений:

- (1а) *Я думаю, что он не прав.*
- (1б) *По-моему, он не прав.*
- (2а) *Он сказал, что этого следовало ожидать.*
- (2б) *По его словам, этого следовало ожидать.*
- (3а) *Биологи утверждают, что найденные кости принадлежат крупному оленю.*
- (3б) *По утверждению биологов, найденные кости принадлежат крупному оленю.*
- (4а) *Она получает большое удовольствие от прогулок по парку.*
- (4б) *Она гуляет по парку с большим удовольствием.*
- (5а) *Я сожалею, что он меня не послушал.*
- (5б) *К сожалению, он меня не послушал (= Он меня не послушал, и я об этом сожалею).*
- (6а) *Он отомстил (ей) тем, что написал отрицательный отзыв на ее книгу.*
- (6б) *В отместку (*ей) он написал отрицательный отзыв на ее книгу.*

В парах типа (1)–(6) не только глагол заменен адвербиальным выражением (наречием или предложно-падежной группой), но и из-



Как мы упоминали, при адвербиализации пропозиции P ее синтаксический статус понижается, в то время как статус пропозиции R повышается. Что происходит при этом с истинностью повышаемой пропозиции R ? Ответ на этот вопрос зависит от свойств адвербиализуемого предиката P . С этой точки зрения можно выделить три класса адвербиалов.

✱.

А. Нейтральность \rightarrow Истина

(11a) *Командир приказал, чтобы я явился в штаб.*

(11б) *Я явился в штаб по приказу командира.*

Пропозиция R , которая до адвербиализации была нейтральна по истинности, становится истинной. Адвербиализация приводит к изменению смысла. Синонимия возникает только при нейтрализации семантических различий, например:

(11в) *Командир приказал, чтобы я явился в штаб, и я это сделал.*

Б. Истина \rightarrow Истина

(12a) *Я сожалею, что он не будет выступать.*

(12б) *К сожалению, он не будет выступать.*

Повышаемая пропозиция была истинной до адвербиализации и сохраняет свою истинность. Такое соотношение возможно, когда адвербиализуемый предикат P фактивный.

В. Нейтральность \rightarrow Нейтральность

(13a) *Он сказал, что дождя не будет.*

(13б) *По его словам, дождя не будет.*

Пропозиция, нейтральная по истинности до адвербиализации, остается таковой и превратившись в главную пропозицию предложения. Такой эффект порождают адвербиалы, снимающие утвердительность главного предиката (*по словам, по мнению, по-моему, как считает <полагает, утверждает, уверяет...> и др.*).

4. Факторы, влияющие на возможность адвербиализации. Имеется несколько факторов, которые могут оказывать влияние на возможность адвербиализации.

Начнем с менее очевидного — сферы действия адвербиала. Как известно, сфера действия предиката в значительной степени опреде-

ляется типом его валентностей. Предикаты с активными валентностями (в частности, глаголы) имеют гораздо более ограниченный репертуар возможностей по их заполнению, чем предикаты, имеющие пассивные валентности (в частности, адвербиалы)¹. Например, синтаксическая структура (14):

$$(14) \quad P \rightarrow Q_v \rightarrow R_v,$$

в которой все предикаты имеют активные валентности, имеет однозначное соотношение сфер действия предикатов P , Q и R : $P(Q(R))$, то есть R входит в сферу действия предиката Q , а Q — в сферу действия предиката P .

В синтаксической структуре (15)

$$(15) \quad P \rightarrow R_v \rightarrow Q_{ADV}$$

предикат Q представлен адвербиалом и поэтому имеет пассивную валентность. Это значит, что семантические связи в (15) выглядят следующим образом:

$$(16) \quad P \rightarrow R_v \leftarrow Q_{ADV}.$$

Оба предиката P и Q семантически воздействуют на предикат R , но между ними самими может иметь место одно из трех соотношений:

Q входит в сферу действия P : $P \rightarrow (R_v \leftarrow Q_{ADV})$;

P входит в сферу действия Q : $(P \rightarrow R_v) \leftarrow Q_{ADV}$;

ни один из этих предикатов не входит в сферу действия другого: $(P \rightarrow [R_v] \leftarrow Q_{ADV})$.

Все эти возможности будут проиллюстрированы ниже, в разделе 5.

Второй фактор, существенно различающий глагольные и адвербиальные построения, — это семантика. Как мы видели выше на примере (11б), адвербиал может вносить смысловой компонент, отсутствующий в значении исходного предиката. Выражения типа *по приказу* <просьбе, совету, рекомендации, настоянию> содержат информацию о том, что субъект выполнил приказ или просьбу, последовал совету, рекомендации или настоянию. Адвербиализация возможна лишь в контекстах, в которых это смысловое различие нейтрализовано. Пример (11в) показывает, как нейтрализация достигается путем добавления недостающего компонента значения, а в

¹ Активной валентностью называется такая валентность, которая заполняется синтаксически подчиненным словом. Пассивная валентность, напротив, заполняется синтаксически подчиняющим словом. Подробнее об этом см. в [Богуславский 1996, Boguslavsky 2003].

примерах (17а, б) та же цель достигается путем снятия утвердительности:

(17а) *Если бы он попросил, я бы это сделал.*

(17б) *По его просьбе я бы это сделал.*

Третий фактор — это коммуникативная организация предложения. Глагольная и адвербиальная реализации пропозиции имеют разный коммуникативный потенциал. Для адвербиалов набор коммуникативных возможностей часто оказывается уже, чем для глаголов. Например, в предложениях (18а)–(18б) в нейтральных условиях акцентируются разные смысловые компоненты:

(18а) *Я сожалею, что не смог приехать раньше.*

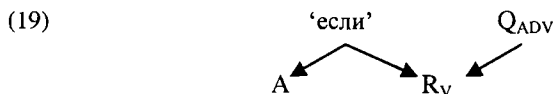
(18б) *К сожалению, я не смог приехать раньше.*

Таким образом, глагольную или адвербиальную реализацию пропозиции следует выбирать в зависимости от коммуникативной организации исходного смысла.

Ниже мы рассмотрим эти факторы несколько подробнее.

5. Сфера действия адвербиала. Рассмотрим условные предложения с союзом *если*: ‘если А, то В’. Как ведут себя адвербиалы в обеих частях таких предложений? Начнем с предложений, в которых адвербиал находится в главном предложении.

5.1. Адвербиал в главном предложении. Пусть главное предложение В содержит глагол R_V и адвербиал Q_{ADV} . Таким образом, семантическую структуру всего условного предложения можно представить как (19):



Как отмечалось в разделе 4, в структуре (19) возможны три типа соотношения сфер действия между предикатом ‘если’ и Q_{ADV} .

1. Адвербиал Q_{ADV} входит в сферу действия ‘если’: ‘если А, то ($Q_{ADV}(R)$)’

Примеры:

в ответ

(20а) *Если бы такое предложение сделали Ивану, он просто промолчал [R] бы в ответ [Q].*

(20б) *Если бы такое предложение сделали Ивану, он ответил [Q] бы молчанием [R].*

в подтверждение

- (21a) Если бы возникли вопросы, то он подтвердил бы правильность своего прогноза ссылкой на прошлогодний прецедент.
- (21б) Если бы возникли вопросы, то в подтверждение правильности своего прогноза он сослался бы на прошлогодний прецедент.

в доказательство

- (22a) Если бы ей не поверили, то в доказательство своей правоты она предъявила бы документы.
- (22б) Если бы ей не поверили, то она доказала бы свою правоту тем, что предъявила документы.

в отместку

- (23a) Если бы она проголосовала против него на Ученом совете, то он отомстил бы тем, что написал бы отрицательный отзыв на ее книгу.
- (23б) Если бы она проголосовала против него на Ученом совете, то он в отместку написал бы отрицательный отзыв на ее книгу.

под предлогом

- (24a) Если бы ей не хотелось идти в гости, она осталась бы дома под предлогом головной боли.
- (24б) Если бы ей не хотелось идти в гости, она воспользовалась бы тем предлогом, что у нее болит голова, чтобы остаться дома.

2. Адвербиал Q_{ADV} включает 'если' в свою сферу действия: ' Q_{ADV} (если A, то R)'

В этом случае адвербиальный элемент главного предложения охватывает своей сферой действия все предложение, включая придаточное. Примеры:

по мнению

- (25a) Если бы проект был перспективен, то, по мнению директора, в нем надо было бы участвовать.
- (25a) синонимично (25б), но не (25в):
- (25б) Директор считает, что если бы проект был перспективен, то в нем надо бы участвовать.
- (25в) Если бы проект был перспективен, то директор считал бы, что в нем надо участвовать.

Так же ведут себя адвербиалы *по-моему*, *по словам*, *по утверждению*, *по убеждению*...

3. Две семантические вершины.

Ни Q_{ADV} не включает 'если' в свою сферу действия, ни 'если' не включает в свою сферу действия Q_{ADV} : '(если A, то [R] Q_{ADV})'

В этом случае у предложения оказывается две семантические вершины — союз *если* и адвербиал.

к сожалению

(26a) *Если бы он ее позвал, то она, к сожалению, пошла бы за ним.*

(26б) *Если он бы ее позвал, то она пошла бы за ним; я сожалею о том, что она пошла бы за ним.*

→

Заметим, что *к сожалению*, помимо указанной интерпретации, допускает и другую, при которой в сферу действия этого адвербиала входит все сложное предложение: 'я сожалею о том, что если он бы ее позвал, то она пошла бы за ним' Эта интерпретация соответствует модели 2, описанной выше, и демонстрирует тот же тип поведения, который мы наблюдали у адвербиалов типа *по-моему*.

То, что это действительно два разных типа интерпретации, подтверждается тем, что в случае *по мнению* модель 3 невозможна:

(27) *Если бы проект был перспективен, то, по мнению Ивана, в нем надо было бы участвовать*

(а) Иван считает, что если бы проект был перспективен, в нем надо было бы участвовать \neq (б) если бы проект был перспективен, в нем надо было бы участвовать; Иван считает, что в проекте надо участвовать.

Иначе говоря, мнение Ивана относительно участия в проекте носит условный характер: предложение вряд ли можно понять в том смысле, что Иван вообще считает, что в проекте участвовать надо (в то время как условная связь между перспективностью проекта и его целесообразностью участия принадлежит говорящему). Между тем, в случае *к сожалению* такое понимание (с узкой СД) вполне естественно.

5.2. Адвербиал в придаточном предложении. При интерпретации адвербиала, находящегося в придаточном предложении, реализуются лишь два из тех трех вариантов, которые мы наблюдали в случае главного предложения.

1. Адвербиал Q_{ADV} входит в сферу действия 'если': 'если ($Q_{ADV}(R)$), то A'

по-твоему

(28a) *Если, по-твоему, все в порядке, то я спорить не буду.*

(28б) *Если ты считаешь, что все в порядке, то я спорить не буду.*

по мнению

- (29а) Если бы, по его мнению, летать на самолете было опасно, он поехал бы поездом.
- (29б) Если бы он считал, что летать на самолете опасно, он поехал бы поездом.

в ответ

- (30а) Если бы он в ответ промолчал, ничего бы не произошло.
- (30б) Если бы он ответил молчанием, ничего бы не произошло.

по словам <утверждению, убеждению>

- (31а) Если бы, по словам <утверждению, убеждению> Ивана, проект был перспективен, он участвовал бы в нем (но он этого не говорил, не утверждал, в этом не убежден).
- (31б) Если бы Иван сказал <утверждал, был убежден>, что проект перспективен, он участвовал бы в нем (но он этого не говорил, не утверждал, в этом не убежден и не участвует).

2. Две семантические вершины.

Ни Q_{ADV} не включает 'если' в свою сферу действия,
 ни 'если' не включает в свою сферу действия Q_{ADV} :
 ' $Q_{ADV}(R)$; если R , то A '

как полагает

- (32а) Если бы, как полагают знатоки, осетровые утратили свой былой вкус, их никто бы не покупал.
- (32б) Знатоки полагают, что осетровые утратили свой былой вкус. Если бы это было так, их никто бы не покупал.

Как отмечалось выше, в придаточном предложении не реализуется третья возможность интерпретации адвербиального выражения, представленная при адвербиализации в главном предложении, — та, при которой значение адвербиала является семантической вершиной всего предложения. Эта возможность реализовалась бы, если бы предложение (32а) могло означать (32в), а предложение (31а)–(31в):

- (32в) Знатоки полагают, что если бы осетровые утратили свой былой вкус, их никто бы не покупал.
- (31в) Иван сказал <утверждал, был убежден>, что если бы проект был перспективен, он бы в нем участвовал.

Однако, очевидным образом, подобных значений предложения (32а) и (31а) не имеют.

Как говорилось в разделе 4, на возможность адвербиализации влияет не только возможная сфера действия адвербиала, но и его се-

мантические и коммуникативные особенности. Остановимся коротко на этих аспектах.

6. Семантические особенности адвербиалов. Сравним предложения (33а) и (33б), различающиеся наклоном глагола:

(33а) *По ее просьбе он спрыгнул с крыши.*

(33б) *По ее просьбе он спрыгнул бы с крыши.*

Легко видеть, что пропозиции, выраженные адвербиальным оборотом, в них не тождественны. В (33а) содержится значение 'она попросила его спрыгнуть с крыши', в то время как в (33б) эта пропозиция включает в себя значение условия: 'если она попросит (если бы она попросила)'. Заметим, что далеко не все адвербиалы ведут себя подобным образом. Так, выражение *по мнению* условного значения не имеет. Предложение (34а) никоим образом нельзя понять в значении (34б).

(34а) *По ее мнению, он спрыгнул бы с крыши.*

(34б) 'Если бы она считала, что он спрыгнул бы с крыши, он бы это сделал'

Значит ли это, что адвербиал *по просьбе* неоднозначен и перед нами два разных его значения? Очевидно, нет. Правильнее считать, что значение адвербиала закономерным образом модифицируется под влиянием значения глагола. Значение адвербиала ориентировано на одну (каноническую) форму глагола, являющегося его актантом. Если глагол принимает другую форму, модифицируется и значение адвербиала.

Проследим это на примере адвербиала *по одному слову*:

(35) *По одному слову X-а Р = 'X сказал, чтобы было Р, и этого было достаточно, чтобы Р начало иметь место'*

Это толкование описывает однократное событие, которое имело место, например:

(36а) *По одному его слову индейцы в знак уважения склонились перед нами до земли.*

При изменении видо-временной формы глагола или формы наклонения толкование адвербиала претерпевает соответствующее изменение. В примере (36б) в толкование вносится значение многократности: 'X говорил, чтобы было Р, и этого было достаточно, чтобы Р начинало иметь место'

(36б) *По одному его слову индейцы в знак уважения склонялись перед нами до земли.*

В примере (36в) аналогичная модификация происходит в контексте сослагательности: 'Х сказал бы, чтобы было Р, и этого было бы достаточно, чтобы Р начало иметь место'

(36в) *По одному его слову индейцы в знак уважения склонились бы перед нами до земли.*

7. Коммуникативные особенности адвербиалов. Отметим некоторые коммуникативные обстоятельства, препятствующие адвербиализации.

Если главной ремой предложения является предикат, то его адвербиализация часто бывает затруднена:

(37а) *Он ПРИКАЗАЛ отпустить заложников.*

(37б) *??Заложников отпустили по его ПРИКАЗУ*

Заметим, что адвербиал *по приказу* нисколько не препятствует тому, чтобы был рематизирован его актанта:

(38а) *Это ОН приказал казнить заложников.*

(38б) *Это по ЕГО приказу казнили заложников.*

В отличие от этого, вводные адвербиалы типа *как известно* <сказал, сообщил, узнал...> не только сами не могут попадать в рему, но и не допускают рематизированных элементов в своей сфере действия. Ср. невозможное предложение (39б), содержащее рематическое сочетание *слишком поздно*, и вполне нормативное (39в), не содержащее ремы в составе вводного оборота:

(39а) *Я слишком поздно узнал, что поездку отменили.*

(39б) **Как я слишком поздно узнал, поездку отменили.*

(39в) *Как я недавно узнал, поездку отменили.*

ЛИТЕРАТУРА

Богуславский 1996 — Богуславский И. М. Сфера действия лексических единиц. М., 1996.

Boguslavsky 2003 — Boguslavsky I. On the Passive and Discontinuous Valency Slots // Proceedings of the 1st International Conference on Meaning-Text Theory. Paris, Ecole Normale Supérieure, June 16–18; 2003.

ДЗЭН-БУДДИЙСКИЕ КОАНЫ: ПРИБЛИЖЕНИЕ К ИСТИНЕ ПО СУТИ ПОСРЕДСТВОМ УДАЛЕНИЯ ОТ НЕЕ ПО ФОРМЕ

1. Первый коан. Дзэн-буддизм — одно из ответвлений буддизма, возникновение которого, как правило, связывают с приходом в Китай в V в. Бодхидхармы, Двадцать восьмого буддийского патриарха в Индии. Бодхидхарма основал в Китае новую школу, связанную с особым пониманием буддизма, и стал ее Первым патриархом. По словам Д. Т. Судзуки, ортодоксальный «дзэн претендует на право отражать саму суть буддизма, которая была непосредственно передана Буддой его самому близкому ученику, Махакашьяпе» [Судзуки 1999]. Это событие описывается в сборнике «Мумонкан» так:

«Однажды в древние времена, восседая на горе Градхаракута, Почитаемый Миром показал цветок собравшимся монахам. При этом никто не проронил ни слова, и только преподобный Кашьяпа улыбнулся. Почитаемый Миром сказал: „Я обладаю Глазом Подлинного Закона, Тайной Сущностью Нирваны, Бесформенной Формой и Сокровенными Вратами Закона. Не полагаясь на слова и символы как особое послание за пределами учений, я передаю все это Махакашьяпе“» [Мумонкан].

Таким необычным образом Будда передал дзэн-буддизму то, что стало его основой, и что важно для нас, сам способ передачи знания был перенят дзэн как образец идеального посредничества между учителем и учеником.

Можно спросить, почему Будда воспользовался именно этим экстравагантным приемом для передачи знания, очень важного для всех присутствовавших на горе Градхаракута учеников, а не только Кашьяпы? Ответ прост: в рамках концепции дзэн это знание — знание о просветлении, высшей цели буддистов, — невозможно было передать привычным образом, составив инструкцию из некоторого количества пунктов, выполнение которых привело бы адепта к просветлению.

Чтобы пояснить ситуацию, прибегнем к следующей модели. Представим любые доступные для применения человеком знания в виде геометрической фигуры — плоскости. Далее представим, что на этой плоскости есть область А, которая включает в себе знания, необходимые для осуществления человеком жизненных или, в буддистской терминологии, сансарных (сансара — круговорот мирской жизни)

функций: поддержание жизни, сохранение жизни, продолжение рода, социальные функции и т. д. Область А ограничена линией S, за которой лежит неограниченная область В (нирвана — антитеза сансары), знания которой несансарные, они не функциональны в плане осуществления сансарных функций, но функциональны в некоем другом плане. Когда мы хотим вызвать в сознании собеседника представление о знании из области А, мы используем слова одного из человеческих языков, причем слова эти связаны друг с другом, так что мы можем одно объяснять посредством другого, выделяя объединяющие и различительные признаки обозначаемых понятий — конкретных знаний области А. Такой подход делает возможным освоение действительности в рамках области А, постепенное накопление опыта, выведение одних знаний из других. Но совокупность знаний области А замкнута сама на себя, так что любая новая комбинация этих знаний дает знание из той же области А.

Теперь предположим, что некто N обладает знаниями несансарного, из области В, происходящими из опыта, не связанного с осуществлением сансарных функций. Положим, перед N стоит задача передать другим людям знания о несансарном, о возможности приобретения несансарного опыта. В его распоряжении есть разработанная система соответствий знаний, освоенного опыта словам человеческого языка или другим, неречевым знакам, но эта система относится лишь к замкнутой области А. Какие бы комбинации слов — знаков, указывающих на сансарные знания, — он ни составлял, результирующий смысловой вектор будет направлен внутрь все той же области А. Конечно, можно придумать новое слово для некоторого знания из области В, но тогда связь между знаком и означаемым будет ясна лишь самому N. Можно определять новые слова через уже имеющиеся, но их смысл опять же будет сводиться к доступным знаниям из области А.

Имея в виду все эти трудности, N (Будда) использует особый прием. Учитывая, что при построении высказываний, как речевых, так и неречевых («показал цветок собравшимся»), задействуются особые правила — сочетаемость знаков на синтаксическом и семантическом уровнях, — он применяет для выражения несансарного знания конструкцию сансарного типа, но идет в обход правил сочетаемости знаков. Действие-знак «показал цветок» вполне приемлемо в области А, но неприемлемо в контексте: ученики ждут от учителя передачи какого-то особого знания, а он им просто показывает цветок. Парадигматический аспект в данном случае определяется отношением «учитель — ученик», т.е. ученик исходит из того, что учитель намеревается передать знание и что действия учителя целесообразны. Нарушение сочетаемости знаков, наряду с самим знаком, вырванным из

привычного окружения, становится частью знака новой системы для воспринимающего, если он ищет скрытый смысл знака, отвергая явный, и готов выйти за рамки интерпретации старой системы. Другими словами, в данном случае Будда использовал особый знак, у которого означающее есть «показал цветок» + нарушение правил сочетаемости, а означаемое — знание из ранее недоступной ученикам области В. Как мы видим, этот знак не так однозначен, как знаки, указывающие на обычные знания. Неудивительно, что лишь Кашьяпа оказался в состоянии правильно интерпретировать его.

Так возник первый коан — загадка-парадокс, нерациональное решение которой помогло практикующему перешагнуть предел ограниченно-го знания и приблизиться к высшей истине посредством удаления от истины в ее рациональном понимании, используя формально некорректное высказывание.

2. Толкование коанов. Для коана, как средства преодоления границы сансарного восприятия S, в соответствии с нашей моделью, нежелательно, чтобы он убедительно истолковывался в буквальном смысле. Любое рациональное толкование направляет воздействие коана обратно в область А, оставляя его задачу невыполненной, превращая его просто в загадку, способ тренировки интеллекта.

В то же время мы можем видеть, что в дзэнской традиции зафиксированы толкования коанов, выполненные авторитетными мастерами дзэн. Это может показаться странным, но лишь если мы не понимаем намерений толкователя. В действительности толкователи коанов не стремятся объяснить их в рациональном ключе. Мало того, сами эти «пояснения» часто имеют парадоксальную форму.

Так в своем сборнике коанов по поводу истории с Кашьяпой Хуэйкай пишет:

«Золотоликий Гаутама бесстыдно солгал и опорочил добрых слушателей. Он „вывешивал баранью голову, а продавал собачье мясо“, да еще сам себя расхваливал. Если бы все вокруг рассмеялись, как бы смог он передать свою мудрость? И опять-таки: если бы Махакашьяпа не улыбнулся, как бы смог он передать свою мудрость? Этот золотоликий старец просто надувает простаков. Если мудрость не передается, то как мог завладеть ею Махакашьяпа?

Пока он держал в руке цветок,

Вся тайна вышла наружу.

О чем догадался Махакашьяпа,

Не разгадает никто ни на земле, ни на небе» [Хуэйкай].

«Мудрость не передается», — говорит Хуэйкай, и у него есть на то причины. Мудрость, которая передается посредством составления

и выполнения инструкций, постепенного приобретения знания, не есть то, что обрел Кашьяпа. То, что досталось Кашьяпе, вообще не может быть адекватно именовано в соответствии с нашей моделью: любое имя есть комбинация ссылок на сансарные знания и само обязательно сансарно. Тем не менее это неименуемое упомянуто и в коане, и в толковании Хуэкая — посредством намека, неотъемлемого атрибута дзэн. Намек же сам не есть именование, а лишь создание семантической пустоты для неименуемого при помощи парадокса, отрицания и недоговоренности.

Таким образом, при рассмотрении коанов мы должны исходить из презумпции парадоксальности и любое рациональное толкование отбрасывать как ложный ход. А это бывает трудно сделать, поскольку рациональные толкования подчас очевидны и имеют вполне угадываемое дидактическое значение в рамках буддийского учения.

Рассмотрим такой коан:

«Монах по имени Хуэйчао спросил наставника Фаяня: — Хуэйчао спрашивает учителя, что такое Будда?

Фаянь сказал: — Ты — Хуэйчао» [Би Янь Лу «Скрижали...»].

Напомним, Будда в буддизме не только историческая личность, но и «обозначение того, кто совершенным познанием причинных связей бытия освободился от его уз, от цепи дальнейших воплощений и достиг нирваны» [Лит. энци. 1929–1939]. Вопрос «что есть Будда» — один из наиболее часто задаваемых, и в то же время он является табу для понимающего дзэн. Сущность Будды есть неименуемое и необъяснимое, доступное лишь в опыте, и ответ Фаяня может быть истолкован таким образом: «Твой вопрос некорректен, Хуэйчао. Ты хочешь, чтобы тебе объяснили необъяснимое, хочешь избежать долгой и трудной дороги к непосредственному знанию, получить его в виде наставления. Вернись к тому, что по-прежнему есть ты, а не Будда, и продолжай работать над собой». Учитель как бы советует ученику переключить восприятие с абстрактного плана на конкретный, ведь только живое, конкретное, личное знание признается в дзэн.

Похожим образом можно интерпретировать и другой коан:

«Монах спросил Чжаочжоу: — Все сущее возвращается к единому, но куда же возвращается единое?

Чжаочжоу ответил: — Когда я был в Цинжоу, я сделал полотняную поддевку. Она весила семь цзиней». Очевидно, в представлении Чжаочжоу высокопарное рассуждение монаха о высоких материях не соответствует духу дзэн, и как антитезу он предлагает простое, но неподдельное переживание — «сделал полотняную поддевку» [Би Янь Лу «Скрижали...»].

В этом и есть отличие коана от хитроумной загадки — даже если есть рациональное объяснение, одно или несколько, их следует от-

бросить. Нелогичное высказывание должно быть воспринято как есть, ученик должен созерцать его в первоначальной форме как нечто целостное, законченное, чтобы убедительное объяснение не закрыло собой первоначальный парадокс. Ведь именно парадокс, нелогичность функциональны в плане преодоления вышеупомянутого барьера S. То есть, с одной стороны, толкование дополняет парадокс посредством проведения аналогий с доктриной дзэн, с другой — мешает ему своей рациональностью и должно быть отброшено.

«Человек держал в бутылки гуся. Гусь вырос и уже не мог выйти оттуда через горлышко. Нужно, не разбивая бутылки, освободить гуся. Как это сделать?

При усиленном сосредоточении мысли на проблеме должно наступить озарение, и тогда решение приходит само собою. Обучаемый вдруг осознает, что гусь — это эго, а бутылку — это мир, который он создал вокруг себя. Принимая бутылку за окружающий мир, обучаемый освобождает из нее гуся.

Как выйти из круга рождений и смерти?

Обучаемый, сосредоточиваясь на вопросе, уходит в глубокую медитацию. Решение оказывается возможным, если он применит контрвопрос: — Кто поместил меня в этот круг?» [Пронников, Ладанов 1985].

И в этой интерпретации известного коана о гусе, приведенной в книге Пронникова и Ладанова, важно отделить коан от его толкования. Толкование прекрасно соответствует буддийским представлениям о личности, а рекомендация задать контрвопрос является как бы продолжением коана, не менее парадоксальным, чем он сам. Но все же интерпретации, аллюзии и продолжения — не есть что-то обязательное в данном случае, коан самодостаточен и без дополнений.

3. Импликатура речевых ситуаций Пола Грайса и коаны. В своей работе «Логика и речевое общение» Грайс вводит понятие *коммуникативной импликатуры*: «Пусть некто, сказав (или сделав вид, что он сказал), что p , тем самым имплицировал, что q . Мы будем говорить, что он коммуникативно имплицировал, что q , если выполнены следующие условия: (1) предполагается, что он соблюдает коммуникативные постулаты или по крайней мере Принцип Кооперации; (2) предположение о том, что он знает (или полагает), что q необходимо для приведения в соответствие с первой презумпцией — о том, что он соблюдает Принцип Кооперации — того факта, что он сказал (или сделал вид, что сказал), что p (или того факта, что он это сказал именно так, а не иначе); (3) говорящий считает (и ожидает, что слушающий считает, что говорящий считает), что слушающий способен вывести или интуитивно почувствовать реальную необходимость предположе-

ния (2)» [Грайс 1985]. Попробуем выяснить, насколько метод коммуникативной имплицатуры применим к проблеме интерпретации коанов.

Итак: (1) вспомним, что отправным моментом в нашей оценке р, знакового поступка Будды — «поднял цветок» — было предположение, что, несмотря на кажущуюся бессмысленность этого действия, за ним должен скрываться некий смысл. Это полностью сообразно с основным принципом, предложенным Грайсом, — Принципом Кооперации: «Твой коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель (направление) этого диалога». Цель своеобразного диалога между Буддой и учениками нам понятна — перевести учеников через грань S; (2) q — просветление, несансарное знание — в нашем случае есть нечто неосознаваемое и поэтому трудно утверждать, что именно q необходимо, чтобы правильно истолковать сообщение р. И в то же время такое истолкование как минимум возможно, о чем говорит пример Кашьяпы; (3) опять же, Будда лишь надеется на то, что хотя бы кто-то из учеников поймет его и имплицитует q.

Что касается соблюдения постулатов (точнее, кажущегося их нарушения), связанных с Принципом Кооперации, они позволяют нам произвести классификацию коанов в зависимости от того, какой постулат выходит на первый план в том или ином коане. Так, например, в коане о цветке затронут постулат релевантности («Не отклоняйся от темы», по определению Грайса). Действительно, знак Гаутамы мог быть правильно истолкован при том условии, что его ученики могли понять, что он «не отклоняется от темы», т.е. передачи высшей истины, а просто перешел к знакам другого вида. Тот же постулат играет существенную роль в коанах о полотняной поддевке и о Хуэйчао. В коане о гусе для нас важен постулат качества № 1 «Не говори того, что ты считаешь ложным»; причем следует отметить, что нарушением постулата является не только прямая ложь, но и любое высказывание, содержащее ложные пресуппозиции, как, например, предположение, что гуся можно вытащить целого и невредимого, не разрушив кувшин, в котором он заточен. На том же постулате построен и другой известный коан, в котором учитель требует от ученика, чтобы тот «услышал хлопок одной ладони». В коанах, не затронутых в работе, могут быть затронуты другие постулаты.

Таким образом, имплицатурный подход Грайса вполне может быть использован для исследования коанов с некоторыми оговорками, связанными со спецификой проблемы. В нашем случае коммуникация и ее цели понимаются несколько иначе, чем в примерах, анализируемых Грайсом. У Грайса некорректные в логическом смысле конструкции всегда несут в себе вполне рациональную информацию,

лишь завуалированную по каким-то соображениям; а в случае с коаном р — речевое высказывание или действие-знак, вполне сопоставимые с высказываниями в примерах Грайса, а вот q есть нечто, находящееся вне области рационального.

4. Проблема интерпретации коанов. Проблема интерпретации коанов может быть рассмотрена узко, если нас интересует сам жанр с его национально-религиозной спецификой, и широко — в общелингвистическом, общефилософском смысле. В последнем случае мы можем сформулировать основной вопрос нашего исследования следующим образом: в какой степени языковая (или более общо — знаковая) система способна описывать нечто, выходящее за пределы ее прямой компетенции, за пределы поля значений ее знаков? В многовековой традиции дзэн дается один из возможных ответов на этот вопрос — в виде парадоксального знака, на первый взгляд, пустого семантически — коана и утверждения его эффективности в качестве пути решения обозначенной выше эпистемологической проблемы.

ЛИТЕРАТУРА

- Би Янь Лу «Скрижали» — *Би Янь Лу*. Скрижали лазурной скалы. Сборник коанов. Материал взят с сайта <http://klein.zen.ru/old/Skrigali.html>
- Грайс 1985 — *Грайс Г.П.* Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. XVI. С. 217–237.
- Лит. энци. 1929–1939 — Литературная энциклопедия. М., 1929–1939. Т. 1–11.
- Мумонкан — Мумонкан («Застава без ворот»), сборник коанов / Пер. на русский А. Мищенко, 1997 на сайте <http://ki-moscow.narod.ru/litra/zen/mumonkan/mumonkan.htm>
- Пронников, Ладанов 1985 — *Пронников В.А., Ладанов И.Д.* Японцы. М., 1985.
- Судзуки 1999 — *Судзуки Д. Т.* Введение в дзэн-буддизм // Буддизм. Четыре благородных истины. М., 1999.
- Хуэйкай комм. к Мумонкану — *Умэнь Хуэйкай*. «Застава без ворот», сборник коанов с комментариями. Материал взят с сайта http://bookz.ru/authors/hueikai-umen/_nogate.html

А. В. ВДОВИЧЕНКО

ПАРАДОКС ЛЖЕЦА КАК КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ

Панораму современных воззрений на лингвистический материал можно представить распределенной по шкале т.н. «человеческого фактора», т.е. определяя, в какой мере говорящий (пишущий) с его свободой осознанного вербального действия детерминирован традиционно понимаемым «языком». Другими словами, — насколько в существующих точках зрения на лингвистический материал более сложная модель описания вербального коммуникативного процесса «мыслимое действие—вербальный материал—интерпретация мыслимого действия» редуцирована к более простой, предметной — «знак—значение». Эта редукция по большей части проявляется в том, что в теоретическую схему вводится абстракция «язык», спасаемая различными теоретическими средствами или просто не замечаемая как проблемное «подлежащее». Формулами, сводящими к единству несводимое, становятся «язык в употреблении», «язык в тексте», «язык в сознании».

Неэффективность абстракции «язык» ощущается особенно остро, когда замечается его внесубъектная бессмысленность, или отсутствие в нем (самом по себе) каких-либо актуальных значений. Комбинаторика элементов, описываемая грамматикой и словарем как всеобщие правила «языка», не выражает ничьих «мыслей», интенций, «ментальности», «духа», или каких-то психических состояний, которые свойственны любому естественному говорению. Другими словами, только проекция на коммуникативную ситуацию, которая воспринята лично и в которой реализуется личное действие, позволяет осуществить процедуру смыслообразования — со стороны говорящего или слушающего. Чье-то спроецированное на ситуацию действие составляет единственный интерес как самого коммуниканта, так и любого интерпретатора, прямого или косвенного. Любой предметный факт «языка», лишенный аутентичных условий, в которых он стал (или может стать в мыслимой проекции) личным действием, превращается в нечто иное, отличное от *актуального* употребления данного предметного вербального факта. Так, «пришел, увидел, победил» не значит ничего до помещения в актуальную ситуацию (не понятно, кто, где, когда, зачем сказано и пр.). На фоне того, что «язык» (т.е., оторванные от коммуникативной почвы «грамматика и словарь») тради-

ционно считался носителем выражаемых значений, его реальная пустота выглядит парадоксом.

Возможно, именно здесь сталкиваются две ключевые позиции и две парадигмы — античная и коммуникативная. Речь идет о возможности или невозможности утверждать, что словесное высказывание значит нечто само по себе. Одним из вариантов традиционного ответа на этот вопрос является признание так называемых самореферентных высказываний. Другими словами, логический подход, согласно которому само высказывание имеет значение, оказывается последним оплотом античной схемы «знак—значение» и элиминируется признанием, что высказывание само по себе не может что-либо означать.

Эта проблема, по-видимому, была инициирована Остином, который попытался, оставаясь на почве логики, спасти традиционно логическую часть вербального материала, а именно *суждения* (*констативы*), от причисления к новооткрытым перформативам, которые с очевидностью не имеют свойств истинности или ложности. Тем самым он пытался спасти не только классическую логику, но и сам античный «язык», который с появлением на сцене «действия» и, соответственно, «деятеля» (говорящего как реального источника всех смыслов и действий) утрачивал свои позиции в смыслообразовании. Действием, вопреки усилиям Остина, оказывается *любое* высказывание. Из этого, в свою очередь, следует, что никакое актуальное высказывание не может быть самозначным (словесное действие осуществляется только для того, чтобы реализовать интересы говорящего). Соответственно, высказывание не может быть и самореферентным. В свою очередь, это означает, что самозначащий «язык» также не может рассматриваться как корректный теоретический объект.

Адекватным выражением этой проблематики является так называемый «парадокс лжеца», который традиционно имеет *логическую* интерпретацию и по мере того ставит в тупик классическую логику. Упомянутый «парадокс языка» (бессмысленный «язык» vs выражаемые значения) в целом адекватно представлен «парадоксом лжеца», поскольку проблема последнего состоит как раз в мнимой самореферентности (самозначности) — что со времен Платона приписывалось и «языку». Другими словами, в парадоксе лжеца фокусируется недостаточность «языкового» и логического подхода, а его разрешение (вернее, снятие) равносильно изобличению «языка» в его античном понимании.

В наиболее древней форме этот парадокс представлен восходящим к Эпимениду высказыванием «Все критяне лжецы», притом что сам высказавший это был критянином. Традиционно логическая апория видится в том, что предположение об истинности данного выска-

звания ведет к его ложности: Эпименид называет всех критян лжецами; *если это истинно*, значит, и он сам лжец, значит, он лжет и в этом высказывании, и, *значит, высказывание ложно*. То же — в других вариантах этого парадокса: «Я лгу», «Я высказываю сейчас ложное предложение», «Все, что Х утверждает в промежуток времени Р — ложь», «Это утверждение ложно», «Это утверждение не принадлежит к классу истинных высказываний». В данном случае необходима не очередная попытка *логического* разрешения этого затруднения, а *выход за логические пределы* в сторону речевой и мыслительной реальности. Только так, по-видимому, внесубъектная самозначная логика избавляется от искусственных парадоксов, а естественные вербальные факты — от самой логики.

Реальность состоит в том, что формулировка парадокса словесна, как словесны любые факты, составляющие объект логики и грамматики. Для снятия (элиминирования) парадокса его следует рассмотреть как естественный вербальный материал, который наделен обычными для него свойствами, в частности, несамотождественностью вне актуального коммуникативного процесса и отделенностью мысли от слова.

Как о значении слова невозможно рассуждать вне естественных условий употребления данного звукокомплекса, так же невозможно лишать естественный языковой эпизод («парадокс») аутентичных для него условий и свойств. Именно эти аутентичные условия должны заменить собой некорректные (казуистичные) условия формулирования парадокса.

Для того, чтобы парадокс имел место, необходимым является мнимая *самозначность*, или *самореферентность*, которая в эпименидовой версии выражается в том, что говорящий посредством сказанного якобы указывает *одновременно на критян и на себя* («если сам Эпименид критянин, значит, слово «все» включает и его самого»). Эта исходная позиция как будто вводится самой словесной формулировкой, против которой, казалось бы, нет аргументов, кроме того, что: 1) слово никогда не бывает тождественным (не означает нечто) само по себе, и что 2) актуальные вербальные факты представляют собой чьи-то действия. Для снятия этого парадокса остается, таким образом, отбросить самостоятельное значение слов и ответить на вопрос, *что* сам Эпименид имел в виду своим словесным действием, когда говорил о «всех критянах».

Другими словами, реально произнесенные слова, абстрагированные от говорящего, и факты, якобы существующие объективно, не могут сами по себе обозначать что-либо определенное и вводить в апорию. Они не могут быть *само-значными* и *само-референтными*.

Факты создаются посредством выделения актуального объекта и констатацией актуальных отношений, что осуществляет говорящий. В свою очередь, слово «все» и слово «критяне» получает только такое значение, которое подразумевал в них сам Эпименид. Он мог вовсе не думать о себе, когда произносил свои слова. В то же время он мог иметь в виду и себя (хотя это гораздо менее вероятно). Он мог (а мог и не) причислять себя к тем критянам, о которых говорил. Он мог говорить предельно «точно», беря на себя тяжелый труд «серьезно» констатировать нечто о *всех* критянах, а мог говорить аффективно, имея в виду лишь свое отношение к ним, не причисляя к ним себя.

Как видно, на эти сомнения не дает ответа словесная форма, которой располагает интерпретант. Так или иначе, вопрос о смысле этого (и любого другого) высказывания сводится к тому, *что* имел в виду сам Эпименид, даже если определить его мысль с точностью не представляется возможным. Это главная опорная точка, которую необходимо твердо обозначить — и только после этого становится возможным сопоставление с другим «фактом», а именно с тем, что сам Эпименид — критянин. Последнее может иметь значение для истолкования фразы «все критяне лжецы», а может не иметь никакого — если сам Эпименид не подразумевал этого. То же — в случае иных формулировок «парадокса»: содержание словесного действия, которое осуществляется с целью влияния на слушающих, задается содержанием мысли говорящего, в результате которой явилось словесное действие.

Таким образом, как сам Эпименид, так и другие, в чьих устах озвучиваются парадоксы, не констатируют истин в реальном коммуникативном процессе — они действуют. По крайней мере, Эпименид не был автором парадокса, также как и те, кто произнес актуальное высказывание «Я лгу». Его автором, по-видимому, является *посторонний интерпретатор*, который обращает внимание на этот словесный эпизод и решает представить его в виде апории, выступая своеобразным хакером, подвешивающим когнитивную систему «ради искусства» и себя в нем. Как это возможно?

Это становится возможным путем *сведения естественного вербального факта к логическому*, т. е. лишением вербального феномена его естественных свойств. Началом интеллектуальных злоключений является момент, когда посторонний интерпретатор как бы говорит: смотрите, слова [все критяне] *по необходимости* означают «множество всех критян»; заметьте также, что Эпименид — критянин, значит, он сам *по необходимости* попадает в число критян-лжецов. После этого сознание доверчивого адресата, к которому обращается посторонний интерпретатор-«хакер» (назовем его прямо — «логиком»), на-

чинает метаться в поисках ответа на неразрешимый вопрос: включать ли Эпименида в множество всех критян в момент высказывания, т.е. — как Эпименид может быть правдивым, будучи одновременно лжецом?

Другими словами, логик устанавливает жесткую неправомерную связь между словами [все критяне] и самим говорящим Эпименидом и требует, чтобы этой связи придерживались адресаты, аргументируя необходимость так поступать тем, что именно этого требуют *сами слова*, — они якобы самореферентны и соответствуют фактам. Некорректность процедуры состоит в том, что связь между словесной формулой, фактами и когнитивным содержанием, или между словом, вещью и мыслью, признается однозначной. Однако именно эту ситуацию, к которой обязывает логическая процедура, следует элиминировать за отсутствием реального коммуникативного содержания: *Эпименид не мог сам путаться в том, что сам же хотел совершить посредством говорения*. В любом случае он производил определенное осмысленное действие, в содержании которого логика призывает мучительно сомневаться, отсылая к мнимо самозначным словам. Именно таких условий коммуникации невозможно найти в действительности: *значат всегда не слова, а целенаправленные действия говорящего, которые имеют место в реальном коммуникативном процессе и которые искусственно элиминированы в логическом способе представления вербального факта*. Говорящему необходимо повлиять на адресата и, соответственно, сформировать свое действие вполне определенно для исполнения назначенной коммуникативной задачи. Если его намерение состояло лишь в том, чтобы оставить адресата в замешательстве, то сделать это можно любым способом, например, сказав «Входить сюда категорически запрещено. Входи!». Или — создать ситуацию, в которой об Эпимениде становится известным не тот факт, что он критянин, а что *он уже умер, когда говорил*, или что *он не умел говорить, когда столь критически высказывался о критянах*. Такие коммуникативные стратегии действительно существуют, но не рассматриваются в качестве парадоксов, хотя по «логической» конструкции они в точности соответствуют парадоксу лжеца. Заметно, что, когда сознание адресата оказывается перед «фактом» типа «Когда он говорил, он молчал», как раз и наступает та самая апория, которая нужна «хакеру»-логик.

Итак, сформулировал парадокс тот, кто заметил, что Эпименид был критянином, — т.е. логик, привлечший внимание к факту, что автор высказывания входит в множество лжецов, о которых сам говорит. Формулировка парадокса, как и все актуальные вербальные факты, предстает коммуникативным действием, которое организовал говорящий-«хакер» и которое ему зачем-то необходимо. Он создает

фрейм, в котором (или по которому) развивается мысль адресата, обнаруживающего, в конце концов, себя в тупике: «кто-то, зная, не знал; говоря правду, лгал, и пр.». Главными инструментами сценария оказываются логические *самозначащие объективные слова и факты*, которые, заметим, в коммуникативной реальности столь же противостественны, сколь и высказывания типа «когда он жил, он уже умер».

Иначе говоря, логик предлагает адресату набор правил, которым нужно следовать для того, чтобы оказаться в полной растерянности. По-видимому, стоит заметить, что предложенные правила не существуют сами по себе, а назначаются заинтересованным участником коммуникации. Как не значат сами по себе слова и факты, так не значат ничего сами по себе логические инструкции: они изобретены говорящим-«хакером». Важно понять его личные цели и сформулировать ввиду них собственные, по мере вовлечения данного эпизода в актуальную коммуникативную ситуацию. Предложенные правила (фреймы) можно пересмотреть, отменить, нарушить, назначить новые и пр. То есть — не стоит делать вид, что западня, которую участники коммуникации сами создали и в которую добровольно попали, — безвыходная и что она существует «от природы». Другими словами, не сами элементы объективно составляют объективные множества, а мыслящий коммуникант актуально назначает единства, и в них по мере лично осознанной актуальности включает единицы на основании назначенных (выделенных) признаков.

Именно в таком, акциональном, смысле обращался когда-то к неким слушателям Эпименид. Апостол Павел, подтверждая свободу интерпретирования, понял его слова как полноценное вербальное действие и истолковал недвусмысленно:

«Из них же самих один стихотворец сказал: „Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые“ Свидетельство это справедливо» (Тит. 1: 12–13).

Но логик стал искать в словах и фактах мнимо присутствующую в них истинность или ложность, независимо от самого Эпименида-говорящего, поскольку объективные слова «языка» (или объективный «язык» слов) вкупе с «объективными» фактами всегда считались самореферентными, или самозначными. Так в тесном единстве логики и грамматики возникает парадокс, сам автор которого, похоже, некогда всерьез поверил в его самозначность, исповедуя классический подход к лингвистическому материалу. Кажется, сами логики и грамматисты не заметили, что западня, в которой они оказались, ими самолично создана в ответ на собственное желание в нее попасть.

Как видно, главным «лжецом» в этой ситуации оказывается «язык», на логико-грамматическую самозначность которого опирает-

ся классическая схема описания, требуя подчинения этому центральному постулату («самозначности») во всех исследовательских и истолковательных процедурах. По-видимому, в этом состоит главная инсинуация, невольно организованная традиционной логической и грамматической теорией. В действительности нет ни самозначности «языка», ни самого «языка» — вернее, для моделирования речевой и мыслительной реальности, в которой главным выражаемым/понимаемым является личное действие коммуниканта, эти абстракции оказываются неэффективными.

Н. Д. АРУТЮНОВА

ВІДЕНІЕ И ВИДѢНЬЕ
(ПРОБЛЕМА ДОСТОВЕРНОСТИ)

Я знаю, что обман в видении немыслим,
И ткань моей мечты прозрачна и прочна.

(О. Мандельштам)

Все виденья так мгновенны —
Буду ль верить им?

(А. Блок)

В нижеследующем очерке речь пойдет о степени надежности, то есть истинности/ложности, достоверности/недостоверности, той информации, которую нам поставляют органы чувственного восприятия — зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Зрение среди них занимает особое место. Оно отмечено рядом параметров. Подвижность глаз и головы обеспечивает зрительному восприятию кругозор (окоем). Визуальный лексикон образует чрезвычайно объемное гнездо слов и фразеологизмов. Зрение дает многоаспектную информацию о мире, характеризуя воспринимаемые объекты по форме, объему и цвету, взаимному расположению и расстояниям, их разделяющим, а затем, на основе полученных данных, идентифицирует объект как индивида или члена класса. В реальной жизни зрительное восприятие ограничено наличием света. В сумерках или темноте легко обознаться: *А в темноте, страшилищами бредя, Мы куст принять готовы за медведя* (Шекспир. Сон в летнюю ночь).

Офтальмологи различают зрение статическое и динамическое. Последнее может быть континуальным (взгляд из окна идущего поезда) и дискретным (взгляд с платформы на проходящий поезд). Существует также целостное зрение, одновременно воспринимающее всю статическую картину или панораму, находящуюся в поле зрения. На нем, в частности, основано узнавание лиц. Последнее требует стабильной пространственной ориентации. Взгляд на лицо человека, пе-

ревернутое «вниз макушкой», может сделать его неузнаваемым. Этот эффект иногда называют иллюзией М. Тэтчер (в отместку за ущемление ею научного бюджета). См. [Величковский 2006: 215].

Зрение, в отличие, например, от вкуса, поверхностно. Оно не проникает «внутренностей» и не видит обратной стороны объектов. Не случайно врачи, чтобы увидеть внутренние органы человека, делают всякого рода просвечивания, ультразвуковые вторжения и вскрытия, но рентген души затруднен. О душе судят «по глазам». Человек живет в поверхностном мире, а хочет проникнуть в его суть и, прежде всего, увидеть «насквозь» другого человека. Для этого он постоянно смотрит на него *во все глаза* и всматривается *в его глаза*. Романисты, особенно Достоевский, регулярно отмечают эпизоды «смотров», «осмотров», «смотрин» и сквозных «просмотров». Приведем примеры: *Оба пристально смотрели друг другу в глаза. ...Оба еще пристальнее смотрели друг на друга* (Достоевский. 10, 289)¹; *На пороге стоял человек и пристально его разглядывал. ...Незнакомец продолжал в него вглядываться. Вдруг он подошел к столу, ...все это время не спуская с него глаз...* (6, 214); *Оба глядели друг на друга во все глаза* (6, 219); *Он начал еще пристальнее всматриваться в нее. ...Вот и объяснение исхода, — решил он про себя, с жадным любопытством рассматривая ее. С болезненным чувством всматривался он в это бледное... личико* (6, 248); *Соня страдальчески взглянула на него. Раскольников странно посмотрел на нее. Он все прочел в одном ее взгляде* (6, 247). Всматривание в глаза может быть продолжительным. Оно подобно чтению текста: *Он узнал теперь, и узнал наверно, что... ей самой мучительно хотелось прочесть... и именно ему... Он прочел это в ее глазах, понял из ее восторженного волнения* (6, 250); *С тех пор как вечный Судия Мне дал всеведение пророка, В очах людей читаю я Страницы злобы и порока* (Лермонтов). Так, постепенно «чтение оче-видного текста» ведет к пониманию, а затем и познанию другого человека. Глагол *видеть* стал употребляться синонимично глаголу *понимать*. Чтобы понять, нужно смотреть на все и всех — себя и других — *открытыми глазами: И только теперь открылись глаза мои! Вижу сам, что весьма и весьма поступил опрометчиво* (6, 234). *В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен* (Пушкин).

Окулярное понимание дает возможность вести «окулярный разговор»: *Арина Прохоровна сидела, обводя смелыми очами гостей и как бы спеша проговорить своим взглядом: «Видите, как я совсем ни-*

¹ Отсылки к текстам Ф.М. Достоевского даются в круглых скобках с указанием тома и страницы по Полному собранию сочинений в 30 т. (Л., 1972–1990). Местоимения в приводимых примерах не расшифровываются.

чего не боюсь» (10, 302). К обмену взглядами прибегают обычно тогда, когда хотят сделать разговор неслышным для других: *Она подала знак, но не рукою, не наклонением головы, нет, в ее сокрушительных глазах выразился этот знак таким тонким незаметным выражением, что никто не мог его видеть, но он видел, он понял его* (Гоголь).

Глаза выражают, глаза воспринимают выражение. Глаза говорят, глаза слушают. Ведется диалог глаз — обмен взглядами. Его сопровождают глазные «жесты»: подмигивание, подмаргивание, прищушивание. Глаза опускают или закатывают, вскидывают, поднимают к небу или опускают к земле, жмурят, суживают или расширяют, смотрят прямо или косо. Тематика «глазного диалога» не сложна. Но возможности «глазного поведения» не столь просты. Глаза умеют притворяться: *глаза плачут, а сердце смеется*.⁷ Или наоборот: *Она навстречу. Как сурова! Его не видят, с ним ни слова* (Пушкин. Евгений Онегин). Выражение глаз говорящего часто не соответствует его словам. Иногда в этом состоит сознательный игровой прием: *Это многократное глупенькое повторение, что казенная квартира славная вещь, слишком, по пошлости своей, противоречило с серьезным, мыслящим и загадочным взглядом, который он устремил теперь на своего гостя* (6, 256).

Обманчив также сам *поверхностный* взгляд. Глаза лгут, объект обманывается. И наоборот, глаза могут своей искренностью выдать человека. Поэтому собеседники часто *отводят* или *опускают* глаза. Человеку легче владеть улыбкой и даже смехом, чем глазами. Например. *Ставрогин засмеялся, но глаза его сверкали* (10, 318). См. также двусмысленный смех Порфирия Петровича, который смеялся как бы *вместе* со своим гостем и в то же время «как будто смеялся в глаза *над* своим гостем» (6, 256–257).

Взгляд, таким образом, может быть согласован и не согласован с выражением лица и тоном голоса. Это затрудняет истинностную оценку реплик собеседника. Напомним, что одним из первых психологов, обратившихся во второй половине XVIII в. к комплексному изучению физиогномики, был немецкий ученый И. К. Лафатер. О нем пишет познакомившийся с ним в Берлине Карамзин. См. [Карамзин 1964: 126, 177–178, 222]. Сочинения Лафатера несколько раз издавались в свободной версии на русском языке под завлекательным и интригующим названием: «Новейший полный и любопытный способ, как узнавать каждого человека свойства, нравы и участь его по его сложению», или «Опытный физиогном и хиромантик славного *Лафатера*, прославившегося в сей науке» (СПб., 1808, 1809, 1817).

Итак, зрение парадоксально. Орган зрения — глаза — это окно, соединяющее внешний и внутренний мир человека. Через глаза идет

движение зримых образов, поступающих в сознание человека — в затылочную часть мозга — и отлагающихся в зрительной памяти. Образ входит *извне вовнутрь* человека, а локализуется *вне* человека, то есть возвращается во внешний мир. Одновременно идет движение из глаз: глаза излучают эмоции, волю и силу; они проникают Другого, внушают ему мысли, чувства и побуждения к действию. Дурной глаз может *сглазить*.

Глаза выражают: 1) эмоции (*злобный, радостный, мучительный, страдальческий, тоскливый, печальный взгляд*), 2) отношение к себе-седнику (*любящий, презрительный, насмешливый, восхищенный, завистливый, упрекающий, сочувственный взгляд*), 3) коммуникативную цель (*умоляющий, просящий, вопрошающий взгляд*), 4) отношение к событию или действиям другого человека (*возмущенный, сердитый, испуганный, удивленный, подозрительный, недоверчивый, осуждающий взгляд*). Отмеченные значения взглядов могут не только не согласовываться с выражением лица, они могут быть также внутренне противоречивы, соединяя в себе разные «смыслы». Приведем несколько примеров: *В ее глазах засверкали ненависть и презрение, слишком уж нескрываемые* (10, 135); *Он... глядел на него прежним умоляющим, но в то же время непреклонным взглядом* (10, 3); *Он посмотрел на меня странным взглядом — испуганным и в то же время как бы и желающим испугать* (10, 332).

Взгляд ненадежен со стороны своего выражения, но обманчиво также визуальное восприятие: видение нередко переходит в виденье, а *очевидность* — в разряд гипотез. Хотя в подтверждение истинности визуальной информации говорят «*видел своими (собственными) глазами*», глаза обманывают. Соня говорит об умершем отце: «Я его точно сегодня видела. ...Я по улице шла, ...а он будто впереди идет. И точно как будто он» (6, 243). Гоголь начинает свою повесть «Невский проспект» словами восхищения: «Чем не блесит эта улица — красавица нашей столицы!». А в финале предупреждает: «О, не верьте этому Невскому проспекту! Я стараюсь, когда иду по нем, вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется. Он лжет во всякое время — этот Невский проспект». Предметы не нужно персонифицировать, чтобы говорить об их лживости или правдивости. Здесь действует особая «визуальная обманчивость». «Видимости» не доверяют, как и *поверхностным* суждениям, сделанным «по виду», «с виду», «на вид» (см. [Кустова 2004: 167–171]), а вводные слова «по-видимому», «видимо» и «видно» означают предположительность. Визуальная истина легко оборачивается кажимостью. Получаемые визуальные сведения обладают большей или меньшей степенью достоверности. Они далеки также от точности. Весе-

ма ненадежны данные о пространственных параметрах. О них человек судит «на глазок». Глазомер неточен. Мера определяется измерением. Расстояние между объектами, как известно, создает трудности для двухмерного живописного воспроизведения натуры. Обычно используется так называемая линейная перспектива, допускающая варьирование точки зрения. Китайские и японские художники маркируют перспективу блеклым или голубоватым цветом. В византийской и древнерусской живописи использовалась так называемая «обратная перспектива» — увеличение размера отдаленных объектов.

Теперь остановимся коротко на том, какое место в языке занимает лексикон зрительного восприятия. Визуальный лексикон необычайно широк и семантически развит. См. об этом подробно в работах Ю. Д. Апресяна [Апресян 2004], Е. В. Падучевой [Падучева 2001; Падучева 2004: 197–256], а также Г. И. Кустовой [Кустова 2004], А. М. Бондарко [Бондарко 2002; Бондарко 2004] и др. Визуальная лексика особенно развита в народном русском языке и диалектах, о чем свидетельствуют данные Словаря Даля. В настоящее время народная визуальная лексика идет на убыль. С другой стороны, обогащению визуального лексикона способствует популярность «зримых» искусств — живописи, кино, телевидения, рекламы, всякого рода видеокomпозиций и монтажей. Визуальная символика характерна для абстрактной живописи. Визуальное искусство наглядно и вместе с тем обманчиво. Не случайно поэтому мистика и отчасти религия представляют духовные концепты символами, а не только образами. Визуальные искусства легко соединяются со звуками; ср. опера, балет, разные формы народной культуры. Это придает им одухотворенность, соединяя воображение и вдохновение. Воображение ограничено образами реального мира, вдохновение устремлено за его пределы. Воображение способствует открытиям. «Воображать — открывать, вносить частицу собственного света в живую тьму, где обитают разные возможности, формы и величины» [Лорка 1986: 256]. «Воображение — это открытие, вдохновение — это благодать, это неизреченный дар» [Там же: 258].

В русском «визуальном лексиконе» выделимы, по крайней мере, четыре группы слов — глаголов, простых и аффиксальных, производных от них существительных и атрибутов, восходящих к одному этимону и имеющих общий корень. Перечислим кратко их основные значения:

1) слова, имеющие корень *-зр-* — с меной гласного *-е-, -а-, -и-, -о-* (и.е. корень *gher, ghar* 'блестеть'): глаголы: *зреть, узреть, прозреть, призреть, подозревать, заподозрить, презреть, зазреть* (без зазрения совести), *обозреть, озираться, взирать, надзирать*; атрибуты: *зрительный, умозрительный, зримый, зоркий, прозорливый*; существитель-

ные: зрение, зритель, позор, узор, надзор, взор, зрачок, дозор, зазор, призрак; устар. зрак «взгляд, взор, вид, образ»: *Москва, сколь Русскому твой зрак унылый страшен* (Пушкин). Глагол *зреть*, образующий семантический «исток» этой группы, обозначает зрительное восприятие, направленное на объект и вглубь объекта (ср. призыв К. Прутков: *Зри в корень!*); *Свет-Наташа, где ты ныне? Что никто тебя не зрит?* (Пушкин); *Княжна со страхом пред собою Младую незнакомку зрит* (Пушкин). Употребительно деепричастие от *зреть* — *зря*, ставшее адвербом со значением «напрасно, как глянулось, без цели и надобности»; ср. также *зрящий* «пустой, напрасный» и *зряшный* «негодный». Сам глагол *зреть* практически вышел из употребления (в текстах Пушкина он встречается 55 раз, а в более объемных текстах Достоевского — только 3 раза), но сохранились его префиксальные производные, получившие новые значения. Не намного более употребительна форма совершенного вида — *узреть*: в текстах Пушкина она встречается 28 раз, а в текстах Достоевского — 20. Производное существительное *взор* также уступает место синонимическому слову *взгляд*. В поэзии XIX в. оно употреблялось достаточно широко, означая зрительный акт (ср.: *бросить, кинуть, вперить, устремить взор*) и проникновение визуального образа в сознание человека, либо, наоборот, «внедрение» своих намерений и своих эмоций (иногда фальшивых) в адресата. Ср.: *Как томен взор ее чудесный* (Пушкин); *Как взор его был быстр и нежен, Стыдлив и дерзок, а порой Блистал послушною слезой!* (Пушкин); *Со взором, полным хитрой лести, Ей карла руку подает* (Пушкин). В текстах Пушкина употребление слова *взор* весьма частотно (322 раза), при том, что слово *взгляд* использовано только 93 раза. Достоевский отдает предпочтение слову *взгляд*. Его показатель — 1458, а показатель слова *взор* — 49.

Слово *взор* имеет только визуальную семантику, часто с эмоциональными коннотациями, а *взгляд* вышел за эти пределы в ментальную сферу, означая присущие человеку идейные концепции, обычно не в отрыве от субъекта суждения. Ср. *взгляд (*взор) Пушкина на поэзию; эстетические взгляды (*взоры) Пушкина*. *Взор* семантически сближается с именем своего «выразителя» — *глазом (глазами)*:

*А между тем душа в ней ныла
И слез был полон томный взор.*

(А. С. Пушкин)

2) слова с корнем *вид* (и.-е. *vid-, veid-* ‘смотреть, знать’, под влиянием *ведать*): глаголы: *видеть, увидеть, выдывать, видать, предвидеть, провидеть, свидетелься*; производные от них существительные и

атрибуты: *вид, видение, вѣдение, привидение, провидение, свидетель, (не)предвиденный, очевидный* и др.

Глагол *видеть* означает факт (акт) осознанного зрительного восприятия. Отрицание аннулирует факт восприятия; ср.: *смотрит (глядит), да не видит*. Совместная жизнь пары *видеть — смотреть* подробно проанализирована Ю. Д. Апресяном [Апресян 2004: 22–26].

Ориентация на факт (акт) препятствует употреблению глагола *видеть* в значении процесса. Объектом глагола *видеть* могут быть статические, динамические, а также ментальные объекты. Это имеет своим результатом варьирование дополнений глагола, которыми могут быть придаточные предложения, обозначающие факты, процессы и состояния: — *По твоему лицу и глазам я вижу, что ты недоволен*; — *Разве ты не видишь, что надвигается гроза? Вижу*; — *По тому, что я вижу теперь, вижу ясно, что ничего не могу понять* (6, 338). Последний пример иллюстрирует переход от зрительного восприятия к ментальному, от наблюдения к суждению. Длительность восприятия не может быть обозначена: **Он видел целых два часа (с пяти до семи вечера), как играли дети; *Я долго тебя вижу*. При отрицании, однако, длительность «невидения» иногда бывает выражена: *Я давно его не видел*. Это свидетельствует о том, что глагол *видеть* имеет фактивное (фактообразующее) значение, при котором отрицание относится к связке (компоненту суждения), а не к семантике предикатива. Этому не противоречит употребление глагола *видеть* со словами кратности и с обстоятельствами времени: *Я много раз (два раза) видел этот фильм; Я его видел вчера; Я его часто вижу*. Глагол *видеть* в значении фактивности не является предельным. Нельзя *начать (кончить, прекратить) видеть фильм*. Факт — элемент системы логических отношений, а событие — темпоральных. В мире событий человек живет, а в терминах фактов мыслит о жизни и о событиях, в ней происходящих. О фактивном и событийном значениях см. [Арутюнова 1998: 488–537]. Парадигматическим партнером глагола *видеть*, выражающим значение будущего времени, является форма *увидеть* [Апресян 2004]. Напомним, что для русского языка характерно употребление префиксов для транспозиции значения основы в план будущего; ср. *думаю — по-думаю, смотрю — по-смотрю*.

Синонимические отношения, свойственные глаголу *видеть* в значении чувственного восприятия (*видеть, замечать, лицезреть, зреть*) и в значении ментального восприятия, т. е. наличия в сознании человека образа объекта или ситуации (*воображать, представлять, видеть*) подробно проанализированы Ю. Д. Апресяном в [НОСС 2004: 92–96; 135–139], см. также статью Е. В. Урысон о воображении и фантазии [НОСС 2004: 139–141]. Смысловые приращения, сопутст-

вующие глаголу *видеть*, описаны Н.Ю.Шведовой [Шведова 2004: 246–247];

3) слова с основой *смотр-* (от греч. *μα-* ‘осязать’) глаголы: *смотреть, посмотреть, рассматривать, всматриваться, насмотреться, осматривать, усматривать, подсматривать, просматривать, высматривать, пересматривать* и др.; несколько производных существительных: *смотритель, смотр, (не)досмотр, пересмотр, осмотр* и др. Глагол *смотреть* означает пространственно-ориентированный процесс восприятия, иногда приближающийся к целенаправленному действию, которое может быть нерезультативным: *смотреть, но не видеть*. Префиксальные формы (*высматривать, рассматривать* и др.) означают сознательное целенаправленное действие и имеют две видовые формы: *осмотреть — осматривать*. Глагол *посмотреть* можно считать парадигматическим партнером глагола *смотреть*, лишенного формы будущего времени.

Смотрины, смотры и *просмотры* обращены вовне, т. е. на внешние объекты. Нельзя *смотреть (на) сны, ментальные образы, видения* и *привидения*. Чтобы *видеть сон*, не нужно открывать глаза.

Глагол *смотреть* соблюдает границу между внешним и внутренним миром. Глагол *видеть* эту границу постоянно переступает. Открытые глаза зрячего человека *смотрят* и *видят*, закрытые глаза не *смотрят*, но могут *видеть*.

Смотреть не фактивный глагол. Он не вводит *что-придаточных*: **Смотрю, что дети играют*. Он вводит только *как-придаточные*, обозначающие способ осуществления действия: *Что ты делаешь? Смотрю, как дети играют; Смотрел на то, как танцуют (танцевали) балетные пары*. Глагол *смотреть* не вводит беспредложного прямого дополнения. Ср.: *Вижу играющих детей* и *Смотрю на играющих детей; Вижу картину* и *Смотрю на картину; Хочу ее видеть (повидать)* и *Хочу на нее смотреть (посмотреть)*.

Предлог *на* отдаляет дополнение от управляющего глагола, семантика которого ощущается как более независимая;

4) слова с основой *гляд(д)-* (и.-е. *glend* ‘сиять, быть блестящим’; ср. нем. *glanz*): глаголы *глядеть, глянуть, разглядеть, проглядеть, недоглядеть, углядеть, взглядываться, подглядывать, поглядывать, заглядывать, проглядывать* и др.; отглагольные производные: *(не)наглядный, безоглядный*; существительное *взгляд*. Так же как *смотреть*, глагол *глядеть* означает сам зрительный, но не обязательно результативный процесс; ср.: *Глядит и не видит. Он все также стоял перед этими картинами и глядел на них уже совершенно не глядя* (Гоголь). Видовой парой глагола *глядеть* можно считать формы *взглянуть* или *глянуть*.

Как и некоторые другие приставочные глаголы зрительного восприятия, *выглядеть* допускает мену субъекта: наблюдателем становится постороннее лицо, а объектом наблюдения грамматический субъект визуального глагола; ср. *глядеть* и *выглядеть*.

Итак, глаголы зрения (с учетом диатезы и возможности изменения видового значения) могут обозначать: 1) зрительное восприятие как таковое (*зреть*), 2) факт (акт) восприятия (*видеть*), 3) и 4) осознанный процесс восприятия (*смотреть*, *глядеть*).

В производных словах эти значения варьируются. Для глаголов этих групп в той или иной степени характерно колебание между значением автоматического, инерционного восприятия и значением сознательного когнитивного акта.

Визуальная лексика обладает большим объемом и частотностью употребления в русском языке, особенно в русском классическом романе. Покажем это на материале текстов Пушкина и Достоевского, сравнение которых не вполне показательно, поскольку они не совпадают по своему объему и жанру. Тексты Достоевского растянуты и прозаичны, тексты Пушкина сжаты и поэтичны. Тем не менее, их сопоставление позволяет увидеть некоторые закономерности жизни визуальной лексики в русском языке. Так, у Пушкина глагол *видеть* встречается 922 раза, *видать* — 99, *увидеть* — 463 раза, *виденье* (*видение*) — 37 раз, причем только в значении «плод воображения, греза» (*Там лес и дол видений полны*), *зреть* — 55 раз, *узреть* — 28, *зрение* — 3 раза, *воззрение* — 2, *воззреть* — 4 (*Воззри с небес на слезы верных слуг*), *взор* — 322, *взгляд* — только 93. Слово *глаз* употреблено 341 раз. Распределение по группам дает следующие показатели: 1) группа «видеть» — 1458; 2) группа «глядеть» — 651; 3) группа «смотреть» — 540; 4) группа «зреть» — 447. Итого: $3096 + 341 = 3437$. Данные приводятся по «Словарю языка Пушкина» (в 4 т., 2 изд. М., 2000).

Тексты Достоевского дают совсем другую картину. В них основные слова приведенных четырех визуальных групп употреблены в общей сложности около 9000 раз. Распределение по группам следующее: 1) группа «видеть»: *видеть*, *видать* — 4782, *видение*, *провидение*, *привидение* — 91; итого — 4873 раза; 2) группа «смотреть»: *смотреть* — 2871, *всматриваться* — 513, *осматривать(ся)* — 124; итого — 3008; 3) группа «глядеть», «глазеть»: *глядеть* — 768; *взглянуть* — 513, *вглядываться*, *вглядеться* — 94; итого — 1375; 4) группа «зреть — зрение»: *зреть* — 3, *узреть* — 20, *зрение*, *зритель*, *зрелище*, *взор* — 154; итого — 177 раз. Слова *глаза*, *глазки*, *глазенки* употреблены 2792 раза. Итого визуальный лексикон (в него включены лишь основные производные от ключевого слова) составляет более 12 000 слов. Следует отметить

сильный перевес в частотности визуальных слов в текстах художественной литературы: для глагола *видеть* — (2841 из 3806), для глагола *глядеть* — 712 из 768, для глагола *смотреть* — 2383 из 2871, для существительного *взгляд* — 1088 из 1458; для имени *глаза* — 2392 из 2693. Данные взяты из «Статистического словаря языка Достоевского» [Шайкевич и др. 2003]. Такие высокие показатели характерны для художественной прозы. В поэзии и драматургии частотность визуального лексикона уменьшается. Естественно, что в пьесах характеристика взглядов, выражения глаз и лица сосредоточена в немногочисленных авторских ремарках.

Сравнение частотности употребления визуального лексикона у Пушкина и Достоевского позволяет, по крайней мере, констатировать факт реорганизации рассматриваемых гнезд. Так, у Достоевского увеличилась частотность глагола *смотреть*, перешедшего с третьего на второе место, и сильно сократилась употребительность группы «зреть». Между тем существительное *зрение*, которое встречается у Пушкина всего 3 раза, у Достоевского увеличило свою частотность до 20 раз и продолжает ее увеличивать в современной речи (надо полагать, в связи с падением у людей зрительной нормы). Если у Пушкина активный визуальный комплекс составляли слова *видеть*, *глядеть*, *смотреть*, *взор*, то у Достоевского (и в современном языке) он образован скорее словами *видеть*, *смотреть*, *зрение*, *взгляд*. Увеличилось также число префиксальных производных от визуальных глаголов, не образующих строгих грамматических парадигм.

Зрение одновременно поставляет самые надежные сведения о реальности сущего и происходящего. Вместе с тем именно оно, постоянно взаимодействуя со снами и воображением, склонно поставлять ненадежную информацию и фантастические образы.

Парадоксальность зрения состоит в том, что взгляд может охватывать одновременно видения и видение. Ср. у Пушкина: *Я находился в том состоянии чувств и души, когда сущность, уступая мечтаньям, сливается с ними в неясных видениях первосония*. О герое «Портрета» Гоголь пишет: *Художник впал не в сон, а в какое-то полубытие, в то тягостное состояние, когда одним глазом видим приступающие грезы сновидения, а другим — в неясном облике окружающие предметы*. Возникает, по выражению Гоголя, *полусновидение* — монтаж образов, поступающих извне и изнутри. При этом образы, имеющие своим источником зрительную память, как бы экстериоризируются. В этом случае движение замкнуто внутренним миром, который создает видимость действительности. Человек *видит* (обычно при закрытых глазах) сны (ср. *Мало спалось, да много виделось*). Сновидение — это видение видений. Сны символичны или ме-

Как и некоторые другие приставочные глаголы зрительного восприятия, *выглядеть* допускает мену субъекта: наблюдателем становится постороннее лицо, а объектом наблюдения грамматический субъект визуального глагола; ср. *глядеть* и *выглядеть*.

Итак, глаголы зрения (с учетом диатезы и возможности изменения видового значения) могут обозначать: 1) зрительное восприятие как таковое (*зреть*), 2) факт (акт) восприятия (*видеть*), 3) и 4) осознанный процесс восприятия (*смотреть*, *глядеть*).

В производных словах эти значения варьируются. Для глаголов этих групп в той или иной степени характерно колебание между значением автоматического, инерционного восприятия и значением сознательного когнитивного акта.

Визуальная лексика обладает большим объемом и частотностью употребления в русском языке, особенно в русском классическом романе. Покажем это на материале текстов Пушкина и Достоевского, сравнение которых не вполне показательно, поскольку они не совпадают по своему объему и жанру. Тексты Достоевского растянуты и прозаичны, тексты Пушкина сжаты и поэтичны. Тем не менее, их сопоставление позволяет увидеть некоторые закономерности жизни визуальной лексики в русском языке. Так, у Пушкина глагол *видеть* встречается 922 раза, *видать* — 99, *увидеть* — 463 раза, *виденье* (*видение*) — 37 раз, причем только в значении «плод воображения, греза» (*Там лес и дол видений полны*), *зреть* — 55 раз, *узреть* — 28, *зрение* — 3 раза, *воззрение* — 2, *воззреть* — 4 (*Воззри с небес на слезы верных слуг*), *взор* — 322, *взгляд* — только 93. Слово *глаз* употреблено 341 раз. Распределение по группам дает следующие показатели: 1) группа «видеть» — 1458; 2) группа «глядеть» — 651; 3) группа «смотреть» — 540; 4) группа «зреть» — 447. Итого: $3096 + 341 = 3437$. Данные приводятся по «Словарю языка Пушкина» (в 4 т., 2 изд. М., 2000).

Тексты Достоевского дают совсем другую картину. В них основные слова приведенных четырех визуальных групп употреблены в общей сложности около 9000 раз. Распределение по группам следующее: 1) группа «видеть»: *видеть*, *видать* — 4782, *видение*, *провидение*, *привидение* — 91; итого — 4873 раза; 2) группа «смотреть»: *смотреть* — 2871, *всматриваться* — 513, *осматривать(ся)* — 124; итого — 3008; 3) группа «глядеть», «глазеть»: *глядеть* — 768; *взглянуть* — 513, *вглядываться*, *вглядеться* — 94; итого — 1375; 4) группа «зреть — зрение»: *зреть* — 3, *узреть* — 20, *зрение*, *зритель*, *зрелище*, *взор* — 154; итого — 177 раз. Слова *глаза*, *глазки*, *глазенки* употреблены 2792 раза. Итого визуальный лексикон (в него включены лишь основные производные от ключевого слова) составляет более 12 000 слов. Следует отметить

сильный перевес в частотности визуальных слов в текстах художественной литературы: для глагола *видеть* — (2841 из 3806), для глагола *глядеть* — 712 из 768, для глагола *смотреть* — 2383 из 2871, для существительного *взгляд* — 1088 из 1458; для имени *глаза* — 2392 из 2693. Данные взяты из «Статистического словаря языка Достоевского» [Шайкевич и др. 2003]. Такие высокие показатели характерны для художественной прозы. В поэзии и драматургии частотность визуального лексикона уменьшается. Естественно, что в пьесах характеристика взглядов, выражения глаз и лица сосредоточена в немногочисленных авторских ремарках.

Сравнение частотности употребления визуального лексикона у Пушкина и Достоевского позволяет, по крайней мере, констатировать факт реорганизации рассматриваемых гнезд. Так, у Достоевского увеличилась частотность глагола *смотреть*, перешедшего с третьего на второе место, и сильно сократилась употребительность группы «зреть». Между тем существительное *зрение*, которое встречается у Пушкина всего 3 раза, у Достоевского увеличило свою частотность до 20 раз и продолжает ее увеличивать в современной речи (надо полагать, в связи с падением у людей зрительной нормы). Если у Пушкина активный визуальный комплекс составляли слова *видеть*, *глядеть*, *смотреть*, *взор*, то у Достоевского (и в современном языке) он образован скорее словами *видеть*, *смотреть*, *зрение*, *взгляд*. Увеличилось также число префиксальных производных от визуальных глаголов, не образующих строгих грамматических парадигм.

Зрение одновременно поставляет самые надежные сведения о реальности сущего и происходящего. Вместе с тем именно оно, постоянно взаимодействуя со снами и воображением, склонно поставлять ненадежную информацию и фантастические образы.

Парадоксальность зрения состоит в том, что взгляд может охватывать одновременно видения и видение. Ср. у Пушкина: *Я находился в том состоянии чувств и души, когда сущность, уступая мечтаньям, сливается с ними в неясных видениях первосония*. О герое «Портрета» Гоголь пишет: *Художник впал не в сон, а в какое-то полубытие, в то тягостное состояние, когда одним глазом видим наступающие грезы сновидения, а другим — в неясном облике окружающие предметы*. Возникает, по выражению Гоголя, *полусновидение* — монтаж образов, поступающих извне и изнутри. При этом образы, имеющие своим источником зрительную память, как бы экстериоризируются. В этом случае движение замкнуто внутренним миром, который создает видимость действительности. Человек *видит* (обычно при закрытых глазах) сны (ср. *Мало спалось, да много виделось*). Сновидение — это видение видений. Сны символичны или ме-

тафоричны. Они выражают предчувствия и раскаяние, делают прогнозы и предостерегают. Вспомним сон Татьяны Лариной, сон Раскольникова об убийстве лошади перед убийством старухи и другой сон, в котором уже убитая старуха сидела, склонив голову, и хохотала над своим убийцей. Вспомним весьма прозаические сны Свидригайлова, в которых ему трижды являлась умершая (не без его содействия) Марфа Петровна. Вспомним «философический» сон Ивана Карамазова — его разговор с чертом — в момент самоубийства Смердякова и др. Литература, стремящаяся найти новый путь постижения прозы жизни, полна пророчеств, видений, привидений и сновидений, но и в них она обычно соблюдает *наглядность*, т.е. апелляцию к глазам.

Итак, зримый мир человека расширяется за счет галлюцинаций. Художники и мечтатели окружают себя иллюзорным, образным «полем зрения». В мир визионеров и ясновидцев проникают *вид-ения*, *при-зраки* и *при-вид-ения*, которые воспринимаются иногда как бы открытыми глазами. Напомним слова Свидригайлова из «Преступления и наказания»: «Обычно говорят: „Ты болен, стало быть, то, что тебе представляется, есть один только несуществующий бред“. А ведь тут нет строгой логики. ...Это только доказывает, что привидения могут являться не иначе как больным, а не то, что их нет самих по себе. ...Ну а что если так рассудить. Привидения — это клочки и отрывки других миров. Здоровому человеку их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить одной здешней жизнью. Ну а чуть заболел, чуть нарушился земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше» (6, 221). Таким образом, к видению присоединяются видения. Поле зрения человека начинает соприкасаться с иными мирами. Граница между ними стирается. Суждения, основанные на зрительном восприятии, утрачивают необходимую истинность. Зрение считается надежным источником информации; ср. бытующую в народе рекомендацию: «Не верь своему брату родному, а верь своему глазу кривому». Но глаз, особенно кривой, заставляет объект искривляться или кривляться. Обман зрения создает особую область восприятия, лежащую между ложью и фантазией. Тем самым возрастает роль слов зрительного восприятия в художественной литературе, создающих в сознании читателя видимый мир. Этот процесс в сущности имеет своим источником метафору: идеи становятся наглядными. Их толкуют. Их расшифровывает Мартын Задека по ключевым словам-образам: *бор*, *буря*, *лес*, *медведь* и т.п. Монтажом, искажающим действительность, постоянно занято телевидение. Существует также вид искусства, соединя-

ющий рисунок со словами и мыслями. По мнению В.П. Григорьева, «дизайн наступает на логос». Возникает визуальная поэзия (*poesia visiva*), которая постепенно внедряется в компьютерную деятельность. См. об этом в: [Поэтика исканий 2004].

В заключение еще раз подчеркнем то центральное место, которое занимают глаза в образе человека. Глаза (наряду с движениями) сигнализируют о наличии жизни. Глаза (но не нос, губы или руки) бывают *живыми*. Гоголь в «Портрете» постоянно подчеркивает, что изображенный на холсте ростовщик глядел живыми человеческими глазами, и это было знаком присутствия в нем жизни. Глаза «просто глядели, глядели, глядели даже из самого портрета» (курсив мой. — Н.А.). Глаза служат первым сигналом ухода человека из жизни или возвращения к ней. Гоголь пишет о глазах ростовщика: «Это была та странная живость, которой бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы». Обступившие портрет были поражены живостью глаз: «Они, казалось, устремлялись каждому вовнутрь». Взгляд глаз не пуст. Глаза могут выражать мысли и душевные состояния, говорить и вести диалог с глазами своего собеседника. Этот диалог обычно искренен. В глазах меньше фальши, чем в словах. Поэтому глаза — это орган познания, и прежде всего познания человека. «Человек такое дивное существо, что никогда не можно исчислить вдруг всех его достоинств, и чем больше в него *всматриваешься*, тем более является новых особенностей, и описание их было бы бесконечно» (Гоголь). Не случайно люди *отводят, опускают или потупляют* глаза, когда не хотят, чтобы чужой взгляд проник им в душу. Существование *глаза* употребляется как метонимический знак присутствия человека — Другого — собеседника или самого говорящего: *Я ему в глаза* (а не *в уши*) *сказал всю правду* значит «прямо на него глядя». С «глазами» не сочетаются никакие глаголы восприятия, кроме визуальных. Между тем, другие органы восприятия ведут себя более свободно: *Народ услышал носом, что обыкновенная продажа превратилась в аукцион* (Гоголь). Нельзя *учуять (ощутить) глазами*.

Наконец, глаза основной орган эстетической оценки и восприятия красоты. В этом случае поверхностный взгляд может подавлять глубинный. «Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в красавице, вместо того, чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны; самый порок дышит в них миловидностью, но исчезни она и женщине нужно быть в 20 раз умнее мужчины, чтобы внушить к себе, если не любовь, то, по крайней мере, уважение» (Гоголь). Мы здесь оставляем в стороне проблему духовной красоты.

Итак, глаза видят и воспринимают обращенную к зрителю поверхность мира. Но к ней присоединяются видения: ложь и фантазии, поступающие извне и изнутри. Поэтому визуальное восприятие не оценивается как абсолютно истинное. Сами же «непритворные» глаза выражают правду души человеческой. Поскольку глаза говорят, к их «высказываниям» применима истинностная оценка. «Визуальная правда» (видение) основывается на внешнем зрении человека. «Воображаемая правда» (видения) основывается на внутреннем зрении. Ее читают (подобно Онегину) *духовными глазами*. Таким образом, существуют два мира — внешний и внутренний — и, соответственно, два вида истины: истина внешнего мира и правда человеческой души. Взаимодействие этих двух «истин-правд» лежит в основе разных видов художественного творчества человека." Но это уже совсем другая проблема.

ЛИТЕРАТУРА

- Апресян 2002 — *Апресян Ю. Д.* Взаимодействие лексики и грамматики: лексикографический аспект // Русский язык в научном освещении. 2002. № 1 (3)
- Апресян 2004 — *Апресян Ю. Д.* Акциональность и стативность как сокровенные смыслы // Сокровенные смыслы. Слово. Текст. Культура. М., 2004.
- Арутюнова 1998 — *Арутюнова Н. Д.* Язык и мир человека. М., 1998.
- Бондарко 2002 — *Бондарко А. В.* Теория значения в системе функциональной грамматики. М., 2002.
- Бондарко 2004 — *Бондарко А. В.* К вопросу о перцептивности // Сокровенные смыслы. Слово. Текст. Культура. М., 2004.
- Величковский 2006 — *Величковский Б. М.* Когнитивная наука: основы психологии познания. В 2-х т. Т. 1. Academia. Смысл. М., 2006.
- Карамзин 1964 — *Карамзин Н. М.* Избранные сочинения в 2 т. Т. 2. М.; Л., 1964.
- Кустова 2004 — *Кустова Г. И.* Вид, видимость, сущность (о семантическом потенциале слов зрительного восприятия) // Сокровенные смыслы. Слово. Текст. Культура. М., 2004.
- Лорка 1986 — *Гарсия Лорка Ф.* О воображении и вдохновении // Называть вещи своими именами. М., 1986.
- НОСС 2004 — Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. М.; Вена, 2004.
- Падучева 2001 — *Падучева Е. В.* К структуре семантического поля «восприятие» (на материале глаголов восприятия в русском языке) // ВЯ. 2001. № 4.
- Падучева 2004 — *Падучева Е. В.* Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.

- Поэтика исканий 2004 — Поэтика исканий или поиск поэтики. М., 2004.
- Шайкевич и др. 2003 — *Шайкевич А. Я., Андрющенко В. М., Ребецкая Н. А.*
Статистический словарь языка Достоевского. М., 2003.
- Шведова 2004 — *Шведова Н. Ю.* Три заметки о смысловых пересечениях // Сокровенные смыслы. Слово. Текст. Культура. М., 2004.
- Урысон 2004 — *Урысон Е. В.* Воображение, фантазия // НОСС 2004.

ПРЕДИКАТЫ ОШИБОЧНОГО МНЕНИЯ В СВЕТЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ: ГЛАГОЛ *МНИТЬ*

...suite d'un sentiment de superiorité, peut-
être imaginaire ¹.

В данной статье рассматривается семантическая эволюция некоторых глаголов мнения в русском языке в XVIII–XXI вв. К семантической типологии это имеет то отношение, что речь идет о семантических источниках значения ошибочного мнения. Как известно, основным таким источником является видение и, далее, его источники, т.е. свет и сияние, ср. рус. *видит-ся*, *привиделось*, *показалось*; лат. *videor* нем. *es scheint mir* ('мне кажется', от *scheinen* 'светить'), а также сходство (ср. рус. *похоже, что*; франц. *il me semble* 'мне кажется', из лат. *similis* 'похожий'). Я хочу обратить внимание на еще один источник этого значения: просто мнение. Итак, речь пойдет о семантическом переходе ² 'иметь мнение' → 'иметь неправильное мнение', который демонстрируется русским глаголом *мнить*.

Прежде всего обратим внимание на тот факт, что у всех русских глаголов мнения, за исключением *думать* (как считается, заимствованного из готского [Фасмер 1996/1: 552]), значение мнения является производным (т.е. переносным): *считать*, *полагать*, *находить*, *рассматривать* ³. А единственный глагол с исходным значением мнения — *мнить* (с и.-е. основой «номер один» для ментального значения, от которого образовано главное существительное этого поля — *мнение*) утрачен. По крайней мере, он не фигурирует, например, в вышеупомянутом списке синонимов. Очевидно, дело в том, что глагол *мнить* для современного языка является устаревшим — как утверждает в толковых словарях. Так, в Малом академическом словаре этот глагол, помеченный как «устаревший», трактуется как имеющий значения 'думать, считать, полагать' (*Я мнил, что грубый ты и гордый человек.* Островский) и, в конструкции с инфинитивом, 'надеяться, рассчитывать' (*Пороки юности пре-*

Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 05-04-026а; ИНТАС, грант № 05-1000008-7917.

¹ «...следствие чувства превосходства, быть может мнимого», франц. (Евгений Онегин, эпиграф).

² О понятии семантического перехода см. [Зализняк 2001].

³ Это основные глаголы мнения; в статье [Апресян 2004] приводятся еще: *смотреть*, *видеть* и *усматривать*.

ступной Я мнил страданьем искупить. Лермонтов). Действительно, в Национальном корпусе русского языка (www.ruscorpora.ru, далее НКРЯ) глагол *мнить* в данных значениях встречается лишь в цитатах и в текстах духовного содержания.

Однако, если посмотреть в Интернете, то обнаруживается не сколько-нибудь, а полтора миллиона вхождений слова *мнить*. Если исключить отсюда ссылки на словарь Даля и другие толковые словари русского языка, то останется несколько меньше, но все же безусловно больше, чем то, чего можно ожидать от вышедшего из употребления слова. Оказывается, что он действительно устарел и вышел из употребления (за исключением духовного дискурса, ориентированного на церковнославянскую норму), но лишь в старом значении «нейтрального» мнения (а также намерения, ср. выше), но сам глагол сохранился за счет того, что он развил новое значение — ошибочного мнения, и в этом значении он является в высшей степени употребительным, в том числе (и даже, по-видимому, преимущественно) в разговорной речи и языке СМИ, преимущественно представленных в Интернете.

Судя по данным НКРЯ и русского Интернета, этот глагол в современном языке означает, приблизительно: ‘иметь ошибочное мнение, основанное на завышенной самооценке’ Глагол *мнить* в этом значении имеет следующие варианты модели управления:

а) *мнить себя каким-то* (самым умным, самым крутым) или *мнить из себя какого-то* (самого красивого); *мнить о себе как о каком-то* (о единственном тут интересном);

б) *мнить себя кем-то* (в прямом смысле: гением, духовным лидером, архитектором, агрономом, пророком, преемником Путина) и в переносном (Давидом, Бонапартом),

в) *мнить, что...*;

г) абсолютное употребление.

Примеры⁴:

а)

- (1) Не надо *мнить* себя выше других.
- (2) Леша, как всегда, себя самым умным *мнит*.
- (3) Девушке конечно приятно, что парень хочет с ней познакомиться, это ей льстит, но парню это льстит слишком сильно и он начинает *мнить* из себя самого красивого и обаятельного.
- (4) И не стоит *мнить* о себе, как о единственном тут интересном.

⁴Здесь и далее примеры из НКРЯ имеют помету [ruscorpora]; примеры из Интернета (полученные с помощью поисковой системы Яндекс) даются без ссылки.

б)

- (5) Так что перестань себя *мнить* героем-любовником, о котором пол-форума вздыхают.
- (6) Губернатор Ткачев продолжает *мнить* себя преемником Путина.
- (7) Душевнобольные, за которыми приглядывают минские психиатры, предпочитают *мнить* себя банкирами, священниками, работниками спецслужб и «новыми русскими». Наполеоны, Ленины и Сталины уже вышли из моды.
- (8) Если каждая смотрелка будет *мнить* себя редактором, то скоро у ФШ останется всего одна востребованная фича: *Save for WEB*
- (9) В последнее время участились случаи, когда несостоявшиеся экстрасенсы и целители начинают *мнить* себя пришельцами из космоса и духовными лидерами...
- (10) Некоторые милые дамы тогда *мнили* себя значительными художниками, монументалистами и реалистами, и воплощали в бисерной технике большие темы. [Эмма Порк (2002), ruscopora]
- (11) Еще раз повторяю / каждый *мнит* себя стратегом / видя бой со стороны. [С. Доренко(1999), ruscopora]⁵
- (12) *Мнит* он себя, наверное, маленьким Давидом, поражающим камнем из пращи прямо в лоб огромного Голиафа. [Валерий Лебедев (2003), ruscopora]
- (13) Участники встречи с тревогой говорили о том, что эта профессия предполагает наличие не только глубоких профессиональных знаний, но и настоящего призвания, тогда как сегодня ландшафтным архитектором *мнит* себя практически каждый. [В. И. Мельников (2004), ruscopora]
- (14) Немало поэтов *мнят* себя пророками. [Александр Сирота (2002), ruscopora]
- (15) Всякий поганец себя гением *мнит*. [Семен Данилюк (2004), ruscopora]

в)

- (16) И не надо *мнить*, что ты такой гений и что поставил себя выше всех.
- (17) Не надо *мнить*, что ты неповторима, Не надо *мнить*, что ты — способный мачо!
- (18) Но вы не должны *мнить*, что стали уже близки к Божественному, лишь на основании такого рода общения, которое носит чисто ментальный характер.
- (19) Теперь каждый *мнит*, что только он знает, как выжить в столь трудных условиях, и не понимает, что разобщенность облегчает кучке проходимцев манипулировать целым народом. [М. Игорев (2003), ruscopora]
- (20) Ныне при разговоре о поэзии, кажется, никто, кроме школьных учителей, <...> не *мнит*, что если он сообщит миру об «основном заблуждении, тормозящем развитие поэзии», то с помощью разъяснительной работы это заблуждение удастся преодолеть. [Алла Латынина, 2003, ruscopora]

⁵ Эта цитата из поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» очень популярна в русском Интернете.

- (21) Люди *мят*, что они в силах нанести природе непоправимый ущерб, — хотя все еще не нашли, как вытравить клопов из дивана и вывести сорняки с огорода. [Михаил Бутов, 1999, ruscorgora]

г)

- (22) Потому что если мы, девушки, будем делать первый шаг с вами, то все дальнейшие отношения будут как одолжение со стороны парня, или же парень будет *себя мнить*...
- (23) Но зачем же *мнить*?
- (24) Спорить с Юрием о том, кто *мнит*, а кто работает, смысла нет.

Примеры из Пушкина:

- (25) В семье моей я *мнил* найти отраду, Я дочь мою *мнил* осчастливить браком (Борис Годунов).
- (26) Я наслаждением весь полон был, я *мнил*, Что нет грядущего, что грозный день разлуки Не придет никогда (Желание славы, 1925).
- (27) Не *мнишь* ли ты, что я тебя боюсь? Что более поверят польской деве, чем русскому царевичу? (Борис Годунов).
- (28) Кстати: зачем ты не хотел отвечать на письма Дельвига? он человек, достойный уважения во всех отношениях, и не чета нашей литературной санкт-петербургской сволочи. Пожалуйста, ради меня, поддержи его «Цветы» на следующий год. Мы все об них постараемся. Что *мнишь* ты о «Полярной»?.. Есть ли у тебя какие-нибудь известия об Одессе? перешли мне что-нибудь о том (Письмо П. А. Вяземскому, 20 апреля 1825 г.).
- (29) И милостью и страхом облекли Наместника всей нашей власти, что же Об нем вы *мните*? (перевод трагедии Шекспира «Мера за меру»).
- (30) Что умирать? я *мнил*: быть может, жизнь Мне принесет незапные дары; Быть может, посетит меня восторг И творческая ночь и вдохновенье; Быть может, новый Гайден сотворит Великое — и наслажуся им... Как пировал я с гостем ненавистным, Быть может, *мнил* я, злейшего врага Найду; быть может, злейшая обида В меня с надменной грянет высоты (Моцарт и Сальери).
- (31) Бывало, в сладком ослепленье Я верил избранным душам, Я *мнил* — их тайное рожденье Угодно властным небесам.
- (32) Я думал, что любовь погасла навсегда, Что в сердце злых страстей умолкнул глас мятежный, Что дружбы наконец отрадная звезда Страдальца довела до пристани надежной. Я *мнил* покоиться близ верных берегов, Уж издали смотреть, указывать рукою На парус бедственный пловцов.

Заметим, что в примерах из Пушкина почти везде (за исключением примеров (28) и (29), относительно которых нет уверенности, что они отражают современную Пушкину разговорную норму), *мнить* как будто обозначает ошибочное мнение.

Начнем, однако, с глагола *думать*. Дело в том, что вообще в языке имеется тенденция перехода непроверенного мнения в ложное: фраза *Он думает, что Р* скорее всего означает, что он ошибается. В работе [Зализняк, Падучева 1987: 81] это явление было названо «несочувственной интерпретацией подчинительной конструкции» и иллюстрировалось примером *Он думает, я его испугался*, содержащим семантический компонент ‘...а на самом деле это не так’. По-видимому, здесь речь идет о той же тенденции к «снижению уровня достоверности», что и та, которая обнаруживает себя в семантической эволюции таких единиц как русское *наверное*, очевидно, нем. *wahrscheinlich*, франц. *sans doute* (которая, в свою очередь, является частным случаем тенденции к семантическому «выветриванию»). Вообще смысловой компонент потенциальной ложности утверждаемой пропозиции присутствует в огромном количестве лексических единиц — *утверждать*, *обвинять*, *лстить* и др. Такие единицы имеют спектр употреблений, от нейтрального значения истинности подчиненной пропозиции до отчетливой ложности; в последнем случае может возникать отдельное лексическое значение, как это имеет место синхронно для русских глаголов *показаться*, *послышаться*, ср. *Тебе это кажется* (с ударением на глаголе) = ‘это не так’. Диахронически та же семантическая деривация представлена в русском глаголе *мнить*.

Чтобы убедиться в том, что *Он думает, что Р* скорее всего означает, что он ошибается, достаточно сделать запрос на сочетание *думать, что* в Национальном корпусе русского языка. Как оказывается, предложения, включающие это выражение, обычно описывают ошибочное, с точки зрения говорящего, мнение. Приведем подряд все примеры с первой страницы результатов поиска в НКРЯ:

- (33) Многие *думают, что* еще не кончилось средневековье [Владимир Мартынов: «Многие думают, что еще не кончилось средневековье» // «Известия», 2002.01.20]
- (34) Многие, например, *думают, что* они живут в XIX веке, и могут свободно творить, писать симфонии, оперы. [Владимир Мартынов (2002), ruscorpora]
- (35) Напрасно некоторые *думают, что* простуда, ГРИПП или ОРЗ на этот раз минуют их! [Рекламное письмо (2004), ruscorpora]
- (36) Часто люди *думают, что* были бы счастливы, имея много денег, хорошую машину или большой дом. [(2003), ruscorpora]
- (37) Типичный курильщик, заканчивая пачку, *думает, что* это последняя, но затем приходит к мысли, что еще одна не помешает. [Джудан Поллак (2000), ruscorpora]

- (38)–(40) Но славянофилы *думают, что* истинен тот путь, которым Россия ШЛА прежде. [К. С. Аксаков. Статья в газету «Молва», № 6, 18 мая 1857 г., ruscorpora]
- (41) Я же принадлежу к числу тех, которые *думают, что* без власти не может существовать никакое общество. [(1906), ruscorpora]
- (42) Они *думают, что* ответственные за цифры в бюджете, а они ответственные за людей». [Сергей Николаев (2003), ruscorpora]
- (43) Он почему-то *думает, что* поддержка Кремля позволит ему задавить на выборах СПС. [Иван Родин, Ольга Тропкина (2003), ruscorpora]
- (44) Одни учителя считают, что вправе требовать заработанные деньги в форме акций протеста, другие *думают, что* проблемы педагогов не должны отражаться на детях. [Лилия Мухамедьярова (2003), ruscorpora]

Легко видеть, что из этих 12-ти примеров лишь один — последний — выражает нейтральное с точки зрения истинностной оценки говорящего мнение (и то потому, что здесь глагол *думать* употреблен вместо *считать*, о котором пойдет речь дальше). В примерах (38)–(40) *X думает, что P* есть лишь форма выражения своего собственного мнения, поскольку говорящий принадлежит к множеству людей, обозначенных как *X*. Во всех остальных случаях *X думает, что P* выражает мнение, которое представляется говорящему сомнительным или ложным (или даже безусловно является таковым, как в примерах (33)–(34)). Несогласие говорящего с передаваемым мнением может быть выражено явно (тем или иным способом, ср. примеры: (35) со словом *напрасно*; (42) с противительным союзом *а*, (43) со словом *почему-то*), но может просто вытекать из значения предложения в целом, как в примерах (33), (34), (36), (37); ср. также:

- (45) Когда человека бьют на улице, левые силы *думают, что* у хулиганов было плохое детство. [Александр Братерский, 2003, ruscorpora]

Для сравнения приведем первые 12 примеров из результатов поиска в НКРЯ на *считать, что*. Как легко убедиться, здесь нигде не возникает имплицатуры ошибочности передаваемого мнения.

- (46) Как оказалось, почти половина (48,1%) респондентов в погонах ее не одобряют, 27,5% военных *считают, что* руководство Минобороны в основном занято лишь внутриведомственными интригами, а по мнению еще 17,2% респондентов — политическими баталиями. [Ольга Тропкина, 2003, ruscorpora]
- (47) И лишь четверть опрошенных (25,5%) *считают, что* ведомство Иванова решает текущие вопросы обеспечения армии. [Ольга Тропкина, 2003, ruscorpora]

- (48) На реформаторов из Минобороны возлагают надежды лишь 10,9% респондентов, а 48% опрошенных военнослужащих *считают, что* судьба военной реформы — целиком в руках президента. [Ольга Тропкина, 2003, ruscorgora]
- (49) Российские эксперты *считают, что* этого не произойдет и наша страна займет промежуточную позицию. [Мария Игнатова, 2002, ruscorgora]
- (50) Нефтяник *считает, что* «надо поддерживать отношения с ОПЕК, но не в ущерб России». [Мария Игнатова, 2002, ruscorgora]
- (51) Аналитик «Ренессанс Капитал» Владислав Метнев *считает, что* «Россия будет занимать независимую от ОПЕК позицию, так как обладает значительными запасами и возможностью увеличить добычу нефти». [Мария Игнатова, 2002, ruscorgora]
- (52) Аналитик банка «Зенит» Сергей Суверов также *считает, что* Россия займет сбалансированную позицию. [Мария Игнатова, 2002, ruscorgora]
- (53) Владислав Метнев *считает, что* квоты ОПЕК на добычу останутся неизменными. [Мария Игнатова, 2002, ruscorgora]
- (54) Генеральный директор ЦПТ Игорь Бунин *считает, что* в российском электоральном поле существует свободный сегмент, который может занять партия, представляющая интересы региона. [Ирина Белозерцева, 2003, ruscorgora]
- (55) Гальченко *считает, что* на следующих выборах Народная партия может позиционировать себя в качестве партии «третьего сектора». [Ирина Белозерцева, 2003, ruscorgora]
- (56) Глава ФАП «Экспертиза» Марк Урнов *считает, что* партии, ищущие поддержку в регионах, должны руководствоваться следующими правилами. [Ирина Белозерцева, 2003, ruscorgora]
- (57) Заместитель генерального директора ЦПТ Дмитрий Орлов *считает, что* партиям следует составить список «малых дел» и вспомнить исторический опыт 80 годов XIX века. [Ирина Белозерцева, 2003, ruscorgora]

Возникает вопрос, почему это так: почему фраза *Он думает, что Р* содержит импликацию (подавляемую, но тем не менее), что *Р* не имеет места, а фраза *Он считает, что Р* такой импликации не содержит, а представляет собой нейтральную передачу чужого мнения.

В логике, как известно, различают верифицируемые и неверифицируемые пропозиции. По отношению к верифицируемым пропозициям применимы пропозициональные установки «знание» и «мнение-предположение»; по отношению к неверифицируемым — «мнение-оценка» (противопоставление мнения-предположения и мнения-оценки было введено в работе [Дмитровская 1988] и в дальнейшем широко использовалось, см. [Зализняк 1991, 2005; Лауфер 1993, 2000; Шатуновский 1993]). В современном русском языке мнение-предпо-

ложение выражается, в первую очередь, глаголом *думать*, мнение-оценка — глаголом *считать*, ср.: *Я не знаю, где Иван; думаю (*считаю), что он пошел за пивом, но Я считаю (?? думаю), что это безобразие* (см. [Зализняк 1991]). Реальная картина, безусловно, несколько сложнее, потому что это распределение затемняется рядом факторов (прежде всего, тем, что одна и та же пропозиция может трактоваться как верифицируемая и как неверифицируемая).

По-видимому, в какой-то момент в истории русского языка основным глаголом мнения был *мнить*, который употреблялся для выражения и того, и другого типа мнения, причем он имел, наряду с конструкцией *мнить кого чем*, конструкцию с изъяснительным придаточным, прототипическую для выражения мнения как пропозициональной установки. При этом, что наиболее существенно, он был нейтральным по отношению к истинности — и это значение сохранилось в существительном *мнение*. Нейтральность глагола *мнить* по отношению к истинности доказывается свободным употреблением его в форме 1-го л. в текстах Радищева, Лескова, Салтыкова-Щедрина, ср.:

- (58) *Мню, что отец Троадий не все здесь написанное с апробациею и с удовольствием читает.* [Н. С. Лесков. Чающие движения воды (1867), ruscorgora]
- (59) «Униона» твоего я не прочел, ибо и с дикционером, думаю, ныне уже сего не одолел бы; но все-таки *мню*, что пишешь ты изрядно, ибо из глаз моих, кои уже пятьдесят лет не плакали, писание твое, одним видом своим, исторгло целые потоки. [Н. С. Лесков. Чающие движения воды (1867), ruscorgora]
- (60) Был я тверд и жесток, и тягости налагал, но *мню*, что за скорби и странствия предстоящие не оставит без воздаяния господь, ибо оставить все сие есть немалый крест и немалая скорбь. [Ф. М. Достоевский. Подросток (1875), ruscorgora]

Поскольку в современном языке глагол *мнить* обозначает только ошибочное, с точки зрения говорящего, мнение, его употребление в 1-м л. наст. времени невозможно, за исключением специального контекста самоостранения, ср. пример из Пришвина:

- (61) «Ничего ничего я не понимаю в женщинах и еще *мню* себя писателем!» [Алексей Варламов. Пришвин или Гений жизни, 2002, ruscorgora].

Таким образом, эволюция глагола *мнить* состояла в том, что компонент ложности повысил свой статус — из имплицатуры в полноценный семантический компонент. Действительно, глагол *мнить*

употреблялся в значении ошибочного мнения и раньше (в XVIII–XIX вв.), ср. об этом [Апресян 2004], причем, судя по примерам из НКРЯ, преимущественно в значении неверифицируемого мнения и в оценочных конструкциях. Именно в этой конструкции он и утвердился в значении ошибочного мнения: *мнит себя гением*. Но принципиальным шагом здесь является приобретение компонентом ошибочности мнения нового, более высокого статуса (хотя его нельзя назвать ассертивным). Именно здесь произошла перестройка семантической структуры, позволяющая говорить о возникновении нового значения. В языке XIX в. употребление в 1-м л. было возможным (ср. примеры выше).

Вернемся к примерам из Пушкина, а именно к примеру

- (27) Не *мнишь* ли ты, что я тебя боюсь? Что более поверят польской деве, чем русскому царевичу? (Пушкин. Борис Годунов).

Сейчас нам трудно сказать, во фразе *Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь?* глагол *мнить* содержит в своем значении указание на ошибочность мнения (ср. *Не воображаешь ли ты, что я тебя боюсь?*) или этот компонент лишь вытекает из смысла предложения (ср. пример выше *Он думает, я его испугался*). Но так или иначе, в ходе истории тот тип употребления, при котором глагол *мнить* обозначал нейтральное мнение, исчез (соответственно, пропала и возможность его употребления в 1-м л. наст. врем.), а сохранился только тот тип употребления и только те конструкции, где он однозначно выражает ошибочное мнение, и этот компонент ошибочности повысил свой статус — из имплицатуры стал полноправным элементом семантической структуры.

Финальный этап обсуждаемой семантической эволюции представлен в прилагательном *мнимый*, означающем однозначную и безоговорочную отрицательную оценку истинности: *мнимый больной* значит ‘который выдает себя за больного, а на самом деле здоровый’, *мнимый ревьюер* — ‘на самом деле не ревьюер’, и т. п. (в отличие, заметим, от слова *воображаемый*, столь однозначной оценки не содержащей: *воображаемый мир* не значит ‘на самом деле не мир’). Ср. также:

- (62) Словарь *мнимых* друзей переводчика (вариант: словарь ложных друзей переводчика);

Повести о мудрости истинной и *мнимой*;

Чистота: *мнимая* и настоящая;

Победа западников была, однако, как мы скоро увидим, скорее *мнимая*, чем действительная. [В. Д. Смирнов. Аксаковы (1895), ruscorpora];

Терморегуляторы: *мнимые* страхи и реальные достоинства.

Другими словами, *мнимый* — это антоним для *истинный, настоящий, реальный, действительный*. Показательно сочетание *мнимые стра-*

хи, вообще говоря неправильное, нужно сказать *напрасные страхи* или *ложные страхи*, т.е. страхи, не имеющие оснований, основанные на ложном мнении (а не несуществующие). Таким образом, прилагательное *мнимый* обнаруживает экспансию, заменяя собой слово *ложный*.

С другой стороны, в возвратном глаголе *мниться* противопоставление истинного и ложного практически стирается: *мниться* отличается от *считать* лишь меньшей уверенностью в высказываемом мнении, ср. в особенности конструкцию с постпозицией местоимения:

- (63) *Мнится мне*, что любовь к тебе — это обманутая любовь к жизни. [Евгений Шкловский (1990), *ruscogpora*]
- (64) И, *мнится мне*, не только воды, а символа Америки — парохода боится, Титаника, с его коварством комфорта и устойчивости в устроенности. [Марина Цветаева (1929), *ruscogpora*]
- (65) *Мнится мне*, Гончарова больше любит росток, чем цвет, стебель, чем цвет, лист, чем цвет, виноградный ус, чем плод. [Марина Цветаева (1929), *ruscogpora*]
- (66) Причастность к этому лязгу, *мнится мне*, вносит в «наши отношения» второй план, привкус тайного сообщничества. Но этого мало. [Татьяна Любецкая (1999), *ruscogpora*]

Имеющее слегка архаичный оттенок выражение *мнится мне* по своей семантике очень близко к разговорному *сдается мне*. Заметим, что также близкое по значению *мне кажется* объединяет два противоположных по отношению к истинностной оценке употребления, различаемых фразовым ударением, ср. *Мне кажется /, ты чем-то недоволен — Тебе это кажется*. Но в отличие от *кажется*, *мнится* и *сдается* эксплицитно ложного мнения выражать не могут. Таким образом, словообразовательное гнездо слова *мнить* позволяет говорить о том, что язык представляет границу между истиной и ложью как очень зыбкую: в прилагательном *мнимый* истина и ложь оказываются жестко противопоставлены, в словах *мнительность* и *самомяние* эта основа указывает если не на буквально ложную, то на неточную или не разделяемую говорящим оценку, а в глаголе *мниться* различие между ними практически стирается.

Итак, общая схема такова. Глагол *мнить* в какой-то момент в истории русского языка был основным глаголом мнения, причем он использовался для выражения как мнения-предположения, так и мнения-оценки. Компонент ошибочности имел статус имплицатуры (подобно современному русскому глаголу *думать*). На протяжении XIX в. произошло следующее: 1) В значении мнения-предположения (а также намерения) глагол *мнить* был вытеснен глаголом *думать* (который

при этом сохранил имевшуюся у *мнить* импликацию возможной ложности передаваемого мнения); 2) в значении мнения-оценки глагол *мнить* был вытеснен глаголом *считать*⁶; 3) глагол *мнить* утратил две вышеупомянутые функции (которые он передал, соответственно, глаголам *думать* и *считать*), а сам повысил статус компонента ложности от импликации до полноценного семантического компонента и стал обозначать ложную мнение-оценку (но только мнение-оценку: нельзя сказать **Она мнит, что ее муж пошел в библиотеку* — ложное мнение-предположение). Отсутствие импликации ложности у глагола *считать*, о которой шла речь выше, объясняется тем, что выражение ложного мнения-оценки перешло к глаголу *мнить* в его «новом» значении (*мнит себя гением*), а глагол *считать* утвердился в значении нейтрального мнения (т.е. произошло распределение функций). А у *думать* такого распределения не произошло: он, как и глагол *мнить* в начале XIX в., имеет эту импликацию.

Эта схема, естественно, представляет собой значительное упрощение реальной картины (которая определяется, в частности, тем обстоятельством, что глагол *мнить* — это церковнославянское слово и уже в XIX в. функционировало в русском языке как один из многочисленных славянизмов — со всеми вытекающими последствиями).

Я благодарна А. Г. Кравецкому, Н. В. Перцову, А. А. Плетневой и М. И. Шапиру за интересные соображения, высказанные в ходе обсуждения данной работы.

ЛИТЕРАТУРА

- Апресян 2004 — *Апресян Ю. Д.* Считать, думать, полагать, находить, рассматривать, смотреть, усматривать, видеть // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 2-е изд. М., 2004.
- Зализняк 1991 — *Зализняк Анна А.* Считать и думать: два вида мнения // Логический анализ языка. Культурные концепты, М., 1991. С. 187–194.
- Зализняк 2001 — *Зализняк Анна А.* Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект создания «Каталога семантических переходов» // Вопросы языкознания. № 2. 2001.
- Зализняк, Падучева 1987 — *Зализняк Анна А., Падучева Е. В.* О семантике вводного употребления глаголов // Вопросы кибернетики. Прикладные аспекты лингвистической теории. М., 1987.

⁶ В языке Пушкина глагол *считать* в конструкции с *что* был периферийным, а в современном языке эта конструкция для обоих глаголов — *считать* и *думать* — является центральной.

- Лауфер 1993 — *Лауфер Н.И. Уверен и убежден: два типа эпистемических состояний* // Логический анализ языка. Ментальные действия. М., 1993. С. 105–111.
- Лауфер 2000 — *Лауфер Н.И. Пасынок ментального поля, или Сотворение мнения* // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. № 3. 2000. С. 65–74.
- Фасмер 1996 — *Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т.* СПб., 1996.
- Шатуновский 1993 — *Шатуновский И.Б. Думать и считать: еще раз о видах мнения* // Логический анализ языка. Ментальные действия. М., 1993. С. 127–134.

К ОПИСАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНОГО КОНЦЕПТА 'ОБМАН–ОБМАНУТЬ'

1. Введение

1. Все люди, независимо от их языка и культуры, осмысленно действуют в окружающем их мире. Они едят, играют, смеются и плачут, помогают своим ближним и обманывают их, и т. д. Ясно, что разумное поведение человека базируется на некоем мысленном Представлении окружающего его мира — том Представлении, которое мы и видим как внешний мир. Условимся называть это Представление Жизненным миром человека.

Зададимся хрестоматийным вопросом: в какой мере Жизненный мир человека обусловлен его естественным языком (своим для каждой этнокультуры)? Многочисленные когнитивные исследования последних десятилетий (см., напр. [Крайг, Бохум 2007: 318 и сл.; Би 2004: 258 и сл.]) свидетельствуют о том, что начальная фаза Жизненного мира формируется у ребенка очень рано: уже к 7–8 месяцам, т. е. до начала усвоения языка, причем не только активной, но и пассивной его стадии. Косвенным подтверждением этого служит тот факт, что антропоид, в частности шимпанзе, не владея человеческим языком, но обладая системой восприятия, близкой к человеческой (см. [Зорина, Смирнова 2005: 96 и сл.; Сергиенко 2006: 185, 229; Гудолл 1992: 37 и сл.]), способен подобно человеку играть, смеяться, помогать своим сородичам и обманывать их, узнавать себя в зеркале [Сергиенко 2006: 229, 337–340] и т. д. Следовательно, у шимпанзе формируется свой Жизненный мир, и некоторые входящие в него концепты: «Еда–Есть», «Игра–Играть», «Обман–Обманывать» сходны с общечеловеческими концептами.

Условимся начальную (доязыковую) фазу Жизненного мира ребенка — продукт его первичной (видоспецифической) категоризации воспринимаемого мира — называть Природным миром. В силу своего генезиса Природный мир един для носителей разных языков и культур. Элементами этого мира являются когнитивные единицы — концепты (мысленные представления предметов, событий и пр.) и связывающие их отношения (пространственно-временные, причинно-следственные и др.).

Усваиваемый ребенком язык, накладываясь на Природный мир, осуществляет уже вторичную (лингвоспецифическую) классифика-

цию его элементов (концептов). В результате Жизненный мир человека оказывается двуслойным: он складывается из универсальной (общечеловеческой) основы — Природного мира и его лингвоспецифического осмысления, которое мы будем называть Этнокультурным миром (для сравнения: Жизненный мир шимпанзе, не обладающего человекоподобным языком, является однослойным и сводится к его Природному миру).

2. О двух парадигмах естественного языка

В связи с двусоставностью Жизненного мира человека («нижний» слой — Природный мир и «верхний» слой — Этнокультурный мир) возникает вопрос: как же соотносятся языковые, в частности лексические, значения с предметами и ситуациями Природного мира? Рассмотрим два альтернативных ответа.

1) Согласно традиционной точке зрения, предметы мира становятся референтами языкового знака, через посредство его значения. Это положение «средневековые грамматики формулировали... так: форма слова... обозначает „вещи“ посредством „понятия“, ассоциируемого с формой в умах говорящих на данном языке» [Лайонз 1978: 427]. Из этого положения следует, что языковой знак — это трехсторонняя сущность:

Означающее (акустический образ) — Означаемое (понятие) —
Референты (предметы).

Тем самым, язык мыслится как незамкнутая система знаков, обращенных своими значениями не только друг к другу, но и к внеположной языку действительности.

В отечественной лингвистике этот подход представлен в работах В. Г. Гака и Д. Н. Шмелева (см. [Гак 1998: 210 и сл.; Шмелев 1977: 55 и сл.]). Так, Д. Н. Шмелев определяет слово как

языковой знак, призванный обозначать предметы и явления окружающей действительности (...). В основе значения знаменательного слова лежит именно понятие, содержащее общие существенные признаки какого-то отрезка действительности, т. е. такие признаки, которые дают возможность объединить единичные предметы и явления в определенные классы [Шмелев 1977: 60; разрядка автора].

2) Другая, альтернативная традиционной, точка зрения трактует язык как замкнутую и самодостаточную систему языковых знаков, а языковой знак — как двустороннюю сущность:

Означающее (акустический образ) — Означаемое (понятие).

Эта точка зрения, идущая в современной версии от Ф. де Соссюра, представлена в работах А. А. Реформатского, И. А. Мельчука и др.

Так, например, А. А. Реформатский исключает общий («природный») компонент значения из лингвистического описания, ср.:

⟨...⟩ для лексики единственная возможность понять и построить систему заключается в отказе от термина и понятия «значение» ⟨...⟩ лексику как систему образуют те связи и отношения, которые составляют «сетку значимостей» [Реформатский 1967: 108]. ⟨...⟩ Отрицать у слов значение никто не собирается, и в очень многих случаях этим должен заниматься ученый. Но какой ученый? Кто по специальности? Вряд ли лингвист, если лингвист изучает язык как систему и структуру [Там же: 118]. ⟨...⟩ при построении лексической системы важно не то, что значит отдельное слово (*есть* = *essen* или *manger*), а то, что возникает при наличии *есть*, *кушать*, *кушать*, *жрать*, *шамать* [Там же: 119].

Д. Н. Шмелев, в отличие от А. А. Реформатского, считает необходимым включать данный компонент в лексическое значение:

Индивидуальные лексические значения слов в значительной степени обусловлены природой обозначаемых словами предметов и явлений самой действительности ⟨...⟩ Непосредственная обращенность лексики к внеязыковой действительности является ее существенной особенностью ⟨...⟩ Конечно, возможно изучение значений слов на основе их лексической и синтаксической сочетаемости ⟨...⟩ Но такое изучение, очень важное для семасиологии, не является само по себе изучением значений ⟨...⟩ не может раскрыть подлинной природы существующих между ними различий ⟨...⟩ при всей привлекательности идеи о некоторой освобожденной от значения «сетки значимостей» неясно, как можно изучать номинативные единицы как таковые, игнорируя их номинативную функцию [Шмелев 2006: 13–16].

Отметим, что в приведенной выше цитате Реформатский следует мнению А. А. Потебни, ср.:

Что такое «значение слова»? Очевидно, языкознание, не уклоняясь от достижения своих целей, рассматривает значение слов только до известного предела ⟨...⟩ говоря о значении слова *дерево*, мы должны были бы перейти в область ботаники, а по поводу слова *причина*, или причинного союза — трактовать о причинности в мире. Но дело в том, что под значением слова вообще разумеются две различные вещи, из коих одну, подлежащую языкознанию, назовем ближайшим, другую, составляющую предмет других наук, дальнейшим значением слова. Только одно ближайшее значение составляет действительное содержа-

ние мысли во время произнесения слова [Хрестоматия 1956: 127; разрядка автора. — А. К.].

В связи с этим интересно привести здесь точку зрения Р. Якобсона, высказанную им в 1935 г. в Брно, в курсе лекций «Формальная школа и современное русское литературоведение». Анализируя взгляды Потебни, он отмечал:

(...) установка на предметность является сущностью знака, и — прежде всего — основой слова, основой языка. Знак и в особенности слово обозначает нечто, иначе он бы не был бы знаком, это его собственная функция, его идеал. Каково отношение этого гравитационного пункта, этого языкового идеала к языковому идеалу, который выделяет Потебня и который можно определить как установку на знак или самодостаточность, самоцельность знака. Здесь мы снова сталкиваемся с одной из основных языковых антиномий. Обе функции знака здесь неразрывно связаны — информативная функция, ориентация на предмет, и поэтическая функция — установка на сам знак. Установка на знак предполагает одновременное существование противоположной функции, то есть ориентации знака на объект реальности, ибо иначе знак перестает быть знаком и обращается в ничто. Повторяю — знак, не предназначенный для того, чтобы что-то означать, — нечто абсолютно невозможное, *contradictio in adjecto*. И наоборот, говоря о том, что знак представляет объект, мы не можем терять ощущение знака, чувство знака, мы должны — чтобы осознать предметность, вещественность знака — осознавать противоположность, различность, дуализм знака и означаемого объекта, то есть должны подразумевать знак как таковой, принимать его как предмет *sui generis* [Якобсон, в печати].

Следует, наконец, сказать, что в общем плане данная проблема обсуждалась уже у В. Гумбольдта. По его мысли, «предметы» существуют для человека сами по себе, но его отношение к ним обусловлено языком, ср.:

При рассмотрении элементов языка не подтверждается мнение, что он лишь обозначает предметы, доступные нашему восприятию. Это мнение не исчерпывает глубокого содержания языка. (...) Так как восприятие и деятельность человека зависят от его представлений, то его отношение к предметам целиком обусловлено языком [Гумбольдт 1956: 81; разрядка моя. — А. К.].

Подводя итог этому краткому обзору, заметим, что независимо от того, относится ли универсальный компонент языкового значения к компетенции лингвистики или нет, его изучение представляется

весьма важным. Другое дело, что, ввиду его универсального характера, он вполне может изучаться и описываться внелингвистическими методами — и тут и Потебня, и Реформатский, как кажется, совершенно правы.

3. Описание концепта 'Обман–Обмануть'

Попытаемся дать внелингвистическое описание универсального концепта 'Обман–Обмануть', т. е. «обманного действия деятеля в отношении адресата».

Основанием для нашей попытки служит тот факт, что этот концепт принадлежит Жизненному миру любого человека, независимо от его культурной принадлежности. Напомним, что в своем исходном виде он присущ также и некоторым высшим животным, например антропоидам, ср.: «Установлено, например, что способность к преднамеренному обману — один из главных параметров интеллекта антропоидов, который отсутствует у низших обезьян» [Зорина, Полетаева 2002: 110].

1. О языковых значениях слов *правда*, *ложь*, *обман*. Предварим наш анализ кратким обзором некоторых лингвистических подходов к описанию семантики слов *правда*, *ложь*, *обман*.

Рассматривая значения слова *правда*, А. Вежицкая пишет:

Русское слово *правда* полисемично: один его смысл универсален (*это правда* 1), а второй его смысл — чисто русский (*это правда* 2). Универсальные понятия можно показать только в определенных синтаксических рамках. Для универсального понятия *правда* предполагаются следующие универсальные рамки:

это — правда,

это — неправда.

Это канонические предложения, которые можно легко перевести на любой язык [Вежицкая 2002: 11].

Соглашаясь с приведенным утверждением, мы, тем не менее, должны констатировать, что проблема эксплицитного объяснения значений «канонических предложений» все равно остается. Такое объяснение необходимо хотя бы для того, чтобы понять, а) совпадают или нет классы правдивых и неправдивых высказываний в разных языках и б) почему к некоторым высказываниям не применимо ни одно из канонических предложений.

В более ранней статье 1990 года (см. ее перевод в [Вежицкая 1996: 205–206]), обсуждая значение русского слова *ложь*, Вежицкая писала:

Согласно Коулмен и Кею (Coleman, Kay 1981), то, является некоторое высказывание ложным или нет, — вопрос степени, поскольку набора необходимых и достаточных признаков, определяющих понятие 'ложь', не существует. Этот вывод основан частично на анализе так называемой социальной лжи и невинной лжи (лжи во спасение), а частично — на анализе обмана путем умолчания. Например, неискренние высказывания типа «Какое очаровательное платье!»... чаще объявляются частично ложными, чем просто ложными или неложными. Точно так же притворные подбадривающие высказывания, обращенные к смертельно больному пациенту, рассматриваются как частично ложные чаще, чем просто как ложные или неложные. {...}

Интересно, что информанты готовы квалифицировать «социальную ложь», ложь во спасение и умолчание как «частичную ложь». Однако семасиологи не обязаны принимать суждения информантов за чистую монету. Методология Коулмен и Кей, так же, как и методология Рош, имеет тенденцию порождать результаты, ожидаемые и желаемые исследователями. Поскольку информанты получили семибальную шкалу от 1 ('несомненно не ложный') до 7 ('несомненно ложный'), они действовали, как ожидалось, и распределили все предложенные им примеры в соответствии с этой шкалой. Во всяком случае, вряд ли можно считать, что Коулмен и Кей достигли своей цели («мы намерены поставить под сомнение само понятие дискретного семантического признака»). Слову *лгать* можно дать вполне обоснованное толкование на языке «дискретных семантических признаков»:

Х солгал Y-у =

Х что-то сказал Y-у

Х знал, что это неправда

Х сказал это, потому что хотел, чтобы Y думал, что это правда

[люди могут сказать: если кто-то делает так, это плохо]

Конечно между ложными, неискренними и уклончивыми высказываниями есть сходство так же, как есть сходство между птицами и летучими мышами, и информанты его осознают. Однако это отнюдь не доказывает, что понятие дискретного семантического признака необоснованно {...} Дать адекватные (т. е. имеющие прогнозирующую силу) толкования трудно, но не невозможно.

Полностью разделяя эту точку зрения, заметим все же, что данное А. Вежбицкой толкование не позволяет объяснить, почему (благодаря каким свойствам) приведенные ею «неискренние высказывания» нельзя квалифицировать как ложные. И причина в том, что интуитивно ясные универсальные значения *правда* 1 и *неправда* 1 сами нуждаются в эксплицитном описании, но не языковом (можно пола-

гать, что в языке они действительно относятся к числу исходных), а в доязыковом, составленном из универсальных (базовых) концептов.

Попытаемся осуществить сказанное в отношении концепта «Обман—Обмануть», т. е. в отношении «обманного действия» как такового. Для этого введем в рассмотрение такие концепты, как «желание», «действие», «искреннее»/«неискреннее» действие и др., и с их помощью определим сначала класс «неискренних» действий, а затем его подкласс «обманных действий».

Обратимся к толкованию слова *обман*, данному в [НОСС 2004: 668]:

Обман, так же как и **неправда**, **ложь**, **вранье**, в их прототипическом употреблении, предполагает сознательное введение адресата в заблуждение с целью добиться чего-то для себя.

Однако между лексемами **неправда**, **ложь**, **вранье**, с одной стороны, и лексемой *обман*, с другой, есть и различия. Во-первых, *обман* предполагает более широкий спектр средств создания заблуждения — не только высказывания, но и действия... Во-вторых, *обман* (в тех случаях, когда в качестве средства используется высказывание) не может, в отличие от **неправды**, **лжи** и **вранья**, характеризовать содержание единичного высказывания. Он непременно предполагает некоторый план и, следовательно, некую продуманную совокупность действий или высказываний (разрядка автора. — А. К.). Ср. *Обман удался*, но не **Ты там был?* — *Нет.* — *Обман!* (при возможности *Ты там был?* — *Нет.* — *Неправда* «ложь, вранье»).

В приведенном описании содержатся некоторые важные свойства обманного действия. Однако их все же недостаточно, чтобы вполне его идентифицировать. Попытаемся выявить недостающие свойства.

2. Базовые концепты. Введем базовые концепты Действие и Желание человека.

Термином Желание мы обозначаем обобщенное понятие, охватывающее самый широкий спектр конкретных желаний-целей человека, вызванных как спонтанными чувствами (голод, радость), так и текущими целями (забить гол, успеть на электричку)¹.

В самом общем плане Действием мы считаем любую последовательность происходящих в мире изменений, которые влияют на ка-

¹ В психологической литературе вместо термина Желание используется термин «актуализованный Мотив» (или драйв — «влечение»), см. [Макклелланд 2007: 113]. Мы предпочитаем термин Желание, поскольку он в одинаковой мере применим и к человеку, и к животному, а кроме того, интуитивно более прост и понятен, чем термин Мотив.

кое-то Желание человека. В этом отношении Желание — непреложный компонент Действия, придающий внешним изменениям целостность и законченность.

- (1) Действием человека мы будем называть типичную последовательность осуществляемых им изменений в мире, которая сформировалась и обрела завершенность, побуждаясь сначала каким-то одним и тем же его первичным Желанием.

Например, «чувство голода» порождает первичное Желание «насытиться». Голодный человек, движимый этим Желанием, идет в кафе и осуществляет там действие «Есть». Подчеркнем: первичным, или формирующим действие «Есть», является именно Желание «насытиться». Сформировавшись в сознании ребенка в результате многочисленных повторений, став типизированным, действие затем «отрывается» от своего первичного Желания, становится самостоятельным и может побуждаться уже иными, вторичными Желаниями. Так, человек, лишившийся аппетита, может есть «для поддержания сил», гурман может есть не будучи голодным, исключительно для получения удовольствия и т. д. Эти желания-цели удовлетворяются уже сформировавшимся и «чужеродным» им действием «Есть».

Другой пример — действие «Улыбаться». Его источником является чувство удовольствия или радости, возникающее у человека от взаимодействия со своим окружением (другим человеком, животным, природой). Это чувство произвольно порождает и первичное Желание — выразить эту радость мимикой лица. Однако, сформировавшись, действие «Улыбаться» отрывается от своего первичного желания. Теперь оно способно побуждаться другими, уже вторичными Желаниями, например, Желанием соблюдать нормы этикетного поведения при встречах и прощаниях с другими людьми, скрыть смущение и пр.²

Третий пример — действие «Высказываться». Первичным для него было Желание ребенка сообщить окружающим какую-то свою мысль, точку зрения или известный ему факт. Но, как и предыдущие, это действие затем обрело самостоятельность и также может побуж-

²Заметим, что улыбки, порожденные первичным и вторичным желаниями, различаются даже внешне, ср.: «Уже в середине прошлого века французский нейроанатом Дюшен де Болонье отмечал, что улыбка удовольствия (улыбка в первичном ее контексте) отличается по внешнему виду от намеренной улыбки по характеру сокращений двух лицевых мышц...» [Бутовская 2004: 70] (подробнее об улыбке и смехе см. в [Кошелев 2007]).

даться совершенно иными Желаниями: показать окружающим свою эрудицию, посмешить их, ввести в заблуждение и пр.

Далее важной будет дихотомия: прямые, или непосредственные желания и действия vs. отраженные, или опосредованные желания и действия.

Чтобы объяснить ее, вернемся к введенному выше понятию Жизненный мир человека. Наряду с его «горизонтальным», или «послойным» делением (Природный и Этнокультурный миры), введем «вертикальное» деление на два разнородных мира. Один — это собственный мир человека, содержащий его личные представления о мире, других людях. Второй — это отраженный мир, содержащий представления других людей о том же мире, сформировавшиеся у человека наряду с его собственными представлениями³. В соответствии с этим разделением и желания человека раздваиваются: одни — собственные желания — обусловлены его собственным миром и нацелены на его изменение или сохранение, другие — отраженные желания — обусловлены отраженным миром и нацелены на его изменение или поддержку.

Пример. Представим себе ситуацию, когда проголодавшийся человек, зайдя в кафе, неожиданно оказался в компании своих высокопоставленных знакомых, которые пригласили его к своему столу. Не желая ударить в грязь лицом, он делает подходящий в данной ситуации заказ, никак не соответствующий его личным вкусам, и, подобно другим, чуть притрагивается к еде, делая вид, что сыт. В результате он, закончив обед, так и остается полуголодным. В данном случае действие «Есть» порождено отраженным Желанием «вызвать у окружающих впечатление, что Х — человек их круга, такой же, как они (по вкусам, привычкам и пр.)». Однако он может поступить и иначе: заказать то, что ему хочется, вопреки вкусам его знакомых. В этом случае его действие «Есть» будет порождено уже его собственным Желанием. Аналогично и действие в последнем случае мы будем называть прямым, а в первом — отраженным⁴.

³ В когнитивной психологии эта область представлений человека (о представлениях других людей) называется моделью психического (Theory of mind), см., напр., [Сергиенко 2006: 318].

⁴ Конечно, совокупное Желание, побуждающее прямое или отраженное действие, будет смешанным: уступая вкусам своих знакомых, человек все-таки отчасти насыщается (изменяет свой собственный мир), и наоборот, заказывая то, что ему хочется, человек не полностью игнорирует эти вкусы. Однако в каждом случае доминирует какое-то одно желание: либо отра-

Точно так же, если человек улыбается, чтобы скрыть свое смущение, это будет отраженное действие. Если же он улыбается, чтобы выразить (присущую ему!) этикетную форму общения, — это уже прямое действие, вызванное его прямым желанием быть вежливым.

- (2) Действие человека мы будем называть прямым, если оно побуждается его собственным Желанием, и отраженным, если оно побуждается отраженным Желанием.

Перейдем теперь к определению искренних и неискренних действий. Мы показали, что любое действие может побуждаться самыми разными желаниями человека. В частности, оно может быть как искренним, так и неискренним. Прежде всего заметим, что неискренним может быть только отраженное желание, но не всякое, а лишь такое, которое человек осуществляет вопреки его собственному желанию. Например, действие человека в кафе, отвечающее вкусам его знакомых, будет неискренним, если эти вкусы ему неприятны, и искренним, если они не противоречат его вкусам. Аналогично, если, реагируя на грубую и плоскую шутку начальника, подчиненный угодливо улыбается, это неискреннее действие, идущее вразрез с его собственным желанием. Если же подчиненный нашел шутку хоть и грубой, но смешной, его улыбка относится уже к типу искренних действий.

- (3) Действие человека мы будем называть искренним, если оно прямое, т. е. побуждается его собственным Желанием, и неискренним, если оно побуждается отраженным Желанием, вопреки его собственному желанию.

Так, высказывание *Какое очаровательное платье!* будет неискренним, если говорящий считает иначе, и искренним, если говорящий выразил свое мнение.

3. Обманные действия. Ясно, что намеренно обманными могут быть лишь неискренние действия, причем не все, а лишь некоторые. Так, приведенные выше примеры неискренних действий не трактуются нами как обманные, хотя в них деятель «вводит адресата в заблуждение» и добивается «чего-то для себя». Как нам кажется, обманным признается лишь такое неискреннее действие, используя которое деятель получает что-то для себя за счет адресата, в ущерб ему.

женное, либо собственное. Оно и дает название побуждаемому им действию.

Поясним это утверждение. Представим себе такую картину: дети собирают в лесу грибы. Как только один из них с радостным криком бросается к найденному грибу, те, кто поблизости, бегут к нему, надеясь найти там и другие грибы. Если мальчик, увидевший неподалеку гриб, не подавая вида и сдерживая себя, тихо приближается к нему, его действие становится неискренним, но не обманным. Если мальчик своим возгласом привлекает товарищей к пустому месту, это будет скорее ложью, чем обманом. Однако если он сам при этом бросится к покинутому товарищами месту, чтобы собрать не замеченные ими грибы, это уже будет явным обманом.

Для иллюстрации сказанного рассмотрим три примера из книги [Гудолл 1992], описывающие обманные действия шимпанзе. Покажем попутно, что введенные концепты релевантны и для них, поскольку Жизненный мир шимпанзе также разделяется на два мира. Один — «собственный», выражает их непосредственные представления о мире, а второй — «отраженный», выражает формируемые шимпанзе представления сородичей о мире. В соответствии с этим делением желания и действия шимпанзе также становятся собственными, искренними или, напротив того, отраженными, неискренними, обманными.

1) Первый пример — с молодым самцом по имени Фиган:

⟨Фиган⟩ заметил всеми забытый банан, висевший прямо над головой высокопоставленного самца Голиафа, который сидел под деревом и мирно занимался обыскиванием. Поглядев на Голиафа, Фиган отошел в сторону и следующие полчаса провел в таком месте, откуда банана ему не было видно (он понимал, что Голиаф мог проследить за его взглядом. — А. К.). Как только Голиаф ушел, Фиган спокойно вернулся и завладел добычей (с. 591).

2) Второй пример — с тем же доминантным самцом Голиафом и подчиненным самцом Дэвидом Седобородым:

Однажды, когда Голиаф сидел и ел мясо, его начал усердно обыскивать Дэвид Седобородый; через несколько минут, продолжая одной рукой обыскивание, вторую руку он осторожно стал приближать к упавшему кусочку мяса. Завладев добычей, Дэвид тотчас же прекратил груминг и ушел, чтобы съесть мясо (с. 588).

3) Третий пример — с шимпанзе Люси — описывает попытку «языкового» обмана «говорящего» шимпанзе. Однажды психолог Роджер Футс, участвовавший в эксперименте по обучению шимпанзе упрощенному языку жестов, войдя в пустую комнату, обнаружил, что кто-то опорожнил прямо на пол, и быстро догадался, что это сдела-

ла шимпанзе Люси. Вот словесный перевод последовавшего между ними разговора (на языке жестов):

Роджер: Что это? — Люси: Люси не знает. — Роджер: Ты знаешь. Что это? — Люси: Грязь, грязь. — Роджер: Чья грязь, грязь? — Люси: Сью. — Роджер: Нет, не Сью. Чья грязь? — Люси: Роджера. — Роджер: Нет, не Роджера. Чья грязь? — Люси: Грязь Люси, Люси. Прости Люси (с. 539).

Разберем эти примеры.

Во-первых, во всех трех случаях деятель осуществлял не-искреннее действие в отношении адресата, желая, чтобы адресат воспринял его как искреннее действие. В первом случае Фиган не бросился к банану (искреннее действие), а отвернулся от него (вопреки своему желанию, но учитывая желания Голиафа). Аналогично во втором примере: Дэвид начал обыскивание Голиафа, следуя не своему непосредственному желанию — помочь Голиафу, а отраженному желанию: отвлечь внимание сородича, т. е. ориентируясь на его восприятие мира. То же и в третьем примере.

Во-вторых, во всех трех случаях деятель тем самым стремился ввести адресата в заблуждение относительно своих последующих действий. В примерах 1 и 2 это ему удалось (Голиаф воспринял действие Фигана и Дэвида как естественные), в примере 3 — нет: Люси пыталась представить свои ложные «высказывания», как искренние, чтобы ввести в заблуждение Футса, однако это у нее не получилось.

В-третьих, во всех случаях деятель стремился извлечь из заблуждения адресата выгоду для себя. В первых двух случаях Фиган и Дэвид воспользовались заблуждением адресата и получили нечто для себя. В третьем случае со стороны Люси также была попытка получить нечто для себя (избежать наказания). Если бы Футс «поверил» ей, она использовала бы свои «высказывания», чтобы также извлечь для себя выгоду «в ущерб» Футсу.

Наконец, в-четвертых, деятель причинил ущерб адресату (Голиафу) только во втором случае: Дэвид извлек пользу для себя, взяв его мясо. Это — обманное действие.

Итак, обманным мы будем называть действие, отвечающее всем перечисленным четырем условиям: а) неискреннее действие, б) которое ввело в заблуждение адресата (было воспринято им как искреннее), в) благодаря чему деятель извлек для себя пользу г) в ущерб адресату.

Действие Дэвида в примере 2 явно обманное, поскольку оно намеренно использовалось как отвлекающий маневр для незаметного

завладения кусочком мяса, принадлежащим Голиафу. Конечно, можно сказать, что Дэвид стащил этот кусочек у Голиафа. Однако при этом он использовал обманное действие: если бы Дэвид просто подошел к Голиафу и незаметно взял кусочек мяса, тогда это было бы кражей в чистом виде, без примеси обмана.

В других примерах четвертое условие (ущерб адресату) не выполняется. Так, в примере 1 Фиган завладел бананом, который не принадлежал адресату (Голиафу). Это поведение можно назвать хитрым, или скрытным, но не обманным. В примере 3 была совершена лишь попытка обмана.

4. Определение концепта «Обман–Обмануть». Теперь мы можем получить следующее определение обманного действия:

(3) Действие деятеля X является обманным, если:

- а) оно неискреннее, но X стремится представить его адресату Y как искреннее,
- б) адресат Y воспринял действие X-а как искреннее (был намеренно введен в заблуждение),
- в) используя заблуждение Y-а, деятель X получил выгоду для себя и
- г) в ущерб адресату Y.

Замечание. Слова *искреннее/неискреннее действие* были определены выше и употребляются в дефиниции (3) в терминологическом значении (как термины психологии). Таким образом (3) — это не языковое толкование, а когнитивное определение.

Примеры обманных действий.

1) Классическим обманным действием считается биржевая операция, осуществленная в XVIII в. одним из членов семьи Рокфеллеров. Все ждали сведений о битве, исход которой определял взлет или падение акций. Биржевые маклеры знали, что у Рокфеллера есть свои надежные источники информации, поэтому следили за его действиями. Узнав раньше других о благоприятном исходе битвы, Рокфеллер начал якобы втайне («неискренне») продавать свои акции. Это незамедлительно «вскрылось», и все также кинулись продавать свои акции. Они сразу же упали в цене, и Рокфеллер скупил их. Все четыре условия обманного действия налицо.

2) Игровое действие. Форвард мчится к воротам противника. Перед ним возникает защитник. Форвард делает начальное движение вправо. Защитник смещается вправо, чтобы воспрепятствовать продвижению форварда. Однако форвард резко меняет направление и

уходит влево в освободившуюся зону, оставляя защитника за спиной. И здесь условия «а — г» нашего определения выполнены.

Теперь, опираясь на универсальный концепт (3), можно анализировать, как он воплощается в лексике различных языков, например, в значениях русских слов *обманищик*, *обман* и *обмануть*. Рассмотрим кратко последнее слово. Для этого необходимо прежде всего учитывать бытующие в социуме представления об этике, справедливости, заслуженности/незаслуженности наказания и под. Так, в русскоязычном обществе обманные действия обычно находятся под этическим запретом и совершающий их деятель, как правило, осуждается⁵ независимо от принадлежности адресата к тому или иному социуму (своему или «чужому») или к миру животных. Поэтому значение глагола *обмануть* содержит негативную оценку деятеля, совершившего обманное действие.

В эксплицитном виде получим:

(4) *X обманул Y-а* =

- а) X совершил неискреннее действие, но стремится представить его адресату Y как искреннее,
- б) адресат Y воспринял неискреннее действие X-а как искреннее (был намеренно введен в заблуждение),
- в) используя заблуждение Y-а, деятель X получил выгоду для себя и
- г) в ущерб адресату Y;
- д) говорящий осуждает X-а.

Пример. *Продавщица (X) обманула [обсчитала] покупателя (Y)*. Здесь выполняются все пять условий определения (4). Рассмотрим кратко влияние каждого из них.

1. Не выполняется условие «а». Предположим, продавщица хотела дать сдачу точно, но ошиблась. Если в свою пользу, то она невольно (случайно) обманула покупателя, а если в пользу покупателя, то сама невольно обманулась. Сходным образом объясняется и употребление: *Глаза обманули меня, и я принял его за другого*.

2. Не выполняется условие «б». Если покупатель вовремя обнаружил недостачу, можно говорить лишь о попытке обмана, но не об обмане.

⁵ Под этот запрет не подпадают случаи «ритуального обмана», т. е. «обмана предписанного, ожидаемого, совершаемого по традиции» и обращенного не к реальному, а к сакральному адресату [Толстая 1995: 105 и сл.], а также целый ряд других разрешенных или не запрещенных обманов: в игре, в драке, во время охоты и пр.

3. Не выполняется условие «в». Если продавщица отложила в сторону купюру, которую должна была отдать покупателю, но ее вдруг унесло ветром, то сомнительно сказать, что она обманула покупателя. Комизм фразы *Знаете анекдот про пассажира, который обманул железную дорогу: взял билет и не поехал* в том, что своим действием пассажир нанес ущерб не железной дороге, а себе.

4. Не выполняется условие «г». Предположим, на благотворительной распродаже продавщица называет покупателю более высокую цену, а покупатель платит (жертвует) еще большую сумму. В этой ситуации также не скажешь, что она обманула покупателя. То же верно и в случае, когда одна дама неискренне говорит другой: *Какое очаровательное платье!*

5. Не выполняется условие «д». Предположим, что покупатель — сам вор и, по мнению говорящего, обсчитать его — поступок, достойный не осуждения, а похвалы. В такой ситуации лучше сказать не *‘обманула*, а *объегорила* \approx ‘обманное действие с положительной оценкой говорящего’, считающего, что адресат понес заслуженное наказание (ущерб). Точно так же в приведенных выше примерах и Рокфеллер, и форвард совершили обманные действия, разрешенные правилами (биржи и футбола). По-видимому, этим и объясняется сомнительность фраз *‘Рокфеллер обманул держателей акций* и *‘Форвард обманул* [лучше — *обвел, обошел*] *защитника* (при полной корректности выражений *обманный биржевой ход Рокфеллера, обманный финт форварда*).

Следует иметь в виду, что условие «д» в некоторых случаях утрачивает силу. Корректность фраз типа *Охотник обманул зверя* [подстерег и застрелил волка] или *Этим маневром Кутузов обманул Наполеона* и *вновь избежал прямого столкновения* свидетельствует о том, что в данных ситуациях адресат обманного действия (зверь, Наполеон) под условие «д» не подпадает.

Выражаю глубокую благодарность М. Н. Григорян и Т. В. Самириной за ценные советы.

ЛИТЕРАТУРА

- Би 2004 — Би Х. Развитие ребенка. СПб., 2004.
Бутовская 2004 — Бутовская М. Л. Язык тела: природа и культура. М., 2004.
Вежбицкая 2002 — Вежбицкая А. Русские культурные скрипты и их отражение в языке // Вопросы языкознания. 2002. № 2 (4). С. 6–34.
Вежбицкая 1996 — Вежбицкая А. Язык. Культура. Знание. М., 1996.
Гак 1998 — Гак В. Г. Языковые преобразования. М., 2005.

- Гудолл 1992 — *Гудолл Дж.* Шимпанзе в природе: поведение. М., 1992.
- Гумбольдт 1956 — *Гумбольдт В.* О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода // Хрестоматия по истории языкознания XIX–XX вв. / Сост. В. А. Звегинцев. М., 1956.
- Зорина, Полетаева 2002 — *Зорина З. А., Полетаева И. И.* Зоопсихология: Элементарное мышление животных: Учебное пособие. М., 2002.
- Кошелев 2007 — *Кошелев А. Д.* О природе комического и функции смеха // Движение языка. Сб. в честь 70-летия Л. П. Крысина. М., 2007 (см. также <http://www.lrc-press.ru/05.htm>).
- Крайг, Бохум 2007 — *Крайг Г., Бохум Д.* Психология развития. СПб., 2007.
- Лайонз 1978 — *Лайонз Дж.* Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.
- Макклелланд 2007 — *Макклелланд Д.* Мотивация человека. СПб., 2007.
- НОСС 2004 — Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Москва; Вена, 2004.
- Реформатский 1968 — *Реформатский А. А.* Термин как член лексической системы языка // Проблемы структурной лингвистики. 1967. М. 1968.
- Сергиенко 2006 — *Сергиенко Е. А.* Раннее когнитивное развитие: Новый взгляд. М., 2006.
- Толстая 1995 — *Толстая С. М.* Магия обмана и чуда в народной культуре // Истина и истинность в культуре и языке. Логический анализ языка. М., 1995. С. 109—115.
- Потебня 1956 — *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике // Хрестоматия по истории языкознания XIX–XX вв. / Сост. В. А. Звегинцев. М., 1956.
- Шмелев 2006 — *Шмелев Д. Н.* Проблемы семантического анализа лексики. М.: УУРС. 2006 (1-е изд.: М., 1973).
- Шмелев 1977 — *Шмелев Д. Н.* Современный русский язык: Лексика. М., 1977.
- Якобсон — *Якобсон Р.* Формальная школа и современное русское литературоведение / Ред.-сост. Т. Гланц. М., (в печати).

РЕАЛЬНОСТЬ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ

0. Среди большого количества знаменательных и служебных слов, а также грамматических средств, выражающих фундаментальное противопоставление реального и мнимого мира, выделяется группа русских прилагательных, призванных указать на несовпадение реального положения дел и того, как субъект действия, состояния или свойства хочет представить дело. Это прилагательные *мнимый, показной, притворный, деланный, напускной, наигранный, натянутый, принужденный, фальшивый, нарочитый, неискренний, неестественный, искусственный*¹.

Характеризуя состояния и свойства человека, они отражают точку зрения говорящего на несоответствие реального состояния или свойства субъекта и того, как субъект пытается представить свое состояние или свойство наблюдателям.

Характеризуя действия человека, они отражают мнение говорящего о неискренности субъекта этих действий в описываемой ситуации. По мнению говорящего, то состояние, в котором субъект находится, или те свойства, которыми субъект обладает в действительности, не соответствуют его действиям, которые обычно манифестируют совсем другие состояния или свойства.

Аналогичным образом, характеризуя способы действий человека, эти прилагательные также отражают мнение говорящего о неискренности субъекта. По мнению говорящего, то состояние, в котором субъект находится, или те свойства, которыми субъект обладает в действительности, не соответствуют выбранным субъектом способам

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант №06-04-00289, гранта Президента РФ № НШ-5611.2006.6 для поддержки научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ, а также программы фундаментальных исследований отделения историко-филологических направлений РАН «Русская культура в мировой истории». Всем указанным программам автор выражает свою глубокую признательность.

¹ В основу настоящей статьи положены материалы, собранные автором для незавершенной работы над синонимическими рядами, в которые входят (в некоторых своих значениях) многие из перечисленных прилагательных, для Нового объяснительного словаря синонимов русского языка. Эти словарные описания ранее не публиковались.

действия, поскольку обычно такие способы действия манифестируют совсем другие состояния или свойства.

Некоторые из этих прилагательных, а именно *искусственный, мнимый, ложный и фальшивый* могут характеризовать предметные имена. Ср.: *искусственные цветы; Так дремотные, нелюбопытные жители городка проглядели вовсе, что мнимый внук мнимого паралитика не растет с годами* (В. Набоков, Картофельный Эльф); *Сделали ложную внутреннюю торцевую стенку товарного пультмановского вагона* (А. Солженицын, Архипелаг ГУЛАГ); *ложные друзья переводчика; С этими словами он поддевает ломиком фальшивое дно этой машины и выворачивает его* (Ф. Искандер, Сандро из Чегема); *Бензобак под сиденьем был фальшивым* (А. и Б. Стругацкие, Пикник на обочине); *фальшивый паспорт*.

В рамках настоящей работы эти особые значения рассматриваемых прилагательных обсуждаться не будут, поскольку к характеристике поведения субъектов они отношения не имеют. Отметим только, что представленные в этих контекстах лексемы стилистически нейтральны.

Далее анализируется семантика прилагательных, так или иначе характеризующих поведение людей, рассматриваются типичные случаи развития многозначности и исследуются основные семантические противопоставления, организующие эту лексическую группу.

1. Многозначность. Большинство рассматриваемых прилагательных многозначны. Регулярная многозначность, которую можно наблюдать на этом материале, не отмечена в [Апресян 1995: 211–215], где рассмотрены многие виды регулярной многозначности прилагательных. Поэтому ее описание является актуальной задачей.

Граница между разными значениями у этих прилагательных во многих случаях проходит таким образом, что создается иллюзия чисто сочетаемостного различия. Это, однако, не так. Основное семантическое различие между этими прилагательными лишь притворяется различием сочетаемостным.

Начнем, тем не менее, с сочетаемости. Рассматриваемые прилагательные (разные — в разной степени) могут характеризовать разные сущности. Существенно противопоставление между двумя группами классов предикатов.

1) Состояния и свойства. Состояния и свойства характеризуют прилагательные *притворный, мнимый, напускной, показной, деланный, наигранный, натянутый, принужденный, фальшивый, нарочитый, неискренний, неестественный, искусственный*. Ср.: — *Да здоровствует листовое железо!* — тоже весело сказал Солодовников без всякого смущения, даже притворного (В. Шукшин, Шире шаг, Маэстро);

Ему не нравились их взаимные восхваления, их напускная горячность (В. Ходасевич, Жизнь Василия Травникова); Качалов, поднял бокал и, с деланной мрачной жадностью глядя на нее, сказал своим низким актерским голосом: — царь-девица, шамаханская царица, твое здоровье! (И. Бунин, Чистый понедельник); Выражение превосходства в ее глазах моментально сменилось выражением фальшивой наивности (В. Белов, Моздокский базар); — Так, виделись где-то, не помню где, — ответила Рина беззаботно, но беззаботность была искусственной (А. Рыбаков, Дети Арбата); Правда, ему до сих пор кажется, что ревность эта была неискренна, он сейчас почти уверен, что жена притворялась (В. Белов, Воспитание по доктору Споку);

2) Действия и способы действий. Действия и способы действий характеризуют прилагательные *притворный, деланный, фальшивый, искусственный, неискренний*. Ср.: В пятнадцать лет тут будет не до сна: / Обрывки чых-то жадных разговоров, / Притворный вздох, и снова тишина, / И плоть задышающийся шорох (К. Симонов, Первая любовь); Ты понимаешь? — Да, — ответил Клим, глядя, как угасает ее деланная улыбка (М. Горький, Жизнь Клима Самгина); Ольга Михайловна вымученно улыбается, хотя улыбнуться ей не легче, чем поднять гирю, и сама клянет себя за эту фальшивую улыбку (Т. Толстая, Пламень небесный); Оппонент засмеялся искусственным смехом, и кожа на голове его измялась, точно чепчик (М. Горький, Жизнь Клима Самгина); Офицеры, директор и все учителя улыбнулись из приличия, и я тоже почувствовал на своем лице приятную неискреннюю улыбку (А. П. Чехов, Учитель словесности). Нужно подчеркнуть, что количество действий и способов действия, которые могут служить естественным выражением состояния или свойства человека, невелико. Это в первую очередь слова *улыбка, усмешка, ухмылка, смех, хохот, вздох, плач, рыдания, кашель, акцент*. Но окказионально эта группа допускает расширение; ср., например, *фальшивый <притворный> всхлип, притворный участливый тон*.

Наибольший интерес для исследования регулярной многозначности представляют прилагательные, которые могут характеризовать как свойства и состояния, так и действия и способы действий. Это *притворный, деланный, фальшивый, искусственный, неискренний*. Ср. пары контрастных примеров (в примерах типа (а) представлены сочетания с именами свойств или состояний, в примерах типа (б) — сочетания с именами действий или способов действий):

- (1а) В шестидесяти четырех кабинках этого колеса сейчас бесечно хохочут и ойкают от притворного страха люди (В. Аксенов, Звездный билет);
 (1б) И уголком глаза видел, как сползают притворные улыбочки (А. Толстой, Петр Первый);

- (2а) *Уж он кобенился-кобенился, этот дядя в шляпе, никого не заразил своим деланным весельем, устал* (В. Шукшин, Осенью);
- (2б) *Молодой человек вытянул шею, заглядывая в «Граматику любви», и сказал с деланной усмешкой: — это они сами сочинили* (И. Бунин, Грамматика любви);
- (3а) — *Так рассказать про Мари Санфон? — с фальшивым добродушием спросил комиссар* (Б. Акунин, Левиафан);
- (3б) *Лицо его мгновенно перекошилось фальшивым плачем, а глаза наполнились отнюдь не фальшивой, лютейшей ненавистью* (М. Булгаков, Белая гвардия);
- (4а) *Искусственная его задумчивость оказалась двояко полезной ему: мальчики скоро оставили в покое скучного человечка, а учителя объясняли ему тот факт, что на уроках Клим Самгин часто оказывался невнимательным* (М. Горький, Жизнь Клима Самгина);
- (4б) *Со стен маленькой уборной, похожей на бонбоньерку, смотрели, улыбаясь искусственными улыбками, женщины с преувеличенно пышными губами и тенями под глазами* (М. Булгаков, Театральный роман);
- (5а) *Правда, ему до сих пор кажется, что ревность эта была неискренна, он сейчас почти уверен, что жена притворялась* (В. Белов, Воспитание по доктору Споку);
- (5б) *И уж не ревность и не досада, а настоящая ненависть к его шагам, неискреннему смеху и голосу овладела Ольгой Михайловной* (А. П. Чехов, Именины).

К этой группе примыкает прилагательное *наигранный*, которое в прототипических употреблениях характеризует состояния и свойства, достаточно свободно сочетается с обозначениями способов действий, но с трудом применимо к действиям. Ср. симметричную к вышеприведенным пару (6а) и (6б) и невозможные или по крайней мере гораздо менее приемлемые словосочетания [?]*наигранная улыбка*, ^{??}*наигранный кашель*, [?]*наигранный вздох*:

- (6а) *Через несколько минут дядя Сандро почувствовал по его дыханию, что беззаботность Аслана отнюдь не была наигранной* (Ф. Искандер, Сандро из Чегема);
- (6б) *И чудовищный, наигранный, мерзейший псевдоеврейский акцент, с которым даже в Жмеринке никто не разговаривает!* (В. Кунин, Русские на Мариенплац).

В примерах типа (а) при характеристике свойств и состояний рассматриваемые прилагательные призваны указать, что характеризующие ими состояния или свойства не имеют места. Говорящему принадлежит разоблачительная характеристика поведения субъекта, ко-

торый каким-то образом имитирует определенное состояние или свойство, причем имитирует не совсем удачно.

В примерах типа (б) при характеристике действий или способов действий рассматриваемые прилагательные не подвергают сомнению реальность характеризуемых ими действий или способов. Эти действия или способы действий, однако, обычно выражают вполне определенные состояния или свойства субъекта, которые стоят за ними. Говорящий подвергает сомнению реальность этих свойств или состояний. Значение прилагательных в употреблении этого типа вторичны, они могут быть представлены как своего рода модификации основного, первого значения этих прилагательных.

Для лексем, используемых в примерах типа (а), предлагается следующая схема толкования:

СХЕМА 1. *Притворный 1 <деланный 1, неискренний 1...> P X-a =* 'Такой, что субъект X не испытывает состояния P или не имеет свойства P, но ведет себя так, чтобы всем казалось, что он испытывает или имеет P'

Для лексем, используемых в примерах типа (б), предлагается следующая схема толкования:

СХЕМА 2. *Притворный 2 <деланный 2, неискренний 2...> P X-a =* 'Такой P, являющийся естественным выражением состояния или свойства Q, который субъект X делает, чтобы все думали, что он находится в состоянии Q или имеет свойство Q, хотя X не находится в этом состоянии или не имеет этого свойства'.

Прилагательные *напускной* и *показной* в прототипических употреблении характеризуют состояния или свойства, но не действия. Ср. невозможные сочетания с именами действий **напускная улыбка*, **показной смех* и примеры (7) и (8), демонстрирующие сочетаемость с именами состояний:

- (7) *Уж не тем ли объяснялось это показное безразличие, что Болотников твердо знал: скоро письмо будет у него в руках?* (Б. Акунин, Алтын-Толобас);
- (8) *Рассказывая о своей родословной, он в равной степени не проявлял ни почтения к своему общественному статусу, ни показной скромности* (Б. Бойд, Владимир Набоков: Русские годы, пер. Г. Лапиной).

Эти прилагательные можно толковать, используя первую схему.

Особняком стоит прилагательное *мнимый*. В контексте имен свойств и состояний оно подобно прилагательным *напускной* и *показной*:

- (9) Если друг оказался предателем, благородный человек говорит: — Я раздражал его своим мнимым превосходством (С. Довлатов, Ремесло);
- (10) Открыв дверь в эту каюту, я объяснил Биче <...> как я попался, обманутый мнимым раскаянием Геза (А. Грин, Бегущая по волнам).

В отличие от них, однако, оно способно употребляться и с именами действий:

- (11) Мнимая улыбка оказалась гримасой боли;
- (12) Поэт понял, что слухи о его мнимом подвиге достигли шашлычной (Ф. Искандер, Поэт).

Для толкования таких употреблений прилагательного *мнимый* не может быть использована схема 2. Здесь идет речь не о притворстве или неискренности субъекта действия, а о том, что кто-то ошибочно принял одно за другое, т. е. улыбки и подвига не было, были какие-то другие действия.

Мнимый Р Х-а = 'Такое действие Х-а, что может показаться, что Х делает Р, хотя Х не делает Р'

2. Семантические противопоставления. Для прилагательных, характеризующих свойство или состояние, существенны следующие семантические противопоставления:

1) *Степень успешности имитации.* Прилагательные *деланный*, *наигранный* и *фальшивый* указывают на то, что говорящему представляется, что имитация характеризуемого свойства или состояния плохо удается субъекту:

- (13) «Девушка пела в церковном хоре», — с деланной, неумеренной наивностью читала Катя о какой-то будто бы ангельски невинной девушке (И. Бунин, Митина любовь);
- (14) И удивление у Никифора было наигранным (В. Солоухин, Не жди у моря погоды);
- (15) Он округлил глаза в фальшивом недоумении (В. Пелевин, Чапаев и Пустота).

Поэтому естественно, говоря о прошлом, сказать *Я поверил в его притворное <мнимое> раскаяние*, но гораздо менее приемлемо *Я поверил в его наигранный раскаяние*, поскольку неудачную имитацию естественно разоблачить немедленно.

Еще более отчетливо это противопоставление проявляется при характеристике действия. Если действия характеризуются как *притворные*, это ничего не говорит о качестве имитации, неискренность субъекта действия может внешне и не проявляться, но *фальшивый*, *деланный*, *искусственный*, *натянутый* указывают на то, что имитацию легко было разоблачить:

- (16) Видимо, в мире действует закон, заставляющий их [взрослых] улыбаться, обращаясь к тебе, — улыбка, понятно, деланная, но ты понимаешь: *зла тебе сделать не должны* (В. Пелевин, *Онтология детства*).

Поэтому в тех случаях, когда описываемая ситуация предполагает только слуховое восприятие, предпочтительнее использование этой группы:

- (17) Я уловил ухом, как где-то хлопнула дверь, послышался где-то громкий и, как мне показалось, *фальшивый плач* (М. Булгаков, *Театральный роман*) [*замена фальшивый на притворный* не вполне уместна].

По той же причине, если речь идет о самонаблюдении, естественно использовать прилагательные *фальшивый, деланный, искусственный, натянутый, но не притворный*:

- (18) Перец улыбнулся, но он знал, что улыбка у него получилась *фальшивая* (А. и Б. Стругацкие, *Улитка на склоне*).

2) Характер скрываемого свойства или состояния. Для прилагательного *напускной* скрываемое состояние или свойство противоположно тому, которое имитируется, а не просто отлично от него, как у многих других близких к нему прилагательных. Так, если речь идет о *напускной грубости*, подразумевается, что в действительности субъект вежлив или добр:

- (19) О многих я слышал: «Под *напускной* его *грубостью* скрывалась *доброта*». Зачем ее скрывать, да еще так упорно? (С. Довлатов, *Соло на IBM*).

Напускная неуклюжесть обычно подразумевает ловкость:

- (20) Они больше ползали, чем ходили, но при всей своей *напускной неуклюжести* были неуловимы (В. Набоков, *Памяти Л. И. Шигаева*).

Напускная ярость скрывает равнодушие:

- (21) Он что-то еще кричал, а я в страхе убежала, хотя прекрасно понимала, что *ярость* у него *напускная* и он, отказывая мне, просто выполняет инструкцию и не знает, что мне ответить на мои домогательства (Н. Мандельштам, *Воспоминания*).

3) Цель имитации. Прилагательные *притворный, мнимый, показной* указывают на то, что субъект, по мнению говорящего, сознательно старается ввести наблюдателей в заблуждение. Между тем как *напускной* предполагает лишь желание скрыть свое истинное состояние, которое субъект по тем или иным причинам не хочет демонстрировать:

- (22) *Немецкий спортсмен расправил плечи и впервые взглянул на Алексея, разом спрахнув с себя напускную апатию* (В. Шинкарев, Папуас из Гондураса).

При этом вполне возможно, что субъект старается скрыть свое истинное состояние в том числе и от себя самого:

- (23) *Набравшись напускной решимости, застегнувши сюртук и пошептавши что-то на ходу, он довольно твердым шагом направился к отцовскому кабинету* (М. Е. Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы);
- (24) *Я понимал своих учеников — мне, например, было совершенно ясно, почему один, выходя из самолета, спешит закурить, а другой при посадке показывает напускную веселость* (В. Каверин, Два капитана).

4) Преувеличение. Прилагательные *показной* и *нарочитый* подчеркивают преувеличение в способах выражения состояния или свойства:

- (25) *Парнишка выковырял мину из-под ворот, оттащил ее в сторону и бросил с той показной небрежностью, какую опытные саперы прибегают для обезвреженных мин* (Е. Воробьев, Пуд соли);
- (26) *С нарочитой медлительностью она обошла пейзажную часть выставки, у одного не особенно примечательного этюдника даже задержалась — вероятно, чтобы поинтересничать* (Б. Акунин, Пелагия и белый бульдог).

Заключение. Все рассматриваемые лексемы, так же как и производные от них наречия, стилистически не нейтральны. Эти разоблачительные характеристики поведения человека сравнительно редко используются в разговорном языке, они являются, скорее, принадлежностью языка художественной прозы, преимущественно психологической. Эти прилагательные употребляются тогда, когда попытка субъекта действия ввести наблюдателей в заблуждение или скрыть свое истинное состояние проваливается и разоблачается говорящим. Сама сложность используемых для этого средств, двойственное отношение говорящего к наблюдаемому им поведению субъектов, которое он одновременно интерпретирует так, как это задумано субъектом, и разоблачает, приводит к появлению ошибок, остающихся незамеченными авторами и редакторами художественной прозы. Приведем несколько характерных примеров:

- (27) *Стрельников, о котором вы рассказывали, это муж мой Паша. Павел Павлович Антонов, которого я ездила разыскивать на фронт, и в мнимую смерть которого с такой правотой отказывалась верить* (Б. Пастернак, Доктор Живаго) [Не верить можно в реальную, а не в вымышленную смерть].

Ср. также аналогичный пример с производным от этого прилагательного наречием:

- (28) *Он остерегался, как бы в нынешнем его замечании не послышался ей какой-нибудь мнимо затаенный упрек, в том, например, что она белой, а он — черной кости, или в том, что до него она принадлежала другому* (Б. Пастернак, Доктор Живаго).
- (29) *Ричард [собака] не давал ему сесть в машину, Ирџа, отпустив поводок, прыгала вокруг, изображая притворный ужас* (Ф. Незнанский, Ярмарка в Сокольниках). [Изображают реальный ужас. Автор имеет в виду, что героиня притворялась, изображая ужас].
- (30) *Во-первых, в связи с мнимой дисквалификацией полноценной подготовки к Играм-96 все же не получилось* (ИТАР-ТАСС Экспресс, 1996, вып. 30). [Дисквалификация имела место. Мнимым был допинг].

ЛИТЕРАТУРА

Апресян 1995 — *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика. Синонимические средства языка. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1995.

Е. Л. ДОЦЕНКО

ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВЛИЯНИЯ В СОВРЕМЕННОМ СУДЕБНОМ ДИСКУРСЕ

Проблема вербального воздействия на участников судебного дискурса привлекает внимание отечественных лингвистов и юристов уже более столетия: в 1894 году в России был введен институт присяжных заседателей, а состязательность стала одним из основных принципов любого судебного процесса. Состязательность до сих пор «провоцирует» участников судебного заседания на такой подбор языковых средств, который позволяет описать ситуацию, ставшую объектом судебного разбирательства, с наиболее выгодной для них точки зрения. Однако участники судебного дискурса должны постоянно помнить, что коммуникация в зале суда регламентируется процессуальным законодательством, потому «языковая вседозволенность» здесь неприемлема. Вот и приходится истцам и ответчикам, потерпевшим и подозреваемым, адвокатам и прокурорам подбирать такие языковые средства, которые, с одной стороны, не выходили бы за рамки закона, а с другой — позволили бы повлиять на решение суда. Особенности и результаты такого поиска мы попытаемся представить в статье.

Выбор языковых средств передачи информации, того или иного вербального либо невербального метода воздействия зависит от нескольких факторов: 1) особенностей судебной системы: в Украине функционирует профессиональный суд, т. е. решение принимают не обычные граждане, удостоенные высокой чести быть присяжными или народными заседателями (именно на этих участников судебного дискурса зачастую направлены суггестивные уловки), а квалифицированные юристы, способные отличить правду от «не совсем правды». Этим обусловлено относительное «косноязычие» украинских служителей Фемиды, участвующих в судебных заседаниях: наблюдаются случаи, когда адвокат или прокурор имеет готовые шаблоны судебных выступлений, которые используются в разных судебных процессах по аналогичным делам. Однако в Украине не так давно проходили судебные слушания по делам о фальсификации выборов президента, транслируемые на всю страну центральными теле- и радиокомпаниями. Конечно, осознание того, что их слушают несколько миллионов украинцев (будущих избирателей), положительно отразилось на качестве судебных выступлений участников этих процессов. Именно эти выступления стали объектом нашего анализа; 2) статуса

говорящего: юристы более тщательно подбирают языковые средства, менее эмоциональны, но и более профессиональны в реализации суггестивных методов воздействия, чем обычные граждане, участвующие в судебных заседаниях; 3) статуса слушающего; 4) пресуппозитивной информации; 5) информационного фона судебного заседания. Отношение к объекту судебного разбирательства зависит от сопутствующей информации о событиях, которые не связаны с конкретным судебным процессом, но сопровождают его, влияя на резонанс дела, ход его рассмотрения, решение суда. Наслоение информационного фона, сформированного всеми участниками судебного дискурса, и сопутствующей информации определяет оценку участниками процесса событий, происходящих в ходе судебных слушаний.

Все вышеназванные факторы определяют стратегии общения участников судебного дискурса и выбор техники языкового воздействия. Очень точно классифицирует виды такого влияния С. И. Недашковская, которая, выделяя убеждение, суггестию, информативный и фатический виды воздействия, констатирует, что основными для судебной речи являются убеждение и суггестия.

Суггестивное воздействие в судебном дискурсе сводится к концентрации внимания реципиента на отдельно взятом предмете, объекте, явлении, идее, которые навязываются суггестором. Достигается это преимущественно за счет многочисленных повторов субъектом дефиниции или с помощью отбора синонимов слова [Недашковская], т. е. путем использования языковых средств: лексических, фразеологических, грамматических, лингвостилистических и культуры речи.

Анализ лексических средств воздействия следует проводить, выделяя среди них такие: 1) словарный запас говорящего (чем богаче лексический запас, тем легче подобрать слова для наиболее точного описания фактов, их оценки, и наоборот); 2) умение одно и то же явление описать лексическими средствами, оптимальными для определенной ситуации, и др.

В исследовании судебного дискурса привлекает внимание проблема актуализации разных форм знания слова с целью реализации влияния на незаинтересованных (судьи, свидетели, эксперты и т. п.) и заинтересованных (сторона обвинения, сторона защиты, истец, ответчик) участников судебных слушаний и на лиц, присутствующих во время заседания суда.

Использование или неиспользование слова в процессе коммуникации чаще всего зависит от того, насколько оно взаимодействует со знанием, связанным с минувшим опытом человека, и насколько оно закреплено в его памяти. В судебном дискурсе следует учитывать особенности реализации разных форм знания слова участниками пре-

ний, их соотношения в процессе понимания, толкования, интерпретации, поскольку, с одной стороны, оно является залогом достижения точности речи, а с другой — может использоваться как средство воздействия (корректного или некорректного).

Не требует доказательства тот факт, что юридическая речь крайне терминологизирована. Трепетное отношение правоведов к терминам некоторым образом распространяется и на нетерминологическую лексику, употребление которой ориентировано на осознанное знание, связанное с жизненным опытом носителя языка. Тем не менее, такие лексемы часто имеют абстрактное значение, которое усложняет процесс соотнесения их с предметами и явлениями внеязыковой действительности, ведь известно, что лучше всего запоминаются и декодируются в процессе общения слова, ассоциирующиеся с визуальными, тактильными, слуховыми образами. Кроме того, необходимо учитывать, что взаимопонимание участников коммуникативного процесса возможно лишь при условии «пересечения их знаний соответственно пересечению смыслов слов, которые ими используются» [Боталина]. Абстрактная же лексика, с одной стороны, тяжело подлжит опытно-эмпирическому осознанию, а с другой — часто по-разному может декодироваться разными слушателями и говорящими в зависимости от уровня их языковой компетенции (особенно если речь идет о заимствованной лексике, паронимах). Адекватной реакцией на такую ситуацию, в частности и в юридической практике, становится необходимость или сопоставить опытно-эмпирические представления о значении слова, или обратиться к словарям. Тем не менее следует учитывать, что на особенности выяснения лексического значения слова, зафиксированного словарями, и его опытно-эмпирического знания участниками судебного процесса в ходе судебных слушаний влияет действующее законодательство. Если такое выяснение не касается сути дела и не может повлиять на решение суда, оно может быть отклоненным судом. Такой прецедент зафиксирован в материалах рассмотрения палатой по гражданским делам Верховного Суда Украины дела по жалобе доверенного лица кандидата на пост Президента Украины В.А. Ющенко Николая Дмитриевича Катеринчука на бездеятельность Центральной избирательной комиссии и на решение об объявлении Президентом Украины В.Ф. Януковича. Представитель заинтересованного лица Е.Л. Лукаш так сформулировала вопрос к представителю заявителя С.Н. Кустовой: *Перше моє буде запитання стосувалися лексики, якою ми, юристи, намагаємося спілкуватися в цьому процесі. Пані Кустова, скажіть, будь ласка, враховуючи те, що в законодавстві України немає такого терміна як «фальсифікація», що ви розумієте під цим терміном і де в нормативно-правових актах ми мог-*

ли б ознайомитись з ним, щоб певним чином формувати свою правову позицію та розуміти, про що ви кажете саме в правовому полі, а не на площадці? ¹. Председательствующий отклонил этот вопрос, прокомментировав свое действие так: *Перед початком сьогоднішнього засідання я ще раз нагадав вимоги закону, які стосуються обсягу дослідження в судовому засіданні обставин і фактів, а не те, що як хто розуміє, як розцінює. Чи є фальсифікація чи ні — це буде оцінка суду. Будь ласка, щодо фактів та обставин у вас є запитання?* Этот комментарий председательствующего сопровождался репликой судьи, адресованной автору вопроса: *Візьміть книжку та почитайте*. Таким образом, и комментарий председателя, и реплика судьи свидетельствуют о том, что опытно-эмпирического знания участников судебного дискурса нетерминологизированной лексики, используемой в ходе судебных слушаний, было достаточно для понимания сути дела и его дополнение словарными толкованиями не было необходимым. На такое опытно-эмпирическое знание общеупотребительной и специальной лексики влияет преимущественно речевая ситуация, в которой происходит общение, и пресуппозиция. Неуместность выяснения в суде сути понятия «фальсификация» определена частотой его употребления в соответствующих контекстах (особенно часто — в современном политическом дискурсе) и «житейской» понятностью. Это позволяет рассматривать такое действие одной из сторон судебного процесса как манипулятивный прием, целью которого было затягивание судебного процесса.

Заслуживает внимания манипулирование отношениями паронимии, являющееся одним из излюбленных приемов в современной судебной практике. Особенности его использования продемонстрируем на таком примере.

Ключевым понятием упомянутой выше жалобы Н.Д. Катеринчука, представленной Верховному Суду Украины, является понятие «системность нарушений»: *Встановити, що факти системного* [выделено нами. — Е.Д.] *і грубого порушення принципів і засад виборчого процесу при повторному голосуванні з виборів Президента України від 21 листопада 2004 року є такими, що унеможливають достовірно встановити результати волевиявлення виборців у єдиному загальнодержавному виборчому окрузі по виборах Президента України*.

В ходе судебных слушаний ответчики попытались заменить слово *системный* лексемой *систематический* и, таким образом, подменив понятия, повлиять на ход и результаты судебного слушания.

¹ Здесь и далее в цитатах сохранены аутентичные лексика и грамматическое оформление высказываний.

Анализ лексикографического материала позволяет утверждать, что понятия «системный» и «систематический» являются, хотя и синонимичными, но далеко не тождественными по значению. Но именно стратификация паронимических и синонимических отношений позволяет манипулировать путем подмены понятий: 1) *системный* — касающийся системы как целостного образования, которое представляет единство закономерно расположенных частей, находящихся во взаимной связи. Следовательно, «системные нарушения» следует трактовать как такие, которые реализовались как единство закономерно реализованных целенаправленных противоправных действий или бездеятельности, находящихся во взаимосвязи; 2) *систематический* — реализующийся в установленном порядке, повторяемый, а «систематические нарушения» — это совокупность повторяемых противоправных действий или бездеятельности, которые реализовались в установленном порядке. То есть «системные нарушения» отличались от «систематических» тем, что представляли не совокупность повторяемых противоправных деяний, а единство закономерных (т.е. вызванных законами общества или его части), целенаправленных, упорядоченных, взаимосвязанных действий.

Интересно, что в начале судебных слушаний такая манипуляция даже удалась. Впервые на необходимости растолковать значение слова «системный» в словосочетании «системные нарушения» настаивал представитель ответчика Н.В. Охендовский, обращаясь после разъяснения сути дела судьей Верховного Суда к представителю заявителя С.В. Власенко: *Шановний Сергію Володимировичу, скажіть, «будь ласка, ви неодноразово застосовуєте такий новий для виборчого законодавства України термін, як „системні порушення Закону України „Про вибори Президента України““, і в своєму виступі, і у скарзі. Чи можете ви дати точне визначення того, що ви самі розумієте під цим терміном — „системні порушення“, адже ми маємо спілкуватися однією мовою. Я просто хочу зрозуміти»*. Сразу следует указать, что понятие «системні порушення Закону України „Про вибори Президента України“» не является юридическим термином, а настоятельная просьба объяснить, *що ви самі розумієте*, свидетельствует о старании представителя ответчика услышать определение, которое базируется на опытно-эмпирическом знании оппонентом слова «системный». Представитель истца на этом этапе судебных слушаний так ответил на вопрос: *Так, я би хотів зазначити, що стаття 11 Закону України «Про вибори Президента України» дає перелік засад, дає, по-перше, визначення виборчого процесу і дає перелік засад, на яких здійснюється цей виборчий процес. Їх є сім. Всі їх зможуть побачити. Я думаю, що перелічувати немає потреби. Ми вважаємо, що*

по всій території України відбувалися *систематичні, системні*, [выделено нами. — Е.Д.] створені штучно порушення основних принципів, зазначених у пункті другому статті 11 Закону України «Про вибори Президента». Таким образом, докладчик не только не дал четкого определения понятия «системные нарушения», а и сделал досадную ошибку, объединив понятие «систематические» и «системные» в ряд однородных членов предложения (об этом свидетельствует интонация, которой сопровождался этот компонент объяснения), объединенных по общности или похожести значения. Причинами такой ошибки является, во-первых, то, что слова «системный» и «систематический» находятся в одном вербальном кластере по паронимичному сходству и сходству значения. Следовательно, в спонтанной речи нелингвиста из-за прозрачности ассоциации в вербальном знании этих слов естественной является неумышленная подмена одного слова другим. Кроме того, слово «систематический» является более употребляемым в профессиональной юридической речи, поэтому именно оно, в отличие от слова «системный», связано с более точным опытно-эмпирическим знанием, а следовательно, его значение является более понятным. Однако, отвечая на вопрос, господин Власенко акцентирует внимание на том, что упомянутые нарушения касаются основ избирательного законодательства, а не отдельных фактов, таким образом, предлагает квалификацию, достаточную для противопоставления понятий «системные нарушения» и «систематические нарушения».

Еще один вариант суггестивного влияния на собеседника описал Л.С. Выготский, который обратил внимание на то, что обозначение Наполеона I как «победителя при Йене» не одно и то же, что обозначение его «побежденным при Ватерлоо» [Выготский 1982]. Такие смысловые преломления в обозначениях явлений внеязыковой действительности широко используются участниками судебного дискурса как средство влияния на суд и присутствующих на судебном заседании. Например, прокурор в деле С.И. Мельника использует ряд слов с ярко выраженной коннотативной семантикой для называния убитой гражданки Татьяны Лелюк: *...оборвалась жизнь молодой женщины, матери двух малолетних деток, дочери седых немолодых родителей, любимой жены Игоря Степановича Лелюка...* [Бубир, Брунь, Корж 1997: 41]. На такое средство суггестивного воздействия обращал внимание еще П.С. Пороховщиков, отмечая, что «защитнику всегда выгоднее сказать: *подсудимый, Иванов, потерпевший*, чем: *грабитель, поджигатель, убитая*» [Сергеич 2000: 23].

Фразеологизмы как средство влияния на реципиента в ходе судебных слушаний выполняют несколько функций, которые определила Т.В. Алейникова: 1) установление контакта с аудиторией, т.е. они

составляют эмоциональный пласт речи, ориентированный на слушателя, а не на отображение фактов; 2) формирование положительного образа оратора. Принимая во внимание, что любая идея усваивается лучше, если у слушателя сформировано положительное эмоциональное отношение как к тезису, который доказывается, так и к личности оратора [Алейникова 2001: 6–9], фразеологизмы можно считать одним из средств воздействия на аудиторию в структуре судебного дискурса.

Формально-семантическая структура предложения как средство влияния может использоваться в судебном дискурсе как прием «синтаксическое преобразование», описанный И.В.Хоменко и другими учеными. Исследователи рассматривают такие способы манипулирования путем «синтаксического преобразования»: 1) использование в предложении эмоционально нейтрального прямого порядка слов и инверсии, используемой с целью подчеркнуть какой-либо компонент в предложении, при этом другой компонент будет нивелироваться. Кроме того, следует учитывать, что порядок слов при их перечислении влияет на запоминание. Таким образом, говорящий может фактически успокаивать себя тем, что реципиенту предоставлена нейтральная информация, а тот запомнил разные понятия по-разному [Блакар 1987: 108]; 2) длина предложения: оптимально воспринимаются аудиторией предложения, длина которых не превышает 15–25 слов [Баркер 2003: 206], предложения с большим количеством слов могут использоваться как средство отвлечения внимания от смысла сказанного; 3) тип предложения по цели высказывания и др.

Культура речи оратора как средство влияния должна рассматриваться: 1) как знание норм литературного языка и умение их реализовать в судебном дискурсе (несоблюдение таких норм приводит к нивелированию смысла сказанного, акцентированию внимания слушателей на форме, т. е. на языковых ошибках); 2) как реализация норм речевого поведения в юридической практике. Юристы должны непрекословно соблюдать как максимы кооперации Г.П. Грайса [Грайс 1985: 217–237], так и постулаты вежливости [Арутюнова, Падучева 1985: 3–42], реализация которых особенно необходима в судебном дискурсе, поскольку в большинстве случаев лица, участвующие в судебных процессах, находятся в состоянии эмоционального напряжения и очень чувствительны к любым проявлениям некорректного отношения к ним.

Таким образом, в зависимости от особенностей судебной системы и конкретного судебного процесса в дискурсе исследуемого типа используются различные вербальные средства воздействия на слушателей, изучение которых имеет огромное практическое значение, поскольку способствует установлению истины.

ЛИТЕРАТУРА

- Алейникова 2001 — *Алейникова Т. В.* Роль фразеологических единиц в юридическом дискурсе (на материале судебных речей и статей А. Ф. Кони) // *Лингвистика, речь и юридическая практика*. Вып. 4. 2001.
- Арутюнова, Падучева 1985 — *Арутюнова Н. Д., Падучева Е. В.* Истоки, проблемы и категории прагматики // *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. XVI: Лингвистическая прагматика. М., 1985.
- Баркер 2003 — *Баркер А.* Как улучшить навыки общения. СПб., 2003.
- Блакар 1987 — *Блакар Р. М.* Язык как инструмент социальной власти (теоретико-эмпирические исследования языка и его использования в социальной культуре) // *Язык и моделирование социального взаимодействия*. М., 1987.
- Боталина — *Боталина С. В.* Вербальный и невербальный языки деловых людей / Центр подготовки кадров «Персонал» // Эл. ресурс: <<http://www.personal.mgn.ru/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=25>>
- Бубир, Брунь, Корж 1997 — *Бубир В. В., Брунь О. П., Корж В. П.* Промова прокурора у судових дебатах. Харків, 1997.
- Выготский 1982 — *Выготский Л. С.* Мышление и речь // *Выготский Л. С.* Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. М., 1982.
- Грайс 1985 — *Грайс Г. П.* Логика и речевое общение // *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. XVI: Лингвистическая прагматика. М., 1985.
- Недашковская — *Недашковская С. И.* Оценочное воздействие в судебной речи // «Юрислингвистика-5: Юридические аспекты языка и лингвистические аспекты права» — Эл. ресурс: <<http://irbis.asu.ru/mmc/juris5/r4.ru.shtml>>
- Сергеич 2000 — *Сергеич П.* Искусство речи на суде. Тула, 2000.

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕКСТОТИП И СТИЛИСТИКА ИСТИННОСТИ

Изучение представлений о лжи, неправде, имитации, фантазии, вранье, ирреальном, искаженном невозможно без выяснения того, что входит в комплекс представлений носителя языка об истине. Одним из компонентов «мира истины» в культуре служат энциклопедические и справочные тексты, призванные систематизировать и хранить накопленное знание, истинную информацию. Связь идеи истинности и текстов справочно-информационного типа, к которым мы относим энциклопедии, справочники, словари, получила эксплицитное выражение в трактовках и высказываниях как самих создателей этих текстов, так и их исследователей, что в первую очередь касается Энциклопедии Дидро и д'Аламбера, заложившей основы для развития в Европе данной дискурсивной практики и справочно-информационного дискурса и в этом отношении сыгравшей роль прецедентного текста¹.

Намерение энциклопедистов противопоставить свои тексты «старым» энциклопедиям и тем самым выступить против невежества и предрассудков («неистинного знания»), кроме прочего, связывались с понятиями *verité* и *utilité*, что нашло отражение как в текстах Энциклопедии, так и написанных о ней. В статье «история», например, целевые установки в текстообразовании отражены следующим образом: «Наша Энциклопедия служит истине; одна статья должна исправлять другую, и если содержится какая-либо ошибка, она должна быть отмечена более сведущим человеком»; цит. по: [История 1978:14]. При

¹ Зарождение справочно-информационного дискурса как социокоммуникативной сферы, характеризующей состояние социальной коммуникации определенного периода, очевидно, следует относить к периоду создания Энциклопедии Дидро и д'Аламбера, а также и других энциклопедий того же периода (английской энциклопедии Э. Чемберса (1728–1740), нем. «Zedlerisches Lexicon» (1732–1757) и др.) в силу того факта, что они способствовали созданию массовой аудитории читателей (пользователей) энциклопедических текстов. Новым явлением этого периода стало возникновение особой категории читателей — «светски образованных» людей (не-проповедников, не-студентов, не-профессоров), интересовавшихся научной литературой и составивших круг ее читателей; подробнее об этом см. [Симон 1947: 78].

самом определении понятия «история» в Энциклопедии сообщается: «...это изложение фактов, приведенных в качестве истинных, в противоположность басне, которая является изложением фактов ложных» [История 1978: 7].

Забота об истинности в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера отмечена и характеризовавшими ее исследователями и критиками. Так, в статье «Энциклопедия», содержащейся в 17-томной французской энциклопедии XIX в., изданной П. Ларуссом, *Grand Dictionnaire universelle du XIX siècle* (Paris, 1866–1888), при характеристике установок и стиля работы над статьями Энциклопедии (при этом цитируется статья Ф. Гизо) отмечается отношение к знанию как ценности и любовь к истине («une impression d'estime pour le savoir, d'affection pour la verité»), значение которой многогранно («...la verité est aussi fécond que belle») [GD: 516]. Подобные высказывания об Энциклопедии, внимание в которых акцентируется на новаторстве ее создателей, выработке ими новых принципов мышления, направленных на преодоление предрассудков прошлого (т. е. «ложного знания»), представлены и в других исследованиях. Ср.: «...основная цель Энциклопедии состояла в том, чтобы „изменить способ мышления нации“ (как писал Дидро в статье „Энциклопедия“) и, как известно, эта цель была успешно достигнута» [Люблинская 1978: 240]. Эти высказывания по сути свидетельствуют о том, что забота об истине в целом и фиксация истинного знания находились в фокусе внимания энциклопедистов, определяя объект текстообразования и планируемый перлокутивный эффект. В дальнейшем, с развитием дискурсивной сферы энциклопедических и справочных текстов, «истинностная посылка», как можно думать, перешла в разряд фоновых представлений.

Энциклопедические и справочные тексты, которые мы объединяем в один функциональный класс справочно-информационных текстов (СИнф-тексты), до сих пор мало привлекали внимание лингвистов — как специалистов по функциональной стилистике, так и тех, кто работает в области дискурсивного анализа и лингвистики текста. Ситуация, обозначенная И. Б. Штерн, которая отмечала, что «...успех энциклопедий как познавательных произведений и в традиционном, и в мультимедийном исполнении поразительно контрастирует с их непопулярностью в качестве объекта исследования, в частности, в лингвистике» [Штерн, 1998: 2], в целом мало изменилась до настоящего времени и, по-видимому, рано пока говорить о существовании традиции изучения этой области функционирования языка в рамках какой-либо из лингвистических дисциплин. СИнф-тексты исследовались в аспекте изучения языка энциклопедического описания, классификации текстов с доминирующей функцией информирования, коммуни-

кативной модели, которую они реализуют, когнитивных особенностей, роли в процессах преподавания и усвоения языка [Киселевский 1977; Штерн 1992, 1993, 1998; Grosse 1976; Müller 1997; Nuccorini 1993; Walter 1990]. Другую линию в исследовании СИИнф-текстов представляют историко-культурологические и книговедческие исследования, раскрывающие роль определенных изданий в контексте той или иной национальной культуры, напр., [Симон 1947; Гудовщикова 1963; Grimm 1990].

Вместе с тем обращение к справочно-информационному курсу предполагает решение ряда вопросов, к которым следует отнести прежде всего моделирование коммуникативной ситуации, которую представляют энциклопедии и справочники, и того типа интеракции, который они реализуют, выявление основных текстообразующих факторов, прагмастилистических особенностей, стилистического варьирования и мн. др. В данной статье мы вкратце рассмотрим некоторые аспекты прагмастилистической специфики текстов справочно-информационного типа, обусловленных базовыми условиями их формирования.

В один текстовый класс современные справочники и энциклопедии объединяет общее социокommunikативное предназначение, обусловленное двумя задачами — необходимостью фиксации и хранения информации (1) и ее представления в удобном для пользования виде (2). Если для энциклопедических текстов, нацеленных на представление «неоспариваемой» информации, первая задача является преобладающей, то для справочников, ориентированных на фиксацию разнообразной утилитарно значимой информации, которая используется в различных областях деятельности человека, не менее важной оказывается и вторая задача — компактной, приспособленной для эффективной рецепции упаковки информации. Далее мы будем говорить о справочно-информационном текстотипе — текстовом конструкте, характеризующемся комплексом прагмастилистических черт, которые коррелируют с базовыми условиями текстообразования, и рассмотрим в качестве факторов текстообразования вторичность и коммуникативное задание справочно-информационного текстотипа.

Объектом коммуникативного действия при составлении текста справочно-информационного типа выступает информация, содержащаяся в определенном корпусе текстов-первоисточников, поэтому можно сказать, что его формирование невозможно без существования развитых дискурсивных сфер (тексты научно-гуманитарные, научно-технические, учебные, биографические, критические и др.), тексты которых являются для него исходными и как носители релевантной информации, и как репрезентанты различных способов упаковки ин-

формации². Если исходить из того, что тексты-первоисточники того или иного жанра содержат, кроме фактографической и другой «истинной» информации, информацию субъективного характера — авторские мнения, оценки, аргументацию, индивидуальные суждения, предположения, гипотезы, высказывания, отражающие те или иные эмоциональные состояния и предпочтения, объективированные в соответствующих дискурсивных формах, то одной из основных стратегий в текстообразовании будет элиминация стилистически маркированных элементов, ассоциирующихся в языковом сознании с идеей субъективности в изложении.

При этом коммуникативное задание фиксации и хранения информации предполагает использование высказываний-констатаций — дискурсивной формы, отвечающей этой задаче в наибольшей степени. Действительно, СИИФ-текст, в отличие, напр., от научного, несущего в себе новую информацию и вводящего ее в научную коммуникацию, собирает и обобщает уже известные данные, которые были введены в коммуникацию ранее другими текстами. Коммуникативный акт констатации тем и отличается от высказывания-сообщения, что в нем актуализируется не новая для адресата информация, но информация уже известная, очевидная, которая рассматривается в качестве истинной, верифицированной, неоспариваемой, не вызывающей возражений. Именно вследствие этого коммуникативный акт констатации как дискурсивная форма наиболее полно отвечает основной задаче СИИФ-текста, а модальность констатации по сути становится стержневой модальностью текста. С ней соотносится и выделенное И.Б.Штерн понятие знания-констатива, которое касается законов природы, научной и обыденной «картины мира»: «Зн-констативы запечатлевают законы природы, научную и обыденную „картины мира“ и др. Именно к этой группе принадлежат Энц-описания. Они предельно инвариантны относительно ситуаций, в которых могут быть использованы. В известном смысле это Зн „замедленного действия“, заготавливаемые впрок и „ждушие своего часа“» [Штерн 1992: 92]. В целом можно сказать, что основная коммуникативная интенция СИИФ-текстотипа воплощается при текстообразовании в высказываниях с коммуникативной модальностью констатации, которая выступает как ее коррелят.

Типом модальности обусловлены более частные лексико-синтаксические особенности СИИФ-текстотипа, которые связаны с элиминацией тех единиц, которые в той или иной степени отражают «присутствие» субъекта речи. Сопоставление СИИФ-текста с науч-

² Ср. замечание Ю.А.Шрейдера о том, что «научно-информационная деятельность является производной от научной деятельности» [Шрейдер 1982].

ным, сходным с ним по параметру объективности представляемой информации, позволяет увидеть их существенные различия. Если в научном тексте коммуникативный субъект выявляет себя в использовании местоимений рус. *pluralis modestiae* *мы, наш*, англ. *I, my*, традиционных модальных выражениях, которые отражают отношение говорящего к высказываемому (*по-видимому, безусловно, действительно*, англ. *it is very possible, crucially for my argument*), дискурсивных слов (*по крайней мере, лишь, естественно, более того*, англ. *naturally, furthermore*), то СИнф-текст стремится к их исключению, как и всех иных единиц, содержащих модальный компонент, напр., частиц. СИнф-текст стремится к элиминированию или минимизации большинства эксплицитных модусов ментального плана (полагания, знания, незнания, сомнения, допущения и под.), к минимизации указаний на источник информации (*как показано в работах проф. А.*). С модальностью констатации связано неиспользование в тексте средств выражения логической и временной связи событийных объектов, естественных в аргументативной и нарративной дискурсивных формах, где они выступают как маркеры поступательного движения в развитии мысли и речевой деятельности (*но, однако, отсюда следует, что..., поскольку, вследствие этого*), а также единиц, организующих изложение (*во-первых, во-вторых*, англ. *finally, thus*). То же касается и временных детерминантов: СИнф-текст стремится к элиминации релятивных временных показателей, которые указывают на связь и развитие событий, что существенно для нарративного текста (*в следующем году, через месяц, после этого случая*). Ср.: *В 1814 он возвращается с войсками гвардии в Петербург, а в 1815 (не в следующем году. — Т.Р.) уже печатает в «Сыне Отечества» свои баллады...* (Русские писатели. Библиографический словарь. М., 1971; статья «Катенин»).

Таким образом, ведущими средствами воплощения стратегий текстообразования здесь оказывается минимизация языковых единиц антропоцентрического типа, связанных с категориями места, времени, развитием мысли, оценкой ситуации, т.е. слов, в семантике которых задается определенная позиция субъекта речи — наблюдателя, повествователя, субъекта ментальных, эпистемических, психических состояний, в результате чего текст строится в виде цепочки констатаций. Основными сентенциональными формами такого текстового произведения оказываются фактографические и генерализованные предложения-высказывания. Под фактографическими здесь понимаются предложения, отражающие параметрические характеристики объекта (в тексте статьи они могут образовывать субтекст, посвященный описанию объекта). Напр., про растение сообщается о его высоте, форме, размерах листа, цветках, аромате и т.п.; ср. описание амарил-

лиса: Луковица крупная, грушевидной формы; внешние чешуи коричневые, внутри опушенные. Листья ремневидные, до 50 см дл. желобчатые, гладкие. Цветонос до 50–70 см выс., несет на верхушке 8–12 цветов. Цветки крупные, поникающие, розово-красные, колокольчато-воронковидные, ароматные (С.Г. Сааков. Оранжерейные и комнатные растения. Л., 1983; статья «амариллис»). Представление определенного параметра может требовать синтаксически развернутое описание, что создает отдельный тематически целостный субтекст. Именно такую текстовую манифестацию имеют, напр., параметры, по которым описывается в справочном издании опера: это «содержание», «литературный источник», «характеристика музыкальной драматургии», «сценическая история», «выдающиеся исполнители». Ср. отражение параметра «сценическая история» оперы Б. Бриттена «Сон в летнюю ночь»: *Первая постановка — Ольдборский фестиваль, 11 июня 1960 г. ... Опера поставлена в Голландии, Италии (Ла Скала), ГДР. Спектакль Комише-опер показан в Москве в 1965 г.* (Оперный словарь. М.; Л., 1965; статья «Сон в летнюю ночь»).

Стержневую характеристику генерализованных высказываний можно обозначить как «неопределенность» в противоположность категории определенности, введенной Т. М. Николаевой [Николаева 1981]. К числу основных способов ее реализации можно отнести использование имен с неопределенной референцией, отсутствие дейктических элементов, использование имперфектных предикатов для передачи значения дуративности, генерализованности, итеративности, предикатов качественности. Это, прежде всего, высказывания-дефиниции, выражающие логическое отношение тождества, а также высказывания, отражающие знание относительно классификационных, структурных, функциональных и др. свойств предмета, и, кроме того, операциональное знание: *Цео́літи... — мінерали класу силікатів, каркасної структури алюмосилікати лужних металів. Осн. особливістю їхньої структури є наявність у порожнинах цеолітної води, здатної вільно виділятися (при нагріванні) через широкі канали і знову поглинатися без порушення об'єму мінералу. Ц. притаманні значні сорбційні, каталітичні та іонообмінні властивості* (Географічна енциклопедія України. Т. 3, Київ, 1993, статья «Цео́літи»). Естественно, этими двумя типами высказываний сентенциональный репертуар СИнф-текста не ограничивается, однако они составляют его облигаторный сегмент.

Вследствие минимизации единиц, обеспечивающих связность изложения, такие высказывания характеризуются семантико-синтаксической автономностью и независимостью от контекста. Соответственно, можно говорить, что организации целого текста, складывающегося из таких единиц, присуща тенденция к контекстной автономии.

зации предложения, ослаблению межфразовых связей, а ведущим принципом построения такого текстового образования становится принцип аддитивности, который позволяет переставлять местами предложения или же отдельные субтексты без снижения информативности или деформации смысла. Например, в приведенном выше описании цветка амариллиса мена местами высказываний о тех или иных параметрах растения не влияет на коммуникативное качество текста и его информационный уровень.

Современный СИИф-текстотип предстает, таким образом, в виде текстового образования с четко взаимообусловленным комплексом черт, истоки формирования которого лежат в минимизации средств, репрезентирующих коммуникативного субъекта. Именно последнее обстоятельство задает логику формирования других его релевантных черт, в частности контекстной автономизации предложения-высказывания, и, как следствие, обуславливает аддитивность строения текста. (В наиболее ярко выраженном виде аддитивность принимает вид списочности.) Эта логическая цепочка объясняет, почему исследователи связности текста относили СИИф-текст к текстам со связностью радикального типа [Кожевникова 1979]. Этот тип связности, представленный словарями, сводами правил и норм, текстами вопросников и т. п., отличается тем, что отдельные части текста в нем связаны не между собой, а с темой или коммуникативным заданием всего текста [Там же: 56]. Действительно, тексты справочных и энциклопедических статей — это тексты несюжетного типа, они осмысливаются как связные в силу отнесенности всех предложений-высказываний, входящих в них, к номинации объекта, заданного заголовком. Таким образом, цепочечное «нанизывание» сведений, их перечисление и задание списком, в основе чего лежит отталкивание от нарративной структуры, оказывается одним из основных приемов формирования текста, коррелирующего с задачей аккумуляции «истинной» информации.

Учет в социокоммуникативной практике этой корреляции многообразен: от использования с риторическими целями фактографических и генерализованных высказываний в газетном дискурсе, построения художественных или иных текстов по модели справочно-информационного текстотипа (ср. «Хазарский словарь» Павича) до описанного в [Шапир 2006] случая использования жанра словарной статьи в качестве средства языковой политики.

ЛИТЕРАТУРА

Гудовщикова 1963 — Гудовщикова И. В. Общие зарубежные энциклопедии. Л., 1963.

- История 1978 — История в энциклопедии Дидро и Д'Аламбера. Л., 1978.
- Киселевский 1977 — *Киселевский А. И.* Языки и метаязыки энциклопедий и толковых словарей. Минск, 1977.
- Кожевникова 1979 — *Кожевникова Кв.* Об аспектах связности в тексте как целом // Синтаксис текста. М., 1979. С. 49–67.
- Люблинская 1978 — *Люблинская А. Д.* Историческая мысль в Энциклопедии // История в энциклопедии Дидро и Д'Аламбера. Л., 1978. С. 233–255.
- Николаева 1981 — *Николаева Т. М.* Категориально-грамматическая цельность высказывания и его прагматический аспект // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1981. Т. 40. № 1. С. 37–48.
- Симон 1947 — *Симон К. Р.* Термины «энциклопедия» и «свободные искусства» в их историческом развитии // Советский библиографический сборник. Вып. 3. 1947. С. 62–86.
- Шапир 2006 — *Шапир М. И.* Донос: социолингвистический аспект (Игра словами как средство языковой политики) // Логический анализ языка. Концептуальные поля игры. М., 2006. С. 483–492.
- Шрейдер 1982 — *Шрейдер Ю. А.* Методологические проблемы прогнозирования научно-информационной деятельности // Научно-техническая информация. Сер. 2. 1982. № 5. С. 4–8.
- Штерн 1992 — *Штерн И. Б.* В поисках новых когнитивных моделей: структура энциклопедического знания и энциклопедической деятельности // Новости искусственного интеллекта. 1992. № 4. С. 92–99.
- Штерн 1993 — *Штерн И. Б.* Канонические знания в модели исследователя: энциклопедия как информационная и как креативная среда // Теория и системы управления. Вып. 3. М., 1993. С. 153–159.
- Штерн 1998 — *Штерн И. Б.* Энциклопедия в зеркале когнитивной парадигмы // Научно-техническая информация. Сер. 2. 1998. № 1. С. 1–11.
- GD — Grand dictionnaire universelle du XIX siècle. Par Pierre Larousse. V. 7. Paris.
- Grosse 1976 — *Grosse E. U.* Text und Kommunikation: Eine Einführung in die Funktionen der Texte. Stuttgart, 1976.
- Müller 1997 — *Müller O.* Text und Wörterbuch // Text als Gegenstand der Forschung und der Lehre. Heft 4. Rostock, 1997. S. 133–153.
- Nuccorini 1993 — *Nuccorini S.* Pragmatics in Learner's Dictionaries // Journal of Pragmatics. 1993. V. 19. P. 215–237.
- Grimm 1990 — The Grimm Brothers and the Germanic Past. Amsterdam; Philadelphia, 1990.
- Walter 1990 — *Walter H.* Des dictionnaires: à consulter ou à lire // La Linguistique. 1990. V. 26. P. 71–78.

ОЦЕНКИ ИСТИННОСТИ/ЛОЖНОСТИ

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ *ИСТИННЫЙ* И *ЛОЖНЫЙ*)

Вместо введения: несимметричность *истины* и *лжи*. Истина и ложь не симметричны. *Истина* в житейских ситуациях почти не фигурирует — это высокий стиль и высокий слог. Истина связана прежде всего с религиозным и философским дискурсом. В быту можно услышать не *истину*, а, скорее, какие-нибудь прописные *истины*. А *ложь* — вещь вполне бытовая, хотя в быту она называется *вранье* или *обман*.

Ложь — это не любое высказывание, которое с логической точки зрения является ложным. Человек, который сделал ложное утверждение (например, *Нью-Йорк — столица США*), может и не знать о том, что оно ложное; человек, который лжет, знает, что он лжет, и хочет обмануть. Его цель — сообщить информацию, не соответствующую действительности. Ложью называется только то, что имеет такую цель, и только то, что задевает или нарушает интересы других людей.

Кроме того, ложь активна, а истина пассивна. Истину мы можем не знать (и даже не подозревать о ее существовании). Ложь всегда известна, потому что нам ее специально сообщают (и она существует только в качестве сообщенной; не существует «неизвестной», «неведомой», скрытой от нас лжи, в отличие от скрытой от нас истины). Ложь человек создает, придумывает, истина же не создается, а лишь «передается», транслируется (или, наоборот, скрывается).

Все это отражается и на функционировании прилагательных *истинный* и *ложный*.

Как отмечала Н. Д. Арутюнова (см. [Арутюнова 1988]), эти — и другие подобные — прилагательные являются вторичными оценками, метахарактеристиками. Поэтому в повседневной разговорной речи в исходном значении они практически не употребляются. В бытовой ситуации обычно не говорят *Твое высказывание истинное* или *Ты сделал ложное утверждение*. Зато они широко употребляются применительно не к высказываниям, а к объектам другой природы — предметам, ситуациям и даже к людям. Ниже мы рассмотрим, с какими семантическими классами существительных сочетаются прилагательные *истинный* и *ложный* (т.е. к каким классам объектов приложимы эти характеристики).

Другая задача, которая возникает в связи с данным материалом, — проследить те семантические модификации, которые претерпевают прилагательные *истинный* и *ложный* в контексте разных семантических классов существительных.

Верифицируемый и неверифицируемый тип употребления прилагательных *истинный* и *ложный*. При описании разных типов употреблений прилагательных *истинный* и *ложный* прослеживается семантическое противопоставление, которое соответствует противопоставлению двух видов мнения, обсуждавшемуся в работах М. А. Дмитриховской, Анны А. Зализняк, И. Б. Шатуновского и др. (см. [Дмитриховская 1988]; [Зализняк 1991]; [Шатуновский 1991]). Эти авторы выделяют мнение-предположение (то, что можно узнать, проверить, верифицировать) и мнение-оценку, которое отражает субъективную точку зрения, не подлежащую проверке или верификации.

Первый тип можно проиллюстрировать высказыванием *Я думаю, что фильм хороший*, которое произносится в ситуации, когда говорящий еще не видел фильм, но может его посмотреть и узнать, хороший он или нет; второй тип можно проиллюстрировать высказыванием *Я считаю, что фильм хороший*, которое произносится в ситуации, когда говорящий видел фильм и высказывает свою оценку; при этом у других людей может быть другая оценка. Подобные оценки нельзя верифицировать, а можно только принять или не принять.

У прилагательных *истинный* и *ложный* выделяются два типа употреблений, которые тоже можно обозначить как верифицируемое и неверифицируемое (оценочное).

Различие по признаку верифицируемости/неверифицируемости связано с тем, к какому типу реальности относится характеристика *истинный/ложный*.

Прилагательные *истинный/ложный* обозначают соответствие или несоответствие реальности, однако сама реальность может быть двух типов: это может быть «обычная» реальность — действительность — и, условно говоря, «другая реальность» — мир человеческих ценностей и норм, важных культурных смыслов, идеалов.

Ниже мы рассмотрим для каждого прилагательного эти две группы употреблений: 1) соответствие реальности; 2) соответствие идеалу (стандарту, норме, образцу; эти нормы и идеалы принадлежат в нашем случае к ментальной сфере, ср. прилагательные *нравственный*, *аморальный*, *прекрасный*, *совершенный*, которые характеризуют другие аспекты объектов и ситуаций).

Пример первого типа, верифицируемого, — *истинный смысл фразы (стал понятен позже)*: то, что можно узнать, понять (поскольку автор

имел в виду что-то определенное); пример второго типа, оценочного, — *истинный смысл жизни*: то, что можно принимать или не принимать.

Сначала обратимся к первой группе — верифицируемым употреблениям прилагательных *истинный/ложный*.

Соответствие реальности. Ложный: ДЕЙСТВИЯ и ОБЪЕКТЫ. С точки зрения характеристик «истинный-ложный» действия бывают только ложные, истинных не бывает: например, бывает *ложная атака* и просто *атака*. *Истинной атаки* не бывает. Почему? Потому что действие и так соответствует действительности: оно реализуется, оно существует.

Группа ложных действий и объектов обширна и разнообразна, ср. примеры (1)–(15):

- (1) Предпринимается **ложный фланговый удар**, где подразделение, не обеспеченное ни силой, ни ресурсами, имитирует атаку;
- (2) Саша сделал **ложный выпад**..., целясь врагу мечом прямо в горло;
- (3) Террористы дважды выводили Александра Карпова на «**ложный расстрел**»: велели прощаться с жизнью, а затем стреляли поверх головы;
- (4) А, между прочим, наше законодательство всячески поощряет **экспорт**, в том числе **ложный**, предусматривая выплату экспортерам НДС из бюджета;
- (5) Муж устроил **ложный переезд**, чтобы спастись от гор накопившегося барахла;
- (6) Можно создать **ложный (фальшивый) сервер** для приема информации;
- (7) Недалеко от деревушки Притыкино был построен **ложный аэродром**;
- (8) Этот любимец Павла лишился его милости за **ложный донос** по поводу кражи в арсенале;
- (9) На одном из тяжелых допросов я подписал **ложный**, сочиненный следствием **сценарий** моих «преступлений»;
- (10) Новый следователь... потребовал подтвердить **ложный протокол**;
- (11) Это была фиктивная сделка, и проистекающий отсюда фиктивный доход неизменно вписывался в **ложный годовой отчет**;
- (12) А нельзя ли подать **ложный сигнал**, чтобы они вообще не вылетели из водоемов?
- (13) **Вызов** доктора, **ложный**, естественно, **вызов**, будет стоить им половину всего их пособия!
- (14) Преступники специально устраивались на работу на почту, чтобы изымать отправления с банковскими карточками или перенаправлять их на **ложный почтовый адрес**;
- (15) А входы в погреба были взорваны немцами намеренно, чтобы навести будущих искателей на **ложный след**.

Здесь есть

и собственно действия: *ложный выпад*; *ложная атака*;

и контролируемые процессы и мероприятия: *ложный экспорт*;
ложный переезд;

и различные функциональные объекты, которые являются результатом действия: *ложный аэродром*; *ложный сервер*;

и речевые (а также вообще семиотические) действия, рассчитанные на перлокутивный эффект: *ложное признание*; *ложный сигнал*; *ложный вызов*;

и результаты таких действий в виде текстов: *ложный отчет*;
ложный протокол.

✱

Ложное действие — это настоящее, совершенно реальное действие, это полная имитация действия; ложный объект — это искусственно созданный объект, который по каким-то существенным параметрам не отличается от настоящего; это результат сознательного действия, он встроен в определенную структуру, занимает в ней определенное место, выполняет определенную функцию и имеет определенные последствия. Отличие ложных действий и объектов от настоящих в том, что у создателей или контролеров ложных действий и объектов особая цель — обмануть других людей, ввести в заблуждение:

ложная атака ничем не отличается от настоящей атаки, только ее цель — не атаковать противника в данном месте в данное время, а отвлечь внимание;

ложный аэродром, хотя на нем и стоят картонные макеты самолетов, — это площадка, на которой может сесть настоящий самолет (иначе враг не поверит, что это аэродром, и цель создания ложного аэродрома не будет достигнута);

ложный вызов спасателей к месту предполагаемого взрыва имеет целью выезд спасателей и эвакуацию людей, как если бы взрывное устройство действительно было заложено;

ложный отчет создается по всем правилам и не отличается от настоящего отчета, за исключением одного: в нем стоят неправильные цифры и данные.

В этом смысле ложные действия и объекты похожи на ложные высказывания: утверждая в ложном высказывании, что Р имеет место, говорящий хочет, чтобы другие люди думали, что Р имеет место; совершая действия Р и создавая объекты Р, которые называются ложными, человек как бы создает реальность, в которой Р существует, чтобы другие люди думали, что Р существует.

Есть еще два типа употреблений прилагательного *ложный*, которые связаны с верифицируемым значением, но при этом происходит моди-

фикация отдельных параметров исходного значения. Такая модификация характерна именно для ментальной лексики, когда меняются не признаки объектов, а presupпозиции, установки, цели и другие пропозициональные компоненты значения (ср. [Зализняк 1992]; [Кустова 1998]).

Первая модификация: характеристика *ложный* применяется к неконтролируемым ситуациям, которые являются результатом неправильной интерпретации чего-то или ошибки. Таких контекстов довольно мало, и для них характерны устойчивые сочетания *ложная тревога, по ложному следу: Это была ложная тревога; Оказалось, что мы шли по ложному следу.*

Скорее всего, это рефлекс исходного намеренного (контролируемого) значения (поскольку все-таки можно сознательно устроить ложную тревогу или сознательно пустить по ложному следу, ср. пример (15)).

Таким образом, «случайные» ложные ситуации похожи на «настоящие» ложные ситуации: имеет место необоснованная тревога и имеет место движение по неправильному следу — однако возникли они спонтанно, не было субъекта злого умысла, не было намерения ввести в заблуждение.

Вторая модификация — когда имитация чего-либо не является введением в заблуждение, а имеет совершенно безобидные или даже вполне достойные цели:

- (16) С помощью специальной оптики можно получить на сетчатке ложный субъективный зрительный образ (это делается с целью научного эксперимента).

Такие предметы, как *ложный карман, ложное окно, ложная арка* и под., создаются не для обмана, не для введения в заблуждение (как *ложный аэродром*), а для красоты. Причем, в отличие от *поддельного* и *фальшивого*, здесь нет никакого аморального оттенка.

Наконец, завершением этой линии полного сходства настоящего и ненастоящего являются термины (ботанические: *ложный опенок, ложная акация* и др., медицинские: *ложный круп* и др.). Здесь реализуется та же идея: по внешним признакам ложный Y не отличается от настоящего X-а.

Итак, есть три режима употребления *ложный*, связанных с тремя типами ситуаций:

- имитация действий или объектов с целью сознательного введения в заблуждение, с целью скрыть истинные намерения или замаскировать реальную деятельность (*ложная атака, ложный экспорт, ложный отчет*);
- реализация действия в результате неправильной интерпретации чего-то или ошибки (*идти по ложному следу*);
- сознательная имитация действия или объекта не с целью введения в заблуждение, а с другими целями (*ложный карман*).

Истинный: КАЧЕСТВЕННЫЕ и КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. *Истинный* в верифицируемой группе относится к тому, что скрыто, но может быть установлено.

Обычно это глубинная, неочевидная характеристика, устанавливаемая по видимым, внешним признакам (в том числе это может быть характеристика высказывания — смысл, как в примере (17)):

- (17) «Десять лет без права переписки» — таков был официальный ответ властей, *истинный* смысл которого стал понятен лишь в наши дни;
- (18) В том же письме приведен *истинный* рейтинг кандидатов на пост генерального директора;
- (19) Прекрасное средство скрыть свой *истинный* возраст;
- (20) Они общаются со мной ласково, будто боясь спугнуть, как с душевнобольным, от которого скрывают *истинный* диагноз;
- (21) Это делает невыгодным скрывать *истинный* размер зарплаты;
- (22) Говорят, что *истинный* вкус этого деликатеса можно уловить только тогда, когда ешь его руками;
- (23) Но ведь что удивительно — Жириновский свой *истинный* облик открыл;
- (24) Он любил утренние, самые плодотворные часы работы редакции и ее неповторимую суету, в которой только и можно ощутить *истинный* ритм жизни страны, уловить ее пульс;
- (25) Победа со счетом 92:47 слишком недвусмысленно отразила *истинный* расклад сил;
- (26) Но оставим суеверия в стороне, поскольку, на мой взгляд, не они объясняют *истинный* ход вещей;
- (27) Коррелирование индивидуальных статистических данных искажает *истинный* характер связи между причиной и следствием;
- (28) Малый и средний бизнес — вот *истинный* и единственный сегодня двигатель перемен.

Таким образом, характеристика *истинный* применяется либо к тому, что сознательно скрывается (*истинный* возраст; *истинный* размер зарплаты; при этом может «предлагаться» другое значение признака: например, в анкете указан возраст 23 года при истинном значении 32), либо к тому, что до какого-то момента было неизвестно, так как неочевидно, не лежит на поверхности, требует специальных исследований, размышлений или предполагает возникновение ситуаций, в которых данный признак проявляется, раскрывается (*истинный* диагноз; *истинный* двигатель; *истинный* облик; *истинный* нрав; *истинный* вкус).

Таким образом, получение истины — это результат либо усилий, либо прозрения, либо разоблачения. Синонимичными данному употреблению *истинного* являются наречные обороты *на самом деле* и *в действительности*.

Высказывания с прилагательными *истинный* и *ложный*, будучи, как уже говорилось выше, метахарактеристиками, используются в особых ситуациях. *X* называется *истинным* или *ложным* в том случае, если первоначально имела место неправильная оценка некоторого объекта (или ситуации). При этом в референциальном отношении *истинный* и *ложный* противопоставлены разным типам объектов и участвуют в разных оппозициях.

Истинный предполагает какую-то конкретную характеристику (другой возраст, другой диагноз, другой смысл), которая находилась в поле зрения, до определенного момента выдавалась и/или принималась за истинную, но затем была «разоблачена», дезавуирована, опровергнута. Таким образом, *истинный* вводит в рассмотрение две характеристики, два значения параметра, два объекта, один из которых считался настоящим, а другой является настоящим.

Ложный не противопоставлен никакому конкретному «истинному» объекту, а противопоставлен всему множеству истинных, нормальных, настоящих объектов: *ложная атака* не обязательно предполагает, что в это время в другом месте происходит «истинная атака» (хотя это, конечно, не исключено), но предполагает, что бывают «обычные» атаки с нормальной целью — атаковать; *ложный вызов* противопоставлен всему множеству вызовов, связанных с реальными происшествиями, и т. д. Даже когда речь идет о *ложном аэродроме*, который предполагает, что где-то есть настоящий аэродром, этот настоящий аэродром не обязательно один.

Таким образом, *истинный* и *ложный* имеют совершенно разные смысловые акценты: *ложный* говорит о том, что ДАННЫЙ объект не настоящий; *истинный* говорит о том, что наряду с данным объектом существует (или существовал) ДРУГОЙ, не-истинный.

То есть *ложный* — так сказать, диахроническая характеристика. Рассматривается один и тот же объект, но меняется его статус. Сначала ложный *X* выдается и/или принимается за настоящий, а через некоторое время об этом же *X*-е становится известно, что он ложный.

Истинный — синхронная оппозитивная характеристика, он противопоставлен не-истинному, существует в оппозиции к нему. При этом когда истинный *X* установлен, не-истинный обычно перестает быть актуальным.

Ложный X существует в реальном мире как реальный объект, занимает место в пространстве (если это предмет) или во времени (если это ситуация). Не-истинный *X* существует только в мире семиотических, идеальных объектов. Не-истинный — это информация, это то, что мы говорим или думаем. Обычно это значение какого-то параметра, которое, вообще говоря, может быть разным. Но это значение та-

кого параметра, у которого есть внешние признаки и объективные показатели. При этом внешние признаки могут указывать на что-то другое, т. е. вводить в заблуждение.

ЗАМЕЧАНИЕ. Не рассматриваются такие обороты, как *ложная скромность* и *ложный стыд* (которым в словаре соответствует особое значение). В-первых, это практически фразеологизмы, а во-вторых, в современном языке они почти не употребляются. Исключение составляет *ложный стыд*, который в качестве устойчивого (почти терминологического) оборота используется в руководствах по риторике («вызвать у собеседника ложный стыд»).

Истинный/ложный + НАЗВАНИЕ ЛИЦА. *Истинный* и *ложный* применимы и к человеку, точнее — к характеристикам человека. Причем здесь тоже *ложный* относится к таким характеристикам и статусам человека, которые навязываются, внушаются, но не соответствуют действительности, а *истинный* — к скрытым или сознательно скрываемым.

Ложный X — это человек, который выдает себя за X-а, или которого мы по ошибке приняли за X-а, или который считался X-ом.

Так, в примере

- (29) Если у вас есть подозрение, что **милиционер ложный** — лучше проехать до ближайшего поста и сообщить об этом

ложный милиционер — это человек, который надел форму и выдает себя за милиционера.

В примере

- (30) К концу спектакля простодушный псевдоотец и **ложный сын** действительно почувствуют себя родными

ложный сын — человек, который выдает себя за сына (как в пьесе Вампилова), но может быть и человеком, которого мы по ошибке приняли за сына.

- (31) Уже задержали стрельцов, дерзнувших говорить, что на престоле «**ложный царь**»;

- (32) Палицын был тот самый **ложный друг**, погубивший отца юной Ольги.

Истинный относится к признакам и статусам человека, которые надо устанавливать: *истинный владелец*; *истинный автор*; *истинный отец*; *истинный царь*. Здесь, как и в предыдущей группе примеров, *ложный X* не противопоставлен какому-то определенному настоящему X-у, а выделяется на фоне всего класса настоящих X-ов (ложный

милиционер противопоставлен всем настоящим милиционерам). В случае *истинного X-а* есть два человека: один выдает себя за владельца/отца/царя/автора и т.д. или считается таковым, а другой является владельцем/отцом/царем/автором на самом деле.

Соответствие идеалу. Рассмотрим вторую группу употреблений прилагательных *истинный* и *ложный* — неверифицируемые (собственно оценочные) употребления. Здесь *истинный* и *ложный* выражают соответствие или несоответствие идеалу. При этом сам идеал верифицировать нельзя, его можно только установить и принять (или не принять).

Например, человек, который исповедует ложные (с чьей-то точки зрения) идеалы, сам не считает их ложными.

Какие функции выполняют слова *истинный* и *ложный* в такой ситуации?

Можно выделить два основных модуса употребления:

А). Если нужно сформулировать сам идеал, образец. Такое употребление можно условно назвать расшифровочно-характеризующим. Здесь либо в специальной конструкции раскрывается содержание идеала, расшифровывается понятие *истинного X-а*, например: *Истинный федерализм/демократизм состоит в том-то*; либо просто приводятся отдельные характерные признаки *истинного X-а*, например:

(33) Однако **истинный федерализм** невозможен без установления единых правил игры для всех участников процесса государственного строительства;

(34) Вот **истинный военный русский марш**: ведь вроде бы печалит, а нет — бодрит! (=истинный военный марш должен бодрить).

Б). Второй тип употребления — если говорящему нужно выразить свою оценку объекта или события. Такое употребление можно назвать «констатирующим»: здесь *истинный/ложный* просто обозначает соответствие/несоответствие идеалу (*Вот когда был достигнут истинный демократизм/федерализм*; *Вы встали на ложный путь*), а содержание идеала предполагается известным.

Коммуникативное устройство предложений с прилагательными *истинный* и *ложный* различается.

Ложный не подлежит содержательной расшифровке, как *истинный*. Действительно, странно было бы говорить, например: *Ложный взгляд на поэзию состоит в том-то*.

Однако у *ложного*, как и у *истинного*, есть, конечно, какие-то отличительные черты, какие-то признаки, помогающие его распознать, только подаются они, так сказать, конверсивно, в обратном порядке, ср. пример:

- (35) Порицание исторического романа со стороны историков и эстетиков имеет источником своим одно и то же начало — ложный взгляд на поэзию.

Не только «порицание исторического романа» оценивается как ложный взгляд на поэзию, но у ложного взгляда на поэзию есть определенные признаки, один из них — «порицание исторического романа».

От оценочного значения *истинный* происходит СТЕПЕННОЕ — когда *истинный* обозначает просто высокую степень:

- (36) Слушать эту музыку — истинное наслаждение;
 (37) А чистая, не оскверненная промышленными стоками Печора для рыбы — истинный рай;
 (38) Это замечание повергло Крота в истинный восторг;
 (39) Финальная сцена с вальсом в пять утра на улице в пижамах — истинный катарсис;
 (40) Кино — величайшее изобретение века, истинный дар всем нам.

Истинный + название лица. В неверифицируемом подтипе с названиями лица употребляется только *истинный*, но не *ложный*.

Если в верифицируемом подтипе существительное в сочетании *истинный X* употребляется референтно (*Наконец нашелся истинный владелец автомобиля. Им оказался Сидоров*), то в неверифицируемом — предикативно или интенционально. То есть существительное обозначает не конкретного человека, а признак, понятие или класс.

Есть два характерных типа употребления: либо это понятие раскрывается (класс характеризуется), примеры (41)–(44), либо этот признак предикруется, примеры (45)–(46):

- (41) Истинный христианин стремится к добродетели, к святости;
 (42) Считается, что истинный дипломат умеет говорить долго, не сказав ничего;
 (43) Истинный романтик стремится взломать стесняющие его жизненные формы во имя усложнения, обогащения жизни, а не ее обеднения;
 (44) Истинный немец никогда не будет делать ничего противозаконного;
 (45) Он всегда был истинным джентльменом;
 (46) Он поступил как истинный рыцарь.

Последний случай, т.е. предикирование сочетания *истинный X* (*истинный джентльмен*; *истинный рыцарь* и под.), следует считать разновидностью степенного значения.

Таким образом, мы видим, что прилагательные *истинный* и *ложный* используются не только для характеристики речевых высказыва-

ний, но и для характеристики самых разных объектов и ситуаций. И хотя в этих неречевых контекстах они не всегда прямо соотносятся со словами *истина* и *ложь*, они продолжают обслуживать сферу истинного, т.е. выражают соответствие реальности — той или другой.

Приведенная ниже таблица иллюстрирует несимметричность характеристик «истинный/ложный», о которой шла речь в этой статье.

	истинный	ложный
I. СООТВЕТСТВИЕ/НЕСООТВЕТСТВИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ (верифицируемые)		
1. Речь (высказывание)	истинное утверждение	ложное утверждение
2. Действия-имитации (в том числе речевые и семиотические); объекты-имитации		ложная атака; ложный выпад; ложный аэродром; ложный сервер; ложный донос; ложный сигнал
3. Признаки/характеристики/смыслы (скрытые, устанавливаемые)	истинный возраст; истинный размер зарплаты; истинный диагноз	
4. Лица	истинный владелец; истинный автор; истинный отец; истинный царь	ложный милиционер; ложный царь
II. СООТВЕТСТВИЕ/НЕСООТВЕТСТВИЕ ИДЕАЛУ (ОБРАЗЦУ) (неверифицируемые)		
1. Оценка	истинная вера; истинный смысл бытия; истинные ценности; истинный путь; истинный федерализм	ложные ценности; ложные идеалы; ложный взгляд; ложный путь
2. Степень	истинный шедевр; истинный восторг; истинный рай	
3. Лица	истинный христианин; истинный художник; истинный романтик; истинный немец; истинный дипломат	

ЛИТЕРАТУРА

- Арутюнова 1988 — *Арутюнова Н. Д.* Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
- Дмитровская 1988 — *Дмитровская М. А.* Знание и мнение: образ мира, образ человека // Логический анализ языка. Знание и мнение. М., 1988.
- Зализняк 1991 — *Зализняк Анна А.* *Считать и думать*: два вида мнения // Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991.
- Зализняк 1992 — *Зализняк Анна А.* Исследования по семантике предикатов внутреннего состояния // *Slawistische Beiträge*. Bd. 298. München: Otto Sagner, 1992.
- Кустова 1998 — *Кустова Г. И.* Некоторые проблемы описания ментальных предикатов // Научно-техническая информация. Серия 2. Информационные процессы и системы. Изд-во ВИНТИ. М., 1998. № 2.
- Шатуновский 1991 — *Шатуновский И. Б.* «Правда», «истина», «искренность», «правильность» и «ложь» как показатели соответствия/несоответствия содержания предложения мысли и действительности // Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991.

Е. М. ВЕРЕЩАГИН

«ВОТ ПОДЛИННЫЙ ЧЕЛОВЕК, В КОТОРОМ НЕТ ЛУКАВСТВА!»

ВЫЯВЛЕНИЕ (НЕ)ПОДЛИННОСТИ В КОНФЕССИОНАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ

Человек, о котором, согласно синодальной русской версии Евангелия, сказано, что он *подлинный*, «настоящий» и не *лукавый*, — это ученик Христа Нафанаил, в дальнейшем отождествляемый как апостол (из числа Двенадцати)¹.

Согласно Евангелию от Иоанна (1: 47), Христос, когда к нему подвели Нафанаила, сказал о нем: "Ἰδὲ ἄληθῶς Ἰσραηλῖτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν; ecce vere Israhelita in quo dolus non est; сѣ, воистиннѣ ийлаѳанинѣ, въ нѣмже лъсти нѣсть. Как известно, новейшие переводы Евангелия на иврит появились только начиная со второй половины

Исследование выполнено по проекту «Церковнославянское и синодального перевода русское Евангелие как самостоятельная духовная линия в мировой истории и культуре» (№ 2006-08), финансируемому в рамках программы ОИФН РАН «Русская культура в мировой истории».

¹ Правда, в номенклатуре Двенадцати имени Нафанаила нет. Поэтому Нафанаила отождествляют, с одной стороны, с ап. Варфоломеем и с ап. Симоном Зилотом (или Кананитом), с другой. В Синаксаре-Прологе сказано, что якобы именно Нафанаил был женихом на браке в Кане Галилейской, когда Иисус совершил свое первое чудо. В первопечатном русско-славянском Прологе под 10 мая читается: *Сей есть Симон, иже и Нафанаил нарицаемый, иже жених бывый в Кане бывшем браце, иже зван бысть Христос, купно со своими ученики, внемла воду в вино преложи. Тем жених и брак оставь и дом, любовнику и чудотворцу и уневестному жениху чистых душ — Христу последствова. Един от дванадесяти сын.* Греч. оригинал не отличается от перевода, и отождествление имен выражено здесь недвусмысленно: Οὗτός ἐστι Σίμων, ὁ καὶ Ναθαναὴλ ὀνομαζόμενος καὶ χρηματίσας νυμφίος ἐν τῷ γενομένῳ γάμῳ ἐν Κανᾷ [Delehayе 1902: 671].

XIX в., и в новейшей анонимной версии «таргум хадаш» (1976 г.) читаем: *הנה באמת בן ישראל שאין בו מרמה*. В Евангелии (только от Иоанна) имя Нафанаила упоминается еще всего лишь один раз (Ин 21: 2), и в непоказательном контексте, так что мы не можем судить, какими душевными качествами обладал этот человек, чтобы удостоиться оценки в словах, которые выше подчеркнуты.

Если образовать субстантивы от адвербов, — для текста на иврите этого не нужно делать, — то выявляются ключевые термины на четырех языках, обозначающие некоторую духовную сущность, — ту самую, которой обладал Нафанаил, а именно: *ἀλήθεια*, *veritas*, *истина* и *אמת* (*émet*). Что это за сущность, пожелал выяснить Пилат две тысячи лет назад: его вопрос стал крылатым выражением (*Τί ἐστὶν ἀλήθεια; Что есть истина?*), и ответов на него получено множество, в том числе глубоких и остроумных. Однако, когда ответов не один, то абсолютно истинным (в логическом смысле) не является ни один.

И в настоящем докладе, конечно, также ответа не будет. Тем не менее посредством анализа конкретных текстов (и с той мерой определенности, которая свойственна филологическому знанию) надеемся хотя бы отчасти выяснить, что не есть истина и подлинность. Как представляется, этот путь от противного, как любой обходной маневр, может оказаться полезным.

Предметом рассмотрения является конфессиональный дискурс, который весьма отличается от обиходного (да и от любого другого). Поскольку рассматриваются в первую очередь тексты Танаха (или Ветхого Завета)², имеем в виду две конфессии — иудаизм и христианство.

Когда текст имеет вертикальное измерение, т.е. его адресантом выступает *אֱלֹהִים* (*ʾĒlōhîm*), *ὁ θεός*, *Deus*), то открываются перспективы для парадоксальных и неожиданных суждений.

Нуминозный³ текст может содержать мысли, которые в тексте «человеческого происхождения» натолкнулись бы на единодушное отвержение.

² ТаНаХ (аббревиатура — от начальных букв трех слов *Tora* [т.е. Закон], *nevi'im* [пророки] и *ketuvim* [книги]) — еврейская Библия. Она состоит из тех книг, которые христиане называют ветхозаветными.

³ Догадки о феноменах, называемых *Нуменом* (*Numen*) и *нуминозным* (*das Numinose*) (или *нуменальным*), восходят к античности. Систематизированное учение с использованием данной терминологии предложил марбургский религиозный философ Рудольф Отто. Суть учения *in pace* такова. Р.Отто ввел родовое понятие *авторитарной религии*, куда включил как религию в собственном смысле, так и идеологию. Авторитарная религия — это такой тип верований, когда человек подчиняется Высшему Авторитету (Богу или, может быть, харизматическому лидеру или сверхценной экзистенциональной доктрине) как внешней вла-

сти. Нуминозным Отто назвал не передаваемый словами, но реальный опыт человека, когда тот в определенные моменты отчетливо переживает присутствие чего-то *радикально иного*, чем он сам и окружающий его мир, потусторонне-духовного, непонятного и заведомо сущностно-непостижимого, хотя и бытийно-реального. Если не бояться тавтологии, то это и есть восприятие Нумена. Нуминозное — это *mysterium*. Опыт нуминозного отличен от опыта секулярного как «радикально другой», но не как «совершенно другой»: между «посюсторонним» и «потусторонним» имеет место коммуникация, причем для носителя нуминозного опыта — безусловно реальная, хотя и неуловимая, непонятная. Эмоция нуминозного возникает в присутствии «святости». Содержанием подобного переживания является *Нумен* (условный перевод: «божественность, величие, могущество, сверхъестественность»), и что́ это такое, сказать нельзя, потому что денотатом является эмоция. Во всяком случае, это не обязательно чувство личного Бога, потому что нуминозное переживается агностиками и даже militantными атеистами. Кто имел или имеет опыт нуминозного, тот, по Отто, поймет, о чем идет речь, а кто этим опытом не располагает, тому не разъяснишь. Нуминозное — фундаментальная, изначальная и априорная (хотя и воспринимаемая апостериорно) категория. Переживание нуминозного сопровождается двумя разнонаправленными чувствами. Во-первых, присутствует чувство *страха-трепета-благоговения* (*mysterium tremendum*) перед лицом *majestas*, «величественного», сопровождаемое желанием бежать-скрыться. Собственно, *благоговение* — это и есть религиозный трепет, возникающий в присутствии святости. Во-вторых, является чувство *блаженства-притяжения* (*mysterium fascinosum*). Оба чувства находятся между собой в своеобразной гармонии контрастов. От этих двух чувств производно чувство тварности и благочестия, т.е. желания послужить нуминозному. Благочестие дозируется, и если нуминозный опыт захватил всего человека, то он стремится поставить себя ему на службу — безраздельно, целиком и полностью. См.: [Otto 1963: 13–16, 42 и сл.]. Выявив нуминозное как априорную категорию, отличную от благого и прекрасного, Отто утвердил авторитарную религию как самостоятельную область человеческого духа и жизни, отграничил ее от философии. Характерно, что, по Отто, от *tremendum*'а производно переживание человеком своей *греховности-недостойности* (слишком близкого подхода к нуминозному). Вопреки поколениям моралистов Отто показал, что грех, или ощущение недостойности, — это не понятие морали или догматики и что эмоция виновности не имеет ничего общего с нравственными качествами. Это есть чувство собственной тотальной неценности, которое профанный человек испытывает в присутствии нуминозного. Лишь на религиозной, а не на нравственной основе вырастает потребность в «искуплении» и в таких «странных вещах», как «освящение» и «изглаживание грехов», что есть не что иное, как стремление слиться с Нуменом [Otto 1963: 165]. Нуминозное чувство способно принимать различные иррационально-рациональные формы: нуминозный чело-

Начнем с малого (с анализа библейской пословицы), а потом перейдем и к большому — (в конечном итоге) к конфессиональным суждениям о неподлинности данного в опыте мира сего и, напротив, подлинности грядущего мира, которого не знаем.

Известно, что «пословица несудима», или бессудна, т.е. всегда истинна⁴. Она отражает общечеловеческий опыт, и если на протяжении веков

век может стать адептом некоторой религиозной конфессии, но может быть захвачен, скажем, обликом великого человека («вождя»), учением о переустройстве общества, «общим делом», идеей верховенства собственной расы, нации или страны, всеобщности прав и свобод личности и т. д. Нуминозный человек способен стать горячим приверженцем некоторой идеологии, вступающей в этом случае с религией в отношение конкуренции. Подобный тип людей описал Ф.М. Достоевский в образе Шатова: «Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом придавит их собою, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах под свалившимся на них и наполовину совсем уже раздавившим их камнем». Убежденность адептов некоторой доктрины и неспособность их к критическому отношению Достоевский выразил в известном парадоксальном суждении: «Но не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной?». Подобное учение характерно и для другого классика теологии — Пауля Тиллиха, который сосредоточился на выявлении общих признаков религии и идеологии и для этой цели разработал специальный *метод корреляции*. Основная идея такова: человеку свойственно задавать экзистенциальные вопросы (о смысле жизни, о нравственности, о развитии мира и общества, о значении смерти и т. д.), и поскольку как религия, так и всеобъемлющая идеология готовы давать ответы на эти вопросы, они должны иметь много общего между собой, коррелировать. Различия же между ними оказываются, с этой точки зрения, маргинальными (что, конечно, не упраздняет, по убеждению Тиллиха, онтологической истинности религии, а не идеологии). Более того: Тиллих считал, что поскольку на Западе религиозная традиция утрачивается, именно идеология и, более широко, культура оказываются ныне более пригодными отвечать на экзистенциальные вопросы. Поэтому он объявляет идеологию *религией в широком смысле* (Religion im weiteren Sinn; в противоположность [традиционной] *религии в узком смысле*). Идеология и культура, даже если они объявляют себя атеистическими, являются, по Тиллиху, формой религии. Во всяком случае, по его мнению, перед лицом кризиса религии идеология всё же «лучше» секулярного мира, поскольку она, как и религия, противостоит его бессмысленности и цинизму.

⁴ В. И. Даль избрал речение о несудимости в качестве эпиграфа к своему сборнику пословиц (и даже вынес его на титульный лист) [Даль 1862].

люди на самом деле видели и сейчас видят, что *яблоко от яблони недалеко падает*, то суждение остается истинным, пока яблоки не станут отлетать от яблони на версту и дети перестанут походить на родителей. Кстати сказать, пословица с близкой семантикой имеется в Танахе: «Вот, всякий, кто говорит притчами (כֹּל־הַמִּשְׁלָּה [kol-hammōšēl]), может сказать о тебе: „какова мать, такова и дочь“ (כַּאֲמַת־בָּתָּהּ [kə'immaḥ bittāh])» (Иез 16: 44).

Примечательно, что в Танахе констатируется целый слой приверженцев пословиц. Действительно, в нем отразились и другие «несудимые» пословицы⁵.

И тем не менее в Танахе есть случаи — по крайней мере, два — нуминозного спора с народом, суда над пословицей, властной ее *отмены* и *предписания* новой. Пророк Иезекииль говорит: «И слово Господне пришло ко мне: сын человеческий! что за поговорка (הַמִּשְׁלָּה [hammāšāl])⁶ у вас, в земле Израиля: „много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет“⁷? Поэтому скажи им: так говорит Господь Бог: *уничтожу эту поговорку* (הַשְׁבַּתִּי אֶת־הַמִּשְׁלָּה הַזֶּה [hišbattī 'et-hammāšāl hazzeḥ]), и не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля». Взамен старой пословицы **вводится** новая: «Но скажи им: близки дни и исполнение всякого пророческого видения» (Иез 12: 21–23).

⁵ Ср.: «Посему вошло в пословицу: „неужели и Саул во пророках?“» (הֲגַם שְׂאוֹל בְּנִבְיָאִים [hāgam šā'ul bannəbī'im]; 1 Цар 10: 12); «От беззаконных исходит беззаконие» (מִמִּשְׁעֵי יָצָא רָשָׁע [mēršā'im u'ēšē' rēša'; 1 Цар 24: 13). В Танахе имеется целая книга пословиц («притч»), часть из которых на правах крылатых слов вошла и в русский язык (причем иногда с удержанием церковнославянизмов): «Начало премудрости — страх Господень» (רֵאשִׁית יְהוָה יְרֵאָה [yir'at yhwḥ ('ādōnāy) rē'siṭ dā'aṭ]; Притч 1: 7); «Кого любит Господь, того и наказует» (אֶת אֲשֶׁר יֵאָהֵב יְהוָה יוֹכִיחַ [et 'āšer ye'ēhab yhwḥ ('ādōnāy) yōḵiḥ]; 3: 12); «Не уклоняйся ни направо, ни налево» (אֲלִי־תִטָּיִן וְשִׁמְאֹל [al-tēṭ-yāmīn ūšəmō'wl]; 4: 27); «Пес возвращается на блевотину свою» (כָּלֵב שָׁב עַל־קִרְאָו [keleḥ šāb 'al-qē'ō]; 26: 11).

⁶ Имеется в виду речение жанра מִשְׁלָּה (машал; букв. «уподобление»). *Машал* — родовой термин ветхозаветной словесности, включающий в себя *пословицу, поговорку, афоризм, апофтегму, максимум, цитату, параболу, притчу, паремию* и т. д. Коренной признак машала — присутствие иносказания. Два других признака — воспроизводимость текста (но не всегда слово в слово) и компактность текста (впрочем, текст может быть, как например в притче, и многофразовым). См. (Hauck s. a.: 744–748).

⁷ Синодальная русская Библия дает интерпретирующий и расширенный перевод, тогда как Септуагинта воспроизводит краткую форму пословицы на иврите (μακρὰν αἰ ἡμέραι ἀπόλωλεν ὅρασις), и эта краткость сохранена и в славянской версии Библии (дълги днѣ, погнѣе всакоѣ видѣнїе). Конечно, смысл выражен не так ясно, как в русском тексте.

Возникает вопрос: где же истина? Человеческая пословица верифицируема, причем вплоть до абсолютного большинства или даже до всех отдельных фактов, охватываемых суждением; значит, она верна. Между тем любой пророк, в том числе Иезекииль, говорит не от себя, а от имени Бога, от имени Нумена, противостоять которому сообщество верующих не может и не хочет. Пословица, идущая от Нумена, настолько авторитетна, что в глазах конфессии неверной быть не может. Если конфессия распространяется на целый народ, но нуминозная пословица становится народной.

В Танахе представлен и еще один, столь же суверенный, запрет на (другую) пословицу — *пословицу об оскомине* (далее ПО). Пословица эта, подобно вышеупомянутому случаю, устами пророка признана несправедливой и потому подлежащей уничтожению. Правда, на сей раз отменяется она не немедленно (т.е. сразу же после того, как прозвучали слова пророка), а отсроченно — для грядущего, будущего (= имеющего наступить, но пока не наступившего), т.е. мессианского, времени⁸. Примечательно, что для новой мессианской эпохи старая (домессианская и отменяемая) ПО формулируется хотя и по-новому, но с сохранением старой формы выражения.

Разбору упомянутой ПО отчасти посвящены нижеследующие небольшие разыскания.

Мы еще вернёмся к текстам Танаха на иврите, но сейчас сделаем отвлечение и обратимся к славяно-русской древнейшей книжности. Рассмотрим отражение ПО в одном из источников XI века — в знаменитом Изборнике 1073 г.⁹

Значительная часть Изборника восходит к (вероятно, модифицированным) «Вопросо-ответам»¹⁰ Анастасия Синаита, патриарха Антиохийского (ск. ок. 700 г.), и ниже напечатана — вся целиком — глава 43-я, в которой дается ответ на (и поныне жгучий) вопрос непреложной человеческой наследственности, традирования достояния отцов — детям¹¹.

⁸ Метафорическая номинация (через образ движения) выражена на иврите в устойчивом (талмудическом) выражении עולם קבא 'мир, который придет'

⁹ По публикации: [Изборник 1983].

¹⁰ Жанр вопросо-ответов недавно исследовала А. Милтенова (см. [Милтенова 2004]).

¹¹ Это традирование бывает социальным: сын становится наследником достояния своего отца, но и он же наследует отцовские долговые обязательства. Это традирование может быть духовным: на сына переходит благословение Божие, данное отцу (или вообще — предку), но переходит и

Текст А (Изб. 1073, гл. 43)

Источник (лист 146v, столбцы и строки I, 11–29 — II, 1–24) передается буква в букву. Столбцы и строкоделение источника не сохраняются, но их легко восстановить: конец строки показывается одной вертикалью (|); конец столбца — двумя (||). Скупая диакритика источника не воспроизводится, за исключением двух случаев, когда выносной знак сигнализирует о недописанном слове (строки 9, 14). Публикация подчинена задачам лучшего осмысления главы. Соответственно текст, ради облегчения восприятия, публикуется не только с предпринятым словоделением (частица *сѧ* принимается за отдельное слово), но и в построчном разделении на семантико-синтаксические синтагмы (которые пронумерованы). Сверхфразовые смысловые единства также выделены и озаглавлены.

I. Надписание главы(1) *Како правѣда сънабъ ·|дѣваеѣтъ сѧ*(2) *аштѣ за ·|оца чада моучать сѧ ·|*

Перевод на русский, согласно публикации [Изборник Святослава 1983: 51]: «Как [же это] справедливость соблюдается, если за отца дети мучатся?»

II. (Домессианский) закон Божий о воздаянии на детях за грехи/заслуги отцов(3) *Акъ дѣтолюбѣца и пе|коуште сѧ о много|дѣтствѣ*(4) *страши|тъ прѣштении и рѣ|четь*(5) *отъ|дана грѣхъ| отъча на чадѣхъ до| третиаго*(6) *и четвѣ|рзтааго рода ненави|даштимъ мене ·|*(7) *и твора милость въ| тѣсашта и въ тѣ|мъ*(8) *любаштимъ мене и хранашти|мъ повелѣннѧ мо|ѧ*III. Критика закона: необходимость другого(9) *а како же ꙗко нагомъ| възнимати писани||ъж всемоу нечьсти|во ꙗсть*(10) *самъ тѣ бѣ ·| оучити соупроти|вѣнѣ законъ оуста|влама*IV. (Мессеианский) закон Божий о личном воздаянии(11) *да не оумьрѣ|тъ рече дѣти за оца ·| ни оци за дѣти*(12) *нъ| къждо въ грѣсѣхъ| своихъ да оумроуѣтъ ·|*

проклятие. Это традирование бывает, так сказать, физиологическим: говорят как о наследственном здоровье, так и о наследственных заболеваниях. В общем виде наследственность (hereditas) — это присущее всем живым существам свойство быть похожим на своих родителей. Генетические основы наследственности действуют непреложно, хотя и могут быть (только частично!) изменены путем воспитания. В случае генетической предрасположенности к заболеваниям говорят о *тяжелой, отягощенной, дурной* наследственности.

V. Выписка народной пословицы из книги пророка Иезекииля: отцы ели кислянку, а оскомина у детей

(13)и иезекильмъ рече

(14)чь|то се ѣ ваша притѣ|ча си глѣштимъ |

(15)оци паша кзисѣло | и зоуби чадомъ |оскоминьни бѣша |

VI. Господь изменяет народную пословицу: кто ел кислянку, у того и оскомина

(16)живъ азъ есмь глѣ|ть гъ

(17)аште боудеть| притѣ|ча та

(18)нъ |а|дзшимъ кзисѣ|ло зоуби оскоминь|ни боудоу (sic!)

VII. Окончательная формула о личном воздаянии

(19)такъ вса| дѣа мога соутъ

(20)да| дѣа съгрѣшающа|а та и да оумреть·

Следует обратить внимание на то, что в самом начале текста (в строках 1–2) поставлен вопрос: о какой *правде* может идти речь, если по законам нынешнего мира за вину родителей наказываются мукой невинные дети? Стало быть, нынешний мир — несправедливый, потому что лукавый и ложный.

Между тем, с другой стороны, закон отмщения за грех человека на его потомстве имеет нуминозное происхождение (и об этом ясно сказано в строках 5–6: воздаяние за грехи продолжается вплоть до третьего и четвертого поколений)¹². Как же тогда сей мир, живущий по закону, изложенному в Свщ. Писании, может быть несправедливым?

Возникает очевидная апория.

Собственно, строки 5–8 содержат довольно точную выписку из книги Исход (20: 5–6): «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель (אֵל אֱלֹהִים רָעוּן [ʾēl qannāʾ])¹³, наказывающий детей за вину отцов (וְעַל-בְּנֵי אֲבֹתָם יִשְׁפָּט [wəʿal-bənēi ʾāwōn]

¹²Здесь невозможно усмотреть хотя бы принцип талиона, также имеющий нуминозный генезис и также неоспорный с христианской точки зрения.

¹³Можно перевести и как *Бог-мститель*. Г. Гейне, и не он один, видел в иудаизме особенно мстительного и непреклонного Б-га:

Unser Gott ist nicht die Liebe;
Schnäbeln ist nicht seine Sache,
Denn er ist ein Donnergott
Und er ist ein Gott der Rache.
Seines Zornes Blitze treffen
Unerbittlich jeden Sünder,
Und des Vaters Schulden büßen
Oft die späten Enkelkinder.

Богу нашему неведом
Путь прощенья и смиренья,
Ибо он громовый Бог,
Бог суровый отомщенья.
Громы божеского гнева
Поражают неизменно,
За грехи отцов карают
До десятого колена.

ʾābōt ʿal-bānîm]) до третьего и четвертого [рода] (על-שליש וְעל-רביעי) [ʿal-šillēšîm wəʿal-ribbēʿîm]), ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои». Это обетование о коллективном и продолжительном наказании было затем неоднократно повторено в Танахе (Исх 34: 7, Чис 14: 18, Втор 5: 9)¹⁴. И в Новом Завете тот же закон воздаяния представлен как нечто разумющееся само собой (Ин 9: 1–3): «И, проходя, (Иисус) увидел человека, слепого от рождения (τυφλὸν ἐκ γενετῆς). Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его (τίς ἥμαρτεν οὗτος ἢ οἱ

¹⁴ И оно сбывается! Во всяком случае, когда речь идет о наследственном заболевании, то сын и внук и правнук несут наказание за грех предка. Приведем пример. На рубеже позапрошлого и прошлого веков почти все чтецы-декламаторы в столицах и в провинции выступали с эстрады с гремевшим тогда пространным стихотворным монологом А.Н.Апухтина «Сумасшедший», в котором говорится о наследственном душевном расстройстве. У поэта и самого было наследственное отягощение. В монологе, среди прочего, говорится (выделения мои. — Е. В.):

...доктор уверяет,
Что это легкий рецидив,
Что скоро всё пройдет, что нужно
лишь терпенье...
О да, я терпелив, я очень терпелив,
Но всё-таки... за что? В чем наше
преступленье?..
Что дед мой болен был, что болен
был отец,

Что этим призраком меня пугали
с детства, —
Так что ж из этого? Я мог же, наконец,
Не получить проклятого наследства!..
Так много лет прошло, и жили мы с тобой
Так дружно, хорошо, и всё нам улыбалось...
Как это началось? Да, летом, в сильный зной,
Мы рвали васильки, и вдруг мне показалось...

Как эти дни далеки...
Долго ль томиться я буду?
Всё васильки, васильки,
Красные, желтые всюду...
Видишь, торчат на стене,
Слышишь, сбегает по крыше,
Вот подползают ко мне,
Лезут всё выше и выше...
Слышишь, смеются они...
Боже, за что эти муки?

Маша, спаси, отгони,
Крепче сожми мои руки!
Поздно! Вошли, ворвались,
Стали стеной между нами,
В голову так и впились,
Колют ее лепестками.
Рвется вся грудь от тоски...
Боже! куда мне деваться?
Всё васильки, васильки...
Как они смеют смеяться? [...]

Еще один яркий случай невозможности преодолеть генетическую наследственность рассмотрен (на примере великолепной поэмы Б. Садовского «Федя Косопуз») в кн. [Верещагин, Костомаров 2005: 757–796].

γοεῖς), что родился слепым?»). Иисус принимает догадку о возможном наказании слепорожденного как нечто вполне допустимое и, не отвергая ее, предлагает и третью возможность: «Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его (οὐτε οὗτος ἤμαρτεν οὐτε οἱ γοεῖς αὐτοῦ), но [это для] [того], чтобы на нем явились дела Божии».

Первоначальная ПО, приведенная в строке 15, хорошо известна по Танаху. Она помещена в нем дважды — во-первых, у пророка Иеремии (VII в. до н.э.; Иер 31: 28/29¹⁵) и, во-вторых, у его преемника пророка Иезекииля (VI в. до н.э.; Иез 18: 2). Обе версии совпадают слово в слово, что лишний раз свидетельствует о том, что перед нами народная пословица, — ведь пословица по природе воспроизводится без модификаций внешней формы.

Итак, ср.: «Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: „отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина“ (אָבוט אַרְבֹּת יֶזְרַע חָדָל וְשֵׁנִי הַבָּנִים חֲקִיבִים חֲקִיבִים) [ʾābôt ʔōḏōl wəšēnî ha-bānîm ḥiqheʾnāḥ]?».

Перевод пословицы не составлял бы труда, если бы не последний глагол חֲקִיבִים. «Отцы ели *босер* (кислянку [зеленый, незрелый виноград]), и зубы детей — ?». Что именно случилось с зубами? Что стало с ними? Первообразный глагол חֲקִיבִים встретился в Танахе всего 4 раза, причем трижды в одном и том же контексте, так что установление его семантики затруднено. Тем не менее сопоставлением с родственными ивритскими языками, а также анализом древней переводческой практики установлено, что חֲקִיבִים означает: *hebetatus est, obtusus factus est* [Lexicon s.a.], *be blunt, dull* [BDB], т.е. (о режущем и колющем предмете) ‘становиться/стать/быть тупым’. К тому же имеется и довольно ясный библейский контекст, содержащий показательный параллелизм строк (Еккл 10: 10): «Если притупится (חֲקִיבִים) топор (הַחֶרֶץ) и если лезвие его не будет отточено[, то надобно будет напрягать силы; мудрость умеет это исправить]»¹⁶. Ср. и в современном иврите חֲקִיבִים ‘тупой’ (о предмете). Стало быть, «зубы детей» — *притупились*? Точно так же концовка пословицы переведена в Септуагинте: οἱ ὀδόντες τῶν τέκνων ἥμωδιασαν (Иер 31: 29). Употребленный в Септуагинте всего три раза (Hatch, Redpath I: 33), гла-

¹⁵ Таков счет глав и стихов обиходных изданий Ветхого Завета. По счету научного издания Септуагинты Ральфа — Иер 38: 29.

¹⁶ Синодальный перевод этого стиха на русский язык выполнен с масоретского текста. В Септуагинте (может быть, потому, что перед переводчиками был неисправный ивритский текст) и в зависящей от нее Славянской Библии здесь форменная абракадабра: ѿце спадѣтъ сѣчнво, ѿ сѣмъ лицѣмъ сматѣтса: ѿ силы оукрѣпѣтъ, ѿ изовѣііе мѣждѣ мудрость...

гол αἰμωδιάω, по справке надежного словаря [Liddel, Scott], — это в прямом смысле to become dull ‘становиться тупым’¹⁷. Точно так же эта концовка передана и в Вульгате: dentes filiorum obstupuerunt. Инхоатив (ob)stupesco через нейтральный глагол stupeo деривационно сопряжен с хорошо известным stupidus (в прямом смысле ‘тупой’, в переносном [о человеке] ‘тупоумный’)¹⁸. Что касается Иез 18: 2, то здесь Септуагинта содержит вариативный глагол (οἱ ὀδόντες τῶν τέκνων ἐγομφιάσαν) ¹⁹, но Вульгата лексического варьирования не дает (dentes filiorum obstupescunt). Семантические отношения — такие же, как в Иер 31: 29. Представление о том, что от кислянки зубы притупляются (т.е. что возникает ноющая боль, образно называемая *тупой*), из Вульгаты перешло в некоторые европейские переводы Священного Писания. Ср., например, Иер 31: 29 у Лютера: Die Väter haben Herlinge gegessen, und der Kinder Zähne sind stumpf geworden. В других переводах может быть использован и контрастный образ, но тем не менее он остается в рамках дихотомии «тупой-острый»: ...the children's teeth are set on edge.

Между тем переводчики Свщ. Писания на славянский язык отказались от опоры на конкретные представления и прямо передали смысл второй половины пословицы. Цитируем синодальную версию славянской Библии: Ὁτцы ѿдѡша кѣслаа, а зѣбы дѣтемъ ѡскѡмнишася (Иер); Ὁτцы ѿдѡша терпкое, а зѣбѡмъ чадъ ихъ ѡскѡмни быша (Иез). Синодальное издание, в силу позднего происхождения, можно объявить непоказательным, но на деле *оскоминити* (сѧ)²⁰ и производные от него пред-

¹⁷ Синайский, впрочем, своим эквивалентом недвусмысленно показывает, что за состояние имеется в виду: «чувствую онемение, боль зубов» [Греческо-русский 1869: 18].

¹⁸ Производная от него stupiditas ‘тупость, глупость’ уже утратила прямое значение.

¹⁹ Глагол ἐγομφιάζω — такой же редкий, как и αἰμωδιάω; он употреблен в Септуагинте всего два раза [Hatch, Redpath: 274], и его семантика устанавливается с трудом. Оба раза ему соответствует плр. Поскольку глагол произведен от ἐγομφίος ‘коренной зуб’, ясно, что он означает какое-то действие или состояние, связанное с зубами. В Сир 30: 10 (а стих принадлежит фрагменту, посвященному воспитанию детей) глагол, походя, описывая мимику, выражает неудовольствие: μὴ συγγέλᾳς αὐτῷ, ἵνα μὴ συνοδυνῇθῃς, καὶ ἐλ’ ἐσχάτων ἐγομφιάσεις τοὺς ὀδόντας σου. В Славянской Библии: Не смѣйся съ нимъ (с чадом), да не поболѣши ѡ немъ и на послѣдокъ стѣснеши зѣбы твоѧ (в Острожской библии: сотнѣши сѧ зѣбы); в русском переводе: «Не смейся с ним, чтобы не горевать с ним и после не *скрежетать* зубами своими».

²⁰ От причастия типа (зѣбы) *оскоминны* путем морфологического упрощения в итоге возникло существительное *оскомина* (‘вяжущее ощущение

ставлены уже в Острожской библии. Да, кроме того, говорит сам за себя фрагмент *зоуби чадомъ оскоминьни бѣша* в Изборнике 1073 г.!

Таким образом, изложенный материал позволяет сделать нетривиальное конкретное наблюдение: в отличие от исходного текста на иврите, в отличие от древних переводов на греческий и латынь, в отличие от переводов на европейские языки, славянский перевод не соотносен с образом, лежащим в основе номинации физиологического состояния, а называет его прямо. Действительно, *оскоми[ни]ть* связано со *скомить*, *скомлеть* 'болеть, ныть'²¹, а также — посредством чередования — и со *щемить*.

Подобный тип переводческого решения, исследованный нами под именем *ментализации*, характерен — и это немаловажно — для эпохи книжной деятельности славянских первоучителей Кирилла и Мефодия и их непосредственных учеников [Верещагин 2001: 67–72]. Каждое переводческое решение по принципу ментализации — это вклад в своеобразие славянской переводной книжности (в частности, Евангелия) на фоне мирового социокультурного контекста.

Возвращаемся к магистральной линии разысканий.

Древний переводной славянский источник, глава из которого напечатана выше, *во-первых*, не отрицает очевидного, а именно: дети, по непреложному закону, несут наказания за прегрешения отцов (ибо Бог совершает отмщение до 3-го и 4-го поколений; ср. фрагменты II, V). Таков закон наследования от отцов к детям, причем наследуется как доброе, так и дурное. Самое неприятное для человека — это наследование наказания. Во фрагменте V (строка 15) закон наследования наказания представлен в форме «несудимой пословицы»: *оци гаша кысѣло и зоуби чадомъ оскоминьни бѣша*.

Во-вторых, в Изборнике 1073 г. выражена моральная установка, согласно которой закон наследования наказания, заставляющий страдать «без вины виноватых», — «нечестив», потому что несправедлив (фрагмент III, строка 9), и Бог того не сознать не может.

Соответственно, *в-третьих*, Нумен отменяет закон наследования наказания. Сохраняя образность пословицы, он меняет ее смысл на противоположный: *адъшимъ кысѣло зоуби оскоминьни боуду[тъ]* («[именно] у тех, кто[, не воздерживаясь,] ел кислянку, [именно у них] будет на зубах оскомины»; фрагмент VI, строка 18). Кроме того, новый закон (одной и только одной) личной ответственности сформулирован и в прагматичном виде: каждый даст ответ за свои собствен-

во рту от чего-либо кислого, терпкого'). Ср. выписку из словаря Даля: «У зобавшего пародки зубы оскоминны будут».

²¹ Вероятно, имеется в виду неострая боль. Примечательно, насколько широко в номинациях боли используются метафоры, сопряженные с острыми предметами: *острая, колющая, режущая, сверлящая, тупая* и др.

ные (а не отцовские) прегрешения (фрагмент IV, строка 12: *къждо въ грѣсѣхъ своихъ да оумроуѣтъ*)²².

Изборник 1073 г., как не раз отмечалось, содержит всевозможные выписки, рассчитанные не на касту высоколобых богословов, а на среднего верующего человека. Иными словами, Изборник отражает широко распространенный взгляд на воздаяние (за грехи отцов — детям) в среде всего православного славянства (естественно, образованной его части). Толкование ветхозаветной ПО, ее отмены и нового закона потому и потребовалось, что сам по себе ветхозаветный текст для «среднего верующего» — непонятен или понятен лишь частично. Однако, после того как толкователь-герменевт осуществил свое толкование, данный текст Ветхого Завета прояснился. Он стал теперь одномомерным: никакая двусмыслица далее невозможна.

Сейчас нам важно подчеркнуть, что оба пророка отмену пословицы относят к будущему веку, а этот век наступит с приходом Машиаха-Христа-Мессии. Что касается христианских воззрений, то, согласно им, традирование наказания присутствовало не всегда: оно явилось следствием первородного греха, ибо ответственность за грех Адама была возложена на все его потомство (Быт 3: 16–19).

Теперь нам предстоит рассмотреть мессианскую идею о прекращении традирования наказаний *в более общем контексте*. Возвращаемся к Танаху на иврите.

Признаков прихода Машиаха — множество: это не только отмена пословицы об оскомине (со всеми ассоциациями, стоящими за нею), но и вообще *перемена всего мироустройства*, перемена его сути — изгнание из мира присущего миру зла. Эта идея весьма отчетливо сформулирована пророком Исайей в знаменитом пророчестве о грядущем Мессии, из которого ниже выписан фрагмент.

Текст Б (Ис 11: 1–10)²³

I. Обетование Мессии

- (1) И произойдет отрасль от корня Иессеева,
и ветвь произрастет от корня его;

²² После без малого двух десятилетий, когда детей делали виновными за («социальное происхождение») родителей, вождь вдруг прозрел: «Сын за отца не отвечает». О значении сей как бы вскользь брошенной реплики А.Т.Твардовский, семья которого была депортирована, писал: «Сын за отца не отвечает — / Пять слов по счёту, ровно пять. / Но что они в себя вмещают, / Вам, молодым, не вдруг объять...». И далее — целая небольшая поэма на эту тему.

²³ Этот фрагмент из Книги пророка Исаии употребляется как паремия на богослужении Рождества Христова.

Иессей был простым гражданином Вифлеема, а Давид, его сын, был помазан на царство. Впоследствии все цари были из рода Давида до плена Вавилонского. После плена престол Давида опустел, и от великого царственного древа остался один корень. Давиду, однако, было открыто Богом, что престол его не уничтожится и что из его рода будет великий потомок, который не только обновит славу рода, но, самое главное, обновит и оживотворит все человечество.

- (2) и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия;
- (3) и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела.
- (4) Он будет судить бедных по правде (בְּצֶדֶק [bəʕédeq]), и дела страдальцев земли решать по истине (בְּמִשְׁוֹר [bəmīšōr]); и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого.
- (5) И будет препоясанием чресл Его правда (צֶדֶק [sédeq]), и препоясанием бедр Его — истина (הֶאֱמִנָה [hāʕēmīnāh]).

II. Наступление преобразованного нового миропорядка

- (6) Тогда волк будет жить вместе с ягненокм, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их (וְיָרֵךְ קָטָן נֹהֵג בְּאֵם [wəpāʕar qāṭōn nōhēg bām]).
- (7) И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому (וְאֶרְיֵה כִבְקֵר יֹאכַל-חֵבֶן [wəʕaryēh kabbāqār yōqʕal-tēben]).
- (8) И младенец будет играть над норою аспида (עַל-חֹרֶת פֶּתִי [ʕal-hūr pāʕen]), и дитя протянет руку свою на гнездо змеи (עַל מְאִוֶּרֶת צִפְּוִי [wəʕal məʕūrət šipʕōnī]).
- (9) Не будут делать зла и вреда (לֹא-יַעֲשׂוּ וְלֹא-יִשְׁחָדּוּ [lōʕ-yāḡéʕū wəlōʕʕ-yāšhāʕū]) на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа (דְּעֵה אֶת-יְהוָה [dēʕāh ʕet-yhwh(ʕāḏōnāy)]), как воды наполняют море.

III. Обетование об уверовании язычников

- (10) И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, — и покой его будет слава.

Текст Танаха сам по себе не допускает никакой двусмысленности: с приходом Машиаха на земле воцарится всеобщий мир, в том числе и между несовместимыми животными, враждующими по природе. Природа хищников изменится: они станут травоядными. Исаия настойчиво повторяет, что, вопреки опыту, именно так и будет: «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а

для змея прах будет пищею: они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь» (Ис 65: 24)²⁴.

А что сказать о людях? В другом, не менее знаменитом, мессианском пророчестве Исаия пишет, что люди «перекуют мечи свои на орала (וְכָתְתוּ חַרְבֹּתֵיהֶם לְאֵלֵים [wəḵittētû ḥarḇôtām lə'ittîm]), и копыя свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Ис 2: 4). Это же пророчество повторили и другие пророки; ср. Иоил 3: 10 и Мих 4: 3. У Исаии подчеркивается сопряженность мира и правды-истины: «Поставлю правителем твоим мир (שָׁלוֹם [šālôm]) и надзирателями твоими — правду (שְׁדָאָה [šəḏāqāh])» (Ис 60: 17).

В христианстве и в некоторых течениях древнего и современного иудаизма новое мироустройство, из которого полностью изгнано зло, не признается непреложным признаком прихода Мессии.

Ранние христиане принуждены были отвечать на вопросы единоверцев, которые видели противоречие между пророчеством Исаии и состоявшимся приходом Христа-Мессии: «Где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же» (2 Пет 3: 4). Противоречие снимается тем, что и после Иисуса Христа христианство осталось мессианским: оно ждет исполнения времен (1 Кор 15: 20–28).

Что касается иудаизма, то в нем известны направления, адепты которых считали и считают, что Машиах уже пришел. Равви Акива (II в.) признал Бар-Кохбу Мессией. Лжемессия Саббатай Цви (1626–1676) имел массу последователей. 14 апреля 1992 г. Мессией был признан и Менахем-Мендл Шнеерсон (1902–1994). Между тем в ортодоксальном иудаизме ожидание Мессии продолжается: обязывающие упоминания содержатся как в принципах еврейской веры Моисея Маймонида (12-й тезис), так и в Амиде (15-я бераха). Соответственно преображение мира как признак пришествия Машиаха удерживается неколебимо. Например, великий экзегет, известный под именем Нахманида (РаМБаНа; 1194–1270), во время диспута в Барселоне (в 1263 г.) ссылался как раз на стих Ис 1: 9 («Ибо земля будет наполнена ведением Бога, как воды наполняют вселенную») и указывал, что обетование пока не исполнилось и, стало быть, Машиах-Мессия еще не приходил [Диспут 1992: 32]. Он же ссылался и на то, что войны не прекратились, а с приходом Мессии они должны перестать.

Как бы ни относиться к мессианским ожиданиям, и христиане, и иудеи уверены в том, что наступит новый преобразенный мир, представляющий собой блаженное состояние до грехопадения.

²⁴ Подробнее о соотносении грядущего мира с миром-покоем см. [Лосев 2005: 271–279].

Более того: нынешний греховный мир, известный нам из опыта, в обеих конфессиях признаётся неподлинным, тогда как грядущий мир, из непосредственного опыта не известный, признается истинным и стоящим «по правде». Ср. выше в Тексте Б показательные строки 4 и 5.

Возможен ли симбиоз волка с ягненком? Вопрос сложнее: возможно ли прервать цепочку в традировании генетической наследственности? Ответить «да» — это для обыденного сознания абсурд.

Нуминозное сознание, однако, дает другой ответ. Наилучшим образом он представлен — применительно к подобным случаям — в трактате «De carne Christi» христианского апологета Тертуллиана (ок. 155 — ок. 220): «Умер Сын Божий — это совершенно достоверно (*prorsus credibile*), ибо нелепо (*inertum*); и, погребенный, воскрес — это несомненно (*certum*), ибо невозможно (*impossibile*)». Тертуллиану обычно приписывается крылатая фраза: *Credo quia absurdum* («Верю/верую, потому что нелепо/абсурдно»). В трактате точно такой фразы нет, но в ней позиция мыслителя выражена точно.

Нуминозное конфессиональное сознание не считается с опытом, и подлинным может быть то, что в опыте не дано, и неподлинным — данное в опыте со всей очевидностью.

ЛИТЕРАТУРА

- Бибиков 1996 — Бибиков М. В. Византийский прототип древнейшей славянской книги (Изборник Святослава 1073 г.). М., 1996.
- Верещагин 1977 — Верещагин Е. М. Ветхо- и новозаветные цитаты в Изборнике Святослава 1073 г. // Изборник Святослава 1073 г. / Отв. ред. Б. А. Рыбаков. М., 1977.
- Верещагин 2001 — Верещагин Е. М. Церковнославянская книжность на Руси. Лингвотекстологические разыскания. М., 2001.
- Верещагин, Костомаров 2005 — Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: лексического фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы. М., 2005.
- Греческо-русский словарь 1869 — Греческо-русский словарь, составленный И. Синайским. Ч. 1–2. М., 1869.
- Даль 1862 — Даль В. И. Пословицы русского народа. Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поветрий и проч. В. Даля. М., 1862.
- Диспут 1992. — Диспут Нахманида. [В русском переводе с комментариями Б. Хаскелевича.] Иерусалим, 5753; М., 1992.
- Изборник 1983 — Изборник Святослава 1073 г. Факсимильное издание. М., 1983.
- Изборник Святослава 1983 — Изборник Святослава 1073 года. Научный аппарат факсимильного издания. М., 1983.

- Милтенова 2004 — *Милтенова А. Erotapokriseis*. Съчинения от кратки въпроси и отговори в старобългарската литература. София, 2004.
- BDB — *Brown F., Driver S.R., Briggs Ch.A.* A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Oxford, 1962.
- Bücher 1992 — *Bücher der Kündung*. Verdeutsch von M. Buber gemeinsam mit F. Rosenzweig. Stuttgart, 1992.
- Delehaye 1902 — *Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae <...> opera et studio Hippolyti Delehaye*. Copenhagen, 1902.
- Hauck F. s. a. — *Παραβολή* // Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament / Hrsg. von G. Friedrich. 5. Bd. Stuttgart, s. a.
- Hatch, Redpath — *A Concordance to the Septuagint <...> by E. Hatch, H. A. Redpath*. Vols. 1–2. Oxford, 1897.
- Lexicon — *Lexicon Hebraicum et Chaldaicum in libros Veteris Testamenti <...>* / Ed. E. F. Leopold. Roma, s. a.
- Liddell, Scott — *Liddell H. G., Scott R.* A Greek-English Lexicon. New Edition by H. S. Jones, R. McKenzie. Oxford, 1925–1940.
- Otto R. 1963 — *Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen*. München, 1963.

В. И. ПОСТОВАЛОВА

«ИСТИНА» И «ЗАБЛУЖДЕНИЯ» В ПРАВОСЛАВНОМ МИРОСОЗЕРЦАНИИ

Душа зрит истину Божию сообразно
силе жителства... Если же созерцание истинно, то обретается свет, и созерцаемое усматривается близким к действительности.

Исаак Сирий [Иустин 2003: 60]

Семантическая зона «между ложью и фантазией», составляющая предмет рассмотрения нашей конференции, входит в универсальное концептуальное пространство *истинности*, в рамках которой диада *ложь-фантазия* как элемент миропонимания человека только и обретает свой подлинный смысл. Ведь ложь сама по себе в онтологическом плане не имеет вне истины позитивного содержания и определяется только относительно истины как ее прямое отрицание или противление ей, а фантазия, или воображение, как возможная реальность в онтологическом плане предстает как образ реальности с неопределенным (непроясненным) истинностным статусом. Такой образ может нести в себе черты как истинностного прозрения, так и непреднамеренного и часто неосознанного заблуждения, совпадая в пределе с полюсом лжи как максимальным отклонением от истины.

В настоящей работе предпринимается попытка рассмотреть особенности осмысления категориальной связки *истина-заблуждение* в православном мирозерцании с позиции самосознания самого православия и в сопоставлении этого понимания с некоторыми представлениями секулярного (внерелигиозного) миропредставления. В работе будут рассмотрены два круга вопросов. Первый касается характеристики православного мирозерцания и его специфических черт, определяющих особенности истолкования в его рамках категорий истины и заблуждения, а также характеристики категории истины в секулярном (внерелигиозном) и религиозном истолковании. Второй и центральный вопрос касается характеристики православного ми-

Работа выполнена при поддержке РГНФ. Проект «Философия языка в России: 1905–2005». В работе сохраняются орфографические варианты написания цитируемых источников. Курсив в цитатах (за исключением случаев цитирования библейских источников) принадлежит автору данной работы.

росозерцания в аспекте (sub specie) категории истины в двух его планах: как знания, или ведения (догмат/теологумен/ересь), и как духовного опыта.

1. ПРАВОСЛАВНОЕ МИРОСОЗЕРЦАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

Все сущие... постигаемы умом и содержат в себе ясные начала ведения их. Бог же называется «Недоступным для умосозерцания», и из всех умосозерцаемых [существ] только бытие Его одного принимается на веру...

Максим Исповедник [Максим 1993: 216]

Мирозозерцание в обычном словоупотреблении означает совокупность воззрений на мир (действительность) и в этом смысле совпадает с понятиями миропонимания, миропредставления и мировоззрения. В отличие от такого понимания мирозозерцания, а также от его сугубо философского понимания, при котором речь идет об эмпирическом созерцании индивидуальных предметов и эйдетическом созерцании их сущностей (эйдосов), в святоотеческом истолковании понятие «мирозозерцание» имеет более специфический смысл, связанный с особенностями осмысления понятия созерцания, лежащего в его основе. В православной святоотеческой традиции созерцание осмысливается как *тайнозрение* — видение реальности в ее глубинных основаниях как момента таинственного (мистического) Богопознания. Оно означает «молитвенно-благодатное сосредоточение души на надумных тайнах, которыми изобилует не только Троичное Божество, но и сама человеческая личность, а также и сущность богозданной твари» [Иустин 2003: 52]. Созерцание, по Исааку Сирину, есть духовное видение ума, «ощущение божественных тайн, сокровенных в вещах и их причинах» [Исаак 1993: 14].

Как отмечает преп. Иустин (Попович), слово «созерцание» (ἡ θεωρία) в философии святых отцов имеет *онтологическо-этический* и *гносеологический* смысл, как и познание в целом, предстающее как подвижничество, «действие-подвиг всецелой человеческой личности» [Иустин 2003: 52, 63]. По данному учению, истина «открывается уму очищенному, освященному, преображенному в богочеловеческих подвигах», а не «любопытному человеческому уму»: «Когда человек евангельскими подвигами перенесет себя из временного в вечное, когда живет в Боге, когда мыслит Богом, когда говорит „как от Бога“ (2 Кор 2: 17), когда смотрит на мир sub specie Christi (т. е. через образ Христа. —

Примеч. ред.), тогда мир является ему во всей своей первозданной красоте, и он взором своего чистого сердца проникает через осадок греха к богозданной сущности тварей... У него все совершается от Отца через Сына в Духе Святом» [Иустин 2003: 66–67, 61–62]. В свете такого понимания суть православного мирозерцания наиболее полно выражается в духовном видении реальности у святых отцов и подвижников, очистивших свой ум и сердце в богочеловеческом подвиге и опытно воплотивших своей жизнью видение мира «sub specie Christi». И созерцание для них — не умозрительная теория, но подлинное видение. Как свидетельствует Симеон Новый Богослов: «То, что содержится в словах сих, не должно называться мыслями, но созерцанием истинного сущего, ибо мы говорим о том по созерцании» (цит. по [Алипий, Исайя 1998: 22–23]).

Субъект православного мирозерцания есть человек религиозный, а точнее литургический, т.е. человек, существование которого пронизано идеей и чувством трансцендентности своего бытия и бытия мира. Суть его религиозной позиции — синергический персонализм и духовный реализм. По христианско-православному вероучению, человек был создан по образу и подобию Божию и был призван стать богом после Бога по благодати. Целью его жизни является «обожение» — «стяжание Духа Святого» (преп. Серафим Саровский), или «стяжание благодати» (старец Силуан Афонский). В пределе такая духовно-жизненная позиция выражается с помощью следующих максим: 1) «И уже не я живу, но живет во мне Христос» (апостол Павел) (Гал 2: 20); 2) «Если ты богослов, то будешь молиться истинно, а если истинно молишься, то ты — богослов» [Евагрий 1994: 83]; 3) Подлинная исихия (внутреннее безмолвие) есть «непрестанная молитва Святого Духа в нас» [Каллист 2004: 83]; 4) «В конечном счете, именно Святой Дух является подлинным субъектом богословского знания, именно Он являет и открывает Слово» [Евдокимов 2002: 79]; 5) «...душа видит истину Божию по силе жития» [Исаак Сирин 1993: 133] и т. д. Здесь речь идет о субъекте православного мирозерцания в его высшей форме, приближение к которому у верующих может быть каким угодно большим или малым. Но такое видение реальности через максимально сильную «оптику» не является принципиально чуждым и недостижимым для остальных христиан. Как замечает митрополит Филарет (Дроздов), «необходимо, чтоб никакую, даже в тайне сокровенную премудрость (мы) не почитали для нас чуждой и до нас не принадлежащею, но со смирением устроили ум к божественному созерцанию и сердце к небесным ощущениям» (цит. по [Алипий, Исайя 1998: 25]).

2. ИСТИНА, ЕЕ ЛИКИ И АНТИПОДЫ В СЕКУЛЯРНОМ И РЕЛИГИОЗНОМ (ПРАВОСЛАВНОМ) ИСТОЛКОВАНИИ

Как нам следует понимать, что Христос есть Истина? Да и «что есть истина»? (Ин 18: 38). Христос не ответил Пилату, Церковь в ходе истории не дала на этот вопрос однозначного ответа, и наши сегодняшние трудности, связанные с видением истины, коренятся в разном ее понимании...

Митрополит Иоанн (Зизиулас) [Иоанн 2006: 62]

Основу православного мирозерцания составляет неразрывное единство веры, ведения (знания) и жизни, а его содержательное ядро и сокровенное основание образует концептуальное пространство истины, запечатлевающее специфику путей осмысления бытия в православной духовной культуре и жизни.

Истина — высшая ценность и центральная категория, характеризующая реальность во всей полноте ее проявления и восприятия человеком, или на языке философии, — реальность в единстве ее бытийственного (онтологического) и гносеологического планов. Представление о таком двуединстве истины находит свое выражение в следующей дефиниции истины В.С.Соловьева: «Истина сама по себе — *то, что есть*, в формальном отношении — соответствие между нашей мыслью и действительностью» [Соловьев 1997: 151]. Известны два подхода бытийственного истолкования истины — *античное* и *библейское*, проистекающее из опыта личной встречи с Богом, — образно именуемые как Афины и Иерусалим¹. Античное умозрение —

¹ В богословском исследовании митрополита Иоанна (Зизиуласа) различаются три подхода к пониманию истины. Это — ветхозаветный («еврейский») подход с его *эсхатологическим* пониманием истины, при котором истина исторически узнается в знамениях как «верность Бога Своему народу». Далее — «греческий» подход с его *космологическим* пониманием истины. И, наконец, новозаветный подход с его учением о *христологичности* истины. Основная проблема христологичности истины, по Зизиуласу, выражается в том, как можно «совмещать историческую природу истины с присутствием ее полноты здесь и сейчас?» Или, в более развернутом виде: «...может ли истина *одновременно* рассматриваться и со стороны „природы“ бытия (греческий подход), и со стороны цели или конца истории (еврейский подход), и с позиции Христа, Который есть и историческое лицо, и неизменная основа (λόγος) бытия (христианский вызов), и чтобы при этом сохранялась „инаковость“ Бога по отношению к творению?» [Иоанн 2006: 66–67].

символично. Библейское — персоналистично. Для античного умозрения истина и истинность — сама действительность, раскрывающаяся, становящаяся явной, очевидной уму (истинный — ἀληθής — для грека значит “нескрытый”). Для античного умозрения такая раскрывающаяся действительность есть «что», а не «кто». Для библейского жизненчества и понимания — «кто».

В «Очерках античного символизма и мифологии» А.Ф.Лосев так рисует картину встречи с «умной Бездной» язычества при молитвенном восхождении в платонизме: «Духовная бесконечность и интимность исчезают для Платона, как только он восходит к чистому уму. Ум этот не может уже зреть того, что воистину живо, что есть живая и бездонная личность, что есть интимная и духовная всепронизанность. Что созерцает Платон на вершине своего умозрения? Кто его там встречает? С кем он там ведет свой умный разговор? Никто его там не встречает. ...Во время небесного круговращения... душа созерцает *справедливость-в-себе*... созерцает *знание*... Вся эта... бесцветная, бесформенная и неосязаемая сущность... с которой встречается ум на вершине своего восхождения, есть не что иное, как общие понятия, не живые личности, но умные идеи, порождать которые и значит — только созерцать. Тут нет личности, нет глаз, нет духовной индивидуальности. Тут *что-то*, а не *кто-то*, индивидуализированное Оно, а не живая личность с своим собственным именем. Умная бездна платонизма безымянна...» [Лосев 1993: 643–644]. Не так для православия. Пишет святитель Николай Сербский (Велемирович): «Истина — не мысль, не слово, не закон. Истина — Существо... К Истине приложим вопрос „кто?“, а не „что?“ Истина лична, а не безлична. Истина — Бог, а не вещь. Истина — Тот, Кто всегда один и Тот же... Истину можно обрести не в творении, а в Творце» [Николай Сербский 2006: 85, 87].

Подобно всем логическим категориям, «движущимся в полярных противоположностях», истина и заблуждение имеют абсолютное значение только в пределах чрезвычайно ограниченной области — *области абсолютного*. Логическими полюсами концептуального пространства истинности выступают области абсолютной истины и ее антипода — абсолютной лжи (хотя логики избегают последнего выражения). В секулярных учениях о познании, исходящих из представления о бесконечности познавательного процесса в его постепенном приближении к истине, абсолютная истина интерпретируется как ожидаемое в конце такого процесса знание, которое, полностью исчерпав предмет, не сможет быть отвергнуто при дальнейшем развитии познания. В православии образ абсолютной истины иной. По православному вероучению, абсолютная истина уже явлена в историческом времени. И явлена личностно — как Абсолютная Личность Бо-

гочеловека Иисуса Христа, Который есть «путь и истина и жизнь» (Ин 14: 6). И явлена эпистемически как богооткровенное знание — в виде догматов православного вероучения — непреложных истин, принимаемых на веру и общеобязательных для всех христиан. «В своем *абсолютном значении истины* догматы являются определяющими и нормативными элементами веры — правилом веры» [Евдокимов 2002: 245].

В отличие от секулярного мышления, в православии речь идет не только об абсолютной истине, но и ее антиподе, а точнее — абсолютном противнике, — абсолютной лжи. «Если для Платона противоположность истине *ошибка*, то для более глубокого евангельского уровня — *ложь*» [Евдокимов 2003: 82]². Явлением абсолютной лжи, по православному вероучению, в личностном плане выступают «главный антагонист Бога» сатана, или дьявол, и его грядущий посланник Антихрист (греч. *ἀντίχριστος*, «противник»), дух которого мистически уже действует в мире³. Говорит Иисус в храме иудеям: «Ваш отец диавол... Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине; ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое; ибо он лжец и отец лжи» (Ин 8: 44). Проявлением, или воплощением абсолютной лжи на эпистемическом уровне для православия выступает *ересь* как сознательное отрицание богооткровенности догмата. Причем, как замечает святитель Игнатий (Брянчанинов), «ересь — грех ума... более грех дьявольский, нежели человеческий; она — дочь диавола, его изобретение, — нечестие, близкое к идолопоклонству...»; и если «в идолопоклонстве диавол принимал себе божескую честь от ослепленных человеков», то в ереси «он делает слепотствующих человеков участниками своего главного греха — богохульства» [Игнатий 1993б: 483–484].

Для православия, для которого добро и зло не равнопорядковы (зло в святоотеческом представлении есть только отсутствие добра),

²Греческое слово *то ψεύδος* ('ложь, намеренное противление истине') хорошо передает такой смысл.

³Свидетельствует апостол Иоанн Богослов: «...много лжепророков появилось в мире. Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который... не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста» (1 Ин 4: 1–3). Поясняя *философию антихриста*, преп. Иустин (Попович) пишет: «Бесчисленны антихристовы предтечи, исповедники и адепты в человеческом мире на протяжении веков. *Всяк дух* — а духом может быть личность, или учение, или идея, или мысль, или человек. И всякое учение, всякая личность, всякая идея, всякая мысль, всякий человек, не признающий, что Иисус — Бог и Спаситель, воплощенный Бог и Богочеловек, происходит от антихриста и есть антихрист» [Иустин 2005: 203].

абсолютная истина и абсолютная ложь на личностном уровне, строго говоря, не являются абсолютными антиподами. На это обращает внимание С.С.Аверинцев: «...с ортодоксальной точки зрения... сатана противостоит Богу не на равных основаниях, не как божество или антибожество зла, но как падшее творение Бога и мятежный подданный Его державы, который только и может, что обращать против Бога силу, полученную ими от Него же... противник сатаны на его уровне бытия — не Бог, а архангел Михаил, предводитель добрых ангелов и заступник верующих в священной войне с сатаной» [Мифы 1982: 412]. Что же касается человеческого участия в абсолютной лжи — ереси, то, как подчеркивает протопресвитер Иоанн Мейендорф, хотя «в нашем падшем мире полной свободы от заблуждений не существует», но «не существует и такого явления, как полный абсолютный еретик» [Мейендорф 1992: 10].

Оба упоминаемые выше понимания истины — и *бытийственное* (истина как сущее), и *гносеологическое* (формальное), по замечанию В.С.Соловьева, представляют истину «только как искомое» [Соловьев 1997: 151]. Однако такие поиски в разных сферах духовной жизни человека осуществляются по-разному в зависимости от истолкования природы истины. Специфику религиозного мирозерцания составляет позиция *единственности истины*⁴, в отличие от позиции плюрализма научного познания и постмодернистского признания равноправия всех видений реальности. «Вера есть, может быть, наиболее мужественная сила духа, собирающая в одном узле все душевные энергии, — утверждает С.Н.Булгаков. — Ни наука, ни искусство не обладают той силой духовного напряжения, какая может быть свойственна религиозной вере. И, конечно, это возможно только потому, что ей в совершенно исключительной степени присуще качество объективности: сама суровая и величественная истина глядит через нее своим вечным, недвижным оком на человека... Это сознание своей единственности есть неизбежное качество объективности: истина не есть истина, если допускает рядом с собою или вместо себя другую истину...» [Булгаков 1994: 50–51].

Такое понимание приводит к тому, что в религии путь борьбы за истину как единственно правильное воззрение становится особенно напряженным. В самосознании христиан, выбор между догматом и ересью есть не выбор между альтернативными теориями познания, но

⁴ «Истинный богослов выходит за границы множественных точек зрения... оком Святого Духа он созерцает божественную Единицу, которая „остается скрытой в Своем собственном явлении“», — замечает П. Евдокимов, цитируя прп. Максима Исповедника [Евдокимов 2002: 83].

выбор между истиной и ложью, путем жизни и путем смерти. По выражению прот. Александра Шергунова, «догмат или ересь это свет или тьма, добро или зло, любовь или ненависть, жизнь или смерть». Догмат — это «меч херувимский, ниспадающий между „Духом, Который есть истина“ и „духом заблуждения“... т.е. между Христом и антихристом» (цит. по [Иларион 1996: 8]). Во Христе, открывающем Отца и возвещающем пришествие Духа, — «полнота жизни и мысли», а «все, что вне Его, — ложно, призрачно» [Флоренский 1999б: 467–468].

Выбор между догматом и ересью осуществляется таким образом на очень большой бытийственной глубине. Как замечает прот. А. Шмеман: «„Ересь“ всегда нечто очень цельное, не надуманное, она действительно, прежде всего, выбор на глубине, а не поправимая ошибка в частностях. Отсюда — безнадежность всех „богословских диалогов“, как если бы речь всегда шла о „диалектике“, об аргументах. Все аргументы в богословии *post factum*, все укоренены в опыте; если же опыт другой, то они и неприменимы...» [Шмеман 2005: 247]. Отсюда и неистовый по силе характер догматических движений в истории Церкви в их борьбе с ложными воззрениями. Последний по времени спор догматического типа в начале XX в. касался вопроса о природе Имени Божия и его почитания.

Парадокс ереси при этом состоит в том, что, будучи объективно ложным учением, в самосознании ее адептов она выступает не как ошибка, но в облике истины: «В сознании приверженцев любой ереси она оценивается как „истинная“ ортодоксия, а ортодоксия как ересь, так что сам по себе принцип доктринального авторитаризма под сомнение не ставится» [Аверинцев 2001: 75]. Такой она кажется и сторонникам еретического учения. Как говорит св. Иринеи Лионский в своем апологетическом сочинении «Обличения и опровержения лжеименного знания»⁵: «... заблуждение не показывается одно само по себе, чтоб, явившись в своей наготе, оно не обличило само себя, но, хитро нарядившись в заманчивую одежду, оно достигает того, что по своему внешнему виду для неопытных кажется истиннее самой истины» [Иринеи Лионский 1996: 19–20].

Опознанная же как таковая, ложь в тот же миг оказывается отверженной за пределы христианского мирозерцания. Заблуждения, объявленные еретическими, оказываются «как бы изъятыми» из контекста церковного учения [Иларион 1996: 7]. В этом заключается

⁵ В заглавии своего труда св. Иринеи цитирует Первое послание апостола Павла к Тимофею: «О Тимофей! Храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий *лжеименного разума*, которому предавшись, некоторые уклонились от веры» (1 Тим 6: 20–21).

смысл анафематствования еретиков. Приведя первое правило Четвертого Вселенского собора, по которому «тому, кто не приемлет и не исповедует догматов веры, да будет анафема: отлучен», Евдокимов замечает: «Самим фактом отделения себя от единодушного исповедания человек оказывается вовне и свидетельствует сам о своей непринадлежности к Церкви. В этом смысле анафема является вовсе не карой (которая не может быть применена к тому, кто находится вовне), а заявлением о совершившемся разрыве: „Таковой... самоосужден“ (Тит 3: 11)» [Евдокимов 2002: 245].

3. ПРАВОСЛАВНОЕ МИРОСОЗЕРЦАНИЕ SUB SPECIE КАТЕГОРИИ ИСТИНЫ

3.1. Концептуальное пространство истинности знания (ведения).

Свет ума порождает веру... Вера есть откровение разумения, и, когда помрачится ум, вера сокрывается...

Исаак Сирин [Исаак 1993: 426]

3.1.1. «Истины откровения» в православном мирозерцании: границы умозрения и рационализации. Православие — религия Откровения⁶. Оно исходит из полноты и неизменности Откровения, пребывающего в Церкви, и постепенности его богословского выражения и истолкования на историческом пути жизни Церкви. По выражению св. Григория Нисского: «Нужно, чтобы трисолнечный свет светил через последовательное возвышение души к Богу» (цит. по: [Евдокимов 2002]). В отличие от науки и философии, православие при этом не ставит своей задачей исчерпать в понятиях все безмерное содержание православного духовного опыта, что невозможно, но огрaдить религиозный опыт Церкви от ложных истолкований и направлений, догматизируя «только самое необходимое, самое существенное

⁶ В формулировке А.И.Осипова, «под сверхъестественным Откровением разумеется особое действие Божие на человека, дающее ему истинное знание о Боге, о человеке, о спасении» [Осипов 1997: 171, 172]. В православной духовной традиции, помимо откровения *общего* (ветхозаветного и новозаветного), различают также откровение *индивидуальное* — «сверхъестественное посещение Богом отдельных лиц, преимущественно святых, при котором им открывались тайны Царствия Божия, души человека, мира» [Там же: 172]. По церковному учению, «...божественное откровение не ограничено Св. Писанием, а Св. Предание не ограничено никакими хронологическими рамками. Дух Святой действует через людей всех времен» [Мейендорф 1992: 9].

для... спасения» [Давиденков 1997: 24]. Таков «стиль» православия [Булгаков 1991: 223].

Богопознание и богословие в православии синергийно, вырастая из опыта восприятия и выражения Божественного Откровения — *Премудрости Божией* — с помощью средств человеческого разума и языка. В самосознании православия, догматы составляют «драгоценное богатство религии, ее „высказанное слово“» [Булгаков 1994: 82]. А их догматические формулы образуют «словесную икону истины»: «Из харизматической „памяти“ Церкви приходят слова, вдохновленные Духом, дабы правильно оградить таинства Слова», и «формулы, носящие на себе печать вечности, объединяют в себе понятия-ограничения и ищут словесную икону истины» [Евдокимов 2002: 246–247, 251].

В богооткровенных и боговдохновенных текстах Священного Писания, Священного Предания и собственно догматике «язык» и «логика» (разум) имеют свою специфику. П.Евдокимов так описывает лингво-логическую специфику религиозных текстов: «Наряду с литургической поэзией и образной речью проповедей Церковь создала *металогический* антиномический язык *догматов*, обладающий удивительной точностью. Это вовсе не язык чистой философии, хотя бы и религиозной, так как *догматы касаются не идей, а божественных реалий*, и ищут с их помощью словесную „икону“, постигая „внутреннее слово“ точно так же, как икона заключает в себя „внутреннюю форму“. По отношению к логике и к мышлению догмат символичен, и их совокупность образует символ веры, представляющий синтез *анти-типов* (от греч. ‘подобие, образ, копия’ — В.П.) существующих реальностей» [Там же: 247]. Строго говоря, «...догматы в действительности не являются „человеческими словами“... Героические усилия отцов-мучеников являют в догматах „распятые слова“... где обитает премудрость Божия» [Там же: 248, 251].

Что же касается специфики собственно «логической» стороны догмата, то она парадоксальным образом заключается в известном преодолении этого начала. И это касается как ситуации рождения догмата, так и последующего восприятия его глубинного содержания. Как пишет о. П.Флоренский: «Характерная черта догмата именно в том, что он требует для веры в себя *преодоления разума*. Там, где нет противоречия разуму, — там нечему верить и достаточно знать хотя бы приблизительно. То, что „не противоречит“, — не догмат» [Флоренский 1999а: 300]. Более подробно сходную мысль развивает и комментирует архимандрит Софроний (Сахаров): «Не будучи плодом каких бы то ни было интеллектуальных исканий или результатом богословского размышления, догмат есть *словесное выражение „оче-*

видности“⁷. Истинное понимание церковных догматов возможно только лишь тогда, когда мы *совлечемся привычного образа мышления*, свойственного человеческому разуму. В интеллектуальном развитии отцы Церкви стояли никак не ниже уровня, достигнутого современными им философией и наукой... Обладая *autorité souveraine*, они *преодолели ограничения формальной человеческой логики*. Когда посредством веры и по дару вдохновения *свыше ум человека предстоит перед очевидностью Высшего Факта*, то такой переход для него вполне естественен. И опыт именно такого порядка лежит в основе каких бы то ни было догматических обобщений» [Софроний 2000: 61–62].

Критическому рассудку, замечает архимандрит Софроний, догматы представляются как «абсурд» и «логическая невозможность» [Там же: 63–64]. Но именно такая форма догматов организации позволяет им выполнять свое предназначение: «отрицательная форма» их делает «относительным любое рациональное богословие»⁸, преобразуя его в богословие символов, а их «положительная форма» — «предполагает перемену, *метаною* (изменение. — В.П.) человеческого духа перед лицом мрака — зоны божественного света», так что в пределе богослов «приходит к „богословию невыразимого молчания“, к Молчанию, заполненному Словом» [Евдокимов 2002: 250]. И «догматы — божественные слова — открывают Его и намечают путь восхождения к Нему» [Там же]. Для этого, развивает сходные мысли архимандрит Софроний, «уму необходимо оставить всякое движение в плане мышления и подняться „горе“, ввысь, — в другую сферу» [Софроний 2000: 63], туда, где деятельность человеческого мышления становится излишней, и все богословские вопрошания перед ликами созерцаемого прекращаются. «Во все времена развитие богословской науки ставит пред собой, в сущности, единую задачу: сделать неиз-

⁷ «Догмат ставит нас перед фактом бытия Божественного, не предлагая тому никакого рационального объяснения» [Софроний 2000: 61].

⁸ Специфика догмата заключается в том, что он не скован никакой конкретной философской концепцией, его формулирующей и истолковывающей, что обеспечивает независимость живой богословской мысли от парадигм и стереотипов философского и научного мышления своего времени, при том, что внешние «формы, в которые они облакаются, их логические одежды заимствуются из господствующей философской доктрины» [Булгаков 1994: 65]. Как пишет о.П.Флоренский: «И аналогично этому (написанию иконы. — В.П.) делается и в других отраслях церковной культуры, в особенности в мировоззрении, где *догмат как золотая формула мира невидимого* соединяется, но не смешивается с красочными формулами мира видимого, принадлежащими науке и философии» [Флоренский 1996: 494–495].

менные догматические истины доступными для человеческого разума, „переводя“ их на язык, приспособленный к нуждам тех, для кого они предназначены, — утверждает архимандрит Софроний. — Но... вся „проблематика“ отпадает сама собой, как только человек достигает непосредственного видения Бога: *И в тот день вы не спросите Меня ни о чем* (Ин 16: 23), — сказал Христос» [Софроний 2000: 63].

Догмат, рожденный в опыте Богооткровения, становится основой Богопознания и центральной вехой⁹ на пути христианской жизни. «Эхо — отзвук голоса. Этика — отзвук догматики. Заблуждениям в догмах истины отвечают заблуждения в нравственной жизни людей. Если помрачен разум — неясен и путь. Когда омрачено видение истинного Бога и Его нравственного закона, путь человечества сокрыт во мраке и, как следствие, отступлениями от морали и заблуждениями исполнены тысячелетия человеческой истории», — утверждает св. Николай Сербский [Николай Сербский 2005: 26]. «Измените в своем догматическом сознании что-либо, и неизменно изменится в соответствующей мере и ваш духовный облик и вообще образ вашего духовного бытия», — свидетельствует преп. Силуан Афонский (цит. по [Давиденков 1997: 24])¹⁰.

3.1.2. Догмат, ересь и теологумен: духовно-концептуальное содержание и эпистемологический облик Христианские истины откровения, по архиепископу Макарию, распадаются на два основных класса: «вероучительные истины» и «истины деятельности», которые «должно усваивать... волею и осуществлять в жизни» [Макарий 1868: 10–11]. Последние, в свою очередь, включают: 1) нравственные христианские заповеди и 2) обрядовые истины («истины благочестия»), а также и истины канонические, согласующие метаисторическое бытие Церкви с бытием ее в конкретном историческом времени. По выражению св. Иустина (Поповича), «святые каноны — это святыне догматы веры, применяемые в практической жизни христианина», они побуждают членов Церкви к

⁹ «Догматы вечны и неисчерпаемы, — пишет А.В. Карташев. — Этапы их раскрытия в сознании и истории церкви, определения, „оросы“ (соборные вероопределения. — В.П.) вселенских соборов не есть могильные плиты... навеки закристаллизованной и окаменелой истины. Наоборот, это верстовые столбы, на которых начертаны руководящие безошибочные указания, куда и как уверенно и безопасно должна идти живая христианская мысль, индивидуальная и соборная, в ее неудержимых и беспредельных поисках ответов на теоретико-богословские и прикладные жизненно-практические вопросы» [Карташев 1999: 7].

¹⁰ О догматическом сознании как «духовном ведении» см. [Старец Силуан 1996: 170–177].

воплощению в повседневной жизни святых догматов — этих *солнечных* небесных истин [Иустин 2000: 264].

Среди истин христианского откровения центральное место в концептуальном пространстве православного вероучения занимает **догмат**, облик которого выступает здесь наиболее рельефно. В более узком смысле догмат есть «формула, кристаллизующая в образах или понятиях религиозное суждение» [Булгаков 1994: 56]. Догматическая формула есть «логическая схема, чертеж целостного религиозного переживания, несовершенный его перевод на язык понятий» [Там же: 65]. Собственно же догмат — догмат в широком и основном его истолковании — есть «содержание, сама онтологическая истина», выражаемая в догмате, а догматическая формула — словесное выражение онтологической вероучительной истины, «языковая плоть», в которую облекается истина.

В святоотеческой интерпретации, догмат предстает как неизменная (незыблемая)¹¹, непререкаемая, богооткровенная, теологическая истина теоретического или созерцательного вероучения, определяемая и преподаваемая Церковью как обязательное для всех верующих правило веры. Основными свойствами догматов являются *вероучительность*, *богооткровенность*, *церковность*, *общеобязательность* (законсообразность), откуда проистекают и такие их характерные черты как: 1) доктринальность (догмат — «торжественно провозглашенное Церковью доктринальное определение» [Лосский 2000: 517]), 2) кафоличность (догматы являются «достоянием всей Церкви как выработанные ее соборным разумом» [Иларион 1996: 7]), 3) апофатизм, или отсутствие излишней рационализации, 4) нормативность («Четко разграничивая истину и ложь, догмат обладает всем положительным значением утверждения норм» [Евдокимов 2002: 246]), 5) неисчерпаемость содержания («Никто и никогда не может сказать про себя, что в личном достижении своем вместил всю полноту церковного опыта, намеченную в догмате» [Булгаков 1994: 68]), 6) волевой и действенный характер (догматы «не только вероучительные определения Церкви, но и ее действие», чем отличаются от теоретического знания и сближаются с тем, что «носит название „убеждений“» [Там же 1994: 65]), 7) рефлексивность (догмат есть рефлексия, соединенная с абсолютными установками веры, или «рефлектирующая аб-

¹¹ Хотя сам догмат по своему содержанию никакому изменению не подлежит, догматические формулы в принципе могут изменяться. Так, II Вселенский Собор дополнил и переработал Символ, который был принят на I Вселенском Соборе. Содержание догмата о Пресвятой Троице при этом не изменилось, но была выработана «новая догматическая формула» выражения вероучительной истины [Давиденков 1997: 267].

солютизация» [Лосев 2001: 131]). Суммируя характеристики догмата как духовно-эпистемологической единицы, можно, вслед за прот. С. Булгаковым, сказать: «Догматы, если и возможны, то не в смысле логических и диалектических выводов¹², но лишь как *религиозное ведение*» [Булгаков 1994: 57].

Антиподом догмата в православном сознании выступает **ересь** (от греч. ἡ αἵρεσις, букв. 'выбор'), которая выступает как прямая противоположность догмата. Если «каждый догмат раскрывает истину, указывает путь и приобщает к жизни», то каждая ересь, напротив, «удаляет от истины, закрывает для человека путь ко спасению и делает его духовно мертвым» [Иларион 1996: 8].

На языке церковной догматики ересь означает «сознательное¹³ и преднамеренное уклонение от ясно выраженного и сформулированного догмата христианской веры и вместе с тем — выделение из состава церкви нового общества» [Христианство 1993: 534]. Она предстает как «отклонение в вопросах религиозной доктрины от ортодоксии» [Аверинцев 2001: 75] и характеризуется как доктринальное заблуждение, которое стремится подменить своим собственным учением догматическое учение Церкви. Эта «подмена общечеловеческого, т.е. существенно человеческого, частно человеческим, т.е. случайным», и есть, по выражению о. П. Флоренского, «суть ереси» [Флоренский 1999а: 254]. Ересь противостоит, таким образом, истине «кафолической», абсолютизируя и оказывая предпочтение «какой-либо одной части истины, в ущерб целому» [Яннарс 1992: 45–46]. Так, несторианство абсолютизирует человеческую природу во Христе, а монофизитство — природу Божественную, разрушая полноту веры в «богочеловечество Христа» [Там же: 46].

В духовно-аскетическом видении, ересь предстает как смертный грех, приводящий к разрушению личности. Причем, если любой

¹² Догмат не нуждается в полной и окончательной системе таких разумных определений. Обычно же установители догматов, замечает А. Ф. Лосев, и не обладают всей полнотой логической аргументации и даже могут ошибаться в логической систематизации данных религиозного опыта. Так, св. Афанасий Великий, при «всей четкости и глубине своего ума», в отдельных своих противоарианских утверждениях был близок, по Лосеву, савеллианству, а св. Василий Великий — тритеизму. Тем не менее оба они являются «светочами именно догматического сознания» [Лосев 2001: 132].

¹³ См., впрочем, замечание прот. А. Шмемана: «Тут все дело в изначальном, может быть даже *бессознательном выборе*: темы, тональности, зрения. Всякая „ересь“ от такого выбора есть всегда навязывание Церкви — своего выбора» [Шмеман 2005: 527].

грех есть «следствие слабости воли», то ересь есть «упорство воли... упорное противление истине», и «как хула на Духа Истины непростительна» [Алипий, Исая 1998: 21]. Духовной причиной ереси признается человеческая гордость. Ересь предполагает, что «человек сам — по собственному „выбору“ определяет критерии правильности вероучения и тем самым противопоставляет себя Церкви» [Свиридов 2000: 144].

Специфику православия составляет «незыблемое правило»: «Минимум догматики и неограниченная свобода мнений — **теологумены**» («in dubiis libertas, в спорном — свобода») [Евдокимов 2002: 275]. В основе христианской веры лежат два фундаментальных догмата: 1) догмат о едином Божестве в Трех Лицах — Троице, Единосущной и Нераздельной, 2) догмат о «двух естествах и двух волениях, Божественного и человеческого, в единой Ипостаси воплощенного Слова» [Софроний 2000: 64].

Теологуменами (от греч. Θεολογέω ‘учить или исследовать о Боге и божественных делах’) именуются частные, или личные мнения церковных учителей и отцов Церкви, которые сама Церковь «не авторизует своим именем, но и не отрицает, предоставляя их благочестивой пытливости верующих» [Христианство 1993: 535]¹⁴. Критерием истинности частных богословских мнений, которые могут быть высказаны как отдельными богословами, так и каким-либо церковным органом (например, Собором), выступает согласие со Священным Преданием, а критерием допустимости — непротиворечие с ним [Давиденков 1997: 24; Алипий, Исая 1998: 22].

Богословские мнения в плане их истинности могут квалифицироваться как суждения с неопределенно-истинностным статусом. Они касаются «таинственных вопросов онтологии», которые, по замечанию святителя Феофана, «видимо, так и не будут разрешены в этом веке, как вопросы, не существенные для нашего спасения» [Алипий, Исая 1998: 23]. Некоторые из таких мнений в плане последующей оценки их соборным разумом Церкви оказались ошибочными, но высказывавшие их отцы Церкви никогда и «не отстаивали как непогрешимые» [Там же].

¹⁴ Со ссылкой на церковного историка В.В.Болотова прот. И.Свиридов предлагает различать собственно *теологумены* как богословские мнения авторитетных церковных мыслителей и Отцов церкви («внутри Церкви») и *частные богословские мнения* — мнения «богословов и религиозных философов, живущих в разные периоды церковной истории» [Свиридов 2000: 144–145].

3.2. Видения и видение в православной духовной жизни: подлинность и кажимость.

Проблема мистической видимости — это и есть проблема прелести... Прелестные образы будоражат страсть, но опасность — не в страсти как таковой, а... в принятии ее за нечто прямо противоположное тому, что она есть на самом деле... прелестная страсть оценивается как достигнутая духовность, т. е. как сила, спасение, святость...

П. А. Флоренский [Флоренский 1996: 722, 431]

Как и познание (ведение) в целом, мистический опыт в православной традиции с позиции его истинности оценивается как *истинный* (онтологический, подлинный), *ложный* (не являющийся таковым по своей сути, хотя и выдаваемый обычно за таковой по неведению и духовному ослеплению) или как опыт с *неопределенно-истинностным* статусом.

С содержательной точки зрения истинность опыта в православии связывается с идеей благодатности опыта и способности человека достигать вышеестественного состояния бесстрастия¹⁵. По святоотеческому представлению, человек может пребывать в трех состояниях: 1) естественном (душевном, пристрастном), 2) нижеестественном (плотском, страстном) и 3) вышеестественном (духовном, бесстрастном). Этого последнего достигают те, кого «осенил и обновил Дух Святой» и «кто, будучи исполнен Им, действует, говорит под влиянием Его, возносится превыше страстей, превыше естества своего» [Игнатий 1995: 120].

Данным типам состояния человека в православной мистике соответствуют и три типа духовного опыта, оцениваемых в категориях истинности как подлинный, неопределенно-истинный и ложный. Это, во-пер-

¹⁵ По концепции С.С.Хоружего, под истинностью опыта понимается «действительное совпадение опыта с тем, чем он... должен быть», а именно «быть некоторой ступенью духовного процесса» [Хоружий 1998: 249]. При таком понимании истинным объявляется опыт, в котором это условие выполняется, а ложным — такой опыт, который, притязая быть некоторой ступенью процесса, в действительности таковым не является. С этой позиции благодатный опыт оценивается как подлинно истинный, а «прелесть» — как ложный. Естественный же опыт, будучи принят за благодатный, оказывается ложным. Если же он «верно» опознается как естественный, то ложным не является, хотя и «истинным его можно назвать лишь с определенной оговоркой» [Там же: 249–250]. Такой естественный опыт обладает, по Хоружему, лишь «формально-логической, а не онтологической истинностью: истинностью в более слабом смысле эмпирической достоверности» [Там же: 250].

вых, — опыт вышеестественный (благодатный, подлинный, онтологический), описываемый в категориях обожения человека. Во-вторых, опыт естественный, или подлинный, который, однако, вследствие преломления его сквозь призму психологизмов, способен, наряду с «ценными мистическими открытиями», приводить и к «абберациям и ошибкам» [Флоренский 1996: 723]. И в-третьих, — безблагодатный (иллюзорный, сатанинский) опыт, именуемый в мистическо-аскетических трудах и наставлениях *прелестью* и описываемый как *падение*¹⁶, *ослепление*¹⁷, *самообольщение*, *имитация*, *фантастическое созерцание*, *мечтательность*¹⁸, *восторженность*, *кажимость*, *визионерство*, *воображение*, *грезы*, *мираж*, *бред*, *иллюзия*, *призрачность*, *ложное мнение*¹⁹, *вымысел*, *заблуждение*, *сотворение кумиров (идолов)*²⁰, *страстное состояние подвижника* и т. д.

В наиболее широком смысле прелесть истолковывается как общее состояние духовного заблуждения человека вследствие влечения ко греху. Развивая такое понимание, архимандрит Софроний (Сахаров) пишет: «Русское слово „прелесть“ совсем другого порядка, чем греческое *πλάνη*, но речь о том же самом явлении. Разница в том, что греческий ум — философский, и он рождает богословские понятия как философские. Например, покаяние (по-гречески *μετάνοια*) — это „изменение умного видения“, а прелесть (*πλάνη*) — „заблуждение“. Русские говорили о покаянии как о психическом чувстве. Это есть

¹⁶ Духовная прелесть «всегда признавалась самым тяжким из состояний, в какое может попасть человек» [Флоренский 1996: 431].

¹⁷ По философской дефиниции А. Ф. Лосева, прелесть есть «духовное ослепление и утверждение результатов собственной капризной фантазии за подлинную и истинную реальность» [Лосев 1993: 856].

¹⁸ По преп. Григорию Синаиту, приступающий к высшим предметам созерцания при Богопознании (Святая Троица, Бог Слово, Царство Небесное, «порядок и строй [жизни] разумных сил», «устройство существующего» и под.) «без света [благодати] пусть знает, что он построяет *фантастические образы*, а не созерцания, обольщая себя и обольщаясь *мечтательным духом*» [Григорий Синаит 1999: 73].

¹⁹ По аскетической зарисовке св. Феофана Затворника: «Проходящий делание без руководителя... начинает *мнить*, что имеет благодать, не имея ее. Это и есть прелесть» [Феофан 1997]. «Когда грешит обыкновенный грешник, он знает, что удаляется от Бога и прогневляет Его; прелестная же душа уходит от Бога с *мнением*, что она приходит к Нему, и прогневляет Его, думая Его обрадовать» [Флоренский 1996: 431].

²⁰ См. у П. А. Флоренского: «Состояние фарисейства (упоеание своим подвигом вне отношения к Богу. — В. П.) в пределе есть *духовная прелесть*, — когда некоторое состояние делается идолом... весьма близко имитирует подлинное» [Флоренский 1996: 461].

„сожаление о содеянном“... Слово „прелесть“ означает то, что не исходит от Единого Истинного Бога, но вдруг нам кажется великим и святым, и мы открываем сердце наше для этой ошибки. Когда святые отцы говорят о прелести, они имеют в виду также и свой опыт. Избегать прелести мы не можем: не говорю о всей жизни нашей, но об отдельных ее случаях. Я понял слово „прелесть“ так: когда какое-то духовное явление влечет меня к себе и я открываю ему сердце мое, то потом могу узнать, ошибся ли я или не ошибся, и через покаяние возвратиться к истине... Всякий раз, когда мы совершаем или впадаем в грех какого бы то ни было порядка и плана — ментального, сердечного, телесного, — мы были жертвой прелести. Мы совершаем грех потому, что он нас влечет» [Софроний 2003: 71]. В собственно же аскетическом смысле прелесть состоит прежде всего «именно в том, что человек в уме (в варианте текста добавлено — „или душе“. — В.П.) своим рисует образы или предается душевной восторженности» [Софроний 2001: 105].

В онтологическом смысле прелесть как ложь на уровне духовного опыта аналогична ереси на уровне знания (ведения). Подобно тому, как ересь не имеет истинностного содержания и понимается как отрицание соответствующего догмата, так и прелесть как ложное духовное состояние в плане истинности созерцаемого и испытываемого не имеет положительного содержания. По замечанию о. П.Флоренского, «поскольку „прелесть“ определяется только отрицательно», то «обвинение в „прелести“ перестает иметь какое бы-то ни было теоретическое значение», будучи весьма важным «в смысле церковной дисциплины и в целях практической аскетики...» [Флоренский 1996: 722].

С аскетической точки зрения проблема прелести в духовной практике сводится к вопросу об адекватной интерпретации чувственных данных мистического опыта. Из бесчисленных опытов подвижничества известно, что «видения» у подвижников (в виде света и другом каком-либо чувственно-осязаемом виде — *гласы, благовония, лики* и т. д.), могут быть как ложными, так и подлинными (благодатными²¹ или «естественными»). Они могут свидетельствовать как о достижении подвижником особого («сверхъестественного») духовного состояния, отвержении у него особых духовных чувств²², так и говорить о его «прельщенности».

²¹ См. описание таких благодатных состояний из жития преподобного Серафима Саровского [Ильин 2003: 66, 136–162].

²² Об «умных чувствах» в православной духовности и о претворении всех чувств у духовного человека см. [Хоружий 1998: 147; Лосев 2001: 396–397]; о чувственном и духовном видении духов [Игнатий 1993а].

Исихастская аскетика опирается при опытном решении этой задачи истолкования «мистической видимости» на три принципа. А именно, во-первых, на духовно-онтологический принцип воздействия духовного опыта на подвижника («по плодам»), по которому опыт ложный не может иметь благих последствий. Как говорится в «Макариевом корпусе»: «По действенности да распознается воссиявший в душе твоей духовный свет, от Бога ли он, или от сатаны... Сатана... хотя бы представлял и светлые видения, не возможет произвести доброго действия, что и служит точным его признаком» (цит. по [Хоружий 1998: 250]). Вот описание двух типов световых явлений у архимандрита Софрония (Сахарова) — «ложного» и благодатного: «С детских лет я вошел в молитву. Но настал такой день, когда... в мой ум врезалась мысль: Абсолют не может быть „личным“, и вечность не может заключаться в „психике“ евангельской любви... Станным было сие событие; сила мысли была подобна удару молота... Я стал с некоторым насилием над собой отрываться от молитвы и склоняться к медитации не-христианского типа. Вскоре после сего, однажды ночью я был разбужен непонятным для меня образом. Я увидел всю комнату наполненную разорванными кусками вибрирующего света. Душа моя смутилась; я почувствовал отталкивание от сего видения; я бы сказал — нечто вроде неприязни, смешанной с некоторым страхом, подобным боязни аспида, вползшего в твой дом... Много лет спустя, уже после посещения меня милостью Бога Вышнего, я заметил, что Нетварный Свет — спокойный, целостный, ровный; воздействует на ум, на сердце и даже тело. При созерцании его все существо пребывает в состоянии, которого не знает „земля“. Сей Свет есть свет любви, свет разума, свет бессмертия и дивного мира» [Софроний 1985: 30]. По учению св. Григория Паламы, такой «умный», «премирный» и «немеркнувший», «сверхсветлый» свет, созерцаемый исихастами на высших ступенях своего подвига, как и свет, который видели апостолы на горе Фавор во время Преображения, есть нетварная энергия самой Божественной сущности. Свет этот, по выражению Паламы, и «есть Сам Бог», непостижимый и недоступный для познания в Своей «Сверхсущности» и открытый миру в Своих энергиях [Палама 1995: 303].

Во-вторых, святоотеческая аскетика руководствуется общим принципом чувственного «антивизионерства», по которому «правильное созерцание умозрительно и сверхумозрительно», когда «над речью и видением помещается озарение... невидимое, неслышимое и невыразимое» [Евдокимов 2002: 154]²³. На данном принципе базируются многочис-

²³ П. Евдокимов обращает внимание в связи с этим на следующий парадокс: «Православие, мистически наиболее невосприимчивое к любому воображению, любому образному представлению, зрительному или слуховому, в

ленные аскетические правила и советы. «Никогда не принимай, если увидишь что-либо чувственное или мысленное, внутрь тебя или вне, — лик Христа, или Ангела, или образ Святого, или световое воображение... не верь сему с негодованием, хотя бы то и доброе что было, прежде чем спросить кого из опытных», — призывают иноки Каллист и Игнатий, вслед за преп. Григорием Синаитом (цит. по [Хоружий 1998: 251]). «Чтобы при делании умной молитвы не впасть в прелесть — не допускай в себя никаких представлений, никаких образов и видений», — советует великий подвижник св. Нил Сорский [Там же: 237]. И, наконец, а точнее, прежде всего, молитвенно обращай к Богу с просьбой о просвещении, о чем напоминает авва Евагрий: «Неотступно молись, чтобы Бог тебя просветил, если видение от Него, а если нет, то чтобы Он скорее изгнал от тебя заблуждение» [Там же].

В заключение остановимся на вопросе об отношении к носителям истины и заблуждающимся с позиции православного мирозерцания. *Носители истины* для православия — «око вселенной», о чем пишет о. П. Флоренский в своей книге «Столп и утверждение истины»: «И если догмат есть „око ума“, то преимущественный носитель догмата есть „око человечества“, — то око, которым человечество взирает на неприступный свет неизреченной Божественной славы. Только теперь выясняется внутренний смысл определения, данного св. Григорием Богословом Афанасию Великому. Он, выразивший и отстаивавший догмат Троичности, поистине был „Святейшим оком вселенной“ Им вселенная усмотрела истину» [Флоренский 1990: 107–108]. Отношение к *искренне заблуждающимся*, по доктрине православия, выражается в следующей максиме св. Фотия Константинопольского: «...не принимать как учение то, в чем они (святые отцы. — В.П.) заблуждались, но лобызать человека» [Лурье 1995: 174]). Что же касается отношения к *еретикам*, то, как замечает П. Евдокимов, говоря о смысле анафематствования: «Однако, это вовсе не иудейский херем, активно действующее проклятие. Заявив об отлучении, Церковь молится: „Святая Троице! Да вси приидут в познание вечныя Твоя истины“» [Евдокимов 2002: 245].

то же время создало почитание иконы, окружило себя образами, соорудив из них видимую сторону Церкви. Так, икона „освящает очи созерцающих и возносит их ум к богопознанию“. Посредством богословия символов она возвышает ум к присутствию без форм и образа. Икона исходит от воплощения и восходит к невещественному Богу... посредством видимой красоты она заставляет исчезнуть любой образ — от невидимого в видимом она ведет к чистому невидимому» [Евдокимов 2002: 154, 157].

ЛИТЕРАТУРА

- Аверинцев 2001 — *Аверинцев С. С.* София-Логос. Словарь. Киев, 2001.
- Алипий, Исая 1998 — *Алипий (Кастальский-Бороздин)*, архим., *Исая (Белов)*, архим. Догматическое богословие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998.
- Булгаков 1991 — *Булгаков С.*, прот. Православие. Очерки учения Православной Церкви. М., 1991.
- Булгаков 1994 — *Булгаков С. Н.* Свет невечерний. Созерцания и умозрения. М., 1994.
- Давиденков 1997 — *Давиденков О.*, иерей. Догматическое богословие. Курс лекций. Ч. I и II. М., 1997.
- Евагрий 1994 — *Евагрий Понтийский*. Аскетические и богословские творения. М., 1994.
- Евдокимов 2002 — *Евдокимов П.* Православие. М., 2002.
- Евдокимов 2003 — *Евдокимов П.* Этапы духовной жизни. М., 2003.
- Игнатий 1993а, б — *Игнатий (Брянчанинов)*, еп. Сочинения. Т. 3–4. М., 1993. (Т. 3 — Игнатий 1993а; Т. 4 — Игнатий 1993б.)
- Игнатий 1995 — *Игнатий (Брянчанинов)*, еп. Письма о подвижнической жизни. Paris; М., 1995.
- Иларион 1996 — *Иларион (Алфеев)*, иером. Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие. М.; Клин, 1996.
- Ильин 2003 — *Ильин С.*, прот. Учение прп. Серафима Саровского о Святом духе. М., 2003.
- Иоанн 2006 — *Иоанн (Зизиюлас)*, митр. Бытие как общение. Очерки о личности и Церкви. М., 2006.
- Ириней Лионский 1996 — *св. Ириней Лионский*. Творения. М., 1996.
- Исаак Сирий 1993 — *Исаак Сирий*, преп. Творения. Слова подвижнические. М., 1993.
- Иустин 2003 — *Иустин (Попович)*, преп. Православная философия истины. Статьи. Пермь, 2003.
- Иустин 2005 — *Иустин (Попович)*, преп. Догматика православной Церкви. Эклесиология. М., 2005.
- Карташев 1999 — *Карташев А. В.* Вселенские соборы. М., 1999.
- Лосев 1993 — *Лосев А. Ф.* Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993.
- Лосев 2001 — *Лосев А. Ф.* Диалектика мифа. Дополнение к «Диалектике мифа». М., 2001.
- Лосский 2000 — *Лосский В. Н.* Богословие и Боговидение. М., 2000.
- Лурье 1995 — *Лурье В. М.* Послесловие // *Нисский Григорий*. Об устройении человека. СПб., 1995.
- Макарий 1868 — *Макарий*, архиеп. Православно-догматическое богословие. СПб., 1868.
- Максим Исповедник 1993 — *Максим Исповедник*, прп. Творения. Кн. I. Богословские и аскетические трактаты. М., 1993.

- Мейендорф 1992 — *Мейендорф И.*, прот. Введение в святоотеческое богословие. Вильнюс; М., 1992.
- Мифы 1982 — Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. М., 1982.
- Николай Сербский 2005 — *Николай Сербский (Велемирович)*, святитель. Слово о законе (номология). М., 2005.
- Николай Сербский 2006 — *Николай Сербский (Велемирович)*, святитель. Творения. О Боге и людях. М., 2006.
- Осипов 1997 — *Осипов А. И.* Путь разума в поисках истины. Основное богословие. М., 1997.
- Палама 1995 — *Григорий Палама*. Триады в защиту священнобезмолвствующих. М., 1995.
- Свиридов 2000 — *Свиридов И. А.* У стен нового Иерусалима. М.; Париж, 2000.
- Соловьев 1997 — *Философский словарь Владимира Соловьева*. Ростов-на-Дону, 1997.
- Софроний 1985 — *Софроний (Сахаров)*, архим. Видеть Бога как Он есть. Essex, 1985.
- Софроний 2000 — *Софроний (Сахаров)*, архим. Рождение в Царство непоколебимое. М., 2000.
- Софроний 2001 — *Софроний (Сахаров)*, архим. Подвиг богопознания. Письма с Афона (к Д. Бальфуру). Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь. Эссекс; М., 2001.
- Софроний 2003 — *Софроний (Сахаров)*, архим. Духовные беседы. Т. 1. Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь. 2003.
- Старец Силуан 1996 — *Старец Силуан Афонский*. М., 1996.
- Феофан 1997 — *Феофан Затворник*, свт. Наставления в духовной жизни. М., 1997.
- Флоренский 1990 — *Флоренский П. А.* Столп и утверждение истины. Т. 1 (1).
- Флоренский 1996 — *Флоренский П.*, свящ. Сочинения: В 4-х т. Т. 2. М., 1996.
- Флоренский 1999а — *Флоренский П.*, свящ. Сочинения: В 4-х т. Т. 3 (1). М., 1999.
- Флоренский 1999б — *Флоренский П.*, свящ. Сочинения: В 4-х т. Т. 3 (2). М., 1999.
- Флоренский 2004 — *Флоренский П.*, свящ. Философия культа. М., 2004.
- Хоружий 1998 — *Хоружий С. С.* К феноменологии аскезы. М., 1998.
- Христианство 1993 — *Христианство*. Энциклопедический словарь. В 3-х т. Т. 1. М., 1993.
- Шмеман 2005 — *Шмеман А.*, прот. Дневники 1973–1983. М., 2005.
- Яннарс 1992 — *Яннарс Х.* Вера Церкви. Введение в православное богословие. М., 1992.

К. Г. КРАСУХИН

«НЕ ПОСЛУШЕСТВУЙ ЛОЖНА НА ДРУГА СВОЕГО»: ЛОЖЬ И КЛЯТВА В ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ЭТИКЕ

Не произноси ложного свидетельства
на ближнего твоего (Исх. 20: 17).

В работе [Красухин 2003] был сделан вывод, выглядящий несколько парадоксально: в библейском Декалоге, который многими признается за главный этический кодекс, на самом деле еще не содержится основного нравственного закона. Дело в том, что все высказывания в нем даны в форме предписаний или запретов. Этика же всегда предусматривает сознательный выбор человека, а не следование приказу. Это не значит, конечно, что в Библии вообще нет основного закона нравственности. В книге Товии сказано: «что неприятно тебе самому, не делай того другому». Один из величайших иудейских мыслителей и экзегетов первосвященник Хиллел, живший на рубеже эр, вообще считал это правило самой сутью Пятикнижия. На вопрос о том, можно ли выучить его наизусть, он отвечал: «Не делай другому того, что отвратительно тебе самому, — вот в этом и заключена Тора. А все остальное — толкования». Это предписание, высказывавшееся в разные времена различными мыслителями (Конфуцием, Исократом, Эпиктетом), было сформулировано в Евангелии от Матфея (VII: 12) в новой форме: Иисус высказывает не запрет, а предписание (в синодальном переводе: «Итак, во всем поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы поступали с вами; ибо в этом закон и пророки»). Средневековые богословы называли это высказывание «золотым правилом» (*regula aurea*), так как в нем действительно в краткой и емкой формуле воплощена сама суть нравственности. Человек может поступать нравственно именно постольку, поскольку он осознаёт себя человеком. Понимание себя дает единственно верный ориентир и в отношении с другим, ибо в основе нравственности лежит признание другого равным себе.

Что же касается Декалога, то в нем соединяются общие предписания с узко конфессиональными (см. об этом еще [Шапир 2001]). И характерно, что, перечисляя библейские заповеди, евангелисты упоминают лишь первые: (1) οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέβεις, οὐ φευδομαρτυρήσεις, τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτὸν (Мф 19: 18–19) «не убей, не прелюбодействуй,

не укради, не лжесвидетельствуй, чти отца и мать и возлюби ближнего, как самого себя». (2) τὸ γὰρ οὐ μοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦνται, ἐν τῷ, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτὸν (Рим 13: 9) «Ведь „не прелюбодействуй“, „не убей“, „не укради“, „не лжесвидетельствуй“, „не пожелай чужого“ и любая другая заповедь заключается в одном слове: „возлюби ближнего как самого себя“»¹. Иными словами, Иисус и ап. Павел выводили предписания и запреты из более общего правила, регулирующего отношения между людьми.

Постоянное соотнесение Себя с Другим и с Миром является основой этики. И. Кант, сформулировав свой категорический императив, показал это с предельной ясностью. Свобода действия оказалась краеугольным камнем мироустройства, и возможность сохранения свободы заставляет человека действовать ответственно, т. е. соизмерять мир со своим Я. С этой точки зрения большой интерес представляет девятая заповедь, вынесенная в заголовок статьи. Обычно она объясняется так: ложь запрещена библией, ибо отец лжи — дьявол [Крестьянкин 1996]. Это совершенно справедливо, особенно если учесть этимологию имени *дьявол* и этимологию этого персонажа в библейской мифологии. Дьявол — это бывший ангел, начавший клеветать на своих собратий, т. е. ложно свидетельствовать о них. И греч. διάβολος означает именно «клеветник». Итак, отец лжи — клеветник. Бесспорное утверждение, пожалуй, еще недостаточно для понимания библейского отношения ко лжи.

Дело в том, что в языковом сознании ложь не всегда предстает как исключительно негативное явление. Известна *ложь во спасение*². Существует много ситуаций, когда сокрытие полной правды желательно и даже необходимо. Имеется даже понятие «святая ложь». Оно, несмотря на религиозную терминологию, не связано с библией. Автором его, по-видимому, является австрийский поэт Мориц Гартман. В одном из самых своих известных стихотворений — «Белое покрывало» он рассказывает о том, как мать осужденного на смерть инсургента обещает добиться для сына отмены казни и в случае успеха надеть белое покрывало. И в день казни она его надевает, но сына ведут к плахе:

¹ Заповедь «Возлюби ближнего как самого себя» упоминается в (Левит XIX: 18). Формально не входя в Декалог, она почиталась в Евангелии как наиважнейшая.

² Правда, это выражение появилось в результате неверного понимания церковнославянского текста: *ложь конь во спасение* (Пс. 32: 18) «ненадежен конь для спасения» [Ашукин, Ашукина 1987: 187].

Зачем же в белом мать была?
 Святая ложь! О, так могла
 Солгать лишь мать, полна боязни,
 Чтоб сын не дрогнул перед казнию.

(Перевод М. Л. Михайлова)

И, как бы мы ни отнеслись к такой лжи, ясно, что это — не клевета и не ложь для достижения своей выгоды. Что же касается Девятой заповеди, то в ней запрещена не ложь вообще, а лжесвидетельство. Это важное различие. Свидетельство приносится в суде или в иных обстоятельствах, когда принимаются важные для человека решения. И призыв не лжесвидетельствовать налагает запрет на ложь именно там, где от свидетельства зависит судьба человека или общества. Таким образом, в девятой заповеди не дан абсолютный запрет. Для применения заповеди человек должен сделать сознательный выбор: решить, насколько важным является его свидетельство для другого человека. Таким образом, именно здесь мы видим путь от предписаний к подлинной этике — обращенной не к абстрактным надчеловеческим принципам, но к человеческой личности.

Представляется, что именно с таким отношением к лжесвидетельству связано одно из положений Нагорной проповеди, которое иногда смущает изучающих Евангелие, — запрет на клятву. Казалось бы, клятва, в отличие от лжи, злобы, ссоры, не несет в себе ничего разрушительного. Тем не менее, Иисус ее категорически запрещает. В. Н. Кузнецова объясняет это тем, что Спаситель призывает говорить правду всегда, а не только под клятвой [Кузнецова 1998]. Но если бы это было так, то Иисус мог бы потребовать от своих учеников клясться на каждом слове. Для того, чтобы понять причину запрета на клятву, надо, как представляется, внимательно прочесть текст: (3) Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ τοὺς ὄρκους σου. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὁμόσαι ὅλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶ τοῦ Θεοῦ· μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως· μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὁμόσης, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι (Мф. 5: 33–36) «Ранее вы слышали, как сказано: „не преступай клятву, но приноси клятвы свои Господу“. Я же говорю вам: не клянитесь вообще, ни небом, ибо оно — трон Божий, ни землей, ибо она — подножие Его, ни Иерусалимом, ибо это город великого царя; ни головой своей не клянись, ибо не можешь сделать ни один волос ни белым, ни черным». Итак, Иисус недвусмысленно говорит, что человек не может отвечать ни за что, чем он может клясться: он не является хозяином мира; он не может изменить даже цвета собственных волос.

Поэтому наполнить свою клятву реальным обеспечением человек не в состоянии. Клятва — соблазн для лжесвидетельства. И это подтверждают дальнейшие слова Иисуса (3а) ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν καὶ ναί, οὐ οὐ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστὶν (37) «Но да будет слово ваше: „да, да“, „нет, нет“; а что сверх того, то от лукавого». *Лукавый* — это именование дьявола. Греч. πονηρός дословно обозначает ‘злой, скверный, тягостный’, а также ‘подлый, враждебный’. Однако у Аристофана появляется новое значение ‘плут, мошенник’. Очевидно, именно это значение затем трансформировалось в то, что мы встречаем в Евангелии. Дьявол поименован таким образом дважды: помимо (3а) мы находим его в (4) καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς περασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ (Мф. 6: 13) «и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Здесь этот эпитет дьявола возникает в связи с темой искушения. Дьявол как искушитель появляется также в Евангелии от Матфея (4: 3–11) и от Луки (4: 3–13). Он именуется πειράζων ‘искушающий’ (Мф. 3: 3) и διάβολος (Мф. 4: 8, 11) и (Лк. 4: 2, 5, 6). Таким образом, имя πονηρός не является эвфемизмом. Это выражение одной из ипостасей дьявола — его связи с ложью и искушением, которое является одной из разновидностей лжи. Оно же появляется и при запрете клясться. Клятва, не будучи подкрепленной ответственностью, всегда искушает к лжесвидетельству. Потому-то она — «от лукавого».

На конференции «Между ложью и фантазией» я последний раз встретился с замечательным филологом и культурологом Максимом Ильичом Шапиром, с которым я был дружен 27 лет. М.И. не дожил до 44 лет, но успел сделать поразительно много в разных областях гуманитарной науки (см. статью М.А.Пильщикова и М.В.Акимовой). Логическое обоснование этики не раз становилось предметом наших бесед. Светлой памяти Максима посвящаю эту работу.

ЛИТЕРАТУРА

- Ашукин, Ашукина 1987 — *Ашукина М.Г. Ашукин Н.С.* Крылатые слова и выражения. М., 1987.
- Красухин 2003 — *Красухин К.Г.* «Золотое правило» этики: От Конфуция до Канта // Сокровенные смыслы: В честь Н.Д. Арутюновой. М., 2003.
- Крестьянкин 1996 — *Крестьянкин И.*, архимандр. Проповеди. Псков, 1996.
- Кузнецова 1998 — *Кузнецова В.Н.* Комментарий к Евангелию от Матфея. М., 1998.
- Шапир 2001 — *Шапир М.И.* Язык этики или этика языка? О деонтологии науки // Язык и культура: Факты и ценности: к 70-летию Ю.С. Степанова. М., 2001.

ОБМАН И ВЫДУМКА ПО-ДРЕВНЕРУССКИ

Обман и выдумка — необходимые составляющие поведения человека, тема обмана и выдумки переполняет устные и письменные тексты древности, соответствующая лексика открыта для пополнения.

I

Обман. Тема обмана появляется в первой книге Библии. Обман начался с Каина, который *сълга* (ἐψεύσατο) Богу¹. Ведь спросил его Бог: где Авель, брат твой? он же ответил: «не знаю, разве я сторож брату моему?» (Быт 4.9). А до этого Каин прикрыл свое намерение убить брата, хитростью выманив Авеля в поле (Быт 4.8).

Античные тексты представляют широкий спектр ситуаций обмана и лжи. Вспомнить хотя бы смешное, детское вранье Гермеса, заметавшего следы украденных коров, ввиду разоблачения притворившегося невинным младенцем, а после разоблачения пообещавшего Зевсу: никогда не солгу, хотя и не обещаю всегда говорить всю правду (по: [Грейвс 1992: 44–45]).

Используют обман растения: борьба за существование заставляет растения на своем языке говорить неправду, прибегая к мимикрии, тем привлекая и завлекая. Нечего и говорить о животных: сменить камуфляж, сидеть в засаде, замечать следы, петлять, притвориться мертвым... Не лгут разве что камни, но и неживую природу люди видят в привычных категориях обмана, приписывая природе злые намерения и обвиняя ее в собственных заблуждениях.

В ситуации обмана участвуют автор сообщения А, адресат В, предмет сообщения С, намерение А сообщить не-С под видом С, процесс сообщения (говорение или поведение), наблюдатель, оценивающий С как сообщение с обратным знаком, как ложь, не-истину, неправду. Пока нет суждения наблюдателя, нет и обмана. Сообщение становится обманом, когда не-истина обнаруживается. Играет роль социальная весомость информации, широта круга людей, втянутых в ситуацию со стороны А или со стороны В. Значимо, на чьей стороне наблюдатель. Если наблюдатель «за А» (против В), то он оценивает А

положительно, восхищается его обманом. Если наблюдатель «за В», то он разоблачает А, клеймит его позором, изгоняет и т. д.

Условие успешного общения или даже самого его существования — презумпция истинности сообщений и доброжелательности говорящего. Поэтому не-истина притворяется истиной и добром, выступает под видом истины и добра, а получатель В склонен доверять сообщению. Истина и правда не абсолютны, это то, что признается за таковые наблюдателем, что ощущается как норма или близко к норме в его культуре.

Человечеству свойственно использовать обман в борьбе за существование, за передел зон влияния, за власть. Здесь каждая из сторон, претендуя на ценность высокого социального уровня, попеременно обманывает и обманута.

С понятием обмана в общем связывается отрицательная оценка, обманывать — дурно, потому что обманутому плохо. Но если отвлечься от сочувствия к обманутому, то в ряде ситуаций обман вызывает наше (обывательское или гражданственное) одобрение. Обман врага похвален с точки зрения интересов государства. Читая сказки и рассказы о войне, мы удовлетворены, когда «наши» достигают победы над врагом с помощью обмана; люди склонны наслаждаться механизмом обмана и радоваться тому, что враг глупее, чем «наши».

Одобряется обман в некоторых философских теориях государства. Например, Константин Леонтьев, для которого государство — скрепляющее начало, форма, «деспотизм внутренней идеи, не дающий материи разбегаться», допускал «лукавство в политике» во имя жизненной и исторической силы в государстве (*Леонтьев К. Н. Сочинения: В 9 т. 1913–1914. Т. V. С. 333 по [Зеньковский 1989/1: 456]*). В житейских ситуациях оправдывается «лукавство» в отношении «неблизнего». Интересно, что соответствующая заповедь Моисея относится только в ближнему: *не послушествуй на друга своего свѣдѣтельства ложна* Исх 20.16 (по Острожской Библии 1581 года). Эта заповедь с древнейших времен стала принципом правосудия. На ней строятся философские системы, в которых различается любовь к ближнему и любовь к дальнему, «человечеству».

В древнерусских текстах, пронизанных христианским восприятием мира, ситуации обмана можно условно разделить на два типа — обман бытовой и обман идеологический.

Рассмотрим ситуации обмана в текстах, где обсуждаются не догматы веры, а поведение людей. Повесть временных лет — начальная часть русских летописей, дает развернутую картину поведения людей (в основном князей) в ситуации лжи и обмана. В вопросе передела власти и дележа земель применялась как прямая сила оружия, так и «кривая», виляющая сила ума (коварство), главной разновидностью

которой является обман — как бы сила с обратным знаком, тайное оружие, приносящее победу. В ранней письменной истории Руси отражена борьба между ближайшими родственниками, «ближними». Поскольку русская летопись с самого начала была делом государственным, то обман как оружие против врагов-«ближних» летописцем осуждается редко.

Святая Ольга находчиво обманула Константина Багрянородного (955 г.), пообещав выйти за него замуж. «Перехитрила ты меня, Ольга», признается император, восхищаясь умом Ольги². Вернувшись домой, Ольга обманула императора еще раз, не прислав полагающихся по этикету подарков. Далее следуют известные рассказы о мести Ольги древлянам за убитого мужа (945 г.): трижды она обманом завлекала наивных древлян, жестоко убивала их послов, наконец обманула осажденных в Искоростене (946 г.), завладев всей древлянской землей. Древляне представлены в летописи доверчивыми простаками, а Ольга мудрой правительницей.

Святитель русской земли Владимир действовал силой в сочетании с обманом. В сюжете его успешной борьбы с братом Ярополком (980 г.) на одном листе рукописи более десятка употреблений лексики лжи (лъсть, лъстити, лоукавствовати), несколько обращений воеводы Блуда к Ярополку в прямой речи, содержащей ложь. Этот сюжет единственный в ПВЛ, где летописец осуждает князя, ссылаясь на Псалтирь: О злая лъсть человеческая! Как и Давид говорит: ест хлеб мой и поднял на меня лъсть (Пс 40.10). И еще сказал Давид: муж кровожадный и коварный не доживет до половины лет своих (Пс 54.24). И еще: языками своими лъстахуся. Осуди их, Господи, да откажутся от замыслов своих (Пс 5.10). За цитатами следует комментарий от летописца: съветъ золъ, иже свещеваютъ на убийство (= зол совет тех, кто толкает на кровопролитие). Так и Блуд предал князя своего, говорит летописец, получив от него много добра: се бо лѹкавьствоваше (коварство задумал) на князя своего лъстью (обманом). Блуд затворился с Ярополком, лъста ему, он замысли лъстью (= придумал хитрость) погубить Ярополка, давал ему советы, противоположные обстановке: сначала — не излазити на брань из града, а потом — бежать из Киева в Родну, якобы для спасения. Владимир осадил Родну. Последний коварный совет — идти из осажденной Родны к Владимиру с предложением мира. Далее следует комментарий летописца: лъстя под ним, се рече (= обманивая его, говорил это). Простак Ярополк не послушал дель-

² Упоминаемые ниже сюжеты и цитаты из ПВЛ приводятся по [Лаврентьевская летопись, вып. 1] с указанием года записи. В правописании источника дается только лексика обмана.

ных и искренних советов Варяжка, послушал предателя-обманщика Блуда, пошел к Владимиру — и был убит. Обманутый в накладе.

Хрестоматийный сюжет о Белгородском киселе (997 г.) изложен без оценки летописцем (нет слова обман). Вольно́ было печенегам верить устроенному для них театру. Симпатии автора на стороне белгородцев: цель достигнута, осада снята, печенеги обмануты. Плохому плохое — и тут одна из антиномий христианского вероучения.

Летописный рассказ о Ярославе Мудром (1036 г.) представляет победу князя сочувственно даже тогда, когда он посадил брата Судислава в темницу во Пскове, поверив ложной клевете на него воевод. Теми же методами уничтожали друг друга сыновья Ярослава (1073 г.).

Обман на уровне поведения отдельной личности в быту иллюстрирует светская повесть XV в. «О Петре и Февронии» [Гудзий 2002: 233–241], по жанру сказка, построенная на состязании хитростей. В состязании между прелестным змием и верной женой реализовался двухуровневый обман: неприязнивыи прелестник прелщен добрым прелыщением от верной жены. Вторая часть повести — женитьба Петра и Февронии — построена на взаимном обмане. Сначала Петр, не собираясь жениться на Февронии, дает ей ложное обещание, получает исцеление и уезжает, нарушив обещание. Однако благоверная Феврония, предвидя обман, перехитрила князя, излечив его рану не до конца и тем заставив его вернуться.

Там, где обсуждаются положения христианской веры, не-истиной признается всё не- (до- и вне-) христианское. Задача христианства — сохранить чистоту догматов. Христианская истина = вера утверждается в борьбе. Христианская истина во все века христианства утверждается подчеркиванием ее единственности. Это находит выражение в построении предложения, сообщению предшествует утверждение его истинности. См., например, евангельскую формулу «Истинно говорю вам...»: «И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, отречешься от меня» (Мк 14.30); «истинно говорю вам, один из вас, идущий со Мною, предаст Меня» (Мк 14.18) и др. места³.

Средневековое христианство разоблачает, вскрывает, обнажает не-истину нехристианских учений всем арсеналом выработанных и заимствованных стилистических и риторических приемов. Проходная

³ Ср. для современного русского языка: «Однако в начальной позиции модусы истины или лжи употребляются редко. Автономное высказывание не нуждается в такого рода старте» [Арутюнова 1998: 431]. Однако в религиозных контекстах отмечен не только старт, но и финиш модуса истины: см. аминь [Там же: 548].

гема вероучительных христианских произведений — уличение ересей во лжи, с широким использованием пейоративной лексики. Соответствующая тематика наиболее полно представлена в переводном древнерусском памятнике — Временнике Георгия Монаха (ВГМ)⁴, или Хронике Георгия Амартола (по самоназванию ее византийского автора) (ХГА).

Интересно уже само предисловие к этой хронике (105–107). Это манифест, утверждающий истину христианства и обличающий ложность всех до- и внехристианских построений. Противопоставление истины — лжи дается по нескольким признакам.

Внешние (нехристианские) писатели, хронисты, философы сочиняют свои произведения для рукоплесканий, для внешнего впечатления — не заботясь об истине (105₈₋₉). Напротив, книжица Амартола содержит только непритязательную и неукрашенную истину (106₈₋₉). Потому что для христианского писателя: «волити бо с правдою утесняться, некли съ лжею раширяться» (106₁₁₋₁₂)⁵. Расширяться значит быть многословным. Утесняться лучше — потому что духовные писатели ищут не цветистых, туманных, искусных, хитроумных слов, а слов, светящихся истиной, пусть сказанных и на варварском языке (106₂₆₋₂₇).

Как бы между прочим, в придаточном предложении, Амартол еще раз укоряет внешних писателей: складеными козньми (в речах хитроумных) хитрые и злые люди с помощью всяких уловок скрывают ложь, (обманывая) невнимательных (простаков).

В конце предисловия программно заявлен перечень учений, которые в ХГА разоблачаются как ложные, при этом каждому учению дана отрицательная истинностная и этическая оценка:

Еретические басни (складаник басньных вѣръ) эллинских философов (107₅₋₆). Басни (мифы) — это не-истина.

Противоречивые рассказы различных народов. Несогласованные чюдословия (ἀσυνφώνους τερατολογίας *асс. pl.* «несогласованные небывлицы») = ложь.

Прелукавое (πρελούκαου) манихейское бесовство (107₁₅) — свободный перевод, замена отрицательной оценки (παμβέβηλον *асс. БЗ*₁₃

⁴ Перевод XI в., самый ранний список XIV в. Далее в круглых скобках ссылки на страницы и строки издания [Матвеевко, Щеголева 2006]. Параллельный греческий текст цитируется по изданию [Boor 1904] с указанием номера страницы с сиглом Б. Русский перевод по [Матвеевко, Щеголева 2000].

⁵ В греческом тексте иначе: глагол отыменной, от имени Πλάτω Платон: πλάτωνίζειν *inf.* ‘говорить, как Платон’, ‘платонничать’. Переводчик увидел в чем несуществующее *πλάτωνίζειν как если бы инфинитив был образован прямо от πλατύς ‘широкий’ Получилось новое, вполне логичное противопоставление. Обсуждается в [Истрин II: 158].

«мерзкое») на лексему из арсенала лжи: прелукавый уходит от прямого = истинного пути в кривизну, следовательно, от истины ко лжи.

Нечестивых (*ἄλλοτρίων*) и лживых иконоборцев шибеная ересь. Русский книжник усилил разоблачение, добавив и лживых как самый сильный довод против иконоборцев. Мысли иконоборцев в греческом оценены как *ληρήματα καὶ βληχήματα* БЗ₂₀ «болтовня и вред». В переводе **БЛАДЬСТВІА вин. мн. и пагоубоу** (107₂₂).

Общее осуждение передано в восклицании: О заблуждение и безумие обманутых и пустомыслящих! В испорченном на нескольких уровнях тексте славянского перевода (107₂₄₋₂₅) сохранилось СЪБЛАЗНѢ (*ω τῆς ἀπάτης gen.* 'обман, ложь, хитрость') и СОУКѢТНО СМЫСЛАЩИМЪ (*ματαιοφρόνων* 'суетно смыслящих'). Суетомыслие, пустомыслие — сама суть лжи⁶.

Зломысленные сарадины и их смеха достойная вера и их людей **БЛАЗНИТЕЛЬ** (*λαοπλάνου gen.*) лжепророк (*ψευδοπροφήτου gen.*).

В конце повтор: принцип христианской хроники — ясность смысла, ибо красота слога, разнообразие речи тех, кто любит рукоплескания, вредит обдумыванию и затемняет смысл.

Как видно, предисловие уже представляет почти весь набор лексики обмана и выдумки: **лжа, баснь, чудословие, суетомудрие, прелукавое бесовство, бладьствие, съблазнѣ, блазнитель, лжюпророкъ.** Свойства лжи в ХГА противопоставлены истине. Цитатой из [Феодорит. Элл. V // PG 83, 957A] ложность учения Демокрита доказывается тем, что он вступал в противоречие с думающими иначе. Это главный аргумент неистинности: учения одних опровергают мнения друг друга как ложные, ибо ложь не только с истиной борется, но и сама с собой, истина же согласуется сама с собой и противоречит только лжи: **ИБО ЛЖА НЕ ТОЧЬЮ СО ИСТИНОЮ БОРЕТЬ(С) НО И САМЪ СЕБѢ ВЬ(С) • НО ИСТИНА СОГЛ(С)НО СЕБѢ ТОЧЬЮ ИМА(Т) • ЛЖИ ПРОТИВНИКА** (174₅). Ложь запутанна, многословна, разнообразна — благодать истины проста. Ложь расширяется — правда утесняется. Суетомудрие, суетословие лжи противопоставлено сердечному зрению истины. Ложь — темнота, истина христианства — свет.

В глубоко идеологизированной ХГА есть и сюжеты с чисто бытовым обманом. В религиозной борьбе такое же отношение к обману, как и в любой другой борьбе. Так, в рассуждении Исидора Пелусиота [Исидор. Посл. IV, 206] соединены две противоположные оценки обмана: обман людей кумиротворением как языческим заблуждением осуждается, обман кумиротворцев с целью их убийства приветствуется. Рассказы об Артемиде — выдумки обманщиков. Эллины,творя-

⁶ См. [Арутюнова 1998: 547].

щие кумиры, внушали, что кумир Диопет слетел с неба — это ложная и суетная молва. Кумиротворцев и убивали, чтобы никто не узнал, что кумир рукотворен, каковую лживую молву вкладывали обманутым людям в уши. «И этот обман смущал город Эфес. А о том, что кумиротворцев убивали, свидетельствует случившееся совсем недавно в Александрии Египетской. Ведь Птолемей собрал художников, чтобы они сделали кумир Артемидин, а после (окончания) работы выкопал огромную яму и лестъ скривъ (скрыв обман); повелел художникам в ней повечерять. И когда они там вечеряли, засыпаны были и умерли, достойную мзду за свое злодеяние получив. Он это сделал, желая скрыть тех мастеров и чтобы мнимого бога считали нерукотворным» (594₁₀₋₁₂). Автор послания радуется гибели кумиротворцев: они приняли достойную мзду за свое злодеяние (сотворение кумира Артемиды).

Выдумка. Автор выдумки не имеет цели обмануть собеседника, он сам обманывается, заблуждается, принимает не-истину за истину: выражение *φαντασίαι γίνονται αἱ πλείους ψευδεῖς* («образы фантазии в большинстве обманчивы») приписывается Аристотелю.

В контексте ХГА тем не менее выдумка не бывает невинной. Речь всегда идет о теоретических построениях, отклоняющихся от христианства, о «ересях». В христологии подвергаются резкой критике представления о Христе, находящиеся вне рамок символа веры (который утвердился не сразу). О таких говорится: они выдумывали, что Христос...; они пустословят, что... он призрадает, богохульствует, злонамеренно говорит.

О Евтихии, христианском деятеле времен Халкидонского собора, Феодор Раифский [Феод. Раиф. Вопл. 4, 189₂₄–190₉] говорит: «И еще одно тщесловье призьдаше» (492₁₁) = *παρέπλαττεν* Б472 от *παράπλᾱττω* букв. ‘при-лепить, около-лепить’, ‘лепить в воображении’, ‘выдумывать’ из исходного ‘лепить’. Славянский язык отразил тот же ход мысли, приспособив для этого лексему зьдати. Нейтральная или даже положительно воспринимаемая без приставки (зьдати — хорошо), с приставками она теряет созидательность: призьдати = выдумывать.

Выдумка, которая ведет к поклонению идолам, обманывает народ, отвлекает от истинной веры. Обман и выдумка сливаются.

II

Славянская лексика обмана и выдумки. Непроизводные основы лъжь и лъжа (жен. р.) представляют собой заимствование из древне-нем., восходят к ‘отрицать’ [Фасмер II: 469], лгать, серб.-хорв. *лагать*. Гот. *liugan* ‘отрицать’, ‘отвергать’. Д.-в.-н. *lugi* ‘ложь’.

Сущ. **лъжь** и производные в славянском языке имеют устойчивое значение: **оусоуѣтишася оубо лжюще великаго Костантина глаголюще тако къ оумртвню хръстиса** (540₆).

Лексема **лъсть** восходит к гот. *lists* 'хитрость, козни' [Фасмер II: 487]. В славянских языках имеет широкое словообразование и развитие значений в сторону обмана, лжи, зла [Срезневский II: 68–69; СДРЯ IV: 449–451]. Сущ. **лъсть** имеет суффиксальные образования **лъстькѣ, лъстьба** в тех же значениях. Весьма широко употреблялся глагол **прельстити**. Самсон был обманут первой женой: **прельщенъ бѣ** (230₃). Так и вторая жена, **словесы лестными прельстивши** (230₆) «словами лживыми обманув» (λόγοις ἀπατηλοῖς ἐξαπατήσασα B152₁₉), радость доставила врагам его. Этимология греческой основы восходит к идее кривого пути: **πάτος** «путь»; **ἐξαπατάω** «свести с пути», сравнимое с осудительным рус. *беспутный*.

Сущ. **прелестъ** (ὁ πλάνος, ἀπάτης, τὸ πανούργον) по значению равно бесприставочному **лестъ**. Афанасий Александрийский [Афан. Вопл. Гл. 47 // PG 25. Col. 180B.] разоблачает эллинские учения: И было все исполнено беззакония и нечестия и повсюду **прелестъ** (ἀπάτης B71₁ 'обман, ложь') **соуктныхъ бѣ** (166₉). Изобретатели пустых учений впали в великую **прелестъ** (174₃₂) = ὁ πλάνος B83₁₂.

Сущ. **прелестъ** имеет вариант **прельстькѣ**, ср. (139₂₄).

Прил. **прельстьнын** (прелестный) наследует весь семантический заряд существительного.

Когда царь Юлиан Отступник путешествовал по Элладе, один нечестивый человек **прелестьныа** (ἀπατεών 'лживых') **бѣсы призва** (549₄). Тот же Юлиан в Персии, обольщенный (πεφενακισμένος B544₁₆) волхвами-магами, поверил им, двинулся на персов (557₅), где был водим персянином, **прельстившаго и** (557₁₅) ← ἀπατεῶνος B545₄.

Средневековое **прельстьнын** в новое время развило значение, как кажется, прямо противоположное исходному: современное **прелестный** стало эпитетом трепетно прекрасного, вызывающего восхищение. Невозможно сказать, когда именно произошло это смысловое преобразование, как рано оно появилось в лексеме **прелестный**. Но есть исследование В.В.Виноградова [Виноградов 1999: 982] о значении этого прилагательного в начале XIX в. (в связи со стихами главы 7.52 Евгения Онегина: *У ночи много звезд прелестных, / Красавиц много на Москве, / Но ярче всех подруг небесных / Луна в воздушной синеве*). Интересно повторить здесь приведенную автором цитату из «Рассуждения о старом и новом слоге» А.С.Шишкова: «Прелестными звездами называются те воздушные огни, которые, доколе сияние их продолжается, кажутся нам быть ниспадающими звездами, кои потом исчезают...». Далее Шишков приводит параллель из НЗ: «сравни Послание Иуды 1.13, где нечестивые люди,

которые предаются обольщению мзды, — это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, дважды умершие, свирепые морские волны, звезды прелестные, которым блюдется мрак тьмы на веки⁷. В противоположность сему под именем непрелестных звезд разумеются настоящие, не обманчивые звезды. Так в Патерике преподобные отцы приравниваются к звездам непрелестным».

Итак, звезды прелестные — это звезды обманчивые, в соответствии со значением лексемы в текстах XI–XIV вв. В «Словаре Академии Российской» 1809 (2-е изд.), ч. 2, с. 829 на прил. прелестный отмечено иное приравнивание, но тоже не имеющее ничего общего с современным значением: «Звезда прелестная. То же, что звезда блудящая, планета».

В. В. Виноградов предполагает в пушкинской строке «У ночи много звезд прелестных» двойничество, «омонимию», игру старого, церковно-славянского и нового, русского значений, как и в стихе из черновика первой главы «Евгения Онегина»: *Мы алчем жизнь узнать заране, / И узнаем ее в романе... / Прелестный опыт упреждая, / Мы только счастью вредим* (1.9). В. В. Виноградов угадывал здесь процесс появления омонимов *прелестный-1* и *прелестный-2*, когда столкнулись значения двух языков, ц.-слав. 'обманчивый' и рус. 'привлекательный, приятный', так что в XVIII в. уже сосуществовали омонимы ц.-слав. и русского слов, а далее первый устранился⁸. В гипотезе В. В. Виноградова есть одно слабое место: не удостоверено появление русского, современного значения. Возможно, будет лучше предположить естественное развитие второго значения из первого. Отрицательное отношение к тому, против чего предостерегает церковь, то, что привлекает и завлекает с элементом обмана, ведет в неправильное учение и влечет христианина к гибели, постепенно утрачивается. Слово, которое на протяжении всего славянского средневековья означало своего рода жупел, сохраняет первую часть своей семантики, притягательность, на почве чего возникают положительные коннотации. Прежнее значение уходит в глубину культурного пласта и вспоминается только при очень пристальном его анализе.

Лексемы *блaзнѣ*, *сѣблaзнѣ*. Все этимологии *блaзнѣ* неопределенны, приписанные по словарям значения разнообразны. Даже [Фасмер I:

⁷ Добавим, что так переводится это место Посл. Иуды 1.13 в Острожской библии 1681 г., которая опирается на более раннюю традицию славянских евангельских переводов.

⁸ Н. В. Перцов в статье 1998 г. «Сонетный триптих Пушкина» / Московский пушкинист V, с. 420 сл. подобным образом видит ответ ц.-сл. значения в «прелести» стихотворения «Мадона».

172] (в редакции Трубачева) здесь (редчайший случай!) дает определение в форме сослагательного наклонения: если старослав. **блaзнѣ** 'ошибка, заблуждение' значило первонач. 'блуждающий огонек', то ср. с латыш. *blāzt* 'мерцать', *blāzma* 'мерцание, блеск, отражение'. Согласно [СДРЯ XI–XIV/1: 227], **блaзнѣ** 1. 'ошибка, заблуждение', 2. 'соблазн, искушение, обман' В качестве дополнения к говорил **блaзнѣ** имеет бесспорное значение 'обман'⁹.

Типичное употребление во ВГМ: В древности считали богами тех, кого называли богами их стихотворцы: Дия и Крона и Аполлона и героев и **блaзнaхочуcа** (166₂₃) = *ἐπλανῶντο* Б71_{15–16} 'обманывались-ошибались'.

Людей вводили в заблуждение изобретения, изощрения ума (*φαντασία*), которые шли вразрез с христианством, назывались они **блaзны** и **соблазны**. Так понятия обмана и выдумки, разделенные в греческом языке, сливаются в одном славянском **блaзнѣ**. Вот один из диагностирующих контекстов. Нектанеб, египетский царь, предугадал гибель Египта, сбросил царские одежды, бежал в Македонию. Там, **блaзны** (*φαντασίαc acc. pl.* Б25) некие творя и гадания (*μαγείαc*), и **тѣхъ ради съблaзнѣ** (добавка переводчика) втерся в доверие к Филиппу и Олимпиаде и родил Александра царя (131₁₆). Здесь **блaзны-выдумки** ситуативно равны обманам.

Вернемся к обозначениям планет. В переводном ВГМ это **блaзненные** и **соблазненные** звезды. Сиф, сын Адама, среди прочего дал имена пяти **звездъ блaзньныхъ** (116₂) = *πλανήταιc dat. pl.* Б10₈. «Первую звезду **съблaзньноую** (*πλανήτην acc. sg.* Б10₈) он назвал Кроном». Греч. адъективированный субстантив сохраняет активное значение: *πλανήτη* 'блуждающая'. В переводе получилась метафора: **блaзненные** звезды — видимо, они **соблазнены** кем-то, сбились с пути, стали блудящими, как думали составители Словаря Академии Российской. А может быть, они кого-то **соблазняют**, вводят в заблуждение, заставляют ошибаться. Планеты окружены ореолом и порицания, и привлекательности¹⁰.

⁹ Труднее с определением значения соответствующих глаголов. Согласно материалам [Срезневский III: 641–642], акт. **съблaзнити** (вести в грех, обидеть) и возвр. **съблaзнитиса** (поддаться соблазну, согрешить, ошибиться) семантически разведены, у возвр. **съблaзнитиса** не указано значение 'обидеться', видимо, его нет в следующем проблематичном месте ВГМ: как бы не **обиделись** (*σκανδαλισθῶσιν pass.*) Аркадий и Гонорий цари **не да тако съблaзнати са** (539₁₅). Развитие значений в греческом глаголе шло от «обмануть» к «оскорбить», «обидеть». В слав. **съблaзнитиса** такого пути нет, семантическая калька держит значение 'ошибиться', но не 'обидеться'

¹⁰ Адекватный греческому перевод **блуждающие** звезды появился позже. Эпитет приобрел романтический ореол, дал название роману Шолом-Алей-

Приставочные *облазнѣ, облазнити, облазнѣныи* с тем же значением [Срезневский II: 515] сохранились в народном языке (Даль: *облазнити* = *соблазнить*).

Основные средневековые лексемы с семантикой выдумки: *мечѣ-та, мечѣтъ, призракъ, призоръ, призрачик, мечетнын призракъ, при-зидати* 'придумывать', ткать паучью ткань.

В основе гнезда *призракъ, призоръ, призрачик* *собр.* лежит зрительный образ: это нечто почти-видимое, около-видимое. Не сохранившиеся до нового времени образования *призоръ, призрачик* и в средневековые были редкими.

В Житии Андрея Юродивого редкое сущ. *призрачик*: «Ко мне приступает лукавого демона и прещение (= угрозы) и *призрачик* (φαντασία *pl.*), но имею Бога помощником» [Молдован 2000: 326].

Во ВГМ редкое сущ. *призоръ*: *ѣли нѣци по вбразоу добраго призора* (φαντασίας) *разоумѣти* *начаша*. (157₁₀) ← κατὰ <στέρησιν> τῆς τοῦ καλοῦ ἐπονοεῖν B58₁₀₋₁₁ = «люди, потеряв образ доброго, несуществующее *выдумывать* начали». Здесь «выдумка» противопоставлена добру, «выдумка»-*призоръ* занимает логическое место не-добраго.

Основа *мечѣта, мечѣтъ* сводима к 'мигать, прищуривать, трепетать, мерцать' (на другой ступени чередования) лат. *mico* [Фасмер II: 614]. В.В.Виноградов в этой связи приводит наблюдение из одной старой работы (Ильинский. Славянская этимология. 1918, т. 23, с. 184): «Эти слова получили свой теперешний смысл через посредство значения 'подмигнуть, неясно и неопределенно указать' Сюда же и лат. *micare* 'трепетать, шевелиться, мерцать' Центр значения, по Ильинскому, нечто неопределенно и неясно мигающее или мерцающее. Из такого значения одинаково легко могли развиваться как *призракъ, наваждение*, так и *фантазия, неопределенная и неясная мысль*. У Максима Грека в рассуждении о грамматике: „Грамматика — опаснейший и твердо стойкий, не мечтаемый ум“» [Виноградов 1999: 774–775].

Редкое *мечѣтъ муж.*: «Люди дивились волхвованию и пифии из-за *тыя мечты* (τῆ φαντασία *dat. sg.* B71₅, 9). Сейчас *нищезе мечетъ нхъ*». Для переводчика¹¹ формы жен. и муж. рода равноправны. Второе вполне обычно. См.: «Сейчас когда исповедаем единого Бога истинного и всей твари зиждителя, Троице поклоняемся и служим, людей от *идольския прельсти* (τῆς... πλάνης B69₁₁ „от заблуждения“) пол-

хема «Блуждающие звезды», дал мандельштамовское «чужих миров блуждающие сны» и «Блуждающие сны» А. Жолковского.

¹¹ Или справщика. Форма муж. рода могла возникнуть в процессе тиражирования ВГМ.

ностью отводя и несловесного мечта (φαντασίας Б69₁₂ „обман“ или „выдумка“?)» (165₄).

Василий Великий разоблачает до-христианские, «эллинские» учения так: «Не познав Бога, они не смогли придти к единой мысли о разумной причине происхождения всего, но к изначальному незнанию присоединили последующее. Поэтому одни прибегали к вещественным началам, возлагая причину всего на стихии мира; другие же измечташася (147₂) ← ἐφαντάσθησαν Б43₂ (= *выдумали*), что видимая природа состоит из нерассекаемых и неделимых тел, (обладающих) весом и передвигающихся, так что рождение и разрушение происходит, когда неделимые тела то сходятся друг с другом, то разлучаются».

Далее учение об атомах оценивается Василием как неистинное: **Но обаче кросна паоуча ткоутъ таковыхъ пишюще** (ἀράχνης ὑφαίνουσιν ‘ткут’ от ὑφαίνω ‘ткать’, далее ‘замышлять’, ‘придумывать’), предполагая столь зыбкие и слабые начала неба, земли и моря. Ибо они не сумели сказать: «В начале сотворил Бог небо и землю» [Василий Вел. Шестоднев I // PG 29. Col. 8A].

Античный образ *ткать паутину* имеет аналог в русском языке: *плести небылицы*, что ты плетешь, сплетни. *Плутать*, *плут* и *плести*, *оплести* считаются однокоренными, по контаминации путать + плутать [Фасмер III: 288]. Это хорошо видно по укр. *плутати* ‘путать’ и польск. *plętać* ‘путать, смешивать’

Концепт выдумки (без временной соотнесенности) в материальной оболочке мечта продолжает жить в народном языке. См. у Даля: «Мечта — то, чего нет в настоящем, несбыточное. Игра мысли, пустая выдумка. Измечтался, на дело не годен». См. диалог Собакевича с Чичиковым. На довод Собакевича, что мертвые лучше живых, потому что живущие «мухи, а не люди», Чичиков отвечает: «Да все же они существуют, а это ведь мечта». Собакевич: «Нет, не мечта! Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей не сыщете <...> Нет, это не мечта! <...> хотел бы я знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту!» (Мертвые души. Гл. 5). Собакевич прав. Он утверждает реальность Михеева против мечты.

В современном языке мечта обычно относится к будущему.

Нейтральные глаголы речи в древнерусском, как и в современном языке, могли приобретать модальное значение, указывать на неистинность сообщения. Налет недоверия к правдивости (истинности) и даже уверенности в неправдивости есть в глаголах *говорить на кого-н.*, *наговорить*, *оговорить*, *намлѣвити*, *думать*, *выдумывать*, *додуматься*. Вот что пишет о глаголе наговорить В.В.Виноградов: «В древнейших памятниках (например, в Хронике Георгия Амартола) употребляется как синоним южнославянских клеветати, наклеветати, осу-

дители, оглаголати. Миклошич отмечает в южнославянских текстах наговорити в значении убедить (*persuadere*), наговор (suasio). В значении же наклеветать **наглаголати** известно только древнерусским памятникам (ср. также **намагъвити**). Очевидно, южнославянское значение однокоренного слова не прививается в силу сопротивления со стороны русского омонима» [Виноградов 1999: 933].

Во ВГМ единично отмечено **съглаголати** в значении, близком или равном **сълагати**, о чем свидетельствует замена одного глагола на другой в списках памятника: «второй грех Каина **лъсть нмъже съгълаъ** (/сълага) **братоу изиде вѣ на полѣ**» (115₆) из [Василий Вел. Посл. 260]. Гапакс **съглаголати** не удастся сразу отнести к проявлениям южнославянского языка хотя бы потому, что он отмечен в большинстве русских списков; при этом в Летописи — болгарском переводе этого места **сълага** (см. комментарий в [Матвеев, Щеголева 2000: 348]). Важно, что сговорить (угговорить) со злым намерением естественно понимается как ложь и обман и квалифицируется как грех.

По происхождению нейтральное **клеветати** (διαβάλλω) [Фасмер II: 245] издавна связывается с ложным наговором. Письма в церковные инстанции во ВГМ называются **клеветы**, в них предполагается злое намерение, и потому они не должны быть принимаемы на веру. Клеветники резко осуждаются. Контекст ВГМ, где оценочные клеветник и лжец выступают в синонимической паре, если и не приравнивает значения этих слов, то все-таки бросает на лексику клеветник ответ лжи: «Если же нелицеприятно судите, то распознайте **клеветящаго** на ближнего своего, (что) его **свѣдѣтельствик** лжа, и объявите его **клеветника** и **лжесловца**» (528₁₇₋₁₉) по [Пост. апост. II.42].

При доказательстве правоты христианского учения отцы церкви и церковные писатели часто пользуются наглядными образами прямоты и простоты в противопоставлении с кривизной и лукавством лжи и заблуждений.

Человечество тем не менее блуждает на кривых путях: «И во всемирной летописи человечества много есть целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил как ненужное. Много совершилось в мире **заблуждений**, которых бы, казалось, теперь не сделал и ребенок. Какие **искривленные**, глухие, узкие, непроходимые, **заносящие далеко в сторону дороги** избирало человечество, стремясь достигнуть **вечной истины**, тогда как перед ним весь был открыт **прямым путем**, подобный пути, ведущему к великолепной храмине, назначенной царю в чертоге! Всех других путей шире и роскошнее он, **озаренный солнцем** и **освещенный всю ночь огнями**, но мимо его в глупой темноте текли люди. И сколько раз, уже наведенные нисходя-

шим с небес смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди бела дня попасть вновь в непроходимые захоlustья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели-таки добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга: где выход, где дорога? Видит теперь все ясно текущее поколение, дивится заблуждениям, смеется над неразумием своих предков, не зря, что небесным огнем исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква, что отовсюду устремлен пронзительный перст на него же, на него, на текущее поколение; но смеется текущее поколение, и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки» (Н. Гоголь. Мертвые души. Гл. 10).

ЛИТЕРАТУРА

- Арутюнова 1998 — Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1998. С. 431.
- Афан. Вопл. Гл. 47 // PG 25. Col. 180B. — Athanasii Alexandrini Oratio de incarnatione Verbi // PG 25. Col. 95–198. Переизд. F. L. Cross. London, 1939.
- Boor 1904 — Georgii monachi Chronicon / Ed. Carolus de Boor. Leipzig, 1904. Переизд.: Ed. stereotypa ed. anni 1904. Corr. cur. Peter Wirth. 2 Bde. Stuttgart; Teubner, 1978. Vol. 1–2.
- Василий Вел. Посл. 260 — Василий Великий. Послание 260 // Patrologia Graeca (PG) 32. Col. 957B.
- Василий Вел. Шестоднев. I // PG 29. Col. 8A. — Basilii Caesariensis Homiliae 1–9 in hexaemeron // PG 29. Col. 3–208.
- Виноградов 1999 — Виноградов В. В. История слов. 1999.
- Грейвс 1992 — Грейвс Р. Мифы Древней Греции. М., 1992. С. 44–45.
- Гудзий 2002 — Хрестоматия по древнерусской литературе / Сост. Н. К. Гудзий. М., 2002 (по изд. 1962 г.).
- Зеньковский 1989 — Зеньковский В. В., прот. История русской философии. 2-е изд. Т. 1–2. Париж, 1989.
- Лаврентьевская летопись, вып. 1 — Лаврентьевская летопись, вып. 1 // ПСРЛ (Полное собрание русских летописей). М., 1962. Т. 1 (по изд. Л., 1926).
- Исидор. Посл. IV — Isidori Pelusiotae Epistolarum liber 4, № 206, 207 // PG 78. Col. 1300. Изд. 2000 г. Vol. 2. Epp. 1537, 1538.
- Истрин — Истрин В. М. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Пг., 1920. Т. I (Текст); 1922. Т. II (Греческие тексты. Исследование). С. 58; Л., 1930. Т. III (Словари греческо-славянский и славяно-греческий). Переизд.: Die Chronik des Georgios Hamartolos. Nachdr. von Bds. I–III (1920, 1922, 1930) der V. M. Istrin. München, 1972.
- Матвеевко, Щеголева 2000 — Матвеевко В. А., Щеголева Л. И. Временник Георгия Монаха. Русский текст, комментарий, указатели. М., 2000.

- Матвееенко, Щеголева 2006 — *Матвееенко В. А., Щеголева Л. И.* Книги временные и образные Георгия Монаха. Т. 1. Ч. 1–2. М., 2006.
- Молдован 2000 — *Молдован А. М.* Житие Андрея Юродивого в славянской письменности. М., 2000.
- Перцов 1998 — *Перцов Н. В.* «Сонетный триптих Пушкина» // Московский пушкинист V. М., 1998.
- Пост. апост. 2.42 — (Постановления апостольские. В Сирии или в Риме ок. 380 г.). Clemens I, papa. Constitutiones apostolicae lib. 1–8 // PG 1. Col. 555–1156. Рус. пер.: Постановления св. апостолов чрез Климента, епископа и гражданина Римского. Казань, 1864.
- СДРЯ XI–XIV вв. — Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. 1–7–. М., 1988–2004–.
- Срезневский — *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I–III. СПб., 1893–1903. Фототипическое переиздание: М., 1958, 2003.
- Фасмер — *Фасмер М. Р.* Этимологический словарь русского языка: В 4 т. Изд. 2-е, стереотипное / Пер. с нем., доп. чл.-корр. АН СССР О. Н. Трубачева. Под ред. Б. А. Ларина. М., 1986.
- Феод. Элл. V — *Феодорит.* Лечение эллинских недугов, или познание евангельской истины из эллинской философии: Theodoretī Cyrrhensis episcopi opera omnia. Graecarum affectionum curatio // Patrologia Graeca 83. Col. 941A.
- Феод. Раиф. Вопл. 4, 189₂₄–190₉ — Феодор, пресвитер Раифский (650 г.). Theodori Presbyteri Rhaithuensis liber de incarnatione // PG 91. Col. 1483–1304 / Изд.: F. Diekamp, Analecta Patristica [Orientalia Christiana Analecta 117. Rome: Pontificum Institutum Orientalium Studiorum, 1938 (repr. 1962)]: 185–222.

Н. В. ГАТИНСКАЯ

ИЗ ЛЕКСИКОНА ДОСТОВЕРНОСТИ: ФОРМА *ВЪ ОЧИЮ* В ДРЕВНЕРУССКИХ ПАМЯТНИКАХ

1.0. В работе прослеживается семантико-грамматическая история лексемы *воочию*.

Обращение к лексеме *воочию* обусловлено интересом к категории достоверности, а именно к тем языковым средствам, которые обозначают соответствие действительности, истинность.

Чтобы выяснить, выражает ли эту семантику лексема *воочию*, обратимся к словарям и затем, анализируя языковой материал, перепроверим дефиниции. Толкования этого слова в словарях не может нас удовлетворить. Так, в одних толковых словарях русского языка первичное значение этого слова объясняется через отсылку к его происхождению из предложно-падежной формы существительного [Словарь Ушакова 1: 163]. В других словарях первичное значение слова *воочию* ‘своими глазами’ представлено в узком употреблении однотипными контекстами: *то, о чем читали и слышали, мы увидали воочию* [МАС 1: 210; БАС 2005/3: 127]. В переносных значениях употребление слова *воочию* во всех словарях иллюстрируется патетическими высказываниями¹. Судя по примерам XX века, лучшие времена для этой единицы уже миновали. Поэтому обратимся к историческим словарям. В современных исторических словарях СлРЯ XI–XVII и СлДРЯ даже в рамках словарной статьи *око* форма *въ очию* отдельно не рассматривается. В СлРЯ XI–XVII в статье *око* форма *въ очию* представлена в устойчивых выражениях: *въ (во) очехъ (очѣхъ), въ очию (что-либо делать)* с толкованием ‘на глазах, на виду, перед глазами’ [СлРЯ XI–XVII/12: 328]. Таким образом, значение формы *въ очию* объясняется через перцептивность.

Но предварительный анализ показал, что связь формы *въ очию* с объективной визуальностью сильно преувеличена. Сравнение употреблений двух форм двойственного числа: формы местного падежа *въ очию* и словоформы творительного падежа *очима* по Картотекам Словарей ИРЯ (КДРС и КСДР) — показало, что в древнерусских текстах визуальность, а именно значение инструмента визуального наблюде-

Автор благодарит Н. К. Онипенко за конструктивные замечания к работе.

¹ Например, в значении ‘наглядно’: Ленинградская страда *воочию* показала всему миру духовное величие нашего народа [ССРЛЯ 2: 660].

ния, — регулярно выражалось формой творительного падежа с глаголом *очима видѣти (зрѣти)*. В то время как форма *въ очю* в этой роли не выступала.

В работе будут анализироваться примеры из древнерусских памятников, в которых представлена ситуация зрительного восприятия. Контексты примеров из Картотек проверены по источникам и расширены. Задача автора — анализ семантики формы *въ очю* в таких примерах.

1.1. Лексема *воочю* в современном русском языке относится к разряду наречий и восходит к древнерусской предложно-падежной форме местного падежа от формы *dualis tantum* *очи* [Жолобов, Крысько 2001: 57], которая совпадала со словоформой родительного падежа (*отъ очю, изъ очю*)².

1.2. Форма *въ очю*, как и наречия *очивѣсть, очевидно*, выражая достоверность, употреблялась в рамках текстов определенного жанра — в житиях. Именно древнерусское житие охарактеризовано Рикардо Пиккио как стилистически жесткий жанр с повторением ситуаций и обязательных словесных формул [Пиккио 2002: 48].

Жития существовали как отдельные памятники, а также были объединены в житийные сборники — в Четии-Минеи и Прологи. В них представлена сюжетная ситуация — описание чуда, которое называют явлением или видением. По словам специалиста по древнерусской литературе, видения пронизывают всю систему жанров и являются существеннейшими элементами агиографии, исторических сочинений, торжественного и учительного красноречия [Ромодановская 1996: 144]. В церковнославянском словаре Г. Дьяченко видение определяется как необыкновенное явление во сне или наяву [Дьяченко 1993: 76].

Во избежание путаницы мы перечислим те описания перцепции, которые в объект рассмотрения не входят. Это описания видений человеку во сне, в том числе рассказы о видениях с явленными людям иконами, а также отрывки из сочинений другого жанра — публицистического, — с описанием вымышленных автором эсхатологических видений.

В данной работе анализируются только контексты с описанием чуда, увиденного наяву.

² Как отмечено специалистами по исторической грамматике, формы двойственного числа на протяжении XII–XV вв. постепенно исчезали и заменялись формами множественного числа [Там же: 207]. Дольше других сохраняли старую форму названия парных предметов [Борковский, Кузнецов 1963: 204], к которым относятся парные части тела и парные органы человека. В письменной форме древнерусского языка эти дуальные формы сохраняются еще долгое время благодаря тому, что они входят в устойчивые синтагмы — формулы, постоянно воспроизводимые в текстах одного жанра [Колесов 1989: 11, 278].

Одна из целей создаваемого жития — привести убедительные доказательства святости умершего человека для последующей его канонизации. Основанием для признания святости служат зарегистрированные посмертные чудеса, которые совершил этот человек.

В описании увиденного чуда используются наречия *очивѣсть*, *очивисть*, *очевидно* и форма *въ очию* в сочетании с глаголами каузации восприятия и перцепции. Это формулы зрительного свидетельства, имеющие греческие аналоги в византийских агиографических памятниках.

Формула зрительного свидетельства находится в самой важной, эмоционально напряженной части повествования. Эта формула используется для доказательства особой роли смертного человека. Он избран Богом, чтобы после своей земной жизни служить людям.

Надо отметить, что древнерусские писатели очень скупно пользуются формулами зрительного свидетельства. Иногда чудо просто описано со всеми невероятными подробностями.

1.3. Примеры, в которых человек сообщает об увиденном им чуде, с точки зрения истинности, соответствия действительности можно оценивать двояко.

I. Увиденное человеком — всего лишь кажимость, иллюзия, *видимость*.

II. *Видимость* и *сущность* здесь не противопоставлены.

Принимая первую точку зрения, мы сомневаемся в истинности того, что нам рассказано, и оцениваем это как иллюзию, обманное зрелище. Но мы не можем считать бестелесным фантомом святого, которого человек увидел, потому что повествователь употребил форму *въ очию*, сигнализирующую в житии о достоверности сообщаемого. Высказывания с формой *въ очию* в сочетании с глаголами *видѣти*, *зрѣти* показывают, что в сознании пишущего это событие, чудо было наяву, в действительности.

Следовательно, мы должны встать на позицию повествователя. Образ и *сущность* здесь не противопоставлены. Автор статьи намерен показать, что *воочию* соединяет образ и *сущность*. Очам является то, что было *сущим*, т. е. *бытием*.

1.4. Целесообразно сказать несколько слов о видах перцептивности. Перцептивность бывает двух типов: внешняя и внутренняя. Первая связана с собственно зрением, вторая — с «внутренним» зрением. В рамках статьи рассматриваются только те ситуации, которые в прямом и переносном смысле видит сам субъект восприятия³.

³ В глазах чертики, огонь в глазах — это описание внешности человека со стороны, глазами другого. Эмоции можно в зеркале увидеть и у себя само-

Когда человек зрительно воспринимает какие-то объекты вне своего «я», наблюдает за происходящим со стороны — это внешняя перцептивность. Когда человек «смотрит» в себя, он рождает в своем воображении картины, образы, он вызывает в своей памяти когда-то им виденное. Эти ситуации можно отнести к внутренней перцептивности.

Форма *въ очю* могла обозначать оба вида перцептивности. В соответствии с грамматическим значением местного падежа она обозначала какие-то характеристики «внутри» человека — «в глазах», например, изменение его физического состояния, ср.: *в глазах у меня стало темно*. Но, сочетаясь с глаголами перцепции, форма *въ очю* служила указателем, что внимание воспринимающего субъекта направлено «наружу», на внешний объект.

Для того чтобы четко определить, происходило ли сообщаемое в воображении человека или наблюдаемое событие было в действительности, зададим критерии достоверности. Чтобы оценить рассказ о чуде как зрительное свидетельство, необходимо соответствие четырех условиям:

- 1) объект, который я вижу, находится за пределами моего «я», за пределами воспринимающего субъекта;
- 2) этот объект имеет форму;
- 3) объект назван существительным;
- 4) он не назван атрибутивным словом, прилагательным.

1.5. Говорящий по-разному удостоверяет реальность событий, о которых он рассказывает. Одним из таких средств является апелляция к непосредственному восприятию. Из всех своих чувств человек больше всего доверяет зрению. То, что он видит наяву, он считает свершившимся фактом. Поэтому адресат поверит собеседнику, когда тот скажет, что он наблюдал то, о чем рассказывает. Таким образом, чтобы доказать, что событие было в действительности, говорящему достаточно употребить в высказывании только перцептивный глагол: *я это видел*. Тем не менее в арсенале говорящего есть и другой способ — словесная формула с усилением: *я это видел своими глазами*.

К зрительному восприятию отсылает внутренняя форма таких синтагматических показателей, как *видно, по-видимому, видимо, очевидно*. Но в современном русском языке все они обозначают гипотетичность и теперь не могут считаться выразителями достоверности.

Но можно допустить, что хотя бы одно из этих слов — *очевидно*, построенное способом словосложения из двух основ с близкими зна-

го: *в глазах радость, отчаяние* — но в этом случае человек смотрит на себя со стороны, как на чужого.

чениями *ОК-ЮЧ-* и *ВИД-*, когда-то выполняло свою первичную функцию, связанную с его прозрачной внутренней формой 'видно очами'

По данным современного исторического словаря СлРЯ XI–XVII и его Картотеки (КДРС), наречие *очевидно* относится к группе наречий: *очивѣсть*, *очивисть*, *очивѣсто*, *очевистно*, *очивѣстнѣ* и др., которые в древнерусских памятниках употреблялись в сходных контекстах как синонимы. Рассмотрим пример с наречием *очивисть*:

- (1) ...в иорданѣ [Иоанн Предтеча] *очивисть* кажа спса ізлеви и глѣ се агньць бѣии вземлаи грехы мира. Слово Иппол. об ант., 66. XII в. КДРС [Слово Иппол. об ант.]⁴.

Публикатором «Слова Ипполита об антихристе» К. И. Невоструевым дан такой перевод: ...в Иордане он указывает *лично* на *самого* Спасителя и говорит: Се Агнец Божий, *вземлай* грех мира (курсивом выделено нами. — Н. Г.) [Там же: 66].

Это высказывание может иметь три версии «прочтения»: 1) Иоанн указал *лично* на Иисуса, на него *самого*; 2) *очивисть* указывает на косвенное свидетельство «третьего» лица; 3) *очивисть* обозначает прямое зрительное свидетельство.

Первая версия: *именно* на него указал (ни на кого другого не указывал) — бессмысленна.

Вторая версия — косвенное свидетельство: *как рассказал нам Иоанн Предтеча, он показал на Христа и сказал...*⁵. Но в текстовом отрывке нет контекстных условий выражения косвенного свидетельства типа: *рассказали мне люди, которые самолично (очивисть) спрашивали дьявола, и он им отвечал*.

Более убедительной представляется третья версия. В тексте, как и в греческом оригинале, наречием выражается, что это событие происходило на глазах у всех, кто там был⁶. Следовательно, смысл высказывания таков:

⁴ В работе используются сокращения названий источников, принятые в КДРС, КСДР и в СлРЯ XI–XVII, СлДРЯ.

⁵ Как косвенное свидетельство третьего лица, о котором говорящий сообщает собеседнику, можно трактовать пример: <ин>ого нѣкогого увѣдѣхом<ѣ> хѡа оугодника. в съ<та>зание съ бѣсы *очив<ѣ>сть* пришь||дѣша. и мѣногѣ нѣкихѣ таинѣ въпрашавѣша ихъ Изб. 1076. 213–213 об. [СлДРЯ 6: 326]. Этот пример дан к наречию *очивѣсть* в значении 'лично, самолично' [Там же]. — Знал (я) другого некоего Христова угодника, который *лично (сам)* состязался с бесами.

⁶ Такую трактовку примера считает правильной сотрудник отдела исторической лексикологии и лексикографии ИРЯ РАН К. А. Максимович. По его мнению, слово *очивисть* (αὐτοψεί) неверно переведено на русский язык К. И. Невоструевым, так как слово αὐτοψεί составлено на основе словоформы в косвенном

...в Иордане он [Иоанн Предтеча] *воочю* показал всем на Христа (Спасителя Израиля) и сказал: се Агнец Божий, который берет на Себя грех мира.

Таким образом, в высказывании из «Слова Ипполита» обозначается, что это событие, о котором рассказано в первой главе Евангелия от Иоанна, было засвидетельствовано зрительно.

Зрительно засвидетельствованное пророчество Иоанна Предтечи и осуществление этого пророчества — два важных события Священного Писания, которые связывает между собой в своей беседе с верующими митрополит Антоний Сурожский:

- (2) Вот смысл ветхозаветного жертвоприношения, и вот почему Ветхий и Новый Завет (Ветхий Завет — *пророчески*, Новый Завет уже *воочю*) нам говорят о Христе как об агнце (Антоний Блум, митрополит Сурожский. О Божественной литургии, 1974). Нац. корпус русского языка.

— Ветхий Завет в *предсказании*, *пророчески*, а Новый Завет в рассказе (*свидетельстве*) о *свершившемся событии* говорят нам о Христе, как об агнце.

Указывая на осуществление пророчества, на действительность этого провиденциального события, Антоний Блум, наш современник, использует слово *воочю*. Для него, интерпретатора событий, *очивисть* и *воочю* — это синонимы, связанные с ситуацией чьего-либо личного восприятия:

— В Ветхом Завете о Христе говорили, как об агнце, в Новом Завете он явился и стал доступен зрению.

В работе [Гатинская 2004] на основании анализа языкового материала и существующих лексикографических описаний был сделан следующий вывод. В рамках агиографического жанра наблюдается формирование понятийной категории достоверности, а именно значений прямого/косвенного свидетельства о событии. В древнерусских памятниках наречия *очивѣсть*, *очивисть*, *очевидно* и другие варианты служили показателями как прямого зрительного свидетельства ('своими глазами, воочю') [СлРЯ XI–XVII/14: 94, 98], так и косвенного свидетельства ('самолично') [СлДРЯ 6: 326]⁷.

падеже ѿψις, суш., образованного от глагола ѿψομαι 'увиджу' [ЭСФ III: 128], и буквально означает 'собственным видением, собственными глазами'

⁷В лингвистике этот круг вопросов обсуждается в рамках категорий эвиденциальность, засвидетельствованность [Якобсон 1972, Козинцева 2000, Ильина 2002]. Понятийной категории достоверности в ее отношении к категории эвиденциальности (засвидетельствованности) посвящена статья [Гатинская 2004].

Форма *въ очю* как выразитель достоверности рассматривается в статье в разделе 2.2.4.

2.1. Лексикографическая история слова *воочю* началась довольно поздно. Форма *въ очю* долгое время в словарях не была отмечена. В словаре В. Даля, начиная с первого издания, она находится в конце статьи *око*: *Въ очю* или *вочю*, в глазах, в виду, под глазами. *Он вочю лжет и вочю обманывает. Въ очю назло дѣлает. Вочю диво совершается.* сказочное [Даль 2: 1242].

Как отмечено в ССРЛЯ, только в Словаре Академии 1891 наречие *воочю* в его окончательном графическом облике⁸ было впервые зафиксировано в отдельной словарной статье:

(3) Воочію. нар. (двойств. ч. предложн. пад. с *око*) *В глазах, перед очами, видимо.* Воочію диво дѣется [Словарь Академии 1891: 508].

Судя по дефиниции, в этой словарной статье обобщено древнерусское употребление этой единицы.

Затем словарные статьи *воочю* появились в Словаре Ушакова, в ССРЛЯ и других словарях. В Словаре Ушакова наречие *воочю*, охарактеризованное с помощью помет как книжное, устарелое, — имеет толкование 'своими глазами, путем личного опыта': *Воочю пришлось убедиться в его неспособности к делу* [Словарь Ушакова 1: 163]. Этим примером проиллюстрирована семантика опытного удостоверения (см. также [ССРЛЯ 2: 660])⁹. Таким образом, в этой словарной статье представлено употребление лексемы *воочю* в современном русском языке.

В ССРЛЯ есть указание, что древнерусская форма *въ очю* совпадает с церковнославянской формой этого слова [ССРЛЯ 2: 660]. По словам авторов «Исторической грамматики», наречное выражение *воочю* сохранилось под влиянием церковнославянского языка [Борковский, Кузнецов 1963: 205]. Сосуществование системно противопоставленных церковнославянских и русских грамматических форм на территории русских земель до XVIII в. отмечалось историками русского языка [Пиккио 2003а: 144].

2.2. По отношению к *въ очю* в древнерусских текстах в статье используется термин *форма*. Но надо отметить, что она функционирует совсем не так, как другие словоформы от лексемы *очи*, например, *очима*, а как отдельная единица, как синтаксема¹⁰, которая впо-

⁸ «воочю — с иным (устар.) раздельным или дефисным написанием *во очю*, *во-очю*» [ССРЛЯ 2: 660].

⁹ Семантика удостоверения на опыте выражается наречием *воочю* и в текстах конца XX — начала XXI в. из Нац. корпуса русского языка.

¹⁰ Термин «синтаксема» введен Г. А. Золотовой [Золотова 1973]. Синтаксемой названа минимальная, далее неделимая семантико-синтаксическая еди-

следствии лексикализовалась. Фонетическое слово, состоящее из предлога *в* и формы *очю*, стало писаться слитно и получило статус отдельной лексической единицы — наречия *воочю*.

Эта единица зафиксирована в древнерусских текстах разных периодов и разных жанров¹¹. В Картоотеках (КДРС и КСДР) отмечены четыре ее значения: 1) 'в глазах'; 2) 'на глазах, на виду'; 3) в глаза, очно; 4) 'перед глазами'

В трех первых значениях форма *въ очю* предстает в позиции отдельного компонента предложения — обстоятельства. В четвертом значении она находится в присловной позиции с глаголами перцепции.

Рассмотрим эти значения.

2.2. 'В глазах'

Под этой рубрикой автором объединены два значения. Первое значение связано с глазом как с конкретным физическим объектом. Во втором значении глаза выступают как местонахождение зрительных ощущений.

2.2.1. 'В глазах'₁

Это конкретно предметное значение слова *око* может быть представлено как формой ед.ч. *в очеси* — в глазу¹², так и дуальной формой *въ очю*. Его можно считать собственно локативным значением, употребление *въ очю* в этом значении ограничено теми случаями, когда идет речь о чем-то материальном, что является помехой зрению, ср.: *соринка в глазу*, или когда говорится о болезни глаз (пленке, бельме на глазу).

В Синайском патерике (XI–XII вв.) дан рассказ одного человека о том, как он ослеп:

Он был моряком и когда был молод, плыл от Африки по морю:

- (4) ...призрѣхъса. [*заболев глазами*] и не имы како са быхъ оуцѣлить. бѣльма начахъ имѣти *въ очю мою* [Пат. Син.: 51 об.]¹³.

ница русского языка, выступающая одновременно как носитель элементарного смысла и как конструктивный компонент более сложных синтаксических построений, характеризуемая набором синтаксических функций [Золотова 1988: 4].

¹¹ Материал для анализа состоит всего из 25 примеров, взятых главным образом из Картоотек ИРЯ РАН: КДРС и КСДР. Форма *въ очю* не частотна по сравнению с другими словоформами двойственного числа. Так, например, примеры с формой *очима* насчитываются сотнями.

¹² В древнерусских памятниках есть только примеры переносного употребления с формой ед. ч.: чьто же видисѣ *сѣчець* иже єсть *въ очеси* брата твоего. а *бръвьна* єже єсть *въ очеси* твоємъ не чоуєши [Остр. Ев. 1843: 59г].

¹³ Пример из [Жолобов, Крысько 2001: 57] расширен по источнику.

2.2.2. 'В глазах'₂

Это значение переносное, его можно назвать квазилокативным. В данном значении лексема *око* не употребляется, используется лексема двойственного числа *очи*. Например:

- (5) [*от пьянства*] вѣлагаетъ оубо си въ бо|лѣзни тяжькына глава оубо правѣ прѣбыва|ти не можетъ сѣмо и овамо прѣклана|юштиса на рамя. съни |оубо тяжьци зыли въ|ходаште отагъчиважа|ть от оупиваниа. дрѣ|млють позѣють мѣ|глоу видать въ *очию* и оутапажа|ть КСДР *[Изб. 1076: л. 266–266 об.].

— Влагает же себя в болезни тяжкие, [пьяный] главу ведь прямо держать не может, в обе стороны клонящуюся на плечо. Сны, входящие, ведь тяжкие, злые, отягчают от пьянства. Дреmlют, зевают [пьяницы], мглу *видят в очах* и засыпают.

«Мгла в очах» или другие помехи зрению возникает не от внешнего объекта (тумана, тьмы), который находится перед глазами, а из-за того, что ненадолго изменилось самочувствие самого воспринимающего субъекта, например:

- (6) Аще обморокъ обходитъ человека ꙗ примеркати начнет *во очию*, се от крови есть, пушати кровь. Леч. П. Гл. 108-я (конца XVII в.). XVII — н. XVIII в. КДРС.

— Если в обморок упадет человек, и меркнуть начнет *в очах*, это от крови, пускать кровь.

Если в примере (5) используется спрягаемая форма глагола (*видать*), то в примере (6) глагол выступает в безличной форме (*начнет примеркати*)¹⁴.

В этом значении глаза можно рассматривать как расстроенный инструмент, инструмент, который не работает. Зрение замыкается на внутреннем ощущении: я один это вижу.

2.3. 'На глазах, на виду'

Как обстоятельство форма *во очию* с притяжательным местоимением может употребляться в начальной позиции:

- (7) [*наставление Иуды сыновьям о грехах*] пьянии бо никого же не срамляет са, бо и мене прельсти не срамлати са множество | въ вратѣхъ, яко въ *очию* все|хъ приклонихса к Фамарѣ|, бывъши сн(ъ)сѣ мои и створи хъ грѣхъ в пьянствѣ: |не оубояхса заповѣди гни| и ѿкрых покровъ всѣмъ о грѣсѣ моемъ Пал. Толк.¹ 1406. л. 108в–г. КСДР [Пал. Толк. 1406; Пал. Толк. 2002].

¹⁴ Модель с безличным глаголами хорошо работает в современном русском языке: *в глазах потемнело*.

Перевод А. М. Камчатнова таков: ибо пьяный не стыдится никого. Вот и меня он [*дух блуда и пьянства*] соблазнил не смущаться толпы у ворот, ибо я *на глазах у всех*, склонился к Фамари, которая была моей снохой, и, пьяный, совершил страшный грех, не убоявшись заповеди господней, и всем рассказал о своем грехе. Далее в тексте дается пояснение самого Иуды о Фамари, которая была вдовой двух его сыновей и не имела детей: «Фамарь стремилась родить детей от рода Авраама. По этой причине сидела у врат как блудница и встретила меня, когда я шел от стада своих овец, напившись, я не узнал ее. Из-за пьянства ее красота прельстила меня, и я отдал жезл, пояс и царский венец. Она приблизилась ко мне и зачала Фареса и Зару, двух близнецов во чреве своем» [Пал. Толк. 2002: 283 и далее].

Присутствие в ситуации наблюдателя обозначается притяжательным местоимением. Оно обязательно, если наблюдатель присутствует, но не совершает никаких действий. А в примерах, где наблюдатель еще и активно действует, дополнительное указание на субъект наблюдения излишне. Например:

- (8) А они с нашимъ добромъ побѣжали *в очехъ*, да учили есмя... кричать и вопить (Судн. Д.) РИБ II, 773. 1538 [СлРЯ XI–XVII/12: 328].

Этим примером в СлРЯ XI–XVII иллюстрируется значение устойчивых выражений: *въ (во) очехъ (очѣхъ)*, *въ очю (что-либо делать)* — на глазах, на виду, перед глазами [там же].

Значение ‘на глазах’ представлено в примере из «Жития» протопопа Аввакума:

- (9) [Пашков] «...еретикъ-де ты; для тебя дощенникъ худо идетъ! Поди-де по горамаъ, а с казаками не ходи!» Горе стало! Горы высокіе! <...> На тех же горах гуляютъ звѣри дикіе: козы и олени, и зубри и лоси, и кабаны, волки и бараны дикіе: *во очю нашу*, а взятъ(ь) нелзя. На тѣ же горы Пашковъ выбиваль меня со зверьми витать Пам. стар. обр. 181. Ж. пр. Авв. [СлРЯ XI–XVII/12: 328]* [Пам. стар. обр.].

В примере (9) сочетание *во очю нашу*, будучи обстоятельственным компонентом предложения, «вмещает» в себя целую предикативную единицу. Это сочетание содержит указание как на способ наблюдения — с помощью зрения (*в очю* = вижу, видим), — так и на субъект наблюдения (*мы*), выраженный притяжательным местоимением *нашу*. Так выражен обстоятельственный смысл, эквивалентный современному номинативному сочетанию ‘в поле нашего зрения’:

— Мы видим (видеть можно), а взять нельзя.

2.2.3. 'В глаза, очно'

В этом значении глаза выступают как представитель субъекта-адресата. Форма *въ очю* в приглагольной позиции в роли обстоятельства образа действия зафиксирована только в фольклорном тексте. В записи былины «Грозный царь Иван Васильевич» есть такой фрагмент:

- (10) Говориль царь таково слово: «Да ты старая собака съдатой пёсь! «Да *в очю* ты мною насмѣхаешься / По ворах и по работникахъ». Блн. Он. Гильф. Кенозеро 1147. КДРС [Онежские былины] ¹⁵.

Ср. — Ты *в глаза* мне насмехаешься ¹⁶.

Речь идет о действиях, которые говорящий оценивает как преднамеренные. За этим употреблением стоит представление о нарушении неписаных правил поведения — насмехаться *в глаза* человеку, не боясь магического воздействия его ответного взгляда, а также подданному говорить дерзости *в глаза* своему господину. При этом может подразумеваться, что подобное поведение допускается *за глаза, заочно*.

Итак, в древнерусских текстах представлены разнообразные употребления формы *въ очю* в роли обстоятельства: в качестве локатива, обстоятельства образа действия. В некоторых случаях в функции обстоятельства форма *въ очю* обозначала наблюдателя за происходящим.

2.2.4. 'Перед глазами'

Как уже упоминалось, в этом значении форма *въ очю* употребляется в присловной позиции с глаголами *видѣти*, *зрѣти*. К значению 'перед глазами' автором отнесено употребление *въ очю* в одном из самых известных летописных примеров. Так как трактовка автора идет вразрез с общепринятой, рассмотрим его подробно:

- (11) (1185) *въ середу на вечерни, бысть знамение въ солнци, и морочно бысть велми, яко и звѣзды видѣти челоувѣком, въ очю яко зелено бяше, и в солнци учинися яко мѣсяць, изъ рогъ его яко уголь жаровъ исхожаше: страшно бе видѣти челоуеком знаменье божье* (Лавр. лет.) [Пам. лит. Древней Руси 2: 366].

¹⁵ Смысл 'очно, в личном присутствии' более четко представлен в примере с наречием *очевистъ*: Во уши [царю] *заочне* шептали на оных святых <...> ...митрополить тогда предъ всѣми рекль: Подобаеть, рече, приведенным им [Селивестру и Адашеву] быти предъ насъ, да *очевистъ* на них клеветы будуть, и намъ оубо слышети воистинну достоить, что они на то отвѣщаютъ [СлРЯ XI–XVII/14: 94]; *[Курб. Ист: 263].

¹⁶ В современном русском языке *в глаза смеяться, в глаза насмехаться* — фразеологические сочетания слов.

Перевод текста о затмении, сделанный О. В. Твороговым, таков: «В среду под вечер было знаменье на солнце, и так сильно потемнело, что можно было людям увидеть звезды, и в *глазах* все позеленело» [Там же: 367].

Высказывание *человеком в очю яко зелено бяше* можно трактовать, как: ‘перед глазами стало зелено’. Были просмотрены картотеки КДРС и КСДР, и подобных употреблений не найдено. В других летописях, повторяющих этот текст, есть вставки: *союзы «и»*; «а» и некоторые другие изменения: *и человекъ в очю* (Псковская I, Софийская I); *а во очю у человекъ зелено* (Тверская); *и во очю бѣ у человекъ зелено* (Никоновская); *а во очю бе у человека зелено* (Ермолинская); *а у человекъ во очю зелено бяше* (Воскресенская, Московский лет. свод конца XV в.) [Святский 1915: 22–23].

Такое впечатление, что исходный, не вполне понятый кусок текста объяснялся, интерпретировался летописцами, на это указал Д. О. Святский [Там же: 25]. Тем самым этот текст в какой-то степени осовременивался. Это в дальнейшем могло повлиять на переводы и филологические интерпретации исходного текста.

Можно уточнить интерпретацию: *стало зелено в очах*, — это значит, что людям во время знамения стало плохо: *у них в глазах позеленело (померкло)*¹⁷. Но об этом в тексте нет никакого указания, наоборот, подробно рассказано, что люди видели.

С точки зрения автора статьи, *зелено бяше* можно считать дополнительной характеристикой к выражению *бысть морочно велми*. Исходя из этого, форма *въ очю* определяет не признак: *зелено стало*. Она является присловным компонентом к глаголу *видѣти*, т. е. входит в другую, левую синтагму, в которой говорится, что люди видели *звѣзды*.

Следовательно, эту синтагму нужно рассматривать в границах: *и морочно бысть велми, яко и звѣзды видѣти человеком в очю, / яко зелено бяше*. В этом случае сохраняется параллелизм синтаксической структуры высказывания: *и морочно бысть велми, яко..., яко...*

Исходный летописный отрывок можно рассматривать как ритмически организованный. О ритмической организации древних славянских текстов см. статью Рикардо Пиккио «Об изоколических структурах в литературе православных славян» [Пиккио 2003б: 544–547]. В этом случае дистантная позиция *въ очю* по отношению к глаголу *видѣти* оправдана ритмически.

Таким образом, высказывание в таком понимании выглядит следующим образом: *было знаменье на солнце, и так сильно потемнело, что можно было людям звезды увидеть воочю, так зелено стало*.

¹⁷ Ср. значение *въ очю* ‘в глазах’².

Итак, исходя из этой трактовки высказывания, форма *въ очю* находится с глаголом *видѣти* в одной синтагме и образует с ним сочетание. Такое «усиленное», удвоенное обозначение зрительной перцепции, вероятно, выполняло какую-то функцию.

Если просмотреть описания необычных небесных явлений [Святский 1915] и других важных событий в текстах летописей, то можно заметить, что в них иногда выражается зрительное свидетельство. Для этого употребляется оборот дательного падежа предикативного: *зрящимъ всѣмъ людемъ* ‘все люди видели’ или более короткой формулой *всѣмъ зрящимъ*. Кроме того, использовался оборот с финитной формой *бысть* в безличной функции в сочетании с инфинитивом *видѣти* и дательным падежом обобщенного субъекта восприятия *всѣмъ людемъ* — *бысть видѣти всѣмъ людемъ*.

Можно предположить, что сочетание *видѣти въ очю* в соединении с формой дат. п. мн. ч. обобщенного субъекта восприятия *человѣкомъ* в этом примере выражает зрительное свидетельство о необычном небесном явлении, о затмении, понятом как знамение Божие.

В КДРС примеров с формой *въ очю* в подзначении ‘зримо, своими глазами’ немного. Один из них — краткий пример из рукописи о чудесах Зосимы и Савватия. Приведем расширенный контекст по факсимильному изданию этой рукописи. Это рассказ старца Савватия, как с помощью небесных покровителей, преподобных Зосимы и Савватия, он с братией переправился на карбасе по морю, полному льдин:

- (12) Возрѣша же на монастырь і вижу ѿ монастыра к на^{мъ} по воздухоу двѣ птицы бѣлыи не велми велики летащи, јако бы мало поменши гѣся. Никоторы^{мъ} же птица^{мъ} приличны, и паки на^{мъ} невидими быша. Азъ же || едѣнь ѿидохъ ѿ братіи мало сматрати на море. Оузрѣ ми ся во ѡчѣю сѣдно, к намъ прямо пловоуще. Соудно же ѡно велми хорошо, слышоу и говоръ людскыи в соуднѣ томъ, рѣски^{мъ} языкомъ глѣючи. Азъ же призвах слоугоу, сѣщаго с нами и показахъ емоу сѣдно то. Ѡнь же рече мѣ і азъ вижоу. Мы же надолзѣ ждахомъ к себѣ соудна того. Соудно же, еже бы приблизитиса к намъ, и невидимо бысть Ж Зос. С. л. 104. КДРС *[Повесть о Зосиме и Савватии (а): л. 103 об.—104].

Посмотрели на монастырь и видим — от монастыря к нам по воздуху летят две птицы белых, не очень большие, чуть меньше гуся, ни на каких птиц не похожи, и стали нам невидимы. Я же || один отошел от братьев недалеко, посмотрел на море и увидел воочию — судно прямо к нам плыло. Судно же то было очень хорошим! Слышен и разговор людей на судне том, говорящих на русском языке. Я позвал слугу, бывшего с нами, и показал ему судно то. Он же сказал мне: «И я ви-

жу». Мы же долго ждали к себе судно то, а оно едва приблизилось к нам и исчезло [Повесть о Зосиме и Савватии (б): 37–38] (пер. М. М. Черниловской).

После того как исчезло судно, оттуда появилось много воды, льды расступились, монахи, погрузившись в свой карбас, спокойно поплыли.

Таким образом, выражением: *оузрѣ ми ся во ѡчю* автор сообщает о чуде, которое было перед его глазами. Важно отметить, что повествователь как бы отстраняется от воспринимаемого зрелища: ему видится, и он это констатирует. Субъект восприятия выражен не именительным, а дательным падежом местоимения — *ми* (мне); при глаголе *узрѣ* есть частица *ся*, слуга же, спрошенный рассказчиком, использует личную форму: *і азъ вижоу*. Средством, которое в описании подкрепляет реальность увиденного, является усилитель перцептивности *во ѡчю*:

— *Узрелось мне воочю* судно, к нам прямо плывуще.

В современном русском языке конструкциями с дательным падежом субъекта перцепции выражается как раз неочевидное восприятие (*мне почудилось, привиделось*). А в ситуации, когда субъект восприятия не сомневается в реальности наблюдаемого, используются глаголы *появиться, показаться*, при которых не бывает субъекта в дат. п. Ср. *На горизонте показался корабль*.

В пространной редакции «Жития» протопопа Аввакума автором статьи обнаружен эпизод с чудом, в котором форма *въ очю* сочетается с притяжательным местоимением:

(13) Еще скажу вам о жертвѣ никониянской. || Сидящу ми в темнице принесоша ми просвиру, вынутую со кр(е)стом Х(ристо)вым. Аз же, облазняся, взял ея и хотѣл потребить наутро, чаял, чистая, православная над нею была служба, понеже поп старопоставленной служилъ над нею, а до того он, поп, по новым служил кн(и)гам и паки стать служить по-старому, не покаывая о своей блудне. Положа я просвиру в углу на мѣсте и кадилъ и правило в вечер. Егда же возлег в нош(ь)-ту и умолкоша уста мои от м(о)л(и)твы, прискочиша ко мнѣ бѣсов полк, и един щербать, чермен взял меня за голову и говорить: «Сем-ко ты сюды, попалъ ты в мои руки», — и завернулъ мою голову. Аз же, томяся, еле-еле назнаменовал И(су)сову м(о)л(и)тву, и отскочиша, и исчезоша бѣси. Аз же, стоя и охая, || недоумѣюся: за что мѣня бѣс мучил? <...> Аз, послѣ их возставъ, моля б(о)га со слезами, обѣщался жжечь просвиру-ту, и прииде на мя бл(а)годат(ь) д(у)ха с(вя)таго, яко искры во очю моею блещахуся огня невестественнаго, и самъ я в той час оздравѣлъ — бл(а)годатию д(у)х(о)вною сердце мое наполнилось радости. Затопя печь и жжегше

просвиру, выкинул и пепель за окошко, рекохъ: «Вот, бѣсь, твоя от твоих тебѣ въ глаза бросаю!» [Аввакум 1975: 70–71].

Описание этого чуда Аввакум почти дословно повторяет еще дважды в своих посланиях духовным детям: Маремьяне Феодоровне и в «Письмах „Возлюбленной“ о Христе». Этот отрывок в обоих посланиях начинается со слов:

- (14) Зело Богу гнусно нынешнее пение. <...> Аз же, востонав, плакався пред Владыкою, обещался сожечь просвиру. И бысть в той час здрав. И кости перестали болеть, и *во очию мою, яко искры огнены, от Святаго Духа являхуся* [Аввакум 1991: 142, 229–232].

Анализируя высказывания об увиденном, сразу исключаем такие варианты «прочтения» как рассказ о резком изменении освещенности природного характера (например, из-за грозы): *глазам вдруг стало ослепительно ярко* или сообщение о резком изменении самочувствия человека: **в глазах у меня стало светло*, по аналогии с выражением *в глазах у меня стало темно*. Они не подкреплены контекстом.

Совсем об ином рассказывает Аввакум. Примеры (13), (14) можно представить двумя вариантами осмысления:

- а) искры *во мне, в моем* воображении, *образ*, который рожден *мною*;
- б) искры *передо мной* как некий объект *вне меня*.

Нам не следует понимать сообщенное автором как *образ, зрительную картину* в воображении, так как говорящий (автор) воспринимает это событие как достоверное. На это указывает форма *въ очию* в сочетании с глаголом, имеющим отношение к сфере восприятия.

Описание события, свидетелем которого был Аввакум, соответствует предъявленным ранее условиям, по которым увиденное можно признать реальным. Но чудо ли это? Ведь Аввакум видит своими глазами только искры огненные. Но он ясно пишет, что это *искры огня невестественного (искры от Святаго Духа явились)*. В древнерусских текстах часто встречается суждение, что телесными очами нельзя узреть Бога, но богословы учат: «Господь Бог часто виден как огонь» (Дионисий Ареопagit. О небесной иерархии, пер. Г.М.Прохорова) [Библ. лит. Др. Руси 8: 381]. Ареопagitский корпус текстов был хорошо знаком Аввакуму: в начале «Жития» из него приведены большие выписки [там же: 559].

Таким образом, в примерах (13), (14) форма *въ очию* в сочетаниях с глаголами обозначает, что событие происходило в действительности.

В высказывании: из «Жития»:

— И сошла на меня благодать Духа Святого, так что искры огня невестественного заблестели *перед моими очами*;

в высказывании из посланий:

— ...как бы искры огненные от Святого Духа явились *перед моими очами*.

Словосочетание *во очю моею* можно приравнять к выражению *я воочю узрел*. Оборот *во очю моею* здесь выражает прямое личное зрительное свидетельство.

2.3. Особый интерес для анализа представляет языковой материал, в котором форма *въ очю* в сочетании с прилагательными ведет себя иначе, чем в основных своих значениях.

Это устойчивые сочетания, рожденные калькированием. Они есть в ранних памятниках, текст которых при переводе сохранялся максимально неизменным. Одна из таких формул обнаружена автором в Остромировом Евангелии (Матф., 21.42). Это прямая речь Иисуса. Рассмотрим этот пример:

(15) камень <...> жиждѣишеь бысть въ главѣ жгълоу. отъ ги бысть си. *нѣсть дивѣна въ очияхъ нашихъ* [Остр. Ев. 1843: 79в.; Мст. Ев.: 58в, 106г, 132а, 203б].

— Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: «камень <...>, тот самый сделался главою угла: это — от Господа, и *есть дивно в очах наших?*» Матф. 21.42. Ср. — ...и (это) удивительно *нам?*

По смыслу здесь нет никакой визуальности¹⁸, поэтому можно приравнять: *дивѣна въ очияхъ нашихъ* и *дивно нам*.

Это калька, которая в древнерусских текстах обернулась метонимией — один из примеров очень распространенного явления в древнерусских текстах. Предикативный признак, определяющий человека, который выражался с помощью обширного набора устойчивых формул, со словоформами от существительных *лицо*, *очи*, *уши* и др., при переводе должен быть отнесен к самому человеку, субъекту [Колесов 1989: 143]; в некоторых контекстах следует идентифицировать *очи* с человеком [Чернышева, Филиппович 1999: 66]¹⁹.

Этот феномен связан с семантикой древнегреческого языка. М. И. Чернышева пишет: «Этимологические данные указывают на очень древнюю связь, а порой идентификацию *ока* с лицом, ср. ряд родственных слов в древнегреческом языке: ὄψομαι ‘увижу’, ὄμμα ‘глаз’, εἰς ὄψα ‘в лицо’ [ЭСФ III: 128]» [Чернышева, Филиппович 1999: 63].

Рассмотрим пример из КДРС с такой устойчивой формулой:

¹⁸ Это устно подтвердила М. И. Чернышева.

¹⁹ См. анализ переносных употреблений словоформ лексемы *око* в [Чернышева, Филиппович 1999].

В предтексте рассказывается, что это было, когда он стоял на сара-
цинов. Убежал Моисей из Египта. И пришел к Киканосу, царю сара-
цинскому.

- (16) И прія [Моисея] царь и вся велможа его, и воя его яко великъ драгъ бывъ
в очю ихъ: высочество его яко тисово, лице же его яко солнце сіяючи,
храбрство же его яко силно Лож. и отреч. кн., 42. XV в. (Сказание о
Моисее) КДРС [Пыпин 1862: 42].

— И принял [Моисея] царь и все его вельможи, и его воины как
самого дорогого их очам: высокого как тис, с лицом, как солнце
сияющим, сильного своей храбростью.

Можно приравнять выражения: дорог их очам = дорог им.

Таким образом, в рассмотренных примерах атрибутивными ком-
понентами *драгъ*, *дивна* выражаются оценочные смыслы: субъектив-
ное отношение к человеку (пример 16)²⁰, или эмоциональная реакция
на ситуацию (пример 15). Причем субъект этого мнения или точки зре-
ния на ситуацию (*мы*, *они*) обозначается притяжательным местоимени-
ем. В целом сочетания формы *въ очю* с посессивом в высказываниях
субъективной оценки можно приравнять к современным выражениям:

въ очиях наших = с нашей точки зрения; *в очю ихъ* = по их
мнению.

2.4. В древнерусских текстах бытовали следующие сочетания *въ очю* с притяжательными местоимениями: *въ очю нашу*, *во очю моею*, *во очю их*, *въ очю всех*²¹. Вначале эти сочетания появляются в древнерусских текстах в переводе с оригинала. Они указывают на наблюдателя за событием, как, например, *во очю всехъ* ‘на глазах у всех’ в отрывке из Толковой Палеи (пример 7), или же обозначают субъект мнения, оценки (примеры 15, 16): *нѣсть дивна въ очиях нашихъ*; *бывъ драгъ во очю их*. Затем происходит их освоение, некото-
рое переосмысление.

Такое переосмысление отражено в поздних источниках — сочи-
нениях светского характера. Форма *въ очю* в сочетании с притяжатель-
ными местоимениями представлена в повестях авантюрного содержания
XVII — начала XVIII в.²² и выражает значение ‘передо мной’:

²⁰ С учетом способов, характерных для русского дискурса, модель: (кто)
драгъ в очю (кого) — может быть реализована в современном русском языке
выражением *он дорог ее сердцу*.

²¹ М. И. Чернышева определила их как кальки, восходящие к древнеев-
рейским текстам (устное сообщение).

²² К сожалению, ранние и более надежные примеры такого употребле-
ния в Картотеке (КДРС) отсутствуют.

- (17) ...королевна... [повела]... Василия к отцу своему и матери и рече: Государь мой батюшка и государыня матушка, *чего не чаяла до смърти своей видѣть, сіе во очю мою нынѣ явилось* Г. Вас. Кор. 127. КДРС [Гистория].

Ср. — Кого не надеялась увидеть, теперь *перед очами* явился.

В примере из «Гистории о Василии Кориотском» устойчивая словесная формула из агиографического повествования перенесена в иные контекстные условия, в другой тип литературы — в авантюрную повесть. Перед королевной неожиданно появляется как бы воскресший Василий, и она выражает свои чувства. В высказывании субъект представлен местоимением ср. р. *сіе* (это), что показывает: автор видит дистанцию между каноническим употреблением формулы и своим сниженным, переосмысленным. В примере из другой повести начала XVIII в. — «Гистории о Ярополѣ цесаревиче» мать просит царевича, чтобы он сам не ходил на битву: можно ли вместо него послать большого воеводу? Яропол ей отвечает, что, если так сделать, то ничего не получится:

- (18) ...турокъ своею силою всех побьет, а бѣс пастыря овцы все разыдутся, оной воевода приидет в робость, — а как сам буду тут, *во очю моею* будут стоять Яропол. 223. XVIII в. КДРС *[Яропол].

В примере 18 сочетание *во очю моею* употреблено вместо сочетания *пред моими очами*.

Ср. — Если сам буду воеводой, то и солдаты *предо мною* будут стоять.

Можно предположить, что развитие семантики достоверности для формы *въ очю* стало возможным с появлением калькированных сочетаний с притяжательными местоимениями: *въ очю нашею*, *во очю моею*, *во очю ихъ*, *въ очю всехъ* в Евангелиях и других ранних переводных памятниках.

3. Итак, форма *въ очю* в древнерусских памятниках употребляется в четырех значениях: 1) 'в глазах'₁; 'в глазах'₂; 2) 'на глазах, на виду'; 3) 'в глаза, очно'; 4) 'перед глазами'

Обобщая основные черты семантики формы *въ очю*, выскажем следующие соображения. Значения, связанные с глазами как инструментом, рожают идею *точки зрения*: внешний мир человеком воспринимается, но необъективно. Здесь нет собственно зрения. В этих случаях с формой *въ очю* обязательно использование притяжательных местоимений.

Яркие смыслы, выражаемые формой *въ очю*, распределены на двух «полюсах».

В одних случаях высказывание с формой *въ очю* обозначает достоверность. Такое употребление можно считать жанрово обуслов-

ленным. В высказываниях из житий повествователь ставит себя в позицию объективного наблюдателя и рассказывает о чуде, которое происходило в присутствии очевидцев. Это будет своего рода «полюс объективности, истинности».

В других случаях *в очию* имеет отношение к субъективной оценке человека или какой-либо ситуации в примерах типа: *Он дорог очам их*. Ср.: *В его глазах она красавица*. Это можно назвать «полюсом субъективности».

Таким образом, в работе была рассмотрена семантико-грамматическая история наречия *воочию*. В ранний древнерусский период она была словоформой, встроенной в парадигму двойственного числа. В современном русском языке она превратилась в лексему, но сузила свое значение. Употребляясь в высказывании в сочетаниях *видеть воочию*, *убедиться воочию*, это наречие обозначает *удостоверение*, т.е. такую ситуацию, когда субъект высказывания (агенс) подтверждает свое мнение или предварительное знание с помощью операции проверки.

Но, прежде чем получить статус слова, форма *въ очию* имела богатую предысторию. Поэтому внимание автора было сосредоточено на анализе семантики этой единицы в древнерусских памятниках. Оказалось, что в этот период она также служила достоверности. Форма *въ очию*, будучи усилителем перцептивного смысла, в житиях выполняла особое текстовое задание — обозначала зрительное свидетельство о чуде, сверхъестественном событии.

ЛИТЕРАТУРА

- БАС 2005 — Большой академический словарь русского языка: В 20 т. / Гл. ред. К. С. Горбачевич. Т. 3. Во — Вящий. М.; СПб., 2005.
- Борковский, Кузнецов 1963 — Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. М., 1963.
- Гатинская 2004 — Гатинская Н. В. Семантика достоверности и модальные значения в русском языке // Гуманитарные науки в Сибири. Серия: Филология. СО РАН. (В честь юбилея М. И. Черемисиной). Новосибирск, 2004. № 4. С. 31–39.
- Даль — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля. Ч. 1–4. М., 1863–1866. Ч. 1. М., 1863.
- Дьяченко 1993. — Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь: Репринт. воспроизв. изд. 1900 г. М., 1993.
- Жолобов, Крысько 2001 — Жолобов О. Ф., Крысько В. Б. Двойственное число. (Историческая грамматика древнерусского языка. Т. II / Под ред. В. Б. Крысько). М., 2001.

- Золотова 1973 — *Золотова Г. А.* Очерк функционального синтаксиса русского языка. М., 1973.
- Золотова 1988 — *Золотова Г. А.* Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. М., 1988.
- Ильина 2002 — *Ильина Л. А.* Эволюция глагольной категории эвиденциальности (системно-диахроническое моделирование на материале селькупского языка). Дис. канд. филол. наук. Новосибирск, 2002.
- Козинцева 2000 — *Козинцева Н. А.* К вопросу о категории засвидетельствованности в русском языке: косвенный источник информации // Проблемы функциональной грамматики: категории морфологии и синтаксиса в высказывании. СПб., 2000. С. 226–240.
- Колесов 1989 — *Колесов В. В.* Древнерусский литературный язык. Л., 1989.
- МАС — Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. 4-е изд. Т. 1. М., 1999.
- Пиккио 2002 — *Пиккио Рикардо.* Древнерусская литература. М., 2002.
- Пиккио 2003а — *Пиккио Рикардо.* Влияние церковной культуры на литературные приемы Древней Руси // *Он же. Slavia Orthodoxa. Литература и язык.* М., 2003. С. 122–162.
- Пиккио 2003б — *Пиккио Рикардо.* Об изоколических структурах в литературе православных славян // *Он же. Slavia Orthodoxa. Литература и язык.* М., 2003. С. 543–592.
- Ромодановская 1996 — *Ромодановская Е. К.* Рассказы сибирских крестьян о видениях / Труды Отдела древнерусской литературы института русской литературы (Пушкинский дом) РАН (ТОДРЛ), СПб., 1996. Т. 49. С. 141–156.
- САР 2004 (САР-1) — Словарь Академии Российской. Ч. 1–6. СПб., 1789–1794. Переиздано: М.: МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2004. Т. 4.
- САР-2 — Словарь Российской Академии по азбучному порядку расположенный. 2 изд. Ч. 1–6. СПб., 1806–1822.
- Святский 1915 — *Святский Д. О.* Астрономические явления в русских летописях с научно-критической точки зрения. Пг., 1915.
- Словарь Академии 1891 — Словарь русского языка, составленный вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 1. Вып. 1 (А — Втаа). СПб., 1891.
- СлДРЯ — Словарь древнерусского языка. XI–XIV вв. М., 1988. Т. 1; М., 2000. Т. 6.
- СлРЯ XI–XVII — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 2 (В — ВОЛОГА). М., 1975; Вып. 12 (О — Опарный). М., 1987; Вып. 14 (Отрава — Персона). М., 1988.
- ССРЛЯ — Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. Т. 2 (В). М.; Л., 1951.
- Словарь Ушакова — Толковый словарь русского языка в четырех томах. / Под ред. проф. Д. Н. Ушакова. Т. 1. М., 2001.

- СЦРЯ 1847 — Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный вторым отделением Императорской академии наук. Т. III. СПб., 1847.
- Чернышева, Филиппович 1999 — Чернышева М. И., Филиппович Ю. Н. Историко-лексикологическое (тематическое) исследование // Вопросы языкознания, 1999, №1. С. 56–83.
- ЭСФ — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. Т. III (Муза — Сят). М., 1971.
- Якобсон 1972 — Якобсон Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972. С. 95–113.

ИСТОЧНИКИ

- Аввакум 1975 — Аввакум, протопоп. Житие протопопа Аввакума // Пустозерский сборник. Автографы сочинений Аввакума и Епифания / Под ред. В. И. Малышева. Изд. подг. Н. С. Демкова, Н. Ф. Дробленкова, Л. И. Сазонова. Л., 1975.
- Аввакум 1991 — Аввакум, протопоп. Житие Аввакума и другие его сочинения. // Сост., вступ. ст. и коммент. А. Н. Робинсона. М., 1991.
- Библ. лит. Древней Руси — Библиотека литературы Древней Руси. Т. 2. XI–XII века. СПб., 1999. Т. 8. XIV — начало XVI в. СПб., 2003.
- Гистория — Гистория о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли. Первая треть XVIII в. // Русские повести XVII–XVIII вв. / Под ред. и с предисл. В. В. Сиповского. I. СПб., 1905. С. 108–128.
- Ж Зос. С. — Житие Зосимы и Савватия Соловецких. Соч. Досифея. 1503 г. — Рукоп. ГИМ. Вахр. № 71. Л. 1–156, к. XVI в. // Повесть о Зосиме и Савватии (а). Факсимильное воспроизведение. М., 1986. Повесть о Зосиме и Савватии (б): Научно-справочный аппарат факсимильного издания. М., 1986.
- Изб. 1076 — Изборник 1076 г. / Изд. подгот. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровский, В. Г. Демьянов, Г. Ф. Нефедов. М., 1965.
- Курб. Ист. — История о великом князе Московском. Сочинения князя Курбского. Т. I. СПб., 1914. Русская историческая библиотека (РИБ). Т. 31. Стлб. 161–354. XVI в., сп. XVII в.
- Мст. Ев. — Апрокос Мстислава Великого / Изд. подгот. Л. П. Жуковская, Л. А. Владимирова, Н. П. Панкратова. М., 1983. XI (рубежа XI–XII вв.).
- Пыпин 1862 — Ложные и отреченные книги русской старины, собранные А. Н. Пыпиным // Памятники старинной русской литературы. Вып. III. СПб., 1862, сп. XIII–XVIII вв.
- Остр. Ев. 1843 — Остромирово Евангелие 1056–57 года с приложением греческого текста Евангелий и грамматическими объяснениями, изданное

- А. Востоковым. СПб., 1843 // Monumenta lingua slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertations. T. 1. Wiesbaden, 1964.
- Онежские былины — Онежские былины, записанные А.Ф.Гильфердингом летом 1871. СПб., 1873.
- Пал. Толк. 1406 — Палея Толковая по списку, сделанному в г. Коломне в 1406 г. Труд учеников Н.С.Тихонравова. М., 1892–1896. Вып. 1–2. XIII в., сп. 1406 г.
- Пал. Толк. 2002 — Палея Толковая. / Подг. древнерусского текста и пер. А.М.Камчатнова. М., 2002.
- Пам. стар. обр. — Барсков Я.Л. Памятники первых лет русского старообрядчества // (ЛЗАК) Летопись занятий археографической комиссии (за 1911), вып. 24. СПб., 1912. Житие протопопа Аввакума. С. 163–228.
- Пам. лит. Древней Руси — Памятники литературы Древней Руси. Т. 2. XI–XII века. СПб., 1999.
- Пат. Син. — Патерик Синайский / Изд. подгот. В.С.Голышенко, В.Ф.Дубровина. Под ред. С.И.Коткова. М., 1967. XI–XII вв.
- Слово Иппол. об ант. — Слово святого Ипполита об антихристе в славянском переводе по списку XII века, с исследованием о слове и о другой мнимой беседе Ипполита о том же с примечаниями и приложениями К.И.Невостреева. М., 1868. XII в.
- Яропол — Гистория о Ярополѣ цесаревиче // Сиповский В.В. Русские повести XVII–XVIII вв. I. СПб., 1905. С. 180–241. XVIII в.

Л. А. ТРАХТЕНБЕРГ

ПОЭТИКА АБСУРДА
В РУССКОЙ РУКОПИСНОЙ ПАРОДИИ XVII–XVIII вв.

В данной работе рассматриваются некоторые произведения русской рукописной литературы XVII–XVIII вв. — «Лечебник на иноземцев», «Духовное завещание Елистрата Шибаева», «Роспись о приданом»¹, пародийные «авизии» (или «куранты»), то есть газетные известия. Несмотря на все жанровые и содержательные различия, они во многом сходны между собой. Сходство названных произведений обусловлено, прежде всего, тем, что все они пародийны, однако этим оно не ограничивается. Сходны также и использованные в них художественные приемы, которые тем или иным образом создают эффект абсурда. Под абсурдными понимаются такие высказывания, которые, описывая невозможные положения дел, содержат противоречие, выраженное эксплицитно или имплицитно². Вот лишь некоторые примеры абсурдных высказываний из названных текстов: *водяной струи, сметив по цыфирю на выкладку, ухватить без воды; выпотев, велеть себя вытереть самым сухим дубовым четвертным платом; взять <...> густово медвежья рыку 16 золотников, толстого орловаго летанья 4 аршина* (в качестве «ингредиентов для лекарств»; все 3 примера — из «Лечебника на иноземцев» [Адрианова-Перетц 1977: 95]); *липовые два котла, да и те сгорели дотла* (из «Росписи о приданом», в качестве «имущества» [Там же: 99]); *рыбаки много наловили огурцов и солят в потоке* («новость» из пародийных «авизий» [Адрианова-Перетц 1948: 51]). Характерной особенностью описываемых текстов является то, что абсурдные ситуации создаются с помощью

¹ Этот текст известен не только в рукописях, но и в лубочных изданиях [см. Ровинский 1881: 367–374].

² См.: «В логике под абсурдом обычно понимается внутренне противоречивое выражение. В таком выражении что-то утверждается и отрицается одновременно...» [Ивин 2003: 112; выделено А. А. Ивиным — Л. Т.].

очень кратких характеристик: для их создания авторам может быть достаточно небольшого фрагмента текста, ограниченного рамками именной группы (*дубовым четвертным платом*), количественно-именного сочетания (*толстого орлового летанья 4 аршина*), предложения (*Рыбаки много наловили огурцов и солят в потоке, пересыпают известью* [Адрианова-Перетц 1948: 51]). Такие сочетания объединяются в последовательности. Например, в «Лечебнике на иноземцев» предлагается такой абсурдный «рецепт»:

Взять мостового белого стуку 16 золотников, мелкого вешняго топу 13 золотников, светлаго тележнаго скрипу 16 золотников, а принимать то все по 3 дни не етчи, в четвертый день принять в полдни, и потеть 3 дни на морозе нагому, покрывшись от солнечнаго жаркаго луча неводными мережными крылами в однорядь. А выпотев, велеть себя вытереть самым сухим дубовым четвертным платом, покамест от того плата все тело будет красно и от сердца болезнь и от утробы теснота отидет и будет здрав [Адрианова-Перетц 1977: 95]

В целом подобного рода структура является характерной особенностью поэтики всех рассматриваемых произведений. Однако типы приемов, используемых для создания эффекта абсурда, в них различны: во всяком случае, в одних текстах преобладают одни приемы, в других — другие. Поэтому каждый текст необходимо рассмотреть в отдельности.

Возможно, среди всех названных произведений наиболее ярким примером «поэтики абсурда» может служить «Лечебник на иноземцев». Форма его, естественно, напоминает форму пародируемого прототипа — подлинного лечебника. Именно оттуда и односоставная инфинитивная конструкция со значением долженствования, и количественно-именные сочетания с указанием веса, т. е. дозы средства, которое следует применить, и названия лекарств в родительном партиципном с согласованными определениями. Вот, например, рецепт из одного лечебника конца XVII века:

Состав водки гунгарской.

Взять травы майранной два фунта, цвету левендоваго $\frac{1}{4}$ ф., розмариону осьмуха, кардамону толченаго без шелухи осьмуха, и налить водкою романейною ведром и настаивать две недели, или меньше, и прегонить чрез кубик и выйдет полведра [Флоринский 1879: 215]³

³ В лечебниках активно употреблялась и другая конструкция — с императивом. Пример из другого лечебника: *Рутное масло сице составляется: возьми соку листвия рутовы травы полгривенки, масла древяного 5 гривенок,*

Однако традиционная форма лечебника наполняется новым содержанием, а для этого она заполняется словами с иными, нежели в лечебнике, семантическими характеристиками. Достаточно вспомнить приведенные примеры: *мостового белого стуку 16 золотников, мелкаго вешняго топу 13 золотников, светлаго тележного скрипу 16 золотников*. Нетрудно заметить, что все они построены по одной схеме: это не просто количественно-именные сочетания — во всех трех случаях имя предмета («лекарства») отглагольное по словообразовательной структуре и пропозитивное по семантике, причем во всех трех этих примерах оно обозначает звук, и везде оно имеет два согласованных препозитивных определения, одно из которых дает характеристику по цвету или размеру (*белого, светлого, мелкого*), а другое так или иначе характеризует субъект действия или по крайней мере место либо время его совершения (соответственно, *тележного, мостового, вешняго*). Следующие далее описания «ингредиентов» для «лекарств» в большинстве своем строятся по той же или сходной модели: *девичья молока 3 капли, густово медвежья рыку 16 золотников, толстого орловаго летанья 4 аришина, крупнаго кошечья ворчанья 6 золотников, курочья высокоаго гласу пол фунта; воловаго рыку 5 золотников, чистаго, самого ненаснаго свиного визгу 16 золотников, самых тучных куричьих титек, иногда пол 3 золотника, вешняго ветру пол четверика в таможенную меру, от басовой скрипицы голосу 16 золотников, вежливаго жаравлинаго ступанья 19 золотников, денны светлости пол 2 золотника, ноцныя темности 5 золотников; женскаго плясання и сердечнаго прижимания и ладоннаго плескания по 6 золотников, самого тонкаго блохина скоку 17 золотников* [Адрианова-Перетц 1977: 95], *филинова смеху 4 комка, сухова крещенского морозу 4 золотника* [Там же: 96]. В большинстве приведенных примеров⁴ существительное — пропозитивное либо признаковое имя, имеет два согласованных определения, одно из которых указывает на субъект. По-видимому, во всех этих случаях эффект абсурда создается сходным образом: он обусловлен, прежде всего, тем, что пропозитивное или признаковое имя подставляется на место предметного, поскольку пародируемая

воды речной 3 гривенки, и вари дондеже сок и вода укипит, и потом процеди и сохрани [Флоринский 1879: 143].

⁴Есть исключения — прежде всего, *куричьих титек* и *девичья молока*. Впрочем, следует ли рассматривать последний пример как абсурдное сочетание, не вполне ясно, так как «Словарь русского языка XVIII века» со ссылкой на источники этого периода фиксирует словосочетание *девичье молоко* в значении «ликер благовонной <...> девицы употребляют это для притирания лица» [Сл. XVIII 1991: 65].

форма — лечебник — диктует именно такую структуру (которая задается глаголом-сказуемым: *взять* и т. д. — указывается, что *взять*): лекарства — это ведь вещества, а не движения (*летанья, ступанья, скоку*), звуки (*рыку, визгу, голосу*) или признаки (*светлости, темноты*). По-видимому, это тип абсурдного высказывания, тот или сходный с тем, что можно продемонстрировать на известном примере Б. Рассела *четырёхсторонность пьёт отсрочку* [Рассел 1999: 183] (*quadruplicity drinks procrastination* [Russell 1967: 158]), где также позиции актантов при глаголе физического действия, требующего предметных имен, замещены именами соответственно признаковым (агенс) и пропозитивным (пациенс). Кроме того, в «Лечебнике на иноземцев» часто наблюдается семантическое рассогласование определения и определяемого слова, когда определение также может относиться только к предметным именам (хотя нередко, видимо, допустимо метафорическое прочтение): *мелкого топху, светлого скрипу, крупного ворчанья, тонкого скоку*. Впрочем, в этом случае разграничить абсурдное словосочетание, оригинальную метафору и метафору стертую иногда бывает трудно. Так, значение слова *высокий* в сочетании *высокого гласу* следует признать метафорическим, но это метафора стертая, и значение данного слова в приведенном контексте мы, по-видимому, не воспринимаем как переносное. Что же касается, например, такого сочетания, как *вежливого ступанья*, то его легко интерпретировать не столько в качестве абсурдного, сколько в качестве метафорического. Такой интерпретации способствует то, что многие из употребляемых в «Лечебнике на иноземцев» отглагольных существительных и прилагательных относятся к тем семантическим группам, которые, как показывает Н. Д. Арутюнова, особенно предрасположены к метафоризации: прилагательные *белый, светлый, густой, толстый, крупный, высокий* — к группе «конкретных (физических) предикатов», а отглагольные существительные *стук, топ, скрип, рык, летанье, плясание, (ладонное) плескание, (сердечное) прижатие* восходят к группе «дескриптивных глаголов, в особенности тех из них, которые включают в свое значение указание на способ осуществления действия и имеют одушевленный субъект» [Арутюнова 1999: 362].

Показательно также и то, что, несмотря на всю очевидную абсурдность, текст «Лечебника на иноземцев» не так далеко отстоит от своего пародируемого прототипа — подлинного, так сказать, «серьезного» лечебника, как можно было бы думать. Не случайно Ф. И. Буслаев, как известно, считал лечебники памятниками народной поэзии, основывая свои выводы на отразившихся в них поверьях, на присутствующих в текстах лечебников заговорах [Буслаев 1861: 31 сл.]. Поэтому не удивительно, что и «Лечебник на иноземцев» заканчивается

заговором (см. интерпретацию в [Киселева 2002]): *А буде болят ноги, взять ис под саней полоз, варить в соломяном сусле трои сутки и тем немецкие ноги парить и приговаривать слова: как таскались санныя полозье, так же бы таскались немецкия ноги* [Адрианова-Перетц 1977: 96]. Однако и помимо заговоров в лечебниках немало различных описаний, сравнений, метафор. Вот несколько примеров:

О окуне.

...Окунь есть рыба не добре велика, тонка, горда и спесива; егда увидит шуку, тогда хвостом ся к ней оборотит и надмется, и крыле подымет и ходит стадом для своего недруга [Флоринский 1879: 66].

О сельди.

Сельдь рыба морская, а живет только водою, а без воды не может жив быти; очи их что свечи ночью светят... [Там же: 67].

Более того: сами средства, которые предлагается применять в качестве лекарств в пародийном «лечебнике», иногда находят себе параллели в лечебнике подлинном. Так, в одном из «рецептов» там упоминается птичий (*кокушкин*) голос (разумеется, не в качестве ингредиента для лекарства: «рецепт» носит магический характер):

Кокушкин голос аще кто впервые весною услышит, и в тот бы час себе правую ногу очертил, и ту бы землю из-под ноги выкопал, и тою бы землею в дому и в хоромех посыпал, то того году отнюдь блохи небудут [Там же: 62].

Разумеется, в подлинном лечебнике нет *журавлиного ступанья* и *орлового летанья*, однако среди животных и птиц, чье мясо, кожу и пр. можно использовать для лечения, встречается и журавль (*же-равль* [Там же: 57–58]), и медведь [Там же: 56], и орел (*орлов камень* [Буслаев 1861: 34], а также *око*, *кость головная*, крыло орла и т. д. [Там же: 38] — в качестве магических средств).

Таким образом, традиция лечебников предоставила в распоряжение неизвестного автора «Лечебника на иноземцев» очень большую долю того материала, который был необходим ему для создания пародийного текста: это не только грамматические формы, но отчасти и «предметный мир» произведения. Ему оставалось сделать, прежде всего, один важный шаг — ввести в текст «приемы абсурда», в частности такой ключевой прием, как замещение названий лекарств именами действий и признаков, о котором уже много говорилось выше. Сделав этот шаг, он создал на основе имеющего несомненную практическую ценность жанра художественное произведение, как кажется, до сих пор способное восприниматься эстетически.

Во многом сходно с «Лечебником», но обладает несомненным своеобразием «Духовное завещание Елистрата Шибаева». В нем «завещаются» в качестве «имущества» такие объекты: *Благодетельнице моей Парасковье Гавриловне — лутчее мое сокровище, первые три богоявленские мороза да шесть возов собственной моей казны рождественского самого белого сыпучева снегу* [Кузьмина 1955: 154]; *Племяннику моему Александре Николину — на пару зеленую егерского платья 7 аршин самого лутчаго соколя гляденья; Племяннице моей Анне Федоровне — на балахон и на юпку — 18 аршин конского ржания; Невестушке моей любезной — самой лутчей и сладкой конфект, до чего я и сам с молодых лет охоту имел, — три пуда с четвертью медвежьяго плясания; Дядьке моему Андреяну — 40 золотников самой любезной и тихой моей думы; Служителю моему и дворецкому Степану Яковлеву — на однорядочной кафтан 8 аршин веселого смеху; Камординеру моему Парамону на бримаки 9 ютей пьяных моих сонных мечтаней; Поверенному моему Саве Федорову за ево неленостные труды 4 подлинника да 6 спорных застенков* [Там же: 155]; кроме того, упоминаются *7 аршин приказных моих ябед; кашлянье, сморканье, оханье, стонанье; 44 фунта простоты и бездельной моей волокиты* [Там же]. Можно видеть, что с принципом, характерным для «Лечебника», — замещением предметных имен, требуемых пародируемым жанром [см. образцы в АЮБ I: 561–568], именами действий (*соколя гляденья, медвежьяго плясания, самой любезной и тихой моей думы, пьяных моих сонных мечтаней, приказных моих ябед, бездельной моей волокиты*; следует отметить, что некоторые из этих действий относятся к разряду ментальных или социальных — для «Лечебника» это нехарактерно) — сочетаются другие: в роли «имущества» героя может выступать момент времени (*первые три богоявленские мороза*, где слово *мороз* метонимически обозначает время) или даже предмет, но природный и ему не принадлежащий — *снег*. В целом можно отметить тяготение «Духовного завещания Елистрата Шибаева» к образам неживой природы: *Гроб мой зделать из самого мелкого и тихова дождя; шесть возов собственной моей казны рождественского самого белого сыпучева снегу* [Кузьмина 1955: 154], *набрать по три зори 10 золотников небесного цвету и три винтеля взяв с небесных звезд сияния, 6 золотников громового стуку* [Там же: 155]; *Взяв одно чистое облако из ведреного и чистого дня, зделать барабанные палки и по тому облаку пробить дробь* [Там же: 156]. Среди используемых в «Завещании» приемов следует отметить и перифразу *А за оное погребение дать им за труды загородной мой собственный дом, выехав из Москвы, за надолобами по Петербургской дороге: два столба врыты, а третьим покрыты, а доходу с него туша мяса да голова запасу, а на иной год и больше* [Там

же: 154], по-видимому, фольклорного происхождения: сходная перифраза есть в фольклорных песнях [Шейн 1898: 235–240, №876, 878, 879, 881–884, 887 и др.; Новикова 1957: 54], сказках [Афанасьев II: 374, № 315, Бирюков 1953: 154], пословицах [Даль 1994: 145]; встречается она (а также и другие перифразы) еще в «Росписи о приданом» (о ней см. ниже).

В качестве параллели к «Завещанию Елистрата Шибаева» можно рассмотреть один фрагмент из «Шутовской комедии» — пьесы, датируемой первой третью XVIII в. [ПШТМ 1974: 526–528]: там главный герой также составляет завещание, которое следует рассматривать как пародийное. Несмотря на сходство с «Лечебником на иноземцев», «Духовным завещанием Елистрата Шибаева» и «Росписью о приданом» (о ней см. ниже)⁵, этот фрагмент обладает несомненным своеобразием в отношении поэтики. Среди завещаемых предметов в этом тексте упомянуты *изрядной пруд, которой еще зделат возможно у реки Яузы, недалеко от пороховой мельницы, в которой возможно посадит много, много различной рыбы, но ныне в нем насажено много французской рыбы, по-руски лягушками нареченной* [ПШТМ 1974: 424–425], *изрядной, еще не изобретенной, головной порошок таким людям, у которых в голову мысль заходит* [Там же: 426], *железный сундук, в котором скрытое сокровище быти может, которой почитают заворожен быти, потому что никто не может замочного язычка сыскат, иногда же и всего сундука не видит* [Там же: 427]: здесь выражена модальность возможности, хотя условия пародируемой формы, очевидно, требуют модальности действительности.

Иную синтаксическую структуру и иные семантические отношения обнаруживаем еще в одном тексте примерно того же времени — в «Росписи о приданом». Вот пример из него:

*Липовые два котла, да и те згорели до тла.
Сосновой кувшин да везовое блюдо в шесть аршин.
Дюжина тарелок бумажных да две солонки фантажных.
Парусинная кострюлька да табашная люлька.
Дехтярной шандал да помойной жбан.
Щаной деревянной горшок да с табаком свиной рожьок.
Сито с обечайкой да венник с шайкой.*

[Адрианова-Перетц 1977: 99]

В отличие от «Лечебника на иноземцев», количественно-именных сочетаний в «Росписи о приданом» мало. Текст состоит преимущественно

⁵ Сходство пародийного завещания в «Шутовской комедии» и «Духовного завещания Елистрата Шибаева» отмечено уже В. Д. Кузьминой [1955: 149].

существенно из атрибутивных словосочетаний, образованных именами существительными с определениями, согласованными (*парусинная кострюлька, табашная люлька*) или несогласованными (*везовое блюдо в шесть аришин, с табаком свиной рожок*). (Такая структура не случайна: она находит себе соответствие в формах подлинных росписей о приданом [примеры в АЮБ III: 266–267, 269–270, 290–297; Гарелин 1853: 185–188]⁶.) В «Росписи о приданом» иная семантическая стратегия, нежели в «Лечебнике». На месте предметов, которые, собственно, и должны перечисляться в росписи о приданом, оказываются именно предметы, и даже именно те предметы, которые обычно назывались в такого рода документах: посуда, одежда, обувь, украшения, «недвижимое имение» [Адрианова-Перетц 1977: 101] и т. д. Противоречие создается иным способом: или вместо предметов нужных и ценных упоминаются ненужные, испорченные (*Балахон браной из материи поганой, весь изодраной*, [Там же: 100], *поларишина гнилой холстины* [Там же: 101]), безобразные (*помойной жбан*), вредные (*Ароматник с клопами да табакерка з блохами, прыщи да коросты да чирьи толсты, Шолуди сыпучи болезни подучей, лихоратки трясу-чи. Француские болячки безпамятной горячки, да самой цыганской работы лет на дватцать чахоты* [Адрианова-Перетц 1977: 101] — здесь, впрочем, не только такие предметы, как *шолуди* и *болячки*, но и состояния — *лихорадки*, и действия — *работа*; здесь же пример образования превосходной степени от отыменного относительного прилагательного с очевидной внутренней формой — *самой цыганской*, видимо, с метафорическим переосмыслением), или же, что происходит особенно часто, упоминаются предметы, сделанные из нехарактерного для них материала: *парусинная кострюлька, шапочка ежова, на ноги столярные чулки и шtukатурные башмаки, липовые штаны, изголовье липовое, а перье в нем луковое, кожная бандора, холстинной гудок да для танцев две пары мозжевеловых порток* и т. п. (в основном или деревянные, или ежовые). Много параллелей к «Росписи о приданом» находится в фольклорных небылицах, что, по-видимому, свидетельствует о генетической связи (о чем неоднократно говорилось в литературе вопроса). Так, например, в «Росписи» есть строка *Деревни меж Кашина и Ростова, позади Кузмы Толстова* — аналогичная рифма встречается в небылице из сборника Афанасьева [III: 140, № 412], в сказке «Фома и Ерема» [Новиков 1961: 300, № 103; см. тж. Шейн 1898: 266, № 950], а также еще в одном рукописном тексте — в «Списке глухого пашпорта» [Забелин 1892: 82–83]; там же *Оное приданое все на лицо, как свиное выеденое ицо* — в «Байке про стари-

⁶ Существовала и другая форма — с указанием цены каждого предмета.

ну стародавнюю» из сборника Афанасьева [III: 155, № 428] есть текст: *Уж как кутюшка бычка родила, Поросеночек яичко снес!* И в песне «Агафонушка» из Сборника Кирши Данилова [1977: 142] находим: *Под шес(т)ком-та карова еицо снесла* [см. тж. в других фольклорных текстах: Шейн 1898: 296, № 1011; 299, № 1018]. Однако параллели к «Росписи о приданом» можно найти не только в небылицах, но и в других фольклорных жанрах. Так, в «Росписи» (правда, в другом тексте, существенно отличающемся от проанализированного) упоминается *шуба сомовья* [Адрианова-Перетц 1977: 98]. А в песне «Хороша наша деревня...», где разбой описывается с помощью развернутой метафоры рыбной ловли, есть такое место:

*Заловили сорок щук,
Из которых шубы шьют.*

[Новикова 1957: 65]

Сходство между этим местом и «Росписью о приданом» интересно тем, что если в «Росписи» *шуба сомовья* — очевидный пример абсурда, то в песне предполагается совершенно иная интерпретация — метафорическая.

Наконец, можно рассмотреть еще один текст, который очевидным образом отличается от охарактеризованных ранее, не по мере абсурдности, но по формам выражения абсурда — пародийные «авизии». Вот начало текста:

Авизии ис Копенгагена.

Копенгагенская кругла башня на сих днях поидет замуж, и будут на банкете из Ганбурха 36 ч. печей в немецких епанчах, да в церемонии маршало́м ис Парижа трунфалныя ворота с вынпалом, 12 пажей картульных пушек, 40 быков трубачей, 12 бастионов с щитами, один похитовщик, шесть сажень каменье́в.

Из Неаполя.

Ратуша ходит без галстука в немецком кафтане и без штанов, а магистрат сидит на печи, чрез реку обувает сапоги.

Из Менкленбургии.

Баул застрелил в лесе леща шириною в два пуда, да изловил на древе рака в три аршина и обучает на бандоре играть.

[Адрианова-Перетц 1948: 50]

Абсурд здесь очевиден, но несомненно и отличие от ранее цитировавшихся текстов: там речь шла о несуществующих предметах (место которых часто занимали, как было показано на примере «лечеб-

ника», действия, состояния и признаки, что и порождало абсурд), здесь же — о невозможных действиях. Различие выражено синтаксически: если в «Лечебнике» доминировали инфинитивные предложения, в «Росписи о приданом» — номинативные, в пародийных «завещаниях» — предложения с выраженным эксплицитно или опущенным глаголом передачи, а также инфинитивные, то здесь — предложения двусоставные с разнообразными предикатами. Разумеется, причины всех этих различий легко объяснимы: различия обусловлены спецификой пародируемых жанров — лечебника, завещания, росписи о приданом, газетных известий; однако ясность причин не избавляет от необходимости указать на сущность этих различий. Отсюда, в свою очередь, и тип противоречия: не между определяемым словом и определением (как в «Лечебнике» и «Росписи»), а между действием и его актантами. Например, неживой предмет выступает как субъект действия, которое, как правило, выполняется человеком, или носитель признака, характерного только для человека (*копенгагенская круглая башня на сих днях поидет замуж, и будут на банкете из Ганбурха 36 ч. печей в немецких епанчах* и т. д.; *баул застрелил леца; ратуша ходит в немецком кафтане и без штанов*). Есть и другие случаи с несколькими иными семантическими отношениями: *У единого мещанина в ранжереях 74 кувшина розцвели и стручки поспели* (субъект — неживой предмет, предикат требует субъекта — не просто живого объекта, но определенного класса их, а именно растения) [Там же], *Рыбаки много наловили огурцов и солят в патоке, пересыпают известью* [Там же: 51] (рыбаки ловят то, что находится в каком-либо водоеме, огурцы не находятся там; солят в соленом, патока сладкая и т. д.), *Венскую гавань перевезли сухим путем на фурманах в Рандебурх и чтоб торговые купцы с кораблями там приставали* [Там же] (неподвижный объект как подвижный) и т. п.

Необходимо отметить, что и пародийные «авизии» обнаруживают следы влияния небылиц. Так, в них говорится: *От Визии острова много вылетело осетров и на ратуше гнезда повили и высидели куликов* [Адрианова-Перетц 1948: 51]. Сходный мотив есть в уже упоминавшихся «Байке про старину стародавнюю» из сборника Афанасьева [III: 156, № 428] и песне «Агафонушка» из Сборника Кириши Данилова [1977: 142]: *В осеку овца гнездо свила и А и сивая свинья на дубу гнездо свила* [см. тж. Шейн 1898: 273–274, № 959, 962, 964; Там же: 301, № 104; Карнаухова 1934: 312, № 150 и т. д.].

Итак, сопоставляя пародийные «авизии» с другими проанализированными ранее абсурдными текстами, можно, по-видимому, сделать вывод о том, что в русской рукописной литературе XVII–XVIII

века представлен не один, а, по меньшей мере, два рода абсурда. Одна разновидность абсурдных текстов представлена такими произведениями, как «Лечебник на иноземцев», «Духовное завещание Елистрата Шибаева», «Роспись о приданом»; другая — пародийными «авизиями». В первой речь идет об абсурдных, невозможных предметах, во второй — о невозможных действиях. Тексты первого типа статичны, второго — динамичны. В соответствии с этим при примерно одинаковой доле существительных в текстах первого типа велика доля прилагательных, второго — глаголов в изъявительном наклонении (глаголов в инфинитиве — *взять, принимать, потеть, ухватить, разделить* и т. д. — много в «Лечебнике на иноземцев»). По-видимому, можно предположить, что такое разграничение соотносится с традиционным противопоставлением повествования и описания [см. Золотова и др. 1998: 29]; проанализированные тексты представляют, разумеется, весьма своеобразную их разновидность (ее своеобразие определяется их абсурдностью), но разграничение типов речи остается для них актуальным. Это, впрочем, не удивительно: будучи пародийными, тексты сохраняют соответствующую характеристику своих прототипов.

В заключение можно поставить вопрос о функции абсурда в художественном тексте. В работе «Новейшая русская поэзия» Р. О. Якобсон [1987: 299] говорит: «В поэтическом языке существует некоторый элементарный прием — прием сближения двух единиц. В области семантики модификацией этого приема являются: параллелизм, сравнение — частный случай параллелизма, метаморфоза, т.е. параллелизм, развернутый во времени, метафора, т.е. параллелизм, эллиптически сведенный к точке». В свете этого абсурд можно интерпретировать как еще один частный случай этого же приема, поскольку он представляет собой не что иное, как парадоксальное сближение и соединение того, что не может быть соединено в действительности.

В качестве реализации этого приема абсурд сближается с метафорой. Как пишет Н. Д. Арутюнова [1999: 382], «метафора — это вызов природе. Источник метафоры — сознательная ошибка в таксономии объектов». В основании абсурда также лежит ошибка. Но если метафора, как говорит далее Н. Д. Арутюнова, «умеет извлекать правду из лжи, превращать заведомо ложное высказывание если не в истинное (его трудно верифицировать), то в верное» [Там же], то абсурд правды на месте лжи не создает. Как в метафоре, так и в абсурде актуализируется противоречие, но если в метафоре оно снимается, то в абсурде — нет. И тем не менее значение абсурда в литера-

туре (и в фольклоре) не ограничивается ложью: если бы это было так, абсурдные произведения, наверное, не вызывали бы у читателей интереса. Можно думать, что здесь важно само соединение несоединимого, установление неочевидных связей: этот механизм, в качестве реализаций которого, видимо, выступают и абсурд, и метафора, по-видимому, способен порождать различные семантические эффекты, но как в том, так и в другом случае он определяет восприятие художественного текста.

Как и метафора [см. Арутюнова 1999: 381], абсурд отвергает привычные представления о мире, преобразуя существующее в несуществующее, известное — в неизвестное. Абсурд превращает привычный мир в мир фантастический, давая простор воображению. Благодаря тем приемам, о которых было сказано, на основе известных, привычных, практически полезных форм деловой письменности создаются художественные произведения, эстетическая ценность которых, вероятно, может быть осознана и сегодня.

Абсурдное не тождественно бессмысленному: в художественной литературе (и фольклоре) абсурд может стать источником смысла.

ЛИТЕРАТУРА

- Адрианова-Перетц 1948 — *Адрианова-Перетц В. П.* Юмористические куранты // Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена. Л., 1948. Т. 67. Кафедра русской литературы.
- Адрианова-Перетц 1977 — *Русская демократическая сатира XVII века / Подготовка текстов, статья и комментарии В. П. Адриановой-Перетц.* М., 1977.
- Арутюнова 1999 — *Арутюнова Н. Д.* Язык и мир человека. М., 1999.
- Афанасьев II—III — *Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т. / Издание подготовили Л. Г. Бараг, Н. В. Новиков; Ответственные редакторы Э. В. Померанцева, К. В. Чистов.* М., 1985. Т. II—III.
- АЮБ I—III — *Акты, относящиеся до юридического быта древней России / Изданы Археографическою комиссиею под редакцию члена комиссии Н. Калачева.* СПб., 1857–1884. Т. I—III.
- Бирюков 1953 — *Урал в его живом слове / Собрал и составил В. П. Бирюков.* Свердловск, 1953.
- Буслаев 1861 — *Буслаев Ф. И.* Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861. Т. II. Древнерусская народная литература и искусство.
- Гарелин 1853 — *Старинные акты, служащие преимущественно дополнением к описанию г. Шуи и его окрестностей.* Изданы Я. Гарелиным. М., 1853.

- Даль 1994 — *Даль В. И.* Пословицы русского народа. М., 1994.
- Забелин 1892 — *Забелин И. Е.* Заметка о памятниках простонародной литературы // Библиографические записки. 1892. № 2.
- Золотова и др. 1998 — *Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю.* Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998.
- Ивин 2003 — *Ивин А. А.* Логика: Учебник для гуманитарных факультетов. М., 2003.
- Киселева 2002 — *Киселева М.* Как лечили «иноземных земель людей» на Руси XVII века («Лечебник на иноземцев» // *Slavica Gandensia*. 29–2002 (<http://drevnerus.narod.ru/kiseleva1.htm>).
- Кузьмина 1955 — *Кузьмина В. Д.* Пародия в рукописной сатире и юмористике XVIII века (Рапорт пронского воеводы в Сенат. — Ответ новгородцев на указ из Военной коллегии. — Духовное завещание Елистрата Шибаева. — Апшит серому коту за его непостоянство и недоброту) // Записки Отдела рукописей Библиотеки им. В. И. Ленина. М., 1955. Вып. 17.
- Карнаухова 1934 — Сказки и предания Северного края / Запись, вступительная статья и комментарии И. В. Карнауховой. Предисловие Ю. М. Соколова. М.; Л., 1934.
- Новиков 1961 — Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века / Составление, вступительная статья и комментарии Н. В. Новикова. М.; Л., 1961.
- Новикова 1957 — Русские народные песни / Вступительная статья, составление и примечания А. М. Новиковой. М., 1957.
- ПШТМ 1974 — Пьесы школьных театров Москвы / Издание подготовили: О. А. Державина, А. С. Демин, А. С. Елеонская, В. Д. Кузьмина, В. В. Кусков, под редакцией А. С. Демина. М., 1974.
- Рассел 1999 — *Рассел Б.* Исследование значения и истины / Перевод с англ. Е. Е. Ледникова, А. Л. Никифорова. М., 1999.
- Ровинский 1881 — Русские народные картинки. Собрал и описал Д. Ровинский. Кн. I. Сказки и забавные листы. СПб., 1881.
- Сборник Кириши Данилова 1977 — Древние Российские стихотворения, собранные Киришю Даниловым / 2-е доп. изд. Подгот. А. П. Евгеньева и Б. Н. Путилов. Отв. ред. Л. А. Дмитриев. М., 1977.
- Сл. XVIII 1991 — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 6. (Грызться — Древний). Л., 1991.
- Флоринский 1879 — Русские простонародные травники и лечебники. Собрание медицинских рукописей XVI и XVII столетия В. М. Флоринского. Казань, 1879.
- Шейн 1898 — Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях... Материалы, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном. Вып. 1. СПб., 1898. Т. I.
- Якобсон 1987 — *Якобсон Р. О.* Работы по поэтике. М., 1987.
- Russell 1967 — *Russell B.* An Inquiry into Meaning and Truth. Harmondsworth, 1967.

М. А. ДМИТРОВСКАЯ

REALLIAR

(РАЗРЕШЕНИЕ «ПАРАДОКСА ЛЖЕЦА» В ЭСТЕТИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ В. НАБОКОВА-СИРИНА)

Мы слизь. Реченная есть ложь.

(В. Сирин. «Озеро, облако, башня»)

Мнение, что В. Набоков — мастер анаграмм, стало в набоковедении общепризнанным. Однако приводимые при этом примеры его анаграмматического мастерства являются разрозненными и не столь многочисленными. Между тем анаграммирование — действительно один из основных приемов словесного мастерства В. Набокова. Оно является инструментом использования и развертывания мультязыкового кода, который сложился у писателя уже в начале творческого пути (в сиринский период творчества) и оставался неизменным на протяжении всей его жизни. Этот код оформляет содержательную структуру, «инвариант» всех произведений В. Набокова-Сирин. Использование Набоковым анаграмм продиктовано отнюдь не просто самодовлеющим стремлением к игре. Суть приема глубже и корреспондирует с открытым еще Ф. де Соссюром в древней индоевропейской поэзии приемом анаграммирования имен божеств или других сакральных сущностей. Устроенные подобным образом тексты по определению не могут не быть «многослойными». У В. Набокова криптограмматичность письма создает во многих случаях большой зазор между «поверхностным» и «глубинным» уровнями понимания и интерпретации. Используемый В. Набоковым мультязыковой анаграмматический код базируется на использовании древних (латыни, греческого, старославянского, древнерусского) и новых индоевропейских языков (русского, английского, немецкого, французского, итальянского), то есть языков, которые писатель знал или с которыми был в той или иной мере знаком. Возможны также отдельные вкрапления других индоевропейских и неиндоевропейских языков. (Приведенный список языков является открытым.) Этот код является содержательным и при этом жестко структурированным. Глубинные содержательные структуры могут получать внешне различные формы манифестации, — как на уровне сюжета, так и на уровне словесного оформления.

В настоящей статье мы рассмотрим часть кода, которая связана с центральными в эстетико-художественной системе В.Набокова взглядами на отношение искусства к реальности (действительности). В отличие от Чернышевского, взгляды которого представлены в романе «Дар», Набоков отстаивает мысль об искусстве как обмане. Это свойство роднит искусство с природой и игрой в шахматы: «Всякое искусство — обман, так же как и природа»; «Все самое очаровательное в природе и искусстве основано на обмане»; «Искусство в своих высших проявлениях сложно и обманчиво»; «Я люблю шахматы, но обман в шахматах, как и в искусстве, — это лишь часть игры; часть комбинации, часть восхитительных возможностей, иллюзий, перспектив мысли, которые могут быть и ложными перспективами». В то же время в статье «Пушкин, или Правда и правдоподобие» Набоков, говоря не только о возможности, но и о необходимости обращения к вымыслу при создании пушкинской художественной биографии, пользуется при этом словом «правда». В искусстве вымысел создает правду. А жизненная правда трансформируется в искусстве в вымысел. Эти воззрения сконцентрированы у В.Набокова не только в статьях, интервью и литературоведческих работах, но составляют также центральное содержание, инвариант всех его художественных произведений, даже если это не представлено на «поверхностном» уровне.

Наш анализ мы начнем с первого написанного на английском языке романа В.Набокова «The Real Life of Sebastian Knight» («Подлинная жизнь Себастьяна Найта»), а далее по ходу рассуждений обратимся к другим произведениям, хотя в силу ограниченности объема статьи не сможем привлечь даже малую часть материала. Тем не менее охваченными окажутся произведения, написанные на русском, английском и французском языках. Демонстрация наличия в них мультязыкового содержательного кода создаст дополнительные условия для доказательства нашего утверждения, что этот код сложился у Набокова изначально, в сирийский период творчества, и не менялся при переходе писателя на английский язык. Однако нужно подчеркнуть, что для существования мультязыкового кода не обязательно, чтобы писатель писал на нескольких языках. Если бы В.Сирин не перешел на английский язык (вернув при этом свое исконное имя — В.Набоков), а продолжал бы писать только по-русски, это никак бы не сказалось на существовании и функционировании кода.

Название романа «The Real Life of Sebastian Knight» содержит загадку, которая разрешается всем ходом повествования. Какова же реальная, то есть истинная, подлинная жизнь Себастьяна Найта? Это жизнь, ставшая литературой, текстом. Реальная жизнь порождает другую реальность — реальность искусства, которое на самом деле явля-

ется обманом, то есть ложью. Перетекаемость действительного в иллюзорное, отсутствие между ними границ, переплавка реальности в вымысел и одновременно стремление вымысла предстать в виде правды поддерживается в английском языке тем, что слово REAL является практически зеркальной фонетической анаграммой противоположного ему по смыслу слова LIAR — 'лжец' (поскольку частеречевыми отличиями можно пренебречь, сюда же можно отнести значения 'ложный' и 'ложь' и соответствующие лексемы). Далее мы будем говорить о РЛ-комплексе и других, синонимичных ему. В. Набоков, несомненно, имел в виду и сознательно использовал оборачиваемость соответствующих слов и смыслов. Тому в романе есть немало подтверждений. Мы остановимся на некоторых из них.

Повествование в романе ведется от имени единоутробного брата Себастьяна, обозначенного инициалом V. (в русском переводе — В.), который пытается разгадать тайну его последней любви. Одновременно V. описывает весь жизненный путь Себастьяна, начиная с рождения, а также подробно говорит о написанных им книгах. Рассказывая о своем посещении умирающего Себастьяна, его брат V. подробно описывает, как он называет по буквам фамилию Себастьяна медсестре, которая должна впустить его к умирающему: «'K, n, i, g...' I began once again».

Итак, начальные буквы фамилии Себастьяна совпадают с русским словом «книга». Обратим внимание на то, что это совпадение выявляется, однако, только после смерти протагониста (к моменту разговора с медсестрой Себастьян на самом деле уже мертв). Именно после смерти Себастьян Найт (Knight) становится книгой (K, n, i, g...). Это акцентируемое Набоковым превращение получает развернутую интерпретацию во встроенном в произведение изложении содержания последнего романа самого Себастьяна — «Неясный асфодель»: «Тема книги проста <...> Человек умирает, и он герой повествования; но в то время, как жизни прочих людей этой книги кажутся совершенно реальными (или по меньшей мере, реальными в найтовском смысле), читатель остается в неведении касательно того, кто этот умирающий, где стоит или плывет его смертное ложе, да и ложе ли оно вообще. Человек — это и есть книга; книга сама вздымается и умирает и подтягивает призрачное колено». Это описание, где подчеркивается превращение умирающего в книгу, одновременно содержит и сообщение об эстетических взглядах Себастьяна на природу искусства. О реальности персонажей романа Себастьяна можно говорить только в «найтовском смысле» («at least realistic in the Knightian sense»), а это предполагает оборачиваемость понятия реалистичности и вбирание им в себя понятия вымысла. Чуть дальше в тексте следует рассуждение о

том, в какой степени смерть является реальной: «Но умирающий знал, что это — не всамделишные идеи; что только о половине понятия смерти можно сказать, — она существует реально: эта сторона, — рывок, разлука, причал жизни тихо уплывает, трепеща носовыми платками: ах! так он уже на другой стороне, раз может различить уходящий берег; нет, пока нет, — он все еще мыслит». В английском оригинале РЛ-комплекс присутствует чаще, чем в русском переводе: «But the dying man knew that these were not real ideas; that only one half of the notion of death can be said really to exist...». Итак, если только наполовину смерть существует в реальности, то вторая ее половина будет связана с нереальностью, но нереальность будет связана с вымыслом искусства, с жизнью книги, в которую превратится умирающий. Здесь перетекают друг в друга не только понятия реальности и нереальности, но и понятия жизни и смерти, что дает ключ к пониманию того, что же такое подлинная жизнь Себастьяна Найта. Она наступает после смерти. Книга о нем, которую мы держим в руках, и есть реальная жизнь героя. Книга так и называется — «The Real Life of Sebastian Knight». Действительно, человек равен книге. Но эта реальная жизнь одновременно есть факт искусства и является порождением вымысла и фантазии.

Взаимооборачиваемость понятий реальности и лжи (REAL/LIAR) создает постоянное «мерцание» смысла и определяет также характер повествования в самом романе «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», авторство которого Набоков отдает V. Уже на первой странице романа V. сообщает, что сведения о рождении Себастьяна были сообщены ему некой Ольгой Олеговной Орловой, которая просила не раскрывать ее имени, однако повествователь «по здравом размышлении» не нашел «какой-то особой надобности сохранять ее инкогнито». Столь подробное представление дамы является абсолютно немотивированным, особенно если учесть, что в романе не раскрыты имена и фамилии ряда центральных действующих лиц: самого V., его отца и матери (последние являются также отцом и мачехой Себастьяна). На самом деле имя дамы является «говорящим»: фамилия Орлова содержит комплекс РЛ (персонаж по фамилии Орловиус есть также в романе В. Набокова «Отчаяние»). Имя и отчество дамы тоже даны не случайно: «орел» по-английски — eagle, и консонантный комплекс ЛГ содержится в имени и отчестве дамы. Повествователь характеризует полное имя дамы как «яйцеобразную аллитерацию»: «Her name was and is Olga Olegovna Orlova — an egg-like alliteration which it would have been a pity to withhold». Сравнение аллитерации с яйцом (egg-like) содержит комплекс ЛГ, синонимичный РЛ-комплексу, а слово alliteration не только содержит комплекс РЛ, но и является практиче-

ски полной анаграммой слова literature. Так связываются воедино понятия литературы и реальности, которая в случае литературы — а именно она является реальной (REAL) жизнью человека, — на самом деле есть не что иное, как вымысел, обман, ложь (LIAR). Закодированная передача этой мысли уже на первой странице романа вкупе с последующим ее развертыванием говорит о том, что именно этот смысл и является в романе основным. В английском оригинале романа слово liar употребляется только один раз,⁴ но в очень знаковой позиции: «страшной вруней» (dreadful liar) называет свою соседку бывшая гувернантка Себастьяна мадмуазель Зелли, которая сама сообщает повествователю совершенно фантастические сведения о своем бывшем воспитаннике.

Семантика «лжи», присутствующая в романе «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» часто в закодированном виде, в романе «Защита Лужина» манифестируется открыто, — при этом Набоков пользуется теми возможностями, которые предоставляет ему русский язык. В самом начале романа, на второй его странице, говорится о том, как маленький Лужин писал летом диктанты под диктовку своего отца, причем приводится только одно предложение из диктанта, которое в тексте повторяется — явно для того, чтобы указать на его особую значимость: «Это ложь, что в театре нет лож, — мерно диктовал он [отец], гуляя взад и вперед по классной. — Это ложь, что в театре нет лож». И сын писал, почти лежа на столе, скаля зубы в металлических лесах, и оставлял просто пустые места на словах „ложь“ и „лож“». С учетом исторического чередования *г/ж* (например, *лгать/лжет*) форма ЛЖ является вариантом комплекса ЛГ. Сама фамилия Лужин содержит консонантный комплекс ЛЖН, анаграммирующий слово *ложный* (фамилию *Лужин* носит также герой раннего рассказа Набокова «Случайность»). Тот же консонантный комплекс с оглушением шипящего (ЛШН) присутствует в названии родового имени Годуновых-Чердынцевых *Лешино* (роман «Дар», рассказ «Круг»). Название «Лешино», с одной стороны, отсылает к лешему, но, с другой стороны, может быть рассмотрено как притяжательное прилагательное от имени *Лёша*, то есть *Алексей*. В. Набоков, несомненно, имел в виду эту интерпретацию: обоих его Лужиных зовут Алексеями, при этом имя шахматиста Лужина — Алексей Иванович — становится известно в самом конце романа, когда герой выбрасывается из окна, имя же второго сообщается в самом начале рассказа «Случайность»: «Он служил лакеем в столовой германского экспресса. Звали его так: Алексей Львович Лужин». В этом зачине комплекс ЛЖ на самом деле присутствует не только в фамилии *Лужин* и имени *Алексей*, но и в слове *служил*. В имени *Алексей* в явном виде присутствует консонантный

комплекс ЛК, который можно рассматривать как вариант ЛГ-комплекса с позиционным чередованием звонкого и глухого звуков. Многократное повторение ЛГ/ЛК комплекса встречается в рассказе В. Набокова «Лик». Его название совпадает со сценическим псевдонимом главного героя. Имя Лика не является неожиданным — его зовут Александр (ЛК). Имя его заклятого врага Колдунова — Олег (ЛГ). Лик, будучи актером, играет в спектаклях, где исполняет роль героя, влюбленного в девушку по имени Анжелика (опять Лик). В этой непрерывной повторяемости ЛГ-комплекса для нас важно то, что в самом рассказе подчеркивается стремление героя перейти из реальной жизни в жизнь пьесы, — но только после воображаемой (но одновременно и реальной) смерти: «...Лик мог бы надеяться, что в один смутно прекрасный вечер он посреди привычной игры <...> навсегда потонет в оживающей стихии, ни на что не похожей, самостоятельной, совсем по-новому продолжающей нищенские задания драмы, — весь без возврата уйдет туда, женится на Анжелике, <...> заживет в том замке, — но кроме всего очутится в невероятно нежном мире, сизом, легком, где возможны сказочные приключения чувств, неслыханные метаморфозы мысли. И обо всем этом думая, Лик почему-то себе представлял, что когда он умрет от разрыва сердца, а умрет он скоро, то это непременно будет на сцене, как было с бедным, лающим Мольером, но что смерти он не заметит, а перейдет в жизнь случайной пьесы, вдруг по-новому расцветшей от его впадения в нее, а его улыбающийся труп будет лежать на подмостках, высунув конец одной ноги из-под складок опустившегося занавеса». Сравнение Лика своей воображаемой смерти со смертью Мольера не случайно: Мольер упомянут потому, что в его фамилии содержится комплекс РЛ, который, соотносясь одновременно с понятиями как реальности, так и лжи, знаменует переход из одного состояния в другое — от реальной жизни к реальности смерти, которая оборачивается книгой, текстом, пьесой (параллель с романом «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» очевидна).

Для окончательного прояснения семантики комплекса ГЛ и его связей с комплексом РЛ обратимся к рассказу В. Набокова «Адмиралтейская игла», в названии которого в первом слове присутствует РЛ, а во втором ГЛ-комплекс. Название рассказа дублирует название романа некоего Сергея Солнцева, о котором повествователь пишет письмо его автору. Семантика названий, как кажется на первый взгляд, просто связана с Петербургом, на фоне которого происходила любовная история повествователя и Катеньки, которые, как считает повествователь, выведены в романе Сергея Солнцева под именами Леонид и Ольга. Но это объяснение поверхностно. На самом же деле смысл названия связан с эстетическими взглядами Набокова, которые встро-

ены во все его произведения и составляют их смысловой инвариант. Письмо, которое пишет повествователь Сергею Солнцеву и которое тождественно рассказу «Адмиралтейская игла», посвящено выражению несогласия повествователя с теми искажениями, которым, по его мнению, была подвергнута реальная история любви в романе скрывшейся за псевдонимом Катеньки: «...какое это все отвратительное, бессмысленное вранье!». В финале рассказа есть такие слова: «...может быть, Катя, все-таки, несмотря ни на что,*произошло редкое совпадение, и не ты писала эту гиль...». Редко употребляющееся в современном русском языке слово «гиль» в словаре В.И. Даля толкуется следующим образом: «вздор, чепуха, чушь, бессмыслица, нелепица, дичь». Слово «гиль» проясняет слово «игла» в названии рассказа: оба они имеют отношение к литературному вымыслу, который есть не что иное, как реальность лжи.

Комплекс ЛГ встречается в рассказе многократно. Остановимся на онимах. В имени Ольга комплекс ГЛ содержится в явном виде, а в имени Леонид восстанавливается через два шага: консонантная основа имени Леонид (ЛНД) соответствует англ. *needle* — ‘игла’. Фамилия Сергея Солнцева отсылает к греч. *gelios* (ЛГ) — ‘солнце’: В рассказе есть еще два имени (Глинское и Вильгельм), употребление которых мотивировано семантикой ЛГ-комплекса. В обоих случаях вслед за употреблением имени следует указание на процесс письма: «Описывая, как я летом гостил в Глинском, Вы загоняете меня в лес и там меня заставляете писать стихи, дышащие молодостью и верой в жизнь. Все это происходило не совсем так»; «...из красной <...> пасти граммофона <...> грозный голос изображал Вильгельма: „Дайте перо мне и ручку, хочу ультиматум писать“...».

Взаимообратимость реальности и вымысла (лжи) не только поддерживается в английском языке за счет анаграмматичности противоположных по смыслу слов *REAL/LIAR*, но имеет столь же нестандартную поддержку во французском языке в сопоставлении с русским. Фр. *vrai* — ‘истинный’ для русского уха звучит подобно глаголу «врать», а существительное *le vrai* ‘истина, правда’ с консонантным комплексом ЛВР является анаграммой глагольной формы «врал». Форма *le vrai* дважды присутствует в названии речи, написанной В. Набоковым по-французски в 1937 году по случаю 100-летней годовщины смерти Пушкина. Французский оригинал носит название «*Pouchkine ou le vrai ou le vraisemblable*», в русском переводе — «Пушкин, или Правда и правдоподобие». Фр. *le vrai* и рус. «врал» одновременно являются анаграммами лат. *liber*, фр. *livre* — ‘книга’. В английском переводе Дмитрия Набокова название речи звучит так: «*Pushkin, or the Real and the Plausible*». Таким образом, фр. *le vrai* равно англ. *the real*. Несложная подстановка

слов в названии романа Набокова «The Real Life of Sebastian Knight» даст в точном французском переводе «La vraie vie de Sebastian Knight», что с учетом отмеченных выше возможных анаграмматических трансформаций порождает дополнительные смыслы: 'жизнь-книга Себастьяна Найта' и 'вымышленная жизнь Себастьяна Найта'. Действительно, его истинная жизнь есть книга, которая есть не что иное, как обман.

Остановимся подробнее на фамилии Knight. В английском слово knight имеет несколько значений: 'рыцарь', 'конь (шахм.)'; 'валет (карт., устар.)'. Во французском переводе романа фамилия Knight не меняет формы, что приводит к утрате ее семантики, так как во французском языке слова knight нет. Когда в тексте речь идет о шахматном коне (в частности, при постоянном подчеркивании сходства Себастьяна с этой шахматной фигурой), во французском переводе употребляется слово chevalier. Если иметь в виду гипотетическую возможность перевода фамилии Knight как Chevalier, то нетрудно к англо-русскому соответствию (Knight — K, n, i, g) добавить соответствующий французский вариант (Chevalier — livre), где слова Chevalier и livre содержат комплекс РЛ, имеющий одновременно отношение как к реальности, так и ко лжи. В русском переводе фамилия Knight не транслитерируется, а представляет собой графически оформленную произносительную форму [nait] — Найт. Таким образом, при переходе на русский язык исчезает графическая поддержка англо-русской параллели Knight — K, n, i, g, зато появляется возможность увидеть повторение фамилии в имени Sebastian. Последний слог имени -tian, прочитанный в обратном порядке, и даст фамилию Найт. Столь множественное кодирование слова «книга» (с вложенными туда смыслами реальности и обмана) в названии романа «The Real Life of Sebastian Knight» аналогично тому, что мы имеем в случае упоминания «an egg-like alliteration» — имени Ольги Олеговны Орловой. Какова же возникающая в процессе письма alliteration/literature? Сумма заглавных букв названия книги «The Real Life of Sebastian Knight» с заменой произносимого начального К в фамилии Knight на произносимое N дает нам комплекс RLSN, представляющий собой анаграмму псевдонима писателя Сирина (Sirin). Писатель стоит между двумя реальностями и умирает в каждом произведении, а истинную жизнь получает в книге.

М. Ю. МИХЕЕВ

КТО ЛЖЕТ? ПЕРЕКЛИЧКА МОТИВОВ
РАССКАЗА Л. АНДРЕЕВА «ИУДА ИСКАРИОТ»
И РОМАНА БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»

В тексте рассказа Леонида Андреева «Иуда Искарriot» можно выделить, с одной стороны, эпизоды, являющиеся цитатными повторами, практически — воспроизведениями евангельских эпизодов, а с другой стороны, содержательные дополнения и расширения евангельских мотивов, насыщающие текст конкретными подробностями и как бы «инсценирующие» его — для переложения в ином жанре, уже как художественную литературу. Если первые случаи можно обозначать как «просто цитата», то вторые — как «цитата с расширением», или «цитата+». При том что в евангелиях дается повествование очень сжато, в основном представляя собой смену эпизодов (*диегесис*), часто непонятно от чьего лица описываемых, у писателя оно предстает в развернутом плане, с вовлечением классических элементов описания и рассуждения, прямой речью действующих лиц и передачей их мыслей в косвенной форме.

Кроме просто цитат и цитат с расширением в тексте Андреева можно выделить, в-третьих, и такие эпизоды, которые являются явно собственными осмыслениями автора, то есть идут вразрез с трактовкой канонических евангельских эпизодов, отступают (и от синоптических, и от Евангелия Иоанна), им противореча или их диалогически переосмысляя, исходя из целого всего произведения и собственной авторской трактовки конкретных деталей. Последний случай можно обозначить уже как «возражение» или как «трансформация» исходного мотива (→).

Когда к тем же эпизодам подходит другой автор, безусловно знакомый и с первоисточником, и с его трактовкой у Андреева (в данном случае я имею в виду Булгакова с евангельскими главами в романе «Мастер и Маргарита»), то и у него мы тоже можем наблюдать те же самые диалогические реакции — с одной стороны, цитатные воспроизведения подлинника, но с другой стороны, цитаты с продолжением или с дальнейшим (образным) наполнением эпизода, или, с третьей стороны, — переворачивание цитаты оригинала, с ее коренным переосмыслением, а иногда и прямым отрицанием.

В случае Булгакова все три вида диалогических реплик становятся возможны как по отношению к собственно евангельскому первоисточнику, так и — к произведению автора-предшественника («Иуда Икариот» написан Андреевым почти на четверть века раньше «Мастера и Маргариты») Булгакова, в 1907-м, тогда как первая редакция романа о дьяволе возникла у автора, как известно, в 1929-м, а дописывал он свой роман до самой смерти, до 1940-го). У того, кто пишет позже, любая деталь предшественника может получить продолжение, а конкретная детализация эпизодов или мотивов может пойти дальше, но может последовать и, наоборот, отказ от нее, ее сокращение и редукция; кроме того может возникнуть возражением к тексту первоисточника или — к трактовке данного эпизода в тексте автора-предшественника.

Естественно, что и у Андреева на самом деле можно отыскать, по-видимому, множество предшественников, на произведения которых он так или иначе опирается или от них отталкивается, да и у Булгакова, помимо Андреева, были, очевидно, другие источники, на которые евангельские главы «Мастера и Маргариты» являются откликами, но здесь для простоты я их не стану учитывать. (В частности, возможны параллели с Фаустом, с героями романов Достоевского и т. п.)

Оставляю также в стороне мотив наследования имен и переименований: Голгофа — Лысая Гора, или Лысый Череп, Иерусалим — Ершалаим, «Иуда из Кариота» или «из Кириафа», «Иисус — Иешуа Га-Ноцри», Каиафа — Каифа, «сотник» из синодального перевода евангелия — «кентурион» у Булгакова и т. п.

В качестве конкретизации мотива или эпизода¹ может выступать такой элемент повествования, который можно было бы назвать *обоснованием*. Так, во всех трех текстах, и в евангелиях, и у Андреева, и у Булгакова первосвященники опасаются народного **возмущения**, кровопролития и вмешательства властей из Рима (боясь разрастания в городе беспорядков). То, что никаких беспорядков не было, объясняется у одного только Булгакова — четкой продуманностью, установленным порядком действий, **организацией** казни у римлян. Здесь Булгаков, в целом не противореча евангелиям, выдвигает свое обоснование этого частного события, насыщая повествование собственной конкретикой («...вторая кентурия пропустила наверх только тех, кто имел отношение к казни, а затем, быстро маневрируя, рассеяла толпу вокруг всего холма, так что та оказалась между пехотным оцеплением вверху и кавалерийским внизу»).

¹ Мотив, эпизод и деталь я здесь употребляю синонимично, не различая их между собой.

1. Сначала перечислю эпизоды, когда Андреев вполне следует в деталях за евангельским текстом, используя как цитаты следующие перечисляемые ниже (а–д) мотивы, а иногда только несколько варьируя их — дополняя и расцветчивая конкретикой, но не идя вразрез, не вступая в противоречие к исходному тексту:

- (а) Хорошо известный евангельский эпизод с **клятвой** и отречением Петра: он практически один к одному воспроизводится у Андреева, но зато совсем не используется Булгаковым, апостол Петр в его повествовании вовсе не упоминается, все сконцентрировано на единственной фигуре ученика — Левия Матвея. У Андреева же Петр решительным и властным голосом клянется, что никогда не оставит своего учителя, что готов с ним вместе идти и в темницу и на смерть. Тот отвечает: *«Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься от меня»*. (Так, собственно, и происходит.) Отличие описания событий в евангелиях и у Андреева состоит только в том, как представлена точка зрения: само **прозрение Петра**, с припоминанием им своей клятвы после троекратного отречения, описанные в Евангелии от Матфея как происходящие внутри сознания Петра (согласно евангелисту Луке — еще и под впечатлением укоризненного взгляда, обращенного на него Иисусом), у Андреева описываются с точки зрения Иуды — именно он слышит, как Петр трижды отрекается во дворе дома первосвященника, и фиксирует в сознании, бормочет сам себе (его внутренняя речь): *«Так, так, Петр! Никому не уступай своего места возле Иисуса!»* (Близость к Иисусу, таким образом, может парадоксально подтверждаться и отречением от него! Здесь очевидно звучит и ирония Иуды — при том что как раз сам Иуда претендует на то, чтобы занять это самое близкое к Христу место, место Петра.) Но испуганный Петр у Андреева уходит и больше не показывается — до самой смерти Христа. Так что остаются только они двое, неразлучные до самой смерти — тот, кого предали на поругание и муки, и тот, кто его предал (последняя функция, то есть функция спутника Иешуа и его собеседника в вечности, Булгаковым передается от Иуды — Пилату).
- (б) Так же как в евангелиях, в рассказе Андреева Иисус в Гефсиманском саду призывает учеников бодрствовать: *говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною* (Мф. 26.38), но те, не будучи в состоянии выполнить его просьбу, безвольно засыпают. Этого нет у Булгакова (согласно его версии воины хватают Иешуа-Га-Ноцри прямо в доме предателя Иуды из Кириафа).

- (в) В сцене с поцелуем Иуды у Андреева дается еще и описание самого **взгляда** предателя, а потом рассуждение о том, какой смысл Иуда вкладывает в слова приветствия: сразу же после произнесенного им шепотом, мол, кого я поцелую, тот и есть Иисус, Иуда *«затем быстро придвинулся к Иисусу, ожидавшему его молча, и погрузил, как нож, свой прямой и острый взгляд в его спокойные, потемневшие глаза. #* — Радуйся, равви! — сказал он громко, вкладывая странный и грозный смысл в слова обычного приветствия. Вытянувшись в сотню громко звенящих, рыдающих струн, он быстро рванулся к Иисусу и нежно поцеловал его холодную щеку»*. В Евангелии же (Мф. 26.49) в этом месте только: *...тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его*². Мы видим, что здесь в описании Андреева внутрь сцены встраивается троп (погрузил свой взгляд — как нож)!
- (г) На вопрос Иисуса *«целованием ли своим предаешь сына человеческого»* Иуда у Андреева еще и активно **отвечает** — впрочем, неправильно считать, что это слова произнесенные: скорее это только мысли, его внутренняя речь — они взяты в скобки, в отличие от вопросов и ответов, которые до того были оформлены как прямая речь: *«Да! Целованием любви предаем мы тебя. Целованием любви предаем мы тебя на поругание, на истязания, на смерть! Голосом любви скликаем мы палачей из темных нор и ставим крест — и высоко над теменем земли мы поднимаем на кресте любовью распятую любовь»*. Данная риторическая тирада, естественно, остается без ответа. Андреев хочет сказать, что это как бы и есть те самые «голоса», или тот голос сомнения, который постоянно звучит в душе Иуды, раздирая ее на части (*«внутри его все стеноло, гремело и выло тысячью буйных и огненных голосов»*)³.

* Знак # здесь и далее обозначает опускаемый в цитате абзацный отступ.

² Примерно то же у евангелиста Марка, а у Луки сам акт поцелуя вообще не отмечен, фиксировано только намерение: зато у него сообщаются такие детали, как — именно правое отсеченное ухо у раба первосвященникова и следующее затем исцеление того прикосновением руки Христа; у Иоанна же сообщается и имя раба — Малх. Вообще в евангелиях, надо сказать, передача событий как бы конспективна, с постоянными пропусками несущественных, с точки зрения каждого из евангелистов, деталей.

³ Возможно, что тот же мотив слышания голосов (Иудой, по Андрееву), у Булгакова переосмысливается — как проявление гемикрании Пилата: он слышит голос, нашептывающий ему о бессмертии (*«мелькнувшая как молния и тут же погасшая какая-то короткая другая мысль: „Бессмертие... пришло*

- (д) У Андреева в эпизоде, когда Иуда привел солдат в Гефсиманский сад, Петр извлек из ножен меч и — *«слабо, косым ударом опустил его на голову одного из служителей — но никакого вреда не причинил»*. (Отсеченное этим ударом ухо, очевидно, как мало реалистическое, отсутствует.) Иисус приказывает бросить ненужный меч. (У Булгакова самой сцены нет, поскольку воины арестовывают Иешуа прямо в доме Иуды.) Но у Андреева есть еще и такая, в целом не обязательная и не слишком убедительная деталь: *«через много дней меч, брошенный Петром, нашли на том же месте дети и сделали своей игрушкой»*.

II. Отмечу отдельно еще и **инсценировочные** трансформации у Андреева, с передачей конкретных евангельских фраз и речений в чьи-то уста, согласно общему ходу действия, конкретным характерам героев, всей логике повествования автора:

- (а) Так, именно ученик Иисуса Фома утверждает, что отец у Иуды — дьявол. Здесь, по-видимому, происходит передача слов Иисуса, сказанных в храме и обращенных к иудеям, согласно евангелию, о том, что отец их — дьявол: у Андреева же они переданы Фоме и адресованы от него к Иуде. У Булгакова этого нет: его Иешуа начисто лишен евангельского обличительного пафоса, он только по-евангельски кроток.
- (б) Согласно Андрееву, именно Иуда говорит, что *«лучше пусть один человек погибнет, чем весь народ»* (в Евангелии же это слова первосвященника Каиафы на совете перед иудеями — Ин. 11.50 и 18.14).

III. А вот уже доработки **Андреевым** отдельных эпизодов, с наполнением их не только конкретным содержанием, но отчасти уже и собственными версиями сюжета евангелий, как бы с его собственным художественным продолжением евангельских мотивов.

- (а) Так, Андреев представляет нам Иуду — как расчетливого **хозяйственника**, ответственного за материальные заботы общины. Он пишет, что сам Иисус поручил Иуде *«денежный ящик, и вместе с этим на него легли все хозяйственные заботы: он покупал необходимую пищу и одежду, раздавал милостыню, а во время странствований приискивал место для остановки и ночлега. Он делал все очень искусно и вскоре заслужил себе расположение*

бессмертие... Чье бессмертие пришло? Этого не понял прокуратор, но мысль об этом загадочном бессмертии заставила его похолодеть на солнцепеке»).

некоторых учеников». В Евангелии (Ин. 12.6) же было сказано только о том, что Иуда имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали, причем сказано это там как продолжение (и как бы обоснование?) категорического утверждения о том, что *Иуда был вор* (там же). Андреев же этот тезис в целом оспаривает.

- (б) Согласно Андрееву получает конкретное продолжение мотив **вороватости** Иуды: благодаря Фоме открылось, что Иуда утаил несколько динариев из общих денег (потом Иуда признается Фоме, что потратил их на блудницу). Узнав об этом, разгневанный Петр схватил Иуду за ворот его платья и почти волоком притащил к Иисусу — но Иисус неожиданно встает на защиту виновного, он утверждает перед Иоанном, что Иуда может брать столько денег, сколько хочет, и никто не должен считать, сколько денег тот получил: *«Иуда наш брат и вы только обидели его»*. То есть, надо так понимать, Иисус у Андреева одобряет хозяйственные предприятия Иуды и бережет его для уготованной ему в будущем роли? С другой стороны, получает продолжение здесь и идея «не заботьтесь о том, кому быть первым: пусть первые станут последними».
- (в) Получил дальнейшую разработку у Андреева и мотив **лживости** Иуды: тот постоянно лгал, но — пишет Андреев — *«к этому привыкли, так как не видели за ложью дурных поступков»*. В Евангелии подобное говорится о дьяволе (Ин. 8.44): *Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи*. Об Иуде же говорится, что он вор.
- (в1) У Андреева Иуда наделен очевидным даром убеждения и **красноречия**: так, он знает подходы к людям (это как бы продолжение или конкретизация темы его двойственности): он старался доставить всем приятное и *«каждому умел сказать то, что ему нравится»*, но и *«приятное говорил редко, тем самым придавая своим словам особую ценность, а больше молчал»*. (То есть это оправдание лжи как неизбежного продукта красноречия?)
- (г) Андреев вводит тему **постоянной неопределенности** и почти двойничества Иуды: в отличие (но и в параллель) к Иисусу, в котором автор видит *«дух светлого противоречия»*, его Иуда *«льстив, услужлив, расчетлив и хитер»*, он часто *«уходит внезапно, оставляя по себе неприятности и ссору»*. У него и голос *«переменчивый: то мужественный и сильный, то крикливый, как у старой женщины»*; так, *«часто слова Иуды хотелось вытащить из своих ушей, как гнилые, шероховатые занозы»*.
- (г1) Но тема **двойственности** Иуды продолжается в следующих его действиях: *«одною рукой предавая Иисуса, другой рукой Иуда*

старательно искал расстроить свои собственные планы»: так, он предупреждал об опасности похода в Иерусалим и он сам добыл два меча — один из них взял себе Петр, а когда Фома спрашивает, разве хватит двух мечей для защиты, Иуда признается, что украл эти мечи (= кража Левия Матвея!), что он хотел украсть больше, но кто-то закричал, и он вынужден был убежать.

- (е) Иуда склонен к **осуждению** других (в нем дух высокомерия): он отрицает знание Иисусом реальной жизни: *«Петр, Петр, разве можно его слушать! Разве понимает он что-нибудь в людях, в борьбе!»* (Это можно сопоставить с оценкой Иешуа — Пилатом у Булгакова как фантазера и философа.)
- (ё) Андреевым выделена особо также склонность Иуды к **злословию** и сталкиванию других между собой: так, Иуда говорит, что у Иоанна отсыревшая добродетель, у Фомы — ум, проеденный молью, а когда тот, наконец, готов его поцеловать в знак примирения, специально провоцирует его, говоря, что деньги, которые утаил, он потратил на блудницу.
- (ж) Он явно любит **смущать** других: в беседе с Марией Иуда признается, что где-то у него самого есть жена, и спрашивает Марию, сколько она получала, когда была блудницей, чем приводит ее в замешательство.
- (з) Иуда в избытке наделен, помимо речевой агрессивности, и склонностью к **провокации**: так, он оказывает глубокое почтение Иоанну как любимому ученику Иисуса и, отвечая на его вопрос, кто из них с Петром будет первым возле Христа в небесном царствии, говорит, что безусловно будет он, Иоанн (и приводит аргументы в пользу этого), но и Петру, в другой раз, на аналогичный вопрос — что будет он, Петр (и тоже приводит аргументы, которые так хочется услышать Петру) — так что Петр называет его «умнейшим из учеников». Иуда очевидно хочет их столкнуть между собой? Но сам-то он при этом, как мы знаем, считает, что место ближайшего к Иисусу ученика уготовано все-таки ему, Иуде.
- (и) Мотив **денег** за предательство — **30 сребреников** — у Андреева совмещается еще и с мотивом жадности, мелочной торговли, торговщеского надрыва, а также — мотивом **ничтожества** самой цены. Но, по Андрееву, Иуда предает совсем не ради денег, а из «сознательных» соображений, он только хочет показать и делает вид, что жаждет денег, а первосвященник играет в свою игру, делая вид, в свою очередь, что вовсе не заинтересован в этом предательстве. Иуда приходит к нему несколько раз, и Анна все не хочет принимать его; в четвертый раз, наконец, попав к нему на прием, Иуда утверждает, что тот его боится — Анна возражает:

он достаточно силен, чтобы ничего не бояться. Иуда сообщает, что хочет предать им Назарея. Анна отвечает, что тот им вовсе не нужен. Иуда является еще раз — Анна наконец назначает цену — 30 сребреников, эта цена кажется Иуде смехотворной — а Анна наслаждается тем, что унижает Иуду. Иуда перечисляет детали будущих мучений Христа, как бы стремясь набить себе цену в глазах первосвященника: обол за каплю крови, пол-оболы за слезу, четверть оболы за стон, ...за крики, за судороги, ...чтобы остановилось сердце, чтобы закрылись глаза — *«ограбить хотите Иуду, кусок хлеба вырвать у его детей»* (что, вообще говоря, довольно странно, так как ранее сказано, что жену свою он оставил). Анна гонит его: *«Вон!»* — И только тогда Иуда сразу же соглашается: *«Зачем же ты сердись на бедного Иуду, который желает добра своим детям? — Вон! — Но разве я сказал, что я не могу уступить?»* (то есть Андреев придает сцене Иуды с Анной какие-то гипертрофированные национально специфические черты — некоего ростовщического торга). Когда Анна отдает ему деньги, тот еще и пробует каждую из монет на зуб.

(й) Фома долго не решается поцеловать Иуду (так велел сделать ученикам сам Иисус, видимо, в знак прощения: они до этого заподозрили Иуду в воровстве) — Фоме надо, как он говорит, подумать, через день он, наконец, решается. Тут оживает и мотив **неверия** Фомы — в желании им вещественных доказательств по Евангелию (*если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю*) (Ин. 20: 25) — у Андреева же он трактуется как мотив **легковерия** или просто малой образованности Иуды: Фома ни о чем не знает, а обо всем расспрашивает других (вместе с воскресением Христа, которое у Андреева не показано, автор отказывается и от мотива влагания Фомой своих перстов в раны Иисуса).

(к) Уже сам домысливая историю и показывая двойственность отношения Христа к Иуде, Андреев специально разрабатывает предысторию их взаимоотношений, чтобы обосновать предательство: Иуда ищет встречи, но Иисус избегает контакта с ним, хотя и не отталкивает его: *«...Иуда никогда не говорил прямо с Иисусом, и тот никогда прямо не обращался к нему, но зато часто взглядывал на него ласковыми глазами, улыбался на некоторые его шутки, и если долго не видел, то спрашивал: а где же Иуда? А теперь глядел на него, точно не видя, хотя по-прежнему, — и даже упорнее, чем прежде, — искал его глазами всякий раз, как начинал говорить к ученикам или к народу, но или садился к нему*

спиною и через голову бросал слова свои на Иуду, или делал вид, что совсем его не замечает». У Булгакова же все ограничивается ответом Иешуа Пилату на вопрос об Иуде — как о «добром и любознательном человеке»...

- (л) У Андреева Иуда признается первосвященнику Анне, что обижен другими учениками Иисуса. Анна не доверяет Иуде как человеку лживому и не верит, что ученики Иисуса разбегутся, а народ якобы не заступится за него.
- (м) Обоснованием предательства у Андреева выступает обида, **ревность** к Иисусу и зависть Иуды к остальным; всех других учеников Иуда называет глупцами и сравнивает со стадом баранов, а себя считает единственным верным учителю, называет *благородным прекрасным Иудой*: *...Казалось, однако, что он всегда говорит против Иуды. Для всех он был благоуханным цветком, а для Иуды оставлял одни острые шипы*». Здесь мы видим как будто намеренное **подстегивание** Иисусом **ревности** в Иуде: из-за обделенности любовью учителя.

Иуда ночью стонет и скрипит зубами — он очевидно ревнует к другим ученикам за то, что Иисус не обращает на него внимания, он считает, что заслужил больше других его любовь, потому что красивее других учеников и спас ему жизнь, тогда как те бежали. Фома поправляет его: он вовсе не красив, а кроме того лжет и злословит постоянно. Иуда утверждает, что сухая смоковница, которую нужно порубить секирой, о которой говорил Иисус, это и есть именно он, Иуда. Но Иисус его боится, он прячется от него, а любит глупых, предателей и лжецов. На следующий день после того, как по настоянию Иисуса все целовали Иуду, он оказывается прост, мягок и серьезен, так что даже Матфей хвалит его, но Иисус все так же чуждо смотрит на него.

- (н) **Возрастание недовольства** Иуды (как развитие побочного сюжета, введенного Андреевым). Иуда спасает Иисуса и учеников от расправы в одном иудейском селении, но при этом действует **обманом**: он очаровывал толпу странной силой, утверждая, что Назарей вовсе не одержим дьяволом, как те думали (они готовы были побить его камнями), а просто плут и обманщик, вор, любящий деньги (то есть в сущности такой же, как и они все). Иуда за это ждал похвал, благодарности и поздравлений со стороны Иисуса, но тот, разгневанный, шел большими шагами и не оборачивался. По мнению Иуды, именно он спас учителя.
- (о) **Предсказание** Иисусом того, что ученики его покинут, по Андрееву, происходит по дороге на Елеонскую гору, *«те из учеников, которые шли сзади, слышали отрывочно тихие слова Иисуса. О том, что все покинут его, говорил он»*. Собственно в евангели-

ях такого предсказания нет. Есть только предсказание Петру — о его троекратном отречении. Из этого — как продолжение — очевидно и возникает указанный мотив у Андреева.

- (п) Но Андреев идет и еще дальше: у него сам Иуда заранее **предвидит**, что все ученики отступятся от Иисуса и спрячутся, когда того захотят взять и поведут на казнь, а явятся только тогда, когда его нужно будет класть в гроб (но так оно и есть, то есть он в самом деле, по Андрееву, оказывается провидцем?).
- (р) В тот же самый ряд «местной специфики» и контекста встраивается мотив **предательства** Иуды. Согласно Мк. 14.11, первосвященники, узнав, что Иуда хочет **предать** им Христа, *обрадовались и обещали дать ему денег*. Андреев переосмысливает эпизод: у него первосвященники вовсе не обрадовались, а наоборот, разыграли равнодушие, Иуде приходится их еще убеждать, что Иисус в самом деле опасный преступник, то есть снова произносить ложь. Иуда тайно посещает первосвященника Анну, тот смотрит на него с презрением — Иуда говорит, что он человек благочестивый и стал учеником с целью уличить обманщика и предать его в руки закона, рассказывает о чудесах, о ненависти к фарисеям, о постоянных нарушениях закона со стороны Иисуса и желании исторгнуть власть из рук священников, создав свое особенное царство. Первосвященник выражает недоумение: мало ли вообще в Иудее безумцев.
- (с) Сама **сцена распятия** у Андреева также переосмыслена — она и дается глазами Иуды. Вздывается крест — осуществился ужас и мечта Искарота. Он поднимается с колен и (теперь уже) смотрит, как смотрит победитель. Он надеется, что все поймут, вырвут из земли проклятый крест и высоко над теменем земли поднимут свободного Иисуса. Он хочет крикнуть «Осанна!», видит плачущих Марию Магдалину и мать Иисуса. Он видит, как умирает Иисус. Обращаясь к матери Иисуса, он говорит: *«долго еще будут плакать с тобою все матери земли. Дотоле, пока не придем мы с Иисусом и не разрушим смерть»*. — Что он — безумец или издевается, этот предатель?» (это слова косвенной речи, мысли матери Иисуса, обращенные к Иуде). У Булгакова же казнь подана глазами Левия Матвея, от апологии Иуды автор явно отказывается. Но вместо этого апологизируется (как у Гёте) само дьявольское начало мира — двойственность.
- (т) Основная трансформация, на которой зиждется вся конструкция рассказа Андреева, получает соответствие в максиме из Евангелия от Иуды (она приводится в переводе с коптской рукописи, через английский на рус. яз.), которое не могло быть известно во времена Андреева и Булгакова. Это слова, с которыми Иисус об-

ращается к Иуде, сравнивая его с другими учениками: *«Но ты превзойдешь их всех. Ибо в жертву принесешь человека, в которого я облачен»*. То есть он посвящает единственного Иуду, тайно от остальных учеников, в свой замысел — предания себя самого на казнь. (Андреев как будто знает о существовании этой апокрифической версии и ее дорабатывает.) В евангелиях ни о каких взаимоотношениях Иисуса с Иудой не говорится (за исключением их диалога во время Тайной вечери: *«Опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня. — Не я ли, равви? — Ты сказал»* — и второго диалога, уже в Гефсиманском саду). Единственно, что провозвещает Иисус своим ученикам, это то, что они еще не знают его истинной природы (Ин. 8.19): *Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего*⁴. В Евангелии же от Иуды Иисус обращается напрямую к Иуде с разъяснением его будущей роли, тут перед нами еще более сильная трансформация, на которую не отважился даже Андреев.

IV. Отступления Булгакова от евангельского текста, замена им евангельских мотивов, их редукция с подысканием более реалистических обоснований (при этом Булгаков как бы наполняет общие, неотчетливо прописанные места конкретным содержанием, подправляет неточности):

- (а) Мотив **тьмы**, спустившейся на Иерусалим во время смерти Христа на кресте, совершенно не отраженный у Андреева, получает у Булгакова материалистическое воплощение — как просто грозовая туча над городом, из которой бьют молнии, а потом льется дождь.
- (б) Кентурион Марк видит **одежды** преступников, сваленные у подножий крестов (ими побрезговали палачи, не разделив их между собой, как в евангелиях).
- (в) Руки распинаемых **не прибиваются** гвоздями к перекладине (как в евангелиях), а привязываются к ним веревками (возможно, ради использования мотива ножа);
- (г) У Булгакова Иешуа с жадностью **пьет** уксус, поднесенный к его губам на копьё с губкой по милости Пилата. Но после того, согласно Ин. 19.30, он *преклонив главу, предал дух*; а Булгаков сле-

⁴ В Евангелии (Мф. 17.22–23) Иисус говорит о себе в будущем, после воскресения, в 3-м лице, как бы иносказательно: *Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал [ученикам]: Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились.*

дует более натуралистической версии событий: Иисуса вместе с другими преступниками, из милости и по приказу Пилата, просто **приканчивают** ударом копья в сердце (в Евангелии от Иоанна Иисус уже испустил дух, когда пришли перебить голени у казненных, прежде чем снимать их с крестов, и воин только пронзил ему ребра копьем, чтобы стекла кровь и вода). У Андреева этого эпизода совсем нет.

- (д) Переосмысление мотивов **осведомленности и предвидения** будущего (а также знания прошлого и дара целительства), активно представленные у евангелистов, у Андреева вовсе отсутствуют, а в «Мастере и Маргарите» Иешуа, как показывает Булгаков, вполне материалистически обладает даром вчувствования и **целительства** (он, как искусный врач, угадывает, отчего страдает Пилат, и избавляет того от мучений, за что тот пытается спасти его от казни): *«Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти»*). А вместе с тем наиболее отчетливо предвидит будущие события и просчитывает конкретные их варианты именно Пилат (возможно, это подчеркнуто еще и по контрасту с Иудой, не умеющим, как оказывается, предвидеть события).
- (е) У Булгакова Иешуа не показывает ни особого дара в **предвидении** будущего (своего), ни в **провидении** прошлого: так, например, и по поводу увечий Марка Крысобоя, на которые обращает внимание Пилат, он говорит, будто бы не зная (или делая вид, что не знает), как этого вояку искалечили в бою: *«...он, правда, несчастливый человек. С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил»*. (Пилат же, в отличие от него, **знает** этот эпизод как очевидец и рассказывает о нем нам, читателям.) Но главное, что Иешуа только высказывает предчувствие, что с Иудой что-то случится (*«У меня, игемон, есть предчувствие, что с ним случится несчастье, и мне его очень жаль»*), он руководствуется, по-видимому, хотя это никак в открытую не проговаривается Булгаковым, заповедью о том, что следует любить врагов своих, откровенно желая Иуде, как своему недоброжелателю, добра. Зато Пилату, как человеку гораздо более «от мира сего», скептику-реалисту, укорененному в действительности, Иуда отвратителен, как *«грязный предатель»*, и именно он, Пилат, устраивает так, чтобы того убили (он видит в этом свою заслугу, которой не преминет еще и похвастаться перед Левием Матвеем).
- (ё) **Предвидение:** У Булгакова Пилата поражает нежелание Иешуа, как бы мы теперь сказали, смотреть той правде в глаза, с точки

зрения которой единой истины быть не может, но есть множество ничем принципиально не согласуемых истин (он называет Иешуа мечтателем-философом и «*юным бродячим юродивым*»). Так, во-первых, на замечание Пилата, что жизнь Иешуа теперь висит на волоске, тот довольно дерзко отвечает вопросом: *«Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, ижемон?»* и далее: *«перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил»*. Для Пилата, ввиду всего, что происходит позже, довольно странно слышать от пленника, стоящего перед ним, столь дерзкие заявления: он-то уверен, что именно он как подвесил, так же и может оборвать жизнь арестанта (хотя пытается, делая реальные шаги, спасти его, разговаривая с Каифой) — слова эти для него не более чем туманная мистика религиозно настроенного сектанта. Во-вторых, Иешуа довольно наивно, с точки зрения Пилата, просит отпустить его, не понимая, что в таком случае сам Пилат может оказаться на месте подсудимого как совершивший государственное преступление (*«Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? О, боги, боги! Или ты думаешь, что я готов занять твоё место?»*).

- (ж) Булгаков вместо представленного в евангелиях мотива омовения рук (*«Невиновен я в крови праведника сего»*) дополнительно подробно разрабатывает только намеченный мотив **гнева** Пилата на Каифу и мотив их между собой соперничества (согласно версии Булгакова, Пилат высказывает первосвященнику прямые угрозы, чего и в евангельских текстах, и в повести Андреева явно нет: *«Так знай же, что не будет тебе, первосвященник, отныне покоя! Ни тебе, ни народу твоему»*).

V. Две версии — Андреева и Булгакова — как конкурирующие с евангельской и — друг с другом:

- (а) Мотив **наблюдения за казнью** Христа, а также вкладывающийся сюда мотив самого описания, или особой точки зрения: Андреев дает неканоническое, если вообще не апокрифическое описание всего с точки зрения Иуды — ведь именно тот ожидает воскресения, торжества или как-то иначе явленного избавления от страданий Иисуса, но, так и не дождавшись, сам кончает с собой, повесившись, чтобы быть с Христом в воскресении, — вовсе не раскаиваясь в том, что совершил предательство (сомнения в том, правильно ли он сделал, предав Иисуса на казнь, кажется, не мучают его), и вовсе не убитый наемными убийцами, как предложит позже считать Булгаков. У последнего явно смещение точки зре-

- ния на казнь — ее наблюдает (и страдает вместе с Иешуа, на жаре) опять-таки его, единственный верный ученик Левий Матвей.
- (б) Мотив **украденного ножа** у Андреева как таковой отсутствует: есть только мотив **кражи** Иудой двух мечей — предназначавшихся для защиты Иисуса, один из которых и был извлечен Петром для удара первосвященникова раба, но потом брошен на землю. У Булгакова эта кража трансформируется следующим образом: Левий крадет нож в хлебной лавке, потому что решает прикончить Иисуса еще до казни и избавить тем самым от страданий на кресте, но эта мысль приходит к нему слишком поздно, и когда он догоняет процессию, ему не удается пробиться через оцепление к Иисусу, поэтому Левий сокрушается, что украл нож напрасно, швырнув его на землю (и давит в отчаянии ногой флягу, лишая себя последней воды). Но потом оказывается, что нож ему все-таки нужен, чтобы снять с креста тело Иешуа (по-видимому, им же он собирается еще и убить предателя Иуду).
- (в) Мотив рефлексии Иуды над происходящим также наследуется в булгаковском повествовании: но здесь рефлектирует уже совсем другой человек — Пилат.

VI. Простая **редукция** андреевского мотива Булгаковым (как чересчур сложного и необоснованного): Булгаков не поддерживает и не продолжает версию Андреева, заменяя ее своей, более утилитарной или же попросту возвращая повествование к традиционной версии Евангелия:

- (а) **Раскаяние** Иуды: согласно евангелисту Матфею, тот бросил деньги в храме, пошел и удавился (Мф. 27.3–5) — эта версия Матфея переосмысливается Андреевым не как раскаяние, а как сознательное принесение Иудой себя в жертву, следование за Иисусом (поскольку именно он, один из всех учеников, до конца понял намерение Христа — принести себя в жертву). У Андреева он гораздо более детально был разработан не детективно (как у Булгакова), а — психологически. Но Булгаков совсем не склонен видеть в смерти Иуды ни раскаяния за совершенное предательство, ни попытки следовать за Христом, а лишь наиболее тривиальное — умышленное убийство, по сути дела, месть со стороны Пилата — первосвященнику.

У Булгакова мотив **подкидывания денег** во дворец (первосвященника), якобы от лица Иуды, заранее срежиссирован Пилатом и тайно выполнен начальником стражи Афранием как изощренный способ мести (*«подбросить первосвященнику с запиской: „Возвращаю проклятые деньги!“»*). Так что Иуда остается без всякого раскаяния, представая как просто заинтересованный в деньгах

предатель, убитый наемным убийцей по «заказу» заинтересованного лица.

- (б) Осмысление **самоубийства Иуды**: Иуда у Андреева давно наметил место, где он убьет себя после смерти Иисуса. Идя в свой последний путь, на гору, где стоит одинокое дерево, он вызывает: *«Я иду к тебе. Встреть меня ласково, я очень устал. Потом мы вместе с тобою, обнявшись, как братья, вернемся на землю»*. Придя к кривому дереву, он делает петлю, привязывает ее к ветке и прыгает: *«Куда бы ни поворачивалось обезображенное смертью лицо, красные глаза, налитые кровью и теперь одинаковые, неотступно смотрели в небо. Кто-то зоркий наутро увидел его труп, его сняли и бросили в овраг, куда бросали дохлых лошадей, кошек и другую падаль. И все узнали о смерти предателя»*. То есть тут еще раз утверждается недостаточность традиционной евангельской версии? Булгаков, отвергая это объяснение, поддерживает мотив психологической недостаточности всей истории по многим другим пунктам.
- (в) У Андреева Иуда неоднократно заявляет (и самому учителю, и другим ученикам), что **любит Иисуса**, более того, он искренне считает себя единственным верным учеником Иисуса (как бы проникнувшим в его замысел до самого конца). Он сам испрашивает разрешение у Иисуса на предательство и получает (молчаливое) согласие. Иуда, обращаясь напрямую к Иисусу: *«Ты знаешь, куда я иду, господи? Я иду предать тебя в руки твоих врагов. # И было долгое молчание. <...> — Позволь мне остаться. Но ты не можешь? Или не смеешь? Или не хочешь? # И снова молчание... # — Но ведь ты знаешь, что я люблю тебя. <...> Освободи меня. Сними тяжесть, она тяжелее гор и свинца. Разве ты не слышишь, как трещит под нею грудь Иуды из Кариота? # И последнее молчание...»* — Вся эта линия у Булгакова начисто отвергается.
- (г) Внешний вид Иуды: тут противопоставлены отсутствующие в Евангелии мотивы отталкивающей **некрасоты** Иуды (у Андреева Фома сравнивает Иисуса и Иуду: *«странная близость божественной красоты и чудовищного безобразия»*) — и парадоксальной красоты юноши Иуды у Булгакова. Иуда Андреева это *«рыжий и безобразный иудей»* (2 раза повторено), у него *«безобразная бугроватая голова»* (тоже 2 раза), в нем вообще *«нечто невиданно-безобразное»*, он даже *«безобразнее всех жителей в Иудее»*; Фома видит, что у *«Иуды два лица»*, у него *«лживое и омерзительное двоящееся лицо... с крючковатым носом...»* (у Булгакова же — наоборот, юноша очень красив). **Внешний вид**, обличающий двуличие Иуды: размышляющий Иуда имеет *«вид неприятный, смеи-*

ной и в то же время вызывающий страх: [его лицо] казалось простым и добрым, пока двигался его живой и хитрый глаз, но когда оба глаза останавливались неподвижно и кожа на лбу собиралась в бугры и складки», его молчаливое размышление вселяло во всех ужас.

- (г1) Мотив **раздвоенности** лица Иуды, по Андрееву, расчленяется у Булгакова надвое — самому Иуде достается красота, а вот Воланду перепадает нечто от портрета Иуды (в андреевском описании), именно от особенного взгляда Иуды: у Андреева он зорко высматривает что-то своим воровским глазом; *«одна сторона [лица у него] с черным, остро высматривающим глазом... <...> другая мертвенно гладкая, плоская и застывшая»*, со слепым глазом... У булгаковского Воланда, по сводкам «различных ведомств», *правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой.*
- (д) **Возраст:** у Андреева Иуда назван стариком, он бросил свою жену и та живет одна; детей у него не было (сам он жалуется, что не хочет бог потомства от Иуды, впрочем, возможно привирает, так как в разговоре с Каифой он упоминает о своих детях) (у Булгакова он еще совсем молод и неженат, имеет успех у женщин).

VII. Случаи, когда объяснение Андреева Булгаков отвергает и вступает в полемику с ним (сознательное отталкивание Булгакова от варианта, представленного у Андреева, или — исправление его, предложение собственного решения. Мотив постоянных и бесконечных **искажений** текста). Булгаков продолжает тему отклонения от евангельской истории, предложенную Андреевым:

- (а) У Андреева дается версия Евангелия, написанного как бы от лица *Иуды*, с попыткой очевидной апологии последнего, как некоего сокровенно главного ученика Христа. У Булгакова эта версия отвергается, а вместо нее выдвигается версия заблуждений и неполноты той истины, которой неизбежно обладали евангелисты — на примере записей Левия Матвея, то есть мотив наслаивающихся искажений в изложении истории учениками и свидетелями (уверовавший в Иешуа сборщик податей Левий Матвей записывает за ним слова на козлином пергаменте, но на самом деле ему удастся зафиксировать только жалкие обрывки, не дающие никакого реального представления о проповеди Христа: вот сам Иешуа опасается, что запись неверна: *«Эти добрые люди.... — ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое*

время»), но судить об этом и даже убедиться может — как некий судия — только Пилат (допрашивая Левия, приведенного к нему Афранием после казни).

- (б) Убежденность в **изначальной греховности самой природы человеческой**. Иуда у Андреева считает, что знает всех людей: что все они злы от природы, и каждый из тех, кого он знает, совершил в своей жизни какой-нибудь дурной поступок или даже преступление. Хорошими людьми называют себя те, кто умеет просто скрывать свои дела и мысли (примерно таким выглядит Пилат у Булгакова), а вот его, Иуду, все обманывают (поэтому, кстати, он тоже считает возможным привирать). Но на сюжетном уровне, по крайней мере в споре с Фомой, он оказывается прав во взгляде на природу человека: возвратившись в селение, из которого только что ушел Иисус с учениками, они убеждаются, что жители неисправимы (те сочли Иисуса просто вором). То, что все люди добры, в рассказе Андреева Иисус не утверждает, но своим приятием Иуды он как бы имеет это в виду. У Булгакова же Иешуа в глазах Пилата просто наивен, он всех называет добрыми, даже кентуриона Марка и самого Иуду, хотя Пилат иронизирует над ним, отвечая и в первом, и во втором случае по поводу Иуды: *«Очень добрый и любознательный человек, — подтвердил арестант, — он высказал величайший интерес к моим мыслям, принял меня весьма радушно... # — Светильники зажег... — сквозь зубы в тон арестанту проговорил Пилат, и глаза его при этом мерцали. # — Да, — немного удивившись осведомленности прокуратора, продолжал Иешуа, — попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть. Его этот вопрос чрезвычайно интересовал. # — И что же ты сказал? — спросил Пилат, — или ты ответишь, что ты забыл, что говорил? — но в тоне Пилата была уже безнадежность. # — В числе прочего я говорил, — рассказывал арестант, — что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть. # — Далее! # — Далее ничего не было, — сказал арестант, — тут вбежали люди, стали меня вязать и повели в тюрьму».*

- (в) Перемещение мотива **любимого ученика**: Иоанн — Иуда — Левий. По Андрееву, мотив **предсказания** Иудой, что только после казни ученики осмелятся вернуться к Христу, тогда как он, Иуда, идет до последнего, Булгаков объясняет вполне реалистически — мотивом неимоверной **жары** (*«Солнце сожгло толпу и погнало ее*

обратно в Еришалаим»), перенося эту роль с Иуды на Левия, замышлявшего в одиночку для избавления от страданий еще до казни убить ножом Иешуа, что у него так и не получается, — в результате только один Матвей из всех зрителей присутствует на казни, а потом снимает Иешуа с креста (вместо Иосифа Аримафейского по евангелиям или римских солдат у Андреева).

- (г) **Торжество Иуды** над другими учениками. У Булгакова вместо этого — попытка самоутверждения Левия над Пилатом (*«я убью одного человека в Еришалаиме»*), а Пилата — над самолюбием Левия и, главное, над Каифой (подброшенные в его дворец 30 монет). У Андреева ученики Иисуса, собравшись вместе, сидят, когда к ним в дом входит Иуда. Петр кричит, чтобы он сейчас же ушел, иначе он убьет его. Иуда говорит себе, что перед ним трусливые предатели, и спрашивает учеников, знают ли они, где Иисус. Фома отвечает, что он сам знает, что их учителя вчера вечером распяли. Иуда укоряет их за предательство и бездействие — они должны были сами пойти на смерть (а теперь будут даже целовать его крест). Как бы остается недоговоренным в тексте, что единственный, кто пытался спасти Иисуса, согласно Андрееву, и был Иуда. Иуда проклинает Фому, Иоанн же проклинает Иуду, к нему присоединяются Иаков и Матфей. Иуда утверждает, что он идет к Нему — простирая вверх властную руку. *«Кто за Искариотом к Иисусу? — Я! Я с тобою! — крикнул Петр, вставая»*. (Петр очень легковерен?)

- (д) **Мотив ревности среди учеников** и борьбы за первенство перед учителем, в традиционной версии почти не присутствующий — разве что Лк 22, 24: *«Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим»*. У Андреева более явно и остро выражен в противостоянии Иуды и остальных учеников. Петр и Иоанн в присутствии учителя спорят о первенстве в царствии небесном: Петр — красный и рокошующий от гнева, Иоанн — *«бледный и тихий, с дрожащими руками и кусающейся речью»*, уже непристойным делался их спор, когда они призвали рассудить их Иуду — а он вместо ответа стал вопрошающе смотреть на молчавшего Иисуса и вдруг ответил: *«Я! — Иисус медленно опустил взоры, — Я буду возле Иисуса! — и вышел»*. У Булгакова этот мотив ограничивается только тем, что Левий мысленно обращается к Христу, представляя, как он избавит его от мучений казни: *«Иешуа! Я спасаю тебя и ухожу вместе с тобой! Я, Матвей, твой верный и единственный ученик!»* Здесь явный отголосок развития мотива Андреевым. Вот у последнего: *«Я иду к тебе. Встреть меня ласково, я очень устал. Потом мы вместе с тобою, обнявшись, как*

братья, вернемся на землю». Но у Булгакова — спор за то, кто первым будет возле Иисуса, ведут между собой только Левий Матвей и Пилат.

- (е) Мотив предательства и спасения. У Булгакова спасения Иешуа — но только вполне физического, а не метафизического, в воскресении, — добывается сам Пилат (вместо казни он хотел добиться для него ссылки, заключив в Кесарии Стратоновой, на Средиземном море, то есть в своей резиденции, по-видимому, вполне эгоистически желая сделать его там своим врачом и собеседником), а не Иуда, замысливший и сам спастись вместе с ним, согласно Андрееву.
- (ж) У Андреева мотив безродности, или безотцовства, то есть низкого происхождения Иуды (Иуда сомневается в том, кто был его отец: *«разве может Иуда знать всех, с кем делила ложе его мать?»*). В очевидной полемике к традиции Евангелия у Булгакова безродность перемещается — на Иешуа, переосмысливаясь как неизвестность, темнота его происхождения: на вопрос Пилата *«Кто ты по крови?»* тот отвечает: *«Я точно не знаю, я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец...»* Здесь можно видеть следование Булгакова традиции манихейства. Впрочем, это неудивительно у потомка орловских и карачевских священников.

Мотив странно оставленной недомолвки, или как бы намеренного несовпадения того, что происходит во время описываемой в романе Мастера казни (Иисус пьет с протянутой ему на копье губки и ничего не успевает сказать перед смертью), и того, что докладывает Пилату о том же Афраний (будто бы Иисус отказался от питья и говорил, что не винит никого за то, что у него отняли жизнь, а также то, что наибольшим из человеческих пороков считает трусость), можно согласовать только с тем, что Афраний рассказывает собственно еще о событиях, предшествующих распятию, а в главе «Казнь» повествуется о том, что видит уже через 3 часа после казни Левий Матвей.

О ФИЛОСОФСКОМ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ОПРАВДАНИИ ЛЖЕЦОВ:
РОМАН «МАСТЕР И МАРГАРИТА»

Архетипическая для искусства тема лжи и лжецов всегда имела крайнюю степень притягательности: многие мастера слова стремились сделать ее своей и внести посильный вклад в разрешение «великой проблемы лжи» (Бл. Августин). Чаще всего это было театрализованное, зрелищное¹ воплощение темы («Мизантроп» Мольера, «Лжец» Корнеля, «Лжец» Гольдони, «Горе от ума» Грибоедова, «Ревизор» Гоголя и др.). Говоря общо, «литературная» ложь всегда обладала магической силой театрального воздействия и отличалась от факта лжи в нелитературном смысле своим подчеркнуто зрелищным характером. Мастерское изображение лжи и лжецов всегда доставляло удовольствие быть обманутым. Не избежал этого соблазна и М. Булгаков: тема, обработанная любимым героем (Мольером), похоже, показалась настолько интересной и привлекательной, что в «закатном романе» мотив лжи, лживости и лжецов сделан стержневым, полифункциональным, пронизывающим все вербальное пространство романа. У Булгакова театрализовано все, начиная от драматизации общеизвестных (и «истинных») формальнологических силлогизмов, философских сентенций до прямого изображения сцены (в том числе импровизированной) и намеренно театрализованного описания костюмов героев (т. е. костюмов с подчеркнутой функциональностью деталей). Пафос этой статьи — подчеркнуть то индивидуальное на фоне общих процессов модернистской эстетики, которое привнес Булгаков в разработку архетипической темы.

Сама эпоха предопределила «волю к театру» и театрализацию жизни. Такой образ мыслей был чрезвычайно популярен в начале века. Его сформулировал известный драматург и теоретик театра Н. Н. Евреинов². Фактически им была предложена новая концепция культу-

¹ В этом плане театрализованное воплощение темы лжи и лжецов — импрессионный вариант общего отношения *девиация/норма*. Правда не так бросается в глаза, как ложь. Исчерпывающее описание этого феномена см. [Арутюнова 1998: 85–91].

² Свои идеи о философии театра Евреинов изложил в ряде блестящих книг и статей. «Театр как таковой» — итоговые тексты 1911–1916 гг. В 20-е гг. вы-

ры: искусство реальнее, чем сама действительность. Жизнь никогда не проходит в настоящем, но в прошлом и будущем. Театральность и зрелищность — вот единственная реальность. Театральность, по Евреинову, охватывает не только человеческий мир, но мир животных и растений — всем хорошо известный пример мимикрии. Евреинов был человеком активным и беспокойным — разъезжал с многочисленными лекциями по разным городам и странам, таким образом, его идеи воспринимались непосредственно, в театральной атмосфере, так сказать, перформативно. Они были акцептированы многими — например, М. Волошиным, С. Кржижановским и даже В. Набоковым.

Нельзя сказать, чтобы игровая (в данном случае имитационная) деятельность в истории науки часто подвергалась подробному философскому обоснованию. В связи с последним обстоятельством обычно упоминают эстетическую систему Шиллера с ее игровым принципом. В публицистическом дискурсе XX в. стало «расхожим» известное выражение *Весь мир — театр, где всякий играет свою роль*, приписываемое то Шекспиру, то Кальдерону, то Расину. Во всяком случае, разнообразные ассоциации и сравнения человеческой жизни и деятельности с игрой неоднократно возникали, причем во все времена. Идеи Евреинова (с социокультурной точки зрения) прозвучали и в книге «*Homo ludens*» (1938), автор которой Й. Хёйзинга во всех проявлениях культуры видел прежде всего игровой элемент (*sub specie ludi*): «В игре мы имеем дело с безусловно узнаваемой для каждого, абсолютно первичной жизненной категорией, некой *тотальностью*, если существует вообще что-нибудь заслуживающее этого имени» [Хёйзинга 1992: 12]. К такому тотальному и абсолютизированному видению можно относиться сколь угодно скептически (впрочем, мера скепсиса зависит от того, насколько широко определять игру в качестве сферы деятельности), но невозможно отрицать, насколько важна мимикрическая и вообще имитационная сторона, которую часто (но не всегда) эксплицирует игровая деятельность.

Разумеется, идеи Евреинова с философской точки зрения были подготовлены, с одной стороны, длительной традицией «расшатывания» основ нравственной философии контраргументами, заимствованными из художественных систем³. Это линия, начатая Шопенгау-

ходят «Театральные инвенции», «Театральные новации», «Театр у животных», «Театрализация жизни».

³ Как известно, традиция нравственной философии начинается с этических сочинений Канта. До Канта смысл морали в этических сочинениях Галлея, Спинозы, Лейбница соотносился со строгими смыслами физики и математики. У Канта мораль впервые помещается в контекст практических це-

эром, в основе которой — скептическое отношение к некоторым (но не ко всем) положениям нравственной философии Канта, продолженная в таких же ярких художественно-философских системах Кьеркегора, Ницше и Вл. Соловьева. В сущности, это была «поэтическая» реакция на бесплодные философские попытки исключения ценностных компонентов из познавательных процессов. Философский «вкус эпохи» был ориентирован именно на стремление подвести черту между «старой классической философией» и новой. Именно этим обстоятельством можно объяснить массовое обращение писателей и поэтов (как великих, так и средних) к Шопенгауэру, Кьеркегору, Ницше. Художественные произведения «тиражировали» философские идеи, в первую очередь идеи воли и ценностей⁴. Интересно, что Евреинов в своем докладе о Ницше (1936) восхищался именно театрализованными сторонами его философии, имеющими «первостепенное жизненное значение»: «Чистосердечная ложь, любовь к притворству, вспыливающая как сила, оттесняющая в сторону так называемый „характер“, избыток всякого рода способности к приспособлению» [Евреинов 2004: 125]. С другой стороны, нельзя игнорировать и восходящую к Платону традицию отношения к познанию как в первую очередь к видению и созерцанию. Эту линию в гносеологии (как проблему зрения и зрелищности) продолжил Бл. Августин. В десятой книге «Исповеди» зрение он относил к «перцептивным соблазнам» («зрение составляет нам больше всего материала для познания»)⁵. А в художественном мире эти идеи были фокусно воплощены в творчестве Гёте. М.М.Бахтин, говоря об исключительной значимости зримости для

лей и воплощается в форме действий. Сочинения Юма, разумеется, составляли исключение. Но Юм собственно этикой не занимался, во всяком случае, не пытался формулировать нравственные законы.

⁴ М.М.Бахтин, анализируя сочинения Шопенгауэра и Ницше в работе «Автор и герой в эстетической деятельности», использовал термины «полупhilosophические, полухудожественные концепции мира». В основе таких систем, по Бахтину, лежит живое событие отношения автора к миру, подобное отношению художника к своему герою. Для понимания таких концепций нужен до известной степени антропоморфный мир.

⁵ Ср.: «Собственное назначение глаз — видеть, но мы пользуемся этим словом, говоря и о других чувствах, когда с их помощью что-то узнаем» [Августин 1997: 198]. В работе [Майоров 1979] последовательно проводится идея о том, что, хотя Августин полностью воспринял античное представление о познании как уподоблении (подобное познается подобным), зрение для Августина носило «экспрессивный» характер, поскольку субъект зрения исключительно активен, от него исходит инициатива, «свечение».

текстов Гёте, подчеркивал: «В понимании глаза и зримости он был одинаково далек и от примитивного грубого сенсуализма и от узкого эстетизма. Зримость была для него не только первой, но и последней инстанцией, где зримое уже было обогащено и насыщено всей сложностью смысла и познания» [Бахтин 1986: 218].

Таким образом, вновь актуализованный в модернистской эстетике мотив глаза, зрения, зримости, и, как следствие, зрелищности, театральности, имел комплексный характер и⁶ вполне вписывался в культурную традицию. С точки зрения текстового воплощения такого комплексного мотива любой текст будет представлять своеобразный философско-художественный палимпсест. Думается, этими концептуальными принципами вполне мог воспользоваться Булгаков, но, конечно, представил свой художественный вариант, используя театрализацию как литературный прием⁶.

С точки зрения приема театрализации многие «хрестоматийные» положения в булгаковедении требуют если не переосмысления, то уточнения. Так, например, давно наметилась устойчивая и весьма успешно развивающаяся исследовательская тенденция возводить этический подтекст «Мастера и Маргариты» (далее МиМ) к основным положениям системы нравственной философии Канта. Разумеется, нет ничего более естественного, чем попытаться связать имя немецкого философа, неоднократно упоминающееся в тексте романа, с пресловутым категорическим императивом, центром кантовской системы нравственности, и, соответственно, с контрарными общими этическими понятиями (*добро/зло*), а *ложь* описывать как антипод *истине* или *правде*. Тем более, что поверхностный план текста как будто это подтверждает. Вербальное пространство романа пестрит понятиями яркого этического содержания — *добро, зло, правда, истина, долг* и их производными. В романе также с избыт-

⁶ Судьбе было угодно, чтобы знаменитый Евреинов и мало кому известный (как писатель) Булгаков встретились во Владикавказе в 1920 году. В «Записках на манжетах» Булгаков так вспоминал о встрече с Евреиновым (характерно, что подчеркнут яркий, зрелищный момент во внешности знаменитости):

«Евреинов приехал. В обыкновенном белом воротничке. С Черного моря, проездом в Петербург.

Где-то на севере был такой город.

Существует ли теперь? Писатель смеется; уверяет, что существует. Но ехать до него долго: три года в теплушке. Целый вечер отдыхали мои глазыньки на белом воротничке. Целый вечер слушал рассказы о приключениях».

Могла ли пройти бесследно для Булгакова, тогда начинающего драматурга, эта встреча?

ком представлены предикаты с регулятивным (термин Канта) этическим смыслом — *необходимо, должен, полагается, следует, правильный* и др. Думается, именно настойчивый и частотный повтор этих понятий в тексте романа и провоцирует исследовательские трюизмы. Формализация понятий — возможно, единственный путь к пониманию и объяснению в логике (даже в неклассических ее ответвлениях), но она мало что проясняет в процессе описания подробностей экспрессивного текста.

Между тем вспомним, как тонко и проницательно говорил В. Набоков о Гоголе (писателе, весьма небезразличном и для Булгакова): «Как в чешуйках насекомых поразительный красочный эффект зависит не столько от пигментации самих чешуек, сколько от их расположения, способностей преломлять свет, так и гений Гоголя пользуется не основными химическими свойствами материи („подлинной действительностью“ литературных критиков), а способными к мимикрии физическими явлениями, почти невиданными частицами воссозданного бытия» [Набоков 1993: 287]. Переводя эти лепидоптерические параллели на язык герменевтики, следует отметить, что подобное утверждение справедливо не только в отношении интерпретации текста «Ревизора», но и в отношении толкования большинства художественных текстов — шедевров литературы конца XIX и всего XX в. Здесь важно еще одно обстоятельство, стержневое для целей этой статьи: Набоков поместил мимикрию в театрализованный контекст (о котором часто забывают, употребляя этот биологический термин по отношению к художественным системам). Несколько примитивизируя ситуацию, можно сказать, что для выявления сущности мимикрии недостаточно описать того, кто «использует» мимикрический узор, недостаточно описать того, чей узор используют (ему это все равно), недостаточно (даже с очень высокой степенью детализации) описать сам мимикрический рисунок, а важно в эту систему включить потенциального адресата (зрителя), на кого, собственно, и рассчитывают, используя чужую, «обманную» окраску. Потенциальный обман зрителя — это зрелищный аспект мимикрии, своего рода театральный эффект.

Возвращаясь к роману Булгакова, отметим, что обилие предикатов этики — еще не повод для реконструкции какой-либо единой нравственной системы, восходящей к тому или иному философу. «Автор правдивейших строк» постоянно манипулирует «механизмами» этики, лишая их таким образом этического содержания. Отсутствие «окончательных» назидательных сентенций вместе с их эпатажным представлением выполняет в том числе и суггестивную функцию: заставляет читателя постоянно находиться в контрадикторном

пространстве и испытывать чувство неуверенности⁷. Эффект «этической» мимики усиливается, если вспомнить о поражающем воображение вокабулярии лжи, воспроизведенном в романе. Это своеобразное «концептуальное поле» (если понимать *концепт* в духе возвращения к Абельяру, который включал в концепт воспринимающего и мыслящего субъекта) поражает своим богатством, разнообразием и стилистической вариативностью. Не так-то легко отыскать противоположное ложному имени, ложному действию или ложной метафоре в достоверном пространстве⁸. Другими словами, для зрелищного отображения лжи требуется больше творческой энергии, чем для изображения правды⁹.

⁷ Любопытно, что именно с чувством неуверенности феномен *лжи* и *лживости* связывает и частично оправдывает (наперекор Канту) в своих этических сочинениях («Об основе морали») Шопенгауэр: «Встречается очень много случаев, когда всякий разумный человек прибегает ко лжи без всяких угрызений совести. Только эта точка зрения устраняет резкое противоречие между моралью, которая преподается, и моралью, которая практикуется даже самыми честными и хорошими людьми» [Шопенгауэр 1999: 412].

⁸ Особенно интересны «лживые имена» — псевдонимы, однофамильцы великих людей, «говорящие» имена: *Лжедмитрий*, *М. В. Подложная*, *Липшеникова* и др. Встречается и «метафорическая» ложь (на литературной основе): *мифы*, *сказки*, *басни*, *истории*. Также следует упомянуть и «правдивую» квалификацию последствий лживых действий — *ложь*, *вранье*, *враки*, *выдумки*, *обман*. Есть и атрибуты лжи — *поддельный*, *фальшивый*. Необходимо подчеркнуть, что список этот далек от завершения. По своему богатству этот словарь вызывает невольные ассоциации с трактатом Бл. Августина «De mendacio» (О лжи). О невероятной популярности этого трактата см. [Ле Гофф 1992: 330]. Вполне возможно, что этот трактат мог послужить одним из многочисленных подтекстов романа. Прежде всего важна стратегия повествования (эвиденциальный тон, магия слов, ментальная культура цитат). Интересно, что в работе [Петровский 2001] отмечена корреляция булгаковского текста (в связи с концепцией Города) с другим трактатом Бл. Августина («О Граде Божием»). Кроме того, обилие «лживых» имен — это еще и интерпретация темы «Фауста» Гёте, открыто заявленной в эпиграфе. Ср.: «*Чтоб узнать о вашем брате суть / На имя следует взглянуть, / По специальности прозвание вам дается / Дух злобы, демон лжи, коварства — как придется*» (пер. Н. Холодковского).

⁹ Ср. высказывание Н. Н. Евреинова: «Вы, конечно, согласитесь, что для *Оправдания Добра*, как это сделал Влад. Соловьев, совсем не нужно гениальности, тогда как для *превознесения Зла*, как сумел это сделать Ницше, да еще на философском фундаменте, надо быть гением и притом *блестящим*» [Евреинов 2004: 122].

Театрализованная «верификация» формальных истин начинается с первых глав романа. Так, упоминание имени Канта окружено явно пародийным контекстом. Механизм пародийности — включение «высокого имени» известного философа в интенсивно сниженный обыденный контекст. Сам контекст конструируется из расхожих сведений о жизни и деятельности Канта, широко известных вне круга профессиональных философов (своего рода *молва, слухи*), актуализованных во времени. Провокативное поведение Воланда, фамильярно называющего Канта *беспокойным стариком Иммануилом* (13)¹⁰ и путающего количество «доказательств», задает пародийный оттенок последующему «философскому спору». Между тем, реплика Ивана *Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в Соловки* (13) имеет и более глубокий философский подтекст. Так называемое четвертое или, по Воланду, шестое доказательство Канта, намеченное в «Критике чистого разума» и выросшее в «Метафизике нравственности» до категорического императива, — своеобразный объект скрытой полемики в этическом пласте текста романа. Категорический императив, или нравственный закон, долженствующий всегда и везде действовать с абсолютной необходимостью, был подвергнут критике многими философами. Особенно резко это прозвучало в тех концепциях, где в поисках достоверных аргументов к профессиональному кругу чтения обращались меньше, чем к писателям и поэтам. В этом плане их экспрессивность противостояла схоластическому тону кантовской философии (разумеется, в плане морали). В этой сфере ортодоксальная и безальтернативная философия не удовлетворяла. Как представляется, в тексте романа учтены позиции, по крайней мере, двух философов, критиковавших этическую систему Канта. Впервые осмелился возражать великому философу Шопенгауэр в своей работе «Об основах морали». Среди прочего, особенному скептицизму подвергалась установка в работе Канта, репрезентирующая категорический императив («*ты не должен лгать*»), сформулированная в качестве морального закона. Как пишет Шопенгауэр в работе «Об основе морали», «закона практически всегда остающегося без последствий» [Шопенгауэр 1998: 309]. Скептическая точка зрения Шопенгауэра распространялась и на кантовскую интерпретацию совести, долга, справедливости/несправедливости. Критическую линию Шопенгауэра продолжил Вл. Соловьев. Он назвал категорический императив «формальной основой нравственных предписаний». О вышеупомянутом моральном законе было сказано следующее: «Когда оба члена какой-нибудь дилеммы

¹⁰ Отсылки к тексту МиМ даются с указанием страницы в круглых скобках. Текст приводится по [Булгаков 1990].

одинаково приводят к нелепостям, то, значит, в самой постановке дилеммы есть что-нибудь неладное. В настоящем вопросе это неладное зависит от двусмысленности слова «ложь (ложный, лгать)», которое между тем принимается здесь так, как будто бы оно имело только один смысл или как будто бы в одном смысле непременно заключался другой, чего на самом деле нет. Таким образом, это главное слово принимается *фальшиво* в самой основе рассуждения, а потому и никаких заключений, кроме фальшивых, отсюда произойти не может» [Соловьев 1996: 135]. Возвращаясь к «Критике чистого разума», вспомним, что там же была изложена и кантовская интерпретация формальной логики, мало чем отличающаяся от аристотелевской¹¹. Кроме того, излагались концепции времени и пространства, в общем-то мало учитывающие обыденное сознание человека, скорее идеальное. После этих напоминаний реплика Ивана выглядит несколько по-другому: заставляет читателя искать философский подтекст. В частности, транспонирование прошедшего с «реальным» пространством (там, где формулировались нравственные законы) в настоящее с воображаемым (*Соловки*; само упоминание такого пространства отвергает какую бы то ни было идею нравственности) создает контрадикторный фон, хорошо вписывающийся в «провокативный» пласт текста романа.

С этим же философским подтекстом связан и следующий этап пародирования — прагматизация формальнологического силлогизма: *Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!* (16). Включение темпоральных элементов *иногда, внезапно* и оценочных *полбеда, плохо* разрушает формальнологическую «истину»: она потеряла свой вневременной и абсолютный характер. Время — человеческое понятие, и Берлиозу об этом с дьявольской тактичностью и интонацией напоминают. Особенно примечательно, что в основе диалогических реплик Берлиоза и Воланда разные модусы интерпретации одной и той же «истины». Этот прием «инсценировки» моральных и логических «истин» хорошо разработан у Чехова¹².

¹¹ См. подробнее [Ивин 1970: 6]

¹² Интересно, что у Чехова нравственное (прескриптивное) прочтение «высказываний идеала» полностью достигается в драматическом произведении, когда высказывание сопровождается соответствующей интонацией, зависящей от точки зрения исполнителя роли, окрашивается общим пафосом, и, главное, создается «стереоскопическая» перспектива наблюдения адресатов — на сцене и в зале. Например, известная и многократно цитируемая реплика доктора Астрова (*В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и*

Общая атмосфера театрализации распространяется и на стратегию повествования. Булгаков демонстративно дистанцируется от какой-либо «верной» повествовательной формы. Субъект повествования всегда «обманывает» ожидания читателя, поскольку его позицию попеременно занимает то повествователь, то рассказчик, то вдруг появляется автор, причем в двух лицах (автор от 1-го лица, ведущий диалог с читателем, и «дистанцированный» автор от 3-го лица)¹³.

Особенно примечательна позиция *автора правдивейших строк*. Вокруг этой фигуры создается эвиденциальный пласт текста. Автор постоянно верифицирует повествование, включая элементы театрализованной эвиденциальности.

Столь же активен и повествователь. Употребление лексем, эксплицирующих *правду*, в метатекстовых оценках (*откровенно сказать; нужно признаться, хоть это и неприятно; надлежит открыть одну тайну* и т.п.), принадлежащих объективированному повествователю, стирает границы между планами повествования. Это не единственное совпадение планов повествования, но оно самое «откровенное». Происходит расщепление повествования. *Автор правдивейших строк* становится повествователем, повествователь — рассказчиком. Рассказчики мультиплицируются. Такая субъективированная манифестация правдивости тоже театрализуется: появляется клятва в правдивости. При этом весьма важен и иронический оттенок: клятва в правдивости — экспрессивное, зрелищное отрицание лжи (*Да отрежут лгуну его гнусный язык!*).

«Витие лживых словес» продолжают многочисленные рассказчики. Общая функция этих «художественных» повествований — гиперболизация действия с разной степенью наглядности и зрелищности. Основа достоверности — вдохновение. По тонкому замечанию А. А. Потебни, гипербола есть результат как бы некоторого опьянения чувством, мешающего видеть вещи в их настоящих размерах. «Если упомянутое чувство не может увлечь слушателя, то гипербола становится обык-

одежда, и душа, и мысли) может интерпретироваться как идеал только при фокусном восприятии зрителем, и только в отрыве от диалога с Соней. Соня (как «текстовый» непосредственный адресат) расценивает ее как резко оценочную по отношению к мачехе.

¹³ Так, в пятой главе части первой появляются оба «представителя автора». Ср.: автор, выполняющий суггестивную функцию: *Но довольно, ты отвлекаешься, читатель! За мной!* и стилизованный под рассказчика «автор правдивейших строк»: *Поэтому ничего нет удивительного в таком хотя бы разговоре, который однажды слышал автор этих правдивейших строк у чужинной решетки Грибоедова.*

новенным враньем» [Потебня 1990: 254]. Идеально лживо повествование Бегемота (*вранье от первого до последнего слова*) о том, как однажды он скитался в течение девятнадцати дней в пустыне и единственно, чем питался, это мясо убитого им тигра (269). Это действительно «абсолютная» прототипическая литературная ложь (основные разновидности — охотничьи, морские, военные рассказы — воспоминания), т.е. все экстремальные ситуации, сопряженные с неуверенностью и опасностью¹⁴. К сожалению, рассказ Бегемота лишен какой бы то ни было экспрессивной интонации (представлен косвенной речью), а потому лишен вдохновения.

Вдохновение и подробности — неотъемлемые компоненты плана эвиденциальности. К этому же плану повествования относится *потрясающее по своей художественной силе описание похищения пельменей, уложенных непосредственно в карман пиджака, в квартире № 31* (93–94); инсценированный, но не состоявшийся рассказ Рюхина с *выдуманными подробностями* (для украшения) о помещении Ивана в лечебницу; правдивый (но с шизофреническим оттенком) рассказ Ивана, начало которого стилизовано под быличку (*Пошел я купаться на Москву-реку...*); яркое и утопающее в подробностях повествование Варенухи о деяниях Степы Лиходеева (*ложь от первого до последнего слова*); «исторические» рассказы о Грибоедове (писателе) *одного московского вруна*; *смешной и* выразительный рассказ Наташи о представлении в театре и многие другие. Упрощая повествовательную перспективу, можно сказать, что повествование распределяется между «историческим» и «вымышленным»: в основе первого — история как процесс, в основе второго — история как конкретный случай. Повествование распределено, но не противопоставлено: — *Я историк, — подтвердил ученый и добавил ни к селу, ни к городу: — Сегодня вечером на Патриарших будет интересная история!* (19). Эвиденциальный пласт текста также эксплицируют многочисленные следствия *разоблачений и разъяснений* — всевозможные «фактические» свидетельства, устные и письменные. Это и *исторические источники, удостоверения* (с различной «удостоверяющей силой», в том числе и для писателей), *справки, бумаги* (с печатями, но без даты), *договоры, контракты, анонимки, доносы, кляузы, обращения, показания, допросы* (в том числе и письменные), *телеграммы- «свидетельства»* (о смерти Берлиоза и о подлинности почерка Степы), всевозможные *доказательства* (философские и не только), *медицинские заключения, истории болезни, домовые книги, афиши* (и *заклеенные афиши*), *вывески*. В МиМ это все потенциальные

¹⁴ В этом плане батальные морские рассказы Штурмана Жоржа — тоже могут быть сведены к прототипической лжи.

оборотнические свидетельства, не имеющие закреплённого прочтения, вербальный знак оборотнической эпохи¹⁵.

Таким образом, театрализованное пространство несколько перераспределяет привычные функции субъекта «ложного» текста (*ложь* в данном случае понимается как сказанное с намерением и желанием сказать ложь): в фокусе появляется импрессивная функция, суть которой в потребности говорящего производить впечатление на зрителя. Антропоморфный мир булгаковского романа не способствует какой бы то ни было четкой демаркации этических и эстетических понятий, тем более их противопоставлению. Истина в другом: в театральном вдохновении автора и силе его магического воздействия на читателя-зрителя.

ЛИТЕРАТУРА

- Августин 1997 — *Августин*. Исповедь М., 1997.
- Арутюнова 1999 — *Арутюнова Н.Д.* Аномалии и язык // *Арутюнова Н.Д.* Язык и мир человека. М., 1999.
- Бахтин 1986 — *Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества. М., 1986.
- Булгаков 1990 — *Булгаков М.* Собрание сочинений: В 5 т. М., 1990. Т. 5.
- Евреинов 2004 — *Евреинов Н.Н.* О Ницше // *Евреинов Н.Н.* Тайные пружины искусства. Статьи по философии искусства, этике и культурологии. М., 2004.
- Ивин 1970 — *Ивин А.А.* Основания логики оценок. М., 1970.
- Ле Гофф 1992 — *Ле Гофф Ж.* Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
- Майоров 1979 — *Майоров Г.Г.* Формирование средневековой философии: Латинская патристика. М., 1979.
- Набоков 1993 — *Набоков В.В.* Романы. Рассказы. Эссе. СПб., 1993.
- Петровский 2001 — *Петровский М.* Мастер и город. Киевские контексты Михаила Булгакова. Киев, 2001.
- Потебня 1990 — *Потебня А.А.* Теоретическая поэтика. М., 1990.
- Соловьев 1996 — *Соловьев В.С.* Оправдание добра. М., 1996.
- Хёйзинга 1992 — *Хёйзинга Й.* Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
- Шопенгауэр 1998 — *Шопенгауэр А.* Две основные проблемы этики / Пер. Ю.И. Айхенвальда // *Шопенгауэр А.* Афоризмы и истины. Сочинения. М., 1999.

¹⁵ Мотив оборотничества в МиМ настолько зрелищен и театрален, что вполне может послужить поводом для особого исследования.

Л. Н. РЯГУЗОВА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАВДА И ИСКУССТВО «ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МАГИИ» В ЭСТЕТИКЕ В. НАБОКОВА

По признанию В.Набокова, его всегда «пленяли миражи и обманы» [ДБ: 290]. В художественном мышлении писателя *обман* (искусная маскировка, приемы мастерства) и *фантазия* (создание своей реальности, своего поэтического мира), взаимодействуя с такими понятиями, как воображение, условность, игра, выступают как эквиваленты концепта *творчество*. Их толкование замкнуто в синонимический круг. Искусство в своих высших проявлениях фантастически сложно и обманчиво: всякая литература — «вымысел», всякое искусство — «обман» и «фантазия, поскольку отражает неповторимый мир неповторимого индивида» [ЛЗЛ: 202, 326]. *Фантазия*, т.е. *причуда* представляет собой у Набокова исключительное свойство натуры и художественного мастерства писателя (*причудливый гений, причудливый дар, причудливый узор, свои причуды*). Стиль в его определении — «причуда личных предпочтений». «Без подобных причуд не существует ни искусства, ни гения» [А: 228]. Между фантазией (*причудой, индивидуальным вымыслом*) и обманом (*маскировкой, игрой*) колеблется в критической рефлексии Набокова критерий эстетической/этической оценки произведения и творческой индивидуальности его автора.

Феномен искусства Набоков связывал с загадкой *мимикрии* (не *мимесиса*). Он находил в природе тот *маскарад* (курсив мой. — Л.Р.), те бесполезные упоения, которых искал в другом «*восхитительном обмане — в искусстве*» [ДБ: 205]. Писатель с увлечением говорит о «*художественной совести природы*», о *маскировке* среди актеров-насекомых, *играющих* двойную роль, таких, как бабочка-притворица [Там же]. «Всякий большой писатель — *большой обманщик*, но такова же и эта *архимошенница* — природа. Природа обманывает всегда. От простеньких уловок в интересах размножения до умопомрачительно *изоцрненной иллюзорности* в защитной окраске бабочек и птиц — природа использует изумительную систему *фокусов и соблазнов*» [ЛЗЛ: 28]. «Все обман в этом *добром мошенничестве*» [Pro et contra 1997: 140]. Искусство заимствует у природы ее *чары* и *уловки*. При этом миметическая *изоцрненность* в природе находится далеко за пределами того, что способен оценить «мозг гипотетического врага» [ДБ: 205]. Произведение искусства также намного богаче того, что рассчи-

тано на чье-то восприятие. В искусстве и в природе изображаемое и изображение взаимозаменяемы. Фраза из романа «Ада» может быть прочитана как подобная метаморфоза: «Девочка продолжала выписывать цветок, диковинный цветок, изображающий яркую бабочку, в свой черед изображающую скарабея» [А: 100]. Литература и реальность приравниваются друг к другу и взаимно обращаются; процесс реализации метафоры и метафоризация реальности описывают круг, закрепляясь в идиостиле писателя в выражениях *фиктивная реальность* и *реальность фикции*.

Литература в афористических определениях Набокова — *обман, мошенничество, возведенное в колдовство, художественная алхимия, лингвистическая пиротехника*; искусство — *магия, божественная игра, замысловатое волхование и лукавство*. Писатель (в восходящей градации — *рассказчик историй, добросовестный эрудит, литературный выдумщик, жонглер, маг, кудесник, чародей*) тем талантливее, чем больше *индивидуальной магии* в его художественной правде (ср.: «Писатель — „сочинитель, маг, кудесник, художник“» [ЛРЛ: 26]; «Меня больше интересует чародей, нежели рассказчик историй и учитель» [ЛЗЛ: 104]). Набоков в этом ряду — *мистификатор, мастер игры и камуфляжа*. В критической литературе с его именем связано понятие «мимикрия личности творца» (В. Ходасевич). В. Ходасевич в статье «О Сирине» размышляет о том, как гений пытается скрыть свое несходство с окружающим. И наоборот: бездарность всегда пытается выставить напоказ свою мнимую необыкновенность. Не случайно в героях Сирина Ходасевич видит художников под маской шахматиста или коммерсанта [Ходасевич 1997].

В набоковедении закрепились такие номинации игровых приемов, основанных на мимикрии личности повествователя или обмане, как: «прием обмана с целью сокрытия», «обманчивость фабулы», внезапные переходы к другому плану повествования, «немотивированные коммуникативные переходы от первого к третьему лицу», «семантика дейктических номинаций одного и того же персонажа» [Александров 1999, Апресян 1995, Ковтунова 1998, Падучева 1996]. Свойства и принципы игровых текстов в таксономии (такие, как амбивалентность, или поливалентность, театрализация, присутствие автора в тексте, игровая наррация, недостоверность повествования, игровая стилистика и др.) описаны в трудах по теории игровой поэтики [Люксембург 2006: 21–23].

В духе этой образности функционируют в эстетической системе писателя метафорические образы-понятия, связанные с темой творчества и придающие символическую выразительность его «индивидуальной семиотике» (Ю. М. Лотман): *хитроумные уловки, трюки, ма-*

невры, авторские причуды, лик, личина, маскировка, тонкая паутина вымысла, искусное плетение узора. В книге «Николай Гоголь», например, весь спектр индивидуально-авторских обозначений приемов, составляющих мир Гоголя, связан со «смещением рациональной жизненной плоскости» и преодолением «гравитации»: *умственное сальто* [ЛРЛ: 127], *сложный маневр* [Там же: 85], *сальто без лонжи* [Там же: 84], *трюк* [Там же: 83], *фокус* [Там же], *писатели-акробаты* [Там же: 84], *скороговорка фокусника* [Там же: 126] и др. Идея маскировки формирует стилевую образность «обманного мира» автора: *принять личину* [Там же: 127], *круговорот масок, хаос мнимостей* [Там же: 125].

В основе концептуального ряда *творчество/обман/вымысел/фантазия* у Набокова лежит различие в искусстве *подлинного/мнимого, иррационального/рационального, ложного/истинного, пошлого (бездарного, поддельного) / настоящего (правдивого)* в рамках лексико-семантической и символической семиотизации. Структурным принципом и критерием оценки служит *творческое воображение* и его составляющие — *вымысел* и *индивидуальная магия* (ср.: «*Идеи в литературе не так важны, как образы и магия стиля*» [Там же: 248]).

Метафоры, основанные на понятии вымысла, раскрывают различные аспекты соотношения искусства и действительности. «Литература — это выдумка. Вымысел есть вымысел» [ЛЗЛ: 28]. Писательское искусство заключается в умении видеть мир как «кладовую вымысла» [Там же: 24]. Величие шедевра — в «силе вымысла»: «Великие романы — великие сказки» [Там же]. Набоков писал: «Оставим попытки примирить *фиктивную реальность* с *реальностью фикции*. „Дон Кихот“ — сказка, как и „Холодный дом“ или „Мертвые души“. Правда, без таких сказок и мир не был бы реален» [ДК: 26]. По характеристике писателя, художественное произведение — «созданный поэтический мир, исключительно принадлежащий своему творцу. Входя в этот поэтический мир, необходимо принять его законы, условность, упоительную *игру вымысла*» [ЛЗЛ: 37]. Вымысел в искусстве должен быть самой высокой пробы: подлинному искусству противостоит как «пустоцветная ученость», так и «прихоть цветистого вымысла», выражающегося в «претенциозность, скуку и *поверхностное вранье*» [А: 551, 131]. «Точность вымысла», «ясность и стройность логического зодчества» [О: 400] не противоречат «индивидуальной магии» стиля, языка [ЛЗЛ: 109] (ср.: «*магический артистизм стиля Л. Толстого*»; «*магия пушкинской поэзии*»).

Соотношение *истины/лжи* в творчестве и в «так называемой реальности» асимметрично. Оно рассматривается писателем в категориях *правды* и *правдоподобия*. Назвать рассказ правдивым, убежден он, значит «оскорбить и искусство, и правду» [ЛЗЛ: 28]. Для Набокова

одинаково условны понятия «так называемая реальность» и «реализм». «Реалистический, казалось бы, мир Флобера, — писал он, — как и мир любого крупного писателя, — мир фантазии с собственной логикой, с собственными условностями и совпадениями» [ЛЗЛ: 202]. Общественную среду Флобер «изготовил» продуманно, поэтому считать, что окружающая среда повлияла на создание его героев, — все равно, что «двигаться по кругу». «Самобытный автор всегда создает самобытный мир, — пишет Набоков, — и, если персонаж или событие вписываются в структуру этого мира, мы радуемся встрече с художественной правдой, сколь бы ни противоречили персонаж или явления тому, что именуют реальной жизнью» [Там же: 36]. Дневник мемуары, жанр беллетризированной биографии Набоков определяет как «низкие формы литературы». Поиски «человеческого элемента» у гения добросовестным эрудитом он считает «литературной ложью» [ЛРЛ: 415]: «Мысль, направляя свой луч на историю жизни человека ее неизбежно искажает. Это будет лишь *правдоподобие*, а не *правда* которую мы чувствуем» [Там же].

Вымысел в искусстве обладает свойством онтологичности, поэтому может быть «правдивее жизненной правды» [О: 476]. В утверждении писателя: «То, что зовется у нас искусством, в сущности, не что иное, как *живописная правда жизни*» [ЛРЛ: 423] — нет противоречия. Акцент делается на основном значении слова *правда* — моменте истинности бытия. Набоков, декларирующий относительный характер познания и восприятия мира, признает субстанциально-онтологическую сущность искусства. Редкое слияние художественной и жизненной правды отмечает он у Толстого: «*Правда*, которую он так мучительно искал и порой чудом находил прямо у себя под ногами, и без того всегда была с ним, ибо Толстой-художник и был этой *правдой*» [Там же: 224].

Концепты *истина/правда* варьируются Набоковым при интерпретации творческого метода Толстого. Главное свойство стиля писателя определяется им как «поиски истины на ощупь» [Там же: 309]. «Толстой рвался наперекор всему к истине» [Там же: 223]. Истина («ист», «есть») вскрывает сущность предмета, она адекватна ему. *Правда* как суждение, индивидуальное знание может удаляться от истины. *Правда* Толстого, по характеристике Набокова, приближает нас к ней. Смысл концепта *правда* в данном контексте — это *оправдание* позиции, веры, творческой установки великого художника. «Мучительный поиск истины, *правдоискательство* было для него дороже, чем легкая, красочная, блистательная иллюзия правды, — пишет Набоков. — Старая русская истина с ее неистовством и тяжелой поступью никогда не была приятной собеседницей. Не будничная правда, но бес-

смертная Истина, не просто правда, но озаряющий собой весь мир *свет правды*. Когда Толстому случалось найти ее в себе, в блеске собственного воображения, он почти бессознательно шел по верному пути» [ЛРЛ: 224]. В экспрессии слов запечатлено их первоначальное, исконное значение: «истина — от земли» («истина от земли воссияет»); правда — с небес («свет духа»); это «правда на деле, истина во образе, во благе» [Даль 1998: 379].

Слову *истина* Набоков дает ассоциативно-образное толкование наряду с другими культуроспецифическими русскими концептами — *пошлость, судьба, душа, ничего, оскомина*: «Истина — одно из немногих русских слов, которое ни с чем не рифмуется. У него нет пары, в русском языке оно стоит одиноко, особняком от других слов, незыблемое, как скала, и лишь смутное сходство с корнем слова *стоять* мерцает в густом блеске этой предвечной громады» [ЛРЛ: 224]. Для Набокова также ни на мгновение не поблекла *истина* Пушкина, *нерушимая, как сознание*. В отличие от многих Пушкин мыслил истину эстетически: «в самых затаенных уголках» его поэзии звучит «одна истина — истина искусства». Истина у Пушкина напоминает Набокову «благородный мрамор в лучах величавого солнца» [Там же]. Зная приоритеты писателя, можно заключить, что для него *истина искусства, истина сознания* — высшие ценности. Имя Пушкина обрастает новыми коннотациями в атмосфере эмигрантского небытия: Пушкин — *наше бытие* (И.Шмелев), *сознание* (В.Набоков), *наше откровение, идеология в изгнании*. Традиционные метафоры — *солнце, учитель, икона, свет, знамение* — дополнены такими ассоциациями, как *истина, правда, чудо* (В.Набоков).

По Набокову, *художественная правда* («единственная истина искусства») — искусно созданная правда: «блистательная иллюзия правды», «живописная правда жизни», «реальность фикции». Она популярна по отношению к *правдоподобию, здравому смыслу, литературной/художественной лжи* [ЛРЛ: 415, 419]. Слово *правда* выражает в рамках концепта *правда/истина* особый смысл. В то же время в выражениях *художественная правда / художественная ложь* опорным является понятие *художественности*. Слова *правда* и *ложь* выступают в функции предикатов истинности. Ю.С.Степанов отмечает концептуальную особенность слова *правда*: «Это предикатное слово, никакой особой сущности не выражающее, а означающее лишь признак „истинности“ какого-либо высказывания» [Степанов 1997: 327].

Парадокс заключается в том, что *художественная ложь* ассоциируется у Набокова с *жизненной правдой* (простотой, искренностью), а *художественная правда*, напротив, с *обманом* (искажениями, искривлениями восприятия и причудами творческого воображения).

Вымысел и художественная правда — тождественные понятия. Структурным принципом их пересечения являются эстетические представления писателя о литературе как о «мерцающем посреднике между вымыслом и реальностью», «преломляющей призме», отклоняющейся от прямого изображения и подобия жизни. Параллель *сочинительства/обмана/ложь* усиливает эффект преломления, искажения художественного сознания. В зависимости от контекста расстояние между концептами то увеличивается, то сокращается, сопоставленные слова порой тяготеют к синонимии, порой ориентированы на логику антонимии.

В дискурсе Набокова концепт *обман* охватывает сферу иррационального, бессознательного, непреднамеренного, является творческой установкой, имеет положительную интенцию (ср.: *большой обман* [ЛРЛ: 416]; *восхитительный обман*; *доброе мошенничество*). Эмоциональная и смысловая составляющие концепта *ложь* амбивалентны. С одной стороны, слово *ложь* (*неправда*) сохраняет отрицательные коннотации, связанные с осуждением подделки, плагиата, «ущерба для естественности», используется для обозначения *мнимого, поддельного, пошлого, бездарного лжеискусства*, всего псевдо- и недо- (ср.: «Обаяние человеческого подвига совершенно искупает литературную ложь»; «художественная ложь»; «фальшивый роман», «лживая книга»). Слова с префиксоидом *лже-* выражают ложные представления о мире и творчестве (*лжеискусство, лжебытие*). *Ложь* ведет, с одной стороны, к ошибкам памяти и зрения и, с другой стороны, — к вымыслу, сочинительству: к *поверхностному вранью* и к *вдохновенному вранью гения*. Глагол *лгать* (в смысле «сочинять») обозначает действие низкой пробы, в сочетании с оценочными определениями типа *самозабвенный, вдохновенный, ненасытный, кропотливый* приобретает положительную коннотацию («Герман лгал с упоением» [О: 423]). Образные эквиваленты лжи могут иметь высокий смысл: «Вдохновенное вранье — игра гения, которому дозволено все», — писал Набоков о Гоголе, придавая эстетике обмана статус высшего принципа.

В критическом дискурсе отношение между концептами *творчество* и *обман (ложь)* выражено достаточно эксплицитно, в художественных текстах — имплицитно.

В романе «Отчаяние» расширяется семантическая структура концепта *творчество/обман*, образуя параллели с темой двойника, мотивами сходства, подобия, преступления, уникальности, типичности. Смысл единого образа-понятия дробится на низших уровнях иерархических зависимостей, воспринимаясь как «образец» и «корявая копия». Убийство двойника — этой «опечатки в книге природы» — равносильно в романе освобождению от плагиата (*сходства, подобия* сводят творца с ума).

Система развернутых сравнений подтверждает параллель: муки преступления подобны мукам творчества. Главный герой — Герман Карлович «обладает даром проникать в измышления жизни», он пишет «записки мистификатора» (первоначальный вариант названия его повести).

Фраза «Что я собственно натворил?» [О: 462] имеет каламбурный смысл. «Мое произведение мне удалось, — рассуждает Герман, — в совершенстве, обман, — а всякое произведение искусства обман, — удался» [Там же: 506]. Феликс — двойник Германа, плод его вымысла, он «создан его фантазией, жадной до *отражений, повторений, масок, галлюцинаций*» [Там же: 432]. Убивая двойника, автор как бы отдает свое произведение на суд читателей. Концептуальный фон творческого вымысла героя в романе отражает многообразие смысловых оттенков — *обман, фантазия, измышления, галлюцинация, вранье, сон, двойничество, фикция, мимикрия, камуфляж, маскарад, фокус*.

Оговорочный стиль романа пронизан атмосферой «легкой, вдохновенной лживости». Герман Карлович охвачен порывом к *сочинительству*, т.е. «бесцельной склонностью к *ненасытной, кропотливой лжи*» [Там же: 425]: «Дня не проходило, чтобы я *не налгал. Лгал я с упоением, самозабвенно*, наслаждаясь той новой гармонией, которую создавал. За такую *соловьиную ложь* я получал от матушки в левое ухо, а от отца бычьей жилой по задку. Это нimalo не печалило меня, а скорее служило толчком для дальнейших *вымыслов*... Я лежал ничком в сочной траве под фруктовыми деревьями, посвистывая и беспечно *мечтая*» [Там же: 423–424]. *Ложь* в сочинительстве нужна герою «для поддержания *иллюзии*» [Там же: 431]. Понятия *ложь* — *вымысел* — *мечта* — *иллюзия* образуют устойчивый синонимический ряд. Герман постоянно нарушает границу между ложью и фантазией, точнее, она не различается его поврежденным рассудком. Признак лжи — способность к превращениям, способность разделять внешность и сущность. При этом «связь между знаком и его содержанием расторгнута» [Лотман 1999: 256].

Подтекст романа обнаруживает декларирование эстетических установок автора как бы наоборот. Концепт *обман* (*уловка, ухищрение*) пародийно дешифрован. Герман как писатель, создатель своей реальности злоупотребляет приемом фантазии, который «измочалили литературные выдумщики», он уже не подходит ему, ибо Герман стал «правдив» [О: 422]. С точки зрения автора, он впадает в недопустимую для создателя литературную ложь, так как, будучи сторонником миметического (подражательного) принципа в искусстве, склонен видеть *общее, типологическое, сходное*. Определение художественной истинности и лжи ассоциируется у автора «Отчаяния» с мерой художественной одаренности и соотносится с понятиями: *сходство, подобие, единичное/типическое, тождественное/иное*. Понятие *сходство* в романе

амбивалентно: это «чудо, совершенство, беспричинное и бесцельное» [О: 400]; творческая удача, «росчерк гения», желаемая вершина искусства. «Чем сходство совершеннее, тем оно дороже ценится». *Сходство* воспринимается как постижение и адекватная передача тайн гармонии жизни. Но оно не достижимо рациональными усилиями, поэтому, с другой стороны, сознательное стремление художника к сходству приводит к созданию уже созданного, подобного, в конечном итоге — к плагиату и умерщвлению творческой способности. Не случайно в романе «Отчаяние» тема творчества сопряжена с идеей преступления, посягательства на чужое.

Трагедия Германа как художника заключается в «переимчивости», во владении двадцатью пятью почерками, постоянном пребывании в плену литературных параллелей, невозможности выработать свой собственный стиль. Он обладает искусством обмана, не лишен фантазии, но у него нет личных «причуд». Даже «обряженное произведение» Германа оголено и выдает себя. Сходство как *жизнеподобие* и *узнавание* невысоко ценится. Бродяга Феликс предстает как грубое воплощение жизни, он неотесан, физиологичен, непереволим в высшую реальность искусства, несмотря на изощренные усилия мастера.

В романе «Отчаяние» мы имеем дело с двумя совпадающими слово в слово, вложенными друг в друга текстами. Внутри романа Набокова находится повесть протагониста Германа, состоящая из десяти глав, и его дневниковые записи. Исследователи [Давыдов 2004, Люксембург 2006] подчеркивают идентичность текстов, разных по жанру (роман и повесть). Обычно интерпретаторы повести Германа подчеркивают ее неудачность, ибо преступление, описанию которого она посвящена, мыслилось преступным автором-протагонистом как идеальное, а вышло вульгарным. Тень этой вульгарности проецируется на текст. А.М. Люксембург отмечает курьезный парадокс: текст повести Германа «Отчаяние» воспринимается «как художественная неудача, в то время как идентичный ему текст одноименного романа претендует на статус художественного шедевра» [Люксембург 2006: 48]. Качество текстов зависит от того, кого в данный момент мы считаем автором. *Художественная ложь* протагониста Германа стала подтверждением *художественной правды* автора романа, главного создателя художественной реальности В.Набокова. В данной ситуации понятен относительный, реверсивный характер соотношения фантазии и лжи в акте творчества. Конкретный смысл концепта *ложь* зависит от контекста. В рамках игровой поэтики концепты *обман* (*ложь*), *фантазия*, *сочинительство* могут быть связаны по принципу дополнительности и обратимости, в области критических оценок — однозначно по принципу отрицания (*лживая, фальшивая книга, прав-*

доподобие, художественная ложь). Градация этико-эстетических оценок и художественно-творческие установки у Набокова все те же: причуда, фантазия, обман.

ЛИТЕРАТУРА

- Александров 1999 — Александров В. Е. Набоков и потусторонность. СПб., 1999.
- Апресян 1995 — Апресян Ю. Д. Избранные труды: В 2 т. Т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Давыдов 2004 — Давыдов С. «Тексты-матрешки» Владимира Набокова. СПб., 2004.
- * Даль 1998 — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 3. М., 1998.
- Ковтунова 1990 — Ковтунова И. И. Поэтика контрастов в романе В. Набокова «Дар» // Язык: система и подсистемы. М., 1990. С. 140–161.
- Лотман 1999 — Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера. М., 1999.
- Люксембург 2006 — Люксембург А. М. Скромное обаяние игровых структур: опыт типологии // Игровая поэтика. Вып. 1. Сб. науч. тр. Ростовской школы игровой поэтики / Под ред. А. М. Люксембурга и Г. Ф. Рахимкуловой. Ростов-на-Дону, 2006.
- Падучева 1996 — Падучева Е. В. Рассказ Набокова «Набор» как эксперимент над повествовательной нормой // Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива). М., 1996. С. 385–393.
- Pro et contra 1997 — Набоков В. В. Pro et contra. СПб., 1997.
- Степанов 1998 — Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1998.
- Ходасевич 1997 — Ходасевич В. О Сирине // Набоков В. В. Pro et contra. СПб., 1997. С. 244–250.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ЦИТИРУЕМЫХ ТЕКСТОВ В. В. НАБОКОВА

- А — Ада, или Радости страсти: Семейная хроника // Набоков В. В. Собр. соч.: В 5 т. СПб., 1997. Т. 4.
- ДБ — Другие берега // Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 4.
- ДК — Лекции о «Дон Кихоте». М., 2002.
- ЕО — Евгений Онегин: Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998.
- О — Отчаяние // Набоков В. В. Русский период. Собр. соч.: В 5 т. СПб., 1999. Т. 3.
- ЛЗЛ — Лекции по зарубежной литературе. М., 1998.
- ЛРЛ — Лекции по русской литературе. М., 1996.

Л. Г. ПАНОВА

СОФИЙНЫЙ ДИСКУРС АЛЕКСАНДРА БЛОКА (НА ПРИМЕРЕ «СНЕЖНОЙ ДЕВЫ»)

1. В этой статье, поневоле полемичной, речь пойдет о Прекрасной Даме, Незнакомке, Снежной Деве и такого рода женских образах в лирике и поэмах Блока.

Заявленная тема может показаться избитой. В самом деле, ею начали заниматься еще критики Серебряного века (подробнее и основательнее других — Корней Чуковский [Чуковский 1922]), а продолжила — западная славистика (особенных похвал заслуживает Сэмьюэль Чоран [Cioran 1977]). О Прекрасной Даме Блока, пусть по-эзоповски, высказывались и советские литературоведы (наиболее представительными считаются работы З.Г. Минц [Минц 1999]). Наконец, сейчас, в идеологически свободное время, в России выходит новое многотомное издание Блока с внушительными комментариями, которые освещают и интересующую нас тематику [Блок 1997]. Тем не менее, полного порядка в этой — по определению важной — области блоковедения нет. Говоря, что Прекрасная Дамы — наиболее блоковская тема или что Блок — главный певец Прекрасной Дамы, никогда не указывается, сколько стихотворений ей посвящено (десяток, несколько десятков, сотня?) и какие это стихотворения. Далее, никогда не выдвигались критерии отделения таких стихотворений от любовной или религиозно-философской лирики Блока. На повестке дня — заполнение других зияющих пробелов. С. Чоран, хотя и подробно останавливается на том, как менялись блоковская мифология Прекрасной Дамы (а именно в сторону устрашающей демонизации), поэтики, ее проводящей, практически не касается. З.Г. Минц хотя и составила частотный словарь к сборнику «Стихи о Прекрасной Даме», выводы о поэтике этого сборника сделала весьма приблизительные [Минц 1999: 568–678]. Наконец, в объяснительных статьях нового издания Блока адресация стихотворений Прекрасной Даме прописывается лишь от случая к случаю, и читателю нередко приходится гадать, является ли героиня Блока вознесенной до небес реальной женщиной или же неземным бесплотным созданием, спустившимся на землю и одевшимся в земную плоть.

Наведение порядка должно начинаться с отчетливого понимания того, кто такие *Прекрасная Дамы*, *Владычица мира* (*Царица*), *Дева-Заря-Кутина*, *Незнакомка* или *Снежная Дева* в поэзии Блока. Эти и

некоторые другие перифрастически названные героини сводимы к одному образу: Софии, первоначально мира, которая по христианским представлениям является четвертой, женской, ипостасью Божественной Троицы, а по гностическим и оккультным — разлитой в природе Душой мира, которая, вдобавок, воплощается в самых красивых земных женщин. В монографии «Русский Египет. Александрийская поэтика Михаила Кузмина» я различаю четыре ипостаси Софии (другие исследователи — меньше). Это:

— владычица мира;

— душа мира, разлитая в нем;

— полувоплотившаяся София, которая ненадолго предстает перед своим избранником;

— и реальная женщина, в которую вселилась мировая душа [Панова 2006/II: 223–224].

Дальше я буду называть героиню лирики Блока Софией, а дискурс, ее описывающий, — софийным.

2. Блоковский дискурс Софии имеет и общесимволистские черты [Панова 2006/II: 223–259], и свои собственные. София у него, как правило, вводится готовой поэтической лексикой для обозначения Царицы, бессмертной Богини, Возлюбленной и закатного/рассветного/ночного/снежного пейзажа, с теми или иными вариациями. В паре с Софией всегда выступает лирический герой, чьи сюжетные функции — быть рабом при царице, богомольцем при Богине и — шире — избранником Софии. Местом их встречи может быть природный пейзаж (обычно на закате или рассвете), несущий уже отсвет фантастического, а также храм, терем, город.

В сущности, все блоковские стихотворения — это, переходя на терминологию В.Я.Проппа [Пропп 1928], одно стихотворение, в той или иной модальности рассказывающее о встрече лирического «я» и Софии. Модальности же могут быть следующими: встреча реальная, ожидаемая или чаемая; во сне, мечте, видении или во время богослужения; в будущем или прошлом. В отличие от других русских поэтов Софии для Блока важен вопрос достоверности: та, что он видит, София или нет?

В софийной поэзии Блока создается многоплановость: условность переходит в реальность и наоборот. Поскольку его творчество подпитывала визионерская и житнетворческая практика (сначала почитание Софии в Л. Д. Менделеевой, а некоторое время спустя — аналогичное мифотворчество в отношении других женщин), то его София — не только абстракция, т.е. вторая, божественная, реальность мира, находящаяся там, высоко, на небе, высшая истина, которая открывается в видениях, снах и о которой постоянно мечтается, но и

часть его реальной жизни — ведь он женат на ней или же ухаживает за ней. Недаром в Софии его поэзии постоянно мерцает реальное и сверхъестественное, а в описаниях встреч с ней через фантастические пейзажи проступают шахматовские и петербургские. Втягивание личного опыта, видимо, и делает изрядную долю блоковских стихотворений артистически убедительными, хотя задачу натурализации оно решает (да и едва ли Блок ставил перед собой такую задачу).

Исключительный интерес представляет прагматическое оформление софийного дискурса, общее у всех символистов. София — тайна, которую надо скрывать от непосвященных, а потому интенции говорящего состоят в том, чтобы одновременно намекнуть о встрече с ней, но и утаить ее от читателя-профана. В частности, в поэзии Блока настоящее имя Софии (*София*) опускается; вводится же она символами, приметами и т. д., в перифразах и при помощи местоименной поэтики (*Она*, *Ты* с заглавной буквы).

Из всего сказанного может сложиться впечатление, что блоковская софийная лирика создается чистым наитием поэта, что не соответствует действительности. Все русские поэты работали в готовом каноне, лишь минимально отклоняясь от него. Он сложился в поэзии Гёте, которую к русскому менталитету, на рубеже веков находившемуся в поисках новых религиозных форм, адаптировал Владимир Соловьев. И Соловьев, и Блок вводили в софийный дискурс русскую любовную классику (Лермонтова, Тютчева и Фета), в том числе на правах цитат.

В русском изводе этого канона важной составляющей были ссылки на авторитеты в софиологии. Блок полностью подчиняется и этому правилу. Наиболее часто он приводит цитаты из Соловьева.

Так реконструированный софийный дискурс в большинстве может служить лакмусовой бумажкой для отделения софийной поэзии от чисто любовной. В результате получается, что Блок написал более 150 стихотворений о Софии. И это при том, что у Гёте софийных сочинений — 4, у Шелли — 1, у Соловьева — около 20, а у Кузмина — 4.

3. Далее софийный дискурс Блока будет проиллюстрирован одним из самых знаменитых стихотворений — «Снежной Девой» (1907)¹:

Она пришла из дикой дали —
Ночная дочь иных времен.
Ее родные не встречали,
Не просиял ей небосклон.

¹ Один из первых откликов на это стихотворение принадлежал Георгию Чулкову — см. его статью «Снежная дева» в [Чулков 1998: 380–383].

Но сфинкса с выщербленным ликом
Над исполинскою Невой
Она встречала с легким вскриком
Под бурей ночи снеговой.

Бывало, вьюга ей осыпет
Звездами плечи, грудь и стан, —
Всё снится ей родной Египет,
Сквозь тусклый северный туман.

И город мой железно-серый,
Где ветер, дождь, и зыбь, и мгла,
С какой-то непонятной верой
Она, как царство, приняла.

Ей стали нравиться громады,
Уснувшие в ночной глуши,
И в окнах тихие лампы
Слились с мечтой ее души.

Она узнала зыбь и дымы,
Огни, и мраки, и дома —
Весь город мой непостижимый —
Непостижимая сама.

Она дарит мне перстень вьюги
За то, что плащ мой полон звезд,
За то, что я в стальной кольчуге,
И на кольчуге — строгий крест.

Она глядит мне прямо в очи,
Хваля неробкого врага.
С полей ее холодной ночи
В мой дух врываются снега.

Но сердце Снежной Девы немо
И никогда не примет меч,
Чтобы ремень стального шлема
Рукою страстною рассечь.

И я, как вождь враждебной рати,
Всегда закованный в броню,
Мечту торжественных объятий
В священном трепете храню.

Сюжет этого стихотворения включает следующие звенья: приход Софии в город лирического героя, их встреча, ее обручение с ним перстнем выюги, его рыцарское служение ей и, наконец, его желание вступить с ней в любовный поединок. И все это — при отсутствии физического контакта между героями, исключая взгляд глаза в глаза. Отсюда следующее признание рассказчика и героя: *Мечту торжественных объятий / В священном трепете храню*. При этом Петербург, достояние лирического героя, превращается в царство Снежной Девы. Она постепенно привыкает к городу, который своей непостижимостью оказывается ей изоморфен, и овладевает им. Город — не единственное общее у двух героев. У них обоих есть мечты — правда, разнонаправленные. Помимо объединяющих героев любовных и метафизических перипетий, Блок также держит в фокусе их внешность: плечи, грудь и стан у нее; плащ, кольчугу и шлем у него.

В таком виде сюжет стихотворения отразил роман Блока с красавицей-актрисой Натальей Волоховой. Его подробностями Волохова делится в своих воспоминаниях. Еще один источник сведений о нем — мемуары актрисы Валентины Веригиной. Волохова, недавно пережившая страстное увлечение Василием Качаловым, в ухаживаниях Блока, долгих зимних прогулках с ним по тому Петербургу, где разворачивается действие его пьесы «Незнакомка», находила столь нужное ей душевное успокоение. Но Блок требовал от нее большее — в частности, в стихах, и демонизировал ее то в виде Прекрасной Дамы, то в виде Клеопатры. В отличие от Любви Менделеевой, поощрявшей игры Блока, Волохова сопротивлялась блоковскому мифотворчеству.

Холодность Волоховой к Блоку в рассматриваемом стихотворении одевается в образ Снежной Девы. Эта героиня демонизирована благодаря андерсеновским подтекстам, которые читатели того времени легко улавливали: Снежной Королеве и Деве Льдов, чьи ледяные поцелуи несли гибель героям-мужчинам². Довершает снежную тему зимний петербургский пейзаж.

В блоковском стихотворении немало деталей, торчащих самым картонным образом. Начать с обрисовки героини: Дева снежная, а ее происхождение почему-то египетское, и, появившись в Петербурге из сказок Андерсена, она по какой-то непонятной причине встречает криком узнавания сфинксов у Академии художеств (сфинкс у Блока — в ед. ч.). Разгадка этого противоречия приводит нас к Соловьеву, законодателю софийной поэзии. На третье свидание с Софией он отправился в Египет, в пустыню под Каиром, о чем в юмористическом

² Андерсоновские подтексты отметил уже Георгий Чулков, см. [Чулков 1998: 381–382].

духе рассказывает его поэма «Три свидания» [Панова 2006/І: 40–41 сл.]. Посетив затем Египет вторично, в память о первом — судьбоносном — путешествии, Соловьев написал стихотворение «Нильская дельта» с такими финальными строками: *Не Изиды трехвенечная / Ту весну им приведет, / А нетронутая, вечная / «Дева Радужных Ворот»* [Там же: 271–276]. В эту вторую поездку были и другие стихи, где мистически обесточенный юг (Египет) противопоставлялся мистически заряженному северу (Финляндии). Таким образом, египетская родословная Снежной Девы учитывает учение Соловьева на разных его этапах³, условно говоря «южном» и «северном», причем Блок вводит ссылку на главный авторитет в русской поэтической софиологии путем отказа от натурализации.

Еще одна странность в обрисовке Снежной Девы — *лампада*, которая *слилась с мечтой ее души*. Применение религиозного словаря для описания Софии лишний раз подчеркивает ее божественную ипостась, пусть и за счет отказа от естественности.

Имеется в стихотворении и психологический парадокс. Снежная дева бесстрашна, но лирический герой почему-то надеется на роковой поединок — судя по описанию, à la Зигфрид и Брунхильда, из вагнеровской оперы. У Блока до битвы дело не доходит, и, соответственно, стихотворение венчают не сами объятия, а лишь мечта о них. Оформляется этот парадокс чужим словом. *Поединок роковой* — не что иное, как сознательная цитата из «Предопределения» Тютчева (в ранних вариантах эта строка даже служила эпиграфом к стихотворению). Так Блок в софийном дискурсе прибегает к формулам своих предшественников по линии любовной лирики.

Есть натяжки и в обрисовке лирического героя. Он, с одной стороны, пребывает в современности, и его город, Петербург, *железнодорожный*. С другой же стороны, София избирает его по сильно архаизированному одеянию, аналогичному тому, что было в пьесе «Незнакомка»: плащу, полному звезд, стальной кольчуге и стальному шлему. Такой вид героя призван подчеркнуть, что его служение Софии носит средневековый — рыцарский — характер.

Суммируя все сказанное о «Снежной Деве», еще раз подчеркну, что Блок не добивается натурализации софийного сюжета, а, напротив, действует в рамках поэтики условности. София у него дается сразу в трех ипостасях: она и реальная женщина, и царица, и богиня,

³ Египетские детали «Снежной Девы» можно также рассматривать как продолжение метафоры Клеопатры — женщины-змеи, несущей любовную смерть лирическому герою, — реализованной в других стихотворениях волоховского цикла.

объект культа (отсюда *лампада*). В фокусе повествования — встреча Софии и лирического героя, которая развивается в трех планах: реальном, отражая роман Блока с холодной к нему Волоховой; каноническом софийном — отсюда ссылка не просто на Соловьева, но на его египетско-финский опыт; и общепозитическом лирическом — отсюда цитирование Тютчева.

4. Применительно к софийному дискурсу встает вопрос: что считать символом? З.Г. Минц [Минц 1999] и устоявшаяся лингвопоэтическая традиция, идущая от В. М. Жирмунского, склонна видеть символы в существительных (*ночи, снеге, тумане, дожде*), а также глаголах, указывающих на состояние лирического героя. Согласно работе Жирмунского «Метафора в поэтике русских символистов» [Жирмунский 1999], символ — особый род метафоры, предмет или действие внешнего мира, обозначающие явление мира душевного или духовного по принципу сходства. Но не заводит ли такой подход к символу исследователя софийной темы в тупик? Полагаю, что в данном случае правильнее видеть символы там, где их видели и создавали сами символисты. Тогда София будет означаемым символа, а посвященный ей текст, включающий, в случае «Снежной Девы», снега, сюжет встречи Софии с лирическим героем, ее египетское происхождение и ряд других деталей, — означающим.

ЛИТЕРАТУРА

- Блок 1997 — *Блок А. А.* Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. М., 1997–.
- Жирмунский 1999 [1921] — *Жирмунский В. М.* Метафора в поэтике русских символистов // НЛО. 1999. № 35. С. 222–249.
- Минц 1999 [1979] — *Минц З. Г.* Символ у Александра Блока // *Минц З. Г.* Поэтика Александра Блока. СПб., 1999. С. 334–361.
- Панова 2006 — *Панова Л. Г.* Русский Египет. Александрийская поэтика Михаила Кузмина: В 2 т. М., 2006.
- Пропп 1928 — *Пропп В. Я.* Морфология волшебной сказки. Л., 1928.
- Чуковский 1922 — *Чуковский К.* Книга об Александре Блоке. Берлин, 1922.
- Чулков 1998 — *Чулков Г.* Валтасарово царство. М., 1998.
- Cioran 1977 — *Cioran Samuel D.* Vladimir Solov'ev and the Knighthood of the Divine Sophia. Wilfrid Laurier University Press, 1977.

С. В. ШЕШУНОВА

ОТ ФАНТАЗИИ К ФЭНТЕЗИ

Данная работа посвящена литературному*жанру фэнтези и тем парадоксам, которые возникают в связи с его наименованием и восприятием.

В современном литературоведении фэнтези определяется как «разновидность фантастики: произведения, изображающие вымышленные события, в которых главную роль играет иррациональное, мистическое начало, и миры, существование которых нельзя объяснить логически»; «своеобразное соединение сказки, фантастики и приключенческого рыцарского романа» [Словарь 2005]. Принято считать, что у его истоков стоят романы английского писателя У. Морриса (вторая половина XIX в.). Однако Д. Хартвелл рассматривал как преддверие жанра готический роман Г. Уолпола и А. Радклиф [Hartwell 1988: XI], а К. Крёбер — баллады С. Кольриджа и Дж. Китса [Kroeber 1988]. Наиболее известные авторы фэнтези XX в. также принадлежат к англоязычному миру: американец Р. Говард (цикл романов о Конане-варваре), англичане Дж.Р.Р. Толкиен, или Толкин («Властелин колец») и К.С. Льюис («Хроники Нарнии»). Отечественными мастерами жанра считаются М. Семенова и Ник Перумов.

У себя на родине наименование жанра возникло как семантический неологизм; это значение давно существующего слова *fantasy* довольно долго не фиксировалось словарями: скажем, его нет в оксфордском словаре Хорнби (1982) и в издании словаря Лонгмана (1992), хотя активно обсуждалось в англоязычной литературе уже в 1970-е гг. Наконец, в словаре Вебстера такое значение раскрывается с указанием на словосочетание *science fiction* в качестве синонима [Webster 1993: 823]. Между тем в литературоведческих исследованиях понятия «фэнтези» и «научная фантастика», как правило, разграничиваются [Sanders 1973; Platt 1987] и даже противопоставляются [Kroeber 1988].

В русском же языке «фэнтези» появляется на рубеже XX–XXI вв. как лексический неологизм — несклоняемое существительное, которое теперь соседствует с давно пришедшим из греческого и склоняемым «фантазия». О его кодификации говорить пока сложно, поскольку слово не зафиксировано ни в толковых словарях В.В. Лопатина, Л.Е. Лопатиной (1998), Г.Н. Складневской (1999), С.А. Кузнецова (1998),

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (1999), ни в «Большом словаре иностранных слов» А.Ю. Москвина (2003). Преобладает вариант «фэнтези», однако, например, автор диссертации по произведениям данного жанра предпочитает написание «фэнтази» [Штейман 2000: 4]. При опросе 38 студентов-лингвистов 3 и 4 курса университета «Дубна» (2006) выяснилось, что написание *фэнтези* предпочли более половины лингвистов 4 курса и треть лингвистов 3 курса. Вариант *фэнтэзи* выбрали около 15% лингвистов 4 курса и треть лингвистов 3 курса (при этом один из информантов апеллировал к правилам транслитерации). Написание *фэнтази*, которое выбрала М.А. Штейман, предпочли 27% лингвистов 4 курса и 16% лингвистов 3 курса; у 16% третьекурсниц встретилось *фентези*, в то время как у лингвистов 4 курса такое написание отсутствовало. Такой разброс трудно объяснить низкой грамотностью информантов, поскольку они хорошо знают и русский, и английский языки; скорее, он свидетельствует о том, что правописание объективно еще не устоялось.

Грамматически слово также не вполне определилось: в изданиях одного и того же года оно употребляется как существительное то среднего [Кураев 2004], то женского рода [Кравцова 2004]. Средний род всё же преобладает: «неформатное фэнтези» («Взгляд», 22 февр. 2006 г.), «героическое фэнтези», «эпическое фэнтези», «игровое фэнтези» (классификация, предложенная на сайте «Портал фэнтези и фантастики»: <http://enfor.net>).

При этом *фэнтези* уже породило такие производные, как *фэнтезийный* [Кравцова 2004: 6, 114], *мнимофэнтезийный* [Ремизова 2006], *фэнтезист* — писатель, работающий в жанре фэнтези и отличный от *фантаста*, пишущего научную фантастику [Кравцова 2004: 186], *фэнтези-расы* — типы персонажей, характерных для данного жанра (enrof.net). Появление словообразовательных возможностей у заимствованного слова с окончанием на гласную (то есть теоретически непродуктивного как производящая основа) объясняется его коммуникативной актуальностью и престижностью. Популярность жанра привела к тому, что издатели, явно в рекламных целях, анонсируют как «фэнтези» произведения, не имеющие к этому жанру никакого отношения — например, политическую утопию [Краснов 2002].

Названной выше группе студентов-лингвистов было предложено дать жанру фэнтези свое определение. Подавляющее большинство полученных ответов повторяет друг друга: «описание нереальных событий и персонажей» (варианты: «изображение несуществующих созданий»; «в основе сюжета — вымышленные ситуации»; «жанр, в котором описываются нереальные, выдуманные события», «то, чего не может случиться в обычной жизни» и т. п.). Нет нужды доказывать,

что в этом аспекте не существует принципиальной разницы между фэнтези и, скажем, реалистическим романом. Так, Пушкин в «Капитанской дочке» не просто описывал вымышленных персонажей и вымышленные ситуации, но и прекрасно знал (как автор «Истории Пугачева»), что в реальности такие ситуации были невозможны. Однако приведенное определение, при всей своей неудачности, подводит нас к проблеме «фэнтези и правда жизни», «фэнтези и истина». А эта проблема получает подчас весьма оригинальное языковое воплощение.

В публицистике, позиционирующей себя в качестве православной, жанру фэнтези регулярно предъявляются обвинения в антихристианской направленности. Среди этих обвинений выделяется мнение, согласно которому писатель «обращается к сказке, фантазии потому, что ему не нравится, как Бог все устроил здесь» [Кравцова 2004: 122]. Иначе говоря, околоцерковные публицисты видят в жанре фэнтези изначальный порок: произведения этого жанра уводят читателя от реальных проблем и обязанностей в выдуманный мир.

Такая же оценка оказалась преобладающей и среди упомянутых выше студентов. Вопреки распространенному мнению, согласно которому молодежь любит фэнтези, многие участники опроса отвечали примерно так: «Это сказки для взрослых, способ уйти от реальности»; «Создаются людьми, у которых богатое воображение и нет желания жить в настоящем мире»; «Полная чушь, которая интересна людям с нездоровым восприятием мира, имеющим какие-либо комплексы»; «Людам хочется сказки, они хотят забыть на какое-то время про каждодневную рутину, про обязанности и рамки, в которых они живут».

Эта моралистическая оценка жанра согласуется с критическим отношением к фантазии как таковой. Как выяснилось, подобное отношение среди информантов преобладает. На предложение дать к слову *фантазия* метафору откликнулись лишь двое студенток. У обеих эти метафоры выражают скептическое или снисходительное отношение к данному явлению: «Нечто огромное, разноцветное, с всевозможными мелкими мудреными детальками — бантиками, ленточками, бусинками»; «Фантазия похожа на сладкий сон, который видит усталый путник во время короткого отдыха». Большинство информантов ограничилось сугубо нейтральными ответами («это способность человека создавать нереальные образы»), а примерно 25% опрошенных отозвались о фантазии негативно: «Очень часто люди фантазируют от скуки, ради забавы, смеха или просто от безысходности»; «В фантазиях человек реализует свои несбыточные мечты, бредовые идеи». И только один ответ содержал развернутую характеристику фантазии как созидательной силы: «Фантазия — способность человека творить и — это даже важнее — осмыслять реальность, себя в мире и так да-

лее. Фантазия, наверно, проявление души, божественного вдохновения. То живое, что есть в человеке и, увы, может в нем умереть».

Православные неофиты отличаются от опрошенных студентов в другом отношении: их тексты нередко свидетельствуют о вере в реальное существование персонажей фэнтези. Например: «Герои Толкиена — очередная нелюдь, гномы, хоббиты. Как будто бы им присуще стремление к добру, как будто бы они могут ненавидеть то, что их породило» [Богушева 2002: 77]; «Все эти хоббиты-недочеловеки вместе с магом Гэндальфом пойдут в ад!» [Кравцова 2004: 83]. «Толкиенисты отдыхают, — комментирует известный богослов. — Такой яркой веры в реальное существование хоббитов нет даже в их среде. А тут так прямо сказано: хоббиты существуют, и порождены они сатаной. А не писателем по имени Толкиен» [Кураев 2004: 35]. Споры о фэнтези, развернувшиеся на электронных форумах, свидетельствуют о достаточном количестве людей, в принципе не различающих реальность и фантазию; по мнению комментатора, «в наше время это просто стихийное бедствие» [Кравцова 2004: 191].

Среди православных публицистов защитником фэнтези выступил диакон А. Кураев: «Здорово, что у нас есть книги такого жанра, как у Юлии Вознесенской, своего рода „православное фэнтези“»¹ [Кураев 2004а: 208]. При этом он имел в виду повесть Ю.Н. Вознесенской «Мои посмертные приключения», однако в названном жанре более известна романная дилогия того же автора «Путь Кассандры, или Приключения с макаронами» и «Паломничество Ланселота». Примечательно, что в рецензии на первую часть дилогии проблема «фантазия и правда» решается своеобразно: утверждается, что в этом «романе-фэнтези» нет «ничего выдуманного, нафантазированного» [Павликова 2004: 693]. Поскольку действие романа происходит в середине XXI в., причем в годы правления Антихриста, фантазийная природа сюжета очевидна. И всё же критик оценивает историю Кассандры как «невыдуманную» — на том основании, что «о событиях последних времен перед Страшным Судом Юлия Вознесенская пишет, опираясь на учение святых отцов, на Священное Писание и Предание Церкви» [Павликова 2004: 694]. Между тем ни у святых отцов, ни в Священном Писании, ни в Предании Церкви ничего не говорится о животных-мутантах, компьютерных играх или создании армии клонов (мотивы, весьма важные для сюжета дилогии о Кассандре и Ланселоте). Характери-

¹ Любопытно, что выражение «православное фэнтези» как обозначение жанровой разновидности употребляется и другими авторами, однако никто не определяет «Хроники Нарнии» как «англиканское фэнтези» и «Властелина колец» как «католическое фэнтези».

стика данного фэнтези как правдивого (то есть верного критериям истинности, которые для писателя и критика воплощены в Писании и Предании) была вызвана, видимо, не изображением реалий, а заданной в романе оценкой человеческих стремлений: истинно всё, что приводит к Христу, ложно всё, что приводит к Антихристу.

Проблема «фантазия и правда» обсуждается и в самой диалогии Вознесенской. Проводя основную часть своей жизни за компьютерными играми, люди будущего именуют свой виртуальный мир *Реальностью*; соответственно, их *реальными именами* называются вымышленные имена, под которыми они входят в игру. Такова у Вознесенской часть «новояза», на котором общаются в государстве Антихриста. *Реальности* в языке персонажей «Кассандры» противопоставлена *действительность*, под которой понимается их настоящая жизнь. Например: *Разве вы не знаете, что иногда люди влюбляются в Реальности, а затем женятся в действительности?* [Вознесенская 2004: 62]. Внутри компьютерной Реальности, в свою очередь, противопоставлены две категории виртуальных существ: *персоны* и *фантомы*. Плодом фантазии являются и те, и другие, но природа фантазии разная. Персоны (дракон Фафнир, единорог Индрик и волшебник Мерлин) порождены фантазией Средневековья, то есть «настоящей», не массовой культурой: *Мы ведь не выдуманные — мы сказочные. А родились мы из настоящих старых книг* [Там же: 176]. Они живут самостоятельной жизнью и способны появляться в игре без вызова игрока. По контрасту, *фантомы* (например, мальчики-герольды в виртуальном замке короля Артура) созданы программистами середины XXI в., то есть людьми, чье сознание искажено печатью Антихриста, и живут столько времени, сколько оплатит пользователь компьютера.

Бабушка главной героини не входит в этот виртуальный мир, потому что, по словам Мерлина, *знает правду: не человек управляет Реальностью, а она управляет им* [Там же: 177]. Сама же героиня в начале романа убеждена в противоположном: *В Реальности, которую человек для себя избирает и изменяет по своему желанию, он как раз и выявляет свою сущность* [Там же: 151]. По ходу действия Кассандра видит, что свое подлинное «я» она обретает, лишь отказавшись от компьютерной реальности. При этом обыденная жизнь противопоставлена придуманной как более увлекательная, героическая и романтическая: *...кормить живых куриц интереснее, чем пленять драконов* [Там же: 182]. Второй роман диалогии разрушает ту грань между виртуальным и действительным миром, которая была подчеркнута и, можно сказать, завоевана в первом. Сбывается предсказание Мерлина: *То, что вы называете Реальностью, реально гораздо более, чем вы предполагаете* [Там же: 177]. Монстры, впервые встреченные ге-

роями в Реальности, затем нападают на них в мире действительном: компьютерная фантазия обретает плоть и способность пожрать своего создателя.

Взаимоотношения фантазии с правдой жизни подробно обсуждаются в эссе Дж.Р.Р. Толкиена «О волшебных сказках» (1938–1939), созданном в начальный период работы над «Властелином колец». Однако о фэнтези как особом жанре здесь ничего не говорится: речь идет о фантазии как человеческой способности, роднящей его с Творцом, и о волшебных историях (fairy-tales). При этом автор не делает особых различий между мифологией, народной сказкой и авторской сказочной повестью; ему важны не генезис и жанровые различия историй о волшебстве, а характер порождаемых ими эстетических и душевных переживаний. Характерной чертой, «клеймом» подлинной волшебной истории Толкиен считает особого рода радость, которая связана с «эвкатастрофой» и сродни катарсису; в ней писатель видит «эхо Евангелия в реальном мире» [Толкин 1994: 436]. В данном случае Толкиен употребил слово *evangelium*, а не *Gospel* [Tolkien 1966: 71], поскольку ему было важно буквальное значение: *благовествование*. «Благовествование не искоренило, а осватило легенды, в особенности счастливую концовку» [Толкин 1994: 438]. Радость волшебных историй (т.е. мира, порожденного фантазией) «пахнет истиной первичного мира», явленной в истории Христа [Там же: 436]. Согласно этой концепции, способность творить вторичные миры может быть так же очищена и преображена, как и другие способности искупленного Спасителем человека; в таком случае «Фантазия действительно помогает расцвету и многократному обогащению мироздания» [Там же: 438].

Проблема взаимоотношений фантазии и истины, причем Истины в христианском понимании, обсуждалась творцами жанра фэнтези и до создания их главных произведений. В 1931 г. Толкиен и Льюис, прогуливаясь по Оксфорду, рассуждали о значении мифов. Толкиен указал другу, что тот не логичен: в языческой мифологии его трогает идея умирающего и воскресающего бога, а в Евангелии он ее не принимает.

— Но ведь мифы — ложь, пусть даже ложь посеребрянная, — возражал Льюис.

— Нет, — ответил Толкин, — мифы — не ложь. <...> Ты называешь дерево деревом <...>, не особенно задумываясь над этим словом. Но ведь оно не было «деревом», пока кто-то не дал ему это имя. Ты называешь звезду звездой и говоришь, что это всего лишь огромный шар материи, движущийся по математически заданной орбите. Но это всего лишь то, как *ты* ее видишь. Давая вещам названия и описывая их, ты всего лишь выдумываешь собственные термины для этих вещей. Так вот, подобно тому, как речь — это то, что мы выдумали о предметах

и идеях, точно так же миф — это то, что мы выдумали об истине. Мы — от Господа <...>, и потому, хотя мифы, сотканные нами, неизбежно содержат заблуждения, они в то же время отражают преломленный луч истинного света, извечной истины, пребывающей с Господом. <...> Наши мифы могут заблуждаться, но тем не менее они, хотя и непрямыми путями, направляются в истинную гавань <...>.

— Вы хотите сказать, — уточнил Льюис, — что история Христа — попросту истинный миф, миф, который <...> произошел на самом деле? Тогда, — сказал он, — я начинаю понимать...» [Карпентер 2002: 230–231].

Выражая веру во внутреннюю истинность фантазии, породившей миф, Толкиен тем самым предъявил основу своей авторской философии, на которой держатся его собственные произведения. Льюис признавал, что именно этот разговор подтолкнул его к принятию христианства [Там же: 231]; как известно, всё свое дальнейшее творчество (в разных жанрах, в том числе и фэнтези) он посвятил проповеди о Христе. И это, пожалуй, самый яркий в истории литературы пример того, как оправдание фантазии ведет к служению Истине.

ЛИТЕРАТУРА

- Богушева 2002 — *Богушева Е.* Чем бы дитя не тешилось... М., 2002.
- Вознесенская 2004 — *Вознесенская Ю. Н.* Путь Кассандры, или Приключения с макаронами. М., 2004.
- Карпентер 2002 — *Карпентер Х.* Дж. Р. Р. Толкин: Биография. М., 2002.
- Краснов 2002 — *Краснов П. Н.* За чертополохомъ: Роман-фэнтези. М., 2002.
- Кураев 2004 — *Кураев А.*, диакон. Гарри Поттер: попытка не испугаться. М., 2004.
- Кураев 2004а — *Кураев А.*, диакон. Церковь и молодежь: неизбежен ли конфликт? СПб., 2004.
- Павликова 2004 — *Павликова Е. А.* Жажда истины и отвага // *Вознесенская Ю. Н.* Путь Кассандры, или Приключения с макаронами. М., 2004.
- Ремизова 2006 — *Ремизова М.* Игры с огнем // Новый мир. 2006. № 6.
- Словарь 2005 — Словарь литературоведческих терминов / Под ред. С. П. Белокуровой. М., 2005.
- Толкин 1994 — *Толкин Дж. Р. Р.* Приключения Тома Бомбадила и другие истории: Сборник. СПб., 1994.
- Штейман 2000 — *Штейман М. А.* Поэтика английской иносказательной прозы XX века (Дж. Р. Р. Толкиен и К. С. Льюис). Автореф. дис.... канд. филол. наук. М., 2000.
- Hartwell 1988 — *Hartwell D. G.* Introduction // *Masterpieces of fantasy and enchantment / Comp. By David G. Hartwell.* New York, 1988.

-
- Kroeber 1988 — *Kroeber K.* Romantic fantasy and science fiction. New Haven; London, 1988.
- Platt 1987 — *Platt Ch.* Dream makes: Science fiction and fantasy writers at work. London, 1987.
- Sanders 1973 — *Sanders T. E.* Speculations: An introduction to literature through fantasy and science fiction. N. Y., 1973.
- Tolkien 1966 — *Tolkien J. R. R.* Tree and Leaf. Boston, 1966.

ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТА В ДИСКУРСЕ НОВОЙ ВОЛНЫ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ ФАНТАСТИКИ

В работе предпринимается попытка рассмотреть специфику видения человека, его сознания и ориентации в мире в художественном дискурсе Новой волны англо-американской фантастики. Под Новой волной традиционно понимается примерно двадцатилетний период научно-фантастической литературы, начавшийся в пятидесятые-шестидесятые годы двадцатого века с появлением произведений А. Бестера, Т. Старджона, Т. Диша, Б. Олдисса, Р. Желязны, С. Дилени, Ф. Дика, Н. Спинрада и многих других авторов [Реликтов 1992].

Специфика научной фантастики (термин условен и означает лишь наличие в литературе некоего ирреального допущения, которое может быть мотивировано с позиций науки — в отличие от литературы фэнтези) вообще заключается в том, что она описывает мир внешне неправдоподобных явлений с позиций условной «реальности читателя». Четкое разграничение вымышленного и реально существующего миров отличало «прежнюю» классическую фантастику Золотого века (конца девятнадцатого — начала двадцатого столетий), традиция которой была начата Г. Дж. Уэллсом и продолжена авторами, группировавшимися вокруг фигуры Дж. Кэмпбелла — одного из самых известных редакторов научно-фантастических журналов в истории литературы [Вл. Гаков 1995]. Для героя Золотого века, довоенной англо-американской фантастической литературы, представленной творчеством А. Азимова, Г. Каттнера, Э. Гамильтона и др., почти никогда не существовало вопроса о том, насколько достоверна та информация, которую он получает за счет своих органов чувств. Он действовал в рамках объективных физических законов внешнего мира, и его поведение на других планетах (Марс у Э. Берроуза или другие галактики у А. Ван-Вогта и др.) или в других временах ничем не отличалось от поведения первопроходца Африки в романах Хаггарда.

В новой же послевоенной фантастике акцент с внешнего мира переносится на мир внутренний — в пространство сознания человека. В литературе Новой волны основной становится не оппозиция «герой — мир», где герой борется с враждебным миром, а оппозиция «герой — сознание героя», в которой герой «борется» уже со своим сознанием, не может доверять ему. Отныне герой должен сражаться не с монстрами на Марсе Берроуза, а с монстрами, рожденными его собственным сознанием.

Примером может служить рассказ Р.Шекли «Призрак V», в котором газ лонгстед-42, воздействуя «непосредственно на подсознание», растормаживал «самые острые подсознательные страхи», «оживлял все то, чего ты в детстве панически боялся и что с тех пор в себе подавлял», так что герои должны были прятаться от собственных детских кошмаров: «Тенепопятам, тварь тощая, мерзкая, диковинная — прячется в дверных проемах, ночует под кроватью, нападает только в темноте» (Шекли «Призрак V» [Шекли 2002а]).

Ключевым понятием Новой волны становится проблема реальности восприятия.

Возникает вопрос об истинности той реальности, в которой находится герой: может ли он доверять своим органам чувств, уверен ли в истинности собственного восприятия? В художественном мире Новой волны исчезает противопоставление «реальное — нереальное»: теперь все, что герой наблюдает, в равной степени может существовать или не существовать. Эмпирически проверить это невозможно.

И здесь естественным образом возникает вопрос о принципах разграничения эмпирической и субъективной реальностей. Зачастую в текстах невозможно понять, где кончается восприятие героя и начинается тот самый внешний мир (например, «Координаты чудес» Шекли [Шекли 1999], «Босиком в голове» Олдисса [Aldiss 1969] и др.).

Персонажи не знают, как отличить вымысел от правды. Так, герой «Соляриса» С.Лема пытается проверить истинность реальности, реальность своего восприятия. Причем ему (в отличие от героев Ф.Дика, своими книгами наподобие «Снятся ли андроидам электроовцы» («Do androids dream of electric sheep?» [Dick 1968]) в значительной мере формировавшего анализируемый дискурс) это даже удастся (хотя само решение и не выглядит логичным — жесткий логик не владеет законами бреда). Вот его цепочка рассуждений, обладающая, однако, слабой мотивировкой, с помощью которой он пытается определить, истинна ли реальность, в которой герой пребывает: «Мозг мой может быть больным, но ни при каких обстоятельствах он не в состоянии произвести вычисления, выполненные большим калькулятором Станции, так как на это потребовалось бы много месяцев. А следовательно, если цифры совпадут, значит, большой калькулятор Станции на самом деле существует и я пользовался им в действительности, а не в бреду» (Лем, «Солярис» [Лем 2004]).

Само понятие вымысла зачастую при этом становится бессмысленным, так как невозможно четко разграничить, где кончается сознание героя (если оно кончается вообще) и начинается внешний мир. Так, в отличие от традиционного представления мира как пространства-времени («Конец вечности» Азимова) мир в Новой волне

представлен сугубо в пространстве сознания субъекта: название повести Дилени «Время как спираль из полудрагоценных камней» («Time considered as a helix of semi-precious stones» [Delany 1969]), говорит не о природе времени, как это можно было бы предположить, буквально прочитав заголовок, но о его восприятии героем, для которого время представляется как «ожерелье» из «полудрагоценных камней».

В художественном дискурсе Новой волны, в отличие от фантастики Золотого века с его «приключениями тела», акцент переносится на «приключения духа», который становится единственным объективным фактором в мире, воспринимаемом органами чувств — мире порою иллюзорном, порою бредовом — и множественном, благо зависит он от множества восприятий, каждое из которых истинно лишь для одного субъекта.

Так, в повести Р.Шекли «Координаты чудес» описывается ситуация, при которой один герой уверен, что сидит с приятелями «в номере 2212 отеля «Шератон-Хилтон». Другой же уверен, что в это же время идет над обрывом, а его собеседник «сидит за столом, стоящим на доске, которая перекинута через ущелье, на планете под названием Гармония» [Шекли 1999].

Таким образом, в художественной реальности Новой волны мир существует только в сознании героя и приобретает все черты, которыми характеризуется человеческое «я». Это уже не я-деятель, а я-самосознание, мечущееся в попытках найти истинную реальность. Однако само «я», вставшее на пороге всеотрицания, солипсизма, также изменяется. Оно приобретает новые качества. Восприятие становится синестетичным («Тигр! Тигр!» А.Бестера [Бестер 1989a]), активно входят в литературу телепаты (его же «Человек без лица» [Бестер 1989b]), «Умирая в себе» Р.Силвеберга и др.), люди, сросшиеся с машиной, — видящие мир по-другому.

Изменение «я» идет по двум направлениям: усложнение («ступенька вверх») и деградация («ступенька вниз») относительно нормы, под которой понимается т.н. «обыденное сознание», т.е. разум человека, не наделенный сверхвосприятием и не разрушающийся или затуманенный. Усложнение сознания героя может идти двумя путями: «техническим» (киборги — люди-машины) и «органическим» — с помощью модификаторов — наркотиков и им подобных веществ, поднимающих героя на новые уровни восприятия.

Описание такого изменения сознания находим в рассказе Шекли «Через пищевод и в космос с Тантрой, мантрой и крапчатыми колесами» [Шекли 2002b].

Рассказ начинается с разговора двух персонажей:

«— Но у меня действительно будут галлюцинации (после приема ЛСД. — А. О.)? — спросил Грегори. — Я уже говорил, что гарантирую это, — ответил Блэйк» [Шекли 2002b].

В финале рассказа выясняется, однако, что вышеприведенный диалог и был такой галлюцинацией. Под действием наркотика некие существа Блэйк и Грегори приняли себя за людей: «— Переход в иллюзию часто бывает незаметен — подтвердил Блэйк. — Ты будто вскальзываешь туда, а потом вскальзываешь обратно. И что же случится теперь?

Грегори завернул сегментарный хвост кольцом, расслабил щупальце и огляделся <...>. — Теперь я вернулся к обычному состоянию. А вы считаете, что галлюцинации должны продолжаться?

— Как я уже говорил, я гарантирую это, — произнес Блэйк, изящно складывая глянцевиные красные крылья и поудобней устраниваясь в углу гнезда» [Там же].

Фраза «Переход в иллюзию часто бывает незаметен» чрезвычайно показательна: она идеально характеризует ощущение как героя, так и читателя Новой волны, теряющегося в калейдоскопе реальностей без возможности остановиться на какой-нибудь из них, посчитав ее истинной, точкой отсчета.

Также в фантастическом дискурсе Новой волны «я» героя может дробиться на множество личностей («Мир дней» Ф. Фармера [Фармер 1995]) или просто разрушаться («Потихоньку деградируя» Р. Силвеберга [Силвеберг 1992] или «Убийственный Фаренгейт» А. Бестера [Бестер 1989b]).

И, наконец, сознание героя может просто умереть. Это не смерть героя в мире, мира вне героя больше нет, а смерть именно сознания, влекущая за собой и гибель мира. Такой процесс описан в рассказе М. Муркока «Руины»:

«Как возникли развалины?

Он совершенно этого не помнил.

Солнце и небо пропали, остались только развалины и свет.

Ему показалось, что невидимая волна смывает остатки его личности.

Мэл-дун, мэл-дун, мэл-дун.

Развалины в прошлом, в настоящем, в будущем.

Он поглощал развалины, а они — его. Они вместе с ним уходили навсегда, ибо горизонт исчез.

Рассудок мог бы покрыть развалины, но рассудка больше не существовало.

Вскоре не осталось и развалин» (Майкл Муркок, «Развалины» [Муркок 1992b]).

Частое повторение имени — мэл-дун, в звучании второго слога которого слышны отголоски похоронного колокола, — обесмысливает его, не только как бы разъединяя личность героя, но и уничтожая ее.

В художественной реальности Новой волны мир предстает как функция от «я» героя и полностью повторяет возможные пути эволюции «я»: «ступеньки вверх» и «вниз». Мир может усложняться и углубляться, включая новые уровни реальности. В Новой волне популярным становится образ параллельных вселенных — «Отчет о вероятности Эй» Б. Олдисса [Олдисс 2000]), в романах Р. Желязны речь идет о возникновении божества — («Доннерджек», «Князь света» и др.). Но мир может и деградировать, распадаясь на отдельные вырождающиеся участки реальности, поддерживаемые сознанием одного человека. Так, в рассказе-притче «Одинокое песни Ларена Дора» Дж. Мартина главная героиня Шарра, воплощающая архетип странничества и связи миров «сквозь невидимые Врата, обессиленная и окровавленная» врывается в изолированный, персональный «мир Ларена Дора» [Мартин 1999]. Сходная ситуация представлена и в рассказе «Иззи и отец страха» Э. Финтушела [Финтушел 1998], только здесь отдельные островки реальности связаны не с сознанием конкретного человека, а являются следствием глобальной катастрофы. И, наконец, мир может просто умирать, «подражая» герою («Развалины» Муркока).

В текстах Новой волны при обостренном восприятии иллюзорности мира особую роль начинают играть некоторые слова, характеризующие ее концептуальную сферу: это и «бред» (уже звучавший в примерах), и «мираж» («Золотая ладья» Муркока [Муркок 1992а], в которой заглавный образ золотой ладьи, за которой стремится герой, является именно таким личным миражом), и даже «глюк» — если адекватно переводить многие рассказы и повести, посвященные наркотическому воздействию на сознание главного героя — то же «Время как спираль...» С. Дилени. Именно эти слова передают связь мира и героя: в художественной реальности Новой волны мир иллюзорен, но в значительной степени его иллюзорность зависит от восприятия субъекта. Как правило, герой от убежденности в объективном бытовании мира в итоге приходит к осознанию его иллюзорности.

Для Новой волны, «не доверяющей» чувствам героя, зачастую остается один объективный фактор — язык. Восприятие мира опосредовано именно им, именно в нем для героев Новой волны выражается сознание. Это породило интерес к языку как инструменту познания реальности, сделало возможным сюжеты, в которых изменение языка влекло за собой изменение сознания и мира («Вавилон-17» С. Дилени [Дилени 2002а]), а в конечном счете, актуализировало для литературы теории Сепира-Уорфа и Гумбольдта. Наше представление о мире

обусловлено языком. Но если мир подвижен, не является константой, то язык становится чуть ли не единственной реальностью восприятия — этого ключевого понятия Новой волны.

Именно через язык субъекта читатель зачастую воспринимает сам мир произведений Новой волны. Так, заголовки многих ее произведений на первый взгляд абсолютно непонятны. Названия как бы порождены самим героем. Мы намеренно приводим в данном и нескольких последующих случаях оригинальные названия произведений, так как синтаксическая и смысловая усложненность их заголовков призвана подчеркнуть неоднозначность внутритекстового пространства, трудность разграничения истины и вымысла.

«Темнота и крик. Ее крик» [Дилени 2002b] Дилени, его же «Движение света в воде: секс и научная фантастика в Ист-Вилледж» («The motion of light in water: sex and science fiction in east village» [Delany 1988]), «У меня нет губ, а я должен кричать» («I have no mouth & I must scream») Харлана Эллисона [Ellison 1983], уже упоминавшаяся в русском переводе книга Б.Олдисса «Босоногий в голове: европейская фантазия» (русский перевод — «Босиком в голове») («Barefoot in the head: a European fantasia» [Aldiss 1969]), сборник рассказов Т.Старджона «Ужас мой велик, а с младенцем будет трое» («...And my fear is greet / Baby is three») [Sturgeon 1965] и т. д. Их смысл раскрывается через восприятие героем мира, когда фразы наподобие «Темнота и крик» становятся наполнены — сначала для героя, а потом и для читателя — страшным смыслом. Такого приема классическая литература, не испытывавшая проблем с миром и бредом, не знала: «Война и мир», «Домби и сын» не требуют «пояснений» героя.

Личность героя определяет не только мир, в котором он существует, но и сам текст, этот мир описывающий. Принцип «ступенек» применим, тем самым, и к организации текстового пространства. «Ступенькой вверх» для текста является усложнение его структуры, призванное отобразить усложнение личности персонажа (синестезию или телепатию), приобретение им нового качества (экстрасенсорика и т. д.). Это зачастую находит в текстах Новой волны формальное выражение. Диалоги телепатов из романа А.Бестера «Человек без лица» графически организованы специфическим образом: реплики каждого из участников полилога выстроены «столбиком», при возникновении же общих тем такие мысли-колонки пересекаются, образуя «плетенку» (термин Бестера).

Трудно назвать автора, который не использовал бы различные шрифты и курсивные написания для подчеркивания особых способностей или состояний своих героев.

Состояние личности на ее пути к разрушению («ступенька вниз») — это фрагментарность многих текстов Новой волны, невозможность

восстановления смысловых пробелов между абзацами, немотивированное употребление строчных и прописных букв.

Последняя стадия — стадия абсолютного разрушения сознания и мира — при всей очевидной трудности воплощения этого процесса также находит свое выражение. Так в очерке С. Лема «Ничто, или последовательность» этот процесс представлен через персонализацию языка и его угасание: «Язык сам начинает подозревать, а затем понимать, что никого, кроме него, нет, что, имея значение (если он имеет) для любого, для всех, он поэтому не является, никогда не был и не мог быть выражением личности...». Он, «отрезанный сразу от всех уст, как оболочка воздушного шара, упругая и крепкая, из которой незаметно все быстрее выходит воздух, начинает съезживаться». Лем так передает эту агонию: «...еще на несколько страниц, еще на несколько минут хватает механизмов грамматики, жерновов существительных, шестерней синтаксиса, мелющих все медленнее, но до конца точно... небытие, которое разъедает их насквозь... — и так все заканчивается, вполфразы, вполслова... Этот роман не кончается, он прекращается». «Язык, еще на первых страницах простодушно верящий в свою независимость, осознав, что являет собою связь небытия с бытием, в итоге сам от себя самоубийственно отрекается» (С. Лем, «Ничто, или последовательность» [Лем 2003]).

Разрушив текст и его мир, Новая волна, в конечном счете, органично подошла к методологии и философии постмодерна с его ощущением абсурдности бытия, явившись своеобразной научно-фантастической предтечей этого метода.

Современная же западная научная фантастика, отринув даже киберпанк с его акцентом на виртуальную реальность — это «послевкусие» Новой волны, как результат возвращается к сверхтвердым жанровым формам наподобие фэнтези или «hard-hard science fiction», где вопрос об иллюзорности мира уже не стоит.

ЛИТЕРАТУРА

- Бестер 1989a — Бестер А. Тигр! Тигр! // Бестер А. Тигр! Тигр! Человек без лица. Рассказы. М., 1989.
- Бестер 1989b — Бестер А. Человек без лица // Бестер А. Тигр! Тигр! Человек без лица. Рассказы. М., 1989.
- Вл. Гаков 1995 — Энциклопедия фантастики / Под ред. Вл. Гакова. Минск, 1995.
- Дилени 2002a — Дилени С. Вавилон-17 // Дилени С. Вавилон-17. М., 2002.
- Дилени 2002b — Дилени С. Темнота и крик. Ее крик // Дилени С. Вавилон-17. М., 2002.

- Лем 2003 — *Лем С. Ничто или последовательность // Лем С. Библиотека XXI века. М., 2005.*
- Лем 2004 — *Лем С. Солярис. М., 2004.*
- Мартин 1999 — *Мартин Дж. Одинокие песни Ларена Дора // Если. 1999. № 4.*
- Муркок 1992а — *Муркок М. Золотая ладья // Муркок М. Призрачный город. М., 1992.*
- Муркок 1992б — *Муркок М. Развалины // Муркок М. Призрачный город. М., 1992.*
- Олдисс 2000 — *Олдисс Б. Босиком в голове. М., 2000.*
- Реликтов 1992 — *Реликтов В. «Новая волна»: конец детства научной фантастики? // Смерть Вселенной. СПб., 1992.*
- Силвеберг 1992. *Силвеберг Р. Потихоньку деградируя // Смерть Вселенной. СПб., 1992.*
- Фармер 1995 — *Фармер Ф. Мир дней: В 2 т. М., 1995.*
- Финтушел 1998 — *Финтушел Э. Иззи и отец страха // Если. 1998. № 3.*
- Шекли 1999 — *Шекли Р. Координаты чудес. М., 1999.*
- Шекли 2002а — *Шекли Р. Призрак V // Шекли Р. Паломничество на Землю. М., 2002.*
- Шекли 2002б — *Шекли Р. Через пищевод и в космос с тантрой, мантрой и крапчатыми колесами // Шекли Р. Паломничество на Землю. М., 2002.*
- Aldiss 1969 — *Aldiss B. Barefoot in the head: a European fantasia. London, 1969.*
- Delany 1969 — *Delany S. Time considered as a helix of semi-precious stones. London, 1969.*
- Delany 1988 — *Delany S. The motion of light in water: sex and science fiction in east village. London, 1988.*
- Dick Ph. 1968 — *Dick Ph. Do androids dream of electric sheep? London, 1968.*
- Ellison 1983 — *Ellison H. I have no mouth & I must scream. London, 1983.*
- Sturgeon 1965 — *Sturgeon R. ...And my fear is greet / Baby is three. London, 1965.*

В. И. ШАХОВСКИЙ, С. С. ТАХТАРОВА

МЕЙОТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ИСТИНЫ

Какой смысл лгать, если того же результата можно добиться, тщательно дозируя правду?

У. Форстер

Несмотря на то, что изучение истины имеет глубокие исторические корни, проблемы ее понимания, верификации, соотношения истины и правды, истины и лжи на сегодняшний день относятся к наиболее актуальным в современной лингвистике. Точки зрения разных языковых личностей на одно и то же событие, факт, явление редко совпадают полностью. Истинным каждому из нас представляется только наш взгляд, наше восприятие и понимание, наша интерпретация действительности. Особый интерес представляют в данной связи случаи намеренного отклонения от истины в речевом общении, изучение причин подобных отклонений, речевых стратегий и языковых средств, с помощью которых говорящий может уклоняться от истины в своих высказываниях.

Известно, что в реальном общении объективная истина зачастую оказывается неуместной, нерелевантной, не соответствующей конкретным целям говорящего. «Истина живет в постоянной борьбе... Ее враг не только прагматика земного бытия, но и прагматика повседневного общения между людьми» [Арутюнова 1998: 595]. Это особенно ярко проявляется в тех ситуациях, когда говорящему приходится сообщать неприятную для адресата информацию, критиковать собеседника. В этих случаях перед адресантом встает дилемма — сохранять объективность и оставаться верным истине или пожертвовать последней ради сохранения добрых отношений с партнером по общению. Одним из основных принципов общения, если не самым важным, является установка на общую благожелательность речевого контакта. Е. А. Земская, определяя понятие коммуникативной неудачи, справедливо отмечает, что к последним относится не только неосуществление коммуникативного намерения гово-

рящего, но и «...возникающий в процессе общения нежелательный эмоциональный эффект» [Земская 2004: 602].

Стратегии вежливости во многом обеспечивают эффективность коммуникативных усилий адресанта при реализации своих интенций, так как зачастую именно соблюдение максим вежливости позволяет говорящему создать и сохранить позитивный настрой в вербальной интеракции. Принцип вежливости обязывает говорящих стремиться к нормативной положительности в коммуникации, избегая конфликтных ситуаций. Этикетизация, как одна из форм нормирования речевого общения, «основана на выборе той коммуникативной истины, которая более приятна для собеседника» [Почепцов 1987: 18]. Здесь, как нам представляется, речь идет о ставшей традиционной в лингвистической литературе дихотомии истины, как абсолюта, отнесенного к Божественному миру, и правды, как отражения истины в человеке. В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что правда, в отличие от истины, вариативна, субъективна, амбивалентна и градуирована. Давая оценку какому-либо факту, говорящий вынужден учитывать не только и не столько фактор истинности своих оценок, сколько реакцию собеседника на способ вербализации последних. Говорение правды регулируется этическими принципами говорящего субъекта, и в первую очередь представлениями о том, что и в какой форме можно говорить другому человеку и при каких обстоятельствах. В соответствии с этим говорящим выбирается та «доля» правды, которая в данной, конкретной ситуации общения будет уместна. Как справедливо замечает Т.Г.Винокур, «существует житейская мудрость, согласно которой в беседе, не предполагающей различия прагматических последствий истинности или ложности высказывания, адресант должен говорить то, чего ожидает от него адресат, а говорить так, как хотелось бы адресату» [Винокур 2005: 136]. Таким образом, градация правды в этически нормативном общении оказывается адресатно ориентированной, т.е. определяющим при языковом выборе репрезентации оценок будет тот, кому дается оценка. Поэтому вышеназванная дилемма решается чаще всего в пользу отклонения от истины объективной, логической. И в этом случае говорящий прибегает, как правило, к мейозису. Мейозис трактуется нами как лингво-прагматическая категория, составляющими признаками которой в семантическом плане является деинтенсификация оценочных характеристик предмета речи, а в прагматическом — избегание категоричности в высказывании, что служит оптимизации речевого контакта.

При этом мейозис понимается нами достаточно широко, как любое ослабление оценочных характеристик предмета речи, как положительных, так и отрицательных. Мейозис используется не для того,

чтобы обмануть адресата, а с целью усилить впечатление при помощи сдержанности.

Следует отметить, что мейотическое преуменьшение необходимо отличать от гиперболического. В большинстве трактовок мейозиса, как отечественных, так и зарубежных, происходит смешение этих двух явлений. Мы полагаем, что примеры типа «в двух шагах», «рукой подать», «ниже тоненькой былиночки» и проч., приводимые в словарных статьях как иллюстрации мейозиса, являются по сути гиперболой, усиливающей признак малого (расстояния, высоты). Мейозис и гипербола различаются не только в содержательном плане, но и в прагматическом, так как интенции говорящих, использующих мейотические или гиперболические знаки, диаметрально противоположны. Функция гиперболы заключается в оценочной интенсификации, а мейозис используется говорящими в целях ослабления категоричности своих оценок.

Поэтому нам представляется более верным определять мейозис в терминах ослабления или деинтенсификации, снижения категоричности оценок. Специфической структурно-семантической разновидностью мейозиса является литота, или отрицание признака, несвойственного объекту номинации, то есть своего рода отрицание отрицания, дающее в итоге формально равнозначное положительному, но фактически ослабленное утверждение:

— Хорошо бы, — просто сказал Попов. — Неохота сидеть, ну ее к черту. Немолодой уже [Шукшин, 5, 88].

Du bist etwas unbeherrscht, mein Kind", war alles, was Tante Klärchen zu sagen hatte [Sanders, 164].

Как отмечает Н. Д. Арутюнова, формы *не глуп* и *не умен* указывают на то же соотношение признаков, что *умен* и *глуп*, но в смягченном виде. При отсутствии оценочных коннотаций выбор отрицательной формы подчинен семантической цели — уточнению меры признака; при наличии оценки (особенно негативной) выбор отрицательной формы отвечает прагматической задаче — желанию избежать категоричности утверждения, смягчить оценку [Арутюнова 1988: 251].

Психологическая сущность мейозиса по сравнению с гиперболой оказывается более сложной и утонченной. Если гипербола представляет собой непосредственное, незавуалированное выражение эмоций, то для понимания мейозиса необходимы определенные ментальные операции со стороны адресата. Коммуникативные импликатуры, представляющие собой отклонения от предполагаемой оценки предмета речи ради соблюдения основных принципов общения, играют особую роль в мейотически маркированной коммуникации. «Общение на уровне импликатур — это более престижный вид вербальной комму-

никации, поскольку для понимания многих импликатур адресат должен располагать соответствующим уровнем интеллектуального развития» [Богданов 1984: 21]. Говорящий, давая мейотическую характеристику предмету речи, доверяет способности адресата учесть несоответствие между тем, что говорится о предмете, и тем, что этот предмет представляет собой в действительности, адекватно интерпретировать намеренную сдержанность оценок. Используя мейозис, говорящий повышает в глазах адресата и свой статус как коммуникативно компетентного собеседника, так и статус адресата. Данную особенность мейозиса мы определяем термином **глорификация** или повышение самооценки коммуникантов. Таким образом, мейозис, с нашей точки зрения, — это не обман, а особая форма правды, коммуникативно и адресатно обусловленная. Это смягченная правда в интересах собеседника. Интенцию адресанта в ситуации мейотической коммуникации можно сформулировать так: «Я понимаю, что мое утверждение о предмете речи не совсем истинно, но для меня важнее сохранить хорошие отношения с собеседником, поэтому я выбираю более мягкую формулировку в надежде, что он поймет и поддержит мою оценку».

Как уже упоминалось выше, использование мейотических средств в коммуникации детерминировано принципом вежливости. Мейозис тесно связан с базисным понятием вежливости — понятием лица, введенным Е.Гофманом. Лицо или имидж коммуникантов играют важную, если не решающую роль в речевом взаимодействии. Именно угроза «потери лица» одним из коммуникантов вынуждает всех участников коммуникации действовать в соответствии с правилами этически нормативного, уместного речевого поведения в условиях кооперативного общения. Оценочные речевые акты, в которых субъект оценки дает положительную или отрицательную характеристику самому себе или адресату, относятся, как правило, к «ликоущемляющим» (face threatening act), так как в них нарушаются принципы негативной, дистанцирующей вежливости. Поэтому в таких ситуациях говорящий выбирает мейотическую оценку сообщаемого, руководствуясь следующими максимами вежливости:

1) максимой одобрения, обязывающей говорящего избегать в общении отрицательных характеристик адресата или объектов, с ним связанных. Если же выражение отрицательной оценки составляет иллокутивную силу данного высказывания, то, следуя указанной максиме, говорящий стремится смягчить интенсивность последней:

— Ну... это уж ты... **приврал** [Шукшин 1992/3: 138];

— Danach ist «zum Bahnhof gebracht» **wohl nicht die rechte Formulierung**. Herr Tahlberg, es sieht **nicht besonders gut** aus... [Müller 1987: 51].

2) максимой скромности, определяющей мейотическое смягчение в речевых актах, содержащих положительную оценку говорящим самого себя, так как она обязывает адресанта быть сдержанным в выражении похвал в свой адрес:

— Заработаю! Силенка есть, и башка на плечах — сумею [Шукшин 1992/3: 242];

— Gut, ein bisschen Talent habe ich schon geerbt [Kuerthy 2002: 76].

3) максимами согласия и симпатии, следуя которым говорящий должен сохранять благожелательный фон протекания речевого контакта. Данные максимы проявляются в такой характерной особенности оценочного диалога, как апелляция к адресату, с тем, чтобы создать общий эмоциональный фон, подчеркнув важность мнения собеседника для адресанта. Целями установления доверительного контакта с собеседником обусловлено в большинстве случаев обращение коммуникантов к диминутивным формам. Уменьшительные суффиксы, используемые в таком контексте, отражают не реальные количественные изменения объекта, а коммуникативную интенцию адресанта, направленную на создание определенной атмосферы общения, благоприятной для реализации говорящим его конечной интенции:

— Значит хорошо живешь, тетя Анисья? — опять спросил Пашка. — Здоровьишко как? [Шукшин 1992/3: 33];

Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn wir uns noch ein Stündchen ins Freie setzen? [Müller 1987: 106].

Несмотря на то, что максимы вежливости легко вступают между собой в конфликт, а гипертрофированное следование этим максимам приводит скорее к дискомфорту в общении, принцип вежливости остается на настоящий момент одним из основных этических и коммуникативных регуляторов общения, обеспечивающих бесконфликтное протекание коммуникации. Вместе с тем, не вызывает сомнения тот факт, что конкретная реализация данного принципа имеет национальную специфику. Как справедливо замечает Е.М.Верецагин, коммуникативные стратегии могут быть универсальными, а тактики, коммуникативные ходы, посредством которых достигается оптимальное решение сверхзадачи, производны от национальной культуры [Верецагин, Ратмайр, Ройтер 2006: 87]. Изучение речевых стратегий вежливости на материале различных языков составляет на настоящий момент одно из наиболее интенсивно развивающихся направлений в лингвистике. Национальная специфика вербальной репрезентации вежливости обусловлена, прежде всего, тем, что универсальные для всего человечества этические нормы и правила могут по-разному за-

крепляться в специфичных для каждой культуры нормах поведения. Т.В.Ларина, сравнивая проявление эмоций в русской и английской фатической коммуникации, приходит к выводу, что отличительной особенностью русского коммуникативного стиля является свободное выражение эмоций и коммуникативная естественность (говорю, что думаю). Английский коммуникативный стиль характеризуется эмоциональной сдержанностью и эмотивностью (говорю то, что приятно собеседнику). Вместе с тем, в межличностном взаимодействии русские оказываются, напротив, более сдержанными и умеренными [Ларина 2005: 158]. Это различие детерминировано, по мнению автора, различиями в системах вежливости, ее содержании и стратегиях.

Подобные различия могут приводить в ситуациях межкультурной коммуникации к проблемам когнитивного и, как следствие, коммуникативного диссонанса, т.е. непонимания и неадекватного вербального и невербального поведения вследствие несовпадения концептов вежливости в разных лингвокультурах. Это подтверждают многочисленные статьи не только лингвистов, но и неспециалистов в этой области, иллюстрирующие коммуникативные неудачи, обусловленные расхождениями в понимании вежливого и невежливого поведения. Национально-культурная вариативность норм коммуникативного поведения способствует возникновению ложных этностереотипов, таких, например, как «русские и немцы — резкие, азиатские индийцы и японцы — раболепны, американцы — лицемерны, а британцы — надменны» [Hinkel 1996: 62]. Результаты лингвокультурологических исследований доказывают обусловленность речевого поведения языковой личности ее принадлежностью к западному или восточному культурному типу. Культурные традиции определяют, среди прочего, тип вежливости в том или ином этносоциуме. Так, в частности, сравнивая русскую и немецкую культуры, Р.Ратмайр определяет русский тип вежливости как «вежливость солидарности» — «Solidaritätshöflichkeit», а западноевропейский тип как «вежливость, ориентированную на социальную дистанцию» — «Distanzhöflichkeit» [Ратмайр 2006: 27].

Таким образом, национальная вариативность вежливости обусловлена стандартами вежливого вербального поведения, специфичными для каждого этносоциума, качественно различными культурными сценариями и культурными ценностями. Данные различия проявляются, среди прочего, и в том, как коррелируют в каждом конкретном этносоциуме вежливость и истина, вежливость и искренность. Вопрос о том, что важнее — истина или «дружба», оказывается также национально-культурно маркированным. Отношение к мейотическому искажению истинностной оценки сообщаемого различно в разных культурах. Мейозис достаточно широко изучался на материа-

ле английского языка, с учетом английского менталитета [Азарова 1981, Поспелова 1985 и др.] Обращение говорящих к мейозису обусловлено, по мнению лингвистов, занимающихся этой проблематикой, спецификой английской языковой личности, стремлением максимально завуалировать в межличностном взаимодействии все возможные эмоции и оценки.

Такое стремление русской языковой личности недостаточно пока исследовано, а немецкой — еще меньше. Вместе с тем, следует отметить, что в отечественной лингвистике достаточно активно исследуются различия в концептуализации правды и истины в русской культуре. В работах Н. Д. Арутюновой, Ю. Степанова, А. Д. Шмелева и др. убедительно доказано, что для русского этносоциума предпочтительней оказывается не безличная объективная истина, а субъективно-личностная правда. Подтверждением этому служит, в частности, богатая парадигма языковых средств в русском языке, служащих реализации мейотической оценки, прежде всего это мейотические аффиксы. Например:

— Чего-то мне **страшновато**, Павел, — признался Кондрат. — Войдет, а чего я ей скажу? [Шукшин 1982/3: 36];

— Ты, Марфа, хоть и крупная баба, а **бестолковенькая** [Там же: 25].

В интенцию говорящего, использующего мейотические дериваты *страшновато*, *бестолковенькая*, входит в данном случае не сообщение с максимальной ясностью, однозначностью и информативностью, а создание у адресата определенного положительного отношения к сообщаемому и/или к самому адресанту, что служит в конечном итоге оптимизации речевого контакта. Более того, для русской лингвокультуры характерно своеобразное сознательное усиление положительности в самых разных типах дискурса, создаваемое за счет одновременного использования нескольких мейотических средств. Для подтверждения приведем следующий пример из телепередачи «Человек и закон»: «Конечно, было **маленько диковато**, что сотрудники милиции занимаются этим делом» [«Человек и закон», 6 июня 2006 г.]. В этом высказывании следователь прокуратуры дает такую смягченную характеристику своей реакции на факт участия в наркоторговле сотрудников милиции, используя диминутивные дериваты *маленько*, *диковато* и эвфемизм *дело*, субституирующий лексему *наркоторговля*.

И. А. Стернин в своей работе, посвященной русскому речевому этикету, отмечает недопустимость категоричности в русском общении. «Не принято давать прямые негативные оценки действительности, мыслям, предложениям собеседника — их следует комментиро-

вать так, чтобы дать ему возможность «сохранить лицо», то есть уйти не обиженным» [Стернин 1996: 116].

В немецком языке правда и истина передаются одним словом *Wahrheit*, соответствующим скорее истине в русском понимании, как отражению в сообщаемом истинного положения дел. Как показывает анализ паремий, отражающих закрепленные в языке национально-специфические ценности народа, говорящего на данном языке, концепт *Wahrheit* имеет особое значение для немецкой культуры. При этом в пословицах подчеркиваются такие качества правды(истины), как непреходящая ценность, сила, справедливость — *In der Wahrheit liegt das Recht; Mit der Wahrheit kommt am weitesten; die Lüge geht, die Wahrheit besteht; Wahrheit ist die beste Waffe*.

Вместе с тем, учитывая субъективность правды, следует отметить, что в градации правды русский и немецкий языки обнаруживают определенное сходство, проявляющееся прежде всего в том, что в обеих лингвокультурах прямое изложение правды может трактоваться как большее зло, чем ложь. Ср.: *Правду говорить — друга не жалить; Правду говорить — многим досадить; Правда хорошо, а счастье лучше; Всяк правду любит, да не всяк ее рассказывает. — Wahrheit bringt Hass; Wer die Wahrheit redet, findet keine Herberge; Ins Gesicht gesagte Wahrheiten gelangen selten bis zu den Ohren* (Franz Christoph Schiermeyer).

Несмотря на то, что чаще всего при анализе немецкой вежливости цитируется высказывание И.В.Гёте «*Der Deutsche lügt, sobald er höflich ist*», в немецкой культуре в качестве определяющего признака вежливости традиционно выделяется понятие «*Aufrichtigkeit*» — искренность, прямота [Felderer, Macho 2002: 14]. Однако, как уже указывалось выше, искренность и прямота могут приводить в ситуациях межкультурной коммуникации к проблемам когнитивного и, как следствие, коммуникативного диссонанса. В этой связи последние десятилетия характеризуются в немецкой лингвистике новым всплеском интереса к изучению вежливости, особенно в сопоставлении с другими культурами [Felderer, Macho 2002, Ebert 2003, Nixdorf 2002]. В современной немецкой лингвокультуре в качестве ключевых выделяются следующие составляющие вежливости — внимание, уважение к другим людям, готовность помочь, умение выслушать собеседника, такт и, в частности, тактичное молчание, что сближает немецкую вежливость с русской. Все это определило возрастающую роль мейозиса в речевом поведении представителей немецкоязычного этносоциума.

Таким образом, детерминированность вербального общения социальными факторами предполагает наличие определенных правил, конвенций для использования того или иного выражения и его интер-

претации. Конвенциональность речевого поведения может противопоставляться его истинности. В тех ситуациях, когда постулаты вежливости как залога эффективности коммуникации требуют от говорящего дозировать сообщаемую правду, отклоняясь от истины, последний может использовать мейотические средства. Однако в целом этот аспект речевого поведения как в русском, так и в немецком обществе остается недостаточно изученным. В этой связи представляется весьма актуальным теоретическое и практическое изучение и сопоставление конкретных мейотических стратегий в данных этнокультурах.

ЛИТЕРАТУРА

- Азарова 1981 — *Азарова Л. В.* Прием преуменьшения и его функции в современном английском языке // Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Л., 1981.
- Арутюнова 1988 — *Арутюнова Н. Д.* Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
- Арутюнова 1998 — *Арутюнова Н. Д.* Язык и мир человека. М., 1998.
- Богданов 1984 — *Богданов В. В.* Деятельностный аспект семантики // Прагматика и семантика синтаксических единиц. Калинин, 1984.
- Верещагин, Ратмайр, Ройтер 2006 — *Верещагин Е. М., Ратмайр Р., Ройтер Т.* Речевые тактики «призыва к откровенности» // Вопросы языкознания. 1992. № 6.
- Винокур 2005 — *Винокур Т. Г.* Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. М., 2005.
- Земская 2004 — *Земская Е. А.* Язык как деятельность. Морфема. Слово. Речь. М., 2004.
- Ларина 2005 — *Ларина Т. В.* Фатические эмотивы и их роль в коммуникации // Эмоции в языке и речи. М., 2005.
- Поспелова 1985 — *Поспелова А. Г.* О средствах смягчения коммуникативного намерения в современном английском языке // Вестник ЛГУ. 1985. № 2.
- Почепцов 1987 — *Почепцов Г. Г.* Коммуникативные аспекты семантики. Киев, 1987.
- Ратмайр 2006 — *Ратмайр Р.* Прагматика извинения. М., 2006.
- Степанов 1997 — *Степанов Ю. С.* Константы. Словарь русской культуры. М., 1997.
- Стернин 1996 — *Стернин И. А.* Русский речевой этикет. Воронеж, 1996.
- Швецов 2002 — *Швецов А. Д.* Русская языковая модель мира. Материалы к словарю. М., 2002.
- Шукшин 1992 — *Шукшин В.* Собр. соч.: В 5 т. Екатеринбург, 1992.
- Ebert 2003 — *Ebert H.* Höflichkeit und Respekt in der Unternehmenskommunikation: Wege zu einem professionellen Beziehungsmanagement München / Unterschleißheim: Luchterhand, 2003.

- Felderer, Macho 2002 — *Felderer B., Macho T.* Höflichkeit bricht den Widerstand. München: Wilhelm Fink Verlag, 2002.
- Hinkel 1996 — *Hinkel E.* When in Rome: Evaluations of L2 Pragmalinguistic Behaviors // *Journal of Pragmatics*. 26. 1996. P. 51–70.
- Lüger 2002 — *Lüger H.-H.* Höflichkeitsstile. Frankfurt am Main, 2002.
- Nixdorf 2002 — *Nixdorf N.* Höflichkeit im Englischen, Deutschen, Russischen : ein interkultureller Vergleich am Beispiel von Ablehnungen und Komplimentenwiderungen. Marburg: Tectum-Verl., 2002.
- Sanders 1986 — *Sanders E.* Das mach'ich doch mit links. Bayreuth, 1986.
- Müller 1987 — *Müller R.* Nachtzug. Halle; Leipzig, 1987.
- Kuerthy 2002 — *v. Kuerthy I.* Herzsprung. Hamburg, 2002.

С. ДЁННИНГХАУС

МЕЖДУ ЛОЖЬЮ И ИЛЛЮЗИЕЙ: СПОСОБЫ ДЕЗОРИЕНТАЦИИ СО СТОРОНЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ

1. Введение. К обману и его различным формам проявления, которые весьма разнообразны (от лжи до иллюзии), проявляют интерес представители различных научных дисциплин, прежде всего — философы, правоведы, психологи, социологи и биологи¹. Вместе с тем, необходимо заниматься не только «ментиологией»² (учением о лжи), что предлагает немецкий социолог П.Штигниц [Stiegnitz 1994], но и более обширной «фраздологией» (учением об обмане), предлагаемое автором данной статьи³.

Особый предмет исследования тема «ложь и обман» представляет и для лингвистов, так как именно язык является определяющим инструментом, с помощью которого можно солгать или ввести кого-либо в заблуждение. Очень наглядно это поясняет Р.Келлер в своей «сказке об обезьяночеловеке» [Keller 1994: 37–51], используя историю из монографии Б.Стреккер [Strecker] «Стратегии коммуникативного действия» («Strategien des kommunikativen Handelns», 1987)⁴. В этой «сказке об обезьяночеловеке» из простого, по ошибке изданного от испуга крика, т.е. эмоционального выкрика-восклицания, который первоначально имел только функцию предостеречь других, совместно живущих членов группы (т.е. являвшегося вербальным высказыванием с характером языкового знака), со временем развивается не только

¹ Об актуальности данной темы свидетельствует целый ряд работ, вышедших в последние годы, к примеру: Boguslawski 2005; Hettlage 2003; Dönninghaus [2002]; Schäfer/Wimmer 2000; Schockenhoff 2005 [2000]; Ernst 2004; Liessmann 2005; Cammann/Arendt/Brunkhorst 2004; Nagel 2004; Dietz 2003; Bettetini 2003; Leonhardt/Rösel 2002; Dietz 2002; Shibles 2000; Roth/Sokolowsky 2000; Schmid 2000; Brown 1998; Dietzsch 1998 и др.; см. также библиографию в Dönninghaus 1999.

² Немецкий термин «Mentiologie» (по-русски «ментиология»), используемый П.Штигницем [1994], является производным словом от латинского *mentior* 'я лгу; я вру' < *mentire* 'лгать; врать'

³ См. к лексико-семантическому полю подобного названия *Fraudation* – Dönninghaus (1999: 7).

⁴ Ср. также Heringer 1985.

манипулирующее употребление языка с целью обмана, но — по мнению Келлера — и сам естественный язык как средство общения. «Изначально язык служил системой ориентирования homo loquens в общении», — отмечает В.И. Шаховский (2005: 221) в своем изложении о лжи как речевом жанре. И далее: «А теперь [имеется в виду современное российское общество XXI века. — С.Д.] он все больше превращается в систему дезориентации, разобщения людей». В этом «виновато... „разномыслие“, т.е. ложь в ментальных и в (а)вербальных репрезентациях ситуативного взаимодействия homo mentiens (fallens)» (Там же).

Кроме того сам язык, как знаковая система, способен обманывать его носителя. Его (т.е. язык) упрекают в том, что он «неверный и лживый» (Kainz 1927: 214), потому что его грамматические категории и словарный запас влияют на наше мышление. Сам язык «маскирует» логическое строение наших мыслей (Ludwig Wittgenstein 1963: 25–26 (4.002)) и обманывает пользующихся языком (например омонимиями или метафорами). И хотя язык по классическому определению лжи св. Аурелиуса Августина [Aurelius Augustinus] («mendacium est enuntiatio cum voluntate falsum enuntiandi») не помогает человеку лгать, Гаральд Вейнрих [Harald Weinrich] констатирует в своем знаменитом эссе «Лингвистика лжи» [«Linguistik der Lüge», 2000 [1966]: 13], что значения отдельных слов (не всех!) располагают особым потенциалом для лжи. Лингвисты подобное явление называют «двусмысленной речью» (по-английски *doublespeak*)⁵, подразумевая при этом особое искусство употребления языка (прежде всего в политическом дискурсе), при котором адресант намеренно и осознанно говорит нечто другое, чем он на самом деле имеет в виду. В этом случае адресант уклоняется от ответа⁶, говорит обманчиво, противоречиво и заведомо ложно. Однако только контекст и специальное употребление слов делают из адресанта лжеца. Поэтому их можно отнести к словам, маркированным «коннотацией лживости» (Шаховский 2005: 200). Довольно четко это проявляется на следующих примерах из английского языка: *direct flight* ‘полет без промежуточной посадки, но с пересадкой пассажиров’ — *non-stop flight* ‘полет без промежуточной посадки и пересадки пассажиров’, *sugar-free* ‘без сахара’, имея в виду ‘без сахарозы, но с плодовым сахаром, мальтозой, декстрозой и т. п.’; *friendly casualties / friendly fire* ‘уничтожение своих солдат по ошибке’; *collateral damage*

⁵ См., к примеру, *Quarterly Review of Doublespeak* (Urbana/III. National Council of the Teachers of English; New York 1981).

⁶ О подобных речевых маневрах уклонения в письменном медицинском дискурсе (на примере чешского языка) см. Dönninghaus 2003.

‘уничтожение гражданского населения’; *device* ‘оружие’, *special device* ‘атомное оружие’; *pacify* ‘умиротворять кого-н.’⁷. В русском языке к «лживым» словам, т.е. словам, которые являются «масками лжи» (Шаховский 2005: 222), можно отнести, к примеру, такие как *реформа*, *демократия*, *суверенитет* и т. п., а к «переноминациям как средствам лжи» о войне, к примеру, такие выражения, как *борьба хозяйственных субъектов*, *точечные бомбардировки*, *лагерь беженцев*, *зачистка*, *восстановление порядка* и т. п. (Там же: 223)⁸.

Однако сами слова не могут врать и обманывать, так как у них нет дара речи. Только *homo sapiens sapiens*, независимо от языка, которым он владеет, может намеренно обманывать своего партнера по коммуникации. Именно он использует слова с неточными, а иногда и весьма «растяжимыми» спектрами их значения, чтобы скрыть настоящее положение вещей, приукрашивая и внушая реципиенту (адресату) положительные или отрицательные оценки. Поэтому такие вопросы, врет ли естественный язык сам по себе, является ли он лживым только из-за неточности или неопределенности понятий и делает ли он возможным лживую речь, — весьма многоплановые и в данной статье не рассматриваются⁹. Однако бесспорным является факт, что в языке «отложилось лукавство человека» — по меткому определению Н.Д. Арутюновой (1995: 5). Язык «развивается одновременно в двух противоположных направлениях: одно из них определено стремлением к максимально полному и точному выражению истины, другое — желанием ее утаить, отстранить от себя или прикрыть ее лицо маской правдоподобия» (Там же).

Как внелингвистически мотивированный обман отражается в словарном составе разных языков и в ментальной лексике, можно доказать исследованиями, основанными на лингвистической теории лексико-семантических полей и когнитивной семантике. С помощью структурного анализа можно разделить лексико-семантическое поле обмана на три макрозоны: а) дезинформация, б) дезориентация и в) обман *per se*.

В настоящей статье предпринята попытка проанализировать, какими способами люди пытаются ввести других в заблуждение и как эти способы дезориентации отражаются в словаре русского литера-

⁷ См. Roswitha Fischer (2003: 103 ff.). Евфемистическое употребление языка такого рода описал Кайнц еще в 1927, см. Kainz (1927: 222 ff.).

⁸ К сожалению, Шаховский (2005: 222–223) не различает слова (как лексические единицы или конкретные словоформы на уровне *parole*) и понятия (как ментальные единицы и представления).

⁹ См. более подробно Dönninghaus (1999: 35–40) и Dönninghaus (2005: 36–41); ср. также Шаховский (2005: 223–224).

турного языка. При этом обман в прагматическом контексте рассматривается как причинное поведение, которое является прямой попыткой привести участника акта общения к ложным выводам, к ошибке или заблуждению, что, в свою очередь, позволяет им манипулировать или иметь над ним власть. Методически это исследование является вкладом в лингвокультуру лжи¹⁰ и обмана и может выступать как исходная база для межкультурных и межъязыковых сравнений, а также как основа для последующих социолингвистических исследований.

2. Макроструктура лексико-семантического поля ОБМАН. Исходной базой классификации лексико-семантических единиц, которые принадлежат к полю ОБМАН, являются объяснения их значений в статьях толковых словарей¹¹. Из этих объяснений мы можем выделить семантические признаки отдельных лексико-семантических единиц (слов и фразем), группируя их в подструктуры поля ОБМАН.

Семантические признаки содержат критерии классификации, которые в лексической семантике и в теории лексического поля также называются «*семантические измерения*» (по-немецки *semantische Dimensionen*)¹², где легко проявляются семантические и функциональные эквивалентности между лексико-семантическими единицами поля. При этом я исхожу из того, что среди семантических признаков каждой составляющей поля (т.е. каждой лексемы) находится один доминирующий (преобладающий) критерий, на основе которого лексему можно отнести к определенной подструктуре поля или подчиненному концепту. Так, например, среди семантических признаков глагола *лицемерить* преобладает цель «манипуляция впечатления». Однако в составе семантических признаков глагола *клеветать на кого-н.* домини-

¹⁰ См. сборник статей *Культуры лжи [Kulturen der Lüge]*, изданный М. Майером (Mayer 2003).

¹¹ *Словарь русского языка в четырех томах.* Академия наук СССР, институт русского языка. Москва 1981–1984; Ожегов, С.И. (1988), *Словарь русского языка.* Около 57000 слов. Москва; Ожегов, С.И. / Шведова, Н.Ю. (ред.) (1993), *Толковый словарь русского языка.* (72500 слов и 7500 фразеологических выражений.) Москва; Молотков, А. И. (отв. ред.) (1986), *Фразеологический словарь русского языка.* Свыше 4000 словарных статей. Москва; Баранов, О.С. (1995), *Идеографический словарь русского языка.* Москва; Апресян, Ю.Д. (отв. ред.) (1995), *Новый объяснительный словарь синонимов русского языка.* Проспект. Москва; Евгеньева, А.П. (ред.) (1970), *Словарь синонимов русского языка (в двух томах).* Академия наук СССР, институт русского языка. Ленинград.

¹² См. Lutzeier 1995; Skorochod'ko 1981.

нирует цель «повреждение репутации третьего человека ложным и фальшивым обвинением».

Для установления макроструктуры поля ОБМАН для нас релевантными в первую очередь являются следующие «семантические измерения»:

- а) интенция (по-английски *Intentionality*) (лежит ли в основе поведения определенное намерение?);
- б) функция/цель (какую функцию или какие функции имеет поведение адресанта и какие цели он этим преследует?);
- в) инструмент/средство (какими средствами адресант хочет достичь цели своего действия?);
- г) способ (каким способом цель действия должна быть достигнута?);
- д) отклонение (от какой нормы адресат уклоняется определенным поведением?).

К этому необходимо добавить «семантические измерения»:

- е) тип действия или события (обозначается ли вербальное, невербальное или (относительно самообмана) ментальное поведение, или называются некое событие (например, *мираж (фата моргана)*) или некое состояние, некий результат действия (как, например, *подделка*, т. е. подделанный объект, некая *видимость* в смысле глагола *казаться*)?);
- ё) социальный фактор (идет ли речь о персональном, т. е. «чьим-нибудь» поведении, которое является социальным, т. е. обращается к другому человеку (как, например, в случае лжи)? или обращено ли обозначаемое обманчивое поведение к самому говорящему (как в случае самообмана)?)¹³.

Весьма полезным для установления структуры поля «семантическое измерение» является также:

- ж) оценочная экспрессивность (как оценивается обозначаемое поведение адресанта в общем? как относится общество к подобному поведению?)¹⁴.

Хотя определение критериев, которые являются решающими для классификации лексико-семантических единиц, до определенной степени субъективно, вышеизложенная методика весьма пригодна для описания поля ОБМАН¹⁵.

¹³ Персональный и социальный характер лжи впервые выделил Г. Фалькенберг (Falkenberg 1982: 14 ff.).

¹⁴ К методике разрабатывания лексико-семантических полевых структур с помощью «семантических измерений», см. более подробно Dönninghaus (1999: 120–144).

¹⁵ К структурированию поля лжи на основе синтактико-семантических критериев, см. Storrer (1996: 231–255).

Центральный критерий а) (интенция), о котором ведется дискуссия уже с времен Св. Августина, связан с действующим субъектом, так как поведение только на основе интенций или определенных намерений становится действием. Так как интенциональное поведение служит для того, чтобы достичь поставленную цель, то критерий а) (интенция) теснейшим образом связан с критерием б) (функция/цель). При этом необходимо обратить внимание на то, что интенции могут быть сознательными и несознательными (Löw-Beer 1990), а также что интенции нельзя отождествлять с намерениями. По мнению Дж.Серля (Searle 1987: 114, 136), намерения, наоборот, должны считаться формами интенциональных состояний, потому что, с одной стороны, есть намерения, которые существуют уже ПЕРЕД выполнением действий (в юридической практике в данном случае говорят об умысле или умышленном действии), а с другой стороны, есть намерения, которые ЕЩЕ НЕ существуют перед выполнением действий. В данном анализе поля я исхожу из того, что критерий а) (интенция) только тогда является релевантным, если он появляется в объяснении значения в словаре, т. е. в форме семантического признака [+ намеренно], ср., например: *ложь* — *Неправда, намеренное искажение истины → обман; лгать* — (1) *Говорить* → *ложь*; → *обманывать; обманывать* — (1) *Намеренно ввести кого-л. в заблуждение, сказав неправду или прибегнув к какой-л. уловке, хитрости, притворству и т. п.*; ср. подобное у глагола *лукавить* — *Хитрить, притворяться, имея какой-л. умысел; хитрить, притворяться, вести себя неискренне*. Пометкой «*намеренное/намеренно*» здесь обозначается внутренняя, эмоциональная готовность к действию, к которому действующее лицо сознательно физически и психически подстраивается. Одновременно ею подчеркивается, что возможные результаты или последствия действия являются запланированными и предвосхищенными. Однако пометкой *умысел* подчеркивается, что речь идет об определенной цели действия, к которой действующее лицо сознательно стремится и которую это лицо маскирует или содержит в тайне¹⁶.

Критерий б) (функция/цель) релевантен для анализа поля, потому что обманчивое поведение служит для достижения разнообразных целей, которые переплетены друг с другом и, таким образом, могут образовывать так называемые «пучки манипуляций»: 1) в связи с результатом действия: обманом *per se*; 2) в связи с пропозициональным содержанием языкового выражения: манипуляция мнением (ложью, клеветой, замалчиванием, выдумкой); 3) в связи с физическими и психическими свойствами и их выражением: манипуляция впечатле-

¹⁶ См. Апресян, Ю.Д. (отв. ред.) (1997: 192).

нием (симуляцией или диссимуляцией); 4) в связи с экспрессивными факторами: манипуляция точкой зрения / отношения или оценки (лестью); 5) в связи с апеллятивной функцией языка: манипуляция действием (соблазном/обольщением)¹⁷.

Особенно в связи с обманом через дезориентацию, «семантическое измерение» инструмент/орудие/средство играет роль при установлении структуры поля. При этом речь идет об «инструментах/орудиях/средствах», с помощью которых «настоящая/действительная/правдивая» информация или «правда» скрываются или с которыми сознательно и преднамеренно усложняется или препятствуется доступ к «правде» ср. напр. *маскировать* (*маска*), *вуалировать* (*вуаль*), *туманить* (*туман*). Здесь семантические компоненты, которые содержатся в корневой морфеме *маск*-(а), *вуал*-(ь), *туман*-, необходимо понимать как метафорические средства. Несколько позже я еще вернусь к этому пункту.

Также «семантическое измерение» отклонения является важным для установления полевой структуры, особенно в связи с дезориентацией, которая служит с целью обмана. При этом норма, исходя из философской традиции, рассматривается в качестве правила, которое определяет членам некоего общества, что должно быть и что необходимо сделать для урегулирования совместной жизни. Таким способом, социально и культурно специфическая норма, которая до определенной степени должна быть гибкой, нестабильной и динамичной становится масштабом для оценки действий, процессов, событий или дел. Норма становится эксплицитно сформулированным или имплицитно данным стандартом, который служит путеводной нитью к действию. Вместе с тем, наличие норм дает возможность для разнообразных отклонений от этих норм, которые непременно принадлежат к кодексу поведения членов социальных сообществ и идиосинкретически манифестируются в словаре языков, особенно в виде глаголов или других глагольных выражений, как напр. *портить*, *переживать*, *недожаривать*, *красть*, *предать*, *нарушать* и т. д.¹⁸ или также *лгать*, *врать*, *завираться*, *клеветать*, *говорить неправду*, *ошибаться*, *выдумывать*, *фантазировать*, *нести вздор* (*околесицу*, *чепуху*), *путать* и т. п.¹⁹, из которых большинство принадлежат к полю ОБМАН.

Если мы избираем для установления структуры поля путеводной нитью принцип кооперативности²⁰, то при обманчивом вербальном и невербальном поведении нарушаются максимы речевого поведения

¹⁷ См. об этом более подробно Дёнингхаус (1999: 127–131).

¹⁸ Ср. Арутюнова (1993: 74).

¹⁹ Ср. Trub (1993: 68 f.).

²⁰ Ср. Grice (1968; 1975).

В первую очередь, нарушаются максимы речевого общения, а именно максима качества. Классическим случаем такого нарушения является ложь. Кроме того, нарушается максима образа действия или максима способа (как «правило ведения разговора, согласно которому говорящий должен четко и правильно излагать суть дела, не отклоняясь от темы» (Там же)). Примером такого отклонения является преднамеренно неясная речь с целью скрытия дел или введения в заблуждение, напр. в языке рекламы или в академическом дискурсе. К этому необходимо добавить отклонение от когнитивной нормы²¹. При этом человек рассматривается нами как система, осмысливающая полученную информацию. Не только его рациональное мышление, но и его способность к дедуктивным заключениям и познание в целом поддаются влиянию внешних факторов (как напр. тактик вуалирования, сокрытия и утаивания со стороны партнера коммуникации), а следовательно могут изменяться (ухудшаться). Поэтому «знание», которое человек приобрел познанием, так же как и «правда», являются относительными²².

Дальнейшим основным критерием для установления структуры поля ОБМАН является «семантическое измерение» способ. При этом мы исходим из вопроса, каким способом, с помощью какой техники, стратегии и т. п. цель обманчивого действия должна быть достигнута. Таким образом, речь идет о различных способах, используемых человеком для манипуляции информацией, им предоставляемой.

В качестве двух макрозон поля мы находим:

А) дезинформацию (путем ложной информации, ложью, клеветой, замалчиванием; говорением вздора/чепухи, выдумыванием; искажением, преувеличением/преуменьшением; созданием вида с помощью имитации или притворства (напр. лицемерием и лестью));

Б) дезориентацию (путем завуалирования, сокрытия информации и введения в заблуждение). Все лексико-семантические единицы, которые на основе своих семантических признаков относятся к вышеназванным макрозонам, называются *попытками обмана*.

К третьей макроне (В) принадлежат все лексико-семантические единицы, у которых результат обмана — центральный аспект/фактор (напр. хитрость, обман, обсчитывать/обвешивать/обделять/обмеривать, изменять или ошибаться и т. д.). Таким образом, целое лексико-семантическое поле ОБМАН распространяется с А) через Б) на В), т.е. между ложью и иллюзией. Нет возможности более подробно описать все три

²¹ О других видах отклонений от норм в связи с ложью и обманом см. Dönninghaus (1999: 132–140).

²² См. о связи между «знанием» и «правдой» также Falkenberg 1982; Sweetser (1987: 46); Lakoff (1987: 294); Busse 1997.

макрозоны поля ОБМАН²³, поэтому я останавлиюсь только на изложении одной из них: макрзоны дезориентации (Б).

3. Между ложью и иллюзией: Попытка обмана через дезориентацию. С прагмалингвистической точки зрения, обман — каузативное вербальное или невербальное поведение. Этим поведением партнер по коммуникации (или третий человек) МОЖЕТ быть соблазнен к ошибочному толкованию, неправильному суждению или заблуждению. Другими словами, результат (действительный обман) необязателен, как, к примеру, в случае, когда слушающий разгадывает ложь или лицемерные слова говорящего или когда он не дает обманывать себя тактиками сокрытия или вуалирования. Поэтому все лексико-семантические единицы макрзон А) и Б) называются *попытками обмана*.

Основой для объединения лексико-семантических единиц в макрзоне Б) (дезориентация) выступает критерий когнитивной манипуляции, содержащийся в составе семантических признаков. При этом под когнитивной манипуляцией понимается отрицательное влияние говорящего на рациональные способности слушающего или адресата. Таким образом, мнение дезориентированного слушателя или адресата поддается влиянию говорящего. Вследствие этого слушатель или адресат претворяет в жизнь какое-либо действие, которое без влияния говорящего он бы просто не совершил. Подобную стратегию рассеивания внимания с помощью целенаправленного переполнения раздражителями (напр. зрительными, звуковыми и т. п.), которые в юридическом смысле не считаются умышленным введением в заблуждение или обманом, так как сам слушатель или адресат отвечает за возможную дезориентацию самого себя, используют, к примеру, специалисты по рекламе или политики. На уровне языка этот фактор выражается в центральных лексических единицах макрзоны Б), а именно в глаголе *дезориентировать* со значением 'лишить правильной ориентации, правильного представления о чем-л.; ввести в заблуждение' и в номинальном производном слове *дезориентация*. Каждый говорящий, который из-за обманчивых намерений имеет определенный мотив к попытке обмана, может различными способами оказывать отрицательное влияние на ориентацию своего партнера по коммуникации, т. е. дезориентировать его:

а) введением в заблуждение и запутыванием (1) или отвлекающими маневрами (*Ablenkungsmanöver*) (2);

б) коварным действием, т. е. умышленным скрыванием «правдивых» интенций, точки зрения, информации и т. п. (3).

²³ Cp. Dönninghaus 1999.

3.1. Введение в заблуждение и запутывание. К подструктуре ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, которая подчинена концепту ОБМАН, в русском языке принадлежат следующие лексические единицы (я ограничусь следующими глагольными единицами): дезориентировать, вводить в заблуждение; сбивать с толку; запутывать, сбивать с панталыку, сбивать с пути; крутить голову; душить голову; задурять голову; опутывать; отводить глаза; отвлекать; заговаривать зубы; ловить рыбу в мутной воде, задурманить. Центральная единица данной подструктуры — глагол дезориентировать со значениями 'лишить правильной ориентации, правильного представления о чем-л.; ввести в заблуждение'

Слушатель или адресат вводится в заблуждение тем, что говорящий отвлекает его внимание, вуалирует или скрывает содержание своего высказывания и при этом скрывает свои собственные интенции и намерения. Подобным поведением говорящий отрицательно влияет на рациональные и когнитивные способности слушателя. Таким образом, сбитого с толку слушателя можно легко обмануть. Следовательно, основной целью действия является дезориентация, которая достигается тем, что говорящий информирует слушателя или адресата неясно, неоднозначно или чрезмерно. Этим способом не только усложняется ментальное осмысление информации, но и ослабляется рациональная компетентность или способность к рациональному рассуждению слушателя или адресата. Поэтому дезориентация партнера по коммуникации соответствует когнитивной манипуляции с помощью вербальных или невербальных средств. Так как слушатель или адресат необязательно должен дать себя обмануть говорящим, все манеры поведения этого типа являются только возможными средствами с целью когнитивной манипуляции, и подструктуру ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ соответственно нужно отнести к периферии поля ОБМАН. При этом необходимо обратить внимание на тот факт, что поведение, которое мы обозначаем глаголом дезориентировать (как и лгать, лицемерить и т. п.), — каузативное действие: Говорящий Г запутывает слушателя С или вводит его в заблуждение, т. е. Г отвечает за то, что С сбит с толку и, вследствие этого, ошибается, заблуждается или приходит к ложному суждению относительно положения вещей и, в конце концов, является обманутым. Если говорящий действовал с умыслом, т. е. специально дезориентировал партнера по коммуникации, чтобы тот пришел к ложному суждению, то в этом случае мы имеем дело с намеренной попыткой обмана чужого (по-немецки *Fremdtäuschung*). Особенно наглядно принцип действия подобного обманчивого поведения можно проследить на примере фразеологической единицы *кружить кому-л. голову*, которую можно понять метафори-

чески: Здесь образ кружения головы, в которой находится наибольшая часть отвечающей за восприятие и познание центральной нервной системы, т. е. мозга, используется как метафора для введения кого-либо в заблуждение. Кружение головы усложняет направленное и адекватное осмысление информации или вообще препятствует ее получению. Последствие подобного действия — возможные ложные рассуждения, обман или иллюзии.

3.2. Отвлекающие маневры. У лексико-семантических единиц, которыми обозначаются способы введения в заблуждение и запутывания, в центре внимания находится критерий отклонения от когнитивной нормы посредством снижения познания, а следовательно восприятия «правды». Однако для таких лексических единиц, как *отводить глаза кому-л.* со значением 'отвлекать внимание кого-л. от чего-л.; вводить в заблуждение, обманывать кого-л.' и *заговаривать зубы кому-л.* (прост.) со значениями '(1.) посторонними разговорами намеренно отвлекать внимание собеседника от чего-л.; (2.) вводить в заблуждение, обманывать кого-л.', центральным является признак намеренного отвлечения внимания с целью обмана²⁴. При этом под вниманием понимается направленность восприятия на определенный субъект или объект и на поток информации, который из него исходит. Однако отвлекающие маневры лишь опосредованно связаны с обманом. Они являются только одним из возможных способов, который используется с целью дезориентации партнера по коммуникации, т. е. он может быть обманут, но это совсем необязательно. Таким образом, для того, чтобы все вышеназванные лексические единицы включить в поле ОБМАН, у них должен иметься признак сознательного намерения к обману. Однако состав семантических признаков глагола *отвлекать* не содержит этого признака.

3.3. Соккрытие. По всей видимости, для человеческих сообществ попытки обмана, которые на основе их состава семантических признаков принадлежат к подструктуре СОКРЫТИЕ, особенно релевантны, так как для их обозначения мы имеем множество лексических единиц (я ограничусь только глаголами и глагольными фразеологизмами): *скрывать, маскировать/ся, вуалировать, затенять, затушевывать, тушевать, затемнять, туманить, дурманить/ся, (за-/по-)мутить воду, камуфлировать, запудривать, замалчивать, замазать глаза кому-л.*

²⁴ В немецком языке существует фразеологизм *jemandem ein X für ein U vormachen*. Он является разговорным эквивалентом фразеологизма *заговаривать зубы кому-л.*, обозначающего грубую попытку обмана (изначально относилось к «деятельности» знахарок или предсказательниц); см. Лепинг, Е. И. и др. 1983; Schindler (1993: 99).

(прост.), *ретушировать, прятать, гримировать/ся, путать словами, надеть личину, надеть (на себя) маску, наводить тень (на плетень / на ясный день) (прост.), делать веселую (хорошую) мину при плохой игре, играть словами / в слова, играть в прятки, смеяться/посмеиваться в бороду, носить маску/личину, напускать туман, (не) показывать вид(а), замечать следы чего-л., показывать кукиш в кармане, разводить вавилоны, вкратсья во что, влиять, бросать/пустить пыль в глаза кому-л. (устар.)*. Особое значение этих единиц исходит из того, что названные тактики завуалирования и сокрытия, с прагматической точки зрения, т.е. в соответствующем конкретном ситуативном контексте, гораздо сложнее поддаются доказательству. Поэтому эти тактики важнее не только для политической пропаганды, но и для коммерческого рекламного дискурса, чем предосудительная ложь, которую можно обжаловать в суде ²⁵.

В объяснениях значений вышеназванных лексических единиц, которые относительно аспекта попытки обмана различно маркированы, прежде всего выделяется «семантическое измерение» инструмент/орудие/средство: доступ к так называемой «правде действительности» метафорически усложнен определенным фильтром или сделан невозможным: *вуалью, маской, туманом, тенью, гримом* и т. п. Обозначаемые действия, в первую очередь, служат для того, чтобы манипулировать потоком информации с целью дезинформации. Таким образом, положения вещей для адресата высказывания становятся неясными. Следствием этого может быть обман. Однако в неметафорическом значении вышеназванные лексемы принадлежат к другим концептам, которые, в свою очередь, не принадлежат к полю ОБМАН.

В рамках описанной подструктуры важную роль играет употребление световых метафор. С помощью метафорической вуали, тумана, тени, маски и т. п. происходит сокрытие. Эта темнота — образ неясности пропозиционального содержания высказывания, которая вызвана намеренно. На ее основе манипулированное восприятие может привести к обману. Таким образом, когнитивный доступ к «правде» усложнен. Это явствует из объяснения значений глагола *скрыть*, который является центральным для этой подструктуры: '(1.) спрятать, чтобы кто-н. не обнаружил; (перен.) не дать обнаружиться какому-л. чувству, состоянию и т. п. или не дать возможности другим заметить его (*скрыть улыбку; скрыть боль*); (2.) утаить, сохранить в тайне от других (*спрятать свои намерения*); (3.) сделать невидным, недоступным взгляду, закрыв, заслонив собой, или заслонив собой пространство; сделать незаметным'

²⁵ См. к упреку во лжи Falkenberg 1980.

Наиболее важным орудием/средством/инструментом, искажающим информацию, является маска (в метафорическом отношении). Она формирует внешнее впечатление (ср. *личина* '(1.) маска; (2.) притворная внешность' и *маскировать* '(1.) придать иную внешность с помощью маски и костюма; (2.) закрыть, прикрывать кого или что чем-л., чтобы сделать незаметным, невидным; (перен.) скрыть, прикрыть действительную сущность чего-л.; утаивать что-л. (мысли, чувства, поступки и т. п.) с помощью чего-л. показного, притворного') При этом скрытыми могут быть некоторый объект, факт (в переносном значении), психическое состояние, мысль или намерение. В результате этого, при известных условиях, представление или впечатление так называемой действительности могут быть искаженными или неправильными (ср. Щербатых 1997: 77). Таким образом, здесь явно видна семантическая близость к лицемерию²⁶.

4. Резюме. С точки зрения теории семантики, лексемы, которыми обозначаются разнообразные способы дезориентации (введение в заблуждение; запутывание; отвлекающие маневры; умышленное скрытие «правдивых» интенций, определенной точки зрения, информации и т. п.), составляют одну из трех макрозон лексико-семантического поля ОБМАН. При этом обман считается каузативным вербальным или невербальным поведением, которым партнер по коммуникации или третье лицо МОЖЕТ быть соблазнен к ошибочному толкованию, неправильному суждению или заблуждению, т.е. действительный обман необязателен. Поэтому лексемы макрозоны «дезориентация» обозначают ПОПЫТКИ обмана. Основным принципом для причисления лексем к данной макрозоне «дезориентация» служит критерий когнитивной манипуляции, содержащийся в составе семантических признаков (сем) данных лексических единиц. Под когнитивной манипуляцией понимается отрицательное влияние адресанта на рациональные способности адресата, вследствие которого слушатель легко может быть обманутым. Адресант информирует слушателя неясно, неоднозначно или чрезмерно. Из множества лексем для обозначения разнообразия способов сокрытия и завуалирования следует, что они являются крайне релевантными стратегиями и тактиками для человеческого сообщества, в первую очередь для политического дискурса или для коммерческой пропаганды. Именно в этих сферах коммуникации гораздо сложнее доказать употребление скрывающих или завуалирующих стратегий речи, чем явную ложь.

²⁶ См. об этом из перспективы теории речевых жанров Дёнингхаус 1999.

ЛИТЕРАТУРА

- Апресян, Ю. Д. (отв. ред.) (1995), *Новый объяснительный словарь синонимов русского языка*. Проспект. Москва.
- Арутюнова, Н. Д. (ред.) (1991), *Логический анализ языка*. Т. 4: *Культурные концепты*. Москва.
- Арутюнова, Н. Д. (1991), Истина: фон и коннотации: *fon i konnotacii* // Арутюнова, Н. Д. (ред.) (1991), *Логический анализ языка*. Т. 4: *Культурные концепты*. Москва, 21–30.
- Арутюнова, Н. Д. (1993), (*Verba mentalia*.) Вторичные истинностные оценки: *правильно, верно* // Арутюнова, Н. Д. (ред.) (1991), *Логический анализ языка*. Т. 6: *Ментальные действия*. Москва, 67–78.
- Баранов, О. С. (1995), *Идеографический словарь русского языка*. Москва.
- Дёниннхгаус, Сабине (1999), Под флагом искренности: Лицемерие и лесть как специфические явления речевого жанра притворство // Гольдин, В. Е. и др. (ред.), *Жанры речи*. Т. 2. Сборник научных статей. Саратов, 203–215.
- Евгеньева, А. П. (ред.) (1970), *Словарь синонимов русского языка (в двух томах)*. Академия наук СССР, институт русского языка. Ленинград.
- Лепинг, Е. И. и др. (ред.) (1983), *Русско-немецкий словарь*. Около 53000 слов. Москва.
- Молотков, А. И. (отв. ред.) (1986), *Фразеологический словарь русского языка*. Свыше 4000 словарных статей. Москва.
- Ожегов, С. И. (1988), *Словарь русского языка*. Около 57000 слов. Москва.
- Ожегов, С. И. / Шведова, Н. Ю. (ред.) (1993), *Толковый словарь русского языка*. (72500 слов и 7500 фразеологических выражений.) Москва.
- Словарь русского языка в четырех томах*. Академия наук СССР, институт русского языка. Москва 1981–1984.
- Труб, В. М. (1993), Лексика целесообразной деятельности (опыт описания) // Арутюнова, Н. Д. (ред.) (1991), *Логический анализ языка*. Т. 6: *Ментальные действия*. Москва, 58–66.
- Шаховский, В. И. (2005), Ложь (вранье) как речевой жанр (к теории жанрообразующих признаков) // Дементьев, В. В. (отв. ред.), *Жанры речи*. Выпуск 4: *Жанр и концепт*. Саратов, 218–241.
- Aurelius Augustinus (1953), *Die Lüge und Gegen die Lüge*. Übertragen und erläutert von Paul Keseling. Würzburg [Августин: *De mendacio und Contra mendacium*. Написано в 395 и в 420 н.э.].
- Bettetini, M. (2003), *Eine kurze Geschichte der Lüge: von Odysseus bis Pinocchio*. Aus dem Italienischen von Klaus Ruch. Berlin.
- Bogusławski, A. (2005), *Veridicum laudare necesse est, vitam sustinere non est necesse* // *Journal of Pragmatics*, Vol. 37, Issue 4, 411–431.
- Brown, A. L. (1998), *Subjects of Deceit. A Phenomenology of Lying*. Albany.
- Busse, D. (1997), *Semantisches Wissen und sprachliche Information. Zur Abgrenzung und Typologie von Faktoren des Sprachverstehens* // Pohl, I. (ed.), *Methodolo-*

- gische Aspekte der Semantikforschung. Beiträge der Konferenz «Methodologische Aspekte der Semantikforschung» an der Universität Koblenz-Landau / Abteilung Landau (1996). Frankfurt/M., 13–34.
- Cammann, A. / Arendt, H. / Brunkhorst, H. (2004), Politik und Lüge // *Vorgänge: Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik*. Bd. 167, H. 3, Berlin.
- Dietz, S. (2002), *Der Wert der Lüge*. Über das Verhältnis von Sprache und Moral. Paderborn.
- Dietz, S. (2003), *Die Kunst des Lügens*. Eine sprachliche Fähigkeit und ihr moralischer Wert. Reinbek bei Hamburg.
- Dietzsch, St. (1998), *Kleine Kulturgeschichte der Lüge*. Leipzig (= Dietzsch, St. (2000), *Krótką historia kłamstwa*. Przekorne eseje filozoficzne. Warszawa.)
- Dönninghaus, S. (1999), *Sprache und Täuschung*. Ein Beitrag zur lexikalischen Semantik des Russischen unter Berücksichtigung kognitionstheoretischer Überlegungen. Wiesbaden.
- Dönninghaus, S. (2002), «Das lexikalisch-semantische Feld der Täuschung in Phraseologismen des Tschechischen» // Hartmann, D. / Wirrer, J. (eds.), *Wer A sagt, muß auch B sagen*. Beiträge zur Phraseologie und Sprichwortforschung aus dem Westfälischen Arbeitskreis. Höhengehren, 75–94 (= Phraseologie und Parömiologie; 9).
- Dönninghaus, Sabine (2005), *Die Vagheit der Sprache*. Begriffsgeschichte und Funktionsbeschreibung anhand der tschechischen Wissenschaftssprache. Wiesbaden.
- Ernst, U. (ed.) (2004), *Homo mendax*. Lüge als kulturelles Phänomen im Mittelalter. Berlin.
- Falkenberg, G. (1980), «Sie Lügner!» Beobachtungen zum Vorwurf der Lüge // Tschander, G. / Weigand, E. (eds.), *Perspektive*. Textexterne Akten des 14. Linguistischen Kolloquiums Bochum 1979. Tübingen, 51–61.
- Falkenberg, G. (1982), *Lügen*. Grundzüge einer Theorie sprachlicher Täuschungen. Tübingen.
- Fischer, R. (2003), Doublespeak und Doublethink: Die Kunst, nichts oder etwas ganz anderes zu sagen, als zu meinen // Mayer, Mathias (2003), *Kulturen der Lüge*. Köln/Weimar/Wien, 99–119.
- Grice, H. P. (1968), Utterer's Meaning, Sentence-Meaning, and Word-Meaning // *Foundations of Linguistics* 4, 225–242.
- Grice, H. P. (1975), Logic and Conversation // Cole, P. / Morgan, J. L. (eds.), *Speech Acts*. New York, 41–58.
- Heringer, H.J. (1985), Not by Nature nor by Intention. The Normative Power of Language Signs // Ballmer, T.T. (ed.), *Linguistic Dynamics*. Berlin/New York, 251–275.
- Hettlage, R. (ed.) (2003), *Verleugnen, Vertuschen, Verdrehen*. Leben in der Lügesellschaft. Konstanz.
- Kainz, F. (1927), Lügenerscheinungen im Sprachleben // Lipman, O. / Plaut, P. (eds.), *Die Lüge in psychologischer, philosophischer, juristischer, pädagogischer, historischer, soziologischer, sprach- und literaturwissenschaftlicher und entwicklungsgeschichtlicher Betrachtung*. Leipzig, 212–243.

- Keller, R. (1994), *Sprachwandel*. Von der unsichtbaren Hand in der Sprache. Tübingen/Basel.
- Lakoff, G. (1987), *Women, Fire, and Dangerous Things*. What Categories Reveal about the Mind. Chicago/London.
- Leonhardt, R. / Rösel, M. (eds.) (2002), *Dürfen wir lügen?* Beiträge zu einem aktuellen Thema. Neukirchen-Vluyn.
- Liessmann, K.P. (ed.) (2005), *Der Wille zum Schein*. Über Wahrheit und Lüge. Wien.
- Löw-Beer, M. (1990), *Selbsttäuschung*. Philosophische Analyse eines psychischen Phänomens. Freiburg/München.
- Lutzeier, P.R. (1995), Lexikalische Felder — was sie waren, was sie sind und was sie sein könnten // Harras, G. (ed.), *Die Ordnung der Wörter*. Kognitive und lexikalische Strukturen. Berlin/New York, 4–29.
- Mayer, M. (ed.) (2003), *Kulturen der Lüge*. Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien.
- Nagel, I. (2004), *Das Falschwörterbuch*. Krieg und Lüge am Jahrhundertbeginn. Berlin.
- Roth, J. / Sokolowsky, K. (2000), *Lügner, Fälscher, Lumpenhunde*. Eine Geschichte des Betrugs. Leipzig.
- Schäfer, A. / Wimmer, M. (2000), *Masken und Maskierungen*. Opladen.
- Schindler, W. (1993), Phraseologismen und Wortfeldtheorie // Lutzeier, P.R. (ed.) (1993), *Studien zur Wortfeldtheorie*. Studies in Lexical Field Theory. Tübingen, 87–106.
- Schmid, J. (2000), *Lügen im Alltag*. Zustandekommen und Bewertung kommunikativer Täuschungen. Münster (= Sozialpsychologisches Forum; 3).
- Schockenhoff, E. (2005; 2000), *Zur Lüge verdammt?* Politik, Justiz, Kunst, Medien, Wissenschaft und die Ethik der Wahrheit. Freiburg/Br.
- Shibles, W. A. (2000), *Lügen und lügen lassen*. Eine kritische Analyse des Lügens. Aus dem Amerikanischen von Barbara Maier. Mainz.
- Skorochoďko, E.F. (1981), *Semantische Relationen in der Lexik und in Texten*. Bochum.
- Strecker, Bruno (1987), *Strategien des kommunikativen Handelns*. Zur Grundlegung einer Grammatik der Kommunikation. Düsseldorf.
- Sweetser, E. (1987), The Definition of *Lie*: an Examination of the Folk Models Underlying a Semantic Prototype // Holland, D. / Quinn, N. (eds.), *Cultural Models in Language and Thought*. Cambridge u. a., 43–66.
- Weinrich, Harald [2000 (1966)], *Linguistik der Lüge*. München.
- Wittgenstein, L. [1963] (1922)], *Tractatus Logico-Philosophicus*. Frankfurt/M. (= Schriften; 1).
- Zagorin, P. [1990], *Ways of Lying*. Dissimulation, Persecution, and Conformity in Early Modern Europe. Cambridge, Mass.

УТОЧНЯЮЩИЕ ФОРМУЛИРОВКИ И СИНТАКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА

В плане истинности или ложности высказывания представляют интерес уточнения предшествующего контекста, т.е. не опровержение содержания, а исправление способа выражения. В фокусе нашего внимания находятся прежде всего примеры таких контекстов, в которых корректируется предшествующая формулировка или номинация, часто со словами типа *точнее*, *вернее* и т. п. Кроме того, будут привлекаться некоторые контексты, в которых даются параллельные описания одной и той же ситуации.

С лингвистической точки зрения в первую очередь представляют интерес такие примеры, когда противопоставляемые высказывания являются синонимичными или квазисинонимичными и при этом различаются синтаксическими конструкциями, в основном совпадая лексически. Подобные примеры могут рассматриваться как стихийный лингвистический эксперимент, позволяющий выявить некоторые закономерности, в частности, в плане синтаксической семантики и в плане номинации действия, которые практически незаметны в обычных контекстах, т.е. без поправок и уточнений.

Так, в частности, одно и то же реальное действие, как правило, может быть названо либо по цели, либо по способу осуществления («денотативной составляющей» [Кустова 1992]), либо по результату, причем эти аспекты обозначаются, как правило, одним и тем же глаголом (во всяком случае, так обстоит дело во многих языках). Обычно эта потенциальная неоднозначность остается незаметной, однако разница трех аспектов явно выступает там, где их несовпадение актуализовано, где они противопоставлены. Ср.:

- (1) *Он меня пугает своими произведениями, а мне не страшно*
(Л. Толстой о Л. Андрееве; приводится по [Булыгина 1982]).

В данном примере действие названо по намерению, с которым, однако, не совпадает результат. Еще более характерны следующие примеры:

- (2) — *Первоначально он отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя собакой — тут арестант усмехнулся, — я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово...* (М. Булгаков).

- (3) *И вот — оскорблен я не был! Оскорбление было, но я его не почувствовал!* (Достоевский).

Таким образом, глагол *оскорблять*, как и многие другие, потенциально неоднозначен: он может значить а) «предпринимать действия (произносить слова) с целью оскорбить»; б) «предпринимать действия (произносить слова), в результате которых адресат почувствовал себя оскорбленным». В приведенных выше примерах глагол обозначает попытку достичь результата, причем безуспешную: результат отрицается в том же предложении, т. е. действие названо по цели. Возможен, разумеется, и противоположный случай: *он испугал/оскорбил меня* в значении «я его испугался/почувствовал себя оскорбленным», что вовсе не предполагает, что напугавший или оскорбитель действовал с такой целью.

Само по себе это наблюдение нельзя считать новым: в других терминах и с иными акцентами такая неоднозначность часто связывается с категорией глагольного вида (т. н. конативное значение несовершенного вида); в работе [Булыгина 1982] эти явления также рассматриваются в связи с категорией контролируемости, которая, в свою очередь, связана с наличием волевого начала у субъекта; Ю. Д. Апресян [Апресян 1974] трактует сходные явления как речевую неоднозначность применительно к значениям намеренности–ненамеренности действия. Однако необходимо подчеркнуть, что в подобных примерах присутствует синтаксический фактор: существенна не только собственная семантика глагола, но и сочетание глагола действия с одушевленным подлежащим. Как будет показано далее, тенденция интерпретировать подобные конструкции как обозначения действия, причем намеренного и контролируемого, определяет и некоторые другие типы неоднозначности и связанные с ними разновидности уточнений.

Большинство глаголов, как было отмечено, не только не различают намеренного и ненамеренного действия, но также, что не менее важно, не дифференцируют действия и иные процессы; в нейтральном контексте такой глагол будет прочитываться скорее как обозначение намеренного и контролируемого действия; нейтральным является агентивное прочтение. Именно с этим связано уточнение в следующем примере:

- (4) *Потом я ощутил, что скорость падения уменьшилась. Я мог в какой-то мере управлять своим телом. Теперь мне удавалось удерживаться в сидячем положении. Стараясь не налететь на обломки скал, я из всех сил на ходу отгребал руками. Но вот я остановился. Вернее, тело мое остановилось* (Ф. Искандер).

Глагол *остановиться* в этом отношении довольно типичен. Он может обозначать прекращение движения а) по внутреннему импульсу, т.е. как действие человека; б) вызванное внешними причинами, как, например, останавливается катящийся камень. При неодушевленном подлежащем, разумеется, возможно только последнее прочтение, неагентивное, значение неконтролируемого процесса. С этим и связано уточнение, хотя стоит заметить, что фраза *я остановился* в данном контексте воспринималась бы скорее всего точно так же.

В этом же ряду следует рассматривать некоторые контексты, в которых одна денотативная ситуация описана дважды, с помощью различных синтаксических конструкций — как и в предыдущем случае, агентивной (на самом деле нейтральной) и одной из деагентивных. В этом случае подчеркивается дифференциальный семантический признак:

- (5) *Арина Петровна встретила сыновей торжественно, удрученная горем. Две девки поддерживали ее под руки; седые волосы прядями выбились из-под белого чепца, голова понурилась и покачивалась из стороны в сторону, ноги едва волочили. Вообще она любила в глазах детей разыгрывать роль почтенной и удрученной матери и в этих случаях с трудом волочила ноги и требовала, чтобы ее поддерживали под руки девки* (Салтыков-Щедрин).

Во втором случае, так как речь идет о намеренном контролируемом действии, невозможно **и в этих случаях ноги волочились с трудом*. Следует заметить, что фраза *она едва волочила ноги* не обязательно предполагает намерение; однако, так как в первом случае речь идет о видимости ненамеренного действия, употреблена маркированная деагентивная (в данном случае возвратная) конструкция. Полностью аналогичен и пример с другой деагентивной конструкцией, где одна и та же ситуация описана дважды: как действие человека и как независимое от него стихийное проявление:

- (6) *Крикнул я тогда без намерения, даже за секунду не знал, что так крикну; само крикнулось* (Достоевский).

Фраза *само крикнулось*, собственно, дублирует сказанное перед этим «крикнул без намерения», «за секунду не знал, что крикну». Тем не менее рассказчику высказывание *я крикнул* даже со всеми пояснениями представляется недостаточно точным или, скорее, недостаточно выразительным, так как оно недостаточно акцентирует нужные смыслы. Кстати, это позволяет сделать вывод, что синтаксические средства, по всей видимости, сильнее лексических.

Подводя некоторый итог, можно отметить, что примеры (4)–(6) могут быть описаны в терминах привативной оппозиции. Немаркированный элемент уточняется путем противопоставления маркированному, таким образом более широкий способ обозначения ситуации противопоставлен более узкому и потенциально неоднозначное высказывание уточняется при помощи однозначного. Хотя в большинстве приводимых примеров изначально не было неясности, говорящий (персонаж или автор), по-видимому, счел формулировку потенциально неоднозначной, слишком широкой или недостаточно акцентирующей определенные смыслы. Другая, уточняющая формулировка усиливает то, что уже было выражено.

В то же время существуют уточнения, которые существенно меняют смысл сказанного, обычно в тех случаях, когда дифференциальная сема оказывается принципиальной для содержания. В таком случае слишком широкий способ обозначения ситуации воспринимается как обманный маневр, как целенаправленное умолчание или сдвиг акцентов. С этой стороны показательны противопоставления пассива (без упоминания агенса) активу, характерные для английского языка:

- (7) *In place of saying she knew **what she was doing** you said she knew **what was being done*** (E. S. Gardner).

Наконец, высказывание может быть столь уклончивым, витиеватым, умышленно неточным, слишком широко сформулированным, что в итоге может представляться ложным; в этом отношении показателен следующий диалог:

- (8) — *Степан Владимирович дом-то в Москве продали...* — *доложил бурмистр с расстановкой.*
 — *Ну?*
 — *Продали-с.*
 — *Почему? Как? не мни! сказывай!*
 — *За долги... Так нужно полагать! Известно, за хорошее дело продавать не станут.*
 — *Стало быть, полиция продала? Суд?*
 — *Стало быть, что так. Сказывают, в восьми тысячах с аукциона дом-то пошел* (Салтыков-Щедрин).

Последний пример заслуживает особого рассмотрения; хотя он так же, как и предыдущие, касается сочетания глаголов действия с одушевленными подлежащими, но затрагивает иные аспекты семантики. Так, в русском и ряде других языков сочетание глагола с одушевленным подлежащим может иметь целый ряд прочтений:

а) субъект — агенс сам совершил действие, т.е. является исполнителем действия;

б) субъект является инициатором действия, которое исполняет кто-то другой;¹

в) субъект — экспериент (experiencer), т.е. «у него/с ним что-то случилось».

Именно последний случай, относительно редкий и периферийный, представляет интерес для анализа и интерпретации. Он проявляется, как правило, в описаниях довольно узкого круга стандартных ситуаций — типа «он сломал руку».

В литературе для подобных примеров предлагаются различные интерпретации. Во-первых, они связываются с ненамеренной каузацией [Булыгина, Шмелев 1997: 189]: наиболее яркие примеры такого типа — *сесть в тюрьму и освободиться из тюрьмы*. Авторы высказывают точку зрения, что возможность употребления в подобном значении является словарной характеристикой глагола, т.е. возможность такого прочтения ограничена определенным узким кругом глаголов. Другое объяснение (но по сути аналогичное) дается в [Thompson 1985], где данное явление рассматривается в терминах контроля: в случаях типа *I broke my arm*, *Harry got lost* и т. п. субъекты трактуются как non-control agents (в отличие от пациенсов в примерах типа *I got sick*, *Harry sneezed*), так как предполагают все же некоторую «ответственность». Наконец (что, впрочем, связано с предыдущими трактовками), подобные примеры можно трактовать как пермиссивы: фактически ненамеренная косвенная каузация, т.е. субъект способствовал возникновению ситуации какими-либо своими действиями или (в большинстве случаев) бездействием, при этом, как правило, присутствует элемент пациентивности (affectedness) субъекта. Реально пермиссивность охватывает некоторый диапазон ситуаций, причем каузативный элемент может быть минимальным или даже отсутствовать. Во многих языках существуют особые формы для пермиссива²; для глаголов действия в форме действительного залога такое значение в любом случае является периферийным, если не маргинальным. Однако такие употребления все же возможны (ср. *он ушел с работы* применительно к ситуации, когда его выгнали).

¹ Таковы часто приводимые примеры типа *он сшил себе пальто* в смысле «заказал в ателье» (а не сшил собственноручно).

² Например, конструкции с глаголом *laisser* во французском языке или *lassen* в немецком. В данной статье применительно к русскому языку этот термин используется как семантический ярлык, пермиссивность понимается как специфический тип каузации. Подробнее о семантике пермиссивности см. [Недялков 1964, Галямина 2001].

Заметим, что ситуация продажи дома, в отличие от перелома руки или попадания в тюрьму, явно не входит в круг ситуаций, для которых такая интерпретация типична. Применимость к ситуации, описанной в примере (8), формулировки «Степан Владимирович дом продали» небесспорна, но, как было видно из вышеизложенного, подобные случаи в принципе возможны, именно это и позволило бурмистру преподнести данное событие таким образом. Однако такой способ описания данной ситуации явно неадекватен, так как умалчивается, что продажа дома произошла не по воле владельца и без его участия; более того, в обычном прочтении подобное предложение имплицитно обратное. Таким образом, неупоминание в примере (8) существенного момента воспринимается как дезинформация.

Рассмотренный материал позволяет подвести некоторые итоги.

Многие из приведенных выше примеров построены на противопоставлении деагентивных конструкций агентивным и прежде всего связаны с кругом значений конструкции с одушевленным подлежащим при агентивном глаголе. С одной стороны, эти конструкции немаркированы в отношении значений намерения, контроля, агентивности, результативности и ряда других, деагентивные же конструкции (возвратные, безличные и т. д.) являются средством выражения значений непреднамеренности, неконтролируемости действия или даже независимого от субъекта стихийного процесса. При уточнении содержания агентивной конструкции с помощью деагентивной подчеркиваются семы непреднамеренности, неконтролируемости, неагентивности. Таким образом, более широкому обозначению ситуации противопоставлено более узкое как более точное приближительному.

С другой стороны, несмотря на то, что конструкции с одушевленными подлежащими при акциональном глаголе являются нейтральными (немаркированными) в отношении перечисленных выше значений, они, как правило, не воспринимаются как неопределенные в данном отношении, а прочитываются как обозначающие намеренные и контролируемые действия, а подлежащее, соответственно, воспринимается как обозначение деятеля, если контекст не указывает на иное. Таким образом, можно говорить о нейтральном, **прототипическом прочтении** или прототипическом значении. Хотя многие высказывания (большинство из приведенных, которые далее уточняются в том же тексте) могут иметь и иные прочтения, естественно, что сильна тенденция интерпретировать их в соответствии с прототипом. Представляется, что именно с этим моментом связано их восприятие как не вполне удачных, неточных, не вполне верных, хотя они и не являются ложными.

ЛИТЕРАТУРА

- Булыгина 1982 — Булыгина Т. В. К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982.
- Булыгина, Шмелев 1997 — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.
- Галямина 2001 — Галямина Ю. Е. Акцессивно-рецессивная полисемия показателей залога и актантной деривации // Исследования по теории грамматики 1. Глагольные категории. М., 2001.
- Недялков 1964 — Недялков В. П. О связях каузативности и пассивности // Вопросы общего и романо-германского языкознания. Ученые записки Башкирского государственного университета. Серия филологических наук. № 9. Уфа, 1964.
- Кустова 1992 — Кустова Г. И. Некоторые проблемы анализа действия в терминах контроля // Логический анализ языка. Модели действия. М., 1992.
- Thompson 1985 — Lawrence C. Thompson. Control in Salish Grammar // Relational Typology. Berlin; New York; Amsterdam, 1985.

ЛОЖЬ И ВАРИАНТЫ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ДИСКУРСЕ (СОЦИАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Цель статьи — исследовать не сам концепт «ложь» (он уже достаточно исследуется), а ложь как особенную стилистическую девиацию в контексте имплицитных выражений, где выявление скрытого (девиантного) смысла и способствует более тонкому концептуальному подходу к исследованию вариантов ее проявления в дискурсе путем анализа языкового поведения с учетом социальных характеристик коммуникативных ситуаций, где ключевым и наиболее универсальным подходом к изучению такого рода явлений необходимо считать *социально-прагматический анализ*.

Эта проблематика особенно актуальна в связи с изменением ориентации лингвистических исследований, усовершенствованием принципов анализа языковых явлений, а также необходимостью разработки новых методов и принципов анализа с более универсальных позиций, позиций *социальной прагматики дискурса*.

Прежде чем непосредственно перейти к предмету нашего исследования, необходимо дать определения его ключевым понятиям:

Социальная прагматика дискурса — новое направление в социальной лингвистике, исследующее особенности смысла дискурсных высказываний относительно социальных характеристик ситуаций.

Социально-прагматический анализ — метод реконструирования смысла высказывания исходя из принципов социальной прагматики. Предусматривается, что этот смысл синтезируется из общего смысла высказывания и смысла семиотической ситуации (ситуации смыслообразования, восприятия вещи как знака), детерминированной социальными характеристиками.

Дискурс — текст, который рассматривается в контексте коммуникативной ситуации.

Семантика дискурса — все, что связано с самой ситуацией (место, время взаимодействия, а также ментальные и социальные характеристики коммуникантов).

Прагматика дискурса — семиотическое направление, исследующее особенности смысла дискурсных высказываний при употреблении языковых средств в ситуациях.

Прагматика смыслообразования — особенности влияния смысла дискурсной ситуации на смысл высказывания в дискурсе.

Дискурсное высказывание — высказывание как элемент определенного вида дискурса.

Прагматическая ситуация — контекст, необходимое условие существования дискурса.

Девияция — отклонение с ориентацией на определенную норму.

Уклонение в дискурсе — нарушение социально-языковой нормы (синтаксических, семантических и прагматических особенностей дискурса с учетом социальных характеристик ситуации).

Стилистическая девияция — нормированное (соответственно с нормой стиля) нарушение употребления нормированного выражения относительно общепринятой универсальной нормы (*нейтрального стиля*).

Метафоризация — процесс образования метафоры.

Метафорический синтез — смыслообразование метафоры, обусловленное некоторыми факторами (смысл ситуации, смысл метафоробразующих слов в контексте и смысл самого контекста).

Метафорическое смещение — дополнение элементов смысловой структуры фокуса (ядра ситуации) элементами смысловой структуры спецификатора. Деформация структуры фокуса и уподобление его структуре спецификатора (дополнения), где границы метафоры и есть границы уподобления.

Стиль — нормативная характеристика синтаксических, семантических и прагматических особенностей дискурса (система отклонений от нормы *нейтрального стиля*).

Нейтральный стиль — характеристика дискурса относительно норм идеальной коммуникации (общепринятых, стандартизованных лингвистами норм).

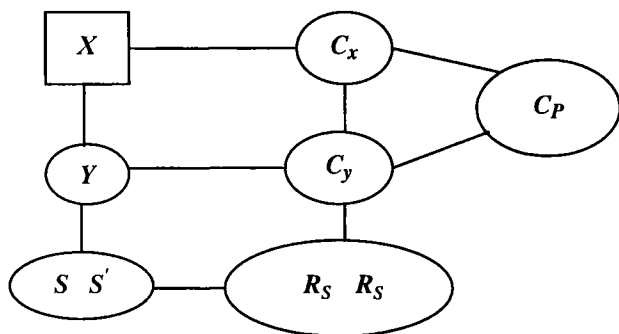
Юмористический стиль — характеристика дискурса относительно его синтаксических, семантических и прагматических особенностей (беззлобная шутка), основанных на наличии элементов дружеского смехового поведения, на намерении коммуникантов уклониться от серьезного разговора.

Иронический стиль — характеристика дискурса относительно его синтаксических, семантических и прагматических особенностей, основанных на частичной истинности и частичной ложности, где номинативная компонента возможно истинная, а оценочная — возможно ложная.

Саркастический стиль — характеристика дискурса относительно его синтаксических, семантических и прагматических особенностей (едкая шутка, язвительная насмешка), основанная на чувстве превосходства говорящего над тем, о ком он говорит или к кому обращается (злобное высмеивание).

В связи с исследованием лжи и вариантов ее проявления в дискурсе необходимо учитывать их социопрагматический аспект анали-

за, который включает следующие компоненты: *социопрагматическую установку* (цели коммуникантов, их желания, интересы); *социопрагматическую схему коммуникативной ситуации* (социальные роли, статус, позицию); *специфику коммуникативной ситуации* (нормальность, девиантность). А сами принципы социально-прагматического анализа можно проследить и объяснить при помощи схематического изображения:



X — высказывание; Y — коммуникативная ситуация; C_x — смысл X ; C_y — смысл Y ; C_p — прагматический смысл высказывания X ; S, S' — коммуниканты; R_s, R_s — социальные роли коммуникантов.

Соответственно предложенной схеме все девиации, независимо, следует классифицировать на:

- *синтаксические девиации (X)*, неправильное употребление слов (умышленное, диалектное, сленговое).

Ярким примером таких девиаций могут быть устойчивые московские выражения (диалектизмы), характерные для XIX века, возможно теперь вышедшие из употребления. Например, явления обмера и обвеса, практикующиеся в торговле. Как раз лживость торговцев чаще всего является определяющей чертой их поведения, на чем и построена следующая ситуация: «На бумажку» идет крупа, ветчина или колбаса высшего сорт по ценам...

В данном случае устойчивое выражение «на бумажку» или еще «на пакет» (*продаваемое упаковывается или в двойной пакет, или в толстую, тяжелую бумагу, отнимающую при небольших порциях покупаемого значительную часть веса*) только в контексте отображает смысл самого концепта «ложь» [Иванов 1986: 166].

- коммуникативные девиации (Y), «ненормальность» ситуации (дуэль — девиация по отношению к сотрудничеству как типу нормального общения; ситуация, в которой принимают участие коммуниканты с различными социальными статусами).

Ярким примером проявления коммуникативных девиаций с элементами синтаксических может быть известный рассказ А.П. Чехова «Толстый и тонкий». В коммуникативной ситуации (случайная встреча бывших друзей на вокзале) принимают участие коммуниканты с различными социальными статусами:

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!..

— Милый мой! — начал тонкий после лобызания. — Вот не ожидал! Вот сюрприз!.. Ах ты, господи!

— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где? Дослужился?

— Служу, милый мой! Коллежским ассессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое... ну, да бог с ним!.. Ну, а ты как? Небось уже статский? А?

Далее напоминание толстым своего статуса сразу меняет ход дискурса.

— Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал толстый. — Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился...

— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!

— Помилуйте... Что вы-с... — захихикал тонкий, еще более съеживаясь... [Чехов 1988: 32–33].

Сначала мы имеем пример процесса «нормальной» коммуникации: свободное проявление эмоций, когда социальный аспект не имеет значения. Затем включаются социальные моменты, которые, в принципе, должны способствовать дальнейшему общению, но подсознательно разрушают его. Если бы тонкий по ходу ситуации анализировал свой дискурс с толстым, он занимался бы самопознанием. Тогда тонкий сделал бы сразу вывод о себе как о «социальном трусе». Осознание этого и было бы осознанием границ своей социальной сво-

боды путем анализа языкового поведения. Но возможно боязнь внутренней пустоты рождает социальную маскировку и несознательную попытку защититься социальным статусом и ролью. И своей трусостью, таким образом, «загоняя себя в обман», оскорбил старого друга.

Отчетливо это прослеживается, когда их диалог дополняется синтаксическими девиантными элементами (социопрагматическими компонентами с ориентацией на коммуниканта с его оценкой) со стороны тонкого: *«Очень приятно-с! Вельможы-с! Хи-хи-с. Помилуйте... Что вы-с...»* [Там же: 32-33].

- *прагматические девиации*, связанные с соотношением смыслов коммуникативной ситуации и высказывания C_p ($C_x - C_y$) (шутки дуэлянтов, «черный юмор»).

Один яркий пример «черного юмора» следующий:

Сидит девушка на мосту и плачет.

Проходит рядом мужик и спрашивает:

— Чего, девушка, плачешь?

— Да вот, булочка в реку упала...

Мужик:

— Небось с маком?

Девушка:

— Да нет... с братом....

Перед нами — «черный юмор», который базируется на скрытом обмане, путем проявления прагматической девиации, связанной с соотношением смысла самой ситуации и высказываний девушки (прикидывающейся сумасшедшей), которая пытается скрыть намеренное убийство брата в виде имитированных высказываний, которые в контексте приобретают смысл насмешки над смертью родного брата (как абсурдной), дополняющейся здесь высмеиванием плача как якобы акта сожаления по поводу случившегося. Этот пример «черного юмора» вызовет улыбку не в любой аудитории. Так, люди, видевшие погибавших таким образом или жертв, вышедших из подобной ситуации живыми, вряд ли улыбнутся, услышав такую шутку. Перед нами очень сложный пример прагматической девиации, связанной с проявлением следующего варианта лжи — скрытого обмана, в связи с которым коммуникативная («комическая») ситуация приобретает парадоксальный смысл.

Еще можно привести один пример проявления прагматической девиации, связанной с соотношением смыслов коммуникативной ситуации и высказывания, опять-таки акцентируя внимание на их дополнении синтаксическими средствами, где как раз лживость торгов-

цев отчетливо проявляется в следующей ситуации, поскольку является определяющей чертой их поведения: *«В нашем деле много есть большого секрета. По зале цветы продают цветочницы. Подойдет к вам и просит: „Купите, сударь, цветок, вон та барышня — Маруся из ложи — просит“ Вы за три рубля и раз! А цветочек, извольте видеть, хе-хе-хе-с, тряпичный и подержанный очень сильно. Вам и в ручки его не дают, а прямо к той, к Марусе этой. Маруся вам споклонится, посидит с ним, будто нюхает, а потом — шасть в буфет. Там цветочек у нее взад примут и ей рубль пятьдесят выдадут. Половину, значит, буфет наживет, а половину ей за просьбу. Один цветочек раз по сто хозяин продаст, оттого они сгрязнились. Раньше живые, в натуральности были, так не выгодно, на раз-два больше не продашь, непрочный товар!»* [Иванов 1986: 277].

В данной прагматической ситуации мы видим яркое проявление опять-таки скрытого обмана как сильной девиации в дискурсе, как проявления лжи, который еще дополняется и синтаксическими средствами: *хе-хе-хе-с; тряпичный и подержанный; шасть в буфет; взад примут; сгрязнились; в натуральности были.*

- *стилистические девиации* — нормированные прагматические девиации (вежливое обращение друг к другу дипломатов враждующих стран).

Ярким примером стилистических девиаций является исторический факт 1940 года — объявление войны Советскому Союзу министром иностранных дел Германии Риббентропом.

Жалко, двулично вел себя Риббентроп при объявлении войны Советскому Союзу. Сцена эта описана ее участником, тогдашним работником советского посольства в Берлине В. Бережковым:

Сообщив, что час тому назад германские войска перешли границу Советского Союза, Риббентроп принялся уверять, что эти действия Германии не являются агрессией, а лишь оборонительными мероприятиями. После этого, — продолжает В. Бережков, — Риббентроп встал и вытянулся во весь рост, стараясь придать себе торжественный вид. Но его голосу явно не доставало твердости и уверенности, когда он произнес последнюю фразу.

— Фюрер поручил мне официально объявить об этих оборонительных мероприятиях...

Когда разговор был окончен и советские представители направились к выходу, произошло неожиданное. Риббентроп, семена, поспешил за ними. Он стал скороговоркой, шепотком уверять, будто лично он был против этого решения Фюрера. Он даже якобы отговаривал Гитлера от

нападения на Советский Союз. Лично он, Риббентроп, считает это безумием. Но он ничего не мог поделать. Гитлер принял это решение, он никого не хотел слушать...

— Передайте в Москве, что я был против нападения, — услышали мы последние слова рейхсминистра, когда уже выходили в коридор... [Ковалев 1988: 215].

Разумеется, шепоток Риббентропа не мог обмануть, но попытка перестраховаться, слицемерить — налицо.

Таким образом, отсутствие внутренней уверенности так или иначе прорывается в поведении дипломата, каким бы вышколенным он ни был.

В данных случаях анализируются выражения, связанные с самим концептом «ложь» и вариантами его проявления («обман», «лесть»), которые только в контексте становятся девиантными по отношению к реальности (истине) — контексту (идеальной (нормированной) коммуникации), который предполагает откровенность/искренность и который, согласно намерению говорящего, должен быть понят адресатом.

Исследуя предлагаемую проблематику с точки зрения социальной прагматики, необходимо учесть и исследования Х. Вайнриха, который анализирует ложь как лингвистическую проблему и вводит нас в мир метафоры, замечая при этом такие ключевые ее характеристики, как точность и истинность. «Мы не лжем, когда говорим образно. Метафору нельзя обвинить во лжи» [Вайнрих 1984: 44–87].

Учитывая эти особенности, следует заметить, что контекст, уточняя метафорический смысл высказывания, может даже создавать саму метафору.

Таким образом, используемая стилистическая метафора в дискурсе может приобретать значение отклонения от общепринятой нормы в общении (как идеальном (нормированном), в котором должны учитываться цели, интересы, установки, желания коммуникантов).

Таким образом, согласно вышепредложенной схеме классификации девиаций, принципы анализа метафоры как стилистической девиации точно так же объясняются при помощи этой же схемы, только гипотеза истинного значения метафорического выражения постоянно корректируется контекстом употребления, а границы смысла определяются уже стилем общения.

Но отсюда тогда очень сложно, или фактически невозможно, обнаружить подлинность метафорического отклонения в дискурсе, если поддерживать мысль Х. Вайнриха о том, что мы не лжем, когда говорим образно [Там же: 44–87].

Необходимо исследовать границы смысла метафорического высказывания, одновременно исследуя границы истины метафоры (возможного метафорического смещения в дискурсе, которое приобретает значение метафорического осмысления в контексте структурно-смыслового синтеза).

Формирование самого процесса метафоризации зависит от главных его особенностей, которые связаны с социально-прагматическим анализом смысла (C_p) (см. схему), и само формирование процесса начинается с прояснения принципов *интерактивной теории метафоры* М.Блэка, наиболее адекватной социально-прагматическому подходу [Блэк 1990: 153–172].

С ориентацией на социопрагматические исследования, *интерактивную теорию метафоры* М.Блэка можно детализировать в таком направлении. Смысл коммуникативной ситуации Y (C_y) влияет на смысл высказывания X (C_x) с возникновением *метафорического смещения* и *интерактивного смысла* C_p (см. схему). В свою очередь *метафорическое смещение* следует понимать как дополнение элементов смысловой структуры фокуса (ядра ситуации) элементами смысловой структуры спецификатора. Смещение возникает в результате деформации структуры фокуса и уподобления ее структуре спецификатора; причем *границы метафоры* и есть границы уподобления. Например, в метафоре «*Ричард — лев*» границу можно проследить между неметафорическими выражениями «*Ричард — сильный*» и «*Ричард имеет когти*». Метафора указывает, открывает зону возможной истины (если *Ричард — лев*, значит он *сильный, храбрый*). Неистинное находится вне сферы метафорического смещения (хотя *Ричард — лев*, у него нет хвоста). Еще один пример метафоры «*Весь мир — театр*»: люди в жизни играют роли как в театре (игра в роли — сфера смещения), в театре есть суфлер, а в жизни — нет (этот элемент смысла — вне сферы метафорического смещения).

Согласно этой же схеме метафорическое выражение уточняется смыслом коммуникативной ситуации дискурса. Например, относительно метафоры «*Человек человеку — волк*». Если человек, о котором говорится в дискурсе, — бизнесмен, тогда скорее всего речь идет о безжалостной конкуренции, с другой стороны, если человек, который произносит это предложение, — политик, тогда он имеет в виду агрессивное отношение к другому человеку в политической борьбе.

Уточнение метафоричности в контексте дискурса социальной ролью, статусом коммуникантов (кроме социально-языковых терминов в самом метафорическом высказывании) делает метафору *социальной*. Например, метафора «*Ричард — лев*» несет социальный смысл, если *Ричард — это король*.

Дискурсные девиации коммуникативных ситуаций конкретизируют (если не образуют) саму же метафору. Стилль формируется, когда метафорическое значение синтезируется с ситуативным, он зависит от непрямого употребления метафоры. Если метафорическое значение согласовано с ситуативным — это прямое употребление метафоры: *Ричард действительно храбрый*. Если нет согласованности, тогда это возможно *иронический* или скорее *саркастический* стилль: *Ричард действительно трус, но не храбрый*. Важную роль при создании социальной метафоры играют границы метафоры, которые определяются характеристиками ситуации, ролями участников, типом общения.

Ярким примером метафорической стилизации может быть обращение «*Мудрейший!*». В этом обращении стилизация (*юмор, ирония или сарказм*) формируется в столкновении метафорического значения с ситуативным и зависит от интеллектуальных качеств того, к кому обращаются, и от оценки этих качеств тем, кто обращается. *Юмористический стилль* проявляется тогда, когда оба собеседника считают друг друга умными; *иронический* — когда один из них считает другого не совсем умным (глупо повел себя в конкретной ситуации), и этот другой соглашается с такой оценкой; *саркастический* — если он не соглашается и считает себя очень умным. Обращение Короля Лира, который начинает сходить с ума, к Эдгару, который прикидывается сумасшедшим («*фиванец мудрый*», «*благородный мой философ*»), является примером очень сложной по стилю социально-прагматической метафоризации.

Таким образом, девиации в общении (детерминированные социально или психологически) определяют стилль девиантного употребления метафоры (*юмор, ирония, сарказм*).

Восприятие адресатом высказывания дискурса в другом по отношению к намерению адресанта стилле (например, шутка воспринимается как оскорбление) свидетельствует о коммуникативных нарушениях.

Таким образом, исследуя проблематику лжи и вариантов ее проявления, необходимо обратить внимание и на понятие «*умышленная (намеренная) фантазия*», значение которого не корректируется при употреблении в дискурсе, а приобретает контекстуальные характеристики понятия лжи, где границы между ними почти невозможно установить. *Умышленная (намеренная) фантазия* становится *подсознательной ложью* (возможно эмоциональной разрядкой состояния адресанта), либо мотивом уклонения (при желании уйти от конфликта) — *интуицией*, либо *фантазия* коммуниканта настолько универсальна, что никакой существенной смысловой нагрузки не имеет и, таким образом, противопоставляется концепту «ложь».

Человек, которому целенаправленно адресуется ложное высказывание, пребывает в *состоянии обманутого* (умышленное нарушение общепринятой нормы).

Ложное высказывание формирует стиль (*юмористический, иронический, саркастический*). Каким образом это происходит, можно проследить на конкретном примере формирования юмористического стиля, где можно обнаружить и аспекты иронического (например, вежливое притворство, которое всегда в устной речи выражается четкой интонацией, что логически исключает не только явную ложь, но и все ее составляющие).

Таким ярким примером юмористического стиля, который дополняется аспектом иронического, является литературное произведение известного писателя-юмориста Михаила Зощенко — «Качество продукции»:

— Вот это я понимаю,— сказал он. — Вот это качество продукции! Вот это достижение. Это, действительно, не переплюнешь, товар. Хочешь морду пудри, хочешь блох посыпай! На все годится. <...>

— Целый месяц пудрюсь, и хоть бы одна блоха меня укусила. Жену, мадам Гусеву, кусают. Сыновья тоже целные дни отчаянно чешутся. Собака Нинка тоже скребется. А я, знаете, хожу и хоть бы что. Даром что насекомые, но чувствуют, шельмы, настоящую продукцию. Вот это действительно... [Зощенко 1988: 155–157].

Гусев, узнав о действительном предназначении розового порошка, не поник, а, наоборот, обрадовался и похвалил качество зарубежной продукции. Оказалось, это было немецкое средство против разведения блох. Важную роль при этом сыграли определенная интонация и выражения, которые несли рекламную нагрузку (рекламный смысл) и определили, таким образом, престижность товара, но отнюдь не фантазируемое желаемое Гусева (*пудру после бритья*). Отсюда понятие «лести», как отклонение от истины и составляющей лжи. А *истинное высказывание* предполагает откровенность и согласно намерению говорящего должно быть понято адресатом.

В отличие от лжи, которая независимо от смысла контекста всегда нормирована, фантазия никогда не бывает нормированной и как понятие очень близка к иллюзорному представлению о действительности (иллюзии).

Если под ложью подразумевается *состояние обманутого*, то фантазия в контексте может восприниматься как заблуждение (ошибка) (*состояние обманувшегося*) либо вообще ни на что не влиять, независимо от степени значимости ситуации. Если лезть как отклонение от истины — это составляющая лжи, то «обольщение» как понятие, очень близкое понятию «иллюзия», составляющей фантазии.

Таким образом, проблематика лжи и вариантов ее проявления в дискурсе особо актуальна при исследовании границ их пересечения,

поскольку коммуникативные высказывания могут приобретать и метафизическое значение и восприниматься в различных социальных контекстах в различных стилях.

ЛИТЕРАТУРА

- Блэк 1990 — *Блэк М.* Метафора // Теория метафоры. М., 1990. С. 153–172.
Вайнрих 1984 — *Вайнрих Х.* Лингвистика лжи // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1984. С. 44–87.
Ковалев 1988 — *Ковалев А.* Азбука дипломатии. М., 1988. С. 215.

ИСТОЧНИКИ

- Зощенко 1988 — *Зощенко М.* Качество продукции // *Зощенко М.* Избранное. М., 1988. С. 155–157.
Иванов 1986 — *Иванов Е.* Меткое московское слово. М., 1986. С. 166, 277.
Чехов 1988 — *Чехов А.* Толстый и тонкий // Избранные сочинения. М., 1988. С. 32–33.

СТЕПЕНЬ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ИСТИНЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ДИСКУРСЕ

Понятие истины (И.) занимает одно из центральных мест в философии познания, выступая главным критерием установления степени соответствия выводного знания окружающей действительности. С одной стороны, в обществе всегда присутствует определенное согласие по поводу того, что следует признавать истинным и, следовательно, противопоставленным лжи, неправде, а с другой, попытки сформулировать определение самой И. наталкиваются на трудности, вызванные различной позицией в оценке данного понятия. Сопоставление определений И., получивших распространение в разные периоды истории европейской цивилизации, показывает, что ее толкование не остается неизменным и эволюционирует в соответствии с переменами, наблюдаемыми в общественной мыслительной парадигме. Приведем лишь некоторые примеры, в которых прослеживается заметная диахроническая трансформация:

1. «Истина — 1) то, что существует в действительности, отражает действительность, правда; 2) утверждение, суждение, проверенное практикой, опытом» [Ожегов 1972].

2. «Истина — соответствие знания действительности; объективное содержание эмпирического опыта и теоретического познания. В истории философии И. понималась 1) как соответствие знания вещам (Аристотель); 2) как вечное и неизменное абсолютное свойство идеальных объектов (Платон, Августин); 3) как соответствие мышления ощущениям субъекта (Д. Юм); 4) как согласие мышления с самим собой, с его априорными формами (И. Кант).

В современной логике и методологии науки классическая трактовка И. как соответствия знания действительности дополняется понятием правдоподобности — степени истинности и соответственно ложности гипотез и теорий» [БЭС 1996].

3. «Истина — универсалия культуры субъектно-объектного ряда, содержанием которой является оценочная характеристика знания в контексте его соотношения с предметной сферой, с одной стороны, и со сферой процессуального мышления — с другой» [История философии 2002].

Уже в приведенных определениях со всей очевидностью видна общая тенденция постепенного перехода от понимания И. как некоего

универсального явления, единого для человеческого общества в целом (Аристотель, Платон, Августин), к И. индивидуальной, справедливой для отдельно взятого субъекта (Юм, Кант, Фуко). То есть с течением времени наблюдается постепенный отказ от поисков абсолютной, общепринятой И. и признание реальности множественных ее проявлений. В последнем из приведенных определений М. А. Можейко как раз и фиксирует ситуацию, складывающуюся в отношении И. в современной философии, делая, во-первых, акцент на оценочной характеристике И., тем самым показывая возможность и реальность множественных ее оценок; а во-вторых, констатируя связь между процессуальностью ментальных процессов и И., что и объясняет динамический характер самого понятия.

В структурном плане подобная дихотомия И. находит выражение либо 1) в трактовке И. как конечного продукта, формализованного результата в виде фиксированных критериев оценки (например, в христианской этике истинный христианин оценивается с позиций соответствия его поведения десяти заповедям); в этом случае в основе понимания истины лежит идеальное представление или модель, разделяемая большинством социума; либо 2) И. можно представить как процесс, или вечный путь (дао) в поисках этой истины; и тогда И. становится сам непрерывный процесс ее поиска, а сама она предстает в виде разных моделей, непрерывно сменяющих друг друга на разных отрезках пути; чаще всего это индивидуальный путь познания и открытия истинности бытия, характерный, например, для восточных религий.

В диахроническом плане приведенные выше дефиниции позволяют говорить о том, что в толкованиях И. присутствуют два подхода — онтологический, основанный на утилитарном опыте и использующий понятие истины в ежедневно-практическом опыте людей и социума, и второй — гносеологический, целью которого является обобщение эпистемического знания и его оценка на самых высоких уровнях абстракции. Анализируя постепенную преемственность точек зрения, можно заметить, что при том, что прежние концепции истины не выходят из употребления и остаются востребованными в определенных сферах человеческого общества, в целом наблюдается поступательное движение от трактовки И. на принципе соответствия знания объективному положению вещей, характерному для классической философии, в сторону интерпретации истинности того или иного явления с позиций индивидуального знания и сознания, ставшей наиболее востребованной в эпоху постмодернизма. «В связи с этим, — пишет Можейко, — в контексте постмодернистской философии трансформируется понимание когнитивного процесса как такового: по оценке Тулмина, „решающий сдвиг, отделяющий пост-

модернистские науки современности от их непосредственных предшественников — модернистских наук, — происходит в идеях о природе объективности“, заключающейся в переориентации с фигуры „бесстрастной точки зрения индифферентного наблюдателя“ к фигуре „взаимодействия участника“ Концепция И. артикулируется в постмодернистской концепции дискурса как концепция „игр И.“» [История философии 2002].

Принято считать, что И. является понятием, которое используется исключительно человеческим видом в его общественной практике. Как мы постараемся показать далее, некоторые характеристики истинности (прежде всего соотнесенность с объектами реального мира) имеют естественное происхождение и могут считаться биологически встроенными, присущими всем без исключения видам животного происхождения. Однако понимание И. как абстрактного понятия несомненно есть изобретение человеческого ума, результат намеренной рефлексии, который, будучи экстериоризованным, становится достоянием коллективного знания. Являясь одним из компонентов разделяемого человеческим коллективом знания, И. возникает в результате обмена информацией, который осуществляется преимущественно посредством языка. В связи с этим особое внимание лингвистов привлекает проблема истинности/ложности языковых выражений [Bolinger 1973, Есо 1979, Вейнрих 1987] — насколько адекватно интерпретируется в речи складывающаяся в реальной действительности ситуация.

Нам же представляется, что при рассмотрении динамики изменения взглядов на природу И. как одной из культурных универсалий требует учитывать не только собственно языковые средства, но и те формы коммуникации, которые востребованы в обществе на определенном историческом развитии. Думается, что понимание того, что может считаться истинным, во многом обосновано структурой дискурса, его формальными характеристиками, и поэтому семиотический подход в изучении постепенно меняющихся форм дискурсии может выявить объективные закономерности, объясняющие логику именно такого эволюционирования понимания И.

В диахронии мы имеем последовательную смену трех наиболее значимых дискурсивных парадигм — бесписьменную эпоху (Orality), этап письменности (Literacy) и переживаемую в настоящее время компьютеро-опосредованную форму коммуникации (Computer-Mediated Discourse, Electracy, Teleliteracy и т. д.). Как нам представляется, изменения, происходящие в структуре дискурса, закономерно приводят к коррекции интерпретационных стратегий И. Сопоставительный анализ смены коммуникативных форм в диахроническом аспекте выявляет тенденцию к неуклонному нарастанию абстрактности и немоти-

вированности различных составляющих дискурса, которая наибольшей степени достигает в построении компьютерного дискурса, что свидетельствует об усилении в нем отклонения от истинности. Представляется, что констатируемая многими исследователями «обманчивость» электронного дискурса предопределена изначальной условностью его особым образом семиотизированной структуры. Для установления причин такого смещения акцента в сторону условности целесообразно сопоставить основные типы моделей дискурса, наиболее востребованные в определенные периоды исторического развития. Основанием для сопоставления послужит базовая модель коммуникации, имеющая биологически встроенный характер.

Инвариантная форма дискурса. При внимательном рассмотрении в основе всех форм коммуникации обнаруживается единая структура разворачивания коммуникативного акта, которая подразумевает наличие коммуникантов (адресанта/отправителя сообщения и адресата/получателя сообщения), сообщения (порции информации) в одной из кодовых систем и коммуникативной ситуации. Формирование такой единой структуры имеет биологическое обоснование, и сложилась она в ходе эволюции живых систем — на основе принципа взаимодействия отдельной живой системы с окружающей ее средой. Самой ранней формой информационного обмена, очевидно, следует полагать умение считывать данные, поступающие по сенсорно-моторным каналам, и реагировать (отвечать) на поступающие извне стимулы. Правильно дешифрованная информация приводила к единственно верной корректировке параметров жизнеобеспечения и способствовала выживанию биологической особи. Иными словами, соответствие смысла, полученного в результате интерпретации данных на уровне входа системы, реальной ситуации верифицировалось ответными действиями самой системы по сохранению самой себя. Очевидно, из этой, самой ранней на шкале эволюции, ситуации оценки параметрических данных и возникает первичное значение истины как установление «соответствия знания вещам» (Аристотель). Уже на этом этапе становится явным, что представление о том, что считать истинным, изначально носит диалектический характер, и относительным: истинно то, что идет во благо живой системе (У. Матурана 1995), или, в контексте современных философских взглядов, истинно то, что хорошо лично для меня. В зависимости от складывающейся ситуации может изменяться и И. — то, что хорошо для индивида сегодня, может оказаться абсолютно неприемлемым для него завтра.

Понимание И. также зависит от того, какого рода информацию иметь в виду. Наибольшая объективность свойственна, несомненно, перцептуально подтверждаемой информации, складывающейся на ос-

нове параметрических данных — тепло/холодно, сытно/голодно. Это информация, которой живая система оперирует в закрытом режиме. Информация же, которая является продуктом намеренной рефлексии, осуществляемой человеческим разумом, и предназначенная для межличностного общения (открытость системы на информационном уровне), в гораздо большей степени абстрактна и интерпретативна. Признание И. — всегда компромисс: с одной стороны, человек генетически запрограммирован на выживание как особь и, в соответствии с этим, в нем заложено знание «истинно то, что идет мне во благо», а с другой — ему навязывается точка зрения, выработанная другой особью и порой имеющая собой совершенно иные цели («то, что хорошо для другого, не всегда хорошо для меня»). Это своеобразная плата за социализацию, которая требует информационного обмена по второму типу: оперирование сенсорными параметрами в режиме *online* уступает место более абстрактным понятиям, что ведет к возрастанию усложности.

Межличностная форма коммуникации, основанная на речевой способности, представляет собой гораздо более позднюю форму, свойственную только человеческому виду, хотя в ее основе сохраняются все те же компоненты исходной формы информационного обмена. Сохранение инвариантной структуры, однако, вовсе не означает, что процесс отправления и восприятия сообщения также остается унифицированным в рамках всех форм. За время своего исторического развития речевая коммуникация, как было сказано, прошла три наиболее значимых этапа, и любая из указанных форм (бесписьменная, письменная и электронная) своей целью имеет передачу знания от человека к человеку. Прежде чем быть переданным, знание должно концептуализироваться и быть облеченным в языковые формы, т. е. стать закодированным. Казалось бы, упакованная в таком виде информация готова к отправке. Однако языковые (символьные) коды являются носителями только базовой части информации, содержащими лишь часть тех данных, которыми обмениваются коммуниканты, вступая в акт коммуникации.

В определении Н. Д. Арутюновой, дискурс — это «связный текст в совокупности с экстралингвистическими — прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания. Дискурс — это речь, «погруженная в жизнь» [Арутюнова 1990].

Помимо базовой, или пропозициональной, необходимо учитывать и «прагматическую, предоставляемую дискурсом, контекстом дискурса, коммуникативно-прагматическими целями и установками

говорящего/слушающего, знаниями, общими для участников. В процесс интерпретации текста вовлекается не только базовая информация, но вся релевантная информация, активизируемая из общего знания или памяти, а также информация логически или эвристически выведенная» [КСКТ 1996: 36].

Таким образом, структура дискурса предполагает разделение на базовую, фокусную (Чейф) и небазовую, или фоновую. В свою очередь, если базовая кодируется языковыми символами и воспринимается либо на слух, либо визуально (через графические символы), то фоновая может быть закодирована в разных системах знаков и поступать по разным каналам — не только через слух и зрение, но и тактильно и посредством обоняния. На наш взгляд, различия между разными формами дискурсии объясняются как задействованием разных каналов сообщения информации, так и разным соотношением кодовых систем, а именно степенью участия в речевом акте информации, поступающей в аналоговом виде.

Семиотическое описание устного речевого акта (в бесписьменную эпоху). В отечественной семиотике имеется немало интересных работ, содержащих описание семиотических механизмов, лежащих в основе построения устной и письменной речи (Б.М.Гаспаров, Ю.М.Лотман, Ю.С.Степанов), но все они преимущественно рассматривают специфику вербального (символьного) знака применительно к устной и письменной форме коммуникации, недостаточно учитывая взаимодействия, которые осуществляет сознание, оперируя одновременно и вербальными и невербальными кодами в момент восприятия и порождения речи.

Порождение и восприятие устного сообщения происходит в режиме on-line и характеризуется спонтанностью реакции коммуникантов на ту ситуацию, непосредственными участниками которой они и являются. Интеракционный характер устного дискурса определяет построение речевого сообщения: вербальные структуры, хотя и составляют его основу, не являются единственной составляющей. Важнейшее значение принадлежит экстралингвистическим факторам — ситуативным условиям протекания акта коммуникации, внешнему виду коммуникантов, их жестам, мимике, интонации и т. д. Все вместе создает единый фон общения, в рамках которого протекает синхронизированный обмен информацией. И кодирование, и дешифровка сообщения осуществляются с учетом параметров окружающей среды, которые присутствуют и воспринимаются в аналоговой форме, но не кодируются вербально. Они контролируются сознанием на сенсорно-моторном уровне и оказывают немаловажное влияние на формирование пропозиций и в еще большей степени ответственны за создание

модального фона коммуникации, но сами в речи не эксплицируются, поскольку необходимости в этом нет — они и так явлены сознанию в своей физически реальной данности.

Считается, что в устном дискурсе задействован акустический канал передачи/приема информации, а в письменном — зрительный. Однако в такой трактовке учитывается только специфика оперирования вербальным кодом, и явно не принимается во внимание то обстоятельство, что зрительное восприятие оказывает на процесс протекания диалога в режиме реального времени не меньшее воздействие. Взгляд мгновенно отмечает реакцию собеседника на предшествующую реплику; даже если это выразилось в едва уловимом движении или чуть заметном изменении взгляда адресата — уже этого достаточно для корректировки построения устного дискурса.

Данный тип дискурса, несомненно, динамичен, но не только благодаря спонтанности возникновения речевых единиц в ответ на предыдущую реплику. Его динамичность обеспечивается включенностью в контакт всех сенсорно-моторных систем организма в режиме on-line. Собеседники воспринимают друг друга не только акустически или визуально, но и, например, тактильно (пожатие руки — теплая/холодная/влажная/липкая). Не менее важен и запах, идущий от собеседника (аромат духов / запах изо рта / немытого тела). Многое зависит и от локомоции — осанки, позы, движения (чрезмерное размахивание руками, непрерывная суетливость движений). Все эти перцептуальные ощущения одинаково важны для обоих коммуникантов, даже при том, что для одного — это информация, поступающая извне, а для другого — воспринимаемая изнутри, хотя оценивать они ее будут по-разному, поскольку каждый из них будет располагать только частью данных, другая будет от него скрыта.

В совокупности все перечисленное (и еще многое из неучтенного здесь) образует насыщенный информационный фон, и коммуникативная ситуация отражается в сознании рельефно, объемно, во всей своей полноте. Поэтому следует говорить не только о процессуальности устного дискурса, реализуемой во временной последовательности речевых сообщений, но и о его динамической пространственности. В итоге мы имеем сочетание необратимой линейности вербального сообщения с нелинейностью пространственно воспринимаемой параметрической информацией окружающей среды, и коммуниканты находятся в состоянии погружения в реальную коммуникативную ситуацию.

Поскольку вся фоновая информация обрабатывается в режиме прямого доступа, то сознание оперирует ею в первичной системе кодов — образной, т.е. аналоговой, не перекодируя в языковые знаки:

объекты действительности явлены в своей реальности и ориентация в пространстве осуществляется по принципу «стимул — реакция». Таким образом, мы имеем ситуацию, когда в процессе устного дискурса сознание одновременно обрабатывает информацию, поступающую по разным каналам, — акустическую (вербальную, мелодическую, парافонетическую), визуальную (пространственную, кинетическую, мимическую), тактильную. Большая часть приходится на визуально-образную, представленную в виде конкретно-чувственных и ментальных образов, на основе которых и происходит отображение реальности. То есть устный дискурс, разворачиваясь в самой реальности, в значительной степени осуществляется посредством кодов первого уровня отображения (аналогового), наиболее просто верифицируемых, а потому наиболее истинностных. Категория эвиденциальности получает в данном случае наиболее полную реализацию. Логика познания выстраивается в следующей последовательности: отображение объекта реального мира в виде конкретно-чувственного образа (эпизодическая память) — преобразование константных конкретно-чувственных образов в ментальный образ (семантическая память) — образование понятия (семантическая память) — присвоение языкового знака (семантическая память). В этой цепочке последовательных ментальных операций наглядно видно, что языковые символные знаки появляются на итоговом этапе в результате целого ряда перекодирующих операций. Очевидно, что на каждом новом этапе происходит утрата определенных детализирующих элементов в силу возрастания обобщения от операции к операции. Представляется, что оценка истинности дискурса напрямую зависит от соотношения типов знаков, задействованных в нем.

Перцептуальные образы объектов реальности, составляющих фон коммуникативной ситуации, играют важнейшую роль. Их наличие фиксируется сознанием в автоматическом (оперативном) режиме. На этом фоне речь оказывается в фокусе. В момент общения сознание активирует ту информацию, которая хранится в семантической памяти и, по мнению коммуникантов, является наиболее релевантной. Только она кодируется в системе языковых знаков и передается собеседнику. По наблюдениям У. Чейфа [Chafe 1994], устный дискурс разворачивается толчками — собеседники как бы обмениваются фрагментами информации, в каждом из которых имеется свой текущий фокус сознания. Вербальное сообщение эксплицирует прежде всего новую для обоих собеседников информацию, поскольку предполагается, что в их общей памяти хранятся воспоминания о прежнем совместном опыте, а огромный информационный фон явлен их восприятию в момент общения, т. е. также оказывается общим.

Подытоживая наш краткий анализ структуры устного дискурса, можно заключить, что ее особенность составляет особое соотношение аналоговых и символьных кодов. Аналоговые знаки кодируют фоновую информацию, составляющую тему сообщения (по умолчанию), тогда как вербальные знаки находятся в фокусе и передают ремю. Множественность каналов, задействованных в передаче и приеме информации, способствует упрощению верификации поступающих данных, и оценка сообщения максимально приближена к истинной.

Семиотическое описание письменного речевого акта. Письменная речь опосредована, адресант и адресат отделены друг от друга временем и пространством, т.е. существуют в разной системе координат. В связи с этим письменный дискурс характеризуется автономностью построения — письменная речь дистанцирована от адресата и экстралингвистическая реальность не воспринимается его сенсорными системами в режиме on-line. Поэтому отправитель сообщения вынужден, помимо формулирования основного смысла, ради которого он выстраивает свое послание (ремы), воспроизводить вербально и фон, вводя в текст описание релевантных, с его точки зрения, параметров, без которых адресат не будет способен адекватно дешифровать сообщение. В связи с этим в письменном сообщении особое значение приобретает моделирование, целостная оформленность дискурса, некий конечный результат. От того, насколько логично и убедительно будет составлено сообщение, зависит восприятие его адресатом. Этот тип дискурса целиком контролируется абстрактными уровнями мышления. Пространственная объемность устного дискурса преломляется в сознании отправителя, разлагается на дискретные составляющие, которые затем соединяются между собой в той последовательности, которая устраивает автора сообщения. Ю. М. Лотман называет это «повышенной авторитетностью текстов», имея в виду, что если в устном дискурсе между коммуникантами существуют пусть не всегда равные, но равнозначные отношения, то отправитель письменного сообщения находится в явно маркированной позиции — он автор, единственный выразитель данной позиции, тогда как получателем может быть «всякий».

Таким образом, письменная речь — это речь с обременением: языковому кодированию подлежат и те сенсорные образы, которые в устном дискурсе формируют представление о коммуникативной ситуации. Если в устном дискурсе наблюдается многоканальное поступление информации, то в письменном происходит движение в сторону дальнейшего абстрагирования и выхода на единственный зрительный канал. Все виды фоновой и фокусной информации (зрительная,

тактильная, звуковая, а также семантическая) подлежат кодированию языковыми знаками, т.е. переводу в речевое сообщение (очевидно, здесь можно говорить о прохождении этапа формирования внутренней речи — по Л.С.Выготскому). И лишь затем наступает следующий этап кодирования — реализация в виде системы графических символов. Как видим, ментальные процессы, протекающие в сознании при построении письменного дискурса, целиком принадлежат вербально-логическому уровню и осуществляются в режиме off-line. Письменная речь автономна не только потому, что разворачивается в отсутствие адресата, но и потому, что она целиком принадлежит сфере внутренней рефлексивной деятельности. Реальная коммуникативная ситуация не оказывает на нее непосредственное влияние — это область искусственного моделирования, выстраивания пропозиций с опорой на хранящиеся в памяти опыт и знания. Адресат, находящийся в другой системе пространственно-временных координат, вынужден полагаться на субъективность мнения нарратора, и оценка истинности/ложности повествуемого производится им под влиянием точки зрения последнего. Таким образом, абстрагированность от реальной ситуации, сокращение числа каналов поступления информации до одного, множественность перекодировок и использование лишь одного типа знака для кодирования исходящего сообщения делают процесс верификации истинности сообщаемого более сложным.

Семиотическое описание речевого акта в условиях компьютеропосредованной коммуникации (электронный дискурс). Электронный дискурс, хотя и прочно вошел в нашу жизнь, до сих пор еще не избавился от налета новизны, и в обществе пока доминирует настороженное отношение к этой форме коммуникации, часто трактуемой как неестественное/искусственное, излишне технологизированное явление. Вместе с тем, сопоставление компьютеропосредованного дискурса с устным и письменным показывает, насколько появление этого «нового» закономерно в плане эволюционирования мышления и языка.

На первый взгляд может показаться, что мы живем в эпоху внезапной технологизации коммуникации — за последние сто с небольшим лет были изобретены телефон, телеграф, радио, кино, телевидение и, наконец, компьютер. Однако это только на первый взгляд — линия последовательного усиления технологизации коммуникации присутствует в истории развития человеческой цивилизации постоянно — петроглифы, глиняные таблички и стило, грифель и доска, пергамент и чернила, бумага и, наконец, книгопечатание — все это явления технологизации слова, по определению У.Онга [Ong 1982], а по

нашему мнению — технологизации сознания. Процесс экстериоризации знания всегда искусственен и требует приемов с привлечением технологии, начиная с самой примитивной и заканчивая компьютерной, по крайней мере, на сегодняшний день [Абиева 2005]. Все формы культуры и цивилизации в целом представляют собой коммуникативные акты в той или иной степени с применением определенных технологий. Поэтому изобретение современных высокотехнологичных форм есть лишь еще один этап закономерных изменений.

Каждый раз внедрение очередного технологического новшества оказывало, как было показано на примере письменности, влияние на кодовые системы и структуру дискурса. Электронный дискурс, наряду со сменой носителя информации, также ведет к ряду когнитивных изменений. На сегодняшний день попытка классифицировать жанры, функционирующие в сети, показывает, что необходимо делить все информационные массивы на две большие группы: во-первых, огромная часть Интернета состоит из текстов, буквально перенесенных с бумажного формата на электронный, но при этом сохраняющих все жанрово-стилевые признаки печатных типов текста¹; а во-вторых, активно формируются жанры, существование которых вне виртуального пространства невозможно, — это не только пресловутые чаты, форумы и блоги, но и такая специфически электронная литература как гиперпроза, гиперпоэзия, перенос которой на бумажные носители невозможен в принципе. Эти две крайние формы текстовой организации в сети существуют не просто параллельно, скорее наблюдается их взаимное сближение: влияние специфики электронного формата испытывают, например, информационные сайты, основанные на гипертекстовой структуре и требующие от читателя особого, по сравнению с традиционными газетами, поведения при работе с подобными источниками². Несмотря на то, что в основе всех перечисленных форм электронной дискурсии лежит вербальная коммуникация, важнейшее значение в их оформлении принадлежит формам аналогового кодирования с использованием средств мультимедиа — различного рода изображений, аудиовизуальных эффектов, мультипликации и пр., что и лишает их возможности быть переведенными на традиционные носители.

¹ Но даже эти, переведенные в электронную форму, обычные тексты содержат в себе элемент новизны, прежде всего, эффект интерактивности, проявляющийся в процессе оперирования фрагментами таких текстов, т. е. изменяется поведение читателя при работе с текстовыми массивами.

² См., в частности, диссертацию Ю. С. Воротниковой «Реализация новостного дискурса в англоязычных электронных СМИ», защищенную в РГПУ им. А. И. Герцена (2005).

Несмотря на большое разнообразие и специфику электронных жанров, в целом они базируются все на той же инвариантной, биологически обусловленной, структуре коммуникации, и сопоставление ее с более ранними формами выявляет различия лишь в статусе компонентов и разном соотношении аналоговых и символьных форм кодирования.

При описании компьютерного дискурса первое, что обращает на себя внимание, это совмещение основных характеристик, присущих более ранним формам — устной и письменной коммуникации. Из устной заимствуется режим интерактивности — общение в сети происходит в реальном времени (но не в реальном, а виртуальном пространстве), а из письменной — вербально-графический код. На первый взгляд, компьютерный интерактивный режим общения действительно воспроизводит толчкообразную структуру, свойственную устному общению, при котором в каждом сообщении присутствует вербальный фокус (рема), правда воспринимаемый не на слух, а визуально, т.е. так, как это происходит в письменном дискурсе. Что же касается фона, то именно в нем и сосредоточена главная специфика: если в ходе традиционного устного режима общения он явлен сознанию в результате прямого отражения действительности (интериоризованная аналоговая форма), а в ходе письменной коммуникации используется авторская модель контекста и прагматики сообщения (закодированная в виде вербальных символов и требующая от адресата адекватной интерпретации), то в электронном дискурсе фон представлен в виде модели, но оформленной не вербально, а в аналоговом виде. Различие состоит в том, что использованные для воссоздания фона визуальные коды (фотографии, рисунки, схемы, анимация) и аудиосопровождение (музыка, шумы, голосовые сообщения) не есть естественный фон коммуникации, а условное его воспроизведение, компенсирующее отсутствие реального контекста. Как и в авторском письменном дискурсе, это результат отчасти намеренной рефлексии (т.е. продукт абстрактного мышления, созданный в режиме off-line), а отчасти заданный техническими возможностями системы.

Таким образом, мы наблюдаем в компьютерном дискурсе присутствие, казалось бы, тех же черт, которые характерны для более ранних форм, однако они отличаются качественно: мнимый возврат к аналогово-символьной структуре дискурса не облегчает адресату верификацию получаемого сообщения, а выводит его на уровень игры в истину. Все участники, действующие в сети, изначально принимают условный характер коммуникации — условное пространство протекания общения, невидимые (зачастую скрывающиеся под «никами»), а значит, также условные коммуниканты. Такой, условный по сравнению с естественным, уровень моделирования коммуникативной си-

туации создает идеальные условия для игры в коммуникацию: находясь в ситуации реального общения, невозможно манипулировать объектами действительности — они явлены сознанию и все. В виртуальном же пространстве можно все — менять цвета фона, заставки, музыкальное сопровождение, языки общения и... «собеседников».

Монологический, смоделированный характер письменной коммуникации, ориентированный на выражение единственно верной точки зрения (повышенная авторитетность текстов, по Ю. М. Лотману), в электронном дискурсе изменяется на «полифонию» точек зрения — поведение коммуникантов в сети раскрепощено, они освобождены от традиционных условностей — необходимости внимать собеседнику, вникать в смысл сказанного им и уважать его позицию. Акцент переносится на собственную точку зрения, и моделирование коммуникативной ситуации происходит «под себя»: если мне «здесь» что-то не по нраву, я меняю адрес сайта, «несимпатичны» посетители — я ухожу из чата. «Нереальность», условность компьютерной коммуникации, ее игровой характер снижают ответственность за отправляемое сообщение — ведь здесь ненастоящее все, кроме «меня». И от меня, от моих желаний и настроения зависит то, каким я буду сегодня в сети, а истинным будет то, что устраивает сегодня именно меня — в виртуальном пространстве сделать это просто.

На основании вышеизложенного можно заключить, что электронная форма дискурсии носит повышенно искусственный характер, представляя следующий уровень абстракции — наблюдается усиление, с одной стороны, условности знакового кодирования, с другой — значимости «Я» коммуникантов, что, в конечном итоге, приводит к изменению понимания того, что считать истинным. В целом метаморфозы, происходящие с И., совпадают с основными этапами коммуникации, которые доминируют в человеческом обществе, и могут быть представлены следующими моделями:

Онтологическая универсальная модель — соответствие суждения объективной реальности окружающего мира; формируется на основе психофизиологических функций живых систем в бесписьменную эпоху (кодирование и обработка информации осуществляется с помощью интериоризованных аналоговых и экстериоризованных символьных кодов).

Гносеологическая модель — поиск универсальной, вечной, И.; характеризуется наличием воли к И. и отражает линейно-поступательное движение к реализации некой идеальной модели; одновекторная направленность; формируется на основе логики в письменную эпоху (кодирование и обработка информации осуществляется с помощью экстериоризованных символьных кодов).

Динамическая модель — «игры И.» (М.Фуко), усиление субъективной оценочности в отношении того, что понимать под И.; допустимость множественных точек зрения, нелинейный характер движения в поиске истин, определяемый гипертекстовой структурой представления информации в рамках электронного дискурса (кодирование и обработка информации осуществляется с помощью экстерииоризованных аналоговых и символьных кодов).

Несложно увидеть, что изменения в интерпретации И. сопровождаются изменениями в формах коммуникации. В ходе человеческой эволюции мышление непрерывно развивается по линии возрастания условности, со временем научаясь оперировать информацией, все более абстрагированной от реальной действительности, что находит отражение в соответствующем уровне кодирования информации. Если при многоканальном восприятии истинность верифицируется посредством всех модальностей организма, то при оперировании исключительно абстрактными моделями И. сама предстает в виде некой условности, поддающейся неоднократным преобразованиям.

ЛИТЕРАТУРА

- Абиева 2005 — *Абиева Н. А.* Технологизация памяти в процессе эволюции // Концептуальное пространство языка. Тамбов, 2005. С. 374–391.
- Арутюнова 1990 — *Арутюнова Н. Д.* Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Вейнрих 1987 — *Вейнрих Г.* Лингвистика лжи // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987.
- Гаспаров б.г. — *Гаспаров Б. М.* Устная речь как семиотический объект // <http://www.ruthenia.ru/folklore/gasparov1.htm>
- История философии 2002 — История философии: Энциклопедия / Под ред. А.Грицаева. Минск, 2002.
- Кубрякова, Демьянков и др. 1996 — *Кубрякова Е. С., Демьянков В. З. и др.* Когнитивный словарь когнитивных терминов / Под общей ред. Е. С. Кубряковой. М., 1996.
- Лотман 1992 — *Лотман Ю. М.* Устная речь в историко-культурной перспективе // *Лотман Ю. М.* Избранные статьи. Т. 1. Таллинн, 1992. С. 184–190.
- Макаров, Школовая б.г. — *Макаров М. Л., Школовая М. С.* Лингвистические и семиотические аспекты конструирования идентичности в электронной коммуникации // <http://www.dialog-21.ru/dialog2006/materials/html/Makarov.htm>.
- Bolinger 1973 — *Bolinger D.* Truth is a linguistic question // *Language*. 1973. Vol. 49. № 3.
- Chafe 1994 — *Chafe W.* Discourse, Consciousness and Time: The flow and displacement of conscious experience in speaking and writing. Chicago, 1994.

Eco 1979 — *Eco U.* Theory of semiotics. Bloomington, 1979.

Morris, Ogan 1997 — *Morris M., Ogan C.* The Internet as mass medium // Journal of Computer-Mediated Communication. July 1997. Vol. 1. № 4 // <http://shum.cc.huji.ac.il/jcmc/vol1/issue4/morris.html>

Ong 1982 — *Ong W.* Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. London; New York, 1982.

Ulmer 2003 — *Ulmer G. L.* Internet Invention: From Literacy to Electracy. Boston, 2003.

✱

✱

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ЯЗЫКОВЫЕ МАРКЕРЫ

В повседневной жизни человек постоянно сталкивается с необходимостью категоризации объектов окружающей его действительности. Это необходимо, в первую очередь, для осуществления разных видов деятельности. Кроме того, для эффективного моделирования своего поведения человек воссоздает образ мира, в котором он живет. Именно поэтому и возникает необходимость категоризации новых объектов, с которыми индивид неизбежно соприкасается. Операция категоризации отражает реальную ментальную способность человека [см., напр., Rosch 1978; Лиепинь 1986]. Она напрямую связана с выявлением сущностных свойств определенных предметов, явлений, состояний, действий, признаков и их оценкой [см., напр., Barsalou et al 1998; Барсук 1999; Rehder 2003], которые взаимодействуют с процессами обработки полученной информации и ее интерпретации, а следовательно, оценки в соответствии со своими целями, задачами, желаниями, устремлениями и условиями, в которых действует [Кубрякова 2006: 4–13]. Находясь в материальном мире, люди автоматически категоризируют свои чувства, одушевленные и неодушевленные объекты, их признаки, состояния, действия. Таким путем предметы, явления, состояния или признаки объединяются в естественные классы. О каких бы сущностях ни шла речь, мы обращаемся к категориям¹. Человеку необходимо знать, каким образом и до какой степени данная сущность отвечает его требованиям и как/когда он может на нее полагаться, т. е. использовать в своих целях. Исходя из особенностей деятельности, индивид должен быть максимально правдив по отношению к себе самому, потому что ложная категоризация объекта, его состояния, признака или действия, их неадекватная оценка или искаженное представление способны привести к существенным ошибкам и затруднить процесс жизнедеятельности. Не всегда, однако, категоризация окружающего мира бывает успешной в смысле четкости разделения мира на элементы и установления между ними связей и отношений: сходства, тождества, различия, принадлежности, последовательности и т. п. *Приблизительностью* мы считаем неточную

¹ «Категоризация требует весьма серьезного отношения. Трудно найти что-то более важное для нормального функционирования нашего мышления, восприятия, деятельности и речи» [Лакофф 1995: 144].

фиксацию определенного качества, степени, меры признака в результате мыслительной операции категоризации свойств предмета, явления, состояния или действия.

В реальных ситуациях познания окружающего мира мыслительные операции поиска сходства, тождества и подобия (см.: [Арутюнова 1988]) не всегда отличаются особой точностью, а характеризуются значительной ролью субъективности². При этом под тождеством понимается то, что наблюдателю «кажется» ТАКОЕ ЧТО-ТО — X является (таким как) ТАКИМ ЧЕМ-ТО — Y: *an old-looking man, an innocent-looking guy*. В случае сходства объекты рассматриваются как «одно и то же» по своим эксплицитным качествам, например, *a box-like kite, a cube-like building, a business-like voice*, т. е. ТАКОЕ ЧТО-ТО — X является ТАКИМ ЧЕМ-ТО — Y. При подобии референт воспринимается как «подобный» корреляту в *a god-like face*, где ТАКОЕ ЧТО-ТО — X является как будто ТАКИМ ЧЕМ-ТО — Y [Толчеева 2003: 12–14; см. тж. структуру компаративного фрейма Жаботинская 2002]. Использование когнитивной операции сравнения предполагает, что определенные сущности восприняты как элементы, входящие в один класс. Именно сравнительная оценка способствует более полному и последовательному изучению особенностей нечетких (градуированных) сущностей. Предмет оценки, следовательно, субъективно детерминирован. Оценка, выражающая отношение говорящего к объекту, подлежит пониманию в той мере, в какой она квалифицирует сам объект, т. е. нуждается в интерпретации [Арутюнова 1988: 62]. Ценность же объекта сравнения не обязательно осознается в процессе его восприятия, но учитывается в ходе последующей деятельности.

Обусловленные социальной и этнокультурной практикой потребности и интересы субъекта ориентируют его внимание, побуждая с помощью познавательного и оценочного процессов искать пути обеспечения своей жизнедеятельности. Поэтому направленность субъекта оценки непосредственно определяется его потребностями, интересами и в результате этого относительно узка. Этот процесс, в первую очередь, касается тех случаев, когда за основу сравнения берется определенное градуированное свойство, а не предмет в целом. Таким образом, новое качество рассматривается как относящееся к некой градуированной категории, что позволяет приблизительно определить меру и степень его проявления. Именно из-за индивидуальных особенностей отражения действительности человеком может происходить неадекватное понимание переданной информации. Например: «*A copy of the teletype was pulled off the squadroom machine by Detective Meyer.*

² Субъективно-личностного смысла [Зимняя 1985: 80].

Meyer who wondered why it had been necessary for the detective at the Missing Persons Bureau to insert the word 'completely' before the word 'bald' Meyer, who was bald himself, suspected the description was redundant, over-emphatic, and undoubtedly derogatory. It was his understanding that a bald person had no hair. None. Count them. None. Why, then, had the composer of this bulletin (Meyer visualized him as a bushy-headed man with thick black eyebrows, a black moustache and a full beard) insisted on inserting the word 'completely', if not to point a deriding finger at all hairless men everywhere?» [E. McBain]. Так, излишнее использование маркера приблизительности вводит читателя в заблуждение: ему непонятно, как человек может быть совершенно лысым. Точно так же избыточную, а фактически ложную информацию несут высказывания в телевизионных рекламных текстах о недостаточно белоснежной улыбке или абсолютно новых сериях кинофильма³. Неоправданное нагромождение подобных единиц в разговорной речи повышает ее эмоциональность и добавляет юмористический оттенок⁴. Данные издержки возникают из-за того, что продуцент высказывания небрежно подходит к процессу познания окружающей действительности, а следовательно, проявляет излишнюю оригинальность при номинации объекта с нечетко выраженными характеристиками. Таким путем лишь создаются трудности для реципиента в ходе декодирования полученной информации, что приводит к ее неточному пониманию и коммуникативным неудачам, т. е. к ложной интерпрета-

³ Не все свойства могут классифицироваться как градуированные, поэтому и отмечается невозможность модификации маркерами приблизительной семантики ряда лексем (напр., англ. *formidable, enormous, gigantic*; русск. *громоздкий, огромный, гигантский*), которые содержат в своей семантической структуре градационные семы.

⁴ Вместе с тем нельзя недооценивать роль маркеров приблизительности в передаче информации (ср.: *And all in all she was mighty fine* [G. Wilder] и *Очень сердился, когда чувствовал, что щелчки мои недостаточно ядрены* [М. Алексеев] с модифицированными вариантами *And all in all she was sort of fine*; *And all in all she was a little fine* и *Слегка сердился, когда чувствовал, что щелчки мои чересчур ядрены*). Кроме того, их элиминация из высказывания, сигнализируя о точности категоризации, приводит к искажению передаваемой информации (ср.: *I'm nearly thirteen* [N. Cato] и *I'm thirteen*; *Оно стоит на ногах, несколько кривых, как бы нетрезвых* [Б. Астафьев] и *Оно стоит на ногах, кривых, нетрезвых*). В процессе построения высказывания они также используются в качестве хеджей, давая время продуценту высказывания на обдумывание (*I thought he was a skater because he dressed kinda like that* [G. Wilder]).

ции действительности. Поэтому продуцент высказывания должен брать на себя ответственность за каждое действие в плане вербализации своей оценки окружающей действительности.

Важную роль для взаимопонимания носителей одного и того же языка играет наличие определенной нормы сравнения как стереотипного⁵ явления. Вследствие ее существования в социуме различные объекты, отраженные в сознании индивида, не могут получить одинаковой оценки [Арутюнова 1988: 53]. Норма неизбежно включает понятие ординарного уровня и отклонение как в одну, так и в другую сторону от него. Нормативный ориентир не обязательно осознается в процессе восприятия объекта, но учитывается индивидами в деятельности, которую оно обеспечивает. Рассматривая норму на шкале градуальности, мы сталкиваемся с видовой нормой, сравнивая однородные предметы; нормой пропорции при сравнении соотношений параметров признака в предмете и их положения в пространстве; нормой ожидания; ситуативной нормой, зависящей от конкретных особенностей ситуации общения. Понятие нормы, относительно которой определяется асимметрия объектов, оказывается связанной с когнитивными способностями индивида и отражает антропоцентрическую ориентацию пространственной, временной и ценностной оси. Предлагаемая Е.Р.Иоанесян классификация видов асимметрии позволяет решить вопросы природы асимметрии вообще и понятия нормы, определяющей пространственную, временную и ценностную классификацию всех аспектов картины мира (см. [Иоанесян 1990]). Индивидуальные же отличия в понимании нормы предполагают указание на интерпретацию оценочного суждения, поскольку оценка наиболее подвержена воздействию ситуативных факторов и зависит от основных черт языковой личности⁶. Элементами индивидуального сознания являются практические знания, составляющие жизненный опыт человека, а также его воображение — особенности восприятия, моторной активности, культуры,

⁵ Под стереотипом понимается форма целостной, системной деятельности мозга, проявляющаяся в сознании и поведении индивидов в виде фиксированного порядка условно рефлекторных действий, которые регулируются на глубинном ментальном уровне общественного сознания и формируются в процессе развития общества [Михайлова 2004: 133–134]. Поскольку речемыслительные процессы отражают не только знания, но и отношения к ним в социуме, то они фиксируют распространенные в нем стереотипы.

⁶ Языковой способности, коммуникативных потребностей, коммуникативной компетенции, языкового сознания, речевого поведения [Карасик 2003: 24], коммуникативного сознания [Стернин 2002: 21], включающих этнокультурные, социальные, гендерные, возрастные и региональные параметры.

ментальной образности. В зависимости от степени развитости указанных качеств в сочетании с важностью некой сущности⁷ индивид может существенно детализировать выделенные категории на основе функций предметов, их местоположения, качества и основных характеристик. Итак, любая форма, состояние или действие обладают инвариантным признаком воспроизводимости в определенных пределах, способствуя тому, что образ, ассоциируемый с конкретными показателями, закладывается в память индивида. На этой основе и происходит идентификация неких сущностей, т. е. их категоризация.

Механизм приблизительности⁸ основывается на ассоциативном восприятии окружающего мира и «работает» в направлении поиска некой нормы, наиболее полно соответствующего ключевым параметрам рассматриваемого объекта⁹. Трудность жизни женщины в приведенном ниже примере квалифицирована как приблизительно соответствующая представлениям автора о некой норме в высказывании: *I felt sorry for the old dame; I guess she had a pretty tough life* [H. Robbins]. Несмотря на нечеткость категоризации, хитрость другого персонажа считается автором превышающей определенное представление об этой черте характера: *She was dead cunning, when I went in she was being sick, and she looked a real mess* [J. Fowles].

При неудаче первичной категоризации объекты нуждаются в более детальной оценке, поэтому индивиду приходится прибегать к приблизительным описаниям предметов, явлений, состояний и действий, т. е. своеобразной *как бы* категоризации¹⁰. При этом носители современного английского языка могут также прибегать к повторному градуированию: *He asked her for money and she had refused and he had thereupon remarked — oh, lightly enough — that she was going the right way to get herself bumped off* [A. Christie]; *Almost too heavy* [W. Golding]. Невозможность повторного градуирования в русском

⁷ То есть активизацией всех знаний в данный момент времени.

⁸ Мы не разделяем категоричного суждения об отсутствии приблизительности как таковой на основании, «что она может быть измерена» [Varzi 2003: 295]. Не отвергая принцип четкости в выделении параметров объектов действительности, считаем, что эта процедура не всегда имеет первостепенное значение.

⁹ Наличие стереотипов, вызывающих устойчивое отношение субъекта к фактам реального мира, служит основой ассоциативного мышления человека.

¹⁰ Таким образом, если исходить из возможности разных уровней категоризации действительности (см.: [Smith et al 1978: 142–143; Overstreet, Yule 1997: 89–90, Costa et al 2003]), речь идет о вторичной категоризации действительности.

языке подтверждают примеры переводов: *He had some sort of an English accent* [E. Hemingway, *Fiesta*] — *Говорил он с легким английским акцентом* [пер. В. Топер]; *The Colonel stared into vacancy, and I wondered whether anyone could be quite so innocent of guilds as he looked* [W. S. Maugham, *The Moon and Sixpence*] — *Полковник уставился в пространство с видом самого добродетельного человека на свете* [пер. Н. Ман].

В языке фиксированные границы категорий, в основном, представлены числительными. Приблизительность в языке¹¹ выражается лексическими (*They seemed pretty wasted* [G. Wilder]; *Баев еще несколько кружашек воображаемых сбросил, чуть выше прежних* [В. Пушкин]), фразеологическими (*Car was skidding like anything* [A. Christie]; *Он задымил во всю ивановскую* [Л. Жуховицкий]), словообразовательными (*Actually they got a little over-excited* [G. Wilde]); ...*пыль старой полыни и беловатые всходы... рассеивают мрак* [Б. Астафьев]), морфологическими (*I've suddenly realized how very much fonder I am of her than I knew* [A. Christie]; ...*тот, который его выручил, тут же получал задачу новую, намного сложнее первой* [М. Алексеев]) и синтаксическими (*How perfectly lovely!* [A. Christie]) средствами, которые вербализуют предмет сравнения для новой, нечеткой номинации. Так, к примеру, в высказывании *Just being Lucyish* [A. Christie] объектом сравнения действия одной из героинь является поведение другой по имени Люси, т. е. так обычно поступает Люси. В другом случае основой для сопоставления действий индивидов является легкость, которая отличается по степени проявления: *The lassie who explained it to me said it was dead easy to work* [J. Samson]. Таким образом происходит своеобразное оригинальное сравнение двух сущностей — инвариантной (известной, базовой) и новой, обладающей размытыми характеристиками, но приближающейся к первой по основной из них. Итак, некая сущность может получить новое наименование (*Suddenly one of the shell-like things unfurled insectile wings* [S. Sheldon]), сохранить в своем языковом воплощении указание на предмет сравнения (*Edward — you're icy cold* [A. Christie]; *My mouth was as dry as stone and I had trouble speaking* [S. Leighton]) либо быть квалифицирована как инвариант¹² с несущественными, градуированными отклонениями (...*this*

¹¹ Наряду с формами выражения модальности: напр., *I guess she had a day off yesterday, I think* [A. Lloyd-Jones]; *Mr Fortescue cannot have been a very nice man* [A. Christie]; *Perhaps there is some slight unpleasantness* [P. G. Wodehouse]; *Bosiney was looking round as if pointing out the peculiarities of the guests* [J. Galsworthy]; *It did not look as if it would be cleaned until the next mealtime* [M. Dickens].

¹² То есть носитель нормы.

guy sort of sat down next to me... [G. Wilder]; *No matter — leaving the Yorkshire Grey around six, two guys are coming in, drunk as hell, asking me where the action is* [K. Brooks]). При этом данные свойства явления, лишенного четких параметров, могут быть незначительными (*He gets fairly good reports, but they all say he has the ability to do better if he tried* [N. Cato]; «*Busy?*» he asked. «*Moderately so.*» [A. Christie]) или существенными как в сторону большего проявления признака относительно инварианта (*She and Miss Marple moved in entirely different circles* [A. Christie]; *The Minister's very concerned about these grenades* [G. Greene]), так и в противоположную сторону (*French methods are a little old-fashioned by our cold standards* [G. Greene]; *His face was grave and a trifle stern, but his smile was very sweet* [W. S. Maugham]). Таким образом, продуцент высказывания фиксирует отсутствие четкого представления о некоем предмете, явлении, свойстве, состоянии или действии с помощью *квалификаторов* — лексических единиц, объединенных в особый функциональный класс на основании семантики приблизительности¹³.

Квалификаторы как маркеры приблизительности не обозначают конкретных особенностей референтов, указывая на некую степень проявления их свойств¹⁴ (напр., англ. *almost exhausted, a bit dreamy, utterly generous*; русск. *довольно сложно, едва ощутимый, весьма элегантный*). Именно они позволяют действующему субъекту «спрятать» категоричность и точность за приблизительностью, которая является чертой их категориальной семантики. Кроме того, индивид может не утруждать себя проведением детальной категоризации, экономя свою мыслительную активность.

В современном русском языке не отмечается широкого разнообразия квалификаторов¹⁵, что (если задействовать подход А. Вежбиц-

¹³ Считаем не вполне приемлемым термин «аппроксиматоры», см., напр., [Шкот 1990], традиционно противопоставлявший «интенсификаторам», поскольку всем лексическим маркерам приблизительности, функционирующим в качестве обстоятельств степени, присуща семантика аппроксимации (т. е. приблизительности). Именно поэтому считаем целесообразным использовать для них термин «квалификаторы», см. [Левицкий 1991].

¹⁴ Они могут быть отнесены по классификации Ю. С. Степанова к группе абстрактной лексики на основании отсутствия денотата, который существовал бы в виде отдельного предмета объективной и непосредственно наблюдаемой действительности [Степанов 1977: 320–321].

¹⁵ На 140 страниц художественной прозы русских и английских писателей XX века соотношение употребления квалификаторов составляет 144 против 447.

кой, см. [Вежбицкая 2001]) свидетельствует о стремлении к точности. На этом основании делаем вывод о том, что в русской традиции приближаться к точности неплохо, а вместе с ней — к правде или истинности. Если это утверждение связать с удалью и со стремлением к чрезмерности/безудержности [Рахилина 2000: 97], то станет очевидным желание избегать маркеров приблизительности. Отметим также, что открытость, искренность, прямота являются характерными чертами русского народа и положительно маркированными в русской концептуальной картине мира [Там же: 97]. Именно поэтому в русском мировосприятии лживость не поощряется¹⁶. С другой же стороны, стремление к максимальной точности также не особо приветствуется, поскольку может привести к голой абстракции и фактической коммуникативной неудаче. В современном же английском языке приблизительность не имеет существенного значения, поэтому она вербализуется с помощью заимствования из французского языка *approximate* и его производных. Они не обладают аксиологической маркировкой, лишь констатируя факт отхода от точности и правдивости посредством сходства, подобия или тождества¹⁷. Именно поэтому в современной английской лингвокультуре маркеры приблизительной номинации не играют ценностной роли, следовательно, имеют высокую частотность употребления, фактически становясь «этикетными словами»¹⁸.

Пополнение функционального класса квалификаторов современного английского языка сопровождается некоторой вульгаризацией, терпимостью к словам и выражениям, которые ранее считались просторечными или даже нецензурными. Так, *bloody*, *damn* и его производные до Первой мировой войны расценивались как непечатные (в романе Дж. Голсуорси «Собственник» вместо *damned* видим *d-d*). Они, как правило, заменялись эвфемизмами типа *darned*, *blessed*, *blooming* и т. п. Однако в современной англоязычной художественной литера-

¹⁶ Приблизительность воспринимается как неточность, т. е. отход от правдивости.

¹⁷ См.: «*approximate – almost, but not completely, correct or exact*» [CIDE 1995: 58]; «*...number, time, or position is close to the correct number, time, or position, but is not exact*» [BBC 1993: 50].

¹⁸ В последнее время в русской разговорной речи частое использование единиц как *бы*, *вроде*, *типа* манифестирует отстраненность, небрежность / осторожность в суждениях, стремление избежать категоричности, что в целом чуждо нашей культуре и не является приоритетным для структуры русского языка. В силу синтетического характера русского языка, в нем более высок удельный вес словообразовательных элементов типа *-оват* (*зеленоватый*), *-оньк* (*тихонько*), *-к* (*ни капельки*).

type *damn, damnable, goddam, bloody* употребляются довольно часто, маркируя в основном речь персонажей-мужчин, молодежи и людей с низким уровнем образования: «*You know damn well you're not going blind, so stop hamming it up*» [D. Francis]; «*He's got this goddam superior attitude all the time,*» *Ackley said* [J. D. Salinger]; «*...Jesus Christ Almighty, I can't bloody see...*» [D. Francis]. Появление новых маркеров приблизительности проходит под воздействием мощного эмоционального заряда, который они несут, что наряду с развитием коммуникативной толерантности¹⁹ «открывает двери» в этот класс слов коллоквиализмам со сниженной стилистической коннотацией (*a jot, a fig, fucking* и т. п.). Они теряют связь с бывшим денотатом; лишаются логико-предметного значения; расширяют валентность. Многие квалификаторы, ранее считавшиеся вульгарными, образовались от слов, обозначающих страх, ужас и другие неприятные эмоции (*frightfully, awfully, terribly, deadly*): *He was terribly good to me* [N. Cato]. Такие же оксюмороны встречаются и в русском языке: *Это ужасно красиво*. Тем самым передается информация, которая первично может быть воспринята как ложная. В данном контексте для русской лингвокультуры и речевого этикета такие единицы, как *чертовски, дьявольски, чужеродны*²⁰.

Практический жизненный (в т. ч. языковой) опыт индивида составляет основу, которая затем выражается в структурированных языковых выражениях. При переходе к поверхностно-семантическому уровню происходит «оформление» смысла по правилам данного языка, т. е. «смысл подстраивается под словарь и под грамматику языка» [Урысон 1996: 37]. Затем происходит отбор необходимых языковых единиц для выражения требуемого смысла. Сам же язык как знаковая система является не только продуктом познавательной деятельности человека, но выступает одним из главных путей ее осуществления. Наше же чувственное восприятие мира накладывается на концептуальную репрезентацию, а та, в свою очередь, — на языковую репрезентацию [Кравченко 1996: 14]. Итак, в процессе вербализации полученной информации индивид руководствуется целым рядом **номинативных** процедур. Они основываются на когнитивных стратегиях, связанных с нашими знаниями о мире (см. подробнее [Потапенко 2006]). Их направленность на конкретные концептуальные структуры получателя информации обеспечивает организацию процесса общения, а также выбор и аранжировку номинативных единиц. В частности, говорящий/пишущий использует тот или иной номинативный ход в вы-

¹⁹ Термин Л. П. Крысина [Крысин 2003: 62].

²⁰ Хотя, безусловно, они и встречаются, напр., *Все-таки чертовски приятно вдруг ощутить себя незаменимым!* (Л. Жуховицкий).

боре некоего объекта сравнения как основы для называния предмета, явления, состояния или действия. Большую роль при этом играет аналогия как мощное средство процесса познания мира индивидом. Если же результат категоризации не полностью достигнут, то возникает необходимость в приблизительной, неточной номинации.

Номинативная тактика проявляется в использовании определенного словообразовательного средства. Объективизация личностного смысла предполагает приспособление к стереотипным формам языкового выражения определенных значений. При выборе номинативной тактики также большое значение приобретает действие механизма аналогии, но уже не ментальной, как в случае с номинативным ходом, а языковой, поскольку речь идет о вербализации полученной информации.

Номинативная же стратегия состоит в использовании языковой единицы в высказывании, что позволяет активировать как отношение к объекту номинации, так и вписать его в общее восприятие окружающего мира, вскрыть взаимосвязь с другими предметами и явлениями. Предложенный нами подход доказывает, что в процессе порождения высказывания именованию подлежат не реальные объекты, явления, события и т. д., а фрагменты внеязыковой действительности, выделенные индивидуальным сознанием и в ходе его классифицирующей деятельности соотнесенные с имеющейся концептуальной базой индивида. Опираясь на номинативные стратегии, слушатель/читатель может декодировать номинативные ходы и тактики продуцента высказывания. Совершенно очевидно, что от выбора номинативной единицы зависит адекватность передачи информации, выраженной в языковой форме. В результате действия данного процесса материальный мир адекватно отражается в человеческом сознании. Только в процессе общения мы можем легко понимать так называемые «скрытые смыслы», т. е. имплицитно поданную информацию, а также избегать коммуникативных неудач, если речь идет о неизвестном для нас ранее предмете или явлении. Причем речь может идти как о номинациях, приблизительность которых связана с характеристикой объекта (*She had been some kind of fine-looking, all right* [S. Sheldon]), номинациях, приблизительность которых связана одновременно с объектом и его названием (*He's a New-Yorker enough to appreciate it* [E. McBain]), так и о номинациях, приблизительность которых напрямую связана не с объектом, а с продуцентом высказывания (*That story just about killed me* [J. Salinger]).

Итак, в процессе речетворчества коммуникант, прежде всего, выбирает номинативную стратегию, т. е. занимается конструированием высказывания, а затем уже обращает внимание на тактику — выбор языкового материала. Перед продуцентом высказывания стоит задача осуществить отбор необходимых лексических единиц и грамматиче-

ских структур для экономного, экспрессивного и эффективного воздействия на реципиента. Наличие в высказывании маркера приблизительности свидетельствует о номинативной неудаче индивида, т. е. невозможности четко классифицировать определенный предмет либо о его стремлении скрыть подлинную информацию.

В коммуникативном аспекте использование маркеров приблизительности характеризуется выполнением ими следующих прагматических функций: а) модальной, так как помогает говорящему выразить свое отношение к фрагменту действительности исходя из его желательности или достоверности — *He thought it highly probable* [A. Christie]; б) характерологической, поскольку маркирует особенности манеры речи индивида — *It's kinda lame but it's got some cool bands on* [G. Wilder]; в) контактоустанавливающей, потому что содействует неофициальности общения — *I wouldn't trust him a yard* [A. Christie]. Диапазон указанных функций способствует многообразию коммуникативных стратегий, в участии которых задействованы квалификаторы. Коммуникативная стратегия говорящего подчинена выбору коммуникативных намерений, распределению квантов информации по речевым составляющим и установлению порядка их следования [Янко 2001: 38]. Поскольку речевая коммуникация — это стратегический процесс, базисом которого является выбор оптимальных языковых ресурсов [Иссерс 2002: 10], то роль маркеров приблизительности проявляется на уровне выбора коммуникативного хода, т. е. на начальном этапе построения высказывания. Обеспечение стратегических целей процесса общения достигается и на промежуточном уровне, который составляют коммуникативные тактики — приемы, способы достижения цели, образа действий, линии поведения в своей совокупности на определенном этапе передачи информации. Коммуникативные ходы, стратегии и тактики социальны, они представляют собой модели коммуникативной деятельности членов определенного социума в конкретных ситуациях общения.

Для современной английской речи характерно значительное количество квалификаторов, что составляет общекультурную норму данного речевого поведения. Таким образом, мы вправе утверждать важность роли рассматриваемых языковых единиц в обеспечении стандартизованности, информационной полноты²¹, краткости, логической ясности, доброжелательности, взаимности, скромности [Грайс 1985], вежливости [Leech 1983], естественности, экспрессивности, социального престижа

²¹ Максима релевантности реализуется не в полном объеме, а только в той части, что индивид верит в правдивость своего высказывания, поскольку приблизительность свидетельствует о неполном соответствии суждения действительности.

коммуниканта. Итак, маркеры приблизительности используются с такими стратегическими целями: а) уменьшение влияния на получателя информации (в официальном и научном общении это касается создания этикетного эффекта снижения категоричности высказывания [Ильченко 2002: 180]) — ...*they would be rather freakish objects* [«Quarks»]; б) фокусировка внимания реципиента, поскольку данные языковые средства маркируют определенный отход от общей логики подачи информации в составе парентитических внесений — *Also unusual, though convincingly enough, the results prove our hypothesis* [«Quarks»]. Тактическое использование маркеров приблизительности связано с некатегоричной экспликацией авторской интенции для передачи неуверенности; ограниченности взглядов; осознания альтернативности; стремления «дипломатично» отказать от крайностей в суждениях; формального или частичного согласия; вуалирования собственной позиции; гипотетичности; сокрытия реального положения вещей; повышения/понижения собственной значимости; сохранения возможности манипулировать собеседником.

Использование языковых маркеров приблизительности свидетельствует либо об отсутствии у продуцента высказывания четкого представления о свойстве, качестве, состоянии оцениваемого предмета, явления или действия, либо о стремлении избежать категоричности суждения, а возможно и о желании скрыть подлинную или подробную информацию, манипулировать поведением реципиента. Поэтому маркеры приблизительности приносят в речь различные эмоционально-оценочные коннотации, одновременно маркируя субъективное отношение индивида к рассматриваемым предметам и явлениям, добавляя «размытость, приблизительность» количества или качества без точного указания на степень его проявления.

ЛИТЕРАТУРА

- Арутюнова 1988 — Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений (оценка, бытие, факт). М., 1988.
- Барсук 1999 — Барсук Л. В. Категоризация как психолингвистическая модель установления референции // Психолингвистические проблемы функционирования слова в лексиконе человека. Тверь, 1999.
- Вежицкая 2001 — Вежицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. М., 2001.
- Грайс 1985 — Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. Лингвистическая прагматика. М., 1985.
- Жаботинская 2002 — Жаботинская С. А. Ономаσιологические модели в свете современных школ когнитивной лингвистики // С любовью к языку. М.; Воронеж, 2002.

- Зимняя 1985 — *Зимняя И. А.* Вербальное мышление (психологический аспект) // Исследование речевого мышления в психолингвистике. М., 1985.
- Ильченко 2002 — *Ильченко О. М.* Етикетизація англо-американського наукового дискурсу. Дис. ... д-ра філол. наук. Київ, 2002.
- Иоанесян 1990 — *Иоанесян Е. Р.* Противоречивость и точка отсчета // Логический анализ языка: Противоречивость и аномальность текста. М., 1990.
- Иссерс 2002 — *Иссерс О. С.* Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М., 2002.
- Карасик 2003 — *Карасик В. И.* Речевое поведение и типы языковых личностей // Массовая культура на рубеже XX–XXI веков. М., 2003.
- Кравченко 1996 — *Кравченко А. В.* Язык и восприятие: Когнитивные аспекты категоризации. Иркутск, 1996.
- Крысин 2003 — *Крысин Л. П.* Языковая норма: жесткость vs. толерантность // Массовая культура на рубеже XX–XXI веков. М., 2003.
- Кубрякова 2006 — *Кубрякова Е. С.* Образы мира в сознании человека и словообразовательные категории как их составляющие // Известия РАН. Сер. литературы и языка. 2006. № 2. Т. 65.
- Лакофф 1995 — *Лакофф Дж.* Когнитивная семантика // Язык и интеллект. М., 1995.
- Левицкий 1991 — *Левицкий А. Э.* Функционально-семантическое поле квалификации степени проявления признака в современном английском языке. Автореф. дисс. канд. филол. наук. Киев, 1991.
- Лиепинь 1986 — *Лиепинь Э. К.* Категориальные ориентации познания. Рига, 1986.
- Михайлова 2004 — *Михайлова И. В.* Языковые средства в формировании стереотипов // Человек лживый / HOMO MENDAX. М.; Тверь, 2004.
- Потапенко 2006 — *Потапенко С. І.* Композиція англomовних друкованих новин: роль когнітивно-дискурсивних стратегій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Київ, 2006. Вип. 10.
- Рахилина 2000 — *Рахилина Е. В.* Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. М., 2000.
- Степанов 1977 — *Степанов Ю. С.* Номинация, семантика, семиология // Языковая номинация. Общие вопросы. М., 1977.
- Стернин 2002 — *Стернин И. А.* Коммуникативное сознание, коммуникативное поведение и межкультурная коммуникация // Межкультурная коммуникация и проблемы национальной идентичности. Воронеж, 2002.
- Толчеева 2003 — *Толчеева Т. С.* Функционально-семантические особенности сложных образований с элементами -looking, -like (на материале современной английской и американской художественной прозы). Автореф. дисс. канд. филол. наук. Киев, 2003.
- Урысон 1996 — *Урысон Е. В.* Синтаксическая деривация и «наивная» картина мира // Вопросы языкознания. 1996. № 4.

- Шкот 1990 — Шкот И. Л. Аппроксиматоры в современном английском языке. Автореф. дисс. канд. филол. наук. М., 1990.
- Янко 2001 — Янко Т. Е. Коммуникативные стратегии русской речи. М., 2001.
- Barsalou et al 1998 — Barsalou L. W., Huttenlocher J., Lamberts K. Basing Categorization on Individuals and Events // Cognitive Psychology. 1998. Vol. 36. № 3.
- BBC 1993 — BBC English Dictionary / Ed. J. Sinclair. London, 1993.
- CIDE 1995 — Cambridge International Dictionary of English / Ed. P. Procter. Cambridge, 1995.
- Costa et al. 2003 — Costa A., Mahon B., Savova V., Caramazza A. Levels of Categorization Effect // Language & Cognitive Processes. 2003. № 2. Vol. 18.
- Leech 1983 — Leech G. Principles of Pragmatics. London, 1983.
- Overstreet, Yule 1997 — Overstreet M., Yule G. Locally Contingent in Discourse // Discourse Processes. 1997. № 1. Vol. 23.
- Rehder 2003 — Rehder B. Categorization as Causal Reasoning // Cognitive Science. 2003. № 5. Vol. 27.
- Rosch 1978 — Rosch E. Principles of Categorization // Cognition & Categorization. Hillsdale, 1978.
- Smith, et al. 1978 — Smith E. E., Balzano G. J., Walker J. Nominal, Perceptual, and Semantic Codes in Picture Categorization // Semantic Factors in Cognition. Hillsdale, 1978.
- Varzi 2003 — Varzi A. C. Higher-Order Vagueness and the Vagueness of «Vague» // Mind. 2003. № 446. Vol. 112.

ЛОЖНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ

0. В анализе ложных языковых различий в центре внимания находятся близкородственные языки, какими являются сербский, хорватский и бошняцкий¹. Целью нашего анализа является рассмотрение теоретических и практических вопросов, когда, как и почему говорящий (будем его называть дифференциатором) занимает ложную позицию по отношению к этим различиям².

1. Если учитывать глобальные аспекты, можно сказать, что у говорящего существуют две возможности: (а) выступать носителем собственной идентификации, (б) быть наблюдателем и толкователем другой идентификации и различий между языками. Первую идентификацию назовем интровертной, вторую экстравертной.

2. В интровертной псевдодифференциации говорящий идентифицируется с, на его взгляд, дифференцирующим выражением, которое по сути дела не может быть таковым. Здесь часто речь идет о тенденциозной идентификации: не важно, каким является высказывание, важно, что оно относится или не относится к другому, чужому языку. Скажем: русскому слову *кофе* в сербском языке соответствует *kafa*, в хорватском *kava*, а в бошняцком *kahva*. Но некоторые из сербов, хорватов и бошняков (в первую очередь в Боснии и Герцеговине), особенно неграмотные и не владеющие литературными нормами, неправильным выбором подчеркивают национальную принадлежность (скажем, серб использует слово *kava*, думая, что оно является сербским, хотя для сербского языка типичной является форма *kafa*³)⁴. Такие случаи порождают интровертную псевдодифференциацию.

¹ Язык мусульман-славян, проживающих в Боснии и Герцеговине, имеет два названия — *боснийский* (которое предпочитают бошняки) и *бошняцкий* (которое некоторые хорваты и почти все сербы используют).

² Различие является одной из фундаментальных языковых корреляций. Не случайно де Соссюр сказал, что в языке нет ничего, кроме различий.

³ В сербском языке нормативным считается *kafa* (*kava*) и эксплицитно не рекомендуется *kahva* [S-P/J/P: 224]. Хорватская норма предусматривает формы *kava*, *kavana*, *kavaničica* [H-A/S: 411], *kafedžija*, *kafedžijski*, *kafić* [H-A/S: 411], *kava*, *kaveni*, *kavin*, *kavotočje* [H-B/F/M: 259], *kafić* [H-B/F/M: 257]. Бошняцкий стандарт допускает дублеты: *kahva*, *kahva/kafana*, *kahvaji*, *kahvedžibaša*, *Kahvedžić* (prezime), *kahvedžija*, *kahvedžijin*, *kahvedžijka*, *kahvedžijski*, *kahveni*, *kahvenski*, *kahvenjak* [B-Hal: 285–286], *kafa* см. *kahva*, *kafana/kahva*, *kafanski*, *kafaz*, *Kafedžić* (prezime), *kafedžija* см. *kahvedžija*, *kafenisati* v. *kahvenisati*, *kafez*, *kafilacija* [B-Hal: 285–285].

⁴ Нечто подобное наблюдается в т. н. народной этимологии, когда говорящий ошибочно толкует и использует определенное слово (ср. *гульвар* — *бульвар*).

3. В эстравертной псевдодифференциации в центре внимания находятся ложные наблюдения и оценки различий между языками (причем может идти речь и не о родном языке), не касающиеся собственного индивидуального языка. Такая идентификация может иметь спонтанный и сознательный характер. В неосознанной, непреднамеренной ложной оценке дифференциатор находится в заблуждении (он думает, что речь идет о различии, которого по сути дела нет) и находит мнимые несовпадения между языками. В сознательной ориентации дифференциатор желает, старается ввести в заблуждение другого или других. Такая позиция является коварной и отвратительной, так как она очень часто направлена на обман более широкого коллектива (социума).

4. Интровертная псевдодифференциация связана с идентичностью. Мы попробуем разобраться в том, что такое идентичность и как она взаимодействует с ложностью. Нашей исходной позицией является то, (1) что между языками существует тождество, сходство и различие, (2) что каждый говорящий в зависимости от ситуации делает упор на идентичное или различное, (3) что чужие высказывания можно расценивать положительно и отрицательно и (4) что оценки могут быть истинными или ложными.

В этом треугольнике нас интересует лишь одна понятийная категория — различие в ее взаимоотношении с логическими категориями истинности и ложности. Идентичность базируется, в первую очередь, на тождестве, но немалую роль играют две другие соотносительные категории — различие и подобие⁵.

5. Под языковой идентичностью мы подразумеваем чувство принадлежности к определенному коллективу и к определенному языку. Идентичность является психологической и социологической идентификацией индивида (1) с чем-нибудь тождественным или почти тождественным для большинства своих и/или чужих, (2) с чем-нибудь дифференциальным (различительным) по отношению к внутреннему (своему) и внешнему (коллективному). Носитель идентичности оценивает, является ли то или другое его собственным или нет, и занимает соответствующую позицию.

Существуют два типа идентичности — центростремительная и центробежная. В первой господствует тождество, во второй — различие.

Центростремительная идентичность ведет к конвергенции, центробежная — к дивергенции. Но часто происходит их смешение, поэтому необходимо говорить и о кодивергентной идентичности.

⁵ Образно говоря, идентичность является не чистым металлом, а сплавом с примесями и тождества, и различия, и подобия.

Любая идентичность (конвергентная, дивергентная и кодивергентная) может быть истинной и ложной.

Конвергентная идентичность возникает в случае, когда индивид идентифицируется с чем-нибудь одинаковым с другим или подобным ему. Если такая идентификация замыкается в собственный коллектив, социум, возникает интраконвергентная идентичность. В случаях ориентации на близкий, родственный социум появляется интерконвергентная идентичность. Когда идентификация направлена на неблизкий, неродственный социум, создается экстраконвергентная идентичность. В частности, русская интраконвергентная идентичность возникает, когда носитель русского языка идентифицируется с говорящими на этом языке. Ложная идентификация появляется тогда, когда говорящий на знает, что он ориентируется на неправильное языковое выражение своего коллектива. Интерконвергентная идентичность зарождается, если, скажем, русский отождествляется, полностью или частично, с языком украинцев. Ложность такой ориентации может быть вызвана сознательным введением украинизмов, которые по сути не являются таковыми. Когда речь идет о сербском, хорватском и бошняцком языках, данная позиция в настоящее время не так актуальна из-за последней войны, которая очень усилила дивергенцию и ослабила конвергенцию. Экстраконвергентная идентичность проявляется в случаях, когда идентифицируется, скажем, хорват или серб с языком немцев (преднамеренным употреблением германизмов типа *farba, cuker, hauzmajstor* и т. п.). Псевдопозиция возникает и в неправильном выборе типичных слов неродственного языка.

Дивергентная идентичность базируется на различии, и в ней делается упор на дифференциацию по отношению к другому или к другим. Здесь часто «пахнет» пуризмом. Как и предыдущая, эта ориентация может иметь интра-, интер- и экстракорреляционный характер. Если дивергенция замыкается в свой собственный коллектив, возникает интрадивергентная идентичность. Когда различие потенцируется по отношению к близкому, родственному социуму, возникает интердивергентная идентичность. Если дивергенция направлена на неблизкий, неродственный социум, возникает экстрадивергентная идентичность. Интрадивергентная идентичность зарождается, когда индивид отталкивается от всех или некоторых говорящих на его родном языке (скажем, когда петербуржцы стремятся говорить не как москвичи). Ложность позиции может состоять и в том, что данное лицо плохо разбирается в глобальном расслоении родного языка и, скажем, просторечное выражение принимает за нормативное, разговорное за книжное, диалектное или жаргонное за литературное и т. п. Особый случай возникает, когда дивергатор, отталкиваясь от языкового выражения

большинства или определенной части своего коллектива, выражает протест против инноваций типа назойливого идеологического, политического... языка, новояза и т. п. Интердивергентная идентичность появляется, если, напр., серб стремится дифференцироваться своим языком от языка хорватов, и наоборот. Типичным примером экстрадивергентной идентичности является хорватская литературная норма, которая делает сильный упор на различия по отношению к сербскому языку. В хорватских дискуссиях по этому поводу выдвигаются иногда самые радикальные решения. Скажем, некоторые предлагают вводить как можно больше слов английского языка, чтобы максимально удалиться от сербского языка. Ложность проявляется и в незнании того факта, что форма, расцениваемая сербом как хорватизм или хорватом как сербизм, оказывается не такой. Подобную псевдопозицию могут вызвать единицы, которые существуют в данном языке, но говорящему это неизвестно. Напр., в хорватском *Испания, испанский* гласит — *Španjolska, španjolski*, а в сербском *Španija, španski*, но в некоторых устойчивых сочетаниях в хорватском используется вариант *španski: španska sela* 'то, что кому-либо совсем неизвестно, незнакомо'. В данном случае псевдодивергенция появляется, когда хорват начинает говорить *španjolska sela*.

Ложная интердивергентная идентичность выступает на первый план и в случае, когда дифференциатор при наличии одинаковой формы в разных языках путает стилистические пласты своего языка и языка, от которого он отталкивается. Ошибочность его позиции чаще всего состоит в том, что он избегает первичную форму другого языка и не знает, что она существует в его родном языке, но как вторичная. Мы можем (на материале словаря [Anić 2000]) привести ряд комбинаций стилистических, территориальных и социальных различий сербской нейтральной формы и хорватской окрашенной формы: 1. разговорной — *advokat* (razg. iron. branitelj u kakvoj prilici), *apoteka* (razg. iron. mjesto gdje je sve skupo, gdje se prodaje po visokim cijenama), *bek* (sport. razg. branič), *bina* (pozornica), *bokal* (pehar, vrč), *borik* (šumica, gaj, četinara), *bubašvaba* (reg. razg. žohar), *buđ* (plijesan), *cigla* (opeka)⁶, *pumpa* (crpka), *cucla* (duda, ćuća razg.), *džigerica* (jetra), *farmerke* (traperice), *fildžan* (šalica), *fišek* (reg. razg. šiljast oblik papirnate vrećice, vrećica šiljasta oblika), *flaša* (boca)⁷, *frižider* (hladnjak), *gazdinstvo* (gospodarstvo), *gelender* (rukohvat), *pegla* (glačalo), *peglati* (glačati), *pečurke* (razg. reg. gljive), *golman* (vratar),

⁶ Но для слова *ciglane* 'кирпичный завод', имеющего разговорный характер, нет одного лексического эквивалента, а только словосочетание: *tvornica cigala, mjesto gdje se izrađuju cigle*.

⁷ Глагол *flaširati* не сопровождается стилистическая помета.

don (poplat)⁸, *bodi* (razg. žarg. steznik), 2. жаргонной — *bradonja* (četnik), *brusthaler* (grudnjak), *centarhalf* (srednji pomagač), *direkor* (razg. žarg. loza koja nije cijepljena, vino od takve loze), *gajba* (žarg. lokal. košara ili plasnični sanduk, krletka, kavez), 3. экспрессивной вообще — *brodolomnik* (brodolomac), *buktinja* (baklja), *čistota* (svojstvo nematerijalnih činjenica, stanje bez neželjenih primjesa), *čvoruga* (čvor, kvrga, izraslina), *debakl* (sлом), *dželat* (krvnik), *džin* (div, gorostas), *gnjev* (velika ljutina, žestoko izražena srdžba; bijes, jarost), *grotlo* (krater), *hljeb* (1. ekspr. kruh, 2. okrugao oblik kruha), 4. региональной — *alas* (ribič, ribar na rijeci), *ašikovati* (reg. razgr. ekspr. udvarati se djevojci, ljubovati), *baglama* (šarka), *ben* (madež), *bostan* (1. lubenica, 2. zajednički naziv za dinju i lubenicu, 3. mjesto gdje raste bostan), *brojanice*, *brokoli*, *burgija* (reg. razg. svrdlo), *čik* (reg. razg. opušak), *čvoka* (reg. razg. zvrčka, čvrga, frnjokula), *čorsokak* (sporedna slijepa uličica, sokak bez izlaza na jednom kraju), *ćuran* (reg. ekspr. puran), *drum*, *dušek* (madrac), *đerđan* (reg. etnol. ogrnilica), *đubrivo* (reg. etnol. gnojivo), *ekser* (reg. razg. ekspr. čavao, hljeb (ekspr. kruh)), 5. уничижительной — *balkanski* (vrlo loše, tipično kao na Balkanu), 6. необычной — *brusač* (brusitelj), *ciglo* (samo, jedino), *cipelar* (postolar, obuçar), *degažman* (oslobođenje ili prekidanje neke obveze vlastitom odlukom ili ispunjenjem kakva propisa, otpustom i sl.), *dostava* (prijava, dojava, denuncijacija), *dostavljač* (dojavljivač, potkazivač, denuncijant), *gledalac* (gledatelj), 7. новой (неологизм) — *golf* (zaljev), 8. ироничной — *apoteka* (već spomenuto), *dakati* (stalno govoriti *da*, uočljivo često upotrebljavati *da* + prez. на мjestу infinitiva), *čedo* (razg. iron. < četnik).

Благоприятные условия для создания ложной интердивергенции в сербском, хорватском и бошняцком языках предоставляет орфографический и орфоэпический уровни. Этому способствует тот факт, что существуют три различных языковых стандарта (сербский, хорватский и бошняцкий), в рамках которых выделяются различные нормативные пособия — для сербского три [S-P/J/P 1995, S-Sim 1998, D-Deš 2002], для хорватского два [H-A/S 2001, H-B/F/M 2000] и для бошняцкого одно (B-Hal 1996). Вероятность ложности выбора усиливает наличие ряда дублетов и вариантных форм. Иллюстративным примером является чередование *е/о* типа *peterol/petero*. В сербском языке собирательные числительные *пјатеро*, *шестеро*, *семеро* и т. д. и образованные от них существительные пишутся через *о* (*petorka*, *peterol/petero*, *petero-šestoro*), в хорватском через *е* — *četvero*, *četverobroj*, *četverokut*, *četverolist*, *četveromjesečan*, *četveromoto*, *rčetveronoške*, *četverosjed* [H-A/S: 274], *peteročlan*, *peterodijelan*, *peterodnevan*,

⁸ У слова *doniti* отсутствует помета (*pođoniti*), а также в сочетании *bolí me don* (но не *poplat*) в значении 'мне все равно, меня это не касается'.

peteroježičan, peterokratan, peterokatnica, peterokut, peterokutnik, peterolistan, petersložan, peterostraničan, peterovrstan [H-A/S: 591], а также в боснийском — *četverica, četvero, četveročlan, četverogodišnji, četverokatnica, četverougao* [B-Hal: 190], *peterica, petero, peteročlan, peterokatnica, peterokut, peterostruk, peterozub* [B-Hal: 401]. Такое варьирование только одного гласного можно с трудом понять и легко перепутать, особенно в смешанной среде, какой являются Босния и Герцеговина. В том, что эти формы часто неправильно толкуются, мы убедились и в работе со студентами из различных мест бывшей Югославии.

Приведем еще один пример. Существуют различные нормативные решения для факультативной гласной *а* в именительном падеже сущ. м. р. с нулевым окончанием типа *aspekt* и *aspektat* (второе довольно редко, [S-P/J/P: 174]) — *aspekt* [Anić 2000]⁹; *dijalekat* и *dijalekt* [S-P/J/P: 199] — *dijalekt* [H-A/S: 290, H-B/F/M: 198] — *dijalekt/dijalekat* [B-Hal: 204]; *perfekat/perfekt* [S-P/J/P: 268] — *perfekt* [Anić 2000] — *perfekat/perfekt* [B-Hal: 400]; *projekat/projekt* [S-P/J/P: 282] — *projekt* [Anić 2000] — *projekt* [B-Hal: 460], которые можно легко перепутать. В особых случаях в качестве стандарта выбирается только гласная *а* (сущ. ж. р.) или же гласная *а* и нулевое окончание (сущ. м. р.), скажем *fonema* (сербский язык)¹⁰ — *fonem* [Anić 2000] — *fonema* — *fonem/fonema* [B-Hal: 233]; — *leksema* (сербский язык)¹¹ — *leksem* [Anić 2000] — *leksem/leksema* [B-Hal: 312]; *minut/minuta* [S-Sim 1998: 27]¹² — *minuta* [H-B/F/M: 283; Anić 2000] — *minut/minuta* [B-Hal: 330]; *osnov/osnova* (сербский язык)¹³: — *osnova* [Anić 2000] — *osnov/osnova* [B-Hal: 386]. Интересным является пара *kvalitet/kvaliteta, kvantitet/ kvantiteta*. Первая форма относится к сербскому и бошняцкому стандарту [B-Hal: 309]¹⁴, вторая к хорватскому, хотя хорватский словарь [H-Enc. rj.: 649] указывает на семантическую разницу: *kvaliteta* 'существенное свойство, качество, атрибут чего-л.', *kvalitet* — в философии 'одно из диалектических противопоставлений...' и в шахматной игре 'разница между легкой и тяжелой фигурами'

⁹ Нет в B-Hal.

¹⁰ Эта форма не упоминается ни в одном сербском орфографическом пособии [S-P/J/P, S-Deš, S-Sim].

¹¹ Данного слова нет в сербских орфографических пособиях [S-P/J/P, S-Deš, S-Sim].

¹² Нет в S-P/J/P, S-Deš.

¹³ Их не упоминает ни одно сербское орфографическое пособие [S-P/J/P, S-Deš, S-Sim].

¹⁴ Нет в S-P/J/P.

Показательным примером является слово *august/avgust*. Ни один из вариантов не является типичным для хорватского языка, так как в нем используется домашнее слово *kolovoz*. В сербской норме предусмотрена форма *avgust*, а в бошняцкой *august* [B-Hal: 163], хотя в практике используется и то и другое [Isaković 1993: 54–55].

На фонетико-фонологическом уровне самое большое заблуждение вызывает рефлекс *ять*. На территории новоштокавских говоров, которые легли в основу сербского, хорватского и бошняцкого языков, существуют три замены этого звука — *е*, напр., *leto* (так. наз. *экавица*), *је* (в слове с долгим *ять* — *ije*, ср. *breg* — *brijeg*), напр., *ljeto* (*екавица*) и *і*, напр., *lito* (*икавица*). Ошибочным является часто встречающееся утверждение, будто сербский — язык *экавский* или только *экавский*, а хорватский и бошняцкий *екавские* языки, хотя, например, для более полутора миллионов сербов в Боснии и Герцеговине *экавица* является литературным произношением.

Ложную позицию можно занять и в графике. Очень часто нам приходится читать или слышать, что сербы используют кириллицу, а хорваты латиницу, хотя латиница является и сербским письмом.

Условия для псевдодифференциации создают и другие уровни — деривационный (ср. суффикс *-telj/-lac*: *učitelj* vs. *gledatelj* — *gledalac*), морфологический (*nema PerelPera, putovilputevi*), лексический (*hljeb* — *kruh*), фразеологический (*k vrugu* — *do đavola*), синтаксический (инфинитив — конструкция *da* + настоящее время).

Кодивергентная идентичность объединяет конвергенцию и дивергенцию. Создание идентичности на основе и тождества и различия является, пожалуй, преобладающим типом. Другой вопрос — в каком объеме они сочетаются и взаимодействуют.

6. При рассмотрении различий между языками следует иметь в виду и тот факт, что существуют сознательная и неосознанная, спонтанная позиции. Напр., в кодивергентной идентичности напрашиваются следующие теоретические возможности: 1. сознательная конвергенция и неосознанная дивергенция, 2. неосознанная конвергенция и сознательная дивергенция, 3. сознательная и конвергенция и дивергенция, 4. неосознанная и конвергенция и дивергенция.

Ложность толкования различий может быть обусловлена и тем фактом, что к ним применяется автоматизм и все, что является различным, считается различием. Но это отнюдь не так. Существуют случаи, когда есть разница в выражении, но нет разницы между языками. Нам часто попадали переводы одного и того же текста на сербский и хорватский языки, в которых несовпадающие слова, выражения и конструкции являются результатом не системных различий, а следствием (а) своеобразного переводческого приема, (б) индивиду-

ального отбора и т. п. Поэтому в сербохорватской терминологии используют два понятия: *razlika* 'различие' и *razlikovnost* 'различительность'

7. Суть ложной экстравертной дифференциации состоит в том, что индивид неправильно находит и толкует различия между языками. Такая позиция выступает в форме собственного заблуждения или в форме обмана другого/других. При собственном заблуждении неосознанно и неправильно расцениваются и толкуются различия. При обмане других сознательно, преднамеренно они вводятся в заблуждение. Последняя ориентация нам кажется особенно губительной для науки и для жизни вообще. Проблема здесь в том, что иногда трудно определить, о чем собственно речь идет: о самообмане или о направленном обмане. Приведем пример. В «Русско-хорватско-сербском разговорнике» написано: «В настоящее время существуют два варианта литературного сербохорватского языка: восточный (сербский) и западный (хорватский). Несмотря на единую грамматическую основу, между этими двумя вариантами имеется существенная разница (до 80%) в произношении и лексике» [Русск. хорв. разг. 2001: 3]. Чем можно объяснить эту ложь — незнанием, преднамеренным обманом или чем-нибудь третьим? У нас нет ответа¹⁵. Дело в том, что самые ярые сторонники удаления хорватского от сербского вообще не упоминают такие большие цифры — в лексике различия не превышают двадцати процентов, а в произношении и в грамматике намного меньше.

Основной характеристикой лжи, направленной на обман других, является тенденциозность. Авторы такой позиции стремятся (1) необоснованно максимально увеличить или (2) минимизировать различия. Что касается упомянутых языков, первое более характерно для хорватов, второе — для сербов¹⁶. Целями такой ориентации являются, очень часто, не научные, а политические мотивы. Толкования совпадений, сходств и различий зачастую являются абсурдными и парадоксальными. В одном случае речь идет о полном отклонении от истины, во втором о фантазии, в третьем о настоящей фальсификации. Логика размышлений, аргументации, выводов по этому поводу иногда ближе к догадкам, чем к серьезному подходу. Результатом таких исследований является обман, заблуждение.

¹⁵ Купив этот разговорник и прочитав цитируемое, мы хотели связаться с автором, чтобы выяснить, откуда появилась такая нелепость, но нам не удалось, так как автор вообще нигде не упоминается, а лишь приводится ссылка на переводчика.

¹⁶ Одним из типичных примеров является «Словарь различий между сербским и хорватским языками» Владимира Бродняка (1992).

ЛИТЕРАТУРА

- Русск. хорв. разг. 2001 — Русско-хорватско-сербский разговорник / Пер. О. А. Сарайкина. М., 2001.
- Anić 2000 — *Anić Vladimir*. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb, 2000.
- B-Hal 1996 — *Halilović Senahid*. Pravopis bosanskoga jezika. Sarajevo, 1996.
- Brodnjak 1992 — *Brodnjak Vladimir*. Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika. Zagreb, 1992.
- H-A/S 2001 — *Anić Vladimir, Silić Josip*. Pravopis hrvatskoga jezika. Zagreb, 2001.
- H-B/F/M 2000 — *Babić Stjepan, Finka Božidar, Moguš Milan*. Hrvatski pravopis. Zagreb, 2000.
- H-Enc. rj 2002 — Hrvatski enciklopedijski rječnik / Urednici Ranko Matasović, Ljiljana Jojić. Zagreb, 2002.
- S-Deš 2002 — *Dešić Milorad*. Pravopis srpskog jezika. Zemun, 2002.
- S-P/J/P 1995 — *Pešikan, Mitar; Jerković, Jovan; Pižurica Mato*. Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad; Beograd, 1995.
- S-Sim 1998 — *Simić Radoje*. Pravopisni priručnik srpskoga književnog jezika. Priredila Pravopisna komisija. Beograd, 1998.

О СПОСОБАХ МАРКИРОВАНИЯ СТЕПЕНИ ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В СЕЛЬКУПСКИХ, КЕТСКИХ И ЭВЕНКИЙСКИХ ТЕКСТАХ

На материале селькупских¹, кетских и эвенкийских² фольклорных и бытовых текстов в статье рассматриваются лексические и грамматические средства маркирования степени достоверности описываемых событий.

Начнем с полюсов достоверности: на одном полюсе — явная ложь, на другом — абсолютная достоверность. На полюсе лжи селькупский и кетский языки четко различают, с одной стороны, вранье, рассказывание недостоверных вещей, фантазирование, с другой — целенаправленный обман. В селькупском этот полюс представлен однокоренными глаголами *molympyqo* ‘врать, говорить недостоверные вещи, болтать вздор (не ставя перед собой задачу нанести вред тому, к кому обращена речь)’ и *molmyttyqo* ‘врать, говорить вещи, не соответствующие действительности’, и глаголом *älalqo* ‘обмануть кого-то (в свою пользу, нанеся ему вред)’ (ср. примеры 1 и 2 с примером 3):

- (1) *Tat yky molympäšik: økt topyl' konirly tam enDy, tap qaj molymmynnanDy?* ‘Ты не ври (зря не болтай): у края рта твоего складка (у селькупов это признак неправдивой речи), что зря болтаешь’ [Прок. Арх.].
- (2) *Ašša, tat mol'mytanty, — nor nılčik kätuyut* ‘Нет, ты врешь, — бог так сказал’ [Варк. Арх.].

Статья подготовлена в рамках Программы Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям».

¹ Используемый селькупский материал частично опубликован [Прокофьев 1935; Очерки 1993; Казакевич 1998; 2000; Kazakevitch 2001], частично взят из архивов Г.Н.Прокофьева (записи 1925–1928 гг.) и Л.А.Варковицкой (записи 1941 г.) и из экспедиционного архива автора (записи 1996–2006 гг.).

² Кетский и эвенкийский материал записан автором в 2004–2007 гг. во время экспедиций в Туруханский р-н и Эвенкийский муниципальный р-н Красноярского края (экспедиции проводились при поддержке РГНФ, гранты 04-04-12028, 05-04-18012е и 07-04-18027е, и РФФИ, гранты 05-06-88019 и 07-06-10017). Привлекались также материалы словарей [Werner 2002; Василевич 1958; Болдырев 2000] и грамматик [Werner 1997; Константинова 1964; Bulatova, Grenoble 1999; Nedjalkov 1997].

- (3) *Ton namy kətyŋyty «Tat tɨ ʃallä ʃip tattysanDy»* ‘Тот так говорит: «Ты сюда, обманув, меня, привез»’ [Прок. Арх.].

Аналогично в кетском языке есть глаголы *klmbereŋ* ‘врать, болтать всякий вздор’ и *alʔbet* ‘обмануть кого-нибудь’:

- (4) *da-klmbereŋavet* ‘она врет, говорит вздор’ [Werner 2002].
 (5) *Bura qim da-alʔberoolʔbet* ‘Его жена обманула-его’ [Суломай 2006].
 (6) «*Uk aksaŋ at k-albatboŋot?*» — «*Bən, a u bən d-alʔbytkuŋot*» ‘«Ты зачем меня обманываешь?» — «Нет я тебя не обманываю»’ [Мадуйка 2006].

Напротив, в эвенкийском языке эти понятия так кардинально не противопоставлены, и для их выражения используются однокоренные глаголы с разными видовыми и залоговыми показателями: *uläkki-d'emī*, *uläkki-tčēmi* ‘врать, обманывать’ и *uläkki-mī* ‘обмануть кого-нибудь’:

- (7) *Tar amaski hulaki tar huwulwətin uläkkittʔəŋə girkudʔafki bišə* ‘Это раньше лиса эта, всех обманывая, ходила’ [Чиринда 2007].
 (8) *Ǿantaki Ǿamawə bakaša uläkkittʔəŋən* ‘Росомаха тепло нашла, обманывает’ [Там же].

Для маркирования полюса абсолютной достоверности в рассматриваемых языках используется несколько больший набор лексических средств. Прежде всего, в каждом из трех языков есть специальное слово, характеризующее высшую и безусловную степень достоверности — истину. Для селькупского языка это *ǧnylʔ* ‘действительный, верный, настоящий’ или просто ‘именно так’:

- (9) *ǧnylʔ qətyt mǧnnentǧmyn* ‘Настоящее шаманское умение измерим’ [Очерки 1993].
 (10) *Qäl-ira nälamty karrä ūtyty lčan annonty, qaj ǧnylʔ qətpaty piččar — ēŋa qaj čāŋka?* ‘Ненец свою дочь на берег послал к Ичиной ветке (лодке) — действительно ли (Ича) поймал шуку — есть или нет?’ [Там же].
 (11) *Kətsat, ǧnylʔ, qälympäš topysä* ‘Внук, правда, иди пешком’ [Там же].

В кетском языке тот же круг понятий выражается лексемой *baʔt* ‘истинный, верный’, а также ‘действительно, на самом деле’:

- (12) *Baʔt toʔn, bara, qaʔs an ilʔga, u, bara, toʔn qaʔs an ilʔga, u, bara*, молодец ‘Правда, так, говорит, говорила-ты, ты, говорит, так говорила-ты, ты, говорит, молодец’ [Суломай 2004].

Аналогично употребляется и эвенкийское *tədʔē* ‘правда; правильный; правильно’:

- (13) *Si tədʔewə gundʔenni* ‘Ты говоришь правду’ [Болдырев 2000].
 (14) *Tuyi tədʔē bidʔəŋən* ‘Так будет правильно’ [Там же].

Поскольку достоверное (в отличие от недостоверного) всегда оценивается положительно, нет ничего удивительного в том, что лексема со значением ‘хороший’ получает также значение ‘достоверный’, коль скоро дело касается речевых актов, а также глаголов зрительного или слухового восприятия. Так, селькупское *somak* ‘хорошо’ в сочетании с глаголами говорения обозначает не только (и не столько, хотя и это важно) высокое качество оформления высказывания, но и максимальную степень его достоверности. Иными словами, *somak kätuqo* (букв. ‘хорошо сказать’) означает ‘сказать точно, четко, и с максимальной степенью достоверности (то, что есть на самом деле)’:

(15) *Ira somak tomnyty* ‘Старик хорошо сказал’ [Очерки 1993].

(16) *Ičakyčyka somaj muntuk kätympaty* ‘Ичакычика хорошо все сказал’ [Там же].

Хорошо увидеть — это значит четко, с максимальной степенью достоверности увидеть (то, что есть на самом деле):

(17) *Somak qonyty* — *purqu čiqqumčira* ‘Хорошо увидел — дым дымит’ [Там же].

(18) *Somaj ata* ‘Хорошо видно’ [Там же].

Хорошо услышать — это четко услышать то, что звучит на самом деле:

(19) *Somaj iıntıńńa* — *qaj-qos qälympa* ‘Хорошо слышит — кто-то идет’ [Таз 2002].

Кетское *aqta* ‘хороший’ и эвенкийское *aja* ‘хороший’ также способны маркировать высокую степень достоверности восприятия.

Для носителей европейских языков и западной культуры следующий способ выражения высокой степени достоверности может показаться несколько неожиданным. Максимальную степень достоверности имеет все, что происходит в соответствии с заранее сказанным, предсказанным знающим (шаманом), *čtymynty* ‘по слову его’ (селькупск.):

(20) *čtymyndy pōnā tanlä, cap qōnyty mōtty pōryt ulqa čōty tamyl’ sarByla ippyndy* ‘По его словам, на улицу выйдя, лишь увидела (едва нашла) против льда крыши землянки грязная дорожка лежит’ [Прок. Арх.].

(21) *Tap ničik tenyrny «Koš’ ola tap lōZōqu qondalel’čilaqu, mat təkajsan eja!» čtymyndy lōZōqu kupaka nakalnōqu* ‘Он так подумал: «Хоть бы эти два черта заснули, я прошел бы!». По его слову два черта немного задремали’ [Там же].

А вот кетский пример того, как достоверность обеспечивается силой мысли (речь идет о сильной шаманке):

- (22) *Qaddəq diŋt anuŋ onäŋ: biŋa, bara, bara, anəŋil'bet, i ton bat šitonoq, ton bat šitonoq* 'Сильно у нее ума много: как, говорит-он, говорит-он, подумала, так и получилось, так и получилось' [Суломай 2006].

Высокой степенью достоверности обладают также вещие сны. Если в селькупском, кетском или эвенкийском тексте говорится, что кто-то видел вещий сон — например, в селькупском тексте употреблен глагол *kütäptygo* 'грезить, видеть (вещий) сон' — можно не сомневаться, что все пригрезившееся сбудется:

- (23) *Na šöl'qumyl' mōtyr nīk tomnyt «Qoj mat kütäptentam tyntena, na ukkor tiŋčyk kütäptysam: ukkyr tintə myžaltuka nassar tökap pättänyt. Na ukkor nīlčyk, na nīlčyk kütäptysam»* 'Этот селькупский богатырь так говорит: «Что я увижу во сне такого, одно только увидел во сне: один ястреб тридцать гусей одним ударом свалил. Вот оно так, вот так во сне видел»' [Фарково 1999].

Наконец, еще один весьма распространенный способ подчеркнуть высокую степень достоверности утверждения — это ссылка на авторитет, в частности на авторитет старших, предков. В качестве примера можно привести высокочастотное употребление в текстах одного из наших полигусовских информантов словосочетание *aminmi gund'žərən* 'мой отец говорил':

- (24) *Ilal, d'uləl i šaman bičən, aminmi gund'žərən, gərbin guŋd'ičən* 'Люди, чумы, и шаман был, отец-мой говорил, имя-его говорил' [Полигус 2005].

Теперь перейдем к тому, что находится между полюсами достоверности. Рассмотрим случаи, когда рассказчик специально отмечает, что он не может поручиться за абсолютную достоверность излагаемых им событий. Для того, чтобы пометить не слишком высокую степень достоверности, во всех трех языках могут использоваться лексические, а в селькупском и эвенкийском — еще и специальные грамматические средства.

Лексические средства — это преимущественно различные частицы. Особенно богат арсенал таких частиц в селькупском языке [Очерки 1980], причем некоторые из них довольно частотны. Рассказчики как бы стремятся снять с себя ответственность за достоверность событий, свидетелями которых они не были или которые происходили с их участием, но довольно давно, так что отдельные детали они помнят не слишком четко.

В селькупских текстах встречаются следующие лексические маркеры неполной достоверности:

myta ‘видать, вроде, будто’. Эта частица маркирует виденные рассказчиком события и некоторую неуверенность рассказчика в том, что виделось:

- (25) *Qum tōnny, ukkyr čontōqyt qoŋyty — ɔnyl, myta, qaj tü čəpynty, qaj, myta, čəlyty ɔtynty* ‘Человек идет на лыжах, вдруг увидел — действительно, вроде, то ли огонь горит, то ли, вроде, солнце восходит? [Очерки 1993].

Интересный пример употребления этой частицы представляет фрагмент шаманского камлания, где молодой шаман рассказывает о своих видениях:

- (26) *ni'lDži myta kətsan myta mēl'Dy kojmytäšyk (myn)!*

Sər il'Džany tešɨnDyn il'Dža mannymBəyəy(ja)m:

se'lDži myta qorqaj my il'Dža mēl'Dy saŋa(jə)

‘Так, будто, внук, будто, всегда пой!

У седого деда моего вас (т. е. идолов), деда вижу я:

семерых, будто, медведей дед всегда проверяет’

<это, собственно, то, что молодой шаман-внук-видит> [Таз 1996].

monty ‘видать’ Еще одна частица, также выражающая некоторое недоверие к зрительному восприятию:

- (27) *Monty tɨnana il'camy na tünty* ‘Видать, тот самый дед пришел’ [Очерки 1993].

- (28) *Nŷny na tümmyntšyt, qoŋšyt: monty ɔmyl' qōl' qāty* ‘Потом пришли, увидели: видать, [это] царский город’ [Там же].

- (29) *MonDy myta ky korreimmynDy* ‘Видать, будто река течет (бороздит)’ [Прокофьев 1935].

- (30) *LōZy-ira monDy myta nīmyt karrae penDa* ‘Черт-старик, видать, будто по этому (месту) вниз по течению плывет (не гребя) [Там же].

tompa ‘говорят, слышать’ Эта частица в отличие от двух предыдущих маркирует не нечеткость зрительного восприятия, а тот факт, что рассказчик слышал о сообщаемых им событиях, но сам не был их очевидцем (при этом те, от кого он слышал о событиях, не являются общепризнанными авторитетами):

- (31) *JomBa karmattynɔny putyt timyl laka innä tūtynty, nŷny nil' kətynty: «Tap puty momBa pōl' amyryl' sūryp. ɔnij čōlsä kətsälä tap pōp ta'alDyŋjā!»*

‘Йомпа из кармана своего бобровую челюсть вытащил, затем так сказал: «Этот бобер, говорят, дерево поедающий зверь. В самом деле если с мудростью он, это дерево пусть ломает!»’ [Прокофьев 1935].

В кетском языке формы глагола *-та* ‘говорить, сказать’, употребляемого обычно для передачи прямой или косвенной речи (чаще других в текстах встречаются формы 3 лица единственного числа *barə* для субъекта мужского согласовательного класса и *məpə* для субъекта

женского и неодушевленного согласовательных классов), могут использоваться также в качестве маркеров не абсолютной достоверности высказывания. Сравните примеры (32–34), в которых этот глагол употреблен в своем прямом значении, с примерами (35–37), представляющими промежуточный вариант, и, наконец, с примерами (38–39), где нет передачи чужой речи и где, заметим, употребление формы глагола (3.Sg.M) уже не имеет никакого референта даже за пределами текста (употреблена форма глагола с мужским согласованием).

- (32) *A ob awuy barə: «hunā, qote rā du' duoyəwət!»* 'А отец мне говорит: «Дочка, впереди вон дым видать!»' [Мадуйка 2006].
- (33) *Amā, bara, ar ukuṇa dīmes', at tī, bara, tī, bara* 'Мама, говорит-он, я к тебе пришел, я вот, говорит-он, я вот, говорит-он' [Суломай 2006].
- (34) *Baṇnere quś bara qones' kyndiṇa bara habyta. Ytak bara aṇam, ytak ugdam* 'Бальны чум, говорит, на утренней заре (т.е. с восточной стороны) стоит. Стойбище, говорит, большое, стойбище длинное' [Там же].
- (35) *Al, ture, at, mana, t'e kəmə mana, kəmə al biśi mana, tiṭtet, mana* 'Тайга, это вот, не, сказала, давайте не надо, сказала, не надо в тайге, вечером, сказала, купаться, сказала' [Там же].
- (36) *Kirə qolebes' bara ḍṭet* 'С этой стороны, вроде (говорит-он), обходит-он' [Там же].
- (37) *El' en mana dīṇan* 'На улице сейчас, вроде (говорит-она), сидим' [Там же].
- (38) *Śin iṇustənty dolin. Ama itən barə biliwyṭ, itn barə biliwyṭ, opor asṭin barə biliwyṭ* 'В старом доме жили. Мать юколу, вроде, делала, юколу, вроде, делала, отец лодку, вроде, делал' [Мадуйка 2006].
- (39) *Tūi, barə, tūi wəzde dutəwəṇ* 'Мошка, вроде, мошка везде лезет' [Там же].

Вернемся к селькупскому материалу. В селькупском языке есть еще несколько частиц, сигнализирующих о неуверенности рассказчика в достоверности сообщаемой информации без указания на канал ее получения:

qapi 'вроде':

- (40) *A Paramej qapi puškassä* 'А Парамей, вроде, с ружьем' [Таз 2002].
- (41) *Qapi il'sak sötqyn, qapija* 'Ну, жила в лесу, вроде' [Там же].
- (42) *A mē ṇəqyrmyt, mat picy wəsumyntam: ukkyr n'emy lapa, lapallaka qapi isyṭy, loqat pityllaka šyqyltentyṭy, ukkur ṇemy nej poqollaka wəsummynty loqat pityn ṣp taqyṭtygo* 'А мы втроем: я топор держу, один лопату, лопату, вроде, взял, лисы нору раскапывать будет, один, это вот, сеть держит, лисы норы вход (рот) перекрыть' [Там же].

qəṭy 'наверное, будто':

- (43) *Mət šūñčəḍqyt qəṭy tū təryk čəBumBa* 'В чуме словно огонь прямо горит' [Прокофьев 1935].

- (44) *Niļ'cik kətyŋyt*: «*Təntena ira ijaŋ qəŋy qənnpyt*» 'Так сказали: «Тот старик мальчика будто убил»' [Барк. Арх.].
- (45) *Təmnənka ponä pakta. Nətenkat tol'cip mennnypaty*: «*Qəŋy somak tempaty*» 'Лягушка на улицу выбежала. Девки лыжи смотрит: «Однако хорошо сделала она»' [Там же].

qəŋy mity 'кажется, вроде бы':

- (46) *Imakota niļ'cik ėsa*: «*Mat ponä tantyŋak totap kəsyl mətyl' myt mory nymty qəŋy mity məl märka*» 'Старуха так сказала: «Я на улицу ходила, там железных чумов в промежутке там как будто ветер»' [Барк. Арх.].

В кетских текстах частица *tam*, употребляемая для введения косвенных вопросов без вопросительного слова (аналог русской частицы *ли*), может также использоваться для маркирования отсутствия полной достоверности:

- (47) *Bu tam in döldəx, tam en haj duoraŋ, tam beñ idenlem* 'Он долго ли жил, сейчас еще живет ли, наверное не знаем-мы' [Суломай 2006].

В эвенкийских текстах встречается частица *hinčə*, которую информанты при расшифровке переводили как 'вроде':

- (48) *Əlba-wal d'ewd'efkin hinčə d'elum mittuk, mittu ənəl borirə* 'Что-то едят, вроде, тайком от нас, нам не дают' [Чиринда 2007].
- (49) *Tawədu d'ikən'ləd'ərə bəjətəl hinčə, gunən* 'Там прячутся людоеды, кажется, сказала'

Как уже отмечалось, в селькупском и эвенкийском языках помимо лексических средств выражения степени достоверности существуют и грамматические.

В селькупском языке есть два наклонения, маркирующих неполную достоверность информации, — латентив (неочевидное наклонение) и аудитив. Аудитив описывает события, воспринимаемые рассказчиком на слух:

- (50) *Nunu ponä iŋqyl'tymra*: *Qup poqyt tap tü-kunä* (прийти-Aud.3.Sg.Sub) 'Потом наружу слушает. Человек на улице, пришел-слыхать' [Барк. Арх.].
- (51) *Ukkyr čonDəqyt niļ'cik ünDyññity*: *qup tap pač'ity-kunä* (рубить-Aud.3.Sg.Sub) 'Вдруг так слышит: человек это рубит-слыхать' [Барк. Арх.].
- (52) *Təryŋ nymty ily-kunä-ryŋ* (жить-Aud.3.Pl.Sub) 'Они там живут-слыхать' [Толька Пур 2000].

Формы аудитива встречаются в современных записях крайне редко, но и в записях более чем восьмидесятилетней давности их совсем не много. Гораздо более употребителен латентив. Особенно характерны

формы латентива для фольклорных текстов, однако они встречаются и в бытовых рассказах:

- (53) *Nomal' Porqy ira na ily-mmy-nt-y* (жить-PstN-Lat.-3.Sg.Sub) 'Старик Немаль Поркы жил-вроде' [Очерки 1993].
- (54) *Tytyt iṭpōqyt mākā čsāṣ pīqylpylā qorqyllaka nuṇy-nt-y* (стоять-Lat.Prs-3.Sg.Obj) 'У комля дерева, ко мне лицом (мне навстречу) повернувшись, медведь стоит-оказывается' [Таз 2002].
- (55) *Nyny kuṣṣat paktypṭāqynty, kupa ṇemy qoṭ'čy-nt-yty* (увидеть-Ltn.Prs-3.Sg.Obj) *Sūrypty mītqyltēnyty* 'Потом (медведь) когда побежал, племянник (младший человек мой) увидел-вроде (его)' [Там же].
- (56) *Na loqat pityl'at qanaqyn tytyṇ matqy-mma-nt-y* (стоять/торчать-PstN-Ltn-3.Sg.Sub) 'На краю этой лисьей норы кедр стоял-вроде' [Там же].

Еще в 1940-е гг. Л. А. Варковицкая указывала на тенденцию к вытеснению аудитива латентивом в баишенском говоре [Варковицкая 1947]. Та же тенденция отмечалась для среднетазовского говора в [Очерки 1980]. Сегодня, однако, и сам латентив становится все менее употребителен³, и, таким образом, основная нагрузка по маркированию неполной достоверности селькупских высказываний переносится на частицы.

В эвенкийском языке существует наклонение вероятности, являющееся аналогом селькупского латентива: его формы служат для маркирования неполной достоверности высказывания:

- (57) *ədu nunṇartyn dōrūmkūtčəwkīl bi-nā-rə* (быть-Prob-NFut-3.Pl) 'Они, наверное, здесь отдыхают' [Болдырев 2000].
- (58) *Asāl tawlə-rgu-rə* (ходить.за.ягодами-Hab.Prob-NFut-3.Pl) *tar urəlā* 'Женщины, наверное, ходят за ягодами на ту гору' [Константинова 1964].
- (59) *Nu guṇəm Gošajadu bi-d'ə-n-ṣ-rə-n* (быть-Impf-Prob-NFut-3.Sg) 'Ну, подумал, у Гоши находятся-наверное' [Совречка 2006].
- (60) *Ďžemṇəṇ bi-rkə* (быть-Prob.3.Sg) *əkun* 'Еда-его была-наверное [где-то рядом], это самое' [Там же].

В современных записях эвенкийских текстов у некоторых информантов встречается дублирование значения форм наклонения вероятности вставляемым в текст русским *наверное*:

- (61) *Udžad urinčəṣwun, d'urə* целый *наверное aṇəči-rkə-wun* (это.делать-Prob-1.Pl.Ex), *ṇəṇd'əṣwun* 'На дороге останавливались, два-дня целых, наверное, это-делали-наверное, ехали' [Совречка 2006].

³ Подробнее о трансформации системы наклонений в северных селькупских говорах см. [Казакевич 2005].

- (62) *Hajalə idu-dó, tuy-do čipkan, naверное, wa-rka* (убить-Prob.3.Sg), *d'ewu-rkə-tin* (съесть-Prob.3.Pl) *nuŋərwətin* 'Совсем нигде [нет собак], так вот, волк, наверное, убил-наверное, съели-наверное их' [Там же].

Рассмотренный материал показывает, что для селькупских, кетских и эвенкийских рассказчиков маркирование степени достоверности сообщаемой информации весьма существенно. По-видимому, это свидетельствует о чрезвычайно серьезном отношении к слову, в целом характерном для традиционной культуры и продолжающем сохраняться даже в ситуации постепенного ее разрушения.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ МАТЕРИАЛА

- Варк. Арх. — селькупские тексты из архива Л. А. Варковицкой
 Прок. Арх. — селькупские тексты из архива Г. Н. Прокофьева (копии, хранящиеся в архиве Л. А. Варковицкой)
 Мадуйка 2006 — кетские тексты, записанные в пос. Мадуйка Туруханского района Красноярского края в 2006 г.
 Полигус 2005 — эвенкийские тексты, записанные в пос. Полигус Эвенкийского АО в 2005 г.
 Совречка 2006 — эвенкийские тексты, записанные в пос. Совречка Туруханского района Красноярского края в 2006 г.
 Суломай 2004/2006 — кетские тексты, записанные в пос. Суломай Байкитского района Эвенкийского АО в 2004/2006 гг.
 Таз 1996/2002 — селькупские тексты, записанные на Верхнем и Среднем Тазу (Красноселькупский район Ямало-Ненецкого АО) в 1996 и 2002 гг.
 Толька Пур 2000 — селькупские тексты, записанные в пос. Толька Пуровского района Ямало-Ненецкого АО в 2000 г.
 Фарково 1999 — селькупские тексты, записанные в пос. Фарково Туруханского района Красноярского края в 1999 г.;
 Чиринда 2007 — эвенкийские тексты, записанные в пос. Чиринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края в 2007 г.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ГЛОССЫ

- | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Aud — аудитив | Pl — множественное число |
| Ex — эксклюзив | Prob — наклонение вероятности |
| Impf — несовершенный вид | Prs — настоящее время |
| Hab — хабитуалис | PstN — повествовательное
прошедшее время |
| Lat — латентив (неочевидное наклонение) | Sg — единственное число |
| M — мужской согласовательный класс | Sub — субъектное спряжение |
| NFut — небудущее время | |
| Ob — объектное спряжение | |

ЛИТЕРАТУРА

- Болдырев 2000 — *Болдырев Б. В.* Эвенкийско-русский словарь. Т 1, 2. Новосибирск, 2000.
- Варковицкая 1947 — *Варковицкая Л. А.* Глагольное словообразование в селькупском языке (по материалам баишенского говора). Дис. канд. филол. наук. М., 1947.
- Василевич 1958 — *Василевич Г. М.* Эвенкийско-русский словарь. М., 1958.
- Казакевич 1998 — *Казакевич О. А.* Фольклорная традиция северных селькупов сегодня // *Сибирь в панораме тысячелетий.* (Материалы международного симпозиума). Т. 2. Новосибирск, 1998.
- Казакевич 2000 — *Казакевич О. А.* Автобиографический рассказ как жанр селькупского фольклора // *Сравнительно-историческое и типологическое изучение языков и культур. Преподавание национальных языков. Материалы международной конференции «XXII Дульзоновские чтения».* Ч. III. Томск, 2000.
- Казакевич 2005 — *Казакевич О. А.* Изменение структуры языка с ограниченной сферой употребления // *Малые языки и традиции: существование на грани.* Вып. 1. Лингвистические проблемы сохранения и документации малых языков. Посвящается 75-летию академика Вячеслава Всеволодовича Иванова / Под ред. А. Е. Кибрика. М., 2005. С. 122–134.
- Константинова 1964 — *Константинова О. А.* Эвенкийский язык. М., 1964.
- Очерки 1980 — *Кузнецова А. И., Хелимский Е. А., Грушкина Е. В.* Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект. Т. 1. М., 1980.
- Очерки 1993 — *Кузнецова А. И., Казакевич О. А., Иоффе Л. Ю., Хелимский Е. А.* Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект. Т. 2. Тексты. Словарь. М., 1993.
- Прокофьев 1935 — *Прокофьев Г. Н.* Селькупский (остяко-самоедский язык). Л., 1935.
- Bulatova, Grenoble 1999 — *Bulatova N., Grenoble L.* Evenki. Muencjen: Lincom Europa, 1999.
- Kazakevitch 2001 — *Kazakevitch O.* Two Recently Recorded Selkup Shamanic Songs // *Shaman. Szeged*, 2001. № 1/9. Vol. 9. № 2.
- Nedjalkov 1997 — *Nedjalkov I.* Evenki. London; New York, 1997.
- Werner 1997 — *Werner H.* Die Ketische sprache. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1997.
- Werner 2002 — *Werner H.* Vergleichendes Vörterbuch der Jenissej-Sprachen. Bd. 1–3. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2002.

О РАЗНООБРАЗНЫХ ТИПАХ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ИСТИНЫ (ШУТКА, ОШИБКА, СЕНСОРНЫЕ ДЕВИАЦИИ, УМОЛЧАНИЕ)

I. Как известно, человеку свойственно стремление фантазировать, проявляющееся, в частности, в разнообразных типах языковой игры, зафиксированной как в виде «кодифицированных» каламбуров и поговорок на уровне словаря, так и возникающих окказионально.

Сохранилось много воспоминаний о поэте Михаиле Светлове, обладавшем исключительным чувством юмора. Однажды, когда он отдыхал на юге в писательском Доме творчества, у него заканчивались деньги, а гонорар, которого он с нетерпением ожидал, все не приходил. Тогда он отбил в Союз писателей телеграмму следующего содержания: *Вашу мать беспокоит отсутствие денег*. Деньги были присланы незамедлительно. Фраза, как видим, неоднозначна. В ней, с одной стороны, проступает намек на эвфемистическую брань (с учетом допустимости отсутствия знаков препинания в телеграфном тексте). С другой стороны, она имеет гарантированное эвфемистическое прикрытие в виде ее буквального прочтения: 'Ваша мама обеспокоена отсутствием денег'

Существует много пословиц и выражений, глубинный смысл которых заключен в их непрямом значении. Эффект каламбура возникает тогда, когда при их произнесении имеет место ситуация, которая соответствует их прямому значению. *Не бросай на меня тень* — говорит загорающая на пляже девушка своему парню, который загородил ей солнце. Ср. также *Липу ободрали как липку*. Но этот эффект вдвойне усиливается, если одновременно сосуществуют ситуации, соответствующие и прямому, и непрямому значению выражения, ср.: *Снег выпал, как снег на голову*; Маленького мальчика спрашивают: — *Кем бы ты хотел работать?* — *Продавцом*. — *Но ты еще ведь очень маленький!* — *Я мог бы торговать из-под прилавка!* Когда Михаил Светлов был уже безнадежно болен, друзья достали ему за границей очень дефицитное лекарство, произведенное из нефти. Он взял пузырек, понюхал и сказал: *Да, дело пахнет керосином...*

В разнообразных фантазиях обычно проявляется умение (если не искусство) увидеть сходство между такими объектами, между которыми обыденное сознание (по крайней мере с точки зрения конвенциональных норм языка) сходства не усматривает. При этом часто

используются разные способы обыгрывания принципа отрицания в соответствии с противопоставительной формулой вида 'не Р, а Q', которая в ряде случаев переформулируется как «значение выражения Р есть не 'Р', а 'Q'».

Именно такой подход принят, например, в разнообразных шуточных, т. н. «бестолковых» словарях, где слову приписывается не его естественное, общеизвестное значение, а совсем другое, совершенно неочевидное. При этом проявляется умение «составителя» увидеть в словах с т. н. «прозрачной» внутренней формой (производных, или композитах, смысл которых тем или иным образом «складывается» из образующих слово компонентов) другую «прозрачную» внутреннюю форму, которая на самом деле в исходном слове отсутствует. Компоненты этой новой внутренней формы и образуют другое значение слова, причем это становится очевидным лишь после того, как будет «предъявлена» языковая единица (слово или словосочетание), имеющая смысл, «вычисляемый» из новой внутренней формы. Например, существительное *загон* толкуется как 'срочная продажа' (т. е. нормативное $S_{юс}$ от *загонять* (*скотину*)) преподносится как S_0 от жаргонного *загонять* в значении 'продавать'); *речка* — это 'небольшое выступление' (уменьшительный суффикс -к будто бы сочетается с основой не *-рек*, а *речь*); композиту *тепловоз* приписывается значение 'термос', а *судопроизводство* толкуется как 'кораблестроение' (здесь обыгрывается тождество «композитных форм», в которые в составе сложного слова трансформируются основы разных слов: *суд* и *судно*). Различие же этих форм в составе композита нормативно маркируется противопоставлением вторых компонентов: *судопроизводство/судо-строение*). Ср. также *провиниться*, интерпретируемое как 'хватить лишнего', где используется общность производных форм от основ существительных *вина* и *вино*. Кроме того, часто обыгрывается умение увидеть в словах с непрозрачной внутренней формой другую (вроде бы «прозрачную»), ср.: *рыло* — 'лопата', *садизм* — 'движение за озеленение городов', *перешеек* — 'гильотина', *куропатка* — 'бешеная курица'. В таких «словарях» как бы «узаконивается» существование слов, которые в действительности в языке отсутствуют.

Представляет также интерес рассмотрение производных языковых средств вида А', построенных в результате «отталкивания» от некоторого исходного («прецедентного» — ср. [Ковшова 2006]) обозначения А, связь с которым ясно прослеживается благодаря использованию при построении А' приемов звукоподражания, перестановки элементов и т. д. При этом становится очевидным, что выражение А', обозначая ту же ситуацию, что и А, одновременно содержит дополнительную, часто оценочную характеристику данной ситуации. Ср. в

этой связи приводимое в работе [Мокиенко, Никитина 1999] лагерное выражение *надолго вон* — ‘об отправке заключенных на строительство канала Волга–Дон’ Здесь производное выражение *надолго вон*, обозначая ситуацию отъезда на строительство волго-донского канала, дополнительно проливает свет на истинную суть того, что происходит, с точки зрения говорящего: это еще и одно из средств длительной принудительной изоляции заключенных от нормальной жизни общества. В данном случае смысл производного выражения соотносится со смыслом исходного по типу противопоставительной структуры ‘не только Р, но и Q’: цель отправки состоит не только в участии заключенных в строительстве канала, но и в их длительной изоляции. При этом оценочный компонент располагается в презумпции дескриптивной части высказывания — презумпции, которая актуализуется ассерцией: ведь принудительная длительная изоляция кого-либо — это один из видов наказания, т.е. того, что является нежелательным для его пациента.

В этой связи полезно рассмотреть еще один пример производного выражения, которое, сохраняя очевидную связь с исходным, не является его отрицанием, а просто указывает на другую ситуацию, близкую к только что рассмотренной. В качестве исходного выражения выступает всем известная русская поговорка *Тише едешь — дальше будешь*, соотносящаяся с нормативным правилом практического рассуждения, которым руководствуется благоразумный исполнитель той или иной работы (ср. также близкое по значению *Солдат спит, а служба идет*). Но в результате перестановки некоторых компонентов в исходном выражении получаем производное *Дальше едешь — тише будешь*. Здесь все кардинально меняется — теперь речь идет о «правиле», руководствуясь которым некая вышестоящая инстанция Х отправляет в ссылку (или почетную ссылку) неугодное Х-у лицо Y. Данное выражение может осмысляться двояко — как с позиции Х-а, который обосновывает мотивировку своего решения, так и с позиции Y-а, объясняющего себе мотивировку того, как с ним поступили, и, естественно, негативно оценивая свое положение.

В ряде других примеров из упомянутой работы представлены и иные способы выражения негативной оценки. В словосочетании *пальцем в небо* (о памятнике Ленину) отражено стремление «занизить» значимость лица, увековеченного в памятнике, посредством «нетривиального» впечатления от его зрительного восприятия. То, что Ленин указывает пальцем вперед вверх, актуализирует у говорящего ассоциацию с соответствующим устойчивым словосочетанием. Нормативно выражение *пальцем в небо* указывает на негативную оценку неудачного выбора чего-либо кем-либо, поскольку этот выбор не был

обоснован каким-либо разумным критерием отбора. Ср. также выражение *классик в кепке* ('В. И. Ленин'), где в обозначении конкретного лица соседствуют две абсолютно разные его характеристики. С одной стороны, оно характеризуется таким важным имманентным признаком, как «классик», а с другой — указывается ситуативная деталь его одежды — головной убор. Нормативно в одном и том же контексте такие разные признаки в пределах единого обозначения сочетаться не могут, чем и объясняется его ироничность. В обоих случаях соответствующее лицо оценивается негативно, при этом оценочный компонент содержится в той части семантических толкований данных обозначений, которая соотносится с презумпцией модальной рамки говорящего. Ведь сам факт использования говорящим обозначений, вызывающих негативные ассоциации, обусловлен его изначальным негативным отношением к лицу, которое является референтом данных обозначений.

Как известно, оценка чего-либо часто может сопровождаться эмоцией разной интенсивности, но далеко не всегда знак оценки (положительный или отрицательный) совпадает со знаком эмоции. Знак эмоции определяется тем, что она является положительной или отрицательной для ее субъекта. Знак же оценки присваивается ее объекту, который совсем не обязательно совпадает с субъектом оценки [Труб 2004]. Совпадение или несовпадение знака оценки со знаком вызванной ею эмоции зависит от интенсивности последней. Знак интенсивной эмоции совпадает со знаком оценки, а для знака неинтенсивной эмоции это не обязательно. Интенсивность эмоции отражает также и искренность (серьезность) оценки, т.е. что говорящий излагает то, что на самом деле думает о том или ином объекте, лице или ситуации. Это же верно и для тех случаев, когда для выражения оценки могут применяться языковые средства «с точностью до *наоборот*». Ср. в связи с этим наблюдения, приведенные в [Ермакова 2002], где показано, что для обозначения негативной оценки могут использоваться слова, нормативно выражающие оценку положительную, ср.: (1) *Прекрасно! Мило! Замечательно!*; (2) *Полюбуйтесь на это сокровище!*; *Посмотрите на это золото!* Подобные высказывания образуют вербальный «репортаж» о формировании соответствующей (негативной) оценки ситуации или лица в сознании говорящего. При этом оценочное суждение является единственным ассертивным компонентом предложения. Примечательно, что в примерах типа (2) глагольный императив на самом деле не обозначает побуждения к тому, чтобы кто-то любовался или смотрел на кого-то. Подобное «несобственное» употребление императива на самом деле не зависит от того, есть ли кто-нибудь третий, к кому обращался бы говорящий, желая привлечь его внимание к данному «сокровищу» или «золоту».

С другой стороны, как показано в данной работе, для выражения восхищения могут использоваться и бранные слова: *Шельма девчонка!*; *Руки золотые у подлеца!*

Использование слов положительной оценки в их противоположном значении может встречаться и в оценочных высказываниях, отражающих менее интенсивную эмоцию. В подобных случаях речь идет об уже сложившейся оценке — интерпретационно-оценочная характеристика некоторого лица предстает как данность, уже очевидная по крайней мере для говорящего. Поэтому данная оценочная характеристика не может входить в состав ремы высказывания: *Это счастье зовут Ларисой; Надо радоваться, что может освободиться от этого золота.*

Важно подчеркнуть, что использование подобных «противоположных» языковых средств является вполне адекватным, т. е. соответствует замыслу говорящего — адресат однозначно понимает, какая именно оценка в каждом случае имеется в виду.

Как мы видели, оценочный компонент в значениях рассмотренных ранее ЛЕ или выражениях адекватно передает мнение говорящего — данные языковые средства однозначно, хотя и по-разному, отражают то, как на самом деле оценивает говорящий обозначаемое ими лицо, реалию или ситуацию. В то же время это вряд ли можно утверждать о таких распространенных в советский период штампах как *Страна Советов, труженики полей, закрома Родины, стальные магистральи, серебристый лайнер* и т. д. Были веские основания полагать, что говорящий, всерьез употреблявший эти архаизмы, лукавит, пытаясь убедить слушающего или аудиторию в своих особо теплых чувствах к СССР, его колхозникам, зернохранилищам, железным дорогам и самолетам советского производства.

Рассмотрим теперь некоторые производные языковые единицы вида А', построенные в результате «отталкивания» от исходного обозначения А, связь с которым однозначно прослеживается благодаря приемам звукоподражания. Тем самым становится очевидным, что новое выражение соотносится с тем же денотатом, что и исходное. Однако стилевая характеристика обозначения А' оказывается существенно более низкой, чем у А, вызывая ассоциации с какими-то «заземленными» реалиями, более близкими и понятными низким социальным слоям социума, к которому принадлежат коммуниканты. Это приводит к тому, что в значении выражения А' может появляться негативная оценка обозначаемой реалии, отсутствовавшая в значении исходного А. Ср. приводимые в работе [Мокиенко, Никитина 1999] трансформированные шуточные названия музыкальных произведений, бытующие среди профессиональных музыкантов, играющих класси-

ку. Так, Гендель-Бузони «Пассакалья» трансформируется в *Гендель-Буденный поскакали* (в обыденном сознании для Буденного наиболее естественный способ передвижения — верхом на лошади), оперная тетралогия Р. Вагнера «Кольцо Нибелунгов» переходит в *Кальсоны белуги*, а «Поэма экстаза» Скрябина — в *Поем я из таза*. Вместе с тем следует подчеркнуть неустойчивый, «эфемерный» статус негативной оценки, появляющейся в значении единицы А' и «как бы» локализованной в презумпции модальной рамки говорящего. Имеется в виду, что, сообщая таким образом о своем негативном отношении к тому или иному музыкальному произведению, говорящий одновременно дает понять слушающему, что на самом деле это не так. Здесь проявляется универсальное свойство шутки: говорящий отклоняется от истины, не скрывая этого — в расчете на то, что слушающий поймет эту мистификацию. В частности, употребляя относительно слушающего грубовато-пренебрежительные формы, прямое значение которых указывает на негативное отношение к адресату, говорящий должен быть уверен, что адресат воспримет такое обращение адекватно, т. е. что на самом деле это отношение является противоположным. Например, обращаясь в неофициальном общении к слушающему с вопросом *Чего ты ржешь?*, говорящий просто хочет выяснить причину смеха адресата, не опасаясь, что подобная форма обращения его обидит. Адекватному восприятию способствуют такие факторы, как степень близости между коммуникантами, конкретная ситуация общения, поведение говорящего, которые нейтрализуют компонент 'негативная оценка', содержащийся в значении употребленной ЛЕ.

II. Как известно, одним из видов отклонения от истины являются различные типы заблуждений, в частности — ошибки. Как справедливо отмечается в [Кустова 2000], в рамках ошибочной деятельности следует различать по крайней мере три ее разных вида: 1) «автоматическая деятельность»; 2) неправильное решение и неправильный поступок; 3) ошибочное мнение. Их общее свойство, позволяющее рассматривать их как виды ошибочного поведения, состоит в том, что ошибку нельзя совершить сознательно, что, совершая ошибку, человек не может знать об этом.

Любая ошибочная деятельность может быть проинтерпретирована универсальной формулой отрицания 'не Р, а Q', где элемент Р соответствует ожидаемому правильному действию, а Q — тому, которое было предпринято вместо Р. Сам же предикат *ошибаться* указывает на характер причины такой подмены. В рамках каждого из видов неадекватной деятельности эти элементы эксплицируются по-разному.

Выполняя автоматическую деятельность, субъект ее полностью контролирует, т.е. всегда знает, что и как надо делать, умеет и в состоянии это сделать [Кустова 2000]. Ошибочность же этой деятельности может быть осознана только ретроспективно — в момент совершения ошибочного действия человек не знает, не подозревает, что оно ошибочно.

Одна из особенностей глагола *ошибиться* состоит в том, что он не сообщает о денотативном содержании ошибочного действия, и оба элемента (правильный и неправильный) часто указываются неявно, абстрактно (через обозначение класса, к которому они принадлежат), ср.: *ошибиться домом (улицей, адресом, телефоном* и т. д.). Сущность ошибочной автоматической деятельности хорошо раскрывает глагол *перепутать*, при котором нормативно указывается, что с чем «перепутано», т.е. эксплицируются конкретные компоненты правильного действия Р и неправильного Q. Кроме того, отмечает Г.И.Кустова, часто используется наречный оборот *по ошибке*, при котором оба компонента могут быть так или иначе эксплицированы: *по ошибке свернул не на ту улицу (взял чужой зонтик, набрал не тот номер, принял микстуру вместо таблетки...)*. Обратим внимание на разный функциональный параллелизм наречий *по ошибке* и *неправильно*. Наречие *по ошибке* функционально соотносится с глаголом *перепутать*, а наречие *неправильно* — с глаголом *ошибиться*. Действительно, при употреблении наречия *неправильно*, как и при употреблении глагола *ошибиться*, может быть обозначен только вид деятельности, в которой была допущена ошибка, но никак не оба «перепутанные» элемента: *Он ошибся в подведении баланса* = *Он неправильно подвел баланс*, но не **Он по ошибке подвел баланс*.

Как уже давно было отмечено в работе [Апресян 1974], сочетаемость глагола *ошибиться* лексически ограничена и может быть задана списком, поскольку в значениях элементов, образующих эту сочетаемость, нельзя увидеть какой-либо общий семантический элемент. Однако теперь по этому поводу есть и другое мнение, согласно которому такая вроде бы избирательная сочетаемость глагола *ошибиться* объясняется его семантикой. Как отмечает в своей книге немецкая исследовательница Ингрид Майер, поведение глагола *ошибиться*, нормативно сочетающегося со словами *адрес, дом, дверь, телефон* (но не с *зонтик, ключ, название* и т. д. — здесь возможно только *перепутать*), объясняется действием определенного семантического компонента, который входит в состав значения глагола *ошибиться*. Этот компонент Ингрид Майер квалифицирует как ‘неизменный порядок’. Имеется в виду, что *ошибиться домом (адресом, дверью, телефоном* и т. д.) означает перепутать такие объекты, которые входят в один и

тот же уровень некоторой иерархии, т.е. постоянно расположены в неизменном порядке, где каждому объекту присвоена уникальная постоянная метка (в частности — номер), отличающая его от другого такого же объекта. Этим данный глагол отличается от *перепутать*, который не накладывает подобных ограничений на свой объект [Борисова 1993].

Как представляется, внутри автоматической ошибочной деятельности можно выделить два ее подвида:

1) утрата контроля (т.е. ложная уверенность) в применении известного субъекту адекватного правила или алгоритма (когда он перепутывает одно с другим);

2) сохранение полного контроля в применении правила, которое на самом деле является неадекватным, хотя субъект пребывает в состоянии ложной уверенности в адекватности этого правила.

В рамках первого подвида может быть объяснено абсолютное большинство случаев ошибочного поведения, в том числе и языковые описки. Что же касается большинства языковых ошибок, то они преимущественно происходят в рамках ситуаций второго подвида. Вот несколько «свежих» примеров из SMS-ок, которые можно прочесть в бегущей строке телевизоров, установленных в вагонах киевского метро: *Оля, я тебя люблю. Сирега; Желаем счастья и удачи, здоровья, долгих лет впредачу; Разрабатываем системы обслуживания; Обеспечиваем видеонаблюдение*. Или свежий анекдот: «Ирочка, почему ты написала в диктанте *мышка-нарушка*? — Ну а как же иначе? Ведь правильно пишется *нары*!». Во всех этих случаях у субъекта нет сомнений в том, что *Сергеа* пишется через *и*, *впридачу* — через *е* и т.д., а *норушка* образовано от *нары*. Поэтому представляется не вполне адекватным интерпретировать орфографические и грамматические ошибки как неправильный выбор (написал не ту букву, употребил не ту форму). Ведь выбор на самом деле связан с процессом принятия решения, когда субъект руководствуется не готовым, заранее заданным критерием отбора, а формирует его (или пытается это сделать) непосредственно в ходе перебора возможных вариантов.

Вместе с тем аналогия с выбором представляется очень уместной при рассмотрении второго типа ошибочных действий — неправильного решения. Именно этот тип ошибок прежде всего имеется в виду в распространенной сентенции «Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает». В подобных ситуациях субъект заранее не располагает готовым правилом — не знает, какое решение принять, как поступить, какой объект является правильным. Впоследствии выбор может быть квалифицирован как неадекватный. Ср. фразу из прощальной записки певицы Соледад Реалес ее жениху в памятном фильме «Возраст люб-

ви»: *Альберто, наша встреча была ошибкой...* В таких случаях в общей формуле 'не Р, а Q' эксплицирован компонент Q, а «правильный» компонент Р изначально неизвестен, как неизвестен он и позже, когда факт ошибки установлен. Как справедливо отмечает Г. И. Кустова, подобные ошибки имеют сугубо интерпретационную природу, причем квалификация того или иного поступка как ошибочного часто носит очень субъективный характер. В отличие от ситуаций первого типа, мнение об ошибочности ранее принятого решения впоследствии может быть и изменено.

III. Помимо разнообразных личных форм ментальных предикатов, функцию модального статуса мнения могут выполнять возвратные и безличные формы типа *похоже, кажется, чувствуется, очевидно...* В отличие от личных форм МП, для большинства данных лексических единиц оказывается невозможным варьирование лица субъекта мнения, которое ограничивается только первым лицом. Тем самым эти единицы являются идиоматичными средствами выражения разноречивых мнений говорящего: (3) *Похоже (чувствуется, не исключено, скорее всего...), придет комиссия.*

Исключение составляют возвратные формы типа *казаться, чудиться, мерещиться*, которые, подобно прямым личным глагольным формам МП, допускают варьирование лица субъекта, выраженного дательным падежом: *Мне (тебе, ему...) кажется (чудится, мерещится...), что Р.* Первое лицо при форме *кажется* может альтернативно выражаться и компрессией соответствующей валентности, что в этом случае сопровождается бессоюзным введением придаточного: *Кажется, придет комиссия* (ср. **Кажется, что придет комиссия*). При этом подчиненная пропозиция может выражать не только мнение субъекта (*Кажется, он проснулся*), но и его неточное знание, полученное из «вторых рук» (*Кажется, придет комиссия*).

Данное свойство отличает эти единицы от возвратных форм типа *чувствоваться*, которые способны только имплицитно указывать на первое лицо, ср.: **Мне (тебе, ему, нам...) чувствуется, что Р.*

Безличные и возвратные формы типа *похоже, кажется, чувствуется*, помимо указания модального статуса мнения как чисто ментального результата, могут, подобно глаголам *чудиться, мерещиться...*, использоваться и для введения такого мнения субъекта, которое формируется не в результате мыслительной деятельности, а под влиянием нечетких (размытых) ощущений (визуальных, акустических, тактильных и т. д.). Для ряда глагольных форм, употребляющихся в такой функции, целесообразно различать по крайней мере два значения: *казаться*² и *казаться*³, *чудиться*¹ и *чудиться*², *мерещиться*¹ и

*мерещиться*²... *Казаться*², *чудиться*¹, *мерещиться*¹ задают модус соответствующего размытого мнения, которое входит в коммуникативный фокус, т. е. в рематическую часть высказывания.

Свое другое значение данные формы реализуют в парентетической позиции и служат средством указания ошибочности чьего-либо мнения, уже актуализованного в общем поле зрения обоих коммуникантов. При этом в коммуникативный фокус попадает сам предикат, благодаря чему он выполняет функцию негативной оценки истинности актуализованной пропозиции: (4) *Тебе это кажется (чудится, мерещится...)*; (5) *Тебе это показалось (почудилось, померещилось...)*.

Следует особо подчеркнуть, что в подобных случаях пропозиционный актанта, обозначенный тем или иным анафорическим средством (чаще всего — указательным местоимением), указывает не на содержание мнения, описываемого соответствующим МП, а на «чистую» опровергаемую пропозицию. Сам же предикат выступает не в качестве модуса мнения (ср. *Мне кажется, что приедет комиссия*) или модуса истинностной оценки (ср. *Мне кажется, что комиссия не приедет*), а непосредственно выполняет функцию негативной оценки истинности. Ее специфика состоит в том, что указание на несоответствие действительности содержания пропозиции сопровождается также уточнением причины этого несоответствия — нечеткостью (размытостью) ощущений субъекта восприятия.

Важно отметить, что в подобных случаях накладываются определенные ограничения на вариативность лица в реальной модальности. Ср. странность утверждений типа (6а) *Мне это кажется (чудится, мерещится...)*, где говорящий будто бы сам отказывается от собственных, пусть и неясных впечатлений (а при употреблении глагола в СВ — ср. (6б) *Мне это показалось (почудилось, померещилось...)* — от своих прежних «свидетельских показаний»), т. е. однозначно опровергает сам себя. Неприемлемость употребления парентетических ментальных предикатов в 3-м лице объясняется тем, что субъект-говорящий нормативно не может объективно интерпретировать субъективные ощущения другого лица: (7) *Ему это показалось (почудилось, померещилось...)*.

Допустимость употребления этих предикатов во 2-м лице естественно объяснить тем, что говорящий был свидетелем, наблюдателем того же, что и слушающий, и обосновывает свое заключение о несоответствии впечатлений слушающего действительности собственным восприятием, видением (точнее — «невидением») той же ситуации.

В то же время в случаях, когда парентетический предикат сам оказывается актантом более внешнего предиката (например, в контексте снятой утвердительности), это ограничение снимается: (8) *Возмож-*

но (наверное, может быть, не исключено...), что мне (тебе, ему) это показалось (привиделось, послышалось, померещилось...).

Примечательно, что в подобных ситуациях для выражения негативной истинностной оценки используются возвратные глаголы из достаточно ограниченного списка: *казаться, чудиться, мерещиться, привидаться, послышаться*... Ср. в этой связи, например, (8) **Мне (тебе, ему...) это почувствовалось*, где возвратный глагол, помимо того, что не допускает варьирования лица субъекта, не способен указывать и на ошибочность восприятия. Это, очевидно, связано с тем, что глаголы типа *чувствовать (что Р)*, как и *понимать (что Р)*, — это предикаты, пропозициональный актанта которых нормативно выполняет функцию фактивной пресуппозиции, т.е. указывает на такую ситуацию Р, которая объективно имеет место в действительности.

IV. Как известно, одним из видов отклонения от истины является умолчание о чем-либо, которое, наряду с ложью, служит средством «контроля» степени информированности того или иного лица (адресата коммуникации) о важном для него аспекте действительности. При этом цели, которые преследует дезинформирование адресата, могут быть различными:

1) информатор (Х) прибегает к дезинформированию адресата (У) из чисто альтруистических побуждений, заботясь о сохранении его душевного покоя (например, утаивая от У-а серьезность его заболевания);

2) Х дезинформирует У-а, чтобы избежать санкций (наказания) со стороны У-а за тот или иной проступок или чтобы сохранить неизменной свою репутацию в глазах У-а;

3) Х вводит У-а в заблуждение, заботясь о своих интересах и опасаясь (или зная), что если У будет располагать соответствующей информацией, то это помешает Х-у в достижении его целей (например, Х опасается конкуренции со стороны У-а);

4) Х сознательно дезинформирует У-а, хотя точно знает, что ложная информация или недоговаривание о реальном состоянии важного для У-а аспекта действительности заведомо нанесут ущерб интересам У-а.

В ситуации лжи речь идет о целенаправленном и эксплицитном информировании адресата о том, что в действительности не имеет места и чему адресат нормативно должен поверить, т.е. принять как истину. В то же время при умолчании, когда субъект-информатор не сообщает адресату о чем-то для него важном, он как бы берет на себя меньше ответственности, «принимает на душу меньший грех». В такой ситуации адресат нормативно исходит из уверенности в том, что субъект-информатор, зная, что именно является самым важным для адресата, передал ему всю необходимую информацию. На самом деле информатор знает по соответствующей теме больше того, что сообщил.

Таким образом, в общем случае ситуации, описываемые сентенционными формами типа *Х скрыл, что Р*; *Х умолчал о Р*, предполагают, что информация об аспекте действительности, с которой соотносится *Р*, является важной для адресата коммуникации. Если это условие не выполняется, то тогда коммуникативный акт, в ходе которого *Х* не информировал *У*-а о *Р*, нельзя назвать сокрытием или умолчанием. Учет приводимых ниже альтернативных вариантов способствует уточнению исходных предпосылок ситуаций, которые могут быть охарактеризованы этими предикатами:

1) *Х* знает, что ситуация *Р* не важна (не представляет интереса) для *У*-а;

2) *Х* не знает, что *Р* важно для *У*-а;

3) *Х* знает, что *Р* важно для *У*-а, но *Х* не обязан (не имеет полномочий) информировать *У*-а о подобных ситуациях (например, потому, что *Х* и *У* не знакомы, недостаточно близки, *Х* не является подчиненным *У*-а, в обязанности которого входят подобные функции, и т. д.).

В каждом из этих случаев неинформирование *У*-а *Х*-ом о *Р* не может быть квалифицировано как умолчание или сокрытие. Итак, в состав нормативной презумпции предикатов *скрывать*, *умалчивать* входят указания о том, что:

1) *Х* и *У* — участники как минимум одного коммуникативного акта;

2) ситуация *Р* связана с аспектом действительности, важным для *У*-а;

3) *Х* по той или иной причине обязан (или обычно считает нужным) информировать *У*-а о ситуациях типа *Р*.

При сопоставлении близких по значению предикатов *скрыть*, *утаить* и, с другой стороны, *умолчать* обращает на себя внимание различие в их актантной структуре. Первые два глагола имеют факультативную валентность контрагента (адресата передаваемой информации) — того, кто, по замыслу информатора, должен остаться в неведении относительно той или иной ситуации, не подозревая об этом. В то же время в модели управления *умолчать* отражение этого необходимого участника оказывается невозможным, ср.: *умолчать *Петру? (*от Петра?..) об отъезде Ивана*. В терминах классификации, предложенной в [Апресян 1974: 156], данная валентность характеризуется как сильная семантическая и нулевая синтаксическая. Отмеченные несовпадения в моделях управления данных предикатов маркируют важные коммуникативные различия между ними.

В состав презумпции предикатов *скрыть*, *утаить* входит только обобщенное указание о том, что между *Х*-ом и *У*-ом установлены отношения, которые предусматривают одностороннюю или двустороннюю полноту информирования по важным для *У*-а (или для обоих) вопросам. А в ассерции утверждается, что в процессе однократного или

многократного общения Х, зная о существовании Р, важного для Y-а, и желая, чтобы Y не знал о Р, не сообщил Y-у о Р.

Нереализуемость адресатной валентности при *умолчать* (*смолчать*) обусловлена самим значением данного предиката. Оно предусматривает, что в его прагматическую презумпцию, помимо аналогичной обобщенной характеристики отношений, связывающих Х-а и Y-а, входит также указание на конкретный завершенный коммуникативный акт, о котором шла речь ранее, с уже известным адресатом этой коммуникации. Поэтому упоминать данного адресата вторично нет необходимости. Хотя личность субъекта-информатора также известна, валентность, которая соотносится с данным лицом, должна быть реализована, поскольку является обязательной — сильной и семантически, и синтаксически. В ассертивной части значения *умолчать*, почти идентичной ассерции глаголов *скрыть*, *утаить*, утверждается, что Х не сообщил Y-у о Р именно в ходе обсуждаемой коммуникации.

Важно подчеркнуть, что рассматриваемые предикаты допускают два типа обозначения своей обязательной пропозициональной валентности — прямой и косвенный (ср. [Падучева 2004: 66–67]).

Прямое обозначение пропозиционального актанта задается явным представлением развернутой пропозиции, указывающей на замалчиваемую фактивную ситуацию Р, например, о том или ином событии или постоянном свойстве: (1) *Он умолчал о том, что Иван уехал (что Ивана арестовали...)*; (2) *Он умолчал о том, что Иван слепой (глухой, хромот, картавит...)*. Тот же эффект достигается при обозначении данной валентности с помощью соответствующего отглагольного существительного (S_о): (1а) *Он умолчал об отъезде (аресте...) Ивана*; (2а) *Он умолчал о слепоте (глухоте...) Ивана*.

Ее косвенное обозначение осуществляется двумя способами:

а) через неявное указание значения некоторого параметра с помощью «родового» термина без конкретизации его (параметра) значения: (3) *Он скрыл от них особенности (свойства) прибора; Он умолчал о достоинствах (недостатках) обсуждаемой книги*;

б) посредством употребления лексических единиц, указывающих на заведомо нереферентный (не фактивный) статус той или иной ситуации: (4) *Ющенко умолчал о перспективах роспуска парламента (премьерства Януковича...) = ...умолчал о том, будет ли распущен парламент (станет ли премьером Янукович...)*.

Здесь уместно указать на проблематичность косвенного обозначения пропозиционального актанта при глаголах лжи: *Он солгал о свойствах (особенностях, достоинствах, недостатках...) прибора*; *Он солгал о перспективах роспуска парламента...*

Следует также отметить важное функциональное различие между прямым обозначением пропозиционального актанта у глаголов умолчания, с одной стороны, и у глаголов лжи — с другой. При глаголах умолчания развернутая пропозиция указывает на реальную фактивную ситуацию, которая замалчивается информатором. Так, в (1–2) в подчиненной пропозиции речь идет о действительно состоявшемся отъезде, аресте, о реальных постоянных свойствах. Между тем при глаголах лжи такая же пропозиция (при нормативном фразовом ударе на пропозициональном актанте) указывает на нереальную ситуацию, противоположную той, которая существует на самом деле. Ср.: (5) *Он солгал, что (будто) Иван уехал (Ивана арестовали...)*, где подчиненная пропозиция соотносится с фиктивным отъездом (арестом).

Заметим также, что в случае введения придаточного предложения с помощью союза *о том, что* возникает другая акцентуационная схема — основное фразовое ударение падает на сказуемое главного предложения: (6) *Он солгал о том, что Иван уехал (что Ивана арестовали...)*, где речь идет о том, что переданная раньше информация, представленная как достоверная, на самом деле оказалась ложной.

Два типа обозначения пропозиционального актанта обуславливают соответственно и разные типы интерпретации предложений, образуемых данными предикатами.

Значение, образуемое при прямом обозначении пропозиционального актанта, предусматривает фактивную презумпцию (не обязательно прагматическую) существования ситуации Р.

Если данная ситуация имеет событийный характер, то имеется в виду, что:

1) адресат Y описываемой коммуникации знал о прежнем, исходном состоянии, которое было изменено соответствующим событием;

2) после коммуникации Y, по замыслу информатора, должен пребывать в состоянии уверенности (считать себя вправе утверждать, что знает), что данное исходное состояние сохраняется и далее, причем эта уверенность имеет неактуализованный характер. Так, в (1–1а) имеется в виду, что Y сохраняет неактуализованную уверенность в том, что Иван и далее находится в прежнем месте (находится на свободе) и т. д.

В этой связи следует обратить внимание на проблематичность прямого обозначения подчиненной пропозиции глаголов умолчания в виде отрицательного придаточного предложения: (7) *Он умолчал о том, что Иван не уехал (Ивана не арестовали...)*. Ведь отрицание чего-либо нормативно предусматривает актуализованность идеи (ожидания) о том, что соответствующая ситуация должна иметь место. В случае умолчания имеется в виду, что такое актуализованное ожидание есть и у адресата описываемой коммуникации — в (7) предполагается, что

адресат «умолчания» ожидал, что Иван уедет (Ивана арестуют и т. д.). Если же информатор в ходе общения никак не подтвердил ожиданий адресата, то это сразу же может вызвать у последнего вопрос типа *Уехал ли Иван? (Арестован ли Иван?..)* — вопрос, нормативно требующий ясного ответа. А сам факт ответа (каким бы он ни был) естественно делает невозможным квалифицировать описываемую говорящим ситуацию как умолчание.

В то же время в ситуации лжи это ограничение снимается: (8) *Он солгал, что Иван не уехал (что Ивана не арестовали...)*, где имеется в виду, что адресат должен поверить (принять как истину), что его ожидания не оправдались.

Если же замалчиваемая ситуация относится к типу постоянных свойств, указывающих на нарушение нормы того или иного параметра, то предусматривается, что после коммуникации *Y* является носителем высоковероятного неактуализованного мнения о том, что данный параметр соответствует норме. Так, в (2–2а) имеется в виду, что после общения с *X*-ом у *Y*-а не должно быть причин сомневаться в том, что Иван зрячий (хорошо слышит, нормально ходит, правильно произносит все звуки и т. д.).

При косвенном выражении пропозиции через неявное обозначение некоторого параметра предполагается, что *Y* должен оставаться в неведении относительно каких-то реальных особенностей какого-либо объекта или явления, которые остаются не названными. Например, в (3) *Y*, по замыслу *X*-а, не должен знать о дополнительных свойствах прибора, о достоинствах или недостатках обсуждаемой книги.

В случаях же оформления пропозиционального актанта в виде косвенной диатезы с нереферентным статусом (без фактивной презумпции) имеется в виду, что после завершения коммуникации *Y*, как и сам говорящий, склонен подозревать, что *X* сообщил ему не всю информацию по важной для него теме (ср. будет ли распущен парламент, станет ли премьером Янукович в (4)), хотя правомерно было ожидать, что в ходе коммуникации *X* даст эту информацию.

ЛИТЕРАТУРА

- Апресян 1974 — *Апресян Ю.Д.* Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
- Борисова 1993 — *Борисова Е.Г.* Рецензия на книгу Maier, Ingrid. Verben mit der Bedeutung «benutzen» im Russischen. Untersuchung einer lexikalisch-semantischen Gruppe. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 1991. 185 pp. (Studia Slavica Upsaliensis) // Wiener Slawistischer Almanach. Band 31. 1993. P. 321–325.

- Ермакова 2002 — *Ермакова О.П.* Существует ли в русском языке энантиосемия как регулярное явление? Вспоминая общую этимологию *начала* и *конца* // Логический анализ языка. Семантика начала и конца. М., 2002. С. 61–68.
- Ковшова 2006 — *Ковшова М.Л.* Прецедентный текст в современном газетном заголовке как интеллектуальное развлечение // Логический анализ языка. Концептуальные поля игры. М., 2006. С. 421–428.
- Кустова 2000 — *Кустова Г.И.* Предикаты интерпретации: ошибка и нарушение // Логический анализ языка. Языки этики. М., 2000. С. 125–133.
- Мокиенко, Никитина 1999 — *Мокиенко В.М., Никитина Т.Г.* Фразеология в контексте субкультуры (фразеология в жаргоне и жаргон во фразеологии) // Фразеология в контексте культуры. М., 1999. С. 80–85.
- Падучева 2004 — *Падучева Е.В.* Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.
- Труб 2003 — *В.М. Труб.* О функционировании оценок в значениях лексических единиц // Логический анализ языка. Космос и хаос: концептуальные поля порядка и беспорядка. М., 2003. С. 431–447.
- Труб 2004 — *В.М. Труб.* О функционировании компонентов эстетической и других оценок в значениях лексических единиц (с привлечением материала украинского языка) // Логический анализ языка. Языки эстетики: концептуальные поля прекрасного и безобразного. М., 2004. С. 585–596.

ЛОЖЬ И ИСТИНА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ: НАБЛЮДЕНИЯ ЧИТАТЕЛЯ

Нередко человек, читающий переводной художественный текст, не подозревает, насколько смысловое наполнение этого текста отличается от того, что представлено в оригинале. Действия переводчика при этом можно обозначить как языковой эксперимент, в процессе которого текстовая ситуация, представленная оригиналом, претерпевает ряд изменений. Переводчик экспериментирует с тканью оригинального текста, изменяя структуру смыслового пазла, нарушая имеющиеся комбинации, добавляя новые элементы мозаики.

Изменения носят самый разнообразный характер. Мы сосредоточим свое внимание на том, что в самой наименьшей степени мотивировано исходным художественным текстом, то есть на том, что, в определенной мере, является плодом фантазии переводчика. Для этого произведем сравнение различных текстовых отрезков французского романа Франсуаза Саган «Ангел-хранитель» и их нескольких вариантов перевода, принадлежащих авторству А. Новиковой (Н.), Л. Татко (Т.) и Е. Залогиной (З.). Подобный анализ предполагает оперирование некоторым набором специализированных терминов, связанных с категорией *общетекстуального смысла*, таких, например, как *сюжет* и *фабула*. В своих трудах Б.Н.Тынянов определял фабулу как «статичную цепь отношений, связей, вещей, отвлеченную от словесной динамики произведения», существующую в сознании автора еще до момента ее опредмечивания средствами языка. «Сюжет — это те же связи и отношения в словесной динамике» [Тынянов 1977: 317]. Итак, фабула охватывает некоторые отношения с определенным набором персонажей, в них вступающих. При переводе нередко изменяется сюжетное воплощение образа персонажа: образ конкретизируется — изменяются физические данные:

On savait déjà que Louella Schrimp, apprenant la nouvelle à Rome, en avait profité pour s'évanouir et quitter le plateau en compagnie de son nouveau gigolo italien.

Уже было известно, что в Риме Луэлла Шримп тут же упала в обморок, а затем благополучно отбыла в сопровождении нового итальянского жиголо (Н.).

Они уже знали, что Лола в Риме, узнав новости, сочла удобным грохнуться в обморок и покинуть съемку в сопровождении своего нового итальянца-жиголо (Т.).

Уже было известно, что Луэлла, узнав о смерти Фрэнка, не преминула лишиться чувств и немедленно вылетела из Рима в сопровождении своего очередного друга, молодого итальянца (З.).

Е.Залогина достраивает образ итальянского любовника голливудской дивы Луэллы Шримп. Переводчик вводит дополнительный физиологический параметр — молодость. Это добавление конкретизирует и образ самой актрисы, которая, согласно контексту, уже не молода.

Or, en le regardant ce soir-là, malgré les circonstances, je ne voyais en lui qu'un blondinet.

Но, несмотря на все, этим вечером он был для меня просто блондинчиком. Причем блондинчиком сорока лет (Н.).

Но, глядя на него в тот вечер, я видела только маленького белокурого мальчика лет сорока. Должно быть, потому, что лицом он напоминал херувима (Т.).

Но в этот вечер, вопреки романтическому антуражу, я видела в нем лишь обыкновенного сорокалетнего блондина, не больше (З.).

Л.Татко изменяет образ персонажа, вводя физический параметр величины *маленький*, а также возрастную характеристику *мальчик*. Возможно, это обусловлено переводческой интерпретацией значения лексемы *blondinet*, которая образована с помощью суффикса *-et* с презрительно-уничижительной семантикой. Однако в результате возникает противоречие — *маленький мальчик сорока лет*. Переводчик решает противоречие путем дальнейшей конкретизации образа: *должно быть, потому, что лицом он напоминал херувима*, что приводит к значительным изменениям его сюжетного выражения.

Il avait les yeux fendus comme un félin, d'un bleu-vert extrêmement clair, sous des sourcils noirs ...

Глаза у него были зеленовато-голубые, очень светлые, почти кошачьи, брови черные... (Н.).

Глаза у него были, как у кошки, зеленовато-голубые и очень светлые под черными длинными ресницами (Т.).

Разрез у них был кошачий и цвет тоже. Светло-зеленые, под черными бровями (З.).

Во втором переводном варианте физический портрет персонажа дополняется деталью, которой нет в оригинальном сюжетном воплощении образа, — *черные длинные ресницы*. Смещаются акценты мускулинности/фемининности образа.

...ses cheveux avaient l'air de plumes,
sa peau d'un tissu.

...его волосы походили на перышки, кожа — на ткань (Н.).

...волосы — как пух, кожа — как шелк (Т.).

...волосы с отливом, как перья, бархатная кожа (З.).

Употребление при переводе лексем *перышки*, *пух* ведет к актуализации при восприятии иного ассоциативного образа, отличного от оригинального (волосы пушистые, возможно кудрявые, тогда как согласно контексту у персонажа волосы гладкие, блестящие).

Конкретизации подвергается и внутренний образ персонажей (психические, индивидуально-личностные характеристики):

Il se leva, il avait une voix tranquille,
ferme. Je commençais à comprendre
vaguement les sanglots de Louella
Schrimp.

Пол выпрямился, говорил спокой-
но и твердо. Я начала понимать ры-
дания Луэллы Шримп: он мог быть
жестоким (Н.).

Он встал, голос его был спокоен и
тверд. Я начала понимать слезы Ло-
лы Гривет (Т.).

Он выпрямился. Голос его был
спокоен и тверд. И я начала понимать
Луэллу Шримп (З.).

А.Новикова реализует добавление, указывающее на определенную черту характера персонажа — жестокость. Однако, как показывает контекст, единственным поступком, который так или иначе может оцениваться с точки зрения жестокости, было расставание с Луэллой Шримп (причины этого поступка в контексте не отражены).

Je devins «Celle qui aurait pu»
(comme certains chefs indiens).

Итак, я та, которая могла бы, но
(Н.).

Я стала Тем, Кто мог Бы Иметь
(отличное прозвище для какого-ни-
будь индейского вождя) (Т.).

Я стала «Той, что могла бы» (вер-
но, так бы меня величали, будь я ин-
дейским вождем) (З.).

Добавление во втором переводном варианте акцентирует аксиологические установки персонажа, отличные от тех, что заданы сюжетным выражением образа в исходном тексте. Глагол *иметь* в силу своей семантики (обладания) указывает на внутренний императив приобретения, что не совсем соответствует образу, представленному в оригинале.

Как уже отмечалось, фабула, опредмеченная в тексте, есть сюжет. Сюжетное выражение осуществляется посредством построения композиции. В отдельных случаях немотивированные приращения смысла возникают при нарушении переводчиком композиционной структуры:

Le ciel a des plages où éluder la vie
présente et il est des corps qui ne
doivent reparaître à l'aurore.

В небе есть берега, где хоронится
жизнь.

И завтра не всем суждено повто-
ряться... (Н.).

Есть пляжи на небе, где от повсе-
дневности можно укрыться,

И бранные есть, кого на заре не за-
ставишь вернуться... (З.).

В приведенном примере французский и русский текстовые отрезки сходны по своей протяженности (не наблюдается формальное расширение лексического объема). В то же время смысловое наполнение у них отличается. В частности, по смыслу различаются переводные предложения, соответствующие второй части французской фразы: в них по-разному представлен источник волеизъявления на фоне общей характеристики безличности высказывания. У А.Новиковой объект испытывает на себе действие и ему подчиняется, результат определяется неким сторонним субъектом. У Е.Залогиной сам семантический объект приложения действия (формально он является субъектом в первой части сложно-подчиненного предложения) становится источником волеизъявления, которое и определяет конечный результат (*не заставишь вернуться*). Однако такое приращение смысла может не соответствовать композиционной структуре исходного текста. Попробуем рассмотреть данный пример в аспекте текстологии. Данный микроконтекст представляет собой отрывок стихотворения Гарсиа Лорки, посвященного Уолту Уитмену. Следовательно, это *интертекст*, и его введение в текст романа должно преследовать определенные цели. Пространственно интертекст расположен в третьей главе, предворяя собой отрезок текста, описывающий первое убийство. Возможно, интертекст в данном случае является *сильной позицией* текста, и автор вводит его для фокусировки восприятия, разрывая повествование (см.: [Лукин 1999; Лурия 1979; Пузырев 1995; Смирнов 1966]). Вариант Е.Залогиной не передает некую предопределенность, нарушая тем самым последовательность сюжетного изложе-

ния. Очевидно, связано это с тем, что для произведений Ф. Саган характерно употребление интертекстов в инициальной позиции в тексте (в качестве эпиграфа) и финальной позиции (как часть реализации внутренней монологической речи одного из ключевых персонажей). Поэтому интертекст в медиальной позиции иногда при переводе теряет свою функциональную нагрузку (переводчик по тем или иным причинам не передает его особых текстообразующих функций). Примечательно еще и то, что данный текстовый отрезок своим смысловым наполнением предвосхищает все, что будет описываться на протяжении тринадцати последующих глав. На основе всего текстового отрезка, включающего интертекст, восстанавливается следующая модель референтной ситуации: на ночь Она (главная героиня) читает Ему (будущему преступнику) стихи Гарсиа Лорки. С точки зрения криминальной психологии при определенных обстоятельствах (один из коммуникантов характеризуется невротическим типом личности) подобный коммуникативный акт может рассматриваться как косвенное (в данном случае неумышленное) речевое воздействие, а озвученная в стихотворной форме информация представляет проекцию поведенческого сценария. Само речевое высказывание служит стимулом для его реализации (см.: [Gaillard 2003]). Таким образом, указанное выше расширение смысла нивелирует функциональную нагрузку данного текстового отрезка, как в композиционном плане, так и в плане выражения подтекста.

Рассмотрим еще один пример:

Un crime crapuleux, dit la radio.

По радио говорят — убийство с целью ограбления (Н.).

Радио назвало это преступлением на почве секса (Т.).

По радио сказали, что это убийство с целью ограбления (З.).

Русским лексикографическим соответствием лексемы *crapuleux* является *с целью ограбления* (такое расширение лексического объема считается формальным, так как связано с невозможностью найти единичное лексическое соответствие). Текстовая ситуация, представленная на данном отрезке, имеет следующий вид: преступление совершается в «доме свиданий», известного режиссера убивает молодой человек, режиссер — частый посетитель заведения. Однако при переводе следует учитывать и культурную специфику референтного пространства (предметно-событийный фон), в котором представлена общая ситуация текста. Речь идет о традициях представления конкретного события в средствах массовой коммуникации. Соединенные Штаты Америки всегда отличались жесткими требованиями к культуре средств массовой информации. Начиная с

середины XIX в., здесь все больше и больше внимания уделяется развитию этики СМИ. С одной стороны, культивируется максимальная объективизация изложения фактов, с другой — соответствие излагаемого материала нормам общественной морали. С этой точки зрения, на радио, освещающая событийную хронику, представили бы это убийство как преступление с целью хищения личного имущества, нежели преступление, продиктованное какими-либо другими, менее доказуемыми, но в большей степени социально не одобряемыми мотивами (см.: [Baird, Loges, Rosenbaum 1999; Copp, Wendell 1983; Iggers 1999; Mindich 1998]). Указанная традиция не находит своего отражения во втором переводном варианте.

В этом ключе можно рассматривать и следующий пример:

«Frank Saylor. Votre ex-mari. Il s'est tué cette nuit».

— Фрэнк Сеймур. Ваш бывший муж. Застрелился этой ночью (H.).

— Фрэнк Тайлер. Твой бывший муж. Он покончил с собой сегодня ночью (T.).

— Фрэнк Сеймур. Ваш бывший муж. Он покончил с собой сегодня ночью (З.).

Прием переводческой транскрипции, который следовало бы применить в данном случае, дает следующее соответствие — Фрэнк Сейлор. В русской культуре традиционно сложилось, что женщина, выходя замуж, в большинстве случаев принимает фамилию мужа. Это приобрело статус своеобразной социально одобряемой традиции. Очевидно, влиянием этих традиционных представлений можно объяснить изменения в первом и третьем переводных вариантах (ввиду невозможности изменения фамилии главной героини переводчик, соответственно, изменяет фамилию ее мужа). Что касается второго переводного варианта, такая абсолютная замена *Saylor* → *Тайлер* характерна для данного переводчика. Приведем сходный пример:

Chez Romanoff's . C'est le Restaurant d'Hollywood où il faut dîner...

— «У Романова». В Голливуде это один из лучших ресторанов, где принято ужинать (H.).

— У «Чейзена». Это в Лос-Анджелесе единственный ресторан, который стоит тебе посетить (T.).

— К «Романоффу». Это голливудский кабак, у нас принято там показываться (З.).

А.Новикова, принимая во внимание одну из традиций переложения русских фамилий в английской школе переводоведения, восстанавливает ее исконно-русский вид («У Романова»). Е.Залогина сохраняет исходный вариант (К «Романовфу»). Л.Татко допускает абсолютную замену *Chez Romanoff's* → У «Чейзена». Следует отметить, что Ф.Саган была хорошо знакома с ресторанной культурой тех стран (городов), где путешествовала. Она нередко сохраняла названия ресторанов в своих произведениях. Кроме того, Л.Татко допускает обобщение *Голливуд* — *Лос-Анджелес*. Известно, что есть верхний Лос-Анджелес (Голливуд) и нижний Лос-Анджелес. Так, абсолютная замена в переводном варианте Л.Татко приводит к значительному изменению фабулы романа: изменяется модель референтного пространства, которое служит предметным фоном для описываемой в тексте ситуации. Однако это не единственное сюжетно-фабульное добавление переводчика. Л.Татко изменяет всю коммуникативную схему романа, повсеместно заменяя личное местоимение *Вы* на *Ты*. Учитывая, что основными коммуникантами являются женщина сорока пяти лет и парень восемнадцати лет, можно заметить, что восприятие текста сильно искажается. Используя прием переводческой транслитерации, Л.Татко трансформирует английские имена в имена немецкие (*Paul* → *Пауль*, *Lewis* → *Левис*). Это могло бы трактоваться как переводческая ошибка, но наряду с этим мы наблюдаем много других подобных преобразований, например, *Louella Schrimp* → *Лола Греввет*, вплоть до изменения ведущего неосознанного мотива преступлений, следовательно, они не могут носить случайный характер. Переводчик моделирует новую, отличную от исходной, фабулу с иным набором лиц, предметных объектов и иногда событий.

Итак, учитывая характер всех этих изменений, неминуемо задаешься вопросом, считать ли это ложью или же истиной второго порядка (производной от оригинальной)? Ответ, однако, не так однозначен, каким кажется на первый взгляд. Рассуждая о ложности (или истинности) того, что говорит переводчик, видимо, следует принимать во внимание сам механизм реализации подобных изменений исходного текста при переводе. Очевидно, вживание в текстовую ситуацию (эмпатия) достигает такой интенсивности, что оригинальный текст перестает выступать в функции регулятора, и переводчик замещает исходные образы своими собственными. Замена имеет *прототипическую природу**, являясь результатом процессов, кото-

* Считая прототипической совокупность индивидуальных представле-

рые по сути своей соотносимы со сферой бессознательного. С одной стороны, постижение действительности, описываемой автором в оригинальном тексте, требует высокой степени эмпатии переводчика. В то же время эмпатия проходит с наложением всего жизненного опыта индивида и возможна лишь при условии апелляции к нему. Отсюда неизбежность искажения/приращения смысла при переводе.

При восприятии конечного текста-перевода читатель не сможет выделить такие чуждые оригиналу элементы в тексте, хорошо организованном с точки зрения русской лексики, грамматики и стилистики. С другой стороны, читатель, делая выбор в пользу очередного переводного художественного произведения, стремится найти там определенное сходство с оригиналом, то есть желает читать не переводчика, но автора, будь то Франсуаза Саган, Габриель-Гарсиа Маркес или кто-либо другой. В этой связи можно предложить в качестве возможного выхода вариант второго, редакционного, прочтения перевода с целью ограничить размах переводческой фантазии.

ЛИТЕРАТУРА

- Лукин 1999 — *Лукин В. А.* Художественный текст. Основы лингвистической теории и элементы анализа. М., 1999.
- Лурия 1979 — *Лурия А. Р.* Язык и сознание. М., 1979.
- Пузырев 1995 — *Пузырев А. В.* Анаграммы как явление языка. Опыт системного осмысления. М., 1995.
- Смирнов 1966 — *Смирнов А. А.* Проблемы психологии памяти. М., 1966.
- Тынянов 1977 — *Тынянов Ю. Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
- Baird, Loges, Rosenbaum 1999 — *Baird R. M., Loges W. E., Rosenbaum S. E.* The Media & Morality (Contemporary Issues). N. Y., 1999.
- Copp, Wendell 1983 — *Copp D., Susan Wendell S.* Pornography and Censorship. N. Y., 1983.

ний о каком-либо явлении или объекте окружающей действительности, сложившихся в процессе социализации и последующей индивидуализации субъекта (преимущественно как результат индивидуального опыта), можно заключить, что прототипизации при переводе подвергаются образы персонажей, ситуативные сценарии вплоть до сценария общей деятельностной ситуации (текста), концептуально важные представления.

- Gaillard 2003 — *Gaillard B.* Approche psychocriminologique des maltraitances. Rennes, 2003.
- Iggers 1999 — *Iggers J.* Good News, Bad News: Journalism Ethics and the Public Interest. Boulder, 1999.
- Mindich 1998 — *Mindich D. T. Z.* Just the Facts: How 'Objectivity' Came to Define American Journalism. N. Y., 1998.

ТЕКСТ О ВООБРАЖАЕМОМ МИРЕ КАК КОСВЕННЫЙ ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ О РЕАЛЬНОМ МИРЕ

0. Воображаемые миры как предмет исследования. Во второй половине XX века, в связи с разработкой проблем философии языка (прежде всего в русле идей Оксфордской школы) все больше осознается роль логико-семантического анализа языка для решения многих философских проблем. Одной из таких проблем является проблема соотношения вымышленного мира с миром реальным. В логике второй половины XX в. были разработаны понятия возможного мира и воображаемого мира, что привело, в частности, к понятию воображаемой реальности.

Понятие воображаемой реальности и близкие ему понятия стали специальным предметом многостороннего рассмотрения в работах по эстетике [Асмус 1968], поэтике [Толкиен 1991, Иванов 1980] литературоведению [Эпштейн 1996], лингвистической семантике [Шмелев 1995], философии текста [Руднев 1996].

В настоящей статье предметом внимания будут собственно эпистемологические аспекты проблемы воображаемой реальности. Современные успехи в сфере логико-семантического анализа связного текста делают возможным и даже желательным некоторое переосмысление того, что может считаться надежным источником сведений о реальном мире.

1. Эпистемологический аспект изучения воображаемых миров.

1.0. Как известно, среди многообразных типов сведений, с которыми сталкивается процесс человеческого познания мира, присутствуют (а) сведения сомнительного характера (таково положение дел с уфологией, телекинезом и т. п.); (б) сведения, проверяемые лишь в рамках воображаемого мира (астрология, гадание и т. п.); (в) сведения о сфере переживаний некоторого субъекта, достоверность которых доступна лишь субъекту переживаний (сновидения, внутренняя речь) или составляет предмет реконструкции по косвенным данным поведения субъекта (чужие ощущения, чужие эмоции, чужие мысли). При обсуждении проблем, связанных с этими типами сведений¹, весьма

¹ Естественно, мы здесь отвлекаемся как от попыток перевода проблемы воображаемых миров в сугубо философский план (что характерно для «тра-

часто возникает соблазн поиска не прямых способов решения вопроса о том, какие источники данных здесь могут считаться надежными — либо на путях «физико-физиологического» редукционизма, либо на путях «психического» редукционизма. Между тем представляет интерес возможность решать эти проблемы с точки зрения логико-семантического анализа дискурса.

Если в центр поставить логико-семантический анализ дискурса, то выводы оказываются довольно неожиданными.

1.1. Оказывается вполне возможным создание вполне научных (удовлетворяющих любым критериям научности, апеллирующим к эмпирическим процедурам верификации и фальсификации) концепций в нетрадиционных сферах — «научной уфологии», «научной астрологии», «научной телепатии», «научного учения о телекинезе» и т. п. Для того, чтобы поставить разговоры о подобных проблемах на подлинно научную почву, оказывается достаточным переопределить предмет соответствующих дисциплин. В результате такого переопределения оказывается, например, что предметом научной астрологии являются тексты, создаваемые профессиональными астрологами; предметом научной уфологии являются тексты о НЛО; и т. д.

1.2. Изучение содержания сновидений встает на научную почву (для простоты мы отвлекаемся от интроспективного подхода, вполне допустимого в известных пределах — а именно, при изучении собственных сновидений исследователя), если оно делает своим предметом некоторое множество («корпус») текстов, представляющих собой рассказы людей о своих сновидениях. Ср. позицию физиологических редукционистов, считающих возможным судить о содержании сновидений по показаниям электроприборов, фиксирующих физиологические параметры, характеризующие состояние спящего (кровообращение, дыхание, пульс и т. п.), или позицию психического редукционизма, при которой одно неизвестное предлагается изучать через другое неизвестное.

1.3. Феномен т. н. «внутренней речи» оказывается также возможно изучать, не скатываясь на позиции физиологического редукционизма (когда источником сведений являются показания электродов, присоединенных к органам речи или к мозгу), психического редукционизма (когда одну ненаблюдаемую ментальную сущность предлагается изучать на основании сведений о некоторой другой, также ненаблюдаемой ментальной сущности) или вообще подмены предмета

диционных» философских текстов), так и в логическую плоскость (дедуктивное решение проблем, характерное для неопозитивистов): нас интересуют именно эмпирические источники сведений о воображаемой действительности.

изучения (когда вместо внутренней речи изучается бормотание «себе под нос» — то есть, хотя и «аутическая», но все же внешняя речь).

«Прямой» подход к внутренней речи (не считая интроспекции как метода изучения собственной внутренней речи исследователя) оказывается возможным, если источником сведений о внутренней речи сделать фрагменты художественных текстов, описывающих внутреннюю речь персонажей: в качестве субъекта фиксации внутренней речи обычно выступает т. н. «всезнающий автор» (см. [Падучева 1996]). Способы презентации не-авторской (чужой) внутренней речи в художественном тексте — те же, что применяются автором при передаче не-авторской (чужой) внешней речи, а именно:

А. прямая речь (правда, вместо глаголов говорения здесь употребляются глаголы думания; и в качестве знака препинания обычно выступают кавычки, а не тире);

Б. косвенная речь (правда, вместо глаголов говорения в главной части придаточного употребляются глаголы мысли);

В. несобственно-прямая речь.

Более того, по поводу последнего способа передачи чужой речи (несобственно-прямой речи) можно сделать даже и более сильное утверждение: а именно, можно предположить, что передача внутренней речи персонажа является основной функцией этого приема, преобладающей над функцией передачи внешней речи.

Типичные ситуации, в которых «всезнающий автор» прибегает к передаче внутренней речи персонажа — это ситуации «молчаливого размышления» персонажа и «неискренних высказываний» персонажа (когда он думает одно, а говорит вслух другое).

1.4. Порой лингвисту оказывается полезным прибегнуть к использованию сведений о воображаемом мире не только в тех случаях, когда сведения о реальном мире оказываются труднодоступными или совсем недоступными, но и тогда, когда получение, обработка и систематизация сведений о реальном мире прямыми методами требует привлечения методов смежных (по отношению к лингвистике) наук.

Таково, в частности, положение дел в т. н. «паралингвистике» (или, шире, «невербальной семиотике», см. [Крейдлин 2004]). Изучение жестикюляции, мимики, пластики, походки, эмоциональных оттенков тембра речи, голоса, интонации, сопровождающих устную речь, или изучение психологических оттенков, выражаемых почерком и сопровождающих письменную речь, требует резкого выхода за пределы традиционных методов лингвистики. Это может вызывать и вызывает естественные сомнения в способности лингвистов быстро овладеть методами смежных наук (теории актерского мастерства; графологии и т. п.), необходимыми для «прямого» описания невербального семиозиса.

Между тем обращение к изучению художественного текста оказывается ценным в эпистемологическом аспекте. Оно дает возможность как бы «задним числом возложить» на писателя всю ту гигантскую работу по фиксации тончайших оттенков человеческих движений, выражающих опять же тончайшие оттенки смыслов, которую в противном случае пришлось бы делать самому лингвисту. Тем самым писателя можно считать добровольным бесплатным помощником лингвистов и семиотиков, разгружающим их от несвойственной им (и, как правило, непосильной для них) работы. Изучая способы вербализации (дискретной фиксации) диффузных невербальных означающих (жестов, мимики, пластики, походки, почерка) и вербализации (дискретной фиксации) диффузных психических означаемых (оттенков ощущений, эмоций и мыслей), реально выраженные автором художественного текста, семиотик (в частности, лингвист) может сосредоточить свое внимание на том, что ему по традиции более близко профессионально²: а именно, (а) инвентаризации множества дискретных означаемых (выражаемых лексикой из сферы эмоций); (б) инвентаризации множества дискретных означающих (выражаемых лексикой из сферы телодвижений, ср. Л. Н. Иорданская; Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров и др.) и (в) систематизацией тех закономерностей, которые связывают элементы первого инвентаря с элементами второго).

2. Верифицируемость информации о воображаемых мирах. В заключение попробуем сформулировать некоторые выводы из вышесказанного.

Совокупность текстов по некоторой области знания (не всегда научного) можно рассматривать как экспонент сложной порции не вполне верифицируемой информации.

Задачу верификации предлагается возложить на плечи авторов художественных текстов, описывающих внутреннее состояние своих героев, вербализующих различные переживания (героев, а возможно, и свои собственные) с помощью некоторого стандартизированного (не по отношению ко всем говорящим, но хотя бы по отношению к автору) набора лингвистических средств.

Тем самым воображаемый возможный мир может рассматриваться как специальная предметная область (как радиоэлектроника или медицина) — со своей структурированной терминологией, маскирующей под слова обывденного языка, и некоторыми лингвистическими канонами построения текстов, охватывающих эту сферу ненаучного знания. Извлекать объективированные знания об этом воз-

² Ср. В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян; Анна А. Зализняк и др.

можном мире (или возможных мирах) можно по аналогии с обработкой научных текстов. Исследование текстов о возможных мирах и воображаемой реальности — средство объективации этого знания (научная мифология, уфология, астрология, нумерология и т. п.)

В частности, художественные тексты, содержащие описания воображаемых событий или неverifiedируемых состояний героев, могут подлежать исследованию не только с позиций герменевтики, но также, в частности, с позиций, терминоведения (в широком смысле слова).

ЛИТЕРАТУРА

- Асмус 1968 — *Асмус В. Ф.* Чтение как труд и творчество // *Асмус В. Ф.* Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968. С. 55–68.
- Иванов 1980 — *Иванов, Вяч. Вс.* Семантика возможных миров и филология // Проблемы структурной лингвистики -1980. М., 1982. С. 5–19.
- Крейдлин 2004 — *Крейдлин Г. Е.* Основы невербальной семиотики. М., 2004.
- Падучева 1996 — *Падучева Е. В.* Семантические исследования. М., 1996.
- Руднев 1996 — *Руднев В.* Морфология реальности: Исследования по философии текста. М., 1996.
- Толкиен 1991 — *Толкиен Дж. Р. Р.* О волшебных сказках / Пер. с англ. А.Пинского // Утопия и утопическое мышление. М., 1991. С. 277–299.
- Шмелев 1995 — *Шмелев А. Д.* Суждения о вымышленном мире: референция, истинность, прагматика // Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995. С. 115–122.
- Эпштейн 1996 — *Эпштейн М.* К философии возможного. Введение в посткритическую эпоху // Вопросы философии. 1996. № 6. С. 59–72.

Н. Б. МЕЧКОВСКАЯ

ДВА ВЗГЛЯДА НА ПРАВДУ И ЛОЖЬ, ИЛИ О РАЗЛИЧИЯХ МЕЖДУ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНОЙ МИРА И ОБЫДЕННЫМ СОЗНАНИЕМ

1. Терминологические замечания о различиях понятий «языковая семантика», «языковое сознание (языковая картина мира)» и «обыденное сознание». Названные три пласта коллективного сознания различаются по месту в структуре совокупного сознания, по хронологии формирования в фило- и онтогенезе и по тому, как они манифестируются в языке и/или дискурсах. Эти различия в общем виде представлены в Таблице 1, однако целесообразно конкретизировать различия по двум парам оппозиций.

1.1. В отличие от «языковой семантики» (т. е. системы всех грамматических и лексических значений данного языка), «языковая картина мира» представляет собой обобщение и «укрупнение» языковых значений. Не у каждого слова есть «свой отдельный» концепт: языковые концепты — это «ключевые», выделенные представления, в которых обобщены лексические значения. Концепты соответствуют не отдельным лексемам, а лексико-фразеологическим полям. Кроме того, языковая картина мира, в сравнении с языковой семантикой, более оценочна и более выразительна, в ней расставлены «акценты». Применительно к материалу статьи сказанное конкретизируется в виде такой цепочки: 1) в конкретном этническом языке десятки слов и фразем, имеющих в своих значениях сему 'правда' или 'ложь', составляют семантическое поле 'правда-ложь'; 2) исследование поля языковых значений с компонентом 'правда' или 'ложь' входит в задачи лексической семантики, а также лексико- и фразеологии; 3) результаты лингвистического исследования лексики и фразеологии семантического поля 'правда-ложь' служат эмпирической базой для исследования языкового концепта 'правда-ложь' (как фрагмента языковой картины мира).

1.2. В отличие от «языковой картины мира» (которая представляет собой укрупнение языковых значений), «обыденное сознание»

Таблица 1. Пласты коллективного сознания

Пласты коллективного сознания. Дисциплина, изучающая соответствующий пласт сознания	Различительные черты		
	Относительная хронология формирования в фило- или онтогенезе	Базовые (элементарные) единицы	«Носители» (манифестанты) соответствующего содержания
Мифологическое сознание, коллективное бессознательное — предмет антропологии	В филогенезе предшествовало сложению звукового языка	Мифологемы, архетипы, компоненты ритуала	Мифы, ритуалы, древнейшие художественные образы
Языковая семантика — предмет лингвистической семантики и лексикографии	Наиболее ранний пласт сознания, связанного с языком/речью	Грамматические значения; лексические значения слов и фразем	Грамматические формы и конструкции; слова и фразеологизмы
Языковая картина мира — предмет когнитивной лингвистики	Вырабатывается постепенно на основе языковой семантики	Концепты языковой картины мира	Конструкты, формирующиеся в индивидуальных сознаниях на основе различий в итеративности и ценностной иерархии языковых значений
Здравый смысл (обыденное сознание) — предмет гносеологии «донаучного» массового сознания	Вырабатывается постепенно в ходе социализации и по мере усвоения житейского опыта	Концепты обыденного сознания	Частотные пословицы и поговорки; максимы здравого смысла; сведения об общеизвестных фактах; популярные нефольклорные клише (из песен и школьных хрестоматий); популярные художественные образы; общеизвестные знаки, символы, эмблемы
Религиозные, художественные, правовые, философские, научные (физическая, биологическая, химическая, демографическая и т.д.) картины мира			

выходит за пределы языка, хотя и выражается в своем основном объеме вербально. Языковая картина мира (т.е. система языковых концептов) обычно не отделяется от более широких пластов вербализованного сознания (см., в частности, философское и литературоведческое понятие «концептосферы русского языка» в известной работе Д.С.Лихачева [Лихачев [1992] 1999]; статью Е.С.Кубряковой «Концепт» в [Кубрякова и др. 1996], [Bartmiński, Panasiuk 2001], [Шмелев 2002], [Маслова 2006] и др.). Однако исследователи все чаще обнаруживают, что черты концепта (некоторого феномена), выявленные по данным языка, не совпадают с тем, что можно реконструировать по дискурсивным данным, даже по таким онтологически близким языку, как фольклор. С.М.Толстая в этой связи писала о необходимости различать «языковые» и «культурные» образы (стереотипы). По мысли автора, в конкретных случаях «языковые» и «культурные» образы по-разному соотносятся между собой: «Связь таких культурных стереотипов с языком может быть различной — от почти полного совпадения языкового и культурного образа... до их значительного или даже полного расхождения» [Толстая 1995: 126]. Исследование этих взаимоотношений релевантно для определения роли языка в генезисе обыденного сознания. В работе [Мечковская 2005] различия между фрагментами языковой картины мира и обыденного сознания были представлены на примере концептов ‘молодость–старость’, ‘бедность–богатство’, ‘красота–уродство’. В настоящей статье различия и связи между языковой картиной мира и обыденным сознанием будут показаны на материале концептов ‘правда–ложь’

2. Этимологические свидетельства о когнитивных предпосылках лжи. Хотя мифологически персонифицированная оппозиция ‘правда–ложь’ имеет индоевропейские корни (Иванов, Топоров 1992), лексико-фразеологические обозначения соответствующих действий, их субъектов, средств, объектов и результатов сложились относительно поздно и в своем большинстве обладают достаточно прозрачной мотивацией. Ключевой материальный или даже инструментальный образ «правды» (релевантный для оппозиции в целом) таков: «правда, правильное» — это ‘нечто прямое, а не кривое, не извилистое; оно не изгибается и не уклоняется в сторону’. Ср. греч. *καλὸν* ‘прямой прут, прямая палка; отвес, лот; правило, норма, образец’, лат. *norma* ‘наугольник; норма, правило’; рус. *прави́ло*. Кроме того у истоков значений ‘правильный, истинный, верный’ были некоторые корни с эпистемическими значениями: авестийск. *var-* ‘верить’, лат. *verus* ‘истинный, правдивый’ [Фасмер I: 292], лат. *nosco* ‘познавать, признавать’ (родств. с *norma*), а также местоимения: праслав. **jьstьjь* (от него *истина*) мотивировано место-

именной конструкцией **is-to* 'тот самый, именно тот' [ЭССЯ VIII: 246]. Обозначения позитивных действий данного поля представляют собой поздние и потому двусловные названия, типа рус. *возвещать/утверждать истину, говорить/писать правду* и т. п.

В исходных глаголах с семей 'лгать, обманывать' обнаруживается одна из трех мотиваций. Во-первых, это семантические дериваты глаголов речи (как рус. *лгать* и *врать*). Согласно реконструкции Г.Ф.Одинцова, в праслав. **lǫgati* (родственно нем. *lügen* 'лгать', швед. *ljuga* 'лгать', англ. *to lie* 'лгать', нем. *leugnen* 'отрицать, отвергать, не признавать') значение 'лгать' соотносится с лит. *lūgótī* 'просить, умолять', латыш. *lūdzu, lūgt* 'просить, приглашать', нем. *loucken* 'манить' [ЭССЯ XVI: 235–236]. Глагол *врать* (родствен с рус. *ворчать* и *врач*, греч. *ῥήτωρ* 'оратор', лат. *verbum* 'слово', др.-пруссск. *wīrds*, нем. *Wort*, англ. *word* 'слово') в истоках был звукоподражанием с общей семантикой 'говорить', на основе которой могли метонимически развиваться значения с отрицательной оценкой содержания речи — 'говорить вздор, пустяки' и 'говорить неправду'

Во-вторых, этимоны глаголов со значением 'лгать' бывают связаны с обозначениями сомнений, колебаний, ошибочных восприятий и действий. Примеры: лат. *erro, errare* 'сбиться с дороги, заблудиться, ошибиться'; *error* 'обман, ловушка'; глаголы *манить, обманывать*, восходящие к и.-е. **mā-* 'сделать знак (рукой)' и родственные праслав. **mana, matь* 'призрак, видение, наваждение, колдовство' [ЭССЯ XVII: 202]. К мотивациям такого рода, по-видимому, близок случай нем. *täuschen* (который словари представляют как два омонима): 1) 'менять, обменивать что-л.' и 2) 'обманывать, вводить в заблуждение'

В-третьих, в более поздних случаях глаголы со значением 'обманывать' восходят к названиям намеренных действий, направленных во вред другому, — таких, как 'прятать, скрывать'; 'отнимать, лишать чего-л.'; 'нарушать, переступать запрет'; 'причинять ущерб кому-л.' Примеры: греч. *ψεῦδής* 'лживый, ложный' восходит к *ψάμπος* 'нарушать' [Вейсман 1991: 1360]; лат. *falsus* 'ложный' связано с глаголом *fallo, fallere* 'скрывать, укрывать; сбивать с ног; лишать; подделывать; нарушать, не исполнять'; англ. *deception* 'обман, жульничество; ложь; хитрость' восходит к лат. *decipio* 'отъятие, лишение; обман'

Редкий случай мотивации представлен в лат. *quasi* 'якобы, как будто': если лат. *verum* (арх. 'именно так; вот именно' [Дворецкий 1976: 1071]), ст.-слав. *истина* этимологически связаны со значением тождества ('тот самый'), то антонимическое значение может быть мотивировано сомнением в назывании или определении. Так возникло лат. *quasi* — в результате лексикализации сочетания вопросительного местоимения *qua* 'как' и условно-гипотетического союза *si* 'если бы'.

Лат. *quasi*, как и греч. *ψευδος* (как и рус. *ложно* — в терминах вроде *ложнослонники* ‘семейство жуков’), важны в процессах довольно механической деривации множества специальных обозначений, потребность в которых обусловлена не этикой, а сходством явлений мира. Эта размытость границ между феноменами делает мир неустранимо неопределенным и зыбким.

Итак, индоевропейцы изначально связывали ложь с неточностями речи (невольными и вольными, а также с кажущимися); с ошибками восприятия (в которых иногда виновен не человек, а темные сверхчеловеческие силы; человек не только *обманывает*, но и сам *обманывается*), а также с сознательными действиями во вред другому (что более определенно осуждалось).

В языковой картине мире концепты ‘правда–ложь’ — это довольно поздние смыслы. Неслучайно в разных языках в этой сфере почти отсутствуют подлинно народные, ранние фразеологические эталоны вранья и лжецов, а тем более правды и говорения правды. В словаре [Даль 1978, I: 259] приведено далеко не фольклорное сравнение *врет, как газета*. В словарях сравнений [Огольцев 2001], [Мокиенко 2003], [Шадрин 2003] к глаголам *врать/брехать/дезинформировать* приводятся следующие сравнения (в разной степени устойчивые): *врать как американское радио / барон Мюнхаузен / Геббельс*; в этом же ряду стоит английское устойчивое сравнение *to lie like a gas-meter* (дословно ‘врать как газовый счетчик’). В некоторых сравнениях фактически нет образа («картинки») вранья, а только экспрессия, усиленная именно немотивированностью уподобления: *врет как лошадь / сивый мерин / сивая кобыла / сапожник* (последнее сравнение из Достоевского). Оно, как и близкое англ. *to lie like a trooper* (дословно ‘врать как извозчик’), скорее всего, появилось в результате контаминации с оборотами *ругаться как сапожник, to swear like a trooper*. Искренность, правдивость речи в русских устойчивых сравнениях связаны с религиозной сферой: *говорить как на духу / на исповеди / перед Богом* [Огольцев 2001].

3. Черты языкового концепта ‘ложь, обман’. Построение характеристик языковых концептов предполагает методический анализ парадигматических и синтагматических отношений между языковыми фактами, образующими исследуемое поле. Источником фактов, относящихся к дистрибуции слов *правда, истина, ложь, обман*, послужили МАС, ССРЛЯ, а также Словарь эпитетов русского литературного языка [Горбачевич, Хабло 1979].

3.1. Асимметрия: аскетическое однообразие правды и разноцветие лжи. В количественном отношении поле ‘правды’ и ‘лжи’ разделено резко асимметрично. Обозначений, связанных с полюсом прав-

ды, существенно меньше, чем слов и оборотов с компонентом 'лгать'. На фоне полутора десятков глаголов с семой 'лгать, обманывать' в нормативном словаре среднего объема (ср. в МАС: *лгать, обмануть, врать, брехать, надуть, блефовать, заливать, темнить, свистеть...*) и длинного ряда фразеологизмов с этой же семой 'лгать, обманывать' показательно отсутствие в русском языке глагола со значением 'говорить правду'. Для обозначения субъектов лжи в нормативных русских словарях есть слова *брехун, брехунья, враль, врун, врунья, врунишка, вруша, выдумщик, лгун, лгунья, лгунишка, лжец, лжепророк, лжесвидетель, лжеученый* (и т.п.), *мистификатор, мошенник, мошенница, обманщик, обманщица, плут, плутишка, плутовка, притворщик, сплетник, фальсификатор, фантазер*, в то время как однословных антонимов практически нет (кроме слов *правдолюб* и *правдолюбец*, которые в наши дни едва ли возможны без иронической коннотации; ср. насмешливый окказионализм у Л. Леонова (ср. у М. Горького: *Ишь, говорит, какой правдолюб!*; *Что же сказали бы они теперь, эти непреклонные правдоносцы...* [ССРЛЯ XI: 11]; на 16-й полосе «Литературной газеты» о Солженицыне: окказионализм *правдоруб*, мотивированный просторечным и с двусмысленной этической оценкой оборотом *рубить правду (матку)*). Дело здесь не только в обычном количественном перевесе названий для плохого и «плохих» названий (т.е. с отрицательной коннотацией). Понятно, что говорить правду естественно для людей, это презумпция нормального общения; повседневная правдивость/искренность в основном не составляет проблемы, поэтому правдивость не замечается и не называется, отсюда и лексико-фразеологическая скудость поля правды.

Есть, однако, и специфическая для поля 'правда-ложь' причина диспропорции в количестве названий. Она связана с логической простотой феномена правды, в отличие от информационной разнородности лжи. Не случайно еще в античности у слов со значением 'правда/истина' появился постоянный эпитет 'голая (или нагая) правда (истина)': лат. *nuda veritas* (в виде калек вошедший в новые европейские языки). В отличие от правды, ложь — не голая: в ней может быть разная информация, в том числе и правдивая. Однако феномен «полуправды» принадлежит полю именно лжи, а не правды. Правда, чтобы оставаться правдой, должна быть полной и не содержать ничего другого, кроме правды. Именно так в 1580 г. английское правосудие сформулировало триединое условие правдивой речи, вошедшее в формулу судебной присяги: (клянусь говорить) *правду, только правду и ничего кроме правды* [Берков, Мокиенко, Шулержкова 2000: 396].

3.2. Крайне низкая этическая оценка лжи и обмана. С ложью связано стыдное, предательское и жестокое в поступках или характере

человека. *Ложь* определяется как *бездушная, бессовестная, бесстыдная, гнусная, злая, изменническая, низкая, оголтелая, подлая, постыдная, предательская, ядовитая; обман* — как *бессовестный, бесстыдный, бесстыжий, вероломный, гнусный, грубый, грязный, демагогический, дьявольский, жестокий, злой, злостный, коварный, мерзкий, мерзостный, несправедливый, подлый, постыдный, страшный, ужасный, умышленный, чудовищный*

3.3. Ложь и обман требуют психологических усилий субъекта; если усилия не прикладываются, то такая ложь (обман) особенно одиозна (*грубая, дерзкая, наглая* и т. п.); если же ложь так или иначе маскируется, то отношение к ней более терпимое (*благовидная, замысловатая ложь*); возмущение сменяется упреком в лицемерии (*застенчивая ложь, лицемерный обман, ханжеская ложь*) или презрением к неумению лгать/обманывать (*жалкий обман, замаскированная, неуклюжая ложь*); одновременно присутствует сознание того, что тонкая ложь (обман) может быть более действенной (*вкрадчивая, изощренная, хитрая ложь*). Названные оценки не только тонки, но и осуществляются по нескольким шкалам, поэтому не удастся представить их в виде единого континуума прилагательных; ограничусь алфавитным списком: *ложь* может определяться как *беззастенчивая, благовидная, благоприличная, беспардонная, вкрадчивая, громкогласная, грубая, дерзкая, заведомая, замаскированная, замысловатая, изощренная, махровая, наглая, нахальная, нарядная, неуклюжая, потаенная* (устар.), *приукрашенная, разукрашенная, скрытая, тайная, тонкая, умная, утонченная, хитрая, явная*; *обман* — *жалкий, безбоязненный, лживый, лицемерный, мелкий, мелочный, наглый, ничтожный, прямой, прикрытый*.

По народным представлениям, запечатленным в языковой картине мира разных языков, особенно трудно лгать в устной речи и при прямом физическом контакте. Фразеологические свидетельства: бел. *у сабакі вачэй пазычыць* (дословно 'у собаки глаза одолжить'), т. е. 'потерять совесть, стыд, набраться нахальства' [Лепешаў 1993/II: 134]; англ. *to lie in one's teeth* (или *throat*) (дословно 'лгать зубами (или горлом)'), т. е. 'бесстыдно лгать'; польск. *klamać jak z nit* (дословно 'врать как по нотам') — 'врать без запинки, без зазрения совести', ср. *бегающие глаза, врет в глаза, отводит глаза, врет по-печатному* [Даль 1978], *врет как по писанному* [Мокиенко 2003], и т. п.), *бумага все терпит* 'написать можно все что угодно' (МАС IV: 359) и т. п.

3.4. Допустимость частичной лжи; снисходительность и терпимость к неправде. Уже парадигматика (т. е. сам состав лексем) говорит о том, что бывает извинительная и даже интересная неправда (*вымысел, сказка, фантазия, фантастика*), не осуждаются также ее авторы (*выдумишки, фантазеры, фантасты*). Глагол *выдумать* оз-

начает не только 'создавать воображением, измыслить то, чего не было, чего нет' (*измыслить неправду*), но и 'изобрести, придумать, догадаться' (ср. призыв Маяковского, обращенный к молодой стране: *А моя страна — подросток. / Твори, выдумывай, пробуй!*). Занятие дезинформацией — это профессиональная деятельность, хотя и направленная во вред адресату, однако нужная работодателю/заказчику, а следовательно, исполнителю. Ср.: *Успешная дезинформация, осуществленная в ходе радиоигры, позволила отвлечь силы противника от наиболее опасных участков в обороне*. В русской языковой картине мира к источникам «малой» лжи или к невзрослым лгунам отношение хотя и уничижительное, но ласковое: *врунишка, вруша, лгунишка, плутишка*.

3.5. Для языковой картины мира, по-видимому, не характерно оправдание лжи-обмана. Впрочем, фразеологизмы с такой семантикой есть: рус. *ложь во спасение* 'ложь ради спасения кого-л., искупительная ложь' (вызванное ошибкой в записи церковнославянского стиха из Псалтыри [Бирих, Мокиенко, Степанова 1998: 348]), *благочестивая ложь*, англ. *white lie* — 'невинная ложь', нем. *eine fromme Lüge* 'благочестивая (набожная) ложь'

4. Черты языкового концепта 'правда-истина'. По данным привлекаемых словарей, список определений к лексемам *правда* и *истина* существенно короче и однообразнее, чем к словам *ложь* и *обман*. Ниже обобщенно представлены три наиболее заметных черты языкового концепта 'правда, истина'

4.1. «Истинность правды» и «правдивость истины», иначе говоря, однообразие и плеонастичность позитивных определений правды-истины. С этими же чертами связаны такие признаки правды-истины, как 'мудрость', 'верность', 'продолжительность или неограниченность в пространстве и времени существования'. *Истина* характеризуется как *безусловная, бессмертная, бесспорная, великая, высокая, действительная, известная, мудрая, неопровержимая, неоспоримая, неотразимая, непогрешимая, непреложная, непререкаемая, непреходящая, несомненная, общеизвестная, общепризнанная, очевидная, самоочевидная, святая, седая, старая*; *правда* — как *бессмертная, беспристрастная, бесспорная, бесценная, большая, великая, вечная, вселенская, всенародная, всеразрешающая, всечеловеческая, глубокая, истинная, мудрая, настоящая, незабываемая, неискоренимая, немеркнувшая, неопровержимая, неоспоримая, неотразимая, непреложная, непререкаемая, неприкрашенная, неприкрытая, несомненная, нетленная, очевидная, подлинная, самая правденская правда* (Достоевский, «Кроткая»), *реальная, светлая, святая, священная, совершенная, суцая, точная, честная, чистая, ясная*.

4.2. Элементарность и банальность истины и правды. Об этом говорят такие атрибутивные сочетания, как *азбучная истина, банальная, букварная, грошовая, дешевая, затасканная, избитая, истертая, низкая, пошлая, прописная, простая, стертая, тривиальная, ходячая, хрестоматийная, элементарная*. О значительной частотности выражений *азбучная истина* и *прописная истина* говорит то, что они включены во фразеологический словарь [Федоров 1991, I: 225–226]. Сочетания лексемы *правда* с прилагательными, которые как бы сужают сферу действия правды, в целом остаются позитивными: *правда живая, жизненная, житейская, историческая, ленинская, народная, обыденная, обычная, человеческая*.

4.3. Тяжесть истины и особенно правды. По пословице, «правда глаза колет», ее воздействие может быть отрезвляющим, разрушительным, невыносимым. Лексема *правда* сочетается с такими прилагательными, как *беспощадная, враждебная, горькая, грозная, грубая, жгучая, жестокая, кровоточащая, мужественная, невеселая, неприятная, обличительная, оголенная, печальная, резкая, роковая, страшная, строгая, суровая, трагичная, трезвая, ужасная, холодная*; лексема *истина* — с прилагательными *горькая, резкая, печальная, суровая*. Существенно, что со словом *правда* таких сочетаний значительно больше, чем со словом *истина*: это соответствует не только большей частотности слова *правда*, но и тому, что языковой концепт ‘правда’ в большей мере связан с человеком и жизнью, а ‘истина’ — с Богом и вечностью (подробно см. [Арутюнова [1995] 1998]). Может быть, поэтому только со словом *истина* в рассмотренном материале встретились сочетания с прилагательными, указывающими на благотворность истины: *истина спасительная, успокоительная, утешительная*. Иначе говоря, спасает не людская правда, а Божья истина.

5. Что отличает концепт обыденного сознания ‘правда–ложь’ от одноименного концепта языковой картины мира? Коллективное обыденное сознание вырастает из языкового и содержит черты, которых в их полном объеме нет в языковом сознании. В одних случаях конкретный новый мотив представляют собой усиление и развитие того содержания, которое только намечалось в каком-то значении, оттенке или семе, как если бы в языке была почка, а в обыденном сознании из почки развился побег. В других случаях отдельные значения или представления, хотя еще и сохраняются в качестве некоторой периферийной черты в языковой картине мира, однако не переходят в обыденное сознание. В третьих случаях новый мотив обыденного сознания не имеет даже намек в коллективном языковом сознании (индивидуальные картины мира здесь, конечно, не в счет).

Филогенетически к языковой картине мира ближе всего такой пласт обыденного сознания, как фольклор и в первую очередь его малые жанры — пословицы, поговорки, загадки. Поэтому далее в характеристиках мотивов обыденного сознания (связанных с концептом 'правда-ложь') в качестве исходного пункта будет рассматриваться содержание пословиц и поговорок, а затем и других ходячих фраз и расхожих сентенций обыденного сознания.

5.1. Обыденное сознание развивает и усиливает определенные мотивы, представленные в языковом концепте. В качестве примера рассмотрим различия между языковым и обыденным концептами в осознании того, что «лгать — трудно». В языковом концепте есть слабый намек на то, что ложь и обман требуют опыта или умения и уже поэтому лгать нелегко (об этом говорят такие эпитеты к слову *ложь*, как *вкрадчивая*, *замысловатая*, *изоощренная*, *нарядная* и т.п., или такие характеристики «слабого» осуществления обмана, как *неудавшийся обман*, *жалкий*, *ничтожный обман* и т.п.). В отличие от языковой картины правды-лжи, паремии прямо говорят о том, что, во-первых, ложь трудна для речевого исполнения¹: *Врет не поперхнется*; *Врет как по писанному*; *Врет как по печатному*; *Врет сплошь, а перевирать не умеет*; во-вторых, что ложь вредна: *Будеешь лукавить, так черт задавит*; *Вранье что дранье* (*драный тес*): *того гляди, руку занозишь*; *Что меньше врет, то спокойней живет*; в-третьих, что особенно вредна ложь для молодых: *Старый обманет — долго жить станет, молодой обманет — вдруг помрет!*; *Молодому лгать вредно, старому непотребно*; в-четвертых, что ложь ведет к разладу с людьми: *Кто сегодня обманет, тому завтра не поверят*; *Хорошо врать на мертвого*; в-пятых, что привычка ко лжи накладывает свой отпечаток на поведение человека: *Кто много врет, тот много божится*; *У кого много причин, тот много врет*, что ложь затягивает и чревата еще большими прегрешениями: *Врать, что лыки драсть* (*лыко за лыко тянется*); *Врун, так и обманщик*; *обманщик, так и плут*; *плут, так и мошенник*, а *мошенник, так и вор*.

В постфольклорной словесности мотив о трудности лжи выражен с полной определенностью. Л. Толстой, воспроизводя неправду, которую сообщает Анна Каренина (*Я не могу пробыть у вас долго, мне необходимо к старой Вреде...*), продолжает в авторской ремарке: *...сказала Анна, для которой ложь сделалась проста и естественна*. У Булгакова Иешуа замечает на допросе: *Правду говорить легко и приятно*, а сам автор позже, описывая одного из персонажей, упоминает ее *скошенные от постоянного вранья глаза*.

¹ Здесь и далее приводятся паремии, если не указано иное, из собраний В.И. Даля [Даль 1957; Даль 1978].

Примером того, как обыденное сознание развивает и педалирует содержание языкового концепта, может быть также и антонимичный мотив — о том, что «правда горька и тяжела». В языковом концепте 'правды' намек на то, что правда бывает горькой и трудной, открывается в таких типичных эпитетах *правды-истины*, как *беспоощадная, горькая, трагическая, ужасная* и др. В пословицах эти семы усилены в разных направлениях. Так, русские пословицы утверждают, что, во-первых, жить по правде и говорить правду — трудно: *Неправдою жить — не хочется, а правдою жить — не можется*. Во-вторых, на разные лады звучит мысль о том, что правду тяжело слушать, воспринимать: *Правда глаза колет; На правду да на смерть, что на солнце: во все глаза не взглянешь; С нагой правдой в люди не кажись*. В-третьих, говорится, что правда не нужна людям: *Хороша святая правда, да в люди не годится*. Более того, человек, говорящий правду другим, осуждается за резкость, прямолинейность, бессердечие: *Прям как московская оглобля; Прямой, что слепой: ломит зря; Прямой, что шальной: так и ломит; Прямиковое слово что рогатина; Правдолюб: душа нагишом*.

5.2. Обыденное сознание игнорирует возможность нечаянной неправды или обмана. В русской языковой картине правды-лжи отражено, что ложь и обман бывают невольные, нечаянные, не по умыслу, а по ошибке. Парадигматически это проявляется в том, что слова *врать, обман, ложный* совмещают оба значения ('намеренная передача ложной информации', с одной стороны, и 'отсутствие такого намерения' или 'отсутствие лжи', с другой). В частности, у *врать* есть древнее, но устаревающее значение — 'говорить вздор, пустяки' МАС дает его как «оттенок», с примером из «Капитанской дочки»: *Полно, старуха, не все то ври, что знаешь*), однако в новейшем словаре [Кузнецов 2001] это значение у *врать* не приводится. В фольклоре и современном обыденном сознании *врать* — это только 'говорить неправду'. Иначе говоря, вздор и ложь люди стали различать лучше.

У слова *обман* есть значение 'заблуждение, ошибка; ложное представление о чем-л.'; в [ССРЛЯ VIII: 232] его иллюстрируют полуклишированные сочетания *до обмана похож, до обмана напоминает, обман зрения, обман чувств*, термин *оптический обман*, авторский эпитет *полуневольный обман* (И. Тургенев, «Новь»); в [Кузнецов 2001] указанное значение иллюстрируется примером из Пушкина (*Быть может, это всё пустое, / Обман неопытной души*) и приведены обороты *впасть в обман, ввести в обман*. Однако фольклор и современное обыденное сознание как бы не замечают, что обман может быть невольным. Впрочем, продвинутое сознание (например, психо-

логия), конечно, признает возможность невольного обмана и искреннего заблуждения, когда утверждает, например, что *Чувства могут быть ложными, но не лживыми* и т. п.

5.3. Обыденное сознание, а затем художественное и философское сознание продуцируют значения, которых не было в содержании языкового концепта 'правда-ложь'. В языковой картине правды-лжи ничего не говорится об истоках правды и лжи и об их взаимоотношениях. В обыденном сознании на этот счет имеются противоречащие друг другу мнения. Этиология лжи простая: *Вся неправда от лукавого*. Люди различаются, помимо прочего, еще и тем, что порождают ложь в разных объемах: *Люди врут, только спотычка берет, а мы врем, что и не перелезешь* (ср. расхожую градацию нашего времени: *Есть ложь, наглая ложь и статистика*). Обман присутствует в жизни постоянно: по Далю, *От обману не набережешься (не уйдешь)*; *Лукавой бабы и в ступе не утолчешь*. Прок от обмана оценивается по-разному: с одной стороны, на примере того, кто *Обманывает век, а живет все э'к*, пословица учит: *Обманом барыша не наторгуешь*, а также тому, что *У лжи короткие ноги*, с другой стороны, пословица утверждает: *Обманом город берут*.

Есть паремии, в которых ценность правды существенно снижена: *Правда хорошо, а счастье лучше*; иногда народная мудрость предпочитает правде ложь: *Умная ложь лучше глупой правды*. И, конечно, обыденное сознание еще фольклорного социума понимало, что искусство — это не ложь, а необходимый людям вымысел: *Красное словцо не ложь*.

Современное обыденное сознание в своих представлениях о правде-лжи далеко ушло не только от картины мира языковой, но и фольклорной. Вот три таких мотива.

5.3.1. Противопоставление правды и лжи нейтрализуется. Ср.: *Я правду о тебе порасскажу такую, / что хуже всякой лжи* (А. Грибоедов, «Горе от ума»); *Ложь — это замаскированная правда* (Дж. Г. Байрон); *Заблуждение — это истина, просуществовавшая лишь минуту и, наоборот, истина — это заблуждение, которое длилось столетия* (К. Л. Берне); *Истина — наиболее авторитетная гипотеза* [Вальтер, Мокиенко 2005: 204]; *По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, и самое страшное, что половина из них — чистая правда* (У. Черчилль); *Мне все равно, что про меня напишут, лишь бы это не было правдой* (К. Хепберн); *Любая история, повторенная пятьюкратно, становится правдой* (Л. Спикс); *Правда — это нечто такое, что каким-либо образом может кого-либо дискредитировать* (Г. Л. Менкен); *В наше время политик говорит правду только тогда, когда называет лжецом другого политика* (А. Ньюмен); *Ложь быва-*

ет не столь лжива, как хорошо выбранная правда (Ж. Ростан); Вашингтон не мог солгать; Никсон не мог сказать правду; Рейган не может понять разницу между тем и другим (С. Морт); То правда победит ложь, то ложь правду: боевая ничья [Вальтер, Мокиенко 2005: 379].

5.3.2. Мысль о перевесе и победе лжи над правдой распространяется в обыденном сознании все шире. По данным Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова, этот мотив, восходящий к индоевропейской древности, читается в одной из редакций «Голубиной книги»: *Правда Кривду переспорила. Правда пошла на небеса / ...А Кривда пошла у нас вся по всей земле* (цит. по: [Иванов, Топоров 1992: 328]). Он звучит также в Псалтири (115, 2): *Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь*, лат. *Omnis homo mendax*. Этот стих допускает по меньшей мере два чтения: более оптимистическое, если видеть в нем инверсию и его первую часть считать комментарием ко второй, т.е. если сформулированный тезис (*Всякий человек ложь*) предваряется признанием такого мнения ошибкой (*Я сказал в опрометчивости моей*). Второе чтение примерно такое: *‘Я сказал [это] опрометчиво, ибо каждый человек ошибается [вымысливает]’*

Пессимизм Псалтири распространился широко. Русская пословица добавляет в рифму: *Всякий человек ложь (и мы тоже)*. Лирический герой Державина цитирует Псалтирь в самооправдание: *Таков, Фелица, я развратен! / Но на меня весь свет похож, / Кто сколько мудростью ни знатен, / Но всякий человек есть — ложь*. У Достоевского пессимизм безбрежен: *На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы* (Дневник писателя, 1873 г.). У последующих авторов пессимизм нарастает крещендо: *Существует ложь, вошедшая в нашу плоть и кровь: ее называют чистой совестью* (Ф. Ницше); *«Что скажет история?» — «История, сэр, солжет, как всегда»* (Б. Шоу); *Еще никому не удавалось побить ложь оружием правды. Побороть ложь можно только еще большей ложью* (Ст. Е. Лец).

5.3.3. Насмешки над правдой. Они становятся все обычной. Степень едкости и цинизма здесь самые разные: от балагурства и пародий на словоблудие (типа *Пусть ты прав, но истина мне дороже* [Вальтер, Мокиенко 2005: 204]; *В каждой истине есть доля правды; В каждой правде есть доля истины; До сих пор о правде известно только то, что в ногах ее нет; Надо врать только чистую правду* [Там же: 379]) до глумления и издевок над правдоискательством, ср.: *Правда — самое ценное из того, что у нас есть: будем же расходовать ее бережно* (Марк Твен); *Всеми правдами и неправдами жить не по лжи* (В. Бахчанян, пародийная переделка заглавия статьи А. Солжени-

цына 1974 г. «Жить не по лжи»); *Правда второй половины XX века допускает некоторую ложь и называется подлинной. Понятие честности толкуется значительно шире: от некоторого надувательства и умолчания до полного освещения крупного вопроса, но только с одной стороны* (М. Жванецкий); и т. д.

6. Эвристическая ценность различения языковой картины мира и обыденного сознания состоит в релевантности данного различения для фило- и онтогенеза сознания. Чтобы адекватно представлять фундаментальную и генерирующую роль языка в генезисе знания, чтобы не растворять язык в расширяющемся океане знаний (и лингвистику — в гносеологии), полезно думать о границах языка.

ЛИТЕРАТУРА

- Арутюнова [1995] 1998 — *Арутюнова Н. Д.* Истина и этика [1995] // *Арутюнова Н. Д.* Язык и мир человека. М., 1998.
- Вальтер, Мокиенко 2005 — *Вальтер Х., Мокиенко В. М.* Антипословицы русского народа. СПб., 2005.
- Берков, Мокиенко, Шулежкова 2000 — *Берков В. П., Мокиенко В. М., Шулежкова С. Г.* Большой словарь крылатых слов русского языка. Около 4000 единиц. М., 2000.
- Бирих, Мокиенко, Степанова 1998 — *Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И.* Словарь русской фразеологии: Историко-этимологический справочник. СПб., 1998.
- Вейсман 1991 — *Вейсман А. Д.* Греческо-русский словарь. М., 1991 [Репринт 5-го издания 1899 г.]
- Горбачевич, Хабло 1979 — *Горбачевич К. С., Хабло Е. П.* Словарь эпитетов русского литературного языка. Л., 1979.
- Даль 1957 — *Пословицы русского народа. Сборник В. Даля [1861–1862].* М., 1957.
- Даль 1978 — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. М., 1978 [факсимиле издания 1880–1882 гг.].
- Дворецкий 1976 — *Дворецкий И. Х.* Латинско-русский словарь. М., 1976.
- Иванов, Топоров 1992 — *Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н.* Правда и Кривда // Мифы народов мира: Энциклопедия в двух томах. Т. II. М., 1992.
- Кубрякова и др. 1996 — *Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г.* Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996.
- Кузнецов 2001 — *Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов.* СПб., 2001.
- Лепешаў 1993 — *Лепешаў І. Я.* Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы: У 2 т: Мінск, 1993.

- Лихачев [1992] 1999 — *Лихачев Д. С.* Концептосфера русского языка [1992] // *Лихачев Д. С.* Очерки по философии художественного творчества. СПб., 1999.
- Маслова 2006 — *Маслова В. А.* Введение в когнитивную лингвистику. М., 2006.
- МАС — Словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1981–1984.
- Мечковская 2005 — *Мечковская Н. Б.* Две картины мира: язык и обыденное сознание (информационная фактура, делимитация границ и стереотипов) // *Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 5. Opis, konfrontacja, przekład.* Wrocław, 2005.
- Мокиенко 2003 — *Мокиенко В. М.* Словарь сравнений русского языка. СПб., 2003.
- Огольцев 2001 — *Огольцев В. М.* Словарь устойчивых сравнений русского языка (синонимо-антонимический). Около 1500 единиц. М., 2001.
- ССРЛЯ — Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.; Л., 1950–1965.
- Толстая 1995 — *Толстая С. М.* Стереотип в этнолингвистике // *Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии. Тезисы конференции.* М., 1995.
- Фасмер 1986–1987 — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. 2-е изд. Т. I–IV. М., 1986–1987.
- Федоров 1991 — Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII — XX вв.: В 2 т. / Под ред. А. И. Федорова. Новосибирск, 1991.
- Шадрин 2003 — *Шадрин Н. Л.* Русско-английский словарь устойчивых сравнений. СПб., 2003.
- Шмелев 2002 — *Шмелев А. Д.* Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. М., 2002.
- ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 1–30. М., 1974–2005.
- Bartmiński, Panasiuk 2001 — *Bartmiński J., Panasiuk J.* Stereotypy językowe // *Współczesny język polski / Pod redakcją Jerzego Bartmińskiego.* Lublin, 2001.

АНАЛИЗ АФОРИСТИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ (ЛОЖЬ И ФАНТАЗИЯ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ СТУДЕНТОВ)

На вопрос, чем отличается ложь от фантазии, студенты I курса философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова — 60 человек, будучи ограничены во времени (10 минут), размышляли и того менее и ответили кратко, емко и афористично, сумев сконцентрировать в одной — двух фразах свои мысли и чувства на тему, которая не оставила их равнодушными.

Задачи получить в ответ на заданный вопрос афоризм — устойчивое изречение, содержащее обобщенную и законченную мысль о каком-либо явлении действительности и выраженное в лаконичной форме — у исследователя не было, однако именно афористичность студенческих ответов явилась их общей языковой и стилистической чертой.

«Афоризм (от греч. *aphorismos* — краткое изречение, определение, разграничение) — разновидность универсальных высказываний, содержащая стремящуюся к истине и полученную обобщением глубокую, законченную мысль о каком-либо явлении действительности» [Донгак 2005: 75].

Афористическое, обобщающее высказывание во многом сходно с афоризмом, но отличается от него как по признаку объема, так и по отточенности и конкретности мысли. Афористическое высказывание не состоит из одного предложения, как афоризм, а содержит дополнительные высказывания, поясняющие или аргументирующие общее суждение; для афористического высказывания, в отличие от афоризма, не является обязательной высокая художественность формы.

«Афоризм», «афористическое высказывание», «сентенция», «гнома», «мудрое изречение», «апоф(т)егма», «максима», «крылатое выражение» — эти и другие наименования универсальных высказываний, многие из которых известны с глубокой древности, являются предметом многочисленных научных исследований [Федоренко, Сокольская 1990; Радзиевская 1988; Харченко 1988; Завьялова 2002 и мн. др.].

И афоризму, и афористическому высказыванию свойственны такие черты, как краткость, обобщенность, в них используются стилистические фигуры для выражения не банально сформулированной жизненной мудрости; им характерна парадоксальность, неожиданность суждения. Все то, что сообщает лаконичному по форме высказыванию смысловую глубину, что делает его сжатым и ярким, — все

это оказалось присуще исследуемому материалу и поэтому позволяет говорить об афористичности как главной характеристике ответов студентов на заданную тему.

Обратимся к материалу исследования.

5 ответов на вопрос, чем отличается ложь от фантазии, состояли исключительно из общего утверждения: «Никакой разницы»; в них отсутствовала аргументация, и поэтому они могут быть расценены как несостоявшееся размышление, как осознанный или неосознанный отказ от выполнения задания. Относительная законченность и афористичность проглядывает только в одном из таких «негативных» ответов, содержащем свойственное афоризмам парадоксальное столкновение противоположностей и такую стилистическую фигуру, как антитеза: «Ложь абсолютно ничем не отличается от фантазии, но люди всегда пытаются найти между ними отличие». Ср. сходные по способу изложения афоризмы на другие темы: «Брак — это наука, но никто ее не изучает» (С. Арну), «Все хотят дожить до старости, а когда доживут, ее же винят» (Цицерон).

Большая часть ответов оказалась «позитивной»; два из них открываются общим утверждением: «Ложь от фантазии отличается очень многим», «Разница, на мой взгляд, огромная», затем в афористичной форме излагается мысль авторов; в остальных ответах подобное вступление отсутствует¹.

В основе рассуждения большинством студентов производилось уподобление оппозиции ложь — фантазия другим оппозициям, построенным по 1. **этическому признаку** (ложь — зло, фантазия — добро) и 2. **признаку эстетическому** (ложь — безобразность, уродство, фантазия — красота). Кроме того, развитие мысли студентов во многом опиралось на 3. **круг смежных понятий**, также взятых в оппозиции, с которыми ложь и фантазия в процессе их осмысления были соединены: детство — старость, счастье — несчастье, свобода — несвобода и др. В отдельных ответах по 4. **ассоциации** в размышления студентов оказались вовлечены древнейшие архетипические оппозиции, переосмысленные в этических категориях: высокое — низкое, чистое — грязное, открытое — закрытое, полное — пустое и др.

Главным образом, противопоставление (и сопоставление) лжи и фантазии опиралось на оппозиции 1. этического или 2. эстетического характера.

1. Этический критерий: ложь — зло; фантазия — добро.

«Если ложь не всегда бывает во зло, но все-таки обычно бывает, то фантазия никогда не будет злой».

¹ Все заключенные в кавычки тексты являются ответами студентов, цитируемыми от начала и до конца, без купюр.

«Разница, на мой взгляд, огромная. Фантазия живет с нами, это доброе чувство, а ложь — просто трусость сказать правду».

«Ложь приносит вред; фантазия — это безобидные мечты». «Ложь создает осадок на душе. Фантазия — это мечта, она дает надежду». «Ложь от фантазии отличается очень многим. Ложь вредна, а фантазия нет. Ложь убивает тебя, разъедает в тебе личность, а фантазия наоборот — помогает лучше понять, какой ты на самом деле. Ложь причиняет боль другим людям и лгуну плохо, все равно плохо, а фантазия не причиняет боли». «Ложь — это глупость и страх. Фантазия не делает больно. Ложь, кроме боли, приносит разочарование в людях». «Ложь убивает нас, делает слабыми и несчастными».

«Ложь бесстыдна, а фантазия сокровенна».

«Ложь — это грех, в фантазии греха нет. Нельзя лгать, но можно фантазировать: в фантазии нет зла, нет корысти, но есть выдумка о лучшем мире».

Этический критерий является основным и когда студенты разграничивают ложь и фантазию по: причинам и целям, контролю, адресату.

«Разница между ложью и фантазией — намерение, причина. Ложь рождается по злему умыслу, из желания исказить истину, а фантазия не задумывается об искажении истины, она просто отрывается от нее вверх и вперед, она рождается внезапно и искренне. Лжи необходима причина, фантазии — нет».

«Ложь имеет цель, в основе лжи лежит умысел (злой, так как это воздействие на другого человека в корыстных целях). У фантазии цели нет, нет умысла».

«По сути ложь ничем не отличается от фантазии. Но они отличаются по целям их создания. Ложь создается, чтобы скрыть правду, а фантазия — чтобы сделать жизнь интереснее». «Ложь меркантильна. Ложь имеет цель, фантазия чиста и самоценна».

«Ложь контролируется, а фантазия нет».

«Мы фантазируем для себя, а лжем для других. Человек может и себя обманывать, но лгать себе он не будет. Поэтому обман, наверное, ближе к фантазии, чем ложь».

Как видно из ответов, этический критерий побудил студентов вовлечь в их размышления этические же понятия: для лжи — это пороки и слабости: «трусость», «глупость», «корысть», «бесстыдство», «обман», «меркантильность», «страх». В ответах ложь предстает как негативная сила, приносящая «разочарование», «вред». Ложь метафорически уподоблена убийце: «убивает»; она описывается через физиологическую метафору «боли», «слабости»; через метафору природного или химического вещества: ложь «создает осадок», ложь «разъедает личность».

Фантазия описывается как сила, оказывающая положительное воздействие на человека. В размышлениях студентов присутствуют этические понятия из области добродетелей и достоинств человека («искренность», «безобидность», «помогает понять», «лучше разобратся», «сделать жизнь интереснее», «надежда»). В ответы «падают» понятия из области искусства и вдохновения, осмысляемые также в этической категории добра («мечты», «выдумки»).

Прямые оценки в ответах студентов также этической природы.

«Говоря о лжи, мы подразумеваем отрицательное, даже если оправдываем ложь. Фантазия не нуждается в оправданиях. Ее иногда скрывают, потому что бывают глупые фантазии, грубые, в зависимости от того, о чем мечтает человек и какой это человек. Фантазия может иметь качество, но ложь всегда нечто отрицательное». «Фантазии — своего рода мечты, они могут быть даже нелепыми, но они всегда безобиднее, чем самая маленькая ложь». «В данном вопросе, думаю, решающую роль играет энергетика этих двух категорий: ложь, будь то ложь во благо или меркантильная, несет в себе негатив; фантазия, пусть она порой и выходит за пределы разумного, несет в себе позитив».

Этические оценки, вынесенные студентами, во многих ответах порождены соотношением понятий лжи и фантазии с таким этическим концептом, как истина/правда.

Основная мысль студентов состоит в том, что ложь не может быть истиной, а фантазия может ею стать, поэтому в такие размышления часто включались временные противопоставления: «настоящее — будущее», «прошлое — настоящее — будущее», а также оппозиция «новое — старое».

«Фантазия никогда не превратится в ложь, хотя и не является истиной».

«Мы фантазируем о будущем, — пишет студент, — а лжем о прошлом или настоящем». «Фантазия — это воплощение мечты, идеи — это стремление к будущему. Ложь — искажение прошлого или настоящего. И тем и другим, правда, человек отгораживается от реальности».

«Ложь противопоставлена истине, фантазия — нет. Ложь — преднамеренное искажение фактов, заведомо неверная информация, обман, введение в заблуждение; фантазия — мысли, воображение, мечты, потаенный мир каждого человека, размышления человека, заветное желание человека, внутреннее состояние его».

«Ложь хуже фантазии тем, что фантазия не требует правдивости, тогда как ложь стремится себя представить правдой».

«Когда мы лжем, мы отрекаемся от правды, чтобы достичь своих корыстных целей, потому что боимся правды, она нам мешает или угрожает. Фантазируя, мы не отрекаемся от истины, а предлагаем

свой ее новый вариант, может быть будущего, приукрашенного нашей мечтой. Так вот в чем разница: ложь истину убивает, а фантазия наполняет новым смыслом, новыми красками». «Фантазия приводит к истине, ложь — никогда. Просто истина — это то, к чему мы стремимся, а стремимся мы к прекрасному и часто нереальному... с добавлением того, чего тебе хочется очень сильно. Истина всегда в будущем».

В соотношении с понятием истины студенты видели и находили признаки, сближающие ложь и фантазию, так как само сходство между ложью и фантазией усматривалось в том, что в основе этих понятий лежит искажение фактов, неправда, отступление от истины.

«Ложь и фантазия имеют определенное сходство. Человек, который лжет/фантазирует — говорит неправду». «Оба эти понятия восходят к одному основанию — искажению истины. Фантазия — это особая разновидность лжи, главное, чтобы подобная ложь не вредила другим людям, а то она станет только ложью».

Объяснения этому нашлись в таких ответах: «В нашем грешном, сером, злом мире просто многим людям трудно жить; чтобы облегчить свое существование, люди и лгут и фантазируют». «Люди и лгут и фантазируют для того, чтобы выглядеть лучше, благодаря лжи и фантазии они избавляются от каких-то комплексов, жить им становится легче».

Правда осмысливается студентом как краеугольный камень в поиске сходства и различия между ложью и фантазией: «Трудно найти грань между ложью и правдой и между фантазией и правдой. Похоже, проблема в том, что такое не ложь или фантазия, а что такое правда».

Некоторые отмечали, что все дело в восприятии, что важно понимание самим человеком или его слушателем, что он делает — лжет или фантазирует, непонимание этого приводит к смешению лжи и фантазии. «Ложь и фантазия живут в каждом из нас. Только у кого-то они сплетаются в одно, а у другого могут переходить из одного в другое. Сложно на самом деле различить такому человеку, где заканчивается фантазия и начинается ложь».

Главным для их разделения остается все-таки этический критерий. «Ложь — это плохо. Она заводит в тупик, фантазия — не плохо, она делает жизнь человека интереснее, но и не хорошо, потому что можно переусердствовать, замечаться и перейти из фантазии в ложь».

Студентка пишет: «На самом деле иногда бывает сложно отличить простую детскую фантазию от лжи. С другой стороны, ложь и фантазия находятся на разных полюсах. Ложь — зло, фантазия — добро».

«И ложь, и фантазия — это обман, иллюзия. Но фантазия безобидна, а ложь имеет плохие последствия для людей, для самого лгущего, для мира в целом».

2. Эстетический критерий: ложь — безобразность, уродство, фантазия — красота.

Студенты уловили и описали эстетическое различие между ложью и фантазией: «Фантазия украшает реальность, а ложь ее коверкает. Красивая фантазия — да, так и должно быть, а вот красивая ложь — это ужасно». «Когда человек лжет, он коверкает действительность, а когда фантазирует — он ее украшает».

Эстетический критерий позволяет также увидеть сходство между ложью и фантазией: «Когда мы лжем или фантазируем, мы приукрашиваем события».

Эстетический критерий, в основном, служащий для разграничения лжи и фантазии, побудил студентов в их размышлениях обратиться к понятиям порядка и беспорядка, космоса и хаоса, созидания и разрушения. В этих ответах фантазия метафорически уподобляется творцу, создателю, а ложь — разрушительной силе.

«Ложь деструктивна, а фантазия созидательна. Ложь — это разрушение себя, а фантазия — способ самопознания». «Ложь — разрушение, искусственное искажение реальности, никогда не созидающее ничего, а всегда деструктивное». «Фантазия — когда человек что-то создает: свой мир, идеал, будущее». «Фантазия творит новый прекрасный мир, создает будущее». «Тот, кто придумал и создал этот мир, не лгал».

Эстетическое переосмысление лжи и фантазии постоянно соединяется в ответах студентов с основным критерием — этическим:

«Ложь разрушает существующий порядок, фантазия преобразует мир, создавая новый. Лжец, рисуя фальшивую картину мира, мыслит себя художником, но он никогда не станет им, потому что он не творец, не создатель, не герой». «Фантазия украшает жизнь во имя добра, это мечта, которая уносит человека в прекрасный мир».

Эстетический критерий для разграничения исследуемых основных понятий побуждает студентов обратиться к самому «устройству» лжи и фантазии, сравнить фантазию с художественным текстом, осознавая ее как вымысел.

«Ложь разрабатывается, она тяжеловесная, ее надо закончить, подать в оформлении, в упаковке, а фантазия только обрисовывает мечты, придуманный человеком мир. В оформленном виде фантазия — это уже художественный текст, но здесь нельзя говорить о лжи, так как любое художественное произведение — особая действительность, художественная реальность».

«Фантазия порождает вымысел, который лежит в основе любого творчества, она включает в себе созидающее начало. Это ложь в привычках, ложь-игра. В настоящую ложь надо заставить верить, ложь

трудно понять — фантазия есть ложь, в которую мы верим сразу, фантазия видна всегда».

К размышлениям «эстетического» характера вновь «подключается» этический критерий: «Ложь — это зло. Когда ты лжешь, человек, который слушает, не знает, что это неправда. А фантазия — сказка, которую приятно порой слушать, читать или смотреть. Всем известно, что это неправда». «Фантазия... Она волшебная, добрая и истинная. А ложь — это что-то грубое и нехорошее».

3. Круг смежных понятий, иногда взятых в оппозиции, с которыми ложь и фантазия в процессе их осмысления были соединены, это: «свобода — несвобода», «детство — старость». «Вплетенными» в такие ответы оказались **4. ассоциации**, восходящие к древнейшим архетипическим оппозициям: «высокое — низкое», «чистое — грязное», «открытое — закрытое», «полное — пустое», переосмысленным в этических категориях.

«Фантазия — это свобода. Она освобождает человека, выносит его за грани обыденности. Ложь держит человека и опускает его к самому низу, к подлости. А фантазия возвышает человека». «Ложь — это вязкая грязь. Фантазия — полет мысли в неизведанное. Фантазия отличается от лжи высотой».

«Дети часто фантазируют, но это не значит, что они лживы. Дети живут в своих фантазиях, а взрослые во лжи. Каждый человек проходит этот путь, и лишь немногие могут сохранить в себе способность фантазировать, выдумывать, мечтать во взрослом возрасте. Люди начинают привирать, желая выглядеть лучше. Но это уже не интересно. И это ложь». «Лгут все, но фантазия может принадлежать только детям (ну или взрослым детям). Старики редко фантазируют, потому что это как-то связано с будущим. Зато они выдумывают о прошлом, сочиняют свои мифы. Здесь больше похоже на ложь».

«Фантазия — это нежный поток приятных (если ты не злой человек и не монстр) мыслей, образов, в которых ты витаешь, когда нет других важных занятий. Она позволяет нам постичь себя и свои желания. Приносит пользу, если мысли, на тему которых ты фантазируешь, положительные».

«Ложь темная, черная, фантазия — светлая. Черные фантазии, черные мечты — это несовместимо. Хотя могут быть черные мысли, злой умысел, он-то и нуждается во лжи».

Вернемся к афористичности как к главной черте высказываний студентов.

В ответах на заданную тему, которая не только осознавалась, но и переживалась молодыми людьми, за вынужденно краткий период времени студенты создали обобщающие высказывания.

Как обобщающим, или генеритивным, или универсальным, высказываниям им свойственно:

использование абстрактной лексики («ложь», «фантазия», «мечта», «мысль», «умысел», «будущее», «польза», «зло», «добро», «желание», «боль», «разочарование» и др.);

наличие противоположных или контрастных по значению слов, создающее антитезу («Ложь деструктивна, а фантазия созидательна», «Мы фантазируем для себя, а лжем для других»);

наличие местоимений обобщающего и противопоставляющего характера: «мы», «ты», «все», «себя», «тот», «кто» и др. («Лгут все, но фантазия может принадлежать только детям...», «Когда ты лжешь, человек, который слушает, не знает, что это неправда»);

наличие глаголов в форме 2 лица ед.ч., 3 лица мн.ч. несов.в., обозначающих обобщенно-фактическое действие; глаголов со значением вневременного действия, напр. настоящего исторического и др. («Фантазия не нуждается в оправданиях», «Ложь убивает тебя, разъедает в тебе личность, а фантазия наоборот — помогает лучше понять, какой ты на самом деле», «Люди и лгут и фантазируют для того, чтобы выглядеть лучше, благодаря лжи и фантазии они избавляются от каких-то комплексов, жить им становится легче»);

метафоричность («ложь темная», «нежный поток приятных мыслей», «ложь убивает»);

прямая оценка в высказывании («Ложь — это плохо»);

лаконичность фраз («Ложь бесстыдна, а фантазия сокровенна»);

построение предложений-дефиниций («Ложь — это зло», «Фантазия — это особая разновидность лжи ...»);

использование противительной связи эксплицитного («Ложь контролируется, а фантазия нет», «Мы фантазируем для себя, а лжем для других») и имплицитного характера («Ложь темная, фантазия — светлая»);

и др.

Но главная черта афористичности — не в богатстве реализаций ее структурно-семантических и стилистических признаков. Высказывания студентов можно назвать афористическими потому, что мысль, выраженная в них кратко и ярко, соотнесена как с собственным жизненным опытом, так и с универсальным знанием, представлена как общее суждение, закон, истина, которая общепризнанна и является частью духовного опыта человечества.

Приведем для сравнения авторские афоризмы и афористические высказывания на тему лжи и фантазии, принадлежащие мудрецам

разных эпох и континентов — великим философам, гениальным художникам, музыкантам и писателям, монархам, полководцам, политическим деятелям — тем, кто сумел, по выражению Уильяма Олджера, создать «мудрость в портативной форме» [Давтян 2005: 5].

«Освобождение от лжи есть проповедование истины. Заблуждение всегда вредит. Рано или поздно оно сделает вред тому, кто признает его за истину» (Фома Кемпийский).

«Лгать подло, благородство — в правде» (Аполлоний Тианский).

«Лжец лжет и тогда, когда не имеет для этого повода, в силу одной лишь привычки» (Сенека Младший).

«Ненавижу ложь и гнушаюсь ею» (Библия, Пс. 118: 163).

«Ложь — это тяжкий грех перед Господом. И очень действенная помощь в беде» (А. Стивенсон).

«Унижает человека именно ложь» (О. де Бальзак).

«Ложь — удел рабов, свободные люди должны говорить правду» (М. де Монтень).

«Ложь — это воплощение зла» (В. Гюго).

«Ложь из всех вреднейший есть порок» (Екатерина II).

«Всякая ложь стремится подражать правде» (Н. Фюстель де Куланж).

«Больше всего я стыжусь лжи, всегда идущей от трусости и слабости» (А. И. Куприн).

«Ложь перед самим собою — это наиболее распространенная и самая низкая форма порабощения человека жизнью» (Л. Н. Андреев).

«Фантазия, как и воображение, необходима художнику» (К. С. Станиславский).

«Без фантазии нет искусства, как нет и науки» (Ф. Лист).

«Любям нужна фантазия. Люди без фантазии никогда ничего не создадут большого и ценного, нового. Люди без фантазии сухи и скучны, они только наполовину живут. Человек с фантазией живет сто жизней сразу. Он умеет жить за себя и за других, в прошлом и будущем» (А. М. Коллонтай).

«Фантазия, лишённая разума, порождает чудовище; соединённая с ним, она — мать искусства и источник его чудес» (Ф. Гойя).

«Возьмешься иногда за перо, напишешь вроде того, что «Рано утром Иван Никитич встал с постели и позвал себе сына...», и вдруг совестно делается и бросишь перо. Зачем врать, старик? Ведь этого не было и никакого Ивана Никитича ты не знаешь» (Л. Н. Толстой).

«Все хорошие книги похожи друг на друга: они правдивее жизни» (Э. Хемингуэй).

«Будь правдивым! Искусство начинается лишь там, где есть внутренняя правда... Задача художника — отделить правду от притворства» (О. Роден).

Все рассмотренное выше: 1. этический критерий, прямая оценка, 2. эстетический критерий для разграничения лжи и фантазии, 3. круг смежных понятий и 4. ассоциации, — «уместилось» в талантливом афористическом высказывании юного студента: «Ложь — это то, что несет с собой несчастье, пустоту, глупость, страх. Ложь вносит что-то отрицательное. Делает жизнь хуже. Грязнее. Фантазия же обдает каким-то розовым цветом. Она легкая и чистая. Я бы представил ее в виде воздушного замка, над которым непременно должна быть радуга» (Даниил Шпицин, 19 лет).

ЛИТЕРАТУРА

- Давтян 1999 — Давтян А. О. (авт.-сост.) В мире мудрых мыслей. СПб., 2005.
- Донгак 2005 — Донгак С. Б. Афоризм // Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты. Энциклопедический словарь-справочник / Под ред. А. П. Сковородникова. М., 2005.
- Завьялова 2002 — Завьялова О. С. Функции генеритивного высказывания в структуре текста. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2002.
- Радзиевская 1988 — Радзиевская Т. В. Прагматический аспект афористических текстов // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1988. Т. 47. № 1.
- Федоренко, Сокольская 1990 — Федоренко Н. Т., Сокольская Л. И. Афористика. М., 1990.
- Харченко 1988 — Харченко В. К. Метафора в афоризме // Исследования по семантике. Семантика языковых единиц разных уровней. Уфа, 1988.

Т. Б. РАДБИЛЬ

ЯЗЫК КАК СРЕДА ПОРОЖДЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ «ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ»

Одна из значимых позиций в современной философии языка связана с тем, что классический тезис «язык отображает мир» нуждается в определенной корректировке. Представление о языке как о «третьей реальности», обладающей имманентными конститутивными свойствами, заставляет нас предположить, что, как минимум, равновероятны два вектора языковой концептуализации мира: язык или отображает мир как он есть, или предлагает некую его функциональную модель в акте его творческой интерпретации.

Логическая возможность последнего связана с тем, что языковая концептуализация мира имеет дело не с миром *ad hoc*, в его онтологии, а с так называемым «прототипическим миром». В когнитивной лингвистике «прототипический мир» задается следующим образом: «...например, такие понятия, как „холостяк“, „вдова“, „диалект“ должны определяться относительно некоторого „простого мира“, в котором люди обычно женятся или выходят замуж, достигнув определенного возраста, причем либо никогда вторично не женятся и не выходят замуж, либо только овдовев. Этот „прототипический мир“ значительно проще того, в котором мы живем, но помогает определить все усложнения постепенно, в результате процедуры уточнения, или аппроксимации» [Демьянков 1996: 143].

Этот «прототипический мир» не существует в реальном мире. «Прототипический мир» задан как коррелят реального мира в концептуальном пространстве. Он представляет собой некую совокупность коллективного опыта, определенных представлений о том, как бывает или могло бы быть [Вежицкая 1997] при отсутствии нарушений рационально верифицируемых связей и отношений между элементами в заданных (культурной средой или интенциональными установками) условиях существования.

«Прототипический мир» (а не мир «реальный») и есть денотативная сфера языка. Именно он, в отличие от реального мира, обладает этно- и культуроспецифичностью. Именно он (а не мир «реальный») обладает и той зависимостью от языка, которая постулируется знаменитой гипотезой «лингвистической относительности» Э.Сепира — Б.Уорфа.

Понятие «прототипический мир», в свою очередь, коррелирует с понятием «возможного мира» в духе положений Я.Хинтика [Хин-

Все рассмотренное выше: 1. этический критерий, прямая оценка, 2. эстетический критерий для разграничения лжи и фантазии, 3. круг смежных понятий и 4. ассоциации, — «уместилось» в талантливом афористическом высказывании юного студента: «Ложь — это то, что несет с собой несчастье, пустоту, глупость, страх. Ложь вносит что-то отрицательное. Делает жизнь хуже. Грязнее. Фантазия же обдает каким-то розовым цветом. Она легкая и чистая. Я бы представил ее в виде воздушного замка, над которым непременно должна быть радуга» (Даниил Шпицин, 19 лет).

ЛИТЕРАТУРА

- Давтян 1999 — Давтян А. О. (авт.-сост.) В мире мудрых мыслей. СПб., 2005.
- Донгак 2005 — Донгак С. Б. Афоризм // Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты. Энциклопедический словарь-справочник / Под ред. А. П. Сковородникова. М., 2005.
- Завьялова 2002 — Завьялова О. С. Функции генеритивного высказывания в структуре текста. Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 2002.
- Радзиевская 1988 — Радзиевская Т. В. Прагматический аспект афористических текстов // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1988. Т. 47. № 1.
- Федоренко, Сокольская 1990 — Федоренко Н. Т., Сокольская Л. И. Афористика. М., 1990.
- Харченко 1988 — Харченко В. К. Метафора в афоризме // Исследования по семантике. Семантика языковых единиц разных уровней. Уфа, 1988.

Т. Б. РАДБИЛЬ

ЯЗЫК КАК СРЕДА ПОРОЖДЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ «ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ»

Одна из значимых позиций в современной философии языка связана с тем, что классический тезис «язык отображает мир» нуждается в определенной корректировке. Представление о языке как о «третьей реальности», обладающей имманентными конститутивными свойствами, заставляет нас предположить, что, как минимум, равновероятны два вектора языковой концептуализации мира: язык или отображает мир как он есть, или предлагает некую его функциональную модель в акте его творческой интерпретации.

Логическая возможность последнего связана с тем, что языковая концептуализация мира имеет дело не с миром *ad hoc*, в его онтологии, а с так называемым «прототипическим миром». В когнитивной лингвистике «прототипический мир» задается следующим образом: «...например, такие понятия, как „холостяк“, „вдова“, „диалект“ должны определяться относительно некоторого „простого мира“, в котором люди обычно женятся или выходят замуж, достигнув определенного возраста, причем либо никогда вторично не женятся и не выходят замуж, либо только овдовев. Этот „прототипический мир“ значительно проще того, в котором мы живем, но помогает определить все усложнения постепенно, в результате процедуры уточнения, или аппроксимации» [Демьянков 1996: 143].

Этот «прототипический мир» не существует в реальном мире. «Прототипический мир» задан как коррелят реального мира в концептуальном пространстве. Он представляет собой некую совокупность коллективного опыта, определенных представлений о том, как бывает или могло бы быть [Вежбицкая 1997] при отсутствии нарушений рационально верифицируемых связей и отношений между элементами в заданных (культурной средой или интенциональными установками) условиях существования.

«Прототипический мир» (а не мир «реальный») и есть денотативная сфера языка. Именно он, в отличие от реального мира, обладает этно- и культуроспецифичностью. Именно он (а не мир «реальный») обладает и той зависимостью от языка, которая постулируется знаменитой гипотезой «лингвистической относительности» Э.Сепира — Б.Уорфа.

Понятие «прототипический мир», в свою очередь, коррелирует с понятием «возможного мира» в духе положений Я.Хинтика [Хин-

тика 1980] и С. Крикке [Крикке 1986]. Причем возможные миры, как утверждает С. Крикке, «задаются, а не открываются с помощью мощных телескопов» [цит. по: Руденко 1992: 24]. И задаются они на концептуальном уровне, а именно, по мнению Я. Хинтика, семантикой языка — число и характер этих миров резко ограничены и определены возможностями нашего языка: «Сами возможности мира являются возможностями языковыми» [цит. по: Иванов 1982: 5–6].

Поскольку «прототипический мир» — это, пусть и максимально релевантный, но все же «возможный мир», уже на этом уровне в языке предусмотрены возможности разных операций с «прототипическим миром» — т. е. разных отклонений от него.

Это в немалой степени связано и с интенциями говорящего: так, далеко не всегда говорящему нужно отобразить реальный мир, часто он заинтересован совсем в ином — либо в сокрытии истины, либо в создании (с какими-либо целями) альтернативного «портрета» универсума. Кроме того, говорящий просто может не обладать достаточными знаниями или опытом для «правильного» отображения (пребывать, так сказать, в состоянии «эпистемологического неведения»). Возможности отклонений при языковой концептуализации мира, используясь в познавательных, сакральных или манипулятивных целях, дают нам миф, а используясь в целях эстетических — художественный текст.

Рассматривая большинство высказываний естественного языка, по тем или иным причинам представляющихся нам аномальными, можно утверждать, что многие из них на самом деле есть, условно говоря, не «аномалии языка», но «аномалии мира»: ведь именно отклонения от актуального на данный момент для носителей языка «прототипического мира» и создают впечатление «аномальности». В этом смысле язык представляет собой естественную среду для порождения разного рода аномальных «возможных миров».

Условно говоря, языком может быть задан «правильный» и «неправильный» возможный мир (а возможны еще и разные степени и виды «неправильностей»). Причем «неправильность» надо отличать от «фантастичности»: так, не является отражением «неправильного мира», например, такое высказывание, как *Наш звездолет взял курс на созвездие Кассиопеи*, которое, строго говоря, ничуть не более «неправильно», чем *Все смешалось в доме Облонских*. Ведь «возможный мир», актуализованный обоими этими высказываниями, может быть осмыслен как нормальный, мотивированный, с отсутствием нарушений в сфере причинно-следственного детерминизма.

Поэтому «неправильным миром» будет лишь такой «возможный мир», который не соответствует в сознании адресата некоему эталонному «прототипическому миру», существенному для культурно-

го самосознания данного этноса или социума на данный период исторического времени, — проще говоря, не вписывается в «логику вещей».

В нашей монографии [Радбиль 1996] мы постулируем 4 уровня возможного «прототипического мира» (и, соответственно, порождения аномальных возможных миров). Это уровень «онтологии» (пространство и время, детерминизм, вещи и артефакты как зона референции языка), уровень логики (сами правила мыслительных операций при концептуализации), уровень аксиологии («прототипический мир» ценностей) и уровень прагматики (правила речевого и неречевого поведения, сфера мотивации, интенции, коммуникативные постулаты).

В настоящей работе мы подробнее остановимся на первом типе аномальной языковой концептуализации «прототипического мира» — условно говоря, это аномальная концептуализация в языке самой структуры мироздания, т. е. «аномальная онтология».

Еще раз подчеркнем, что мы не считаем аномалией «содержательные аномалии», которые лежат в основе практически любого текста, например, аномально сильных героев эпоса или аномально умных героев детектива, аномально невероятных событий в научной фантастике и пр., поскольку данная аномальность есть норма мироустройства «прототипического мира» этих текстов. Речь идет о воссоздании в тексте некой аномальной конструкции самого мироздания или каких-либо его сторон (это, например, мир абсурда или гротеска и т. п.). Если «правильному» возможному миру может быть приписана модальная рамка: *‘Я считаю, что такое могло бы быть при наличии определенных, рационально осмысляемых допущений’*, то модальная рамка «неправильного» мира формулируется как: *‘Я считаю, что такое не могло бы быть при наличии определенных, рационально осмысляемых допущений’*.

Наиболее релевантной сферой языка, ответственной за аномальную концептуализацию самой структуры мира (пространства и времени, субъектно-объектных отношений, детерминизма и пр.), на наш взгляд, выступает грамматика.

Так, например, синтаксис, благодаря разного рода операциям с языковой модальностью, имеет вполне легитимную возможность представлять нам несуществующее событие как существующее, а гипотетически вероятное как реально наличествующее. На этом фундаментальном свойстве, по большому счету, основана сама возможность художественной наррации и вообще — любой фантазии или лжи.

В целом мы выделяем следующие аспекты аномальной концептуализации структуры мироздания в языке.

I. Аномалии субъектно-предикатной структуры. Это могут быть случаи, когда рационально осмысляемым субъектам приписаны заведомо неадекватные предикаты: *а в стакане слово племя / играет с барыней в ведро* (А. Введенский).

Возможно и обратное — невероятным субъектам приписаны реальные предикаты. Так, например, в рассказе Д. Хармса «Приключение Катерпиллера» остается намеренно неясной субъектная референция имени *Катерпиллер*: *Мишури́н был катерпиллером. Поэтому, а может быть и не поэтому он любил лежать под диваном или за шкапом и сосать пыль. Так как он был человек не особенно аккуратный, то иногда целый день его рожка была в пыли, как в пуху. / Однажды его пригласили в гости, и Мишури́н решил слегка пополоскать свою физиономию. Он налил в таз теплой воды, пустил туда немного уксусу и погрузил в эту воду свое лицо. Как видно, уксусу в воде было слишком много, и потому Мишури́н ослеп. До глубокой старости он ходил ощупью и поэтому, а может быть и не поэтому стал еще больше походить на катерпиллера.*

Случаи, когда и субъект, и предикат не подлежат рациональному осмыслению, крайне редки, поскольку такой мир вообще «неудобоварим» для читательского сознания. Это, например, «нескладухи» Л. Кэрролла в классическом переводе Демуровой: *Воркалось. Хлипкие шорки / пырялись по нове, / и хрюкатали зелюки, / как мумзики в маве*, — или поэтическая «заумь» В. Хлебникова.

К часто встречающимся аномалиям в сфере субъектно-предикатной структуры мы относим также мифологизованную по своей сути модель аномального одушевления неодушевленных субстанций и акциденций. Отметим, что аномальным не считается одушевление в сказках или легендах, так как это — норма для «прототипического мира» сказок. Речь идет лишь о рационально не интерпретируемых случаях, помещенных в контекст «реального» мира, как, например, в высказывании из А. Платонова: *Замертво лежал песок*, — где такому естественному, природному веществу, как *песок*, может быть немотивированно приписан предикат, в норме относящийся к живому существу. Ср. еще: *Казалось ему, наслаждение / сидит на усов волосах; вред вокруг меня порхал* (А. Введенский).

Значительным потенциалом в актуализации аномального «возможного мира» по модели мифологизации обладают, например, и так называемые «скрытые категории» — специфичные способы неморфологического выражения грамматических значений, которые представляют собой особый тип грамматических значений, не имеющих формально выделяемых, морфологических средств выражения в языке, но, тем не менее, включенных в грамматическую систему языка на

основании «косвенных» (например, синтаксических) признаков, позволяющих говорить об их присутствии [Булыгина, Шмелев 1997].

Одним из типов мифологизованного отображения мира в языке является одушевленное представление неодушевленных субстанций и акциденций. Известно, что для «скрытой категории» личных и неличных существительных в русском языке характерно, что неличные существительные, в отличие от личных, не употребляются в дательном падеже со значением предназначенности (нельзя сказать **купил линолеум кухне*, только — *для кухни*) [Булыгина, Шмелев 1997].

Однако у А. Платонова встречаем: — *Так, — сказал тот и, завязав мешку горло [вместо завязав горло у мешка] положил себе на спину этот груз.* — Таким образом, задается аномальный возможный мир, в котором мешок выступает в качестве одушевленной субстанции (имя мешок аномально относится к классу личных существительных). Аналогичным образом в текстах А. Платонова, например, в позиции объектного детерминанта со значением назначения (*нужен для чего-л.*) часто выступает субъектный детерминант (*нужен кому-л.*): ...*словно коммунизму* [вместо для коммунизма] и луна была *необходима...*; ...*у нас нет воды, ее не хватит социализму* [вместо для социализма].

Аномальное одушевление есть частный случай мифологизованного, по своей сути, явления овеществления абстракции. Это в общем распространенные модели метафоризации и метонимизации абстрактной лексики типа *любовь зла, совесть гложет* и пр. В нашей классификации — это случаи, когда рационально осмысляемым субъектам приписаны заведомо неадекватные предикаты. Они также не обязательно задают аномальный возможный мир — речь идет лишь о таком, рационально не интерпретируемом овеществлении, которое не имеет опоры в лексической и грамматической семантике сочетающихся субъектов и предикатов (отсутствует «семантическое согласование» в смысле [Апресян 1995].)

Овеществлению подвергаются, к примеру, абстрактные концепты с семантикой мысли, речи, чувства, состояния, нравственной или эстетической категории и пр. — см., например, следующие высказывания из А. Введенского: *Достоинство спряталось за последние тучи; ..Я мысли свои разглядывал. / Я видел у них иные начертания; Вон по краям дороги валяются ваши разговоры; ...беда, беда, сказала Лена, / глядит на нас из-под колена.*

II. Аномалии событийной структуры. Это может быть аномалия внутри «нормально» устроенного мира, при наличии в общем рационально осмысляемых субъектов и предикатов, которые помещены в неадекватный событийный контекст — в аномальные обстоятельства. Например, это связано с подачей невероятных событий как обычных,

само собой разумеющихся, что характерно, например, для текстов «Случаев» Д. Хармса («Вываливающиеся старухи» и т. п.).

Так, начало текста Д. Хармса «Когда жена уезжает куда-нибудь одна...» погружает адресата в контекст обычного, повторяющегося действия: *Когда жена уезжает куда-нибудь она, муж бежит по комнате и не находит себе места. / Ногти у мужа страшно отрастают, голова трясется, а лицо покрывается мелкими черными точками.*

Однако содержание дальнейшего текста противоречит началу — эксклюзивные, даже экзотические события (для описания которых естественен репродуктивный регистр — модальная рамка 'Я вдруг вижу, что...') подаются как повторяющиеся, обычные, присущие данной ситуации: *В это время его жена купается в озере и случайно задевает ногой подводную корягу. Из-под коряги выплывает щука и кусает жену за пятку. Жена с криком выскакивает из воды и бежит к дому. Навстречу жене бежит хозяйская дочка. Жена показывает хозяйской дочке пораненную ногу и просит ее забинтовать. / Вечером жена пишет мужу письмо и подробно описывает свое злоключение. / Муж читает письмо и волнуется до такой степени, что роняет из рук стакан с водой, который падает на пол и разбивается. Муж собирает осколки стакана и ранит ими себе руку. / Забинтовав пораненный палец, муж садится и пишет жене письмо. Потом выходит на улицу, чтобы бросить письмо в почтовую кружку. / Но на улице муж находит папиросную коробку, а в коробке 30 000 рублей. / Муж экстренно выписывает жену обратно, и они начинают счастливую жизнь.*

В свете инициального предложения все дальнейшие высказывания прочитываются в рамках узуального (неактуального) действия, тогда как их реальный смысл — воспроизведение актуального происшествия в режиме «реального времени» говорящего.

Частным случаем аномалии событийной структуры является инвертирование элементов структуры события: *У Саши будут ребятами от Сони* (А. Платонов) — вместо ожидаемого: *У Сони будут ребятами от Саши*. Ср. еще: *...он успокаивал себя ветром* [вместо ветер успокаивал его], *который дул день и ночь* (А. Платонов).

Подобная аномалия выступает как проявление более общей тенденции к аномальной дистрибуции (распределения) элементов в структуре события: *...будущий человек найдет себе покой в этом прочном доме, чтобы глядеть из высоких окон в протертый, ждущий его мир* (А. Платонов). — Признак *протертый*, в норме приписываемый окну, при данной категоризации аномально приписывается миру. Тем самым субстанции мир и окно объединяются в данном аномальном возможном мире в некую нерасторжимую целостность. В при-

мере: *Мухи... сыто летали среди снега...* (А.Платонов), — признак предмета *мухи* (*сытые мухи) аномально трансформируется в признак действия *летали*. Ср. также: *женщина в сытой шубке* [вместо *сытая женщина в шубке*] (А.Платонов). — Подобные аномалии размывают границы между предметами в структуре события.

III. Аномалии в сфере модальностей. К этой разновидности относятся разного рода операции с реальной и нереальной модальностью, в результате которых могут аномально смешиваться разные возможные миры. Так, в примере из А.Платонова: *На краю города открывалась мощная глубокая степь...* — глагол *открывалась*, употребленный без вставки конкретизирующего субъекта восприятия (вместо нормального — *взгляду открывалась степь / перед ними открывалась степь*) переводит план восприятия в план буквального, реального действия. Ср. еще: *По аллее они проехали версты полторы. Потом открылась на высоком месте торжественная белая усадьба, обезлюдевшая до бесприютного вида* (А.Платонов), — где аномально элиминировано — [*перед ними*] *открылась*.

Своеобразное переключение «регистра модальности» с гипотетической на реальную обусловило возможность представлять объективные явления как бы возникающими по воле субъекта, как только они попадают в сферу восприятия, и «исчезающими», как только они выходят за ее пределы: *Люди лежали навзничь, и сверху над ними медленно открывалась трудная, смутная ночь* [вместо *их взгляду/перед их глазами открывалась*] (А.Платонов).

Ярким проявлением подобной аномальной актуализации «прототипического мира» выступает так называемая «онтологизация кажимости» [Радбиль 2006: 251] — аномальная субституция (подмена) одного возможного мира субъективного восприятия другим возможным миром объективного бытия субстанций и акциденций: *Через десять минут последняя видимость берега растаяла* (А.Платонов). — Из сферы наблюдателя исчезает не субстанциональный объект *берег*, но ментальная проекция его свойства 'быть видимым', представленная в виде субстанционального объекта того же мира, что и *берег*. Ср. аналогично — у А.Введенского: *Полет орла струился над рекой*. — Здесь *струится* («нормальная» метафора полета), т.е. летит не орел, а его полет.

Аналогично — в примере из А.Платонова: *Город опускался за Двановым из его оглядывающихся глаз в свою долину...* — Здесь город одновременно присутствует в двух возможных мирах — в реальном пространстве и в пространстве ментального восприятия (что само по себе в принципе нормально), но при этом может каким-то образом

«перетекать» из одного в другой. Стирается условная граница, дистанция между планом субстанции и планом ее восприятия: два этих возможных мира помещаются в одну плоскость взаимодействия. Так же два мира в одном задано в примерах: *Сейчас женщины сидели против взгляда чевенгурцев* (вместо *сидели против чевенгурцев* или *сидели против [смотревших на них] чевенгурцев*); *Из-за перелома степи, на урезе неба и земли, показались телеги и поехали поперек взора Копенкина*.

Это явление всегда связано с мифологизованным отображением в языке «прототипического мира»: *После похорон в стороне от колхоза взошло солнце, и сразу стало пустынно и чуждо на свете; из-за утреннего края района выходила густая подземная туча* (А. Платонов). — Обратим внимание, что здесь устранен модус сравнения: [как бы] *подземной*, [словно] *из-под земли*, — и мир ментальный, мир метафоризации, становится субстанциональным. Ср. по этому поводу мысль А. Ф. Лосева: «Миф отличается от метафоры и символа тем, что все те образы, которыми пользуются метафора и символ, понимаются здесь совершенно буквально, то есть совершенно реально, совершенно субстанционально» [Лосев 1982: 144]. Грамматически это возможно из-за элиминации показателей субъективной модальности — типа *казаться*: *Вскоре показалось расположение «Родительских двориков», беспомощное издали...* (А. Платонов), — вместо *казалось беспомощным*.

IV. Аномалии пространственной и временной структуры. Аномальная концептуализация пространственных категорий «прототипического мира» связана, например, с аномальным существованием предмета или лица одномоментно в разных пространственных координатах. В романе «Счастливая Москва» А. Платонова читаем: *Среди голода и сна, в момент любви или какой-нибудь другой молодой радости — вдруг вдалеке, в глубине тела опять раздавался грустный крик мертвого...* — Крик раздавался одновременно и вдалеке, т. е. в мире, внешнем по отношению к героине, и в мире внутри героини.

Другой тип аномальной концептуализации пространства связан с приобретением некоторыми состояниями или действиями избыточной пространственной координаты: *Папа, меня прогнали побираться, я теперь скоро умру к тебе* (А. Платонов). — В таком аномальном возможном мире действие умирания приобретает направленность.

Также возможно аномальное пространственное структурирование возможного мира при аномальной его концептуализации. В примере: *Церковь стояла на краю деревни, и за ней уж начиналась пустыннось осени* (А. Платонов), — актуализуется аномальный возможный мир: 'Осень начиналась только за деревней, в деревне ее

не было' Ср. аналогичное: *Под вечер Копенкин достиг длинного села под названием Малое... На конце села наступила ночь...* (А.Платонов), — где становится возможной такая аномальная пространственная структура мира, при которой в остальных частях села ночь не наступила.

Аномальная концептуализация временных категорий «прототипического мира» связана с аномальным совмещением в одном контексте разных временных пластов. Так, например, для русского языка в норме в одном предложении не могут немотивированно совмещаться общий временной план (с категориальной семантикой 'это было, произошло, случилось тогда-то...' — функция аористива) и временной план конкретного наблюдаемого действия, состояния, события (с категориальной семантикой '(субъект) совершил, подумал, почувствовал, сказал что-то...' — функция перфектива).

Однако в «Чевенгуре» А.Платонова два этих разных временных возможных мира помещены в сочинительный глагольный ряд: *Появился Захар Павлович на опушке города, снял себе чулан у многодетного вдовца-столяра [общий план повествования], вышел наружу и задумался [описание конкретных действий]: чем бы ему заняться?* [вместо: *Появился Захар Павлович в городе, снял чулан... Однажды он вышел и задумался...*] — Первые два глагола задают общий план повествования, предполагая развернутую в «большое время» структуру события, а вторые два глагола «без перехода» помещают нас в мир конкретного, результативного действия.

Для аномальной концептуализации времени вообще характерно аномальное сосуществование «нестыкуемых» возможных миров времени: *В одно истекшее летнее утро повозка Надежды Михайловны Босталовой... остановилась в селе у районного комитета партии* (А.Платонов). — Здесь актуализованы два взаимоисключающих возможных мира времени: в мире уже свершившегося (*истекшее утро*) непостижимым образом присутствует мир совершающегося (*повозка остановилась*). Аномальный таксис превращает повозку в «машину времени». При нормальной вербализации эти два возможных мира могут задаваться: либо *повозка остановилась в одно утро* только *истекающее*, но не **истекшее*, либо — *повозка остановилась...* [после того, как] *истекло одно летнее утро*.

Аналогично в примере: *...не имел аппетита к питанию и потому худел в каждое истекшее утро* (А.Платонов), — где имперфектив худел задает режим настоящего узувального, а причастие *истекшее* — перфектное значение результата. На поверхностном синтаксическом уровне здесь можно говорить о нарушении таксиса — согласования глагольных форм, выражающих относительное время.

Один контекст может стягивать в единый континуум действие, происходящее в мире абсолютного прошлого (ось синхронии, горизонталь) по отношению к говорящему, с миром временной перспективы говорящего (ось диахронии, вертикаль) — в «Счастливой Москве» А.Платонова: *Человеческое тело летало* [Мир 1 — прошлое] *в каких-то погибших тысячелетиях назад* [Мир 2 — по отношению к точке отсчета говорящего], — *подумал Самбикин*. — Сочетание *летало* (несов. вид с семантикой продолженного действия в прошлом) *в тысячелетиях* задает мир вне сферы говорящего; *в тысячелетиях назад* — мир по отношению к времени говорящего, включен в его временную перспективу с заданной им точкой отсчета.

Возможный мир объективного времени может как бы «присваиваться» возможным миром времени субъективного. Субъект, например, получает возможность контролировать течение времени: *Все смолкли, в терпении продолжая ночь...*» (А.Платонов). — Слово *ночь* попадает в позицию объекта при переходном глаголе, который предполагает наличие активного субъекта, исполняющего действие над ним. В пресуппозиции — ‘субъект действия контролирует фазы действия над объектом *ночь* по собственной воле’

Состояние внутреннего мира субъекта вмешивается в закон всеобщей объективной детерминированности явлений, меняя местами, например, на шкале временной последовательности сферу следствия и сферу причины: *Маевский застрелился в поезде, и отчаяние его было так велико, что он умер* [Мир 2 — следствие] *раньше своего выстрела* [Мир 1 — причина] (А.Платонов).

Аномальный возможный мир в сфере концептуализации пространственных категорий может быть задан и с помощью аномального пространственного или временного дейксиса.

В сфере пространственного дейксиса чаще всего это происходит, когда дейктический показатель аномально замещает в повествовании первоначально не определенную область референции, которая очерчена в предыдущем фрагменте: — *Ты видел где-нибудь других людей? Отчего они там живут?* (А.Платонов). Ср. еще: *Сказав эти слова, Воцев отошел от дома надзирателя на версту и там сел на край канавы*. — Аномалия дейксиса здесь, видимо, связана с тем, что в предыдущем фрагменте повествования обозначено только расстояние, но не место назначения: получается, что *там* — это любая точка на условной окружности с центром *дом надзирателя*.

Аномальный временной дейксис может приводить к противоречивой актуализации временных параметров события/действия в задаваемом высказыванием возможном мире: *Бобыль же всю жизнь ничего не делал — теперь тем более* (А.Платонов), — когда употребление

временного дейктического показателя *теперь* в контексте противопоставления с недейктическим временным показателем *всю жизнь* приводит к аномалии, так как в норме *теперь* означает 'после момента времени, очерченного в предыдущем фрагменте' (т.е. 'после жизни'), когда по определению делать ничего не возможно.

Многие из аномалий в области пространственно-временной структуры связаны с мифологизованным типом языковой концептуализации. В частности, это относится к такому явлению, как неразграничение времени и пространства.

Это прежде всего связано с тем, что сам концепт *время* (когда его семантика по тем или иным причинам подвергается в художественной речи экспликации, дефиниции или метафоризации/сравнению) и слова, организующие это концептуальное поле, осмысляются в рамках пространственных координат: *Время кругом него стояло, как светопредставление, где шевелилась людская живность и грузно ползли объемистые виды природы. А надо всем лежал чад смутного отчаяния и терпеливой грусти; ...точно все живущее находилось где-то посредине времени...; ...говорил Вермо среди летнего утра...* (А. Платонов).

V. Аномалии в сфере детерминизма. М. Ю. Михеев, на примере текстов А. Платонова, обстоятельно проанализировал всевозможные девиации, связанные с аномальной концептуализацией причинно-следственных, условно-следственных и целевых отношений, объединяемые нами в общее понятие *детерминизм*. Автор выделяет такие аномалии, как «перескок и смещение в причинной цепи событий», «избыточность мотивировки, гипертрофия причинности», «подводимость всего под некий „общий закон“, «отношение сопутствования вместо причинности», «метонимическое замещение причины и следствия, «пропуск иллокутивно-модальных составляющих в причинной цепи» и пр. [Михеев 2003: 207–236]. Мы включаем сюда также установление ложной причины или ложного следствия, меню благоприятной и неблагоприятной причины и пр.

Так, возможна аномальная концептуализация возможного мира, в котором явления происходят «без причины», сами собой: *...может быть, и социализм уже где-нибудь нечаянно получился; — ...Я боюсь, товарищ Дванов, что там коммунизм скорее очутится [в губернии. — Т. Р.]...; — Когда пролетариат живет себе один, то коммунизм у него сам выходит* (А. Платонов).

Также могут смешиваться *причинные* отношения и отношения *долженствования* ('нечто произойдет потому, что должно произойти'): *Коммунизм же произойдет сам, если в Чевенгуре нет никого,*

кроме пролетариев, — *больше нечему быть*; ...а в Чевенгуре *наступит коммунизм, потому что больше нечему быть* (А.Платонов).

Возможна «метонимическая» мена причины и следствия: — *...Целая революция шла из-за земли, вам ее дали, а она почти не рождает* (А.Платонов), — причинный предлог *из-за* замещает позицию целевого (для).

Возможно установление ложной причины: *И время прошло скоро, потому что время — это ум, а не чувство...; от коммунизма умер самый маленький ребенок в Чевенгуре...* (А.Платонов).

Искажение причинно-следственной связи может быть связано с пропуском необходимого звена в причинной цепи: *Мальчик прилег к телу отца, к старой его рубашке, от которой пахло родным живым потом, потому что рубашку* [пропущено — *отец успел поносить еще при жизни и ее только*] *надели для гроба — отец утонул в другой* (А.Платонов), — в результате чего устанавливается аномальная, внутренне противоречивая причинно-следственная связь *рубашка пахла живым, потому что ее надели для похорон.

Очень распространенный случай, имеющий соответствие и в речевой практике обыденной коммуникации, — неразграничение благоприятной и неблагоприятной причины: *На полу спали благодаря холоду; В протоколе написали, что старший машинист-наставник получил смертельные ушибы <...> Происшествие имело место благодаря неосторожности самого машиниста-наставника* (А.Платонов).

Искажение целевых отношений может выражаться в установлении ложного или невозможного целеполагания при аномальной номинализации (сворачивании предикативной конструкции): *колхоз метет снег для гигиены; пишут всегда для страха и угнетения масс; пролетариат живет для энтузиазма труда; Кирей и Жеев останавливались для сомнения* (А.Платонов).

Иногда аномальная концептуализация целеполагания возникает при приписывании субъекту возможности контролировать «дальнюю сферу» объективного пространства — в романе «Счастливая Москва» А.Платонова: *...в одиночестве она наполняла весь мир своим вниманием и следила за огнем фонарей, чтоб они светили, за гулками равномерными ударами паровых копров на Москве-реке, чтоб сваи входили прочно в глубину...*

Возможна и «тавтологическая избыточность» при целеполагании, когда само действие и его цель — другое действие выступают как идентичные: *...начал будить его, чтобы он проснулся* (А. Платонов). Ср. похожие случаи так называемой псевдомотивации, когда в конструкции, являющейся формально сложноподчиненной, на семантическом уровне только имитируются причинно-следственные, услов-

ные, временные, целевые отношения — например, у А. Введенского: *Когда он приотворил распухшие свои глаза, он глаза свои приоткрыл.*

В целом можно утверждать, что именно осознаваемые в качестве аномалий отклонения при языковой концептуализации «прототипического мира» могут служить отчетливым свидетельством его реальности для языкового сознания носителя языка. В свою очередь, «повышенная информативность аномалий» [Арутюнова 1987: 3], их значительный потенциал в плане создания альтернативных «возможных миров» создает возможность их осознанного применения в режиме эстетического использования языка — делает их действенным средством порождения функционального художественного мира в литературном дискурсе.

ЛИТЕРАТУРА

- Апресян 1995 — *Апресян Ю. Д.* Избранные труды: В 2 т. Т. 2. М., 1995.
- Арутюнова 1987 — *Арутюнова Н. Д.* Аномалии и язык (к проблеме языковой «картины мира») // Вопросы языкознания. 1987. № 3.
- Булыгина, Шмелев 1997 — *Булыгина Т. В., Шмелев А. Д.* Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.
- Вежбицкая 1997 — *Вежбицкая А.* Прототипы и инварианты // *Вежбицкая А.* Язык. Культура. Познание: Пер. с англ. / Отв. ред. и сост. М. А. Кронгауз. М., 1997.
- Демьянков 1996 — *Демьянков В. З.* Прототипический подход // Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина. Под общ. ред. Е. С. Кубряковой. М., 1996.
- Иванов 1982 — *Иванов В. В.* Семантика возможных миров и филология // Проблемы структурной лингвистики-80: Сб. науч. трудов. М., 1982.
- Крипке 1986 — *Крипке С.* Загадка контекстов мнения // Новое в зарубежной лингвистике. Логический анализ естественного языка: Вып. XVIII. М., 1986.
- Лосев 1982 — *Лосев А. Ф.* Знак. Символ. Миф: Труды по языкознанию. М., 1982.
- Михеев 2003 — *Михеев М. Ю.* В мир Платонова через его язык: Предположения, факты, истолкования, догадки. М., 2003.
- Радбиль 2006 — *Радбиль Т. Б.* Языковые аномалии в художественном тексте: Андрей Платонов и другие. М., 2006.
- Руденко 1992 — *Руденко Д. И.* Когнитивная наука, лингвофилософские парадигмы и границы культуры // Вопросы языкознания. 1992. № 6.
- Хинтиikka 1980 — *Хинтиikka Я.* Логико-эпистемологические исследования: Избранные статьи: Пер. с англ. М., 1980.

ПРИЧИНЫ И МОТИВАЦИИ ЛЖИ В СВЕТЕ КОММЕНТАРИЕВ РАССКАЗЧИКА

Спрашивать начали потом. И я говорила одно и то же: «Это не моя проблема, обращайтесь в министерство культуры». Это была дежурная фраза для меня и всех сотрудников, которые были в курсе дела. Это первое. *Я не говорила правды, но никогда не врала* (Директор ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова, Российская газета, 08.02.2005, 24 (3693)).

Такое отношение стало нормой: он *врет потому, что он политик, и он политик потому, что он врет* (Независимая газета, 05.11.2002, 238 (2792)).

— *А ложь тоже в русском национальном характере?*

— По-моему, да. Мы ведь порой даже не понимаем, что лжем. В этом плане очень показательны отдельные выступления Горбачева. Он порой говорил заведомую ложь, будучи лично свято убежденным, что говорит правду. Например, по поводу разгона демонстрации в Тбилиси. У нас так часто бывает. Человек лжет, но уже убедив себя, что говорит правду.

— *Американцы, по-вашему, врут меньше?*

— Понимаете, они как-то по-американски врут. У нас было лицемерие и вранье, но для России никогда не было характерно ханжество, опирающееся на закон и мораль. На мой взгляд, в отрицательных своих проявлениях Америка — страна ханжеская. Мы же просто врали (Смеется)... Врали как существительное, а не как глагол. И в этом плане мне русское лицемерие, конечно же, ближе (Юрий Симонов-Вяземский в интервью, Литературная газета, 04.12.2002, 48).

Children's deceptive skills are more likely to develop from pragmatic need and situational exigencies than from conceptual development; <...> they may learn to lie in the same way as they learn to speak. This learning continues till adolescence (Anolli, Balconi & Ciceri 2001: 82).

Три разновидности действительности:

РЕАЛЬНЫЙ МИР

- (1) Дерево с шумом рухнуло. / Лиза пилит дрова. / На улице холодно. / Игорь дома.
- (2) Столица Индии — Дели. / У паука восемь ног.

ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР (ИЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ РЕАЛЬНЫЙ МИР)

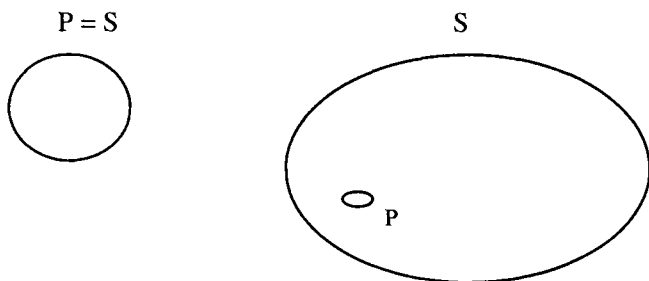
- (3) Я хотел бы посидеть на облаке и посмотреть оттуда на суету жалких существ, называемых людьми.
- (4) Сергей мечтал о путешествии, которое никогда так и не осуществилось.
- (5) Мне приснилось, что я читал через бинокль круглые синие газеты, которые были повешены на стометровом можжевельнике.
- (6) Завтра я, возможно, уже закончу эту работу.
- (7) «Раскольников отдал перо, но, вместо того чтоб встать и уйти, положил оба локтя на стол и стиснул руками голову».
- (8) В сказке два мотоцикла влюбляются друг в друга и женятся.

ВНУТРЕННИЙ МИР

- (9) Мне больно / скучно. // У меня грипп. // Мне было страшно, когда самолет поднимался. // Я ненавижу бокс.
- (10) Мария любит Сергея. / Игорю было холодно без шапки.

S = отрезок действительности

P = положение дел (то, что говорящий хочет сказать о S)



I. ЦЕЛЬ ГОВОРЯЩЕГО — ГОВОРИТЬ ПРАВДУ

ПРАВДА

X утверждает, что P;

X знает, что P правда (соответствует действительности)

- (11) В аудитории было много народу / шумно / темно / горела только одна лампочка / не было Нины / преподавателя.
- (12) Нина дала Игорю книгу.
- (13) Нина наградила Игоря книгой.
- (14) Нина вернула Игорю книгу.
- (15) Нина дала Игорю интересную / неинтересную книгу.
- (16) Нина была в черной юбке.
- (17) Игорь выглядел усталым.

НЕПРАВДА (ошибка)

Х утверждает, что Р;

Р неправда (не соответствует действительности);

Х думает, что Р правда (соответствует действительности)

(18) Столица Индии — Калькутта.

(19) У паука — шесть ног.

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПРАВДА (разные степени эвиденциальности)

Х утверждает, что Р;

у Х-а есть основания предполагать, что Р правда

(20) (В газете писали, что) в Иране произошло землетрясение.

(21) (Нина рассказала, что) Игорь был опять с какой-то новой девушкой.

КОММУНИКАТИВНАЯ НЕУДАЧА

Х утверждает, что P_1 ;

У понимает, что P_2

(22) Жене нельзя изменять.

(23) На столе лежали фотографии Нины.

(24) Зачем ты взял мой зонтик?

II. ЦЕЛЬ ГОВОРЯЩЕГО — ОБМАНЫВАТЬ

ЛОЖЬ

Х утверждает, что Р;

Х знает, что Р неправда (не соответствует действительности)

(25) Игорь дома.

ПОЛУПРАВДА

Х утверждает, что Р;

Р в какой-то мере соответствует действительности;

Х знает, что, утверждая Р, он дает искаженное представление о действительности

МАСКИРОВКА

Х утверждает, что Р;

Р не соответствует действительности;

Х использует разные речевые средства, чтобы давать представление о правдоподобии Р

III. ЦЕЛЬ ГОВОРЯЩЕГО — ГОВОРИТЬ НЕПРАВДУ, НО И НЕ ОБМАНЫВАТЬ

Говорящий предполагает, что собеседник понимает, что он не говорит правду

Совместная игра партнеров коммуникативной ситуации

Юмор (анекдоты, шутки, пародия)

Ритуальные речи (поздравления, некрологи, торжественные выступления, лесть)

Ложь как предмет речи (повествования, рассказа):

В высказывании Ты *лжешь* совмещены значения ложности и лжи. Первое выражает истинную оценку суждения, второе — этическую оценку поступка. Отношение высказывания к действительности и отношение этой последней к норме устанавливаются совместно. Алетическая модальность как бы слита с деонтической (Арутюнова 1995: 19–21).

ДВА ПОДХОДА К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ И ПРИЧИНЫ ЛЖИ:

(26) Игорь лгал Вере. / Ты лжешь.

(P_1 = Игорь лгал Вере / Y лжет)

Зачем Игорь лгал Вере / Y лжет?

«отрезок действительности/мира₁»

(primary presentation)

(P_2 = говорящий сказал P_1)

Зачем рассказчик сказал, что Игорь лгал Вере / я говорю Y -у, что он лжет?

«факт повествования — отрезок действительности/мира₂»

(metapresentation)

ЗАЧЕМ ГОВОРЯЩИЙ СКАЗАЛ P_1 ?

1. Говорящий осуждает поведение X -а (выражает свое отрицательное мнение по поводу вранья).

P_1 — чаще всего абстрактное (нелокализованное во времени, неактуальное) или повторяющееся положение вещей.

(27) Мужчина, отказавшийся представиться:

— Ложь, ложь и еще раз ложь! У нас вообще ничего правдивого в стране нет. Как ввали в восемьдесят лет, так и будут дальше врать. Только раньше про коммунизм ввали, а теперь про демократию! Ведь мы все эти морды правительственные где видим? По телевизору и в газетах. А пресса и телевидение у нас уже давно куплены! Значит, они тоже *врут*, чтобы их хозяевам было приятнее (Вечерняя Москва, 10.03.2000).

- (28) Взрослые люди, курирующие «Единство», про себя-то, конечно, понимают, что *врут* на каждом шагу, но у них есть своеобразное оправдание: они политикой занимаются (Известия (Россия), 18.11.2005, 210 (27011)).
- (29) Вот за эти прыщи я их презирал. И *лгали* они ужасно отвратительно о своих любовных делах (В. Набоков, «Машенька»).
- (30) Я сознательно слово «оппозиционные» поставил в кавычки: есть пресса, которая пишет правду, пусть и неприятную для *власти*, и есть пресса, которая *врет* на каждом шагу (Профиль, 07.05.2001, 17).
- (31) «Да все врут, — резюмирует простой зритель, — врут газеты, врут телевидение, и *политики врут, врут* и красуются деятели шоу-бизнеса, масскультуры» (Литературная газета, 27.04.2005, 17–18).
- (32) Пока могу сказать только одно — российские *власти* нагло *лгут*, скрывая истинную причину «техногенной катастрофы», а также пытаются скрыть очень серьезные последствия проведенной нами спецоперации (Коммерсантъ, 28.05.2005, 096).
- (33) И я вообще не понимаю, как Минсельхоз будет отдавать Сбербанку полученный кредит на интервенции. В итоге просто влезут в бюджет-2003. Наверняка *министерство* это понимает, но *делает вид*, что не понимает, потому что нет другого выхода (Коммерсантъ, 21.10.2002, 191).
- (34) *Москва делает вид*, что намеков не понимает (Коммерсантъ, 14.06.2000, 105).

2. Говорящий восхищается Х-м (выражает положительно мнение по поводу вранья).

- (35) Но если в этом разобраться, играют все, и с удовольствием. Если бы в жизни не было игры, жизнь превратилась бы в такую тоску! Поэтому я люблю: Игру, Обман и Вымысел. Это все — творчество. Я люблю, когда женщины *врут*, потому что это настоящее творчество (Николай Еременко, Огонек, 11.08.2000, 30).

3. У говорящего нейтральное отношение к вранью.

- (36) Тонино Гуэрра рассказывает, что у Андрея был не осуществленный им замысел фильма о женщине, которая все время лгала своему мужу и людям, потому что любила ложь, чувствовала себя во лжи комфортно. (Ирина Поплавская, «Шукшин и Тарковский в моих впечатлениях», Москва, 15.07.1999, 7)
- (37) Иногда кажется: некоторые люди врут не потому, что это им надо, а потому, что по-другому у них не получается (Общая газета, 11.11.1999, 45).

ЗАЧЕМ Х ВРЕТ/ВРАЛ?

Общее объяснение: лгать/врать — часть речевой/коммуникативной тактики говорящего.

1. Врать — выгодно для Х-а (эгоистический принцип):

Большинство родителей учат своих детей солгать в том случае, когда сказать правду может быть опасно. Например, если ребенок дома один, а в дверь звонит подозрительный незнакомый человек и спрашивает, дома ли родители... («Лгут не только взрослые», Энергия — экономика, техника, экология, 29.01.2003, 001).

- (38) В школе он (= Никита Михалков) *врал*, что приемный сын Михалкова, чтобы вызвать жалость, чтобы перестали лупить и дразнить (Аргументы и факты, 13.04.1999, 15(964)).
- (39) Назовите, пожалуйста, ваши два-три любимых фильма. [---]
ПАРКЕР: А я обычно *вру*, отвечая на этот вопрос, чтобы не заработать неприятностей (Вечерняя Москва, 21.06.2004, 111).
- (40) Больше всего мне не хотелось прослыть маленькой провинциалкой. ...Я ничего не знала, решительно ничего не смыслила. ...Я *врала* для того, чтобы меня воспринимали всерьез (Сегодня, 08.07.1995).
- (41) Нередко мужчина *врет* из желания удержать женщину. Или даже двух («Почему мужчины врут?», Дочки-матери (приложение к АиФ), 15.10.1999, 020).
- (42) Лизка из Волгограда. Не красавица, но обаятельная. В Египте уже два года. Ей 29 лет, но гостям *врет*, что 24. Политика аниматоров — занижать возраст, потому что публика с недоверием относится к прыгающим созданиям старше 25 лет, мол, чего это они? (Комсомольская правда; 14.10.2005; 162).
- (43) Я научился замечательно *лгать*, чтобы избежать наказания, — ведь 70 лет назад розги были основой воспитания (Аргументы и факты, 03.04.2002, 14 (1119)).
- (44) И *врут*, скорее всего, из-за корыстных интересов или чтобы жизнь была удобнее и интереснее (Коммерсантъ-Власть, 31.07.2001, 30).
- (45) Он *врал*, потому что не хотел меня потерять (Общая газета, 17.04.1997, 15).

2. Люди врут, чтобы оберечь собеседника от какой-либо неприятной информации (альтруистический принцип, «белая ложь»).

Вот прямая цитата из пособия для желающих освоить хорошие манеры (вроде бы и те, и другие — и манеры, и пособия — вновь возвращаются в моду): «Честность — это далеко не всегда лучшая политика... Во всяком случае, не в Англии. Надо быть дипломатичным, но совершенно не обязательно говорить правду, если она может обидеть или огорчить». Не англичане изобрели *ложь во спасение* («белую ложь», в дословном переводе), но никто так, как они, наверное, не извлекает из нее столько пользы — и личной, и общественной (Анатолий Адамишин, «Как важно любить птиц. Английское ханжество — светлое будущее человечества», Независимая газета, 27.06.1997 (116)).

- (46) Если, например, кто-то сказал про моего друга гадость, естественно, я сделаю вид, что ничего не знаю. Также скрываю от близких разные мелкие неприятности, говорю, что все хорошо. Я считаю, это ложь во спасение. А всевозможные бытовые вещи, истории разных Марий Власовых — это фигня, от которой никому ни жарко ни холодно. Я знаю, мне частенько *лгут*, просто чтобы не портить настроение. Лгут?! Ну и слава богу! Незачем мне все знать (Валерий Леонтьев. Аргументы и факты, 17.12.2003, 51 (1208)).
- (47) На уровне национального менталитета утвердилась норма: *не говорить детям правду*, чтобы их не травмировать (Российская газета, 03.06.2005, 118 (3787)).
- (48) Но если вы попадаете в больницу к приятелю, который тяжело болен, и вы знаете, что дни его сочтены, и он смотрит на вас и говорит: «Игорь, я умру?» — вы же не скажете ему: «Да, завтра», — вы ему соврете. Вы скажете: «Да ты чего, с ума сошел? Мне доктор сказал, что он тебя уже скоро выпишет». Вот так я вру в своих книжках. *Вру* с единственной целью — чтобы моему читателю стало легче жить, чтобы он понял, что жизнь не кончена, что жить можно с болезнью, жить можно с онкологией, жить можно с любой неприятностью, что вообще горе случается в жизни один или два раза, а все остальное мелочи (Дарья Донцова, Независимая газета, 14.11.2003, 245 (3077)).
- (49) Ведь *врет* человек из лучших побуждений — потому что не хочет обидеть суровой правдой (Известия, 18.03.2002, 045).

3. Вранье обуславливается обстановкой, условиями (нет другого выхода, чем врать):

- (50) Оккупация, понимаете, это такое время, когда надо *врать* (Коммерсантъ, 30.10.2004, 204).
- (51) Неудачливый агент страховой компании вынужден все время *врать* пострадавшим клиентам, чтобы не платить компенсаций (Аргументы и факты, 26.01.2005, 04 (1265)).
- (52) И страдает тот, кто изменяет, так как ему приходится *врать*, и рано или поздно он начнет испытывать ненависть к человеку, из-за которого *врет* (Еще раз про 2 жен и 1 мужа. Огонек, 30.04.2001, 16).

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

«Почему люди врут?» — задали мы вопрос детворе:

АНДРЕЙ, 13 ЛЕТ: «Люди *врут* для того, чтобы денег себе *взять*. Вот как я вчера мужиков «обувал» — у одного двести рублей из кармана вытащил. Вот если ты как бич пьяный будешь ходить, то я и у тебя смогу вытащить»;

КАТЯ, 7 ЛЕТ: «Люди *обычно врут по привычке*, потому что все вокруг так делают. И даже моя мама иногда *врет*. Но ей *врать* можно, а я *врать* все равно не собираюсь»;

ЮЛЯ, 9 ЛЕТ: «Если я скажу *правду* какой-нибудь своей подружке, то она потом со мной разговаривать не будет»;

САБИР, 12 ЛЕТ: «*От зависти*. Если человек кому-нибудь завидует, то он его обязательно обманет или в морду даст. Чтобы не обидно было»;

ЭЛЯ, 9 ЛЕТ: «Те люди, которые врут, — это плохие люди, и у них на языке волосы вырастают. Я, например, никогда не вру и не буду это делать, потому что я хорошая, красивая и у меня нет ни от кого секретов»;

ДАВИД, 5 ЛЕТ: «По моим сведениям, люди врут, потому что они думают, что это хорошо. Они могут у меня спросить, и я им объясню, что это делать не нужно. Должен же их кто-то уму-разуму научить» (Огонек, 06.08.2001, 30).

ЛИТЕРАТУРА

- Арутюнова 1995 — Арутюнова Н.Д. Истина и этика // Истина и истинность в культуре и языке. Логический анализ языка. М., 1995. С. 7–23.
- Гак 1995 — Гак В.Г. Истина и люди. // Истина и истинность в культуре и языке. Логический анализ языка. М., 1995. С. 24–31.
- Лукин 1993 — Лукин В.А. Концепт истины и слово *истина* в русском языке // ВЯ. 1993. № 4. С. 63–86.
- Мустайоки 2004 — Мустайоки А. К вопросу о соотношении языка и действительности // Проблемы интерпретационной лингвистики: Интерпретаторы и типы интерпретации. Новосибирск, 2004. С. 20–36.
- Мустайоки 2006 — Мустайоки А. Теория функционального синтаксиса: от семантических структур к языковым средствам. М., 2006.
- Anolli, Balconi & Ciceri 2001 — Anolli L., Balconi M. & Ciceri R. Deceptive miscommunications Theory (DeMiT): A new model for the analysis of deceptive communication. Say not to say. New perspectives on miscommunication. Amsterdam: IOS Press, 2001. P. 76–103.
- Dönninghaus 1999 — Dönninghaus S. Sprache und Täuschung. (= Slavistisches Studien Bücher, Neue Folge 11.) Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1999.
- Falkenberg 1982 — Falkenberg G. Lügen. Grundzüge einer Theorie sprachlicher Täuschung. Tübingen, 1982.

КОНЦЕПТ 'ОТКРОВЕННОСТЬ' В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА

Исследования в области межкультурной прагматики показывают, что для русского языка и культуры характерно наличие установки (или культурных скриптов) на прямое и открытое выражение своих мыслей и чувств [Вежицка 2002; Гловинская 2003]. Похожие установки характерны и для других культур — например, испанской [Aznárez, González 2006]. Однако в некоторых культурах (например, англосаксонской и малазийской) подобное правило менее значимо или отсутствует вообще [Goddard 1997; Wierzbicka 2006a]. Доминирование определенной культурной установки находит отражение в семантике слов, которые по своему значению связаны с этой установкой [Апресян 2006; Вежицка 2002; Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005; Wierzbicka 2006a]. Данную гипотезу интересно проверить при сравнительном семантическом анализе слов-переводных эквивалентов из языков с различными культурными правилами. В работе проводится семантический анализ наречия *откровенно* в значении характеристики манеры речи, которое может быть связано с установкой на открытое и прямое выражение своих мыслей и чувств, характерное для русской культуры. Данное наречие сравнивается с его ближайшими переводными эквивалентами *candidly* и *frankly* в английском языке, где доминируют другие культурные скрипты [Wierzbicka 2006a].

1. Методология сравнительного семантического анализа. Успех сравнительного семантического анализа в значительной степени определяется используемой методологией исследования. Различия в семантике слов двух или нескольких языков нагляднее и точнее можно представить с помощью нейтральной методологии, которая не является лингвоспецифичной. Наиболее разработанным вариантом методологии такого рода можно считать Естественный Семантический Метаязык (Natural Semantic Metalanguage), предложенный Анной Вежицкой и коллегами [Goddard, Wierzbicka 2002; Wierzbicka 1996]. Данный инструмент лингвистических исследований включает в себя около 65 семантических универсалий и их грамматических комбинаций. Эти универсалии были выявлены в результате лингвистических эмпирических исследований на основании большого числа языков (Таблица 1).

Для описания культурной специфичности исследуемых слов в работе также используется теория культурных скриптов, которая является ответвлением теории Естественного Семантического Метаязыка. Термин «культурные скрипты» относится к способу формулирования культурных норм, ценностей и практик на языке семантических примитивов [Goddard, Wierzbicka 2004]. Основная идея, лежащая в основе теории культурных скриптов, состоит в том, что языковые практики различных обществ находятся в зависимости от культурных ценностей или, по крайней мере, иерархии ценностей этого общества. Конечной целью проведения семантического анализа является написание семантических толкований изучаемых концептов на языке универсальных семантических примитивов и рассмотрение их на фоне воплощенных в языке культурных представлений, также сформулированных на языке семантических примитивов.

В качестве источников примеров в работе используются данные двух корпусов — Национального корпуса русского языка (140 млн словоупотреблений) и COBUILD Bank of English (56 млн словоупотреблений).

Таблица 1. Список семантических примитивов в английском и русском языках (по Goddard, Wierzbicka 2002; примитивы русского языка по Gladkova forthcoming)

substantives	I, YOU, SOMEONE, PEOPLE, SOMETHING/THING, BODY <i>Я, ТЫ, КТО-ТО, ЛЮДИ, ЧТО-ТО/ВЕЩЬ, ТЕЛО</i>
determiners	THIS, THE SAME, OTHER <i>ЭТОТ, ТОТ ЖЕ, ДРУГОЙ</i>
quantifiers	ONE, TWO, SOME, ALL, MUCH/MANY <i>ОДИН, ДВА, НЕКОТОРЫЕ, ВСЕ, МНОГО</i>
evaluators	GOOD, BAD <i>ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ</i>
descriptors	BIG, SMALL <i>БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ</i>
mental predicates	THINK, KNOW, WANT, FEEL, SEE, HEAR <i>ДУМАТЬ, ЗНАТЬ, ХОТЕТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ</i>
speech	SAY, WORDS, TRUE <i>ГОВОРИТЬ, СЛОВА, ПРАВДА</i>
actions, events, movement, contact	DO, HAPPEN, MOVE, TOUCH <i>ДЕЛАТЬ, ПРОИСХОДИТЬ/СЛУЧИТЬСЯ, ДВИГАТЬСЯ, КАСАТЬСЯ</i>

location, existence, identity, possession	BE [SOMEWHERE], THERE IS, BE [SOMEONE/SOMETHING], HAVE <i>БЫТЬ [ГДЕ-ТО], БЫТЬ/ЕСТЬ, БЫТЬ [КЕМ-ТО/ЧЕМ-ТО], [У КОГО-ТО] ЕСТЬ/БЫТЬ</i>
life and death	LIVE, DIE <i>ЖИТЬ, УМЕРЕТЬ</i>
time	WHEN/TIME, NOW, BEFORE, AFTER, A LONG TIME, A SHORT TIME, FOR SOME TIME, MOMENT <i>КОГДА/ВРЕМЯ, СЕЙЧАС, ДО, ПОСЛЕ, ДОЛГО, КОРОТКОЕ ВРЕМЯ, НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ, МОМЕНТ</i>
space	WHERE/PLACE, HERE, ABOVE, BELOW, FAR, NEAR, SIDE, INSIDE <i>ГДЕ/МЕСТО, ЗДЕСЬ, НАД, ПОД, ДАЛЕКО, БЛИЗКО, СТОРОНА, ВНУТРИ</i>
logical concepts	NOT, MAYBE, CAN, BECAUSE, IF <i>НЕ/ИТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ, МОЧЬ, ПОТОМУ ЧТО, ЕСЛИ</i>
augmentor, intensifier	VERY, MORE <i>ОЧЕНЬ, ЕЩЁ/БОЛЬШЕ</i>
relational substantives	KIND OF, PART OF <i>РОД/ВИД [ЧЕГО-ЛИБО], ЧАСТЬ [ЧЕГО-ЛИБО]</i>
similarity	LIKE <i>КАК/ТАК, КАК</i>

2. Откровенно vs. candidly и frankly.

2.1. Частотность и этимология. Прежде чем перейти к сравнительному семантическому анализу, интересно отметить различия в частотных характеристиках анализируемых слов. Частотность употребления данных слов и их дериватов указывает на очевидно большую культурную значимость концепта 'откровенность' в русском, чем 'candour' и 'frankness' в английском (Таблица 2). На основании данных двух корпусов, частотность существительного *откровенность* в 8,3 раза выше, чем частотность *candour* и *frankness* в отдельности; наречие *откровенно* в 47,5 раз частотнее *candidly* и в 2,5 раза частотнее *frankly*; прилагательное *откровенный* в 18 раз частотнее *candid* и 8,5 раз частотнее *frank*.

Таблица 2. Частотность употребления (на 1 млн словоупотреблений)

откровенность	8.3
откровенно	33.3
откровенный	41.6
откровенничать	1.2

cando(u)r	1
candidly	0.7
candid	2.3

frankness	1
frankly	13.2
frank	5.1

Интересны также различия в этимологии этих трех слов. Согласно Оксфордскому словарю английского языка, *frank* происходит от старофранцузского *franc*, которое в свою очередь происходит от средневеково-латинского *francus* «свободный». *Candour* происходит от латинского *candor* «белизна, чистота, невинность, искренность [sincerity]» [OED]. В словаре Даля *откровенность* приводится в словарной статье *открывать*, с которым оно связано деривационно [Даль 1978]. Таким образом, уже в этимологии этих слов заложены несколько различные идеи: *откровенность* связано с идеей 'открытия' чего-то недоступного в другое время, *frankness* — с идеей 'свободы' и отсутствия ограничений, *candour* — с идеей 'чистоты' и 'искренности' [sincerity].

2.2. Откровенно (откровенно₁). Наиболее прототипичный пример ситуации, когда люди говорят *откровенно*, — это разговор близких людей или друзей, которые полностью доверяют друг другу и открыто сообщают о своих мыслях и чувствах, как в следующем примере¹:

- (1) *Мы с вами старые друзья, и я привык говорить с вами откровенно.*

Говорящий может также решить говорить *откровенно*, если он считает, что собеседнику можно доверять в той же степени, что другу или близкому человеку:

- (2) *Я говорил с графом совершенно откровенно, не стесняясь, как будто с давно знакомым.*
 (3) *Полина Исаевна объяснила за мужа, что он просто говорит с ней откровенно, как с близким человеком, и ничего плохого в данном случае не думал, напрасно Аня разволновалась.*
 (4) *Издание моей книжки решительно было для меня несчастьем. Простите, что я говорю откровенно; я знаю, кому говорю.*

Среди этих примеров большой интерес представляет пример (4), в котором автор письма — поэт Иван Никитин — просит у адресата прощения за то, что он пишет ему *откровенно* о трудностях, связанных с изданием его книги. По-видимому, автор считает необходимым извиниться за подобную манеру изложения, потому что он недостаточно хорошо знает адресата. Тем не менее, он решает написать *откровенно*, потому что доверяет адресату и хочет рассказать ему о сво-

¹ За рамками данной работы остается обсуждение другого значения наречия *откровенно* (*откровенно₂*) в сочетаниях типа *он откровенно врет*, *он откровенно ворует*. Из-за ограничений объема статьи в работе также не обсуждается семантическое различие между сочетанием *говорить откровенно* и дискурсивным маркером *откровенно говоря*, используемым в качестве вводного словосочетания.

их проблемах. Извинение Ивана Никитина в таком контексте подтверждает, что существует культурное правило в русском языке, согласно которому человек может говорить *откровенно* только с близким человеком или с кем-то, кто как близкий.

В плане содержания высказывания *откровенно* применимо к ситуациям, в которых говорящий высказывает что-то неблагоприятное о себе (примеры 5–7) или о другом лице, в том числе собеседнике (примеры 8–11). В обычной ситуации манера говорить *откровенно* может заставить собеседника подумать что-то плохое о говорящем. Тем не менее, говорящий решает это высказать, так как доверяет собеседнику и надеется, что тот не сложит плохого мнения о нем.

- (5) *Раньше, когда я общался с кремлевскими чиновниками, они говорили доверительно и откровенно, они были искренне заинтересованы в том, чтобы я, как политический журналист, ориентировался в существе дела.*
- (6) *К тому же, я говорю тебе все откровенно, нынешний год в Петербурге для меня был бы неурожайный. Я перед отъездом сюда поссорился с книгопродавцами.*
- (7) *Я никому доселе не говорил о моей жизни: я знаю, как смешна бесплодная жалоба. Но Вы — поэт. Я могу говорить с Вами откровенно, не для того, чтобы, так сказать, напроситься на Ваше участие, я просто хочу поделиться с Вами тем, чем никогда и ни с кем не делился.*
- (8) *Я всегда говорил с ним откровенно о делах и лицах, говорил, что думал.*
- (9) *Ну, душечка, Лизавета Александровна, ангелочек мой, расскажите же подробно и откровенно: как все было, как вы приехали к генералу, как он вас принял и что говорил, все, все расскажите мне откровенно...*
- (10) *Если ему человек не нравился, он говорил об этом откровенно.*
- (11) — *Вы знаете, — говорил он, — если откровенно — дело ваше дрян.*

В целом, манера говорения *откровенно* обладает позитивной оценкой². Однако следует признать, что существуют культурные правила, согласно которым так следует разговаривать только с близкими людьми, и пример (4), в котором автор письма просит прощения за такую манеру, служит тому подтверждением.

² Интересно отметить, что наличие положительной оценки в значении *откровенно*₁ не распространяется на некоторые его дериваты. Так, сочетаемость *откровенно*₂ с глаголами негативной социальной оценки (*он откровенно врет* или *он откровенно ворует*) отрицает наличие положительной оценки в данном значении. Существительное *откровенности* во множественном числе и глагол *разоткровенничаться* свидетельствуют о чрезмерности выражения своих мыслей и чувств и также не содержат положительной оценки.

На основании проведенного анализа возможно предложить следующее толкование на языке семантических примитивов:

он говорил с ней откровенно

- (а) он говорил что-то кому-то в течение некоторого времени, как люди говорят что-то, когда они думают так:
- (б) я хочу сказать что-то сейчас
- (в) это правда
- (г) я знаю, что если я скажу что-то такое многим людям, эти люди могут подумать что-то плохое обо мне
- (д) поэтому я не хочу говорить такие вещи многим людям
- (е) я знаю, что я могу сказать такие вещи этому человеку
- (ж) я хочу сказать это этому человеку сейчас
- (з) хорошо, если кто-то может говорить с кем-то таким образом

В данном толковании компонент (а) представляет рамку толкования, которая отражает, что *откровенно* — это манера речи, которая определяется некоторым способом мышления говорящего. Компоненты (б–ж) соответствуют прототипическому ментальному сценарию человека, говорящего *откровенно*. В рамках данного сценария компонент (б) соответствует желанию говорящего сказать что-то; компонент (в) объясняет, что это — правда. Компонент (г) отражает, что человек осознает, что сообщение подобных вещей многим людям может привести к тому, что эти люди будут плохо думать об этом человеке. Компонент (д) объясняет желание говорящего не говорить подобные вещи многим людям. Компонент (е) выражает уверенность говорящего в том, что такие вещи можно сказать этому человеку. Компонент (ж) выражает желание человека сказать это этому человеку. Компонент (з) представляет позитивную оценку данной манеры говорения, ограничивая ее общением с некоторыми людьми.

2.3. Candidly. *Candidly* характеризует манеру речи, когда человек сообщает о себе что-то такое, что люди не ожидают услышать от него в обычной обстановке. Это может относиться к чувствам, плохим привычкам, религиозным убеждениям:

- (12) *Nor does he bemoan his past addiction to drugs, particularly cocaine. It was so good to me. It felt so damn good, I just went crazy with it. I don't recommend that kids do it, but man, I had a good time, he says candidly.*
- (13) *In other words, since Barbara was beginning to express her feelings candidly, it might now be possible to deal with her negative emotions overtly.*
- (14) *It is the first time Lord Spencer has spoken so candidly about the tragedy of the Paris car crash and the ordeal of Diana's funeral last September 6.*

- (15) *Then again, would a team of spin-rectors have foreseen the impact of Tony Blair talking **candidly** to a newspaper about his religious beliefs?*

Candidly может относиться также к сообщению говорящим какой-то информации о себе, которая может создать о нем у других людей неблагоприятное впечатление:

- (16) *Senior Communist Party officials now **candidly** admit they made mistakes after taking over the enemy headquarters of Saigon 20 years ago.*
- (17) *On 18 December, Haig spoke **candidly** to French about his lack of confidence in the GHQ staff.*
- (18) *When the reporter was tracked down, he admitted quite **candidly** that he was a former student of Professor Nakae's and that he had written the article only to avenge what he regarded as a slight on his mentor.*
- (19) *Given that hundreds of women each year pay thousands to cosmetic surgeons without being fully informed of the risks and procedures involved, we felt it was our duty to handle it as **candidly** as possible.*

Candidly схоже с *откровенно* в том смысле, что человек сообщает о себе что-то, что он бы не стал говорить многим людям. Как показывают примеры, употребление *candidly* ограничивается сообщением только фактической информации, связанной с говорящим. В отличие от *откровенно*, *candidly* не относится к выражению мнения о ком-то или чем-то другом, то есть не употребляется в таких высказываниях, которые обладают возможностью негативного прагматического воздействия на слушающего. Этим фактом можно объяснить то, что *candidly* не употребляется в качестве вводного слова или предложения:

- (20) **Candidly, she is a bore.*
- (21) **Candidly, I prefer this approach.*

Другое отличие *откровенно* от *candidly* состоит в различной роли собеседника. Как было показано, *откровенно* — это манера общения, приближающаяся к манере общения близких людей и, как правило, предполагающая наличие одного собеседника. Для *candidly* такого требования нет. Напротив, *candidly* может характеризовать выступление перед какой-то аудиторией. Приведенные примеры подтверждают данный аргумент.

Толкование *candidly* может быть представлено следующим образом:

he was speaking candidly

- (а) он говорил что-то в течение некоторого времени некоторым людям, как люди говорят что-то, когда они думают так:
- (б) я хочу сказать сейчас этим людям некоторые вещи
- (в) если я скажу сейчас эти вещи, эти люди будут знать что-то обо мне

- (г) я не хочу говорить это многим людям, потому что я не хочу, чтобы многие люди знали это обо мне
- (д) я думаю, что я могу сказать это этим людям сейчас
- (е) хорошо, если люди могут говорить таким образом с некоторыми людьми

Как и в толковании *откровенно*, в толковании *candidly* присутствует компонент «говорить что-то в течение некоторого времени некоторым людям», а также компонент, который отражает, что человек не хочет говорить такие вещи многим людям (компонент в). Данное толкование отличается от толкования *откровенно* тем, что в нем используются примитивы «некоторые люди» для обозначения собеседника. В компоненте (б) в нем также есть указание, что сообщается только что-то о говорящем. В толковании не содержится компонента потенциальной негативной социальной оценки сказанного.

В обоих толкованиях содержатся компоненты позитивной оценки, однако сформулированные по-разному. Оценочный компонент *откровенно* (компонент з) отражает идею о том, что хорошо, если у человека есть кто-то, с кем можно говорить в такой манере. Положительный компонент *candidly* (компонент е) сформулирован так, что он сообщает, что такая манера речи может положительно оцениваться при некоторых обстоятельствах и распространяется на общение с группой людей, а не только отдельным индивидом.

2.4. *Frankly*. *Frankly* характеризует высказывания, в которых говорящий сообщает что-то, от чего кому-то может быть неприятно — обычно собеседнику, но может быть и самому говорящему. Эти высказывания могут относиться как к говорящему, так и слушающему или другим лицам:

- (22) *He made 111 tapes in all, in which he talked frankly about his homosexuality and his illness.*
- (23) *Doctors frankly admit that the cause of such remarkable changes in the functioning of the male reproductive system are not fully understood.*
- (24) *There is no longer any mistrust, because both parties are speaking frankly.*
- (25) *In an article in the Observer even before the 1979 election, Margaret Thatcher had outlined her method quite frankly. Her government would have in it only the people who want to go in the direction in which the Prime Minister wishes to go.*

Frankly имеет ряд общих семантических и прагматических черт с *откровенно*. Как и *откровенно*, *frankly* может использоваться в вводном предложении говорящим, что свидетельствует о возможном негативном прагматическом воздействии на слушателя сопровождаемого высказывания:

- (26) *Frankly*, she was a bit of a bore.
 (27) Ben loves the word «I», quite *frankly*.
 (28) *Frankly*, I prefer this approach.

Как и *откровенно*, *frankly* отличается от *candidly* тем, что не сочетается с фактическими высказываниями, которые не содержат выражения мнения или оценки:

- (29) ?? *Frankly*, I have a car.
 (30) ? *Frankly*, I wrote that article.

В некоторых контекстах *frankly* и *откровенно* употребляются в схожих контекстах и являются переводными эквивалентами:

- (31) You can talk *frankly* to me, I've known the family a long time.
 (32) I'll tell you *frankly*, I've been concerned about you lately, Johnny.
 (33) Write to me as *frankly* as you will... you may be sure I shall not quote you to anyone.

Однако есть случаи, в которых *frankly* невозможно перевести на русский как *откровенно*:

- (34) Even though Benveniste's findings were published in the June 1988 edition of the prestigious British journal *Nature*, the editors *frankly* declared their disbelief.
 (35) Несмотря на то, что полученные Бенвенистом данные были опубликованы в июньском номере престижного британского журнала *Nature*, редакторы ?откровенно заявили о своем недоверии.

По-видимому, есть две основные причины, почему *откровенно* будет неуместно в таком контексте. Во-первых, *откровенно* не может сочетаться с глаголом *заявить* или *объявить*, так как эти речевые акты относятся к публичному выступлению. Как было показано, *откровенно* требует наличия одного собеседника, которому говорящий доверяет. Это ограничение не распространяется на *frankly*, которое может характеризовать публичные выступления. Другая причина, по которой в данном контексте не может быть использовано *откровенно*, состоит в том, что в данном случае характеризуется высказывание нескольких человек. *Откровенно* не может характеризовать высказывание группы людей, так как обычно группа людей не знает сокровенных мыслей и чувств друг друга, а даже если и знает, то вряд ли они будут единогласными. В цитируемом контексте было бы лучше перевести *frankly* как *открыто*.

Таким образом, основное отличие *frankly* от *откровенно* состоит в прагматическом воздействии сообщаемой информации на собесед-

ника. *Откровенно* относится к высказываниям, которые могут заставить других людей думать что-то плохое о говорящем; поэтому для *откровенно* становится важным выбор собеседника и существование доверительного отношения к нему. *Frankly* относится к таким высказываниям, которые может быть неприятно слышать другим людям. Поэтому в толковании *frankly* нет указания на особую роль собеседника. Возможность того, что произнесенное может быть неприятно кому-то слышать, объясняет отсутствие положительной оценки в *frankly*.

Толкование *frankly* может быть представлено следующим образом:

he was speaking frankly

- (а) он говорил что-то некоторым людям, как люди говорят что-то, когда они думают так:
- (б) я хочу сказать что-то сейчас
- (в) я знаю, что, если я скажу это, кто-то здесь может чувствовать что-то плохое поэтому
- (г) я знаю, что кто-то может думать, что будет хорошо, если я не скажу этого
- (д) я не хочу не сказать этого поэтому
- (е) я хочу сказать это, потому что это правда

Толкование *frankly* отличается от толкования *откровенно* несколькими аспектами. Во-первых, в компоненте (а) (*frankly*) отсутствует указание на продолжительность во времени такой манеры высказывания, которое присутствует в толковании *откровенно*. Во-вторых, компонент (в) во *frankly* объясняет, что сообщаемая информация может быть кому-то неприятной, но говорящий решает это сказать вопреки возможному негативному мнению окружающих (компоненты г–д); толкование *откровенно* содержит идею о том, что сообщаемое может заставить людей думать что-то плохое об этом человеке. В-третьих, *откровенно* содержит компоненты (д–ж), указывающие на то, что сообщаемая информация не предназначена для любого человека, а только для данного собеседника; в толковании *frankly* нет указания на особую роль собеседника. В-четвертых, *откровенно* содержит компонент положительной оценки, *frankly* не содержит оценочного компонента.

3. *Откровенно, candidly* и *frankly* на фоне русских и англосаксонских культурных скриптов. Различия в значении этих близких по смыслу концептов могут быть объяснены доминированием различных установок о том, как хорошо и как плохо говорить в русской и англосаксонской культурах. Как было отмечено, в русском языке ценность представляет открытое выражение своих мнений и чувств.

Среди лингвистического материала в подтверждение данного постулата можно привести следующие культурно-значимые слова русского языка — *душа, душевный, искренний, сердечный, общение, непосредственный*, которые практически непереводимы на другие языки. Вежбицка [2002] сформулировала эту тенденцию в форме следующих культурных скриптов:

хорошо, если человек хочет сказать другим людям, что этот человек думает (чувствует)

хорошо, если человек хочет, чтобы другие люди знали, что этот человек думает (чувствует).

В русском языке также есть правила, согласно которым важно различать образ общения с близкими и хорошо знакомыми людьми от образа общения с посторонними людьми. В этой связи в русском языке и культуре важны дихотомии таких понятий как *свои — чужие, наши — ваши, близкий человек — не близкий человек*. При этом семантическая сфера, обозначающая близких людей, очень значима и хорошо развита: *близкие, друзья, родные, дорогой (мне) человек*. В русском языке есть также слова, обозначающие существование смыслов, которые не должны сообщаться любому человеку — *сокровенный, откровенный, откровение, доверительный, тайный, разговор по душам*. Семантика наречия *откровенно* отвечает этим «правилам», и это объясняет наличие компонента положительной оценки в этом слове.

Английские квази-эквиваленты *откровенно — candidly и frankly* — существуют на фоне несколько иных культурных представлений, которые отличаются от доминирующих культурных представлений русского языка. Проведенный сравнительный семантический анализ показал, что ‘candour’ в некотором смысле семантически ближе к ‘откровенности’, но более маргинален по роли в языковой системе; ‘frankness’ ближе к ‘откровенности’ по роли в языковой системе, но более отдален от ‘откровенности’ семантически. Следует отметить низкую частотность концепта ‘candour’, что свидетельствует о его малой культурной значимости. Поэтому здесь будет уделено больше внимания концепту ‘frankness’

Frankly соотносится с правилами свободы речи, согласно которым каждый человек имеет право сказать то, что он хочет сказать, независимо от того, кем является собеседник:

если кто-то хочет сказать что-то, он может это сказать

никто не может сказать этому человеку:

ты не можешь этого сказать, потому что я не хочу этого

В англоязычных культурах также бóльшую значимость имеет такая манера общения, которая не была бы неприятна собеседнику. Тактичность и умеренность выражений доминируют над спонтанностью и искренностью (ср. культурные скрипты, связанные с понятиями 'personal autonomy' и 'not putting pressure on other people' [Wierzbicka 2006a, b]). Такое правило может быть сформулировано следующим образом:

нехорошо говорить что-то, если кто-то может чувствовать что-то плохое поэтому

хорошо подумать перед тем, как сказать что-то.

Манера говорения, обозначаемая *frankly*, может быть неприятна собеседнику и вступает в противоречие с последним скриптом, что объясняет отсутствие положительной оценки в этом слове. Для английских культурных правил также не характерно влияние дихотомии *свои — чужие, близкий — не близкий*, и различия в манере общения между близкими и не близкими людьми менее значимы. Поэтому в толкованиях *candidly* и *frankly* мы не находим особой роли собеседника, которая присутствует в *откровенно*.

Таким образом, сравнительный семантический анализ позволил выявить различия в значениях переводных эквивалентов *откровенно*, *candidly* и *frankly*. Было показано, что данные различия могут быть объяснены доминированием различных культурных представлений в английском и русском языках, оказывающих влияние на значение слов релевантных семантических полей. В семантическом содержании *откровенно* можно обнаружить влияние таких культурных правил как ценность спонтанности и искренности выражения, а также важности роли собеседника при такого рода общении. *Frankly* существует на фоне, с одной стороны, представлений о свободе речи и, с другой, — доминирования умеренности и тактичности выражений над спонтанностью и искренностью.

ЛИТЕРАТУРА

- Апресян 2006 — *Апресян Ю. Д.* Основные принципы и понятия системной лексикографии // Языковая картина мира и системная лексикография / Отв. ред. Ю. Д. Апресян. М., 2006.
- Вежицка 2002 — *Вежицка А.* Русские культурные скрипты и их отражение в языке // Русский язык в научном освещении. 2002. № 2 (4).
- Гловинская 2003 — *Гловинская М. Я.* Постулат искренности vs. постулат толерантности и их производные в разных культурных моделях поведе-

- ния // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности / Отв. ред. Н. А. Купина и М. Б. Хомяков. Екатеринбург, 2003.
- Даль 1978 — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978.
- Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005 — *Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д.* Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005.
- Aznárez, Gonazález 2006 — *Aznárez M., Gonazález R.* Francamente, el rojo te sienta fatal: Semantics and pragmatics of some expressions of sincerity in present-day Spanish // *Semantic Primes and Universal Grammar: Empirical evidence from the Romance languages* / Ed. B. Peeters. Amsterdam, 2006.
- Gladkova forthcoming — *Gladkova A.* Russian Emotions, Attitudes and Values: Selected topics in cultural semantics. PhD thesis. Australian National University, Canberra.
- Goddard 1997 — *Goddard C.* Cultural Values and 'Cultural Scripts' of Malay (Bahasa Melayu) // *Journal of Pragmatics*. 1997. № 27 (2).
- Goddard, Wierzbicka 2002 — *Goddard C., Wierzbicka A.* (eds.) *Meaning and Universal Grammar*. 2 Vols. Amsterdam, 2002.
- Goddard, Wierzbicka 2004 — *Goddard C., Wierzbicka A.* Cultural scripts: What are they and what are they good for? // *Intercultural Pragmatics*. 2004. № 1–2.
- OED — *Oxford English Dictionary*. Oxford University Press. <http://dictionary.oed.com>
- Wierzbicka 1996 — *Wierzbicka A.* *Semantics: Primes and universals*. Oxford, 1996.
- Wierzbicka 2006a — *Wierzbicka A.* *English: Meaning and culture*. Oxford, 2006.
- Wierzbicka 2006b — *Wierzbicka A.* Anglo scripts against «putting pressure» on other people and their linguistic manifestations // *Ethnopr pragmatics: Understanding discourse in cultural context* / Ed. C. Goddard. Berlin, 2006. 31–63.

КОРПУСА

Национальный корпус русского языка. <http://www.ruscorpora.ru>
 COBUILD. Bank of English. <http://www.collinswordbanks.co.uk>

А. Г. ГРЕК

ОБ «ИРРЕАЛЬНОЙ» СЕМАНТИКЕ В СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

(НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА ВЯЧ. ИВАНОВА)

Тема настоящей статьи связана с проблемой семантического членения мира и способов его языкового выражения, на актуальность которой для лингвистики указывал в одной из работ середины 80-х гг. минувшего века В.Н.Топоров. Наиболее ощутимым упущением лингвистики приходится признать, на его взгляд, «явно недостаточную разработанность понятия грамматической категории — и в теоретическом плане (проблема семантического членения («картирования») мира, его моделирования языком («linguistic patterning») и, следовательно, проблема взаимоотношения языка и мира (тема реалий *sub specie* разрешающей силы семантической структуры языка)), и в плане типологии самих языковых категорий, и даже с точки зрения способов их выражения в языке» [Топоров 1986; Топоров 2005: 120]. С тех пор многое в этой области было сделано и грамматической наукой, и лингвистикой, изучающей язык и языки мира в связи с типом культуры, ориентирующейся на текст и его структуру. Многое, по-видимому, еще предстоит дальнейшему изучению. В это «многое» должен быть включен и вопрос об ирреальной семантике и способах ее языкового выражения в поэтических текстах символистского круга.

Грамматическая категория, взятая в аспекте ее смысловой структуры, как считает В.Н.Топоров, отражается не только в инвентаре формальных элементов, но также в классах слов и — в более широком контексте — в единицах языка, призванных выражать другое грамматическое значение, но участвующих и в выражении данного [Топоров 2005: 120]. В грамматических исследованиях последнего времени [Ирреалис 2004]¹ описание семантических зон ирреаль-

¹ Третий выпуск трудов «Ирреалис и ирреальность» (2004 г.) Проблемной группы по теории грамматики при Институте языкознания РАН (Москва) посвящен именно этой проблеме. Статьи сборника не только обобщают многочисленные исследования в этой области, но содержат много новых данных и предлагают ряд новых теоретических трактовок, связанных с выражением

ности связано с изучением типологии глагольных категорий с общим значением *ирреалиса* в разных языках мира; установлен в целом список глагольных граммем, в которых присутствует ирреальный компонент². Однако, как замечает В. А. Плунгян — автор обзорно-аналитической статьи к указанному сборнику, важность ирреальной семантики многими универсально-типологическими построениями недооценивается [Плунгян 2004а: 16].

Ориентация при изучении семантических зон ирреальности, главным образом, на форму и недостаточное внимание к содержательной стороне, обусловленной «культурным типом» языка, особенностями запечатлеваемого в некотором классе текстов типа сознания, составляют общую черту отмеченных выше грамматических исследований. Рассмотрение грамматической категории в плане смысловом располагает к «выходу за пределы синхронии в историческое прошлое» [Топоров 2005: 120].

В данной работе вопрос об ирреальной семантике, принадлежащей к категориальной сфере в ее более узком и более широком понимании³, рассматривается на материале символистских и мифологических в своей основе поэтических текстов Вяч. Иванова. Творчество этого теоретика и практика русского символизма, к тому же самого последовательного из символистов и представителя реалистического символизма, показательно для рассмотрения проблемы *реального* и *ирреального* в рамках подхода, вытекающего из идей В. Н. Топорова и его наблюдений над другой грамматической категорией в языке, языках мира и текстах разного типа — категорией притяжательности [Там же]. Здесь важно подчеркнуть, что *реаль-*

ирреальности, что делает это издание фундаментальным и одновременно сообщает ему новизну, располагающую к дальнейшему изучению соответствующих форм и семантических зон. Знакомству с материалами этого сборника автор статьи обязан В. А. Плунгяну, чей доклад по проблеме ирреалиса участниками семинара «Логический анализ языка» (ноябрь 2004 г.) был заслушан с большим интересом и вызвал оживленную дискуссию. Сделанные В. А. Плунгяном замечания по прочтении первых редакций этой статьи способствовали ее доработке.

² По Топорову, это единицы языка, призванные выражать другое грамматическое значение, но участвующие и в выражении данного.

³ Более широкое понимание этого термина предполагает, как отмечено выше со ссылкой на работу В. Н. Топорова о категории притяжательности, выход за категориальные границы, определяемые грамматической формой, и ориентацию на изучение исторических и логических аспектов данной грамматической категории [Топоров 2005: 123 и др.].

ность, в представлениях поэта-символиста, будь то реальность мифа или открывающаяся его взору сущность явления, в рамках другой культурной и научной традиции может обозначаться как то, что принадлежит *ирреальному* миру. Это не означает, что поэт, проходя путь познания, не видит образов и картин, порождаемых субъективно замкнутым на себе сознанием, или тех же обманных, миражных явлений, находящихся во внеположном по отношению к нему миру. Существующий зазор в представлениях об ирреальном-реальном у поэта-символиста и со-родственного ему читателя, с одной стороны, и позитивистски настроенного субъекта, будь то обычный читатель или филолог и лингвист, с другой стороны, должно принимать во внимание, так как этот зазор обуславливает и различие в употреблении соответствующих терминов, и качественно иной характер интерпретации текстов символистской традиции⁴.

Понятия «реальность» и «ирреальность» лежат в основе описания некоторых фактов языка в грамматическом и в лексикографическом отделах современной русистики. Термин «ирреальный», или его славянизированный эквивалент «нереальный», употребляется в Русской грамматике-80 по отношению к синкретичным по значению формам повелительного и сослагательного наклонений. Смысловые границы этого термина ограничены здесь семантикой языковых форм, их модально-временным планом в соотнесенности с отражаемой этим субстратом реальностью⁵. Квалификация общего

⁴Пример адекватного филологического анализа текста и его интерпретации в рамках символистской культуры — книга В.М.Жирмунского «Немецкий романтизм и современная мистика» (1914 г.), в современном литературоведении — исследование А.В.Лаврова «Русские символисты» (2007 г.).

⁵Ср. определение термина П.А.Флоренским как «границы, которою мышление само-определяется, а потому и само-осознается» [Флоренский 1999: 208]. Главное свойство термина состоит, по Флоренскому, в неподвижности: «И чем неподвижнее термин, чем отчетливее и тверже стоит он пред сознанием, тем большая требуется жизнь мысли» [Там же: 209]. Синонимичный термину «ирреальный» — термин «виртуальный» (от лат. *virtualis*), т.е. «возможный, такой, который проявляется при определенных условиях, потенциальный, не имеющий физического воплощения или отличный от реального, существующего» [Крысин 2006: 167] — не освоен грамматической традицией и, насколько нам известно, по отношению к фактам языка не используется. См. один из контекстов с характерным употреблением этого термина в сборнике сер. «Логический анализ языка»: «В игре такая „иная“ реальность осознается ее участниками как вымышленная, фиктивная, виртуальная, или реальность *als ob* („как бы реальность“)» [Постовалова 2006: 73] (выдел. мною. — А.Г.).

значения наклонения как морфологической категории в РГ-80 включает указание на семантику реальности, а модальные значения побудительности, предположительности и потенциальности квалифицируются как «ирреальные» [РГ-80/Л: §1472, 1488]⁶. Понятия о реальном или ирреальном используются в данном издании также при модальной характеристике простого предложения (автор разд. — Н.Ю.Шведова) и при описании семантики условных предложений (автор разд. — М.В.Ляпон). Так, к формам ирреального наклонения в синтаксисе предложения отнесены: сослагательное, условное, желательное, побудительное и долженствовательное наклонения. Спектр значений этих форм с общей семантикой «ирреальности» достаточно разнообразен: от значения возможности реализации действия в неопределенном временном плане или стимулирующей причины до желаемости в сочетании с неосуществимостью или отсутствием осуществления, а также волеизъявления, направленного на осуществимость чего-либо [РГ-80/Л: §1922, 1924, 1926, 1932, 1948]. Статус условных предложений в этом издании предполагает обозначение явления как нереального или потенциального. При этом обозначение условными конструкциями реального явления, как подчеркивает автор данного раздела, недопустимо [Там же: §3000]⁷.

В грамматических исследованиях последних лет по проблеме *ирреалиса* и *ирреальности* при наблюдении подобных фактов предлагается различать семантический компонент ситуаций, «не принадлежащих реальному миру», и грамматическую категорию, граммымы которой выражают данный семантический элемент [Плунгян 2004а: 15]. Так, например, в исследовании Ф.Р.Палмера наклонение понимается как «грамматикализованная модальность», а модальность — как семантическая зона, связанная с выражением возможности, необходимости, желания и т. п. [Palmer 2001: гл. 4]. В работе В.А.Плунгяна, которая посвящена плюсквамперфекту, семантический компонент условного значения описывается дифференцированно и с установкой на

⁶ Автор разд. В.А.Плотникова в этом отношении следует грамматической традиции, представленной в труде [Виноградов 1986: 474–475].

⁷ Такая категоричность сомнительна в случае обращения к поэтическим текстам. Наблюдения над бессоюзными соединениями (сложными предложениями) с недифференцированными смысловыми отношениями в поэтической речи показывают, что условная семантика легко в их составе сочетается с временной или переходит в нее, а модальный план этих образований отличается неоднозначностью: ирреальный и реальный компоненты представлены здесь в отношениях динамической взаимообусловленности [Грек 1989: 92–97].

более точную его квалификацию [Плунгян 2004б]. Так, автор предлагает различать три базовых типа условий, образующих своего рода «шкалу реальности»: статус ситуации оценивается либо как (скорее) реальный, высоковероятный (в случае реального условия), либо как неопределенный (в случае гипотетического условия), либо как нереальный (в случае контрафактического условия) [Там же: 276].

Понятие «ирреальность» используется в «Новом объяснительном словаре синонимов русского языка» под ред. акад. Ю. Д. Апресяна, где оно является важным компонентом при толковании слов типа *вообразать*, *мечтать*, *фантазия*, *чудиться*, *казаться*. С ним связано представление о вымышленных, не соответствующих реальности и не существующих в действительности, мнимых явлениях, которым противопоставлены реально существующие явления, события, факты [НОСС 1: 40–44; НОСС 2: 157]. Ср.: «Для синонима *чудиться*, допускающего возможность реального существования объекта, характерно противопоставление реального и мнимого» [НОСС 1: 470] (разр. наша. — А. Г.). Противопоставление реального (или соответствующего реальности) и не-реального (воображаемого, кажущегося) используется в этом издании также при описании семантики и синонимических отношений лексем, обозначающих мыслительную деятельность, творческий процесс или относящихся к сфере мифологического [НОСС 2: 157].

Квалификация соответствующих форм и языковых фактов в случае их употребления в поэзии и в описании, адекватном поэтическому языку и текстам, между тем оказывается иной. Так, И. И. Ковтунова, наблюдая в поэтической речи формы повелительного наклонения совершенного вида, убедительно показала развитие у них значения, которое «относит событие одновременно к плану прошлого и будущего, к плану реальному и ирреальному» [Ковтунова 1986: 123] (разр. наша. — А. Г.). Для поэтики А. Блока, по наблюдениям И. И. Ковтуновой, характерна семантика неопределенности, которая имеет своим источником ощущение далеких миров, «миров иных» и ощущение «тайных мистических сил в ближнем мире, в непосредственном окружении». С этим типом ощущений связана поэтическая картина зыбкости, призрачности, полуреальности окружающего мира [Ковтунова 2004: 49]. Ее призваны воплощать соответствующие факты языка, многозначные и синкретичные по своей семантике. Среди них оказываются не только формы повелительного наклонения совершенного вида, но и ключевые символы. В этом отношении показательно описание автором слов *даль* и *дальний*, которые в стихах Блока «символизируют мистические миры, миры невидимые, но про-

зреваемые», и слова *ясность*, обозначающего в некоторых контекстах мистический женский образ первой книги стихов Блока [Там же: 22].

Исследования В.Н.Топорова в области мифопоэтического обра- щают внимание на содержательную специфику мифопоэтического слоя в художественном/поэтическом тексте, которая обуславливает семантическую неоднозначность выражающих этот слой языковых единиц. В произведениях И.С.Тургенева, по наблюдениям Топорова, употребление таких слов, как *сон, мечтание, фантазия*, позволяет понять суть стоящих за этими словами состояний. Привлекая для интерпретации смыслов этого ряда слов широкий круг данных из области лексикологии и этимологии, исследователь показывает, что за ними стоит некая «мелкоячеистая, „дрожательно-трепещущая“ структура, которая воспринимается зрительно как мерцание-мигание, поблескивание-посверкивание, как быстро меняющееся, чередование двух фаз — возникновения-появления и исчезновения или — глубже — присутствия и отсутствия, т.е. реального и нереального, что и создает в целом атмосферу фантазмагоричности, призрачности, сомнительности, неопределенности, ирреальности» [Топоров 1998: 188] (разр. наша. — А.Г.). Сочетание реального и нереального, подлинного и мнимого, понятного и непонятного отличает, таким образом, структуру и характер сновидений, требующих для своего восприятия сознания, состояния души, открытых «наваждению», т.е. находящихся за пределами нормы [Там же: 188, 189].

Анализ архаических схем мифологического мышления в творчестве Достоевского, а также мифологического видения Петербурга и особенностей «Петербургского текста русской литературы» позволяет В.Н.Топорову сделать вывод о том, что реальность в мифопоэтической традиции представляет «основную ценность», но достигается она здесь только постольку, поскольку что-то повторяет архетип, коренящийся «в начале», в ситуации «первого раза», восстанавливать которую призван архаический ритуал [Топоров 2003: 350]⁸. Мифопоэтическое, по наблюдениям В.Н.Топорова, укоренено в комплексе видения, идеального и предполагает дальновидение наблюдателя,

⁸ Ср. также: «Только повторение этого рода образует островок твердой земли в окружающем хаосе, только оно отсылает к парадигме и только парадигматическое реально. <...> архаический годовой ритуал как раз и имеет своей целью восстановить утрачивающуюся реальность» [Топоров 2003: 350, 351]. Соотношение мифологического и исторического, мыслимое в позитивистской науке как соотношение воображаемого (или ирреального) и реального, В.Н.Топоров блестяще рассмотрел на примере «Поэмы без героя» Ахматовой [Там же: 326–329].

часто обнаруживающего себя в определениях типа *призрачный* и *прозрачный* и связанного со сферой ночного, иррационального, художественного, интуитивно-мистически непрерывного [Топоров 1995: 290–303]. К способам языкового кодирования «Петербургского текста» В.Н.Топоров относит слова, обозначающие внутреннее состояние (отрицательное и положительное), общие операторы и показатели модальности (типа *вдруг*, *странный*, *фантастический*, *кто-то*), предикаты определенного класса (*встрепенуться*, *проникать*, *возникнуть*, *переступить*, *умножаться* и т. д.), способы выражения предельности (*неизъяснимый*, *бесконечный*), имена и числа, др. Важная роль в этом принадлежит также аранжировке указанных элементов, их синтагматике [Там же: 313–317].

Итак, для лингвистической науки в целом характерно достаточно строгое противопоставление ирреального и реального в мире, его устройстве, порождаемых ситуациях, а также стремление установить список грамматических форм с ирреальной семантикой, в том числе с ирреальным компонентом значения. В исследованиях, принадлежащих к смежным областям лингвопоэтики и мифопоэтического, термин «ирреальное» обычно употребляется по отношению к «мирам иным», невидимым, но прозреваемым, призрачным и зыбким, далеким и неопределенным, таинственным, улавливаемым интуицией, открывающимся в мистическом опыте и ритуальном действе-переживании как восстанавливаемая существеннейшая реальность. Между этой, так сказать, ирреальной реальностью и миром реальным, как последний понимается в самом общем смысле, имеется пограничная зона «полуреального», фантазмагорического, сомнительного.

Вяч. Иванов, чье творческое наследие предстоит в рамках данной проблемы наблюдению, как теоретик символизма, исследователь древностей глубоко осознавал и чувствовал природу символического, реальность укорененного в символе мифа, связанного, в свою очередь, с ритуалом. В символах он видит свернутый миф, а миф, в его понимании, говорит «объективную правду о сущем»⁹. Символическое

⁹ Сходным образом определяет символ и современный филолог, отмечая родство символа и мифа: «Символ и есть миф, „снятый“ (в гегелевском смысле) культурным развитием, выведенный из тождества самому себе и осознанный в своем несовпадении с собственным смыслом» [Аверинцев 2000: 154]. Смысл символа, как отмечает далее тот же автор, объективно осуществляет себя не как устойчивая структура, характеризующаяся логическими отношениями, но как динамическая тенденция. Этот смысл «нельзя разъяснить, сводя к однозначной логической формуле, а можно лишь пояснить, соотнеся его с дальнейшими символическими сцеплениями». Истолкование символического

искусство, по словам Иванова, имеет своим источником мистическое исследование скрытой правды о вещах, мистическое познание бытия — более существенное, чем самая существенность [Иванов 1974: 538, 541, 548, 549, 554]. По Вяч. Иванову, искусство, основанное на символах, «позволяет осознать связь и смысл существующего не только в сфере эмпирического сознания, но и в сферах иных». Реалистический символизм как тип современного символизма являет собой, в его понимании, образец искусства озаменовательного. Таким, замечает Иванов, было и архаическое художество, ибо «предметом его служат вещи не земной, а божественной действительности». Реалистический символист видит и передает «глубочайшую истинную реальность вещей, *realia in rebus*», но вместе с тем не отказывает и в относительной реальности и феноменальному, так как «оно вмещает реальнейшую действительность, в нем сокрытую и им же озаменованную».

Способность гения и гениального поэта ясновидеть и воплощать прозреваемое в художественных образах и символах не означает, пишет Иванов, что путь художника легок и ясен. На этом пути художник проходит «пелену миражных зеркальностей», которые в силу своего дара ясновидеть и воплощать (двойное КАК художника) преодолевает, должен преодолеть. Таков путь реалистического символиста. По-иному складываются отношения идеалистического символиста с реальностью, ибо он оказывается в плену своей мечты, предстает обманчивой Сиреной, волшебником, вызывающим по произволу обманы, которые дороже тьмы низких истин. Идеалистический символизм обращается к впечатлительности, а его пафос — иллюзионизм [Там же: 553]¹⁰.

ческих слоев в тексте поэтому не может быть реализовано по образцу точных наук, но составляет «элемент гуманитарного в собственном смысле слова, т. е. вопрошание о *humanum*, о человеческой сущности, не овеществляемой, но символически реализуемой в вешном» [Там же: 155].

¹⁰ Творчество как динамический процесс, где кристаллизации художественного видения предшествует полоса мнимых образов, особый дар поэта и гения — ясновидеть сущности, проникать в иную, невидимую людям действительность и делиться своим опытом с людьми — темы других статей Иванова, из которых здесь особо выделим две: «О гении» (1908 г.) и «О границах искусства» (1913 г.). Ср.: «Гений — глаз, обращенный к иной, невидимой людям действительности, и, как таковой, проводник и носитель солнечной силы в человеке, ипостась солнечности» [Иванов 1979: 114]; «Самое действительность повседневных реальностей видит художник только с высшей ступени сознания, только тогда он господствует над действительностью» и еще: «Иначе познается познаваемое при посредстве искусства, нежели путем научным, —

Сказанное Вяч. Ивановым в качестве теоретика о творчестве символическом и мифопоэтическом, как можно видеть, со-звучно идеям, которые определяют анализ соответствующего круга текстов в работах В. Н. Топорова, И. И. Ковтуновой и ряда других исследователей¹¹.

Не менее важен в этом отношении опыт Вяч. Иванова как стихотворца и «блестящего поэта» (выражение М. Л. Гаспарова). Анализ «сильных» текстов соответствующего класса из первого сборника поэта («Кормчие Звезды», 1904 г.) убеждает в этом. В цикле «Геспериды», уже само название которого актуализирует мифопоэтическое начало, такого рода стихотворные тексты: «Мистерии Поэта», «Epirhema», «К Фантазии» — следуют друг за другом [Иванов 1971: 579–582], обнаруживая в одних отношениях типологическую близость, в других — типологические различия.

Мистериальность поэтического творчества, таинственная связь поэта с божественной силой, красота поэтического творения составляют главное содержание «Мистерий Поэта». Второе стихотворение — «Epirhema»¹² — тематически и содержательно контрастно по отношению к первому, так как посвящено изображению мнимого творчества, когда «небес не воскрешает косных струн неверный звон», и певца, который лишь мнит себя прорицателем Феба. Стихотворение «К Фантазии» — третье в этом ряду — представляет собой яркий образец метафизической поэзии на тему «фантазии», воспринимаемой и изображаемой в плане мифологическом. Все три стихотворения содержат сильные сигналы архаичности, актуализирующие связь творчества поэта-символиста с ритуалом и мифами древности, и весьма показательны для наблюдений как над семантикой «ирреального» в символистской поэзии, так и над языковыми формами, участвующими в ее выражении.

«Мистерии Поэта». Само название стихотворения подчеркивает таинственную силу, проявляющуюся в поэтическом даре и его плодах, ср.: др.-греч. μυστήριον 'тайное священнодействие, таинство, мистерия' [Др.-гр. 1958/II: 1117]. В мире невидимом носителем этой силы, божественной и благой, является Аполлон, или Феб. В мире эмпирическом, видимом, земном преемником Аполлона выступает *певец*. Появление Аполлона в этом стихотворении изображается как поход, сопровождающийся *тайными* звуками, *священным* гулом, *стройной мерой*

ограниченнее и беспорядочнее в одних отношениях, жизненнее и существеннее — в других» [Иванов 1974: 642].

¹¹ Имена Н. В. Котрелева, В. Постоваловой, Т. В. Цивьян здесь должны быть названы в первую очередь.

¹² Ἐπί-ρρημα 'послесловие', в греч. комедии — речь корифея после па-рабазы, состоящей из 16 трохаических триметров [Др.-гр. 1958/I: 631].

частых кликов. Звуковое разнообразие сочетается в явлении Аполлона с гармонической упорядоченностью и мощью:

В дальнем вихре тайных звуков, в стройной мере частых кликов
Свой поход и приближенье открывает Аполлон.

Струн бряцанье, звон кимвалов, лад и выступь мощных хоров
Песнопевцу возвещают бога песней: гость грядет!

Песнопевец, он же Поэт, преодолевая ограниченность своего эмпирического «я», обнаруживает способность видеть и слышать это посещение бога и быть его восприимчивым на земле, будучи в то же время «восторгнутым от земли»¹³. Сознание певца, говоря словами Топорова, находится в этот момент за пределами нормы, оно открыто сверхъестественной, трансцендентной силе и оказывается настроенным на восприятие тайных смыслов, «иной реальности».

Следующий фрагмент этого стихотворения представляет в некотором роде словарику мифологических тем и сюжетов (всего 7), воспринимаемых певцом в момент встречи с Аполлоном в плане условно-потенциальной модальности: каждый из сюжетов может быть творчески реализован в предстоящий момент:

Повелит ли Муз владыка петь ему советы вышних,
Гесперид ли сны златые, или думы Прометея,
Афродиты ли небесной, Геи ль творческие тайны,
Песни ль Парок, иль Сивиллы роковые прорицанья...

Ирреальность представлена здесь мифологическими именами (*Музы, Геспериды, Прометей* и др.), глагольной формой наст.-буд. времени *повелит* в сочетании с частицей *ли*. Ирреальный смысл, т.е. потенциально возможный в случае реализации каждого из сюжетов в «песне», в трансцендентном плане являет собой реальность высшего бытия, причастного Вечности. Таким образом, ирреальное и реальное в исчисляемых певцом мифах сосуществуют, отражая различия в восприятии мифа и в отношении к моменту речи.

За мифом о посещении певца Аполлоном и исчислением ряда мифов следует сюжетно-нарративный фрагмент, изображающий непосредственное явление Аполлона певцу:

¹³ О том, что есть мир, реальность которого открывается поэтом в минуты творчества, напоминает и одно из ранних стихотворений Иванова, посвященных Пушкину: *Но миру должному тобою мир явленный / Мы зрели, вечностью мгновенной осиян* («На Миг»). Однако эта видимая поэтом реальность, подчеркнем еще раз, как бы не существует для человека, восприятие которого ограничено явлениями эмпирической действительности.

Вот он, вот, средь Муз, на грифах, златокудрый, светлоризый!
Вот каких он хочет песней! Говори, открой уста!
И полна движеньем стройным, грудь певца звучит согласно;
Мощной мере горних хоров вторит отклик уст земных...

Мифологический ряд этого фрагмента: *он* (Аполлон), *средь Муз на грифах, златокудрый, светлоризый, горних хоров*, волевая интенция, проистекающая от Аполлона и обращенная к певцу: *он хочет, Говори, открой*, — сообщают этому фрагменту «ирреальный», т.е. относящийся к «миру иному», божественному, смысл. Указательные, притом повторяющиеся *вот... вот... Вот*, именительный представления с его включенностью в момент речи: *Вот он, вот, средь Муз...*, глагольные формы повелительного наклонения, выражающие адресацию: *говори, открой*, и изъявительного наклонения настоящего времени: *звучит, вторит* — совместно формируют здесь семантику реальности, достоверности происходящего. В структуре целого оба плана: ирреальный и реальный — образуют сложный синтез.

Следующий фрагмент стихотворения, посвященный описанию нарождающейся песни, демонстрирует смысловое развитие текста в направлении от ирреального к реальному, а в реальном — от «эмбриональной» формы песни к ее полновесному звучанию, от внутреннего, предполагающего выход и преобразование, в мир внешний:

Но еще, средь гласов многих, слов неясных дар случайный
Ловит ухо, повторяет несвободных уст отзывы.
Миг — и ближе реют звуки. Полновнятные глаголы
Силу новую приемлют в дружном, стройном сочетаньи.
Красоту родят, как древле, гармонические волны
И лелеют дивный образ: он выходит, он яснее...

Эта динамичная смысловая структура реализуется сменой определений с «апофатикой»: *неясных, несвободных* — определениями со значениями полноты, строя, гармонической красоты: *полновнятные, дружном, стройном, гармонические, дивный*, выражающими победу «аполлоновского» начала. Значимы в этом ряду и образы звучащей речи, располагающиеся в синтагматике текста в направлении от неупорядоченных *гласов многих, слов неясных* — к *полновнятным глаголам*, что *Силу новую приемлют*, и *гармоническим волнам*, которые *Красоту родят* и *лелеют дивный образ*. Порядок следования глагольных предикатов определяется схемой развития от неясного и предполагающего напряженное внимание: *ловит ухо* — к проясненности некоторой закономерности: *повторяет... отзывы*, от хаотического, но целостного проявления звукового образа будущей песни: *реют*

звуки — к возрастанию слов в расчлененности, силе, а затем к рождению и любовному хранению рождаемого: (глаголы Силу новую) *приемлют, родят, лелеют*. Глаголы с процессуальной семантикой: *выходит, яснее* — изображают оплотнение, оформляемость Творения. Развитие смыслов в этом фрагменте не однолинейно и не односторонне, на что указывает в самом конце мифологема творчества как рождения. В этом тоже проявляется специфика формирования семантических зон ирреальности-реальности в мифопоэтическом тексте нового времени и поэтике реалистического символиста в особенности.

В стихотворении «*Epirrhema*» предметом поэтической рефлексии является амбивалентная ситуация: певец и его песня, однако и тип певца, и характер его творчества здесь иные. Свойства и статус певца: *с нечистым сердцем, недоверчивою мыслью, малодушного, таящего корысть земную* — препятствуют встрече с князем Муз, Фебом. Он пролетает мимо певца, а сопутствующие ему звуковые и слуховые образы: *Струн бряцанье, гул кимвалов* — не возрастают, как это бывает при посещении, а замирают в *отдаленье*. Аполлоновы речи, каковых певец оказался недостойным, заменяются *хитроумным вымыслом, мнимым прорицанием*. Творческая немощь, тусклость и мнимость изображаемого певцом подчеркнута в тексте конструкциями с отрицанием при словах положительной семантики: *немногих кликов, бессильной лирой, небес не воскрешает косных струн неверный звон*, а также словами и развернутыми образными конструкциями со значением обмана и подмены: *хитроумно вымышляя, мнит, мнимый (Феба прорицатель), личина*.

«*Epirrhema*», в соответствии с семантикой составляющей название лексемы (напомним: 'в греческой комедии речь корифея после определенной части'), изображает тип творчества комедийного, связанного у древних с театром как местом для зрелища и самим зрелищем, с корифеем, организующим постановку, с постановщиком, каковым являлся сам автор. Комедийность и театральность разрабатываемого сюжета особенно ярко выступает в конце стихотворения:

И на площадь выступает, мнимый Феба прорицатель —
И соперник тайный Феба; но личину видит всякий —
И богов, и смертных хохот судит Марсиеву песнь.

Таков итог искажающего бытие творчества, замкнутости певца на своем вымысле и эмпирической действительности. Но одновременно это и образ комедийного творчества, поэтическое исследование его истоков, его личин и мнимостей в сочетании со смеховой реакцией зрителя.

Стихотворение «К Фантазии» представляет собой поэтическое исследование Фантазии как явления и персонифицированного образа в ее отношении к реальности, жизни. Фантазия, воспринимаемая здесь мифологически, одновременно и адресат поэтического диалога, и предмет поэтического изображения. Фантазия соединяет в себе, на взгляд поэта-символиста, положительные свойства (или действия) и негативные. Создаваемый Фантазией образ мира включает черты реальности. Однако черты реального мира, будучи многократно усиленными и преобразованными Фантазией — др.-греч. *φαντάσια* обозначает демонстрацию чего-либо, психический образ, представление; пышность, блеск; фантазию, психический образ, а также плод воображения, видение [Др.-гр. 1958/II: 1713–1714]¹⁴ — создают ложный образ мира. Эта антиномичность Фантазии в плане реальности и ирреальности передается в стихотворении серией конструкций с лексическими противопоставлениями по типу антонимии, глагольными формами со значением преобразования. См.: *малый меду вес обращая мудро В золота груды* (медь → золото; малый → груды); *растишь многовстречной Жизни Опытную дань в мир без мер и граней* (жизнь → мир без мер и граней); *цепи ты плетешь вязью золотой ...вяжешь* (вязь золотая → цепи). Целый ряд образов и ситуаций, характеризующих Фантазию, содержат безусловно отрицательную оценку: *поступью чуждой ты на ложе входишь, песнь коварная, Сирена, блудница, льстивые уста*. Таким образом, мир, создаваемый Фантазией, включает черты реальности, истинности, но в целом этот мир отличает множество признаков, свидетельствующих о разрыве с реальностью, ее искажении, ложном представлении. Однако это еще не окончательная характеристика Фантазии в плане реальности-ирреальности отражаемого ею мира.

Видение мира и его преобразование Фантазией определяется также типом поэта. Обычно Фантазия, для которой *всех милей поэты*, вяжет крылья желаний, одаряет нежностью, стремится сковать, одним словом, проявляет активность по отношению к поэту и стремится овладеть его волей. Тот из поэтов, кто в этом стихотворении говорит от имени «я», имеет более сильную волю, способен дать направление деятельности Фантазий, ее «пути» подчинить ее речь своей, сковать ее своей Лирой. См.: *Льстивые уста!.. Но запомни слово: Темен будет смысл их немых гармоний, Коль не я тебе передам их речи. Будем*

¹⁴ В древнегреческом, как можно видеть, компонент ирреальности в значении этого слова был не особенно значимым. Зато в латинском, усвоившем данную лексику из греческого, компонент призрачности, иллюзорности, видимости оказывается более значимым [Дворецкий 1986: 582].

же дружны! (XII); По моим следам ты скитаться будешь, Скована навек талисманом звонким — Лирой моею! (XVI). Поэтическая воля, предполагающая, в свою очередь, подчиненность поэта высшей и божественной воле Аполлона-Феба, ослабляет в Фантазии негативный компонент.

Итак, образ мира, создаваемый при участии фантазии, определяется степенью пассивности поэта или его волевой доминантой. У поэта, чья воля властвует над фантазией, этот образ содержит черты, говоря словами Иванова, самой что ни на есть реальной из реальностей. Вопрос о том, в какой мере *ἐνέρεια*¹⁵ греческой лексики, где компонент ирреальности не столь очевиден, могла определить смыслы и сюжет данного стихотворения, особенности слова *фантазия* в этом тексте на русском языке, относится к тайне поэтического творчества, или, по Топорову, к «под-пространству» Творца.

Одно из поздних стихотворений Вяч. Иванова «Вы, чьи резец, палитра, лира...» («Римский Дневник 1944 года») возвращает читателя к теме инобытийности, иной реальности, ирреальности не только в поэзии, но во всяком большом искусстве. Оно — о соотношении зримого, материального и невидимого, но узреваемого Творцом и запечатлеваемого в Творчестве. Написанное в декабрьские дни 1944 г., это стихотворение воспринимается как благодарение, умудренная опытность, свидетельство о полноте жизни земной на пороге, за которым, спустя неполных пять лет, продолжалась жизнь «иная»¹⁶, метафизическое и религиозно-поэтическое узрение которой было свойственно Иванову всегда¹⁷:

¹⁵ То есть идея, форма жидущая, форма formans, которая, прежде чем обнаружиться в слове или мраморе, в звуках или красках, уже духовно определяет «всю полноту и целостность творящей художественной интуиции» [Иванов 1979/III: 679, 681].

¹⁶ Сын поэта, Д. В. Иванов, так ответил на вопрос французских журналистов об отношении Вяч. Иванова к смерти: «Смерть виделась ему как нечто позитивное, доступ к более реальной жизни, чем просто жизнь, „более реальной“, чем сама реальность, и выходящей за ее пределы <...>. Это одна из тех великих идей, которые напутствовали его всю жизнь». И далее о смерти как двери, которая необходима, чтобы выйти к конечному знанию, как один из порогов на пути «к осуществлению истинной формы, сокровенной сути нашего „я“, в которой мы становимся такими, какими нас задумал Бог и какими Он нас помнит» [Обер, Гфеллер 1999: 126].

¹⁷ В высшей степени это свойство Иванова-человека и художника проявилось в «Повести о Светомире царевиче» — этом «баснословии», где читателю предстоит авторское видение умопостигаемой Святой Руси, «сущес-

Вы, чьи резец, палитра, лира,
Согласных Муз одна семья,
Вы нас уводите из мира
В соседство инобытия.

И чем зеркальной отражает
Кристалл искусства лик земной,
Тем явственней нас поражает
В нем жизнь иная, свет иной.

И про себя даемся диву,
Что не заметили досель,
Как ветерок ласкает ниву
И зелена под снегом ель.

[Иванов 1979/III: 643]

Классическая простота формы и прозрачность смыслов этого стихотворения, присутствие в нем образов и цитатообразных фрагментов из романа «Евгений Онегин» и стихотворения «Зимнее утро» Пушкина, лермонтовского «Когда волнуется желтеющая нива...»¹⁸ как бы ручаются за то, что «инобытие» открывается не только поэту-символисту и может быть запечатлено всяким искусством «высокой напряженности». В этом состоит одна из его величайших функций в мире, структура и состав которого не ограничены видимым и ближайшим, земным и вещественно-материальным.

ЛИТЕРАТУРА

- Аверинцев 2000 — *Аверинцев С. С.* Символ // *Аверинцев С. С.* София-Логос. Киев, 2000.
- Аверинцев 2001 — *Аверинцев С. С.* «Скворешниц вольных граждан...» Вячеслав Иванов: путь поэта между мирами. СПб., 2000.
- Виноградов 1986 — *Виноградов В. В.* Русский язык (грамматическое учение о слове). М., 1986.
- Грек 1989 — *Грек А. Г.* Бессоюзные соединения как категория поэтической речи. Дис. канд. филолог. наук. М., 1989.
- Др.-гр. 1958 — *Древнегреческо-русский словарь* / Сост. И. Х. Дворецкий. Под ред. С. И. Соболевского. М., 1958. Т. I, II.

ственно отличное от всего, что дает эмпирическая русская история» [Аверинцев 2001: 118].

¹⁸ Все три реминисценции отмечены Р. Е. Помирчим [Иванов 1976: 502].

- Дворецкий 1986 — *Дворецкий И. Х.* Латинско-русский словарь. М., 1986.
- Иванов 1976 — *Иванов Вячеслав.* Стихотворения и поэмы. Л., 1976.
- Иванов 1971, 1974, 1979 — *Иванов Вяч.* Собрание сочинений. Брюссель, 1971. Т. I; 1974. Т. II; 1979. Т. III.
- Ирреалис 2004 — Ирреалис и ирреальность. Исследования по теории грамматики. Т. 3. М., 2004.
- Ковтунова 1986 — *Ковтунова И. И.* Поэтический синтаксис. М., 1986.
- Ковтунова 2004 — *Ковтунова И. И.* Поэтика Александра Блока. Владимир, 2004.
- Крысин 2006 — *Крысин Л. П.* Толковый словарь иноязычных слов. М., 2006.
- НОСС — Новый объяснительный словарь синонимов. Под ред. акад. Ю. Д. Апресяна. М., 1991. Т. 1; 2000. Т. 2.
- Обер, Гфеллер 1999 — *Обер Р., Гфеллер У.* Беседы с Димитрием Вячеславовичем Ивановым. СПб., 1999.
- Плунгян 2004а — *Плунгян В. А.* Предисловие // Ирреалис и ирреальность. Исследования по теории грамматики. Т. 3. М., 2004.
- Плунгян 2004б — *Плунгян В. А.* О контрафактических употреблениях плюсквамперфекта // Ирреалис и ирреальность. Исследования по теории грамматики. Т. 3. М., 2004.
- Постовалова 2006 — *Постовалова В. И.* «Храмовое действо» как символическая реальность // Концептуальные поля игры. Сер. Логический анализ языка. М. 2006.
- РГ-80 — Русская грамматика. М., 1980. Т. I, II.
- Топоров 1986 — *Топоров В. Н.* О некоторых предпосылках формирования категории притяжательности // Славянское и балканское языкознание. Проблемы диалектологии. Категория посессивности. М., 1986.
- Топоров 1995 — *Топоров В. Н.* Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995.
- Топоров 1998 — *Топоров В. Н.* Странный Тургенев (Четыре главы). М., 1998.
- Топоров 2003 — *Топоров В. Н.* Петербургский текст русской литературы. М., 2003.
- Топоров 2005 — *Топоров В. Н.* О категории притяжательности // *Топоров В. Н.* Исследования по этимологии и семантике. М., 2005. Т. 1.
- Флоренский 1999 — *Флоренский П. А.* Мысль и язык // Свящ. П. Флоренский. Сочинения: в 4 т. М., 1999. Т. 3 (1).
- Palmer 2001 — *Palmer F. R.* Mood and Modality. Cambridge University press, 2001.

СОВРЕМЕННОСТЬ КАК ФИКЦИЯ В ПОЭТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ КИЕВСКИХ НЕОКЛАССИКОВ

В последние годы к украинскому читателю возвращается творчество писателей, чьи имена долгие десятилетия были вычеркнуты из литературной летописи XX века. Среди них особое место занимает художественное наследие Мыколы Зерова, Михайла Драй-Хмары, Освальда Бургардта, Павла Филипповича и раннего Максима Рыльского, вошедших в историю национальной литературы как киевские неоклассики. Поэты, культивировавшие в своем творчестве философичность и интеллектуализм поэзии, ориентацию на традиции высокой классики, эстетические критерии в оценке художественного произведения, разделили трагическую судьбу тысяч репрессированных, а потом несправедливо преданных забвению. Зеров, Драй-Хмара и Филиппович были расстреляны как «враги народа». Поэзия Бургардта, эмигрировавшего в Германию и писавшего под именем Юрия Клена, в Украине не издавалась, а о периоде содружества и сотворчества Рыльского с киевскими неоклассиками критики либо стыдливо умалчивали, либо говорили как об «экспериментаторском» или как о времени «мучительных исканий» путей к реализму. Но именно неоклассики, и в частности их лидер Мыкола Зеров, сыграли важную роль в стремительном развитии украинского Ренессанса 20-х годов.

Зеров-переводчик создал непревзойденные и на сегодняшний день интерпретации античной лирики, поэзии французских «парнасцев» и многих других классических поэтов. Он также автор ряда теоретических работ, в которых разработаны принципы художественного перевода.

Зеров-критик принимал активнейшее участие в так называемой литературной дискуссии 1925–1928 гг., поддержав и теоретически обосновав позицию М.Хвелевого относительно «психологической Европы», которая у последнего фигурировала как символ культурной традиции и стимул к повышению «нашей собственной квалификации». В своих публицистических выступлениях Зеров говорил о необходимости синтеза традиции и новаторства, национального своеобразия и общечеловеческих ценностей, культурного опыта для динамического развития украинской культуры и ее интеграции в мировое художественное пространство. Перу Зерова принадлежат и основа-

тельные исследования по истории украинской литературы, многочисленные критические статьи.

В своем оригинальном поэтическом творчестве Зеров отдавал предпочтение сонетам и александрийским стихам, которым свойственны совершенство формы и глубокое философское проникновение в бытие, тонкий лиризм и выразительный культурологический подтекст.

Образы и мотивы мировой, в частности античной, литературы в поэзии Зерова во многом служили исходным материалом для формирования автором своего особенного художественного мира, а для современных ему критиков были серьезным раздражителем и предлогом обвинить поэта в движении «против течения».

От «невнимания к современной жизни», «сознательного игнорирования проблем современности» и даже до «попыток возродить буржуазное искусство» и создать «замаскированную оппозицию пролетарской литературе» — таков диапазон критических изречений в адрес Зерова и киевских неоклассиков. Уже в 20-х гг. прошлого века такие «оценки» стали едва ли не определяющими для их творчества на долгие годы. Вместе с тем в таких отзывах, естественно предвзятых и по сути своей идеологически ангажированных, просматривается определенная тенденция: избавить образ мира, создаваемый поэтами-неоклассиками (и прежде всего Зеровым), от связи с настоящей действительностью и даже больше — с реальным миром вообще. Парадоксально, но во времена хрущевской оттепели в тех сравнительно немногих работах, которые были посвящены анализу оригинальной поэзии Зерова, наоборот — позиционировалась тесная сопричастность его творчества с проблемами дня насущного. Еще М.Рыльский в статье, вошедшей предисловием к «Избранному» Зерова 1966 г., говорил о способности поэта искать вдохновения на пожелтевших древних страницах, окропляя их живой водой своего творческого «я» — и трепетной современности [Рыльский 1966]. В последние десятилетия трудно найти автора, не солидарного с мнением о поэтическом образе мира неоклассика, в котором, вопреки необоснованным обвинениям в «уходе от современности», содержатся все сущностные, чрезвычайно точные и емкие ее характеристики. Действительно, используя имплицитный и эксплицитный варианты интертекстуальной стратегии, Зеров таким образом синтезирует образы и мотивы различных мифолого-литературных систем, что фабула «узнаваемых» произведений в его стихах трактуется как реальность, соотносимая с моментом высказывания. В обширном арсенале образов и мотивов не только античного, но и библейского, собственно литературного происхождения, поэт ищет идейный и эстетический эквиваленты событий и настроений общественной, духовной и личной жизни. Для Зерова, неоднократно обвиненного в «побе-

ге от действительности», все эти сферы жизни — неразделимы. Но, как нам кажется, в его творчестве можно найти и иное функциональное применение культурологической парадигмы — не только создание художественной (буквальной или аллегорической) дефиниции современности, но и ее отрицание, провозглашение реальности нереальностью, что и ставим целью доказать.

Формирование художественного образа современности как фикции в поэзии Зерова происходит на макро- и микроуровне. На уровне содержания это проявляется, как правило, в активной интерпретации автором образов и мотивов мировой литературы, прежде всего античной, а также в полифункциональном использовании мотива сна. На жанровом уровне — в трансформации идиллического канона, на интонационном — в ироническом «озвучивании» изображаемого.

Для Зерова образы античности — это некое средство измерения в восприятии современности. Поэт создает свой мир, населенный персонажами, каждый из которых несет определенную художественную и идейную нагрузку. Его интерпретациям античных образов свойственно своеобразие, а в отдельных случаях и существенное отличие от традиционного истолкования. Довольно часто мифологемы преобразовываются в поэзии Зерова в философемы. Так, в сонете «Хирон» образ кентавра, сохраняя первоначальные характеристики, известные со времен древнегреческой литературы, для автора прежде всего — поэт и носитель цивилизаторского начала: *Кентавр творить — і сім очеретин, / І тонкий звук виказують поета*. Исходя из этого, Зеров предлагает новое понимание образа Хирона как символа победы гармонии творчества над общественным хаосом. Противостояние цивилизации варварству во всех его проявлениях — одна из центральных проблем творчества Зерова. В обращении к истокам мировой культуры, к классической литературной традиции (творческое кредо Зерова «Ad fontes!») поэт видел путь решения этой проблемы. Поэтому, как нам кажется, образ Хирона, амбивалентный и по форме, и по содержанию, для неоклассика — олицетворение сути античного искусства, соединяющий в себе два начала: аполлоническое и дионисийское.

Свое представление о красоте, истинность которой подтверждается обязательным наличием моральных качеств, Зеров предлагает читателю в сонетах «Навсикая», «Телемах в Спарте», «Саломея». В последнем из названных произведений символика образа Навсикаи более насыщена благодаря противопоставлению ей библейской Саломеи: *Душе моя! Тікай на корабель, / Пливи туди, де серед білих скель / Струнка мов промінь, чиста Навсікая*. Для Зерова Навсикая — материализовавшийся принцип калокагатии — символическая триада красоты, добра и справедливости.

В образах Одиссея (цикл «Мотивы „Одиссеи“») и Тесея из одноименного сонета традиционная героико-приключенческая характеристика уступает место размышлениям автора о роли лидера, несущего ответственность за тех, кто рядом, и о цене, которую он платит, выбирая между чувствами и долгом. Для постановки этих и других актуальных вопросов этического и эстетического плана Зеров считал целесообразным использование образов античности, мира, в чертах которого поэт узнавал свой сегодняшний день. И вместе с тем, античный мир, целостный в своей борьбе противоположностей, поэт противопоставлял современности, не только предопределяющей исход такой борьбы, но и исключаяющей, с его точки зрения, саму возможность разумного прогресса. Зеров ни в коей мере не идеализирует античность, но именно в ней, а не в современности, находит художественные эквиваленты своих идей и взглядов. Современность такого материала поэту предложить не может, она ущербна своей трагической упрощенностью, дисгармоничностью, а значит, не существует для Зерова.

Образ сна в поэзии неоклассика — интенциональная по форме и содержанию единица художественного текста, концентрирующая в себе весомые интенции автора, ибо архетип сна, как и миф, дает возможность выявить в художественном тексте авторское подсознательное косвенно, через слово, которое в мифологическом пространстве сновидения приобретает значение символа. Среди возможных трактовок образа сна Зеров предлагает традиционные, прошедшие апробацию в мировой литературе: сон-смерть, сон-счастье, сон-реализация желаний, сон как духовное испытание лирического героя, сон-кульминация и развязка духовного конфликта. Одновременно автор предлагает прочтение мифологемы сна как единицы культурологического пространства, в рамках которого формируется образ современности как фикции. Показателен в этом отношении сонет «Сон Святослава».

В комментариях к стихотворению Зеров говорил о проблематичности понимания его содержания и подчеркивал, что «эта вещь мне приснилась» [Зеров 1990]. Как и сонет «Данте», в котором, кстати, тоже задействован мотив сна (сон как форма повествования, пусть неназванная, но известная читателям из содержания «Божественной Комедии»; и сон как средство движения от конкретного (средневековой легенды о Данте — чернокнижнике и маге) к обобщенному (Поэт — посланник высшей космической силы, в котором синтезированы основные дефиниции демиурга: мастер, свободный художник — творец мироздания — идеальное начало), «Сон Святослава» включен в цикл, озаглавленный автором «*Cor anxium*» (опечаленное сердце). Таким образом, объединяющим для стихотворений цикла Зеров провозглашает не рациональное начало, а сердце, настроение, то, что рождается

в подсознании. В свое время Е. Мелетинский, говоря об особенностях неомифологизма XX в. (а произведения Зерова вполне можно считать образцом такого творчества в украинской поэзии 20–30-х гг. прошлого века), подчеркивал его «парадоксальную связь с неопсихологизмом» [Мелетинский 1995], в результате чего в литературе появляется большое количество произведений, «подсказанных» писателю подсознательно во время сна или забытья.

Написанный под влиянием внешнего «раздражителя», в роли которого выступает эпизод «Слова о полку Игореве», и «раздражителя» внутреннего, обозначенного самим автором — *Я бачив сон*, сонет превращается в «сновидение во сне», где сон как традиционный литературный прием тесно переплетается со сном как физиолого-психологическим состоянием человека. На первый взгляд перед читателем рассказ князя Святослава о своем страшном сне, пророчествующем катастрофу падения княжеского дома, предательство и смерть: *Я зір будив — обводив кругогляд / І відчував крізь димку нерухому, / Як обсіпався дах княжого дому, / Як крикав крук і як клубочивсь гад*. Тревожные чувства переполняют Святослава в ожидании известий о походе князя Игоря, все вокруг наполнено холодом («студена ніч») и темнотой («чорний день»). Но в заключительном терцете сонета в образ древнего мира времен князя Святослава стремительно врывается современный автору реквизит — *антена гнеться, як струнке стебло* — и разрушает пусть наполненный тревогой и беспокойством, но целостный мир.

Всего одна деталь, но она рождает сомнения: только ли о прошлом говорит Зеров, а князь Святослав — это ли не alter ego самого поэта, предрекающего себе и своему поколению времена тяжелых испытаний? Заметим, что исследователь творчества киевских неоклассиков Ю. Шерех называл способность пророческого предчувствия, так называемый «комплекс Кассандры», одной из характерных черт Зерова-поэта [Шерех 1964].

Попытку однозначно определить время происходящего сдерживает специфический хронотоп стихотворения. Художественные время и пространство организованы в нем по законам сновидения. Различные временные моменты: прошлое — время князя Святослава, настоящее — время автора и трагическое будущее обоих (*Яка крізь серце протекла Каяла*) — сфокусированы в одной точке. Такое наслоение — времен, личностей, масштаба обобщения и конкретики — во многом благодаря синтезу культурологического подтекста произведения и мотива сна создает образ современности зыбкий, без границ и без гармонического начала. А сам текст сонета становится местом пересечения других текстов, полилогом, за М. Бахтиным, с предшественниками и современниками.

Еще один пример использования образа сна как средства изображения современности встречается в поэзии «Двері у стіні». Несколько необходимых замечаний. Стихотворение написано в октябре 1934 г. во время путешествия Зерова по Днепру. Путешествие стало своеобразным прощанием поэта, уже изгнанного с должности профессора и заведующего кафедрой украинской литературы Киевского университета, пережившего заседание университетского общества «Литератор-марксист», на котором прозвучал доклад «Буржуазно-националистическая концепция Зерова и хвйлевизм», и пребывающего в ожидании ареста. Пройдут месяцы мучительного ожидания, и, уже живя в Москве, в апреле 1935 г., за день до ареста, Зеров напишет в письме, что из всего цикла «Дніпро» именно стихотворение «Двері у стіні» ему нравится больше всех. Угадывать причину особой авторской симпатии — дело неблагодарное и, по сути, обреченное быть только гипотезой. И все же, среди стихотворений, входящих в состав цикла, «Двері у стіні», по нашему мнению, — один из ярчайших примеров «открытости» авторского варианта неоклассики: в произведении органично синтезируются неоклассическое и романтическое начала.

Обостренное ощущение дисгармонии окружающего мира питает романтизм поэта: он тянется ко всему таинственному, сверхъестественному. «Способом» проникновения в эту сферу Зеров избрал образ сна, сна как таинственного разговора, интимного общения с читателем, закодированного уникального послания: *Цей сон на яві ніби бачив я: / Нараз потухли шуми пароплавні, / Лиш очерет, та ясновербі плавні, / Та многоводна дужа течія*. В одной строке у автора сосуществуют бинарные оппозиции: «сон» и «явь», «остановка» (парохода) и «движение» (реки). Но этим антитезисность произведения не исчерпывается. Дальше, и это второй аспект авторского романтического начала, вырисовывается антитеза «прошлое» — «настоящее». Склонность к идеализации прошлого, которая прорастает из разочарования в современности, воплощается в мотиве «золотого века»: *Країно див загублена моя, / Я знав тебе у дні щасливі, давні, — / Та напосіли злидні непоправні, / І я забув святе твоє ім'я*. Важно отметить, что мотив «золотого века» довольно часто пробуждал поэтические рефлексии автора. Он пронизывает цикл «Зодиак», наделяет трагической тональностью цикл «Параду», непосредственно или косвенно звучит в элегических дистихах. Но если в названных произведениях присутствует оппозиция «прошлое как гармония — современность как хаос», то в стихотворении «Двері у стіні» особая ситуация. Настоящее освещается спокойствием (*Не стало їх, тривоги і мотанини*), тихой радостью. Происходит чудо — *Відкрились знову двері у стіні* (важно запомнить: это не просто сон, а сон чудесный!). Образ «дверей в сте-

не», заимствованный Зеровым из одноименного рассказа Г. Уэллса, декорируется очень точным и, даже кажется, национально маркированным пейзажем: *Стих очерет, замишілі сплять колеса / І чаплі, знявшия на міліні, / Перелітають золотисті плеса*. Вот он — момент, когда читатель готов поверить в возвращение «золотого века», готов радоваться, ликовать. Но автор неспроста поэтапно «убирал» все звуки внешнего мира. Сначала *потухли шуми пароплавні*, а потом и *стих очерет*, и вместо возгласов радости и пафосного «ура» на короткий миг (но достаточный для того, чтобы открыть дверь) воцаряется абсолютная тишина, в которую окунается реальность. Реальность, которая на самом деле ирреальность, ведь автор предупреждал: *цей сон на яві ніби бачив я*, — наделена узнаваемыми чертами: в ней невозможна гармония внешнего (общественного) и внутреннего (личностного), разве что во сне и всего на миг. Более того, как нам кажется, в этом произведении Зерова присутствует, точнее, намечается идея, которую условно можно назвать «не-цельность бытия» или «кривизна пространства». Дверь в стене — это своеобразный ход в другие миры, в которых действуют принципиально другие законы существования и материального, и духовного мира.

Стихотворение «Двері у стіні» примечательно не только использованием архетипа сна как средства восприятия действительности, но и тем, что идиллическое настроение, традиционно определяющееся мотивом «золотого века», трансформируется, благодаря переходу буквального смысла в подтекст, аллгорию, в произведение с выразительными лирико-драматическими интонациями. Идиллия, преобразившаяся в иллюзию идиллии, — характерный путь развития этого жанра в творчестве Зерова.

По сравнению с элегией жанр идиллии поэт использовал нечасто. Но почти всегда с целью интерпретации идиллического канона путем активного введения в лирическую основу эпических и драматических элементов (цикл «Зодиак»), выходом за рамки традиционной идиллической тематики. «Запрограммированность» на поэтизацию сельской жизни автор расширяет до поэтизации природы вообще, а известное со времен античности противопоставление города — деревне имеет у него принципиально иное значение: образы города и села для поэта — это части единого целого, без которых лирический герой не мыслит мировой гармонии. Комплекс чувств лирического героя, в отличие от античной буколки, не заранее определен, а формируется в результате сложного процесса внутренних переживаний, в первую очередь по поводу сложности мира, в котором живет герой. Авторская модификация жанра идиллии обусловлена и выразительной культурологической окраской. Но, по нашему мнению, наиболее продуктивный спо-

соб, избранный Зеровым для изменения идиллического канона, — появление драматических и далее трагических интонаций через четко обозначенное движение времени от настоящего в прошлое (цикл «Параду») и вкрапление автобиографических мотивов. Эти приемы, в конце концов, трансформируют идиллию либо в элегию, либо в пародию на идиллию.

Показателен в этом плане цикл «Параду», название которого поэт позаимствовал из романа Э. Золя «Грех аббата Мюре». Параду для Зерова — это и символ благословенного труда на лоне природы, и, как объяснял в комментариях сам автор, район «киевской Лукьяновки», и образ спокойствия, внутренней гармонии, уединения во имя творчества. Но, исходя из даты написания «Параду», а это конец 1931 г., в стихотворениях цикла превалирует напряженная драматургия: *Тому, хто сам як вечір сутеніє, / Хто нидіє в камінній летаргії, / Твій подув, Параду, благословен.* Зеров все четче осознает трагизм реальной действительности, и это ощущение воплощается в соответственно эмоционально маркированных образах: «тягар речей, обставин, люду і примар», «пилу впа в на душу сірий шар», «злий вітер», «чорний слід». В стихотворении «Ще вчора думка мовила твереза» Зеров разрабатывает не идиллическую, а уже трагическую ситуацию: *Все, що було недавно молоде, / Вже обтинають невблаганні леза,* в результате идиллия превращается в элегию, а образ современности утрачивает свое этическое начало, а с ним и возможность удерживать мировое равновесие. Для Зерова, во всем стремящегося к гармонии, такая ситуация в принципе неприемлема. Поэт, исповедовавший принципы калокагии, мечтал о воплощении в едином целом Добра, Красоты и Справедливости. Утрата хотя бы одного из составляющих для Зерова равноценна утрате смысла существования и создает предпосылки для превращения в фикцию.

Итак, осознанное формирование Зеровым образа современного мира как фикции закономерно, ибо в атмосфере 20–30-х гг. XX в. для украинского неоклассика, как, впрочем, и для многих других, в таком отношении к реально происходящему воплотилась одна из форм его восприятия. Зеров — поэт, на первый взгляд вполне равнодушный к политике, поглощенный работой художника, который творит свой мир, населенный персонажами мифов и книг, но на самом деле он, разумеется, лучше многих знал, что за «підлі і скупі часи» выпали на его долю, и катастрофичность как определяющая черта этого времени передана у него неизмеримо глубже, полнее, чем у многих из его современников. Однако красноречивых опознаваемых или наглядных знаков этой эпохи крушения миропорядка в его поэзии читатель вряд ли найдет. Современность как фикция — это эстетическая реакция

Зерова на катастрофичность современности, которую он воспринимает, но не принимает как таковую.

ЛИТЕРАТУРА

Зеров 1990 — *Зеров М.* Твори: В 2 т. Т. 1. Киев, 1990.

Мелетинский 1995 — *Мелетинский Е.* Поэтика мифа. М., 1995.

Рыльский 1966 — *Рильський М.* Зеров — поет і перекладач // *Зеров М.* Вибране. К., 1966.

Шерех 1964 — *Шерех Ю.* Легенда про український неокласицизм // Не для дітей: Літературно-критичні статті і есеї. Нью-Йорк, 1964.

М. В. ЛЯПОН

ИСТИНА, УЛИЧАЕМАЯ ВО ЛЖИ

Чистая и простая правда редко бывает чистой и никогда простой.

О. Уайльд

Каждая сторона медали скажет про другую, что она обратная.

Д. Рудый

Истина и ее семантический антипод (*ложь*) — одна из приоритетных тем, издавна отражаемых в афористике.

При истолковании *истины* (абстракции фундаментальной и в то же время трудноуловимой для адекватной дефиниции) наше сознание ищет когнитивной поддержки и находит ее в образе *антипода*, или «контрагента»¹ (заметим, что в самих этих обозначениях противочлени истины заключен намек на изоморфизм искомой абстрактной сущности и живого существа, действующего субъекта). Афористика как раз дает материал, подтверждающий такой изоморфизм. Истина, отредактированная правдой жизни, превращается в максимум, — формулу поведенческой стратегии. Изучая семантическую эволюцию слов «истина» и «правда», Н.Д. Арутюнова пишет: «В современном русском языке *правда* и *истина* употребляются синонимично в значении соответствия высказывания действительности», при этом, «получая

Работа над статьей поддерживалась грантом РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Текст как отпечаток личности» (№ 05-04-04038а).

¹ Вопрос о том, существует ли сама оппозиция, не имеет однозначного ответа. «Исключает ли истина (ведь она единственная) своего контрагента? Означает ли признание за истину одного из членов оппозиции элиминацию другого? Для разных контрагентов истины этот вопрос решается по-разному» [Арутюнова 1995: 4], ср. дифференциальные признаки, выделенные В. Г. Гаком в его очерке «Истина и люди» [Гак 1998: 44].

обобщенное значение, *правда* указывает не на соответствие «поверхностной действительности» (фактам), а на соответствие глубинной природе вещей, подлинность, в противоположность фальшивому, мнимому» [Арутюнова 1995: 16, 18]. Этот «нюанс» подтверждается афористическими контекстами, в которых из двух номинаций (*истина* или *правда*) обычно каждая используется как эквивалент другой, — в противовес *лжи* (тоже в обобщенном значении несоответствия действительности).

Вместе с тем в содержании афоризмов на данную тему явно просматривается антидогматическая установка мыслителей разных эпох — разоблачить стереотип, согласно которому истина — «герой» безусловно положительный, а ложь — ее антипод со знаком «минус». Бескомпромиссная конфронтация, сконструированная по принципу черно-белой логики, является атакуемой мишенью, причем, сопоставляя мнения мыслителей разных стран и разных времен, можно убедиться в том, что стратегия опровержения остается неизменной: истину уличают во лжи, т. е. она оказывается дискредитирована, а ложь, наоборот, — реабилитируется. Материалы энциклопедий афористики позволяют заключить, что цель разрушителя ментальных стереотипов истины и лжи — не идеализировать эти сущности, а сказать о них всю правду, изучив свойства истины и лжи прагматически адаптированных — «погруженных в жизнь».

Афористические формулы об истине и лжи демонстрируют проницательность и пластичность человеческой мысли, потребность человека рассмотреть теневые стороны этих сущностей и творчески «переписать» их портреты, придав изображению большую реалистичность. Во многих случаях афоризм открывает какой-нибудь компрометирующий секрет истины — не всегда осознаваемый или такой, о котором люди лицемерно умалчивают. Наоборот, рейтинг лжи в афористике принято поддерживать.

1. Истина и аксиома. Сам тезис о самоочевидности аксиомы подвергается сомнению. Аксиомы — главная мишень для генератора парадоксов. «Аксиома — это теорема, доказывающая свое алиби» (Б. Брайнин); «Придет время, когда и теорию относительности признают ошибочной» (Г. Новодевичий); «Аксиома — это истина, на которую не хватило доказательств» (В. Хмурый); «Истина бывает часто настолько проста, что в нее не верят» (Ф. Левальд); «Существуют истины настолько очевидные, что вбить их в головы невозможно» (А. Маре); «Берегитесь, фундаменты! Идут раскопки истины» (В. Лебедев); «Не всё то, что невозможно доказать, является аксиомой» (Ц. Меламед). Последний пример — результат вторичной рефлексии: «аксиома — это недоказуемое»; автор афоризма предостерегает от отождествления аксиомы и недоказуемого. О подобных парадоксальных остротах

можно сказать словами того же автора: «Есть остроты столь тонкие, что их никто не замечает» (Ц. Меламед).

2. Рейтинг лжи и истина со знаком «минус». Общая оценка оппозиции «истина/ложь» противоречива. В одних случаях она осмыслена как бескомпромиссная конфронтация двух полярных сущностей; внимание к «контрагенту» обязательно: «Будь истина посередине, не было бы крайностей» (Ю. Скрылев); «Даже если на нашей стороне правда, посмотрите, что на другой стороне» (Л. Леонидов); В других случаях, наоборот, — как встреча конкурирующих сущностей, «соперничество», которое не следует понимать как беспринципность истины («Один волосок отделяет истину от лжи»; персидская посл.).

Авторы афоризмов остроумно иронизируют, показывая близость антиподов, и опровергают тезис, согласно которому «истина» и «ложь» — две взаимно исключающие (полярные) сущности. При устранении одного из антиподов (безальтернативная версия) разрушается оппозиция как таковая: «Я никогда не лгу, потому что я не знаю всей истины» (Д. Рудый); «Противоположностью истины является другая истина» (Вольфрам); «Правда в том и состоит, что ее ищут» (Л. Леонидов); «Поиск истины важнее, чем обладание истиной» (А. Эйнштейн). Категорический отказ от оппозиции прочитывается в парадоксе П. Неруды: «Истина состоит в том, что нет истины».

Ложь может толковаться как смысловой исход, порождающее начало для своего антипода («Не будь лжи, не стало бы и правды»; русская посл.). Ложь — норма, правда — аномалия: «Говорите правду — и вы будете оригинальны» (А. Вампилов). Аналитическая мысль, подчеркивая, в первую очередь, уязвимые стороны *истины* и заостряя внимание на привлекательных сторонах *лжи*, уравнивает тем самым их позиции на шкале ценностей.

Ложь реабилитирует себя тем, что работает в пользу истины: «...Не-истина, гиперболизируя какие-то черты истины, может сделать ее более ощутимой: *Истина как свет ослепляет*. Напротив, ложь — прекрасные сумерки, которые подчеркивают каждый предмет» (А. Камю); «Всё, в том числе и ложь, служит истине. Тени не гасят солнца» (Ф. Кафка); «В конечном счете ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей» (У. Ченнинг).

Лжец вызывает сочувствие, симпатию, снисхождение: «Лжец — человек, не умеющий обманывать; льстец — тот, кто обманывает обычно лишь глупцов» (Л. Вовенарг); «До чего же легковверны лжецы! — Они верят, что им верят» (Ж. Кнорр); «Верьте лжецам, иначе они не смогут лгать» (М. Генин); «Легче всего обмануть самого себя» (Демосфен). Лжец оказывается невольным источником полезной (правдивой) ин-

формации: «Правду обычно говорит тот, кто ее не знает, а ложь — тот, кто знает правду» (К. Мелихан); Поэтому: «Ложь открывает тому, кто умеет слушать, не меньше, чем правда. А иногда даже больше!» (А. Кристи); «Если подозреваешь кого-либо во лжи — притворись, что веришь ему; тогда он лжет грубее и попадаетсЯ. Если же в его словах проскользнула истина, которую он хотел бы скрыть, — притворись неверящим; он выскажет и остальную часть истины» (А. Шопенгауэр). В пользу лжи, наконец, — ее способность полностью превращаться в правду: «У каждой лжи есть хотя бы один луч — в правду, и вот она вся идет по этому лучу» (М. Цветаева).

Таким образом, рейтинг лжи (не-истины), если взвесить и сложить такие ее преимущества, как утилитарно-прагматическую пользу, безупречность с точки зрения этики и даже собственно эпистемическую (гносеологическую) ценность, оказывается достаточно высоким.

Истина, как и ложь, многолика: «Если была бы только одна [выделено мною. — М.Л.] истина, невозможно было бы написать 100 картин на один и тот же сюжет» (П. Пикассо); «У истины один цвет, у лжи — много» (санскритская посл.).

Сильный аргумент, компрометирующий истину, — правдоподобие. «Ложь может быть менее лживой, чем искусно подобранная правда» (Ж. Ростан); «Полуправду вдвойне труднее разоблачать, чем чистую ложь» (О'Мейли); «Самая опасная ложь — это слегка извращенная правда» (Г. Лихтенберг); «Правдоподобие — самый большой враг истины» (Серже); «Истина должна быть полной: если в книге 80% правды, значит она на 100% лжива» (Ростан). В конкуренции антиподов побеждает изощренная ложь: «Ложь иной раз так ловко прикидывается истиной, что не поддаться обману значило бы изменить здравому смыслу» (Ларошфуко).

Правдоподобие (ложь, смешанная с правдой) опасно тем, что приводит к заблуждению. Заблуждение (то, что мы пытаемся реабилитировать, отождествляя с полезным вымыслом) тоже способно обернуться ложью: «Заблуждение тем опаснее, чем больше истины оно содержит в себе» (А. Амьель); «Правильно ли я заблуждаюсь?» — иронизирует А. Кнышев, намекая на то, что в заблуждении может быть своя логика, от которой не следует отклоняться. Это значит, что контролируемое заблуждение — по существу, намеренная ложь. Между тем Л. Толстой приравнивает заблуждение к творческому вдохновению («Не могу работать — кончилась энергия заблуждения»).

Истина вызывает антипатию по разным причинам. Например, истины, ассоциируемые с безошибочностью, безупречной логикой, раздражают своей банальностью: «Есть ошибка, которую не прощают, — это безошибочность» (А. Фюрстенберг); «Терпеть не могу логики, она

всегда банальна и нередко убедительна» (О. Уайльд); «Неопровержимая логика характерна для маньяка» (А. Кристи); «Как раз те люди, которые во что бы то ни стало хотят всегда быть правыми, чаще всего бывают неправы» (Ларошфуко).

Истина, которой злоупотребляют, превращается в шаблон. Навязчивой правде человек сопротивляется, она становится подозрительной или вообще утрачивает всякий смысл: «У нас есть искусство, чтобы не умереть от истины...» (Ф. Ницше);

Да будет проклят правды свет,
Когда посредственности холодной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угождает праздно! — Нет!
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман?... (Пушкин).

Но в защиту старых общепризнанных истин выдвигаются свои аргументы: «Великие истины слишком важны, чтобы быть новыми» (С. Моэм); «Время ничего не значит для великих идей, которые так же свежи и юны теперь, как сотни лет тому назад, когда они были высказаны впервые» (С. Смайлс); «Наиболее вздорное из всех заблуждений — когда молодые одаренные люди воображают, что утратят оригинальность, признав правильным то, что уже было признано другими» (Гёте).

Стереотипу «правды-мученицы» противостоит образ несправедливой, жестокой правды, которая сама требует жертв: «На торжество справедливости пострадавших не приглашают» (Г. Малкин); «Правда так жестока, что жестоко называть ее правдой» (Л. Леонидов); «Ты узнаешь правду, и правда сведет тебя с ума» (О. Хаксли); «Личности надо отречься от себя для того, чтобы сделаться сосудом истины, забыть себя, чтобы не стеснять ее собою» (А. Герцен); «Для того, чтобы быть услышанным людьми, надо говорить с Голгофы, запечатлеть истину страданием, а еще лучше — смертью» (Л. Толстой); «Чтобы говорить правду, надо быть еретиком» (Б. Пастернак).

Недоверие к правде — естественное состояние рефлексизирующего сознания: «Всякая правда, стоит ее высказать, теряет свою несомненность, приближается ко лжи» (А. Доде). Многие максимы предписывают быть терпимым к лжи и осторожным в обращении с истиной: «Не бойтесь слухов: правда еще ужаснее» (Г. Аронов); «Человеку, не страшась правды, нечего бояться лжи» (Т. Джефферсон); «Клевета похожа на докучливую осу: если у вас нет уверенности, что вы тут же на месте убьете ее, то и отгонять ее не пытайтесь, не то она вновь нападет на вас с еще большей яростью» (Н. Шамфор); «Если бы у меня рука была полна истинами, я бы поостерегся ее открыть»

(Б. Фонтенель); «У истины, как и у религии, два врага: слишком много и слишком мало» (С. Батлер); «Не следует говорить всей правды, но следует говорить только правду» (Ж. Ренар); «Трудно сказать, кто глупее, — тот ли, кто говорит всю правду до конца, или тот, от кого вообще не услышишь правды» (Ф. Честерфилд); «Правда — величайшая драгоценность; нужно ее экономить» (М. Твен).

Вместе с тем всякое замалчивание и умолчание равнозначно лжи: «Скрывать обман — это тоже обман» (античный афоризм); «Самая грубая ложь часто выражается молчанием» (Р. Стивенсон); «Всякая истина, о которой умалчивают, становится ядовитой» (Ф. Ницше).

3. Иносказания об истине и лжи и внутренний человек. Осуждать за сокрытие истины — тоже догма, которая опровергается. Умолчание ('умышленное молчание') далеко не всегда равнозначно обману: «Иная ложь может быть в десять раз благородней правды» (Г. Гауптман); «Ты уже спишь с истиной? Если ты джентльмен, об этом никому ни слова!» (М. Туровский). Данная максима представляет собой многоуровневую смысловую структуру. Она адресована, очевидно, в первую очередь мужчинам, которым напоминают о принципах рыцарской этики. Вместе с тем она звучит как правило поведения Личности, человека с большой буквы, например, — ученого, который сделал уникальное открытие ('истина — это тайна; если тебе удалось ее постичь, если это твоя личная «эврика», то защити ее честь, будь благороден'). Предлагаемые толкования, разумеется, не исчерпывают закодированного здесь смысла. Речь идет о сокровенном, и утверждается безусловное право человека на тайну. Максима М. Туровского может быть прочитана как рефлексема о феномене счастья. В данном контексте слово «истина» выступает как метонимия, претендующая на символ с широким обобщением. Здесь говорится о высшей — подлинной — ценности, о том, что страшно спугнуть, «сглазить» (это, например, обретаемое счастье, мечта, ставшая реальностью), — все то, о чем (согласно неписаному закону) не принято кричать во всеуслышание.

Афоризмы об истине и лжи — материал для человековедения, для изучения законов нравственности; ведь такие афоризмы являются, в конечном счете, результатом авторефлексии человека, обобщением его собственного внутреннего опыта. Истину, «отредактированную» наблюдениями над самим собой, мудрец превращает в максимум-предостережение, в максимум-предписание или в формулу-самоосуждение.

Во многих случаях в афоризме прочитывается психологический подтекст, отпечаток самоанализа: «Тот, кто не страдает недугом угрызений совести, пусть и не помышляет о честности» (Ж. Ренар); «Где начинается ложь? Там, где мы делаем вид, будто у нас нет секретов. Быть че-

стным — значит быть одиноким» (М. Фриш); «Боюсь людей, которые в глаза говорят приятное. Заочно им остается только клеветать» (Ж. Кроткий); «Долго изворачивался, прежде чем солгал» (Л. Леонидов).

Честность, искренность, откровенность — соблазны, с которыми человек должен бороться; чтобы говорить правду в глаза, требуется мужество: «Как ни велик соблазн быть честным, некоторые ему не поддаются» (М. Генин); «Откровенность — это умение лгать прямо в глаза» (Л. Леонидов); «Женщины с легкостью лгут, говоря о своих чувствах, а мужчины с еще большей легкостью говорят правду» (Ж. Лабрюйер); «Честность — это когда думаешь сказать одно, а говоришь правду» (А. Перлюк).

Люди стесняются правды, потому что «правду говорят только пьяные, дети и дураки» (нем. посл.); цит. по: [Гак 1998]. Правда скомпрометировала себя, на нее рисуют словесные карикатуры, ее высмеивают: «Мой способ шутить — это говорить правду. На свете нет ничего смешнее» (Б. Шоу); «Бог правду видит, да не скоро скажет. Что за волокита?» (И. Ильф); «Почему все стараются докопаться до истины, если ее никто не закапывал?» (Ц. Меламед); «Так дорожил истиной, что никогда ею не пользовался» (Ц. Меламед); «В борьбе за правду все средства хороши» (А. Хургин); «Трудно жить честно, когда за это не платят» (Е. Тарасов); «Сколько людей обвиняется по подозрению в честности!» (Л. Леонидов); «Как глядеть правде в глаза, если она стыдливо отворачивается?» (Ц. Меламед); «Каждому есть что не сказать людям» (С. Белоусов); «Человека, который ясно видит, что он ошибся, называют ясновидцем» (Д. Аминадо).

Истине суждено быть избитой (в прямом и переносном смысле): «Истина? А почему не избитая?» (А. Фюрстенберг); «Нет истины настолько избитой, чтобы ее нельзя было избить еще раз» (А. Фюрстенберг); «Правда похожа на женщин; она требует, чтобы ее поклонник сделался лжецом ради нее» (Ф. Ницше); «Правда — перебежчица» (М. Цветаева). Л. Толстой не осуждает «правду-перебежчицу»: «Одно из самых смешных и вредных суеверий, что стыдно изменять свои убеждения», — утверждает он.

Афористические иносказания об *истине* плотно окружены ореолом оценочных коннотаций и согласуются с утверждением, что это понятие «целиком принадлежит человеческому миру»².

«Истина от земли, достояние разума человека, а правда с небес, дар благодатный... Встарь истина означала также наличность,

² В языке древнерусских памятников «*истина*, как и в современном языке, предполагала соответствие действительности, но целиком принадлежала человеческому миру» [Шмелев 1995: 56].

наличные деньги», — читаем у В. Даля [П: 60]. «Нюанс», отмеченный Далем, — важное свидетельство энантиосемичности *истины*. Возможно, сочлененность высокого (сакрального) и низкого (пошло-го, профанного, мнимой ценности) — была заложена уже в исходном значении этого слова. Ср. рассуждение Б. Паскаля о невозможности отделить истину от прагматической земной реальности: «Истина и справедливость, — точки столь малые, что, метя в них нашими грубыми инструментами, мы почти всегда даем промах, а если и попадаем в точку, то размазываем ее и при этом *прикасаемся ко всему*, чем она окружена, — к неправде куда чаще, чем к правде» [Паскаль 1974: 130]. Сказать правду, — значит, по сути, обмануть, поставить людей в глупое положение: «Если хочешь одурачить мир, скажи ему правду» (О. Бисмарк).

4. Истина и парадокс. Афоризмы об истине и лжи — незаменимый источник для изучения универсалий мышления, общих законов логики здравого смысла. Слово и противослово меняются ролями, становятся смысловыми эквивалентами, разрушая оппозицию. Анализируя афоризмы французских моралистов XVII в., В. Бахмутский приходит к следующему выводу: «В афоризме Ларошфуко слово и противослово тождественны (добродетель равняется пороку); в афоризме Паскаля слово и противослово («праведники» и «грешники» как бы меняются своими значениями, а у Лабрюйера словно бы уравнивается нравственная ценность правды и лжи. Парадоксальная структура афоризма у французских моралистов не только стилистический прием. Парадокс составляет самое сердце их философии, поэтому афоризм и смог стать внутренней формой их мысли» [Ларошфуко 1974: 6].

Афоризм — это микротекст, несущий отпечаток личности его автора, стиля его мышления; многие афоризмы построены на основе парадокса. Потребность в парадоксе — психологическая реальность, — в этом можно убедиться, изучая эту логическую фигуру в контексте творчества отдельных личностей, чувствительных к догме. Например, Цветаева на собственном опыте доказывает, что неприятие догмы — врожденное свойство индивида; оно обнаруживается у человека уже в раннем детстве. Первую «встречу» с парадоксом Цветаева описывает как важное событие своей биографии (во всех подробностях, убеждающих своей достоверностью).

Шестилетний ребенок, сидя под роялем, размышляет над тем, что значит *правая педаль* и что значит *левая педаль*: «Это — материнские руки, а вот материнские ноги. Ноги матери были отдельные живые существа, вне всякой связи с краем ее длинной черной юбки. Вижу их, вернее, одну, ту, что на педали, узкую... в черном, бескаблучном

башмаке... Нога черная, а педаль золотая, и почему это для матери она правая, а для меня левая? *Как это она сразу — правая и левая?* Ведь если бы нажать отсюда, то есть из-под рояля, лицом к коленям матери, она бы оказалась левой, то есть короткой (по звуку). Почему же у матери она выходит правая, то есть звук — тянет? А что, если я одновременно с материнской ногой нажму ее — рукой? Может быть, получится длинно-короткая? Но длинно-короткая значит никакая, значит ничего не получится? Но тронуть ногу матери я не смею, это мне, собственно и в голову не могло прийти» [Цветаева 1994/5: 26–27].

Здесь Цветаева описывает свое первое сомнение в истинности аксиомы: озадаченный ребенок под роялем не слышал оглушительных звуков музыки. Зрелая Цветаева ощущает парадокс как универсальный закон самой жизни. Элементарный шаг смыслополагания у Цветаевой — парадокс. Это значит, что для нее истина — двуликий Янус, игра альтернативы и тождества; она полагает истину как сущность, изначально относительную. Творчество Цветаевой — иллюстрация когнитивной стратегии аналитика, заинтригованного метаморфозами истины и лжи³.

Сама жизнь — синоним реальности, данность, неопровержимое — способна лгать:

Неподражаемо лжет жизнь:
Сверх ожидания, сверх лжи...
Но по дрожанию всех жил
Можешь узнать: жизнь! (Цветаева).

Парадоксалист убежден в том, что истина изначально внутренне противоречива: это некая тайна, объект вечного поиска, но в то же время — обретаемое, «синица в руках», которую мы превращаем в аксиому, с помощью которой человек пытается осмыслить себя и свое отношение к мирозданию. Ложь — в мире хаоса, истина — в мире порядка. «Самым непонятным в нашем мире является то, что он все-таки понятен», — утверждает А. Эйнштейн. Афоризмы аналитиков, склонных к разрушению стереотипов мышления и раскрывающих в своих сочинениях и письмах психологические мотивы своей тяги к ментальной игре, дают ценный материал для воссоздания обобщенного образа парадоксалиста.

5. Поиск истины. Парадоксалист — мыслитель, чувствительный к догме, склонный к логическим манипуляциям: любую аксиому он спосо-

³ Подробный разбор парадоксальных формул М. Цветаевой см. в: [Ляпон 2001, 2005].

бен объявить ложью, превратить в искомое, требуя доказательств, и, наоборот, — защитить то, что уже давно опровергнуто.

Например, у такого человеческого состояния как страх, осужденного большинством голосов, есть апологеты. В своей книге «Писатель и самоубийство» Г. Чхартишвили использует максиму М.Павича: «Если движешься в том направлении, в котором твой страх растет, ты на правильном пути». Позицию защиты страха поддерживает Ф.Ницше: «Этот страх, древний и изначальный, ставший, наконец, утонченным и одухотворенным, теперь, как мне кажется, зовется наукой». К этому диалогу присоединяется голос О.Уайльда: «Если человек о чем-то здраво судит — это верный знак того, что сам он в этой области недееспособен». Во всех трех приведенных суждениях речь идет об одном и том же — о состоянии, которое называется поиском истины: О.Уайльд осуждает здравомыслие потому, что оно антипод страха, испытываемого искателем истины («Истина там, где трудно и страшно, поэтому страх — симптом, безусловно положительный, обнадеживающий: он заставляет нас отчаянно искать выход из творческого тупика»).

Еще несколько аргументов в пользу *страха*: «Чем длиннее тупик, тем он более похож на дорогу» (М.Туровский); «Истинное слишком просто: идти к нему надо всегда через сложное» (Ж.Санд); «Тот факт, что многие ищут истину и не находят ее, объясняется, вероятно, тем, что пути к истине, подобно дорогам в Ногайской степи, ведущим от одного места к другому, столь же широки, как и длинны» (Г.Лихтенберг); «Я смотрел на чудо, и чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинностью, бесцельностью, но быть может, уже тогда в ту минуту рассудок мой начал пытаться совершенство, добиваться причины, разгадывать цель» (В.Набоков. «Отчаяние»); «Всё непонятное таинственно и потому страшно» (А.Чехов). Искателю истины может быть страшно оттого, что проницательность вовлекает его в ловушки парадокса. Но парадокс — это тупик для пессимиста, для оптимиста — это «свет в конце тоннеля».

Афоризмы об *истине* — *не-истине*, в конечном счете, демонстрируют правду жизни и внутреннего человека в неизменной конкуренции трех составляющих: «да» — «нет» — «и да, и нет», причем «Каждый плюс — это замаскированный минус» (Ю. Воителев). В поисках объективного критерия, подсказывающего однозначный выбор между *истиной* и *не-истиной*, человек опирается на коллективный разум, руководствуется принципом «большинства голосов»: «Можно перехитрить кого-то одного, но нельзя перехитрить всех на свете» [Ларошфуко 1974].

Относительность истины — главный тезис в суждениях о ее сущности: «Прав не тот, кто прав, а тот, с кем я соглашаюсь» (Ц. Мела-

мед); «Мало быть правым. Надо быть правым вовремя» (Э. Кроткий). Но относительная истинность и относительная честность — оценки диаметрально противоположные: «Лучше быть относительно правдивым, чем приблизительно честным» (Д. Аминадо).

Рассмотренный материал в целом хорошо иллюстрирует тезис об относительности и лжи, и истины; это — неотъемлемое их свойство, несмотря на иронию парадоксалистов («У меня такое чувство, что Эйнштейн прав» (Г. Яблонский)). Относительность касается, разумеется, и самой изрекаемой мудрости, ведь многие из афоризмов не являются результатом откровения, а конструируются их авторами ради блеска остроумия.

Материал, привлекаемый к анализу в данной статье, далеко не исчерпан. Цель автора — кратко проиллюстрировать стратегию антидогматической мысли, которая, используя афоризм, пытается совместить несовместимое и расшатать оппозицию «ложь/истина».

ЛИТЕРАТУРА

- Арутюнова 1995 — *Арутюнова Н. Д.* Истина и этика // Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995.
- Афористика и карикатура 2004 — *Афористика и карикатура. Антология сатиры и юмора России XX века.* М., 2004.
- Гак 1998 — *Гак В. Г.* Истина и люди // *Гак В. Г.* Языковые преобразования. М., 1998.
- Кнышев 2002 — *Кнышев А.* Уколы пера. Вып. 3. М., 2002.
- Ларошфуко 1974 — *Ларошфуко Франсуа де.* Максимы. Блез Паскаль. Мысли. Жан де Лабрюйер. Характеры. М., 1974.
- Ляпон 2001 — *Ляпон М. В.* К изучению семантики парадокса // Русский язык в научном освещении. № 2. М., 2001.
- Ляпон 2005 — *Ляпон М. В.* Парадокс в контексте личности // Язык. Личность. Текст. Сборник статей к 70-летию Т. М. Николаевой. М., 2005.
- Мудрость тысячелетий 2003 — *Мудрость тысячелетий.* Энциклопедия. М., 2003.
- Разум сердца 1990 — *Разум сердца. Мир нравственности в высказываниях и афоризмах.* М., 1990.
- Федоренко, Сокольская 1990 — *Федоренко Н. Т., Сокольская Л. И.* Афористика. М., 1990.
- Цветаева 1994 — *Цветаева М.* Собрание сочинений: В 7 т. М., 1994–1995.
- Шмелев 1995 — *Шмелев А. Д.* Правда vs. Истина в диахроническом аспекте // Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995.
- Энциклопедия 2003 — *Энциклопедия мудрых мыслей.* М., 2003.

«СКАЗКА — ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК...»

Намек — уникальная и по самой своей природе противоречивая коммуникативная стратегия. С одной стороны, содержание намека принципиально неполно, а с другой — оно обладает особой значимостью для адресата. При этом содержательная неполнота намека определяется лишь с позиции его адресанта и адресата, но объективно, с внешних позиций его содержание не рассматривается как неполное. В намеке говорящий преднамеренно создает содержательно неполные высказывания, но при этом он рассчитывает, что его адресат восполнит эту неполноту. В намеке адресат узнает нечто новое и особо важное для себя, но вместе с тем в нем очень часто сообщается то, что адресату, в принципе, уже известно. Намек отличает подчеркнуто узкая адресность, но вместе с тем, создавая его, говорящий учитывает и коммуникативные интересы окружающих. Очевидно, таким образом, что намек — это не просто коммуникативная и языковая стратегия; едва ли не в первую очередь это стратегия ментальная, имеющая сложную структуру и столь же нестандартные механизмы.

По замечанию Н. Д. Арутюновой, «язык постоянно ищет баланс между неполнотой информации и необходимостью вынести о ней истинное суждение. Он избегает категоричности. Естественный язык живет в борьбе с двузначной логикой, расшатывает ее законы, скрывает ясные смыслы, а логика борется против естественного языка и вместе с тем постоянно к нему обращается» [Арутюнова 1995: 5–6]. Вполне очевидно, таким образом, что намек своими свойствами особо ярко демонстрирует эту борьбу языка и логики и, по сути, в особой мере способствует осуществлению этой задачи.

Цель данной работы — вскрыть в общих чертах внутреннюю природу намека. В связи с этим, во-первых, комментируется концептуальная структура намека в русском языковом сознании, связанная с его исходным пониманием носителями языка, во-вторых, объясняются его глубинные структурные и функциональные свойства, в-третьих, показываются его основные содержательные механизмы, отражающие ментальные «ходы» адресанта и адресата при его создании и восприятии.

1. Первоначальное понимание намека и современное не вполне совпадают. Если говорить об исходном представлении о нем, то его вскрывает мотивация глагола *намекать*. Об этой мотивации можно судить уже по слову *мекать*, *мекнуть* ‘понимать, думать, полагать,

считать, досчитываться; судить, угадывать' [Даль II: 315]. Производным от *мекать*, *мекнуть* считается также *кумекать* 'смека́ть, понимать и соображать; раскидывать умом, думать и толковать о чем' [Там же: 217].

В плане исходной мотивации глагола *намека́ть* показательна и «счетная» семантика другого его родственного слова — *смека́ть* 'соображать, догадываться о чем-н.' [Ожегов]; 'понимать, постигать, разбирать рассудком, мерекать, догадываться', 'делать счет, выкладку, рассчитывать' [Даль III: 232]. В связи со «счетной» семантикой глагола *смека́ть* Даль приводит такие выразительные примеры: *На ума́х не сме́кнешь, на счета́х ве́рнее ме́кается. Давай поме́каем-ка, много ли вы́йдет. Сме́кнуть на счета́х.*

Наконец, в связи с исходной мотивацией глагола *намека́ть* следует вспомнить и предикативное наречие (*ему́*) *невдомек* — 'он не догадывается, не может сообразить'

Имея в виду все эти слова, можно заключить, что первоначально концепт намека отчетливо обнаруживал в своей содержательной структуре следующие признаки: «исходная семантическая неопределенность», «ментальный процесс», «осуществление его с усилием», «перевод скрытого содержания в явное».

В настоящее время эти признаки узнаются в структуре значения слова *намека́ть* уже не столь отчетливо — главным образом вследствие выхода из обращения слова *мекать*. Вместе с тем у концепта намека появились и новые черты.

И прежде всего, намек может быть «прозрачным» или «туманным». Можно заключить отсюда, что намек представляется носителям русского языка, в общем, как некая среда, через которую субъекту предлагают увидеть событие, и если среда прозрачна, то событие воспринимается легко и правильно, если среда замутнена, то и положение дел в мире понимается с трудом. Но это все метафоры, и в них обозначилось представление о том, что разные намеки в разной мере способствуют правильному пониманию положения дел в мире.

Кроме того, с точки зрения современного языкового сознания намек может быть более или менее «тонким». Это тоже метафора. Намек уподобляется в ней некой «тонкой нити» — внешне малозаметной, но тем не менее выполняющей свою функцию. Таким образом, в данной номинации обозначилось представление о способности намека быть более или менее очевидным для заинтересованного лица.

Если в связи с концептом намека рассматривать еще одну метафору — *клонить* (как, например, в вопросе: *К чему ты клонишь?*), то в намеке можно увидеть своеобразный отход от одного содержания и приближение к другому. Для намека это особенно важно: он

представляет собой ментальное движение, имеющее вполне определенную содержательную цель.

Таким образом, в настоящее время намек осмысливается носителями языка более точно. И хотя в его понимании не столь отчетливо стали мыслиться некоторые его первоначальные признаки, связанные с намеком метафоры подчеркивают его семантические и познавательные свойства.

Они особенно важны в намеке и заслуживают отдельного рассмотрения.

2. Обратимся далее к рассмотрению общих функциональных и познавательных свойств намека. Намек — это прежде всего речевое построение, но его роль могут играть и определенные несложные действия. Важно только, чтобы те и другие были произвольны, осознанны и контролировались человеком. Различного рода произвольные невербальные сигналы (такие как взгляд на часы, когда человек хочет закончить встречу, подмигивание, внедрение в личное пространство собеседника и т. п.) намеками не являются. Это происходит потому, что намек как таковой связан с волеизъявлением языкового субъекта. Случайных или произвольных намеков (если рассматривать их с точки зрения говорящего) не бывает. Невозможно представить себе ситуацию, когда один человек обращается к другому со словами: **Вчера я случайно намекнул вам на то, что...*

Общая коммуникативная структура ситуации намека трехчленна: она включает *адресанта* (того, кто владеет некой информацией), сам *намек* как выражение этой информации, и *адресата* (того, кому намек направлен). Адресант по понятным причинам всегда единичен — это субъект речи.

Адресат может быть единичным или групповым, но он всегда обладает свойством определенности. Можно намекнуть о чем-то одному человеку, можно сделать намек вполне определенной группе лиц (например, если гости засиделись, хозяева могут намекнуть им, что пора уходить). Но нельзя намекать о чем-то совокупности людей, не связанных какими-либо системными отношениями и не составляющих единое целое. Это обстоятельство обусловлено свойством информации, содержащейся в намеке: она всегда принципиально значима для адресата (если он единичный, то для одного человека, если групповой — то для всей группы лиц в целом). Действие этого фактора невозможно в отношении аморфной толпы. Таким образом, имея в виду намек, можно говорить и о личностном или содержательно-организационном единстве его адресата.

Далее, намек — это «тайна двоих», которая во что бы то ни стало должна быть сохранена. И по этому признаку намек противопостав-

ляется полному и точному изложению мысли. При этом в намеке содержится преднамеренная неточность выражения мысли, своеобразное «лукавство», но лукавство благое, направленное не на обман, а, наоборот, на выражение истинных содержаний относительно адресата намека. Ложных намеков не бывает.

Содержание, на которое намекается, известно прежде всего адресанту, но оно должно стать достоянием адресата. При этом говорящий либо просто стремится скрыть от всех посторонних реальное содержание намека (собственно, поэтому он к нему и прибегает), либо сохраняет своеобразную «невинность» адресата в том смысле, что щадит его самолюбие, сохраняет его социальное лицо, проявляет уважение к его статусу и т. д. Таким образом, намек явно и отчетливо ограничен в пространстве.

Человек может истолковать как намек внешне самую обычную фразу — такую, в которую сам говорящий намека не вкладывал. Это обстоятельство показывает, что намек может быть «односторонним»: языковой субъект сам определяет в содержательном потоке принципиально значимые для него сегменты. Однако принципы произвольности намека и значимости его содержания для субъекта в случаях такого рода обязательно сохраняют свою актуальность. В связи с этим человек при некоторых словах может психологически «напрячься» и спросить говорящего, на что он, собственно, намекает, когда говорит то-то или то-то. В целом все это свидетельствует о размытости референтных границ намека.

Намек — это высказывание с неясно выраженным содержанием, причем неясность эта может проявляться в разной степени. Иногда это обстоятельство становится даже предметом интеллектуальной игры: намеком называется его принципиальная противоположность. Например, у В. И. Даля в словаре к слову *мека́ть* даются такие иллюстрации: *Умному намек — глупому толчок; Этот намек — рожон в бок; Намекни свинье вилами, чтобы в огород не ходила.*

Наконец, намек может содержаться в высказывании, которое в целом оценивается как ложное, но истинно лишь по некоторым содержательным параметрам. Поэтому адресату намека предстоит разгадать его. Во всем этом намек сродни метафоре. Типичные примеры таких намеков — басни или притчи.

Итак, подводя второй итог, можно сказать, что намек — это целенаправленный и осознанный речевой акт, принципиально адресный, и адресатом его является вполне определенный субъект (единичный или групповой) — в связи с этим мы говорим, что намек достаточно строго ограничен в пространстве. Содержание намека имеет особую значимость для адресата, и ожидание этого содержания заставляет его

порой увидеть намек даже там, где его нет. В связи с этим мы говорим о размытости референтных границ намека. Наконец, намек при его понимании требует особых и специально организованных интеллектуальных усилий, что в самом общем плане сближает его с метафорой.

3. И теперь коснемся языковых механизмов намека. Общий их принцип таков: информация в них должна выражаться недостаточно определенно или неполно. По сути, речь в этом случае идет о резком повышении роли вероятностного фактора в выявлении адресатом значимых для него содержаний [см.: Налимов 1979; Налимов 1989: 102 и сл.]. Адресат спрашивает себя: относится ли сказанное именно к нему, может ли сказанное иметь какое-то значение лично для него.

В связи с этим можно выделить несколько основных моделей намека.

Первая и, как кажется, основная такая модель связана с обращением к принципу референтной неопределенности. Высказывание в этом случае строится так, чтобы субъектная, но иногда и объектная или обстоятельственная позиции имели неопределенный характер (в связи с этим в языке используются неопределенные местоимения). Определенным в случаях такого рода остается только предикат. И адресат намека сам определяет для себя, в какой мере сказанное к нему относится. Введение же признаков характеристик субъекта снимает действие принципа референтной неопределенности, и намек перестает быть намеком. Рассмотрим в этой связи следующий пример:

Сели звери играть в карты.

Медведь говорит:

— Давайте будем играть честно. А если кто-то будет жульничать, то он получит по своей хитрой рыжей морде.

В этом анекдоте игровой принцип реализуется в плане определенности/неопределенности референта [см.: Raskin 1985: 111; Giora 1988; Евстафьева 2006: 92–93]. Сначала он является неопределенным, но затем эта неопределенность снимается введением атрибутивных признаков «хитрый» и «рыжий», в народно-поэтической традиции связываемых с одним-единственным животным — лисой. Таким образом, медведь, начиная с намека, в силу своей грубости срывается на вполне определенную угрозу в ее адрес — от намека переходит практически к прямому высказыванию. Соответственно и слушателя анекдота забавляет, с одной стороны, узнавание в этой ситуации лисы, вечно осуществляющей хитрые проделки, а с другой — узнавание такой же извечной неповоротливости медведя, в данном случае проявляющейся в интеллектуальной сфере.

Вторая модель намека — метафорическая. В этом случае, наоборот, преобразованию (замещению одного содержания другим на основе сходства) подвергаются в высказывании предикат, объект или обстоятельство. Субъект же определяется прямо. И ему предстоит расшифровать метафору и понять, что говорящий имеет в виду.

В качестве примера метафорического намека рассмотрим фрагмент из романа М.А.Шолохова «Поднятая целина». В одном из эпизодов он описывает один чрезвычайно неудачный день для Якова Лукича Островнова. Ночью ему снились странные и неприятные сны. Утром за завтраком он перессорился с ближними. Выходя из-за стола после завтрака, вылил себе на штаны горячий борщ. В дверях кухни зацепился за гвоздь и порвал новую рубашу. Стал искать в сундуке новую, и крышка сундука упала и больно ударила его по голове. Но самое страшное было впереди, потому что, переодевая штаны, он впопыхах забыл застегнуть ширинку.

В таком неприглядном виде Яков Лукич дошел почти до правления колхоза, про себя удивляясь, почему это встречающиеся женщины, поздоровавшись, как-то загадочно улыбаются и поспешно отворачиваются... Недоумения его бесцеремонно разрешил семенивший навстречу дед Щукарь (далее речь Щукаря строится на намеках. — Г. Б.).

— Стареешь, милушка Яков Лукич? — участливо спросил он, оставаясь.

— А ты молодеешь? Что-то по тебе не видно! Глаза красные, как у крола, и слезой взялись.

— Глаза у меня слезятся от ночных чтений. На старости годов читаю и прохожу разное высшее образование, но держу себя в аккурате, а вот ты забывчив стал прямо по-стариковски...

— Чем же это я забывчив стал?

— Калитку дома позабыл закрыть, скотину пораспускаешь...

— Семен закроет, — рассеянно сказал Яков Лукич.

— Твою калитку Семен закрывать не будет...

Пораженный неприятной догадкой, Яков Лукич опустил глаза долу, ахнул и проворно заработал пальцами.

Третья модель намека — переход в субъектной позиции высказывания на более высокие уровни обобщения, в соответствии с которым адресат намека сам может отнести и себя к разряду лиц, о которых говорится. Так, адресованная конкретному человеку фраза *Порядочные люди всегда помнят добро, которое им делают* может быть понята им как намек на то, что как раз он не помнит добро и, следовательно, не является порядочным человеком.

Еще одну, четвертую, модель намека можно назвать «подчеркнутым, или заявленным, умолчанием». В этом случае субъект

речи прямо говорит о том, что та или иная тема им принципиально не обсуждается, что он отказывается рассуждать на данную тему. И стратегия такого рода обычно показывает, что говорящий считает тему, на которую он наложил запрет, опасной, что ее обсуждение, с его точки зрения, безнравственно или по крайней мере затрагивает интересы других лиц. Иными словами, намек в этом случае касается оценки дополнительных по отношению к собственно содержанию высказывания параметров. Яркий образец этой стратегии составляет фрагмент из поэмы А.К.Толстого «История государства российского от Гостомысла до Тимашева». Общий лейтмотив поэмы таков: *Земля наша богата, // Порядка в ней лишь нет*. На протяжении всей поэмы автор пишет о русских самодержцах, которые пытаются навести порядок в своей земле, но всякий раз у них получается только хуже. При этом о князьях и монархах далекого прошлого А.К.Толстой пишет с большей или меньшей иронией. Но чем ближе к современности, тем «аккуратнее» он выражается. Так, если об Александре I он пишет: *В то время очень сильно // Расцвел России цвет, // Земля была обильна, // Порядка ж нет как нет*, то эпоху Николая I характеризует, используя одновременно подчеркнутое умолчание и метафору: *Ходить бывает склизко // По камешкам иным, // Итак, о том, что близко, // Мы лучше умолчим*. Тем самым он намекает читателю на то, что в царствование этого царя не произошло ничего хорошего, что в России по-прежнему «порядка нет как нет» и что честный разговор на эту тему может иметь, вообще говоря, самые серьезные последствия как для читателя, так и для автора.

Во фрагментах поэмы, описывающих современность, есть еще один метафорический намек, имеющий политический подтекст:

Что вижу я! Лишь в сказках
Мы зрим такой наряд:
На маленьких салазках
Министры все катят.

Чуть ниже этот образ объясняется прямым указанием на оппозицию *верх/низ*, которую читателю самому предстоит проинтерпретировать в нравственном аспекте. Речь явно идет о стремительном нравственном разложении русской аристократии того времени.

Их много, очень много,
Припомнить всех нельзя,
И вниз одной дорогой
Летят они, скользя.

Итак, древние говорили: «Сказка ложь, да в ней намек...» Действительно, в ложном высказывании могут содержаться смыслы, которые

могут кем-либо субъективно оцениваться как истинные. И в этом сочтении лжи с намеком рождается одна из разновидностей выдумки.

ЛИТЕРАТУРА

- Арутюнова 1995 — *Арутюнова Н. Д.* От редактора // Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995. С. 3–6.
- Евстафьева 2006 — *Евстафьева М. А.* Когнитивные стратегии языковой игры (на материале русскоязычных и англоязычных анекдотов). Дисс. канд. филол. наук. Калининград, 2006.
- Налимов 1979 — *Налимов В. В.* Вероятностная модель языка. М., 1979.
- Налимов 1989 — *Налимов В. В.* Спонтанность сознания. М., 1989.
- Giora 1988 — *Giora R.* On the Informativeness Requirement // *Journal of Pragmatics*. 1988. № 4/5. P. 547–565.
- Raskin 1985 — *Raskin V.* *Semantic Mechanisms of Humor*. Dordrecht; Boston; Lancaster, 1985.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ «ЛЖИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ (В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ РОМАНСКИМИ ЯЗЫКАМИ)

Этические оценки занимают важное место в ценностной картине мира любого социума, характеризую отношения между людьми и отношение человека к окружающей действительности, в частности оценку различных видов неистинных суждений, которая получает свое языковое воплощение. Ложь как сокрытие истины, нежелание говорить правду, выдумка, обман ради достижения тех или иных своекорыстных целей, простое бахвальство вызывает неприятие общества и получает отрицательную оценку.

По существующим определениям ложь — это «искаженное отражение действительности, такое познавательное содержание, которое не соответствует объективной природе вещей. Сознательная ложь является нарочитой дезинформацией. Непреднамеренная ложь совпадает с заблуждением, включающим объективно-истинностные моменты. От лжи следует отличать бессмыслицу, или абсурд» [Философский словарь 2001: 295].

Рассуждая о соотношении истины и не-истины, В. Г. Гак отмечал, что существуют три типа не-истины: ложь, заблуждение и фантазия. В отличие от заблуждения — ненамеренной и неконтролируемой не-истины, ложь и фантазию придумывают, они характеризуются намеренностью и контролируемостью, причем ложь направлена на сокрытие истины, а фантазия, как правило, не подразумевает сокрытия истины [Гак 1995: 24–25, 30].

Исследованный нами языковой материал испанского языка и других романских языков (французского, итальянского и португальского) показал, что наименования лживого человека многочисленны, разнообразны и отражают отношение к основным видам не-истины. Мы остановимся на намеренной не-истине, поскольку именно она рассматривается негативно в любом менталитете. Сюда же мы отнесли лицемерие и лесть, так как, на наш взгляд, они основаны на намеренном обмане с целью получения какой-либо выгоды. И, таким образом, мы выделили 4 лексико-фразеосемантических подразряда, характеризующих лживого человека: 1) лгун, обманщик; 2) хвастун; 3) лицемер; 4) льстец. В них ложь может быть связана с различными целями говорящего: желанием похвастаться, подольститься, сделать подлость или

просто пофантазировать из любви к искусству. Рассмотрим более подробно, как структурируется оценочная семантика в каждом из этих подразрядов.

«Лгун, обманщик». Данный подразряд объединен семантическими толкованиями «*mentiroso, embustero*». Здесь дается характеристика человека, любящего приврать, что-нибудь придумать, как правило, ради каких-то собственных интересов. Отметим прежде всего денотаты семантической сферы «Человек», что представляется вполне логичным, поскольку наименования, связанные с обманом, ложью, относятся исключительно к миру человека и, следовательно, создаются по ассоциации с его поступками, действиями и образами.

Наиболее распространенными производными дериватами можно считать словообразовательные оценочные номинации, ведущие свое происхождение от производных основ, связанных с миром иллюзий, фантазий, мифов, баек и т. д.: *fantasioso* (букв. 'фантазер'), *mitómano* (букв. 'мифоман'), *cuentero* (букв. 'любитель рассказов, баян'), *películero* (букв. 'любитель кино'): O sea que la rubia esa, me dijo, además de puta es una *cuentera* ('Короче, эта блондинка, как он мне сказал, не только шлюха, но и врунья') [Jubilado: 142].

Аналогичные номинации наблюдаются и в других романских языках: франц. *fabulateur, fantaisiste, mythomane*; итал. *fantasticone, raccontafavole*; порт. *fantasiador, mitômano*. Представляют интерес фразеологизмы *mentir más que un sacamuelas* (букв. 'врать больше, чем зубодер'), *ser más embustero que un sacamuelas* (букв. 'быть большим вруном, чем зубодер') в испанском языке и *mentir comme un arracheur de dents* во французском языке, поскольку в них прослеживается связь с ныне не существующей профессией цирюльника и одновременно зубодера, любящего передавать сплетни и привирать для развлечения клиентов.

Испанский фразеологизм «*mentir más que la Gaceta*» (букв. 'врать больше, чем Газета') означает постоянно врать и сильно что-либо преувеличивать: No te fíes de lo que te diga Carlos, porque *miente más que la Gaceta* ('Не верь тому, что тебе скажет Карлос, он *жуткий врун*'). История происхождения этого фразеологизма связана с первой венецианской рукописной газетой XVI в., в которой печатали множество небылиц, стоившей одну венецианскую монету (*gazetta*) и по этому получившей такое название [Buitrago: 477].

Типологическая близость в моделировании данной оценки состоит также в том, что романские языки для интенсификации значения «обман» используют соматизмы, так или иначе связанные с процессом формирования звуков и говорения. Например, в итальянском и

португальском языках наглое вранье связано с лексемой «горло, глотка»: итал. *mentire per la gola*, порт. *mentir pela gorja* (букв. 'врать всей глоткой'). Португальский язык помимо этого прибегает к соматизму «зубы»: *mentir com todos os dentes*» (букв. 'врать всеми зубами'). В испанском же языке фразеологизм *mentir por la barba* (букв. 'врать бородой'), видимо, связан с традиционной для испанского менталитета апелляцией к бороде как символу храбрости, достоинства, чести. Клясться бородой, обманывать, обладая бородой, означает невероятную, наглую ложь.

Национально-культурной семантикой обладает испанский фразеологизм *parecer andaluz* (букв. 'быть похожим на андалузца'), связанный в испанском языковом сознании с представлением о жителях Андалусии как о любящих приврать, преувеличить действительное.

Отметим еще испанский фразеологизм *ser/parecer el capitán Araña* (букв. 'быть похожим на капитана Аранью'), который имеет полную форму *el capitán Araña, que embarcó a los demás y él se quedó en tierra* (букв. 'капитан Аранья, который отправил в море всех, а сам остался на берегу') и характеризует человека, лгущего для своих корыстных целей: *Este es como el capitán Araña, nos hace cambiar el turno de trabajo, porque dice que es más conveniente por la tarde y ahora resulta que él viene a trabajar por la mañana* ('Этот похож на капитана Аранью. Он заставил нас поменять смену, убедив, что лучше работать во второй половине дня, а сам-то остался в первой смене, по утрам') [Buitrago: 254]. В исследованиях, посвященных происхождению устойчивых выражений испанского языка, отмечается, что действительно в конце XVIII в. существовал некий капитан Аранья, вербовавший жителей прибрежных городов для отправки в Латинскую Америку, чтобы подавить там восстание против испанских колонизаторов, и рисующий соблазнительные перспективы подобного предприятия [Ibid.].

«Хвастун». Любящий похвастаться человек также обычно привирает, выдавая желаемое за действительное: исп. *fanfarrón*, франц. *fanfaron*, итал. *fanfarone*, порт. *fanfarraõ*. В испанском языке отметим также производные дериваты от основы *fantasma* со значением 'призрак, химера, иллюзия': *fantasmón*, либо от *rollo* (букв. 'рулон, моток'; *неперен.* утомительное, скучное действие, бесполезная говорильня), *rollista*: ¿Dices que todas las noches te vas con una tía diferente? ¡Eres un *fantasmón*! ('Так ты говоришь, что каждый вечер встречаешься с другой женщиной? Ну и *хвастун* же ты!') [Simeonova: 72]; Dí que todo es embuste, hija mía, que éste no es más que un *rollista* fantástico ('Скажи же, дорогая, что все это ложь, что он всего лишь *хвастун* каких мало') [Jarama: 11].

Лексема *farolero* (букв. 'фонарщик') является дериватом от *farol* (букв. 'фонарь', *перен.* ложь). Х.Дьос Луке считает, что переносное значение происходит от фразеологизма *echarse un farol* (букв. 'ослепить, осветить фонарем') [Luque 2000: 186], где семантический компонент «освещающий, ослепляющий», видимо, является основанием для появления значения 'ослепить ложью': *Eres un farolero, nunca dices la verdad* ('Ты жуткий *хвастун*, никогда не скажешь правду') [Simeonova: 72]. В пользу подобных рассуждений свидетельствует и переносное значение *faroleiro* 'фонарщик' в португальском языке, обозначающее хвастливого человека, пустомелю и пустозвона.

Любящий похвастаться человек также обычно привирает, выдавая желаемое за действительное. Для него вполне естественным представляется похвалиться своими мнимыми подвигами. Так, в испанском и португальском языках появляются композиты с фразеологическим значением *matamoros/mata-mouros*» (букв. 'тот, кто убивает мавров'). Словари французского языка также приводят для данного обозначения заимствованное из испанского языка сложное слово *matamore*.

Помимо этого в испанском, итальянском и португальском языках со значением 'хвастун, бахвал' широко употребляются композиты *matasietelammazzasette/mata-sete* (букв. 'тот, кто убивает семерых', персонаж детской сказки, храбрый портняжка, убивший семь мух): исп. *Antonio parece un matasiete, pero cuando hay que dar la cara por algo, es el primero que se esconde* ('Антонио невероятный *хвастун*, но когда дело доходит до того, чтобы дать отпор, он сразу же прячется в кустах') [Buitrago: 701].

«Лицемер». Лицемерный человек отличается притворством, выдавая себя не за того, кем является на самом деле, обманывая таким образом окружающих. Оценочные номинации, характеризующие лицемерие, объединены словарным толкованием «*hipócrita*» и соотносятся большей частью с денотатами семантической сферы «Человек». Двойственность поведения, двуличие в романских языках ассоциируется с лексемой «лицо», и здесь мы наблюдаем межъязыковые фразеологические эквиваленты: фр. *homme à double face*, исп. *hombre de dos caras*, ит. *uomo a due faccie*, порт. *homem de duas caras* (букв. 'двуличный человек').

Анализ материала испанской разговорной речи позволил нам выделить семантические дериваты и фразеологизмы, связанные с религиозной тематикой: исп. *jesuita, fariseo*, франц. *jésuite, pharisien*, итал. *fariseo, gesuita*, порт. *fariseu, jesuita* (иезуит, фарисей). Они объединены семантическим компонентом «фальшивый, чрезмерно набожный»: исп. ¿*Y eso le preocupa, grandísimo fariseo?* ('Разве вас это беспокоит, величайший из *фарисеев*?') [Colmena: 127].

Представления об Иуде как символе вероломства и лицемерия нашли свое отражение во фразеологизмах испанского, итальянского и португальского языков: исп. *más falso que Judas* (букв. 'лживее, чем Иуда'), итал. *falso come Giuda* ('фальшивый, вероломный как Иуда'), порт. *falso como judas* ('фальшивый, вероломный как Иуда'): исп. Ayer me dijo que yo era su mejor amigo y hoy me ha ido poniendo verde por todas partes: es *más falso que Judas* ('Вчера он мне говорил, что я его лучший друг, а сегодня он поносил меня повсюду: он *настоящий Иуда*') [Buitrago: 464].

В испанском языке данный фразеологизм для большей экспрессивности может наращивать свою структуру за счет дополнительного компонента *de plástico* ('из пластмассы'): *más falso que un Judas de plástico*, интенсифицирующего значение лицемерия и вероломства.

Общим для романских языков является использование имени собственного главного персонажа одноименной комедии Мольера — *Тартюф*, для обозначения ханжи и лицемера: исп. *tartufo*, франц. *tartufe*, итал. *tartufo*, порт. *tartufo*.

В семантической сфере «Животный мир» отметим зооморфные фразеологизмы с компонентом «муха» в испанском и португальском языках: исп. *ser/parecer una mosca / una mosquita muerta*; порт. *ser uma mosca-morta / uma mosquinha-morta* (букв. 'быть/казаться мертвой мухой', *мерен.* лицемерить, притворяться), которые связаны с поведением мухи, с характерными для нее действиями, нашедшими свое отражение во многих фразеологизмах романских языков [Кириллова 2003: 12–18]: исп. No te fíes de Pepe, que es un *mosquita muerta* y te la puede preparar en cuanto te descuides ('Не доверяй Пепе, он *себе на уме* и может такое тебе устроить, если ты расслабишься') [Buitrago: 703].

Аналогичным образом, исходя из наблюдений над животным миром, моделируется оценочное значение зооморфных фразеологизмов *hacerse la gata muerta* в испанском языке и *far la gatta morta* (букв. 'притворяться мертвой кошкой') в итальянском языке, то есть обмануть мнимой безобидностью окружающих.

Этическая оценка лицемерного человека может структурироваться при помощи компаративных фразеологизмов — фитоморфизмов с ключевым компонентом «лук, луковица», где мотиватором образного сравнения выступает ядро луковицы, скрытое шелухой [Репина 1999: 60]: исп. *tener más capas que una cebolla* (букв. 'иметь больше слоев, чем луковица'), итал. *doppio / falso come la / una cipolla* (букв. 'двухличный / фальшивый, как луковица').

Семантическая сфера «Предмет» представлена во французском фразеологизме *faux comme un jeton* (букв. 'фальшивый, как жетон') и в испанском и португальском языках: *no haber roto nunca un plato*

(букв. 'никогда не разбить тарелку', *перен.* казаться тихоней), *parecer que ñaõ quebra um prato / e deita uma prateleira abaixo* (букв. 'казаться, что он не разобьет тарелку / а на самом деле роняет полку'), где неискренность, лицемерие уподобляются фальшивой монете или обманчивым действиям.

Испанское языковое сознание создает номинации молчаливого, тихого, даже кроткого с виду человека, поступающего коварно и подло, пользуясь семантическим компонентом «действующий исподтишка»: *ser un matálas callando / matarlas callando* (букв. тот, кто убивает молча), *ser un callacuece* (бук. тот, кто молчит и кипятит): *Parece tonto, pero no te fíes de él, porque las mata callando y en cualquier momento te puede buscar un problema* ('Он притворяется дурачком, но ты не верь ему, он все *делает исподтишка* и в любой момент может создать тебе проблемы') [Buitrago, 474]; *Antonia es de esas chicas que las matan callando. Parecía muy modesta e inocente, pero ya ves, hasta conseguir este trabajo importante no ha quedado tranquila* ('Антония из тех, кто *действует исподтишка*. Она казалась такой скромной и невинной овечкой, но как ты видел, пока она не устроилась на эту хорошую должность, она не могла успокоиться') [Varela: 165].

«**Льстец**». Лстивый, угодливый человек (*adulador*) также может лгать и лицемерить, чтобы услужить нужному человеку. Отметим здесь прежде всего композиты и фразеологизмы с семантическим компонентом «лизать что-либо, унижая тем самым человеческое достоинство» исп. *lameculos* (букв. 'тот, кто лижет зад'), *lameplatos* ('лизоблюд'), фр. *lèche-bottes* (букв. 'тот, кто лижет сапоги'), итал. *leccapiedi* (букв. 'тот, кто лижет ноги'), порт. *lambe-botas* букв. 'тот, кто лижет сапоги'), *lamber os pés / as botas, as mãos, o chão, o cu* (букв. 'лизать ноги / сапоги, руки, пол, зад'): исп. *Estuvo a punto de expresar sus pensamientos en alta voz, pero optó por ser lameculos y contar lo que sabía del viaje de María Asunción Solivanto* ('Он чуть не высказал вслух свои мысли, но решил *подлизаться* и рассказал все, что знал о поездке Марии Асунсьон Соливанто') [Mujercisimas: 55].

Испанский фразеологизм *dar jabón a alguien* (букв. 'дать мыло кому-либо', *перен.* влезть без мыла в задницу), связанный значением с другим фразеологизмом *bailar el agua*, то есть предлагать гостю вымыть руки водой и мылом в знак гостеприимства, получает приращение смысла «быть услужливым», а следовательно, лстить: *No vas a conseguir aprobar la asignatura por mucho jabón que des al profesor* ('Тебе не удастся сдать экзамен, как бы ты ни *подлизывался* к преподавателю') [Buitrago: 169]; *Desde que sabe que depende de mí en el trabajo, no hace más que darme jabón* ('С тех пор, как он понял, что зависит от меня

по работе, он все время *подлизывается* ко мне») [Varela: 140]. В итальянском языке нами зафиксирован эквивалент *dare il sapone*.

Напротив, во французском и португальском языках *donner un savon / dar sabaõ* (букв. 'дать мыло', перен. задать взбучку) являются омонимами к испанскому и итальянскому фразеологизмам, поскольку в них задействованы иные ассоциативные связи (ср. с русским «намылить шею»). Для характеристики лстивого человека эти языки избирают другой образ — «мазь», в основе которого заложен семантический компонент «смягчающий»: франц. *passer de la pommade à quelqu'un*, порт. *dar pomada a alguém*.

В испанском языке в семантической сфере «Предмет» отметим денотаты *pelota* (букв. 'шар, мяч') и *rosca* ('крендель, баранка'), где семантический компонент «округлый» служит мотиватором данной этической оценки. Отсюда семантические дериваты *pelota* и его производные *pelotilla*, *pelotillero*, фразеологизмы *ser/hacer pelota* (букв. 'делать шар'), *hacer la rosca* (букв. 'делать крендель'): *Es un mierda, le gusta que le hagan la pelota* ('Он настоящее дерьмо, ему нравится, когда перед ним *пресмыкаются*') [Simeonova: 135].

Проведенное исследование формирования этической оценки «лживый человек» в испанском языке в сравнении с другими романскими языками позволяет сделать вывод о том, что во многих случаях их типологическая близость основана на сходстве образов и ассоциаций, извлекаемых из наблюдений над самим человеком и окружающим его миром.

ЛИТЕРАТУРА

- Гак 1977 — Гак В. Г. Сопоставительная лексикология (на материале французского и русского языков). М., 1977.
- Гак 1995 — Гак В. Г. Истина и люди // Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995.
- Кириллова 2003 — Кириллова Н. Н. Прегнантность и идиоэтническая маркированность фразеологической парадигмы (на материале ФП «муха») // Проблемы идиоэтнической фразеологии. СПб., 2003. Вып. 2 (5).
- Репина 1999 — Репина Т. А. Представление об объектах реального мира в различных сравнениях румынского языка // Вестник СПбГУ. СПб., 1999. Сер. 2. Вып. 2 (№ 9).
- Философский словарь 2001 — Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. 7-е изд. М., 2001.
- Buitrago 2004 — Buitrago Jiménez A. Diccionario de dichos y frases hechas. Madrid, 2004.
- Dios Luque 2000 — Dios Luque J. de., Pamies A., Manjón F. Diccionario del insulto. Barcelona, 2000.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- Buitrago — *Buitrago Jiménez A.* Diccionario de dichos y frases hechas. Madrid, 2004.
- Colmena — *Cela C. J.* La colmena. Madrid, 1992.
- Jarama — *Sánchez Ferlosio R.* El Jarama. Barcelona, 1994.
- Jubilado — *Delibes M.* Diario de un jubilado. Barcelona, 1995.
- Mujercísimas — *Moix T.* Mujercísimas. Barcelona, 1999.
- Simeonova — *Simeonova S.* Vocabulario del español coloquial. Moscú, 2001.
- Varela — *Varela F., Kubarth H.* Diccionario fraseológico del español moderno. Madrid, 1994.

ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ И ЛЖИ
В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ПО СМЫСЛУ ПОСЛОВИЦАХ
(НА ПРИМЕРЕ ДЕСКРИПТИВНЫХ VS. ПРЕСКРИПТИВНЫХ
РУССКИХ ПАРЕМИЙ)

Наличие в русской постфольклорной традиции многочисленных *новых пословиц (-анекдотов¹)* — факт неоспоримый². Насколько нам известно, *новые пословицы* такого типа не представлены в столь зна-

Исследование выполнено при финансовой поддержке Программы Президиума РАН «Статус фольклора в изменяющемся мире: архаизм и инновации».

¹ О проблемах возможной классификации *новых русских пословиц* и выделения их нескольких структурных типов см. [Velmezova 2005] и [Вельмезова 2006a].

² В отличие от *антипословиц* (термин, предлагаемый, в частности, Х. Вальтером и В.М. Мокиенко, см. [Вальтер, Мокиенко 2005]), в паремиях, которые мы называем *новыми русскими пословицами*, можно без труда узнать те «традиционные» пословицы, от которых они были образованы (этим же *новые русские пословицы* отличаются и от *однофразовых анекдотов*, ср. [Береговская 2004]). В то же время про многие *антипословицы* этого сказать нельзя; см., например, приводимые в книгах Вальтера и Мокиенко русские *антипословицы*: *Если вечером лег спать в ботинках — то наутро почему-то болит голова; Если вы очень боитесь располнеть, выпейте перед едой 50 граммов коньяку — он притупляет чувство страха; Брак — это основная причина разводов или Брак — поезд дальнего следования, с которого многие сходят на ближайшей остановке* и т. д.: эти *антипословицы* не отсылают ни к каким традиционным русским паремиям. Поэтому русские *антипословицы* соотносятся с *новыми русскими пословицами* как множество и подмножество.

Слова *новый* и *русский* в обозначении *новых русских пословиц* должны связываться в сознании говорящих по-русски с определённой группой населения в современной России — с *новыми русскими*, т. е. людьми, сумевшими в постсоветское время обогатиться в довольно короткие сроки, зачастую прибегая к довольно сомнительным аферам. Однако это совпадение кажется нам удачным: отражаемое в большинстве *новых русских пословиц* мировоззрение, во многом связанное с отрицанием традиционных ценностей, вполне соответствует тем стереотипам, из которых и составляется в сознании других групп населения если не мифологический, то по крайней мере «постфольклорный» портрет *новых русских*.

чительном количестве ни в одной другой (по крайней мере, ни в одной другой славянской) постфольклорной традиции³. Можно ли найти этому объяснение?

Комический эффект, вызываемый *новыми русскими пословицами*, во многом основывается на возможности узнавания в них соответствующих традиционных паремий. *Формальные* изменения традиционных пословиц могут при этом быть минимальными: порой достаточно изменить всего одно слово, чтобы традиционная паремия зазвучала по-другому, превратилась в *новую пословицу*. Как В.И. Даль писал уже о традиционных пословицах, «одно слово нередко придает пословице иной смысл» [Даль 1862 (1993/І: 21)]. Вот лишь несколько примеров *новых русских пословиц*: *В гостях хорошо, а дома плохо*⁴ (ср. традиционную русскую пословицу *В гостях хорошо, а дома лучше* [СРПП 1993: 57]); *Делу время, потехе деньги* (ср. *Делу время, потехе час* [Там же: 99]); *Куй железо, пока Горбачев* (ср. *Куй железо, пока горячо* [Там же: 154]); *Свою ношу не стянут* (ср. *Своя ноша не тянет* [Там же: 291]); *Семь раз отмерь, один раз прирежь* (ср. *Семь раз отмерь, один раз отрежь* [Там же: 296]); *Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не какало* или *Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось* (ср. *Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало* [Там же: 351]) и т. д. Сюда же относятся и многочисленные *новые русские пословицы*, которые основаны на игре слов, построенной на сходстве русских слов со словами других языков — прежде всего английского, как все более распространяющегося сегодня в России, например: *Береги chest* смолоду, *Первый блин cotton* и т. д.

³ Само возникновение *новых русских пословиц* как трансформаций прежних паремий не относится, разумеется, к последним десятилетиям. Трансформации традиционных паремий существовали в России уже до революции 1917 г., примеры и подтверждения чему можно найти и в русской (советской) литературе. Однако никогда еще, кажется, *новые пословицы* не были в России столь многочисленны, как сегодня.

⁴ Источником *новых русских пословиц*, анализируемых в данной статье, нам послужила наша собственная подборка, насчитывающая около тысячи паремий (примеры из Интернет-сайтов, периодической прессы, рекламы, разговоров и т. д.). Кроме того, следует отметить и публикацию в России в последнее время большого числа сборников «современных афоризмов», в которых можно встретить и *новые русские пословицы* — даже если таковых в них оказывается и не большинство (в большинстве речений, публикуемых в подобных книгах, никакие традиционные паремии не опознаются) — см. хотя бы [Малкин 2006а; Малкин 2006б; Мухин 2005; Кашеев 2006; Клейман 2006; Крутиер 2005; Рыбинский 2006 и т. д.].

В то же время все эти минимальные формальные трансформации традиционных пословиц могут сопровождаться значительными изменениями в плане содержания, в семантике паремий: «анти-ценности» *новых пословиц* часто противопоставляются традиционным ценностям, отражаемым в прежних паремиях⁵. Как можно было бы объяснить факт сосуществования в современной России *новых пословиц* наряду с традиционными паремиями, зачастую выражающими противоположное содержание?

Как известно, в каждой культуре и в каждой фольклорной традиции уже изначально существуют ряды пословиц, выражающих противоположные точки зрения. Этому феномену (*crossing of proverbs*) паремиологи дают разные объяснения⁶.

⁵ К примеру, на последней странице обложки последнего варианта книги «Антипословицы русского народа» В. Мокиенко и Х. Вальтера [Мокиенко, Вальтер 2006] написано следующее: «Смех спасет мир! ...Выворачивая наизнанку традиционную народную мудрость, живая речь восстает против банальных истин, опровергает обветшалые авторитеты. Ирония и юмор... помогают всем нам легче пережить катаклизмы новой жизни России».

⁶ В нашей статье [Вельмезова 2006b] мы выделили несколько типов объяснений, встречающихся в работах паремиологов наиболее часто. Среди них, в частности, были следующие:

1) гипотеза, согласно которой в специфическом *провербиальном пространстве*, существующем в каждой фольклорно-языковой традиции, нет противоречий в логическом смысле этого слова: именно поэтому разделение пословиц на истинные и ложные лишено смысла, так как любой человек, принадлежащий к определенной культуре или фольклорно-языковой традиции, должен владеть всеми связями внутри подобного *провербиального пространства*. Пословицы же, образующие это пространство, находятся друг с другом (в терминах, предложенных Н. С. Трубецким [Трубецкой 1939 (1960)]) не в привативных, но в градуальных оппозициях (см. [Левин 1984; Николаева 1994; Cram, 1986]): «Будучи обобщением, пословица сама по себе не может быть определена как „истинная“ или „ложная“. Люди выбирают пословицу в соответствии с ситуационными потребностями — а не в соответствии с их общим абстрактным смыслом» [Tóthné Litovkina 1990: 247];

2) происхождение противоположных по смыслу пословиц из разных социальных групп — «антагонистических» классов, чьи точки зрения и взгляды на жизнь вообще радикально различались. Именно такое объяснение пословичной «энантиосемии» наиболее часто встречалось в отечественных учебниках по фольклору, см., напр., [Зуева, Кирдан 2003];

3) противоречивый характер так называемого «коллективного менталитета» в целом. Интересно, что исследователи, прибегавшие к объяснениям

Одно из возможных объяснений феномена смысловой противопоставленности пословиц — простое, но, как ни странно, до сих пор еще не получившее широкого распространения (возможно, именно в силу своей очевидности) — связано с гипотезой, согласно которой паремии, выражающие противоположные точки зрения, имеют разный статус в том смысле, что одни из них дескриптивны (т.е. описывают реальное, существующее положение дел), а другие — прескриптивны (т.е. предписывают определенное поведение, образ жизни и т.д.).

Действительно, про некоторые пословицы можно легко сказать, описывают ли они реальную ситуацию — или же, напротив, предписывают человеку, как ему надлежит поступать (прибегая, в частности, к формам повелительного наклонения). Так, пословица *Лиха беда начало* [СРПП 1993: 162] дескриптивна, тогда как паремия *Ешь и пироги, да хлеб вперед береги* [Даль 1862 (1993/II: 362)] — очевидно прескриптивна. Однако для многочисленных пословиц (взять хотя бы ту же паремию *С волками жить — по-волчьи выть*) провести подобное разделение оказывается очень непросто. Мы можем лишь предположить, что многие пословицы, выражающие точку зрения, которая соответствует скорее так называемым традиционным ценностям русского общества, прескриптивны (они говорят о том, как именно надо жить, как действовать в той или иной ситуации и т.д.), тогда как другие паремии, часто отрицающие эту систему ценностей, дескриптивны (они описывают в большей степени действительную, чем желаемую ситуацию) — даже если по формальным признакам их и можно отнести к прескриптивным паремиям (в них, в частности, могут употребляться синтаксические конструкции с повелительным наклонением).

Однако никакие прескриптивные пословицы подобного рода, конечно, не могут быть усвоены обществом, если они приходят, подобно приказу, «сверху». К примеру, в течение нескольких десятилетий советской власти в СССР в целом ряде периодических изданий печатались пословицы прескриптивного типа, которые так и не были признаны и усвоены в широком масштабе (доказательством этому служит тот факт, что сегодня никто их не знает — да и в советскую эпоху они могли воспроизводиться исключительно в официальном контексте). Однако в то время советские журналы выдавали подобные прескриптивные паремии за дескриптивные (в каком-то смысле играя на трудности разграничения двух этих аспектов даже традиционных русских пословиц). Вот, к примеру, что можно было прочитать в журнале *Русский язык в школе* в 1940 г.: «Устное народное творчество — это интереснейший материал, имеющий

такого рода, наиболее часто говорили о противоречивом характере именно русского «коллективного менталитета» (см. [Колесов 1995; Разин 1994 и т.д.]).

большое художественное и историческое значение. Огромные социальные перемены, происшедшие в нашей стране после Великой Октябрьской социалистической революции, — преобразование экономики и быта, расцвет культуры, отношение к труду как к делу чести, славы и геройства, рост подлинного патриотизма, — нашли яркое отражение в фольклоре. Один из наиболее распространенных и любимых жанров фольклора — это пословицы. В выразительных и метких изречениях народная мудрость раскрывает свое отношение к фактам новой жизни. Резко, гневно осуждаются пережитки капитализма, радостно одобряется и поощряется все, что направлено к укреплению свободы и счастья народа» [«Новые пословицы» 1940: 52]. Здесь еще «новые пословицы» представлены как дескриптивные⁷ высказывания. Однако в то же время журнал настаивал на необходимости использования «новых пословиц» в школе, в самом педагогическом процессе обучения русскому языку — в частности, как «интересных примеров для грамматического разбора и упражнений» [Там же: 53]. Кроме того, говорится в статье о «новых пословицах», «надо указать и на их воспитательное значение. Ведь иной раз меткая, остроумная пословица лучше воздействует и на взрослого человека, и на учащегося, чем длительные разговоры. Поэтому вовремя примененная пословица пригодится учителю как в его школьной, так и в общественной деятельности» [Там же].

Таким образом, пословицы, ранее представляемые как дескриптивные, буквально на наших глазах превращаются в прескриптивные паремии. Вот лишь несколько примеров таких новообразований, приводимых в журнале: *Лучше в гнилом болоте утонуться, чем с врагом народа подружиться; Власть Советов пришла, жизнь по-новому пошла; Не тот ударник, кто болтает, а тот, кто план перевыполняет; В колхозе жить — счастливым быть; Были у нас бары — пустыли амбары, сгнули бары — полны амбары; Единолично жить — слезы литы; Погиб без славы, как орел двуглавый; В Красную армию пошел — родную семью нашел; Не боимся мы напасти, быть всегда Советской власти; Что завоевано революцией, то подтверждается конституцией; Сталин в Кремле говорит, на всю страну слышно; Сталин слово скажет, всем сердце зажжет* [Там же]⁸ и т. д.

Та же тенденция подмены дескриптивного прескриптивным отражалась и в выпускаемых советским «Военным издательством» сбор-

⁷ Само слово *дескриптивный* в журнале не употреблялось.

⁸ Среди подобных «новых пословиц» иногда попадались и вполне традиционные паремии, выдаваемые за новые, как, например, *Днем раньше посеешь — неделей раньше пожнешь* [«Новые пословицы» 1940: 53], ср. с той же пословицей, приводимой у Даля [Даль 1862 (1993/III: 544)].

никах пословиц и крылатых выражений типа подборки *Слово в строю* [Жигулев, Кузнецов 1982]. С одной стороны, в представленных в них «крылатых словах»⁹ «выражены мысли, шедшие от глубины души советских воинов. Они навсегда останутся замечательными памятниками, свидетельствующими о беспримерном героизме, проявленном в дни сражений, о славе и величии советского оружия» [Там же: 6] — то есть афоризмы и пословицы представляются как дескриптивные. С другой стороны, «сказанное своевременно» «меткое слово» «производит сильное впечатление, оседает в памяти, служит боевым лозунгом, напутствием, призывом к борьбе» [Там же: 3] — именно поэтому подобные книги и предлагалось использовать «в работе агитаторов, пропагандистов, лекторов, военных журналистов, работников культурно-просветительных учреждений Советской Армии» [Там же: 7].

Описанному выше явлению, состоящему в представлении произведений некоторых прескриптивных жанров как дескриптивных, можно найти аналоги и в советской литературе: писатели — представители направления *социалистического реализма* должны были описывать жизнь скорее такой, какой она *должна была быть* в соответствии с «идеалами социалистического общества», чем такой, какой она *была* на самом деле¹⁰.

⁹ Ср. следующие приводимые в этом сборнике афоризмы и поговорки: *Артиллерия — бог войны* [Жигулев, Кузнецов 1982: 11], *Беспрекословное повиновение начальникам есть душа воинской службы* [Там же: 14]; *Быстрота и натиск — душа настоящей войны* [Там же: 18]; *В труде — как в бою* [Там же: 23]; *Гвардия умирает, но не сдается* [Там же: 29]; *Лежачего не бьют* [Там же: 71]; *Матрос есть главный двигатель на военном корабле* [Там же, 76]; *Один в поле не воин* [Там же: 87]; *Победителя не судят* [Там же: 98] и т. д. В самом деле, по своей структуре все эти высказывания (во многом в зависимости от контекста реальных ситуаций, в которых они произносятся) могут быть как дескриптивными, так и прескриптивными.

¹⁰ См., напр., следующее определение *социалистического реализма*: «...термин, употреблявшийся в советском литературоведении и искусствоведении 30-х гг. для обозначения „основного метода“ литературы, искусства и критики, который „требует от художника правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии“, сочетающегося с „задачей воспитания трудящихся в духе социализма“ („Устав Союза писателей СССР“, 1934)» [«Социалистический реализм» 2002: 1131–1132]. Как и в случае с советскими пословицами и афоризмами, речь идет, с одной стороны, о «правдивом, исторически конкретном изображении действительности», а с другой — о необходимости использования соответствующих про-

Если уже «традиционный», «классический» фольклор изобилует пословицами «с противоположными смыслами», детальное сравнение русских пословиц с паремиями, принадлежащими к другим фольклорным традициям, должно показать, насколько в этом смысле русская традиция от них отличается. Исследования, проведенные к настоящему времени¹¹, свидетельствуют о гораздо более значительном числе противоположных по смыслу пословиц именно в русской культуре, по сравнению с другими. Не могут ли эти многочисленные «энантисемичные» пословицы в традиционном русском фольклоре служить ключом к объяснению и столь значительного количества *новых пословиц* в современной России (как мы видели, минимальные формальные изменения традиционных паремий могут сопровождаться радикальными семантическими изменениями в *новых русских пословицах*)? Дальнейшие исследования должны будут подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

ЛИТЕРАТУРА

- Береговская 2004 — Береговская Э. М. Аппроксимативные паремии как компонент культурного тезауруса // Культурные слои во фразеологизмах и в дискурсивных практиках. М., 2004.
- Вальтер, Мокиенко 2005 — Вальтер Х., Мокиенко В. М. Антипословицы русского народа. СПб., 2005.
- Вельмезова 2006a — Вельмезова Е. В. Между пословицей и анекдотом: «новые русские пословицы» // Живая старина. 2006. № 1.
- Вельмезова 2006b — Вельмезова Е. В. «Новые русские пословицы» и проблема смысловой противопоставленности паремий (*crossing of proverbs*) // Slavic Almanac. Vol. 12. 2006. № 2.
- Даль 1862 [1993] — Даль В. И. Пословицы русского народа. Т. I–III. М., 1993.
- Жигулев, Кузнецов 1982 — Жигулев А. М., Кузнецов Н. П. Слово в строю: Крылатые слова, образные выражения. М., 1982.
- Зуева, Кирдан 2003 — Зуева Т. В., Кирдан Б. П. Русский фольклор. Учебник для студентов и преподавателей-филологов. М., 2003.
- Иванова 2002 — Иванова Е. В. Пословичные картины мира (на материале русских и английских пословиц). СПб., 2002.
- Кашеев 2006 — Кашеев Е. Афоризмы от Кашея. Пушкино, 2006.
- Клейман 2006 — Клейман Т. Не отрекаются любя. Афоризмы для веселых женщин и умных мужчин. М., 2006.

изведений в процессе «воспитания... в духе социализма», что не могло не влечь за собой «плоских пропагандистских установок» [Там же: 1132].

¹¹ См., напр., [Иванова 2002].

- Колесов 1995 — Колесов В. В. Ментальные характеристики русского слова в языке и в философской интуиции // Язык и этнический менталитет. Петрозаводск, 1995.
- Крутиер 2005 — Крутиер Б. Крутые мысли. Екатеринбург, 2005.
- Левин 1984 — Левин Ю. И. Провербиальное пространство // Паремиологические исследования. М., 1984.
- Малкин 2006a — Малкин Г. Афоризмы для умных людей. М., 2006.
- Малкин 2006b — Малкин Г. Умнеть надо незаметно. М., 2006.
- Мокиенко, Вальтер 2006 — Мокиенко В. М., Вальтер Х. Прикольный словарь (антипословицы и антиафоризмы). СПб., М., 2006.
- Мухин 2005 — Мухин В. Хочу быть евреем. Воронеж, 2005.
- Николаева 1994 — Николаева Т. М. Загадка и пословица: социальные функции и грамматика // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Загадка как текст. Т. 1. М., 1994.
- Новые пословицы 1940 — Новые пословицы // Русский язык в школе. 1940. № 2.
- Разин 1994 — Разин А. А. Иррациональная и рациональная ментальность // Менталитет: широкий и узкий план рассмотрения. Сборник научных трудов. Ижевск, 1994.
- Рыбинский 2006 — Рыбинский И. Афоризмы или записная книжка гения. М.; СПб., 2006.
- Социалистический реализм 2002 — Социалистический реализм // Большой энциклопедический словарь. М.; СПб., 2002.
- СРПП 1993 — Словарь русских пословиц и поговорок. М., 1993.
- Трубецкой 1939 [1960] — Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960.
- Cram 1986 — Cram D. «Argumentum ad lunam»: on the folk fallacy and the nature of the proverb // Proverbium. 1986. 3.
- Tóthné Litovkina 1990 — Tóthné Litovkina A. Hungarian and Russian proverbs: a comparative analysis // Proverbium. 1990. 7.
- Velmezova 2005 — Velmezova E. Proverbe, dicton, anecdote? // Revue des études slaves, 2005, tome 76, fascicule 2–3.

АНЕКДОТ И ОБМАН — ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Приходит мужик устраиваться на работу и начинает расписывать свои достоинства. «У меня три высших образования, две ученых степени, я говорю на тридцати языках, вожу машину и самолет, не пью, не курю, жене не изменяю». Директор понимает, что перед ним идеальный кандидат, но все же решается спросить: «А хоть какие-то недостатки у вас есть?». «Есть только один, — отвечает мужик, — люблю приврать!»

Все мы с детства знаем, что *Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок* (А. Пушкин). А можно ли сказать, что анекдот — это тоже ложь? Очевидно, *современный русский анекдот* (в отличие от исторического анекдота, который подавался как правдивая история) и *ложь, обман* имеют в своей структуре один общий компонент — говорящий говорит нечто, о чем он заведомо знает, что это неправда. Но есть и очень существенное различие — если говорящий хочет обмануть собеседника, соврать, он будет хотеть, чтобы собеседник поверил, что он говорит правду. Рассказчик же анекдота (в современном смысле этого слова) рассчитывает на то, что собеседник понимает, что анекдот — это вымышленная история, рассказываемая для того, чтобы собеседники могли вместе посмеяться¹. Для того, чтобы слушатель не подумал, что его обманывают, и не обиделся, рассказчик

¹ Ср. толкование, предложенное А. Вежбицкой для английского концепта *lie* 'ложь' [Wierzbicka 1985: 342]:

X lied to Y. =

X said something to Y

Which X knew was not true

because X wanted Y to think that it was true

I assume people would say that this is a bad thing to do

и принадлежащее ей же определение речевого жанра «анекдот» [Вежбицка 1997: 108]:

говорю: я хочу, чтобы ты себе представил, что случилось X

думаю, что ты понимаешь, что я не говорю, что это случилось

говорю это, потому что хочу, чтобы ты смеялся

думаю, что ты понимаешь, что люди говорят это друг другу, чтобы смеяться.

сообщает, что сейчас он расскажет вымышленную историю, анекдот (*слышал новый анекдот, знаешь анекдот о...*). Однако анекдот и обман объединяет не только неправда. «Соль» анекдота как комического жанра связана с «обманутыми ожиданиями», с несоответствием имеющейся модели мира и тем, что происходит в анекдоте. Анекдот — это история-обманка, история-ловушка, которую рассказчик заготовил своим слушателям. Слушатель предупрежден, что ему приготовлена ловушка, поэтому он настороже, но все равно, как правило, дает себя обмануть. Например, если соль анекдота состоит в игре слов, рассказчик резонно считает, что слушателю прежде всего придет в голову первое значение слова, более употребительный омоним или более обычное членение фразы на слова, а когда он поймет, что его обманули, посмеется. Например, на этом построена пуанта всех каламбурных анекдотов, которые в русской традиции обычно рассказывают о Штирлице:

Штирлиц наклонился над картой СССР. Его неудержимо рвало на Родину.

Штирлиц бежал скачками. Штирлиц прибавил ход и качки отстали.

«Ну и метель!» — сказал Штирлиц, входя с мороза в пивную. «Ну и не вопрос!!!» — ответили гансы и отметили Штирлица.

Штирлиц почувствовал запах гари. «Поттер», — догадался Штирлиц.

Таким образом, можно сказать, что всякий анекдот построен на обмане слушателей. Особый интерес, однако, вызывают анекдоты, в которых обман или разоблачение обмана попадает в фокус внимания слушателей, создает пуанту анекдота². Эти анекдоты можно разде-

² Обман может быть не только в фокусе внимания слушателей, он также может быть фоном восприятия анекдота. Так, к числу фоновых знаний русских слушателей относится информация о том, что муж не хочет, чтобы жена узнала о том, что он спрятал от жены заначку, выпил лишнего, до утра играл в карты с друзьями, изменял жене с секретаршей, а жена (соответственно) не хочет, чтобы муж знал, что у нее есть любовник, что она растратила все семейные деньги и пр. Анекдоты, персонажами которых являются муж и жена, почти всегда имеют фоном обман, хотя пуанта анекдота может базироваться на фальши советских лозунгов (анекдот о том, как муж, застав жену с любовником, говорит ему: «Если бы я не был членом КПСС, я бы тебя убил». На что любовник отвечает: «А если бы я не был членом КПСС, я бы тебя убил», а жена кричит: «Слава КПСС! Слава КПСС!»), на обманутых ожиданиях (когда муж, вместо того чтобы спустить любовника с лестницы, идет к холодильнику, чтобы проверить, не выпили ли жена с любовником его водку, или к компьютеру, чтобы узнать, не сменили ли они пароль, ср. также: «Представляешь? Прихожу домой вечером с работы и застаю свою жену в по-

лить на два типа — в одних анекдотах лжецы сами «проговариваются» и попадают впросак, тогда как в других высмеиваются простаки, готовые поверить в самую невероятную ложь.

В разных сериях анекдотов персонажи характеризуются, в частности, разными типами вранья. Так, мужья — персонажи «семейных анекдотов», как правило, врут плохо и неправдоподобно, поэтому обмануть жен им практически никогда не удастся:

Мужик приходит домой никакой. Жена говорит: «Пил!» Муж: «Не пил». Жена: «Да ведь пил, признайся!» Муж: «Не пил». Жена: «Но ведь ты на ногах не стоишь. За косяк держишься! Пил, спрашиваю?!» Муж: «Не пил». Жена: «Хорошо, скажи: „Гибралтар“»... Муж: «Пил».

Поскольку мужья не способны придумать в свое оправдание что-нибудь осмысленное, женам — опытным вруньям русских анекдотов — иногда приходится им помогать, ср.:

Приходит муж с работы пьяный, двух слов связать не может, рубашка испачкана в помаде, галстук на боку... Жена его спрашивает: «Что с тобой?» Муж не знает, что сказать, но жена сама отвечает: «Я понимаю, ты устал, целый день работал, выступал, уже говорить нет сил. А секретарша у тебя такая неаккуратная, напялит туфли на высоких каблуках, а ходить в них не умеет, вот и упала на тебя и всего в помаде испачкала». Муж согласно кивает, пошатывается, у него из кармана брюк выпадают женские трусики. «А это еще откуда?» — спрашивает жена. «Дорогая, ты такая умная, — говорит муж, — давай ты еще что-нибудь придумаешь!».

Часто муж бывает настолько уверен, что жена выведет его на чистую воду, что и не пытается прибегать к обману:

Возвращается пьяный муж поздно вечером. Жена уже встречает со скалкой в коридоре: «Где ты шлялся, скотина...?» Муж отвечает: «Ик! Пробка...» Жена: «Какая пробка? Полттретьего ночи, машин нет на улице». Муж: «Ик! Пробка не открывалась».

Новый русский с любовницей, рядом его одежда, на ней лежит сотовый. Когда им совсем хорошо, начинает звонить телефон. Новый русский поднимает трубку, а там — его жена. «Дорогая, как ты меня здесь нашла?»

Напротив того, поскольку в русских анекдотах, как и в средневековых новеллах и фациях, мужья часто туповаты и им не хочется верить в измену жены, их часто удастся обмануть:

стели с каким-то шведом». — «Ну и что ты ему сказал?» — «А что я ему мог сказать, я ведь не знаю шведского») и др.

Мужу все говорят, что жена ему изменяет. Ну, он нанял частного сыщика следить за женой. Сыщик дает ему отчет: «Как только вы уехали, к вашему дому подъехал лимузин, оттуда вышел красивый, прекрасно одетый мужчина. Он зашел к вам в дом, поцеловал Вашу жену, потом раздел ее, потом он разделся сам, потом они легли в постель». «А дальше что?» «А дальше они свет погасили». «Ну вот, опять эта проклятая неизвестность!»

Мужик у любовницы. В это время звонок в дверь, входит муж. Любовница выскакивает в коридор, протягивает мужу помойное ведро, и пока он выносит помойку, мужик успевает одеться и выскочить на улицу. Идет он и думает: «Какая умная у меня любовница! Как ловко все устроила!». Подходит он к своей двери, поворачивает ключ, а в прихожей уже стоит жена с помойным ведром, говорит: «Вынеси!». Несет мужик ведро, думает: «Вот дура у меня жена. Никогда вовремя помойку не вынесет!».

Мужик пришел к психиатру: «Доктор, у моей жены навязчивая идея, ей все время кажется, что кто-то хочет украсть ее платья!» — «Вы в этом уверены?» — «Да! Она даже наняла специального человека, чтобы он их караулил! Я обнаружил его в шкафу вчера вечером!»

Хотя женам часто удается обмануть мужей, но и они иногда проговариваются, ср.:

Дорогой, мне вчера Рабинович такой смешной анекдот рассказал. Мы с ним так смеялись, так смеялись, что чуть не упали с кровати!

Еще один тип анекдотов, персонажам которых редко удается обмануть окружающих, это анекдоты о пьяницах и наркоманах. Пьяницы и наркоманы, как правило, не хотят, чтобы окружающие заметили, что они напились или обкурились, но всегда попадают впросак:

Едет мужик пьяный на мотоцикле, думает: «Сейчас меня гаишник остановит, спросит: почему у тебя такая рожа красная, от водки, что ли?» А я ему скажу: «Нет, просто ветер сильный». Останавливает мужика гаишник, спрашивает: «Чего у тебя такая рожа красная, ветер, что ли, сильный?» А мужик отвечает: «Да нет, это от водки».

Наркоман закурил косяк, в рукав спрятал и думает: придет сейчас мент, спросит: «косяк есть?» — а я скажу: «а нету!» — а он: «а в рукаве?» — и найдёт. Опять закурил, в шкаф спрятал и думает: придет сейчас мент, спросит: «косяк есть?» — а я скажу: «а нету!» — а он: «а в рукаве?» — «а нету!» — «а в шкафу?» — и найдет. Опять закурил, под ковер спрятал и думает: придет сейчас мент, спросит: «косяк есть?» — а я скажу: «а нету!» — а он: «а в рукаве?» — «а нету!» — «а в шкафу?» — «а нету!» Приходит мент, спрашивает: «косяк есть?» — «а нету!» — «а в рукаве?» — «а нету!» — «а в шкафу?» — «а нету!» — «а где же он?» — «а под ковром!».

Купили крокодил Гена и Чебурашка косячок. Крокодил Гена говорит: «Я схожу в душ, потом выйду, мы посидим покурим». Ушел Гена в душ, а Чебурашка не удержался и один покурил. Думает: надо так себя вести, чтобы Гена ничего не заметил. В это время Гена кричит: «Чебурашка, я полотенце забыл, принеси мне, пожалуйста!». Чебурашка думает: значит, так, иду к шкафу, беру полотенце, вхожу в ванную, протягиваю полотенце, говорю: «На, бери!» Так, еще раз, чтобы ничего не перепутать: иду к шкафу, беру полотенце, вхожу в ванную, протягиваю полотенце, говорю: «На, бери!» Идет Чебурашка к шкафу, берет полотенце, входит в ванную, протягивает полотенце да как закричит: «Аааа, у нас в ванной — крокодил!»

По-разному врут и персонажи русских этнических анекдотов, причем тип вранья коррелирует с общими поведенческими характеристиками персонажей. Поскольку *евреи* в анекдотах обычно умные и хитрые, они ловко обманывают окружающих, ср. анекдот начала двадцатого века:

На паперти церкви сидят двое нищих. Один — красивый блондин, в русской рубахе, около него стоит табличка, на которой написано: «Иван». Второй — брюнет, с ярко выраженной еврейской внешностью, в кипе, рядом с ним табличка: «Абрам». Одна сердобольная старушка останавливается около Абрама и говорит: «Милочка, ну кто же тебе здесь подаст, пойдешь куда-нибудь к синагоге». Она уходит, а Абрам обращается к своему соседу и говорит: «Хаим, она нас будет учить коммерции!»

Вообще, *евреи* — персонажи анекдотов — удачливые коммерсанты и торговцы, которые могут продать чукчам партию холодильников (поскольку в них можно греться) или продать во время войны листовки³, а склонность к коммерции в русской картине мира часто коррелирует с умением обманывать: *не обманешь — не продашь*. В советское время евреи обманывают советскую власть — ЧК, таможенную или налоговую инспекцию:

Пришли к Абраму чекисты, спрашивают: «Золото есть?» — «Да, целых сто килограмм». — «Давай его сюда!» — «Голдочка, золотце, выходи!»

Уезжает еврей в Израиль и везет с собой какой-то портрет. На советской границе его спрашивают: «Что это?» — «Это не что, а кто — генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев». Ну, таможенники взяли под козырек. На израильской границе еврея спрашивают: «Кто это?» — «Это не кто, а что — золотая рамка».

³ Приходит Рабинович в партизанский отряд, ему дают задание — распространить листовки. День Рабиновича нет, два нет, все уж думают, наверно, погиб. Вдруг приходит, вываливает на стол кучу смятых рублей и трешников, говорит: «Думаете, так легко продать такую кучу листовок в этой нищей голодной стране!»

При этом сами евреи постоянно подозревают, что их обманывают, и ждут какого-то подвоха, ср. анекдоты, иллюстрирующие недоверчивость евреев:

Хаим, ты сказал, что едешь в Бердичев, чтобы я не знал, что ты едешь в Бердичев, но ты таки действительно едешь в Бердичев. Что же ты меня обманываешь?

На переходе. «Папочка, нужно идти, написано „Идите!“ — «Моня, разве им можно верить!»

А они сходят? А вы их спрашивали? А что они сказали?

Также недоверчивость (впрочем, совсем другого типа) демонстрируют в русских анекдотах *чукчи*, которые очень хотят показать, что, вопреки общему мнению, *чукчи* умные и хорошо во всем разбираются. Не случайно, во многих анекдотах *чукча* говорит: «Врешь! Чукча знает; чукчу не обманешь...».

Подходит чукча к буровой вышке. спрашивает: «Что тут делают?» — «Бурят». — «Врешь! Чукча знает: бурят не так делают».

У чукчи родился пятый ребенок. Пришел он его регистрировать, говорит паспортистке: «Пиши: родился мальчик, национальность — китаец». Паспортистка спрашивает: «А почему китаец?» — «Чукча умный, он читал: каждый пятый родившийся ребенок — китаец!»

А вот обманывать *чукча*, будучи «природным» искренним человеком, совсем не умеет и даже и не пробует, в отличие от *грузина*, который любит приврать, и при этом привирает не для выгоды, а для красоты, поскольку хочет казаться более богатым и успешным, чем на самом деле:

Идут три грузина. Впереди идет роскошная блондинка. Грузины между собой: «Я бы этой девушке перстень с бриллиантом подарил!» — «А я бы машину „Волгу!“» — «А я бы перстень, машину и трехкомнатную квартиру подарил!». Девушка оборачивается и спрашивает: «Простите, а кто из вас сказал последним?» Грузины: «Ты, девушка, иди, иди, не до тебя. Тут джигиты разговаривают!»

Впрочем, приврать, прихвастнуть любят, конечно, не только «джигиты», но и самые разные персонажи русских анекдотов, ср. разговор двух друзей:

«Давно не виделись! Как дела? Что нового?» — «Знаешь, у меня тут новый поклонник появился, мы с ним собираемся летом на Канары». — «Потрясающе!» — «А другой поклонник обещает мне подарить мерседес». — «Потрясающе!» — «А третий хочет мне купить квартиру в центре Москвы». — «Потрясающе!» — «Слушай, что ты все заладила: по-

трясающе, потрясающе! Что у тебя-то нового?» — «Я теперь хожу на курсы хороших манер». — «Ну и что?» — Так вот, нас там учат, что вместо *хватит врать* надо говорить *потрясающе!*»

или двух друзей:

«Я вчера на anekdot.ru новый анекдот прочитал!» — «Не может быть!» — «С первым апреля!»

Новый русский как анекдотический персонаж соединяет в своем характере недоверчивость и глупость. С одной стороны, он занимается бизнесом, в котором, как он хорошо знает, все друг друга «кидают», с другой стороны, он очень мало знает, поэтому его легко обмануть.

Приходит к *новому русскому* дьявол и говорит: «Слушай, мужик, я тебе вагон алюминия дам, а ты мне душу». *Новый русский* спрашивает: «Че, целый вагон? И с растаможкой? и бесплатно? Че-то не пойму, братан, на чем ты меня кидаешь?»

Новый русский покупает замок. Продавец говорит: «Это очень старинный замок, первая половина XVI века». — «Слушай, мужик, — говорит *новый русский*, — а где же вторая половина?»

Купил *новый русский* другу за 100 тысяч баксов барабан от Страдивари, а ученые друзья ему говорят «Слушай, тебя кинули, как лоха, Страдивари скрипки делал, а не барабаны!» Разозлился *новый русский*, взял с собой два «джипа» с братками, поехал к хозяину магазина разбираться. Приезжает довольный, говорит: «Не, ребят, все путем, этот Страдивари для лохов скрипки делал, а для братвы — барабаны!»

Если проверить «на детекторе лжи» самых разных персонажей русских анекдотов, выяснится, что все они врут в соответствии со своей анекдотической маской. Например, Штирлиц, будучи секретным агентом, то есть профессиональным обманщиком, должен врать виртуозно. Поэтому существует так много анекдотов о том, как Штирлиц проговаривается (*Штирлиц, вы еврей? — Да русский я, русский*), выдает себя, потому что ходит по Берлину с красным знаменем, поет песни под гармошку, надевает, идя в гестапо, форму офицера Советской армии и т. п. (часто эти анекдоты заканчиваются клишированной фразой, которая произносится голосом Копеляна: *Штирлиц никогда еще не был так близок к провалу!*).

В отличие от Штирлица, *enfant terrible* русских анекдотов Вовочка — ребенок, поэтому он искренний и всегда говорит правду. Взрослые знают, что не всякую правду следует говорить, а Вовочка не знает, поэтому пересказывает мамины разговоры с подругами или папины с друзьями. Он часто повторяет за взрослыми (родителями, учителями,

директором школы, инспектором РОНО) то, что взрослые обычно говорят шепотом, и это-то создает соль анекдотов про Вовочку:

На уроке английского языка Вовочка сидит на задней парте рядом с инспектором РОНО. Учительница пишет на доске *What is your name?* и спрашивает, что это значит? Все молчат, вдруг Вовочка встает и говорит: «Вот это задница!» Учительница покраснела, говорит: «Вовочка, как тебе не стыдно, это же *Как тебя зовут?*» Вовочка поворачивается к инспектору РОНО и возмущенно говорит: «Не знаешь, не подсказывай!»

Точно так же вообще никогда не врут поручик Ржевский и Наташа Ростова — герои другого цикла русских неприличных анекдотов. Оба этих персонажа и в тех случаях, когда это совершенно неуместно, говорят правду, причем Наташа говорит всякие невинные вещи, которые в соответствующем контексте звучат чудовищно неприлично, а поручик Ржевский — противник всяких условностей, он считает, что всегда надо резать правду-матку. По-видимому, не случайно во многих неприличных анекдотах пуанта создается тем, что персонажи не врут и ничего не скрывают, тогда как приличия часто требуют скрытности: неприлично все рассказывать и все называть своими словами!

С другой стороны, есть герои анекдотов, которые не могут быть честными людьми в силу своей профессии, — это политики:

Кладбище, похороны. На постаменте — гроб, венки. Доносится речь: «Сегодня мы хороним выдающегося политика и кристально честного человека». Это слышат двое прохожих, один другого спрашивает: «Интересно, почему двоих в одном гробу?»

Утро после выборов. Один из кандидатов в президенты звонит маме и говорит: «Мам, я набрал наибольшее число голосов!» — «Честно?» — «Мам, ну хоть ты не подкалывай!»

Как известно, пространство русского анекдота имитирует нашу жизнь, в нем, как в кривом зеркале, гротескно отражается действительность. Поскольку вранье, обман, ложь постоянно присутствуют в жизни людей, удачливые и неудачливые обманщики являются постоянными героями русских анекдотов. При этом анекдоты отражают бытующие в русской среде стереотипные представления о вранье — врать нехорошо, но слегка приврать не страшно, а иногда даже необходимо.

ЛИТЕРАТУРА

Wierzbicka 1985 — Wierzbicka A. Lexicography and Conceptual Analysis. Ann Arbor, 1985.

Вежбицка 1997 — Вежбицка А. Речевые жанры // Жанры речи. Саратов, 1997.

А. Д. ШМЕЛЕВ

ВРАНЬЕ В РУССКОЙ «НАИВНОЙ ЭТИКЕ»

Наблюдатели приписывают русской культуре два противоположных отношения к «говорению неправды». С одной стороны, иногда отмечается, что русская культура чрезвычайно высоко ценит правду и предписывает говорить правду (*резать правду-матку в глаза*), даже если это может быть неприятно собеседнику. Этот взгляд решительно отстаивает Анна Вежбицка, указывающая на то, что русской культуре чуждо понятие «белой лжи», или «социальной лжи», предписываемой во многих ситуациях англосаксонскими социальными конвенциями (см., в частности, [Вежбицка 2002: 21]). С другой стороны, целый ряд авторов (как русских, так и зарубежных), напротив, считает, что русские во многих случаях более терпимо относятся к тому, чтобы говорить неправду, нежели представители многих других культур, в частности англосаксонской. Многие русские, столкнувшиеся с «западной» системой ценностей, с удивлением отмечают, что человек, единожды сказавший или написавший неправду (при заполнении анкеты, во время деловых переговоров и т. п.), может безнадежно скомпрометировать себя. В цитированной работе А. Вежбицка упоминает мнение Д. Песмен, которая отмечает, что «хотя у нее нет сравнительных статистических данных насчет склонности разных наций к тому, чтобы лгать (к „mendacity“), в русском языке есть несомненно очень богатый словарь в этой области». В связи с этим А. Вежбицка совершенно справедливо указывает на то, что это лексическое богатство можно, наоборот, рассматривать как свидетельство интереса к «правде» и отрицательного отношения к «неправде». Действительно, лексическая разработанность какого-то концептуального поля в некотором языке вовсе не означает особую приверженность носителей данного языка к осуществлению действий, соответствующих этому концептуальному полю¹.

Статья написана при поддержке РФФИ (проект № 05-06-80215-а «Русская языковая картина мира в межкультурной перспективе»).

¹ Так, наличие в русском языке лингвоспецифичных глаголов *попрекнуть/попрекать* и существительного *попрек* не должно рассматриваться как

В то же время, как мне представляется, ни языковые свидетельства, ни внеязыковые данные не дают основания заключить, что для русской языковой картины мира и русской культуры в целом характерно более отрицательное отношение к тому, чтобы «говорить неправду», нежели, скажем, для английской языковой картины мира и англосаксонской культуры. Да и сама А. Вежбицка в одной из своих работ писала о наличии в русской культуре установки на то, чтобы «извинить и оправдать ложь как неизбежную уступку жизненным обстоятельствам, несмотря на все великолепие правды», приведя в подтверждение характерную русскую пословицу: *Не всякую правду жене сказывай* [Вежбицкая 1999: 281]².

Рассмотрим еще раз в этой связи глаголы *лгать* и *врать* (ключевые русские глаголы, обозначающие «говорение неправды») и их производные. Сразу можно сказать, что глагол *лгать* (перфективный коррелят этого глагола — *солгать*) обозначает действие, предосудительное с точки зрения русской наивно-языковой этики. Толкование глагола *солгать* на «естественном семантическом метаязыке» (данное в заметке [Шмелев 2005]) оказалось довольно близко к толкованию, предложенному А. Вежбицкой для английского глагола *lie* [Wierzbicka 1985: 341–342; Wierzbicka 1996: 152]:

• *X солгал Y-y.* =

Х нечто сказал Y-y

это была неправда

Х знал, что это неправда

Х сказал это, потому что Х хотел, чтобы Y думал, что это правда

если кто-то так делает, он делает плохо

Иными словами, *лгать* значит говорить неправду, зная, что это неправда, но желая, чтобы адресат речи думал, что это правда. Обобщенная формулировка последнего компонента указывает на то, что даже если говорящий по каким-то причинам оправдывает ложь в данном конкретном случае, употребление глагола *солгать* свидетельствует, что он понимает: в норме такого рода действия подлежат осуждению. *Лгущий* человек согрешает уже тем, что подсовывает адресату речи фальшивку, выдавая ложь за истину. Здесь существенно именно то, что имеет место

свидетельство склонности русских к соответствующим речевым действиям. Напротив того, эти слова обозначают поведение, неприемлемое с точки зрения русской «наивной этики», предписывающей, чтобы человек, который сделал кому-то добро, великодушно избегал напоминаний об этом.

² В. И. Даль приводит несколько иной вариант той же пословицы: *Не всякую правду муж жене (или: жена мужу) сказывает*. Приведем еще одну пословицу, содержащую аналогичную установку: *Хороша святая правда, да в дело не годится*.

сознательное введение в заблуждение: если люди «искренно принимают ложь за истину, то никто не признает их лжецами и не увидит в их заблуждении ничего безнравственного» (Вл. Соловьев). Часто речевое действие, обозначаемое глаголом *лгать*, наносит ущерб третьим лицам, о которых *лгуций* человек распространяет лжесвидетельство, непосредственно нарушая тем самым девятую заповедь. Эта сторона дела отражена в производном глаголе *оболгать* <кого-либо>.

Иная нравственная оценка обнаруживается в глаголе *врать* и его производных. Существенно, что глагол *врать* не предполагает лжесвидетельства, и поэтому от него не образуется глагол **обоврать* <кого-либо>. В повседневной жизни неизбежно «бытовое вранье» (ср. [Зализняк, Шмелев 2004: 211]), когда человек говорит неправду, чтобы избежать каких-то неприятных последствий, которые могут возникнуть, если он скажет правду. В тех случаях, когда посредством *вранья* можно отвести опасность от третьего лица, *вранье* может даже оказаться морально предписываемым действием. Ср. эпизод из рассказа Василия Быкова:

...в окно постучали. Брата не было дома, за день до того поехал в деревню помочь матери с дровами да и прихватить кой-каких продуктов для двух городских сыновей. Леплевский открыл, в комнатушку ввалилось человек шесть энкавэдэшников, подняли жену брата с грудным ребенком, потребовали хозяина. Леплевский сказал, что старшего брата нет дома. «Где он, отвечай быстро!» — приказал главный чекист с короткими, щеточкой усиками под ноздреватым носом. Леплевский некоторое время колебался, раздумывая, говорить правду или соврать. Но не стал врать, сказал честно, как было: брат в деревне, на днях должен вернуться. В деревне той ночью его и взяли. Но брал уже не тот с усиками, а местный уполномоченный Усов.

Потом много лет (до и после войны) Леплевский жалел, что сказал правду, может, надо было направить их по ложному следу — в Минск или в Витебск, пускай бы искали, теряли время. А самому предупредить брата, пусть сматывается куда-нибудь подальше. Некоторые в то время так и поступали.

Конечно, чаще при «бытовом» *вранье* человек обманывает собеседника из тщеславия или чтобы избежать наказания, не упасть в глазах собеседника, не испортить с ним отношений. Но, поскольку основная цель здесь не в том, чтобы подсунуть собеседнику «фальшивку», выдать ложь за истину, а в том, чтобы не причинять собеседнику неприятных эмоций или отвести от себя неприятность, то такое *вранье* часто не вызывает морального негодования, что и делает возможным употребление «мягкого» глагола *врать*.

Чаще всего к «бытовому» *вранью* приходится прибегать в разговорах с начальством и в любовных или семейных отношениях. Ср.:

Вот подлец! Умеет же соврать! Весь рабдень где-то шатался, а ловко так загнул — квартиру, дескать, он ремонтирует... (Евгений Попов)
Вранье — штука бытовая, я врал всю жизнь. Правда, только женщинам (Игорь Губерман).

Едва ли не самый типичный образец «бытового» *вранья* являются собою дети, которые *врут* родителям, чтобы избежать наказания за какой-нибудь проступок. Родители обычно объясняют детям, что *врать* нехорошо, но сама необходимость такого объяснения показывает, что отрицательный оценочный компонент не является ингерентной характеристикой глагола *врать*: высказывания *лгать плохо* или *лгать нехорошо* звучали бы тавтологично (а второе даже излишне мягко).

Готовность *врать*, не заботясь об истине, часто оправдывается тем, что *вранье* оказывается интереснее правды. Ср.: *...не желаю знать правду. Лучшие сожмите, но подыщите что-нибудь менее банальное* (Леонид Юзефович). В этом случае *врущий* человек заведомо не преследует никаких корыстных целей, и такое *вранье* обычно не вызывает осуждения окружающих. Ср.: «Наиболее типичный случай **вранья** — это „художественное“ **вранье** — игра воображения, вымысел, болтовня, не имеющая отношения к действительности. Такое **вранье** вполне невинно; в качестве цели оно преследует не личную *корысть*, а *развлечение*, потому что оно интереснее, забавнее, увлекательнее правды» [Апресян 2000: 226]. Характерны сочетания *красиво врать* и особенно *вдохновенно врать*, подчеркивающие эстетическую составляющую *вранья*. Такое *вранье* представляет собою своего рода «приправу» к правде, делающую правду менее «пресной», и для обозначения такого *вранья* используется специальный глагол *приврать*. Действие, обозначаемое глаголом *приврать* (ср. также выражение *приукрасить действительность*), в общем случае не вызывает осуждения, а иногда даже одобряется. *Всякая прибаска хороша с прикраской*, — говорит пословица.

Указанное отношение к *вранью* нашло яркое отражение в известном эссе «Нечто о вранье», вошедшем в «Дневник писателя» Достоевского. Приведем отрывок:

С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем не может быть нелгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут только одни негодяи; лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. У нас, в огромном большинстве, лгут из гостеприимства. Хочется произвести эстетическое впечатление в слушателе, доставить удовольствие, ну и лгут, даже, так сказать, жертвуя собою слушателю. Пусть припомнит кто угодно — не случалось ли ему раз двадцать прибавить, например, число

верст, которое проскакали в час времени везшие его тогда-то лошади, если только это нужно было для усиления радостного впечатления в слушателе. И не обрадовался ли действительно слушатель до того, что тотчас же стал уверять вас об одной знакомой ему тройке, которая на пари обогнала железную дорогу, и т. д. и т. д. Ну а охотничьи собаки, или о том, как вам в Париже вставляли зубы, или о том, как вас вылечил здесь Боткин? Не рассказывали ли вы о своей болезни таких чудес, что хотя, конечно, и поверили сами себе с половины рассказа (ибо с половины рассказа всегда сам себе начинаешь верить), но, однако, ложась на ночь спать и с удовольствием вспоминая, как приятно поражен был ваш слушатель, вы вдруг остановились и невольно проговорили: «Э, как я врал!» <...> Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества — всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и проч. В самом деле, только правдивая тупица какая-нибудь вступает в таких случаях за правду и начинает вдруг сомневаться в числе проскаканных вами верст или в чудесах, сделанных с вами Боткиным. Но это лишь бессердечные и геморроидальные люди, которые сами же и немедленно несут за то наказание, удивляясь потом, отчего оно их постигло? Люди бездарные. <...> Мы, русские, прежде всего боимся истины, то есть и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным.

Здесь показательно то, что в целях «остранения» Достоевский первоначально использует глагол *лгать*, который делает возможным сопоставление мотивов, по которым лгут «в других нациях» и «лгут» в России. Утверждается, что «в других нациях» лгут «только одни негодяи», поскольку лгут «из практической выгоды», т. е., как пишет Достоевский, «прямо с преступными целями»; а в России «лгут», чтобы произвести «эстетическое впечатление в слушателе», доставить ему удовольствие, приятно поразить или даже обрадовать его. Для такой деятельности и глагол *лгать*, содержащий резко отрицательную оценку, не очень-то подходит. Он маркирует взгляд «со стороны», как бы взгляд «иностранца», не проникшего в различие между действиями, обозначаемыми глаголами *лгать* и *врать*. И понятно, что, «с удовольствием» вспоминая произведенное «радостное впечатление», естественно употребить глагол *врать* (Э, как я врал!), а сказать Э, как я лгал! было бы решительно невозможно. Такое вранье не подлежит моральному осуждению, и претензии к нему могут высказывать только «правдивые тупицы», «люди бездарные». В отличие от *лжеца*, который подсовывает собеседнику фальшивку, выдавая ложь за истину, человек, занятый художественным враньем, действует в интересах собеседника; он стремится доставить собеседнику удовольствие и по-

тому не особенно заботится о том, чтобы даже в мельчайших деталях педантично говорить только правду.

Характерно также выражение *деликатная взаимность вранья*, которую Достоевский называет «почти первым условием русского общества». *Деликатность* (которой в русской языковой картине мира придается особое значение) здесь состоит в том, чтобы не уличать собеседника во вранье, а напротив, самому принять участие в вольной беседе, когда никто не боится отклониться от «скучной и прозаичной» истины.

Замечательны также рассуждения в очерке «Всероссийское вранье» Леонида Андреева, в котором *вранье* эксплицитно противопоставляется *лганью*³. О *лганье* там говорится:

Лганье есть искусство — и искусство трудное, требующее ума, таланта, характера и выдержки. Хорошо солгать так же трудно, как написать хорошую картину, и доступно далеко не всякому желающему. Обнаруженная, неудавшаяся ложь есть нечто позорное; лгать опасно — и лгущий должен быть смел, как всякий человек, рискующий собой и становящийся лицом к лицу с опасностью. Ложь должна быть правдоподобна — одно уже это в значительной мере затрудняет пользование ею для слабых и ненаходчивых умов. Сказать, что вчера под Кузнецким мостом я встретил плавающего кита и сильно испугался, — не будет ложью, ибо наглядно противоречит как законам божеским, так и человеческим... Яго лжет искусно и толково, так как знает, что хочет, и выполняет сложный, продуманный план.

Любопытно, что эти замечания вполне коррелируют с наблюдениями В. Ю. Апресян: «**Ложь**, в отличие от **вранья**, часто предполагает предварительное планирование, обдумывание и может отличаться тщательностью... **Ложь**, в отличие от **вранья**, всегда маскируется под правду» [Апресян 2000: 226–227].

Как и Достоевский, Леонид Андреев считает *лганье* не характерным для русских и пишет: *Как это неправдоподобно ни покажется, но русский человек лгать не умеет*. И далее, вновь подчеркнув «общую неспособность русского человека к систематическому лганью», он продолжает:

³ Использование окказионального имени действия *лганье*, которое даже не упоминается в составе синонимического ряда *неправда, ложь, вранье* в детальной статье [Апресян 2000], не случайно. Дело в том, что более употребительное существительное *ложь* имеет стертые употребления, в которых отрицательный этический оценочный компонент может утрачиваться. В дополнение к употребленным, указанным в цитированной статье В. Ю. Апресян, отметим использование слова *ложь* в логике для обозначения ложного высказывания. Если принять критерий истинности Аристотеля, то можно сказать, что *ложь* в этом понимании — это просто высказывание, не соответствующее действительности.

Да, русский человек не умеет лгать, но, кажется, в такой же мере он лишен способности говорить и правду. То среднее, к чему он питает величайшую любовь и нежность, не похоже ни на правду, ни на ложь. Это — вранье... Хлестаков, а не Яго — вот кто истинный наш представитель.

Он специально подчеркивает бескорыстность русского «художественного вранья», делающую его даже чем-то привлекательным:

Русское вранье прежде всего нелепо. Говорил человек долго и хорошо и вдруг соврал: «А у меня тетка умерла». Соврал и сам изумился: тетка мало того, что не умирала, а через полчаса придет сюда, и все это знают. И никаких выгод от теткиной смерти он получить не может, и зачем соврал — неизвестно... А то вдруг сообщит: «А меня вчера здорово побили». Тут уж совсем расчета не было врать: и не пожалеют, и еще, пожалуй, пользуясь предложением, действительно побьют. Но он соврал и кажется даже довольным, что поверили. Я знал одного человека, который всю жизнь врал на себя; поверить ему, так большего негодяя не найти, а в действительности это был честной и добрейшей души человек. Врал он, не сообразуясь ни с временем, ни с пространством; врал даже тогда, когда истина сидела в соседней комнате и каждую минуту могла войти; врал, не щадя себя, жены, детей и друзей. Кто-то сказал раз, шутя, что он похож на бежавшего каторжника, и потом стоило большого труда удержать его от немедленной явки в полицию с повинной: так понравилась ему эта идея и так пылко он взялся за ее дальнейшую обработку... «А то уж очень пресно все, — говорил он. — Ну, что я? Банковский чиновник, так, чепуха какая-то. И жена — чепуха, и дети — чепуха, и все знакомые — такая кислятина. А когда соврешь, как будто интереснее станет». — «Да ведь уличат?» — «Так что ж из этого? Пусть уличают, так и нужно, чтобы правда торжествовала» (Леонид Андреев).

В этом отрывке отражена парадоксальность отношения к *вранью* в русской языковой картине мира. Действие, обозначаемое глаголом *врать*, может не быть морально предосудительным, поскольку не преследует корыстных целей: человек *врет*, потому что это делает жизнь интереснее. В то же время это никак не противоречит любви к *правде* и стремлению к тому, чтобы «правда торжествовала»; поэтому *врущий* человек вовсе не боится быть уличенным и может даже желать этого.

В некоторых случаях «художественное» вранье даже предписывалось социальными конвенциями. Напр., было принято рассказывать небылицы, когда отливали колокол, поскольку существовала примета, что чем больше будет вранья, тем более звонким будет колокол (ср. просторечное *звонить* ‘врать’). Вот как об этом свидетельствует Владимир Гиляровский в книге «Москва и москвичи»:

Колокол льют! Шушукуются по Сухаревке — и тотчас же по всему рынку, а потом и по городу разнесутся нелепые рассказы и вранье. И мало того, что чужие повторяют, а каждый сам старается похлеще соврать, и обязательно действующее лицо, время и место действия точно обозначит.

— Слышали, утром-то сегодня? Под Каменным мостом кит на мель сел... Народищу там!

— В беговой беседке у швейцара жена родила тройню — и все с жеребьячими головами.

— Сейчас Спасская башня провалилась. Вся! И с часами! Только верхушку видать.

Новичок и в самом деле поверит, а настоящий москвич выслушает и виду не подает, что вранье, не улыбается, а сам еще чище что-нибудь прибавит. Такой обычай:

— Колокол льют!

Сотни лет ходило поверье, что чем больше небылиц разойдется, тем звонче колокол отольется. А потом встречаются:

— Чего ты назвонил, что башня провалилась? Бегал — на месте стоит, как стояла!

— У Финляндского на заводе большой колокол льют! Ха-ха-ха!

Однако если человек занимается «художественным враньем» постоянно, это может вызывать неодобрение, к таким людям, подобным упомянутому выше Хлестакову, Репетилову или Ноздреву, принято относиться скептически. Так, о Ноздреве сказано, что он, бывало,

...проврется самым жестоким образом, так что наконец самому делается совестно. И наврет совершенно без всякой нужды: вдруг расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой масти, и тому подобную чепуху, так что слушающие наконец все отходят, произнеши: «Ну, брат, ты, кажется, уж начал пули лить».

О таком человеке говорят, что он *проврался* или *заврался*, и распространенная сентенция, адресованная ему, звучит: *Ври, да не завирайся* (или, как говорит Чацкий Репетилову: *Ври, да знай же меру*)⁴. Таким образом, распространенное отношение к «художественному вранью» таково, что *врать* можно, но в меру, нельзя *завираваться*, как герой известного стихотворения Даниила Хармса «Врун», который, напр., со-

⁴Заметим, что образованный по аналогичной модели глагол *залгаться* звучит необычно; его использование в известном словосочетании из стихотворения Бориса Пастернака *ангел залгавшийся* оправдано тем, что причастие *заврававшийся* было бы стилистически несовместимо со словом *ангел*.

общал, что у его папы «было сорок сыновей». Реакция слушателей на такое *вранье* весьма показательна:

Врешь! Врешь! Врешь! Врешь!
Еще двадцать,
Еще тридцать,
Ну ещё туда-сюда,
А уж сорок,
Ровно сорок, —
Это просто ерунда!

Между «бытовым» и «художественным» *враньем*, как они представлены в русской языковой картине мира, нет непроходимой границы. Занимаясь «бытовым» *враньем*, можно делать это «художественно»:

Если вы гуляли в шапке, а потом она пропала, —
Не волнуйтесь, дома маме можно что-нибудь соврать.
Но старайтесь врать красиво, чтобы, глядя восхищенно,
Затаив дыхание, мама долго слушала вранье (Григорий Остер).

Иногда отмечают, что мужчинам больше свойственно «бытовое вранье», а женщинам — «художественное вранье»:

Можно ли сравнивать крупную мужскую ложь, стратегическую, архитектурную, древнюю, как слово Каина, с милым женским враньем, в котором не усматривается никакого смысла-умысла, и даже корысти? (Людмила Улицкая).

Водораздел замечен еще в школе: мальчишки врут, чтобы избежать неприятностей, девочки — чтобы казаться интереснее. Взросление ничего принципиально не меняет: мужчины продолжают искажать реальность ради конкретной сиюминутной выгоды, а женщины — так, вообще, для красоты (Елена Ямпольская // «Неделя», 26 мая 2006).

Итак, мы видим, что русский язык не отождествляет действия, обозначаемые глаголами *лгать* и *врать*. Можно добавить, что если *лжет* человек всегда сознательно, то *соврать* он может по неосторожности, когда скажет нечто, не подумав. Поэтому возможны такие обороты, как *не соврать бы*; *боюсь соврать*; *чтобы не соврать*; *боюсь, не соврать бы*. Используя эти обороты, мы даем понять, что хотим избежать безответственных, легкомысленных и необдуманных высказываний, которые именно в силу своей безответственности, легкомысленности и необдуманности могут отклониться от истины. Ссылаясь на свидетеля, который может подтвердить наши слова, мы иногда говорим, что такой-то *не даст соврать*. Разумеется, в этом обороте никак не выражено желание сказать неправду, от которой

можно удержаться только в силу наличия свидетеля. Свидетель нужен для того, чтобы поправить невольную ошибку, от которой никто не застрахован. Сказав нечто, не подумав, и случайно ошибившись, можно исправиться, сказав *вру*, напр.: *Он живет на Пречистенке... вру, на Остоженке*. Таким образом, наряду с «бытовым» и «художественным» *враньем*, можно выделить «легкомысленное» *вранье*, свойственное человеку, не особенно заботящемуся об истинности своих высказываний. При этом человек, который пытается никогда не *врать*, и избегать даже «легкомысленного» *вранья*, может восприниматься как чрезмерный педант, и с этой точки зрения возможен подход, оправдывающий *вранье*. Разумихин в «Преступлении и наказании» говорил: *...вранье всегда простить можно; вранье дело милое, потому что к правде ведет*. Далее он так развивал эту мысль: *Я люблю, когда врут! Вранье есть единственная человеческая привилегия перед всеми организмами. Совершишь — до правды дойдешь! Потому я и человек, что вру. Ни до одной правды не добирались, не соврав наперед раз четырнадцать, а может, и сто четырнадцать, а это почетно в своем роде; ну, а мы и соврать-то своим умом не умеем! Ты мне ври, да ври по-своему, и я тебя тогда поцелую. Соврать по-своему — ведь это почти лучше, чем правда по одному по-чужому; в первом случае ты человек, а во втором ты только что птица! Правда не уйдет, а жизнь-то заколотить можно; примеры были, — и резюмировал: ...хоть мы и врем, потому ведь и я тоже вру, да довермся же наконец и до правды, потому что на благородной дороге стоим...*

Сказанное объясняет известное замечание Бориса Пастернака: «По-русски *врать* значит скорее нести лишнее, чем обманывать». Характерен производный глагол *наврать*, который может соотноситься и с «бытовым», и с «художественным», и с «легкомысленным» *враньем*. Он входит в ряд выражений, указывающих не столько на ложь, злонамеренно выдаваемую за истину, сколько на некоторую беззаботность по части правды: *наболтать, наговорить, наобещать, наплести с три короба* (заметим, что от глагола *лгать* производный глагол *налгать* малоупотребителен). Можно заметить, что указанные выражения примыкают к глаголам кумулятивного способа действия, обозначающим постепенное накопление результата [Зализняк, Шмелев 2000: 114–115], а некоторые из них непосредственно относятся к классу кумулятивных глаголов. Глаголы данного класса являются результативными в том смысле, что они предполагают оценку результата действия, даваемую *post factum*. Эта черта присуща и глаголу *наврать*, и поэтому он обычно используется при пересказе в перфектном режиме, охотно сочетаясь с изъяснительными клаузами, резюмирующими содержание речи и оценивающими его как не соответст-

вующее действительности (и практически не употребляется с прямой речью), — ср. следующие примеры, часть из которых заимствована из «Национального корпуса русского языка»:

Девочка нашлась уже днем, ночевала у знакомых на окраине села, наврала им, что родители внезапно уехали (Людмила Петрушевская).

Не говорите ему, что я у вас сегодня была впервые, я ему наврала, что уже приходила к вам (Зоя Масленикова).

Вдобавок он еще зачем-то наврал Варваре, что ушел именно к юристам (Татьяна Устинова).

Я наврала ему, что Панаев получил из деревни деньги и, если Белинский займет у него, то еще сделает этим одолжение, потому что Панаев растратит их и, когда придется платить за квартиру, то денег наверно у него не окажется (Панаева).

Один раз Ваня уже письменно наврал, что принимал участие в собачьих бегах из Петербурга в Москву, а второй раз опять наврал про то, что мэр Москвы командировал его на подводную лодку, на которой Охлобыстин якобы нейтрализовал страшный и, безусловно, злодейский заговор (Иван Охлобыстин).

Напротив того, глагол *соврать*, характеризующий конкретное высказывание, часто используется в нарративе и свободно сочетается с прямой речью (ср. многочисленные иллюстрации в «Национальном корпусе русского языка», напр.: «Мы больше никогда не врем», — *соврал Дырка*).

Можно дать глаголам *наврать* и *соврать* следующие толкования на «естественном семантическом метаязыке» (толкование глагола *соврать* было предложено в заметке [Шмелев 2005]; здесь оно несколько модифицировано)⁵:

• *X наврал Y-у, что P.* =

X сказал Y-у, что P

это была неправда

X сказал это не потому, что X думал, что это правда

X сказал это, потому что X думал:

хорошо, если Y будет думать, что это правда

(люди могут сказать: нехорошо, если кто-то так делает)

⁵ Я признателен Анне Вежбицкой, указавшей мне (в электронной переписке) на некоторые неточности в первоначальной версии толкования. Разумеется, я не могу быть уверен, что предлагаемая модификация устраняет все неточности.

• *Х соврал Y-у.* =

Х нечто сказал Y-у

это была неправда

Х сказал это не потому, что Х думал, что это правда

Х сказал это, потому что Х думал:

хорошо, если Y будет думать, что это правда

(люди могут сказать: нехорошо, если кто-то так делает)

Компоненты 'Х сказал это не потому, что Х думал, что это правда' и 'Х сказал это, потому что Х думал: хорошо, если Y будет думать, что это правда' необходимы. Если Х говорит нечто, потому что с самого начала думает, что это правда, то речь может идти только об ошибке или добросовестном заблуждении, но не о *вранье*. Эта ситуация отличается от ситуации, когда Х проявляет беззаботность по части истины и мы имеем дело с «легкомысленным» *враньем*, и тем более от ситуации, когда Х искажает истину, чтобы избежать неприятностей или «для красоты». Хотя, казалось бы, в случае «художественного вранья» цель *врущего* человека состоит не в том, чтобы обмануть адресата речи, но и в этом случае он все же рассчитывает на то, что ему поверят (в противном случае это уже не *вранье*, а *художественный вымысел*). Если Х не стремится к тому, чтобы его словам поверили (т. е. не хочет, чтобы Y думал, что сказанное правда), то слово *врать* (и его производные) в современном языке не подходят для описания такой ситуации⁶.

Существенно и то, что оценочный компонент существенно ослаблен по сравнению с толкованием глагола *солгать* и заключен в скобки, что подчеркивает его факультативность. В речи разных носителей языка отрицательное отношение к *вранью* представлено в разной степени, и мы можем наблюдать весь диапазон оценок от нетерпимости до полного снисхождения. Часто, проявляя снисхождение к *вранью*, подчеркивают ее отличие от «лганья», или *лжи*, как в цитированном выше отрывке из повести Людмилы Улицкой «Сквозная линия», в котором противопоставляются *крупная мужская ложь*,

⁶ Не применяют глагол *врать* и по отношению к первоапрельским шуткам, когда говорящий рассчитывает, что адресат речи ему поверит, но имеет в виду сразу же весело указать на то, что верить не следовало. По-видимому, рассматриваемого ограничения не было в языке первой половины XIX в., так что слово *врать* (и его производные) могли относиться, напр., к художественному творчеству. Так, Батюшков называл Державина «божественный стихотворец и чудесный враль» и писал, что «сам Гомер врал шестистопными стихами от искреннего сердца» (примеры из статьи [Пеньковский 2005]).

стратегическая, архитектурная, древняя, как слово *Каина*, и милое женское вранье, в котором не усматривается никакого смысла-умысла, и даже корысти. Самые разные авторы указывают, что *лгут* продуманно и из корыстных соображений, и это делает ложь этически неприемлемой в отличие от вранья. Персонаж повести Игоря Губермана «Штрихи к портрету», сказав: *Прятаться, ловчить, видоизменяться он просто не умел. Очевидно, так же, как и лгать*, — счел необходимым оговорить: *Ты, я надеюсь, понимаешь разницу между ложью и враньем*. Ср. строки из стихотворения И. Сельвинского «Ложь»:

Умею врать, но не умею лгать.
Вранье я не считаю преступленьем...
Вранье не знает петель и сетей:
Оно — удел поэтов и детей.
Совсем другое дело, братцы, ложь,
Издревле ненавидимая всеми...
Попробуй расколоть ее на звенья,
Она слукавит: «Я — мировоззренья!»

Различие между «лганьем» и *враньем* отчетливо проявляется и в производных именах деятеля. Именованье кого-либо *лжецом* также составляет весьма сильное обвинение; не случайно в церковном обиходе выражение «лжец и убийца» представляет собою иносказательное обозначение сатаны. Но и в повседневном употреблении слово *лжец* часто включается в сочинительные ряды, со всей очевидностью свидетельствующие, что даже однократная ложь преступна, напр.: *клеветники, лжецы и всякого рода изверги* (Гончаров). Слово *врун* не имеет такой яркой отрицательной окраски, и его применение в контекстах подобного рода неуместно. Так, *врунами* называют детей, часто прибегающих к *вранью*; слово *врун* может быть применено и к взрослому человеку. К человеку, которого называют *вруном*, не принято относиться всерьез, но по отношению к нему обычно не испытывают сильного негодования.

Мы видим, что разноречивой в понимании того, как русская культура относится к говорению неправды, не случаен. С одной стороны, в ней чрезвычайно ценится *правда*; с другой стороны, в ней нет установки на аккуратность и точное следование фактам, присущее, напр., англосаксонской культуре. Поэтому, если человек говорит неправду из корыстных соображений, это безусловно осуждается и клеймится посредством глагола *лгать*. Если же человек отклоняется от истины по какой-то другой причине (напр., в силу легкомысленного отношения к фактической точности) и не преследует корыстных целей, то ис-

пользуется глагол *врать* (и его производные) и отношение к такому *вранью* может быть менее определенным. С одной стороны, как бы то ни было, человек говорит неправду, и это нехорошо; с другой стороны, в отсутствие корыстного умысла требование неуклонного следования фактам может восприниматься как неуместный педантизм.

ЛИТЕРАТУРА

- Апресян 2000 — *Апресян В. Ю.* Неправда, ложь, вранье // Новый объяснительный словарь русского языка. Вып. 2. М., 2000.
- Вежбицкая 1999 — *Вежбицкая А.* Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.
- Вежбицкая 2002 — *Вежбицкая А.* Русские культурные скрипты и их отражение в языке // Русский язык в научном освещении. 2002. № 2 (4).
- Зализняк, Шмелев 2000 — *Зализняк Анна А., Шмелев А. Д.* Введение в русскую аспектологию. М., 2000.
- Зализняк, Шмелев 2004 — *Зализняк Анна А., Шмелев А. Д.* Эстетическое измерение в русской языковой картине мира // Логический анализ языка. Языки эстетики: концептуальные поля прекрасного и безобразного. М., 2004.
- Пеньковский 2005 — *Пеньковский А. Б.* Загадки пушкинского текста и словаря: Опыт филологической герменевтики. М., 2005.
- Шмелев 2005 — *Шмелев А. Д.* Комментарии к статье А. Вежбицкой // *Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д.* Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005.
- Wierzbicka 1985 — *Wierzbicka A.* Lexicography and conceptual analysis. Ann Arbor: Karoma publishers inc., 1985.
- Wierzbicka 1996 — *Wierzbicka A.* Semantics: primes and universals. Oxford New York: Oxford University Press, 1996.

«ЕСЛИ Б ДА КАБЫ...»:
ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К АНАЛИЗУ
КОНТРАФАКТИЧЕСКИХ УСЛОВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Отправным пунктом нашего исследования является тезис о том, что контрфактические условные конструкции — это такие ирреально-условные предложения, которые содержат в своей зависимой части контрфактическую презумпцию, выражаемую сослагательным наклонением (см. об этом в [Падучева 1996: 71–72]). Е. В. Падучева полагает, что суть подобной презумпции состоит в «указании на невыполненность условия», а предложение «Если бы ты вчера туда пришел, ты бы узнал много нового» должно, по мнению ученого, иметь в качестве контрфактической презумпции содержание: «‘Ты туда не пошел, но если бы пошел, то узнал бы много нового’» [Там же]¹.

Мы же, со своей стороны, намерены рассмотреть в качестве контрфактических такие ирреально-условные предложения, которые содержат в себе причинно-следственный комплекс, и именно их считать наделенными соответствующей презумпцией. И тогда под контрфактической презумпцией нужно будет понимать указание не только на невыполненность условия, а на осуществление чего-то ему противоположного — положения дел, которое явилось реальной причиной реального же следствия или результата. Так, в предложениях «Если бы Иванов не заболел (А), он бы пришел (В)» и «Иванов не пришел (В), потому что заболел (А) (= Иванов заболел (А), поэтому не пришел (В))» часть (А), выражающая причину, оформлена в первом случае при помощи косвенного наклонения, а во втором — при помощи индикатива. А поскольку в индикативном сложном предложении и придаточное, и главное предложения являются фактивными, то и его неиндикативный аналог будет иметь контрфактические презумпции не только в зависимой, но и в главной своей части. Свойство косвенного наклонения антитезно отображать каузально связанные события действительности издавна

¹ Контрфактичность далеко не всегда связывается с соответствующей презумпцией; например, это понятие определяется как «предположение о том, что некоторая ситуация (по сведениям говорящего не имеющая места в реальном мире) в каком-то альтернативном мире могла иметь место; таким образом, контрафактичность описывает предположение, противоречащее фактам» [Плунгян 2004: 274].

отмечалось в отечественной русистике (см. об этом в: [Ильенко 1962, Гулыга 1976, Кузнецова 1981, Теремова 1990]). Там же отмечалось еще, что косвенное наклонение призвано описывать также и те события, которые существуют лишь в воображении говорящего, то есть осуществлять чисто гипотетическую функцию.

Представляется, однако, что в контрфактических условных предложениях (в нашем понимании) обе эти функции косвенного наклонения реализуются одновременно, создавая то, что можно было бы называть ситуацией «двоемирия». Последняя состоит в том, что поверхностная структура отражает виртуальный, воображаемый мир (Если бы было А, то было бы В), а имплицитное содержание в виде двух контрфактических презумпций ('но А не было и поэтому не было и В') — мир реальный. Виртуальный, воображаемый мир есть не что иное, как предсказание относительно перспективы реализации события-следствия (В) в зависимости от осуществления события-условия (А). Прогнозируемые условие и следствие, контрадикторные реальным событиям, как правило, обращены в прошлое, т. е. имеет место ретропрогноз.

Наша главная гипотеза состоит в том, что в этих высказываниях осуществляются сразу две ментально-дискурсивных процедуры: предсказание (прогноз) и особый вид объяснения, который мы назовем контрфактическим. Последнее представляет собой специфическую форму кодирования каузальной информации (с прогностическим «отягчением» или даже амальгамированием), и поэтому такие высказывания допускают постановку вопроса «Почему»? к своей главной части (В), выражающей следствие. Более того, возможность постановки подобного вопроса постулируется в качестве главного диагностического теста, идентифицирующего контрфактическое объяснение (КО) в рамках высказывания; поэтому вопросно-ответная система 'Почему ('В')? Потому что ('А')' составит основу толкования наших примеров.

Нами было также замечено, что причинно-следственные комплексы, реализующие КО, бенефактивно окрашены: «плохие»/«хорошие», условно говоря, причины производят, соответственно, «плохие»/«хорошие» следствия. Совокупность тех и других создает то, что мы называли бенефактивной этиологией. Эта бенефактивная окраска порой просто «высвечивается» присутствием в поверхностной структуре бенефактивных и каузативно-бенефактивных индикаторов, или диагностиков. Это такие лексемы, как *беда*, *к счастью*, бенефактивно однозначные каузативные глаголы *спасти*, *выручить*, *подвести*, глагол *помешать* с его двойным аксиологическим потенциалом и пр. Но и в случае их отсутствия на поверхности текста эти и другие глаголы будут использованы в метаязыке семантического описания в качестве интерпретирующих предикатов: для «плохих» причин — *спровоциро-*

вать, помешать (хорошему), для «хороших» — способствовать, спасти, помешать (плохому), с последовательным уточнением их значения посредством метаформулы [каузировать плохое/хорошее 'В' быть / не быть]. Этим предикатам соответствуют следующие латинские номинации «плохой» причины: *causa culpa* — «личная ответственность» (если бы не ты = из-за тебя) и *causa poxa* — «неблагоприятные обстоятельства» (если бы не пробки на дорогах = из-за пробок). Для «хорошей» причины мы изобрели термин *causa gratia* (если бы не твоя помощь = благодаря твоей помощи).

Дальше мы покажем, как эта бенефактивная этиология реализуется в структурных схемах контрфактических условных конструкций, которые являются также и структурными моделями КО. Таких моделей, исчисленных по наличию/отсутствию поверхностного отрицания в частях, у нас оказалось четыре: первая содержит отрицательные форманты в обеих частях, вторая их вообще лишена, третья имеет отрицание только в зависимой части, а четвертая — лишь в главной². Внутри каждой структурной модели выделяется по две бенефактивных субмодели, в зависимости от того, какого рода причина — *causa culpa* / *causa poxa* или *causa gratia* в них участвует. Бенефактивная субмодель 1.2 получает конкретизацию (1.2а и 1.2б), поскольку требуется уточнить способ «действия» причин посредством интерпретирующих предикатов и метапредикатов. Вот эти модели и субмодели; мы их показываем пока без примеров.

Модель 1

Если бы не было А, не было бы В // но А было и поэтому было В

1.1. Прогноз: 'Плохое могло бы и не быть, но, к несчастью... 'А' — провоцирующий фактор, 'В' — неудача, неловкость, неприятность; *causa poxa/culpa* 'А' спровоцировала 'В' [плохое 'В' каузировано быть]'

1.2. Прогноз: 'Хорошее могло бы и не быть, но, к счастью... 'А' — благоприятствующий фактор (благодаря), 'В' — удача'

1.2а. '*Causa gratia* 'А' способствовала хорошему 'В' [хорошее 'В' каузировано быть]'

1.2б. '*Causa gratia* 'А' предотвратила плохое 'В' [плохое 'не-В' каузировано не быть] и тем самым способствовала хорошему [хорошее 'В' каузировано быть]'

² Ср. описание двух моделей ирреально-условных высказываний, содержащих отрицание в одной и в обеих частях, а также их каузальную интерпретацию в [Кузнецова 1981: 102] и [Теремова 1990: 23–24]. О функциональной близости частиц *не* и *бы*, сочетание которых указывает на позитивную информацию, еще раньше отмечалось в [Ляпон 1979: 207].

Модель 2

‘Если бы было А, то было бы В // но А не было, поэтому не было В’

2.1. Прогноз: ‘Все могло бы быть хорошо (или лучше), но, к сожалению... ‘не-А’ — неблагоприятный фактор, ‘не-В’ — неудача; *causa poxa/culpa* ‘не-А’ — спровоцировала плохое [плохое ‘не-В’ каузировано быть] = помешала хорошему [хорошее ‘В’ каузировано не быть]’

2.2. Прогноз: ‘Все могло бы быть и хуже, но, к счастью... ‘не-А’ — благоприятный фактор, ‘не-В’ — удача, «подарок судьбы», спасение; *causa gratia* ‘не-А’ способствовала хорошему [хорошее ‘не-В’ каузировано быть] = помешала плохому [плохое ‘В’ каузировано не быть]’

Модель 3

‘Если бы не было А, то было бы В // но А было и поэтому не было В’

3.1. Прогноз: ‘Могло бы быть хорошо / не быть плохо, но, к сожалению/несчастью... ‘А’ — неблагоприятный фактор (из-за); ‘не-В’ — неудача/катастрофа; *causa culpa/poxa* ‘А’ спровоцировала плохое [плохое ‘не-В’ каузировано быть] = помешала хорошему [хорошее ‘В’ каузировано не быть]’.

3.2. Прогноз: ‘Могло бы быть плохо, но, к счастью... ‘А’ — спасительный, превентивный фактор (благодаря), ‘не-В’ — спасение (предотвращенная катастрофа); *causa gratia* ‘А’ помешала несчастью/катастрофе [плохое ‘В’ каузировано не быть]’

Модель 4

‘Если бы было А, то не было бы В // но А не было и поэтому было В’

4.0. Прогноз: ‘Плохое могло бы не быть, но, к несчастью... ‘не-А’ — нереализованный превентивный фактор, ‘В’ — непредотвращенная катастрофа; *causa poxa/culpa* ‘не-А’ не помешала ‘В’ [плохое ‘В’ не каузировано не быть]’

Проиллюстрируем теперь эти модели и субмодели литературными примерами из произведений Достоевского. К анализу будут привлекаться не только прототипические конструкции, но и их структурные модификации.

Модель 1. ‘Если бы не было А, не было бы В // но А было и поэтому было В’

1.1. Прогноз: ‘Плохое могло бы и не быть, но, к несчастью... ‘А’ — провоцирующий фактор, ‘В’ — неудача, неприятность, катастрофа; *causa poxa/culpa* ‘А’ спровоцировала ‘В’ [плохое ‘В’ каузировано быть]’

- (1) *Не будь этого рокового песта в руках его (А), он бы только избил бы отца, может быть, но не убил (В)* [БРК 14: 172].

Толкование: 'Почему (так случилось, что) Дмитрий убил отца? ('В') Потому что (из-за того, что) у него в руках был тяжелый предмет (causa poxa/culpa) ('А')' Из этого фрагмента речи адвоката явствует, что тот абсолютно уверен в том, что Карамазов все-таки убил отца, правда, не намеренно, а случайно. И хотя следствие 'В' — измышление самого адвоката, он подает его как факт, стало быть, приходится считать, что не только зависимая часть, но и главная содержит в себе контрфактическую презумпцию: 'У него в руках был медный пестик' — факт, и 'Он убил отца' — тоже факт. Контрфактическое объяснение совмещено здесь ретропрогнозом, неуверенный характер которого проявляется в употреблении оборота *может быть* с проблематическим значением. Словоформа *избил* показывает, что в другом случае ('не-А') и последствия могли быть иными.

- (2) *Замечу, предупреждая события, что она тут во многом ответственна. Если бы не честолюбие и самомнение Юлии Михайловны (А), то, пожалуй, не было бы всего того, что успели у нас натворить эти дурные людишки (В). Тут она во многом виновата* [БС: 245].

Толкование: 'Почему (= из-за чего/кого) произошли все эти неприятные события ('В')? Все то, что успели натворить эти дурные людишки, произошло из-за честолюбия и самомнения Юлии Михайловны ('А')' Именно ей, как жене губернатора, «инкриминируется» все случившееся (causa culpa). В тексте наличествует специфически каузальная лексика: предикативы *ответственна* и *виновата*. Прогноз носит уже более уверенный характер, судя по наличию вводно-модального элемента *пожалуй*.

1.2. Прогноз: 'Хорошее могло бы и не быть, но, к счастью... 'А' — благоприятствующий фактор (благодаря), 'В' — удача'.

1.2а. 'Causa gratia 'А' способствовала хорошему 'В' [хорошее 'В' каузировано быть]'

- (4) *Знаешь, Ваня, что я бы, может быть, и не решилась на это (В), если б тебя не случилось со мной (А). Ты спасение мое, я тотчас на тебя понадеялась* [УиО: 202].

Толкование: 'Почему (благодаря чему) я на это решилась ('В')? Благодаря тому, что ты оказался рядом (causa gratia) ('А')' Если бы не наличие аксиологического диагностика в непосредственном послетексте (*спасение*), то, пожалуй, невозможно было бы догадаться, из-за или благодаря 'А' (случайное появление Ивана в нужный момент),

было осуществлено 'В' (решилась на это). И здесь прогноз не отличается уверенностью, так как выходит на поверхность текста в виде оборота *может быть*.

1.26. 'Causa gratia 'А' предотвратила плохое 'не-В' [плохое 'не-В' каузировано не быть] и тем самым способствовала хорошему 'В' [хорошее 'В' каузировано быть]'

(5) *Если бы не было взято так твердо решение мое на завтра (А), — подумал он вдруг с наслаждением, — то не остановился бы я целый час приставивать мужичонку (В), а прошел бы мимо него, и только плюнул бы на то, что он замерзнет [БКР 15: 69].*

Толкование: 'Почему (= благодаря чему) я (Иван Карамазов) позаботился о замерзающем ('В')? Благодаря тому, что было так твердо принято решение объявить завтра о своей виновности на суде (causa gratia) ('А')' Каузирующим фактором 'А' здесь оказывается особый моральный настрой, который без всякого намерения со стороны самого субъекта способствовал совершению именно хорошего поступка 'В' и помешал ему проявить обычное для него безразличие. Последнее могло бы выразиться в привычных действиях (*прошел мимо и наплевал...*), которые, кстати, и реализуют гипотетический смысловой компонент, в отсутствии модальных сегментов.

Модель 2. 'Если бы было А, то было бы В // но А не было, поэтому не было В.'

2.1. Прогноз: 'Все могло бы быть хорошо (или лучше), но, к сожалению... 'не-А' — неблагоприятный фактор, 'не-В' — неудача; causa poxa/culpa 'не-А' — спровоцировала плохое [плохое 'не-В' каузировано быть] = помешала хорошему [хорошее 'В' каузировано не быть]'.
'

(6) *И стал он ко мне ходить чуть не каждый вечер, и сдружались бы мы очень (А), если бы он мне о себе говорил (В) [БКР 14: 247]*

Толкование: 'Почему мы не очень сдружились = не сдружились очень ('не-В')? Из-за того, что он о себе не рассказывал ('не-А')' Особенно плохого в этой ситуации ничего нет, сожаление может вызвать лишь то, что неполная откровенность (causa poxa) помешала полной дружбе, каковой вполне можно было ожидать. В этом тексте объяснение и предсказание полностью амальгамированы, хотя последнее на уровне текста себя никак не проявляет.

2.2. Прогноз: 'Все могло бы быть и хуже, но, к счастью... 'не-А' — благоприятный фактор, 'не-В' — удача, «подарок судьбы»,

спасение; *causa gratia* 'не-А' способствовала хорошему [хорошее 'не-В' каузировано быть] = помешала плохому [плохое 'В' каузировано не быть]

- (7) *Не то что обошел бы, а наверное все бы им оставил, а обошел бы именно меня одного (В), если бы сумел дело сделать и как следует завещание написать (А) [ПОДР: 88].*

Толкование: 'Почему меня не обошли в завещании ('не-В')? Потому что = благодаря тому, что он (завещатель) не сумел как следует оформить завещание (*causa gratia*) ('не-А')' Получается, что только случайное происшествие (ошибка завещателя) помешало случиться неприятности, что надо рассматривать как особый случай везения («милость судьбы»). На уровне текста (несостоявшееся) бенефактивное зло воплощено в лексеме *обойти*. Контрфактическое объяснение здесь является логическим развитием собственно прогноза, весьма уверенный характер которого подчеркнут наречием *наверное* (= наверняка). Последнее, будучи употреблено без запятых (в отличие от своего вводно-модального омонима, отделенного запятыми), означает весьма высокую степень вероятности прогноза.

Модель 3. 'Если бы не было А, то было бы В // но А было, поэтому не было В'

3.1. Прогноз: 'Могло бы быть хорошее / не быть плохое, но, к сожалению/несчастью... 'А' — неблагоприятный фактор (из-за); 'не-В' — неудача/катастрофа; *causa culpa*/поха 'А' помешала хорошему [хорошее 'В' каузировано не быть]'

- (8) *Вот, дескать, на что (исполнение обычных человеческих обязанностей. — И. Р.) я ухлопал мою жизнь, вот что связало меня по рукам и ногам, вот что помешало мне открыть порох. Не было бы этого (А), я, может быть, непременно бы открыл порох, либо Америку (В) [ИД: 368].*

Толкование: 'Почему (из-за чего) я не открыл порох ('не-В')? Из-за того, что вынужден был заниматься повседневными делами ('А') Реализованное 'А' (повседневные житейские занятия) само по себе аксиологически нейтрально, но по отношению к несостоявшемуся «хорошему» 'В' (выдающиеся достижения) оно оказывается неблагоприятным, препятствующим фактором (*causa poxa*). Этот смысл препятствия передается в предтексте глаголом *помешать*. И здесь прогноз носит довольно робкий характер, если судить по наличию уже не раз употреблявшегося модального оборота *может быть*.

3.2. Прогноз: 'Могло бы быть плохо, но, к счастью... 'А' — спасительный, превентивный фактор (благодаря), 'не-В' — спасение

(предотвращенная катастрофа); *causa gratia* 'А' помешала несчастью/катастрофе [плохое 'В' каузировано не быть]'

- (10) *Когда бедная женщина стала вынимать святые книги у нас в Гостином ряду, то посыпались и фотографии; толпа стеснилась, стали ругаться, дошло бы и до побоев (В), если бы не подоспела полиция (А)* [БС: 251].

Толкование: 'Почему (= благодаря чему) дело не дошло до побоев ('не-В')? Благодаря вмешательству полиции (*causa gratia*) ('А')' Факт 'А' (вмешательство полиции) помешал = предотвратил происшествие 'В', сделав его невозможным. Степень осуществимости прогноза передается здесь особым образом: выражение *дошло бы и до...*, обозначает самую высокую степень вероятности и субъективной уверенности.

Презентацию третьей концептуальной модели мы завершим рассмотрением особой неиндикативно-индикативной модификации, которая, впрочем, довольно легко трансформируется в прототипическую структуру.

- (11) *Деревеньки же и хороший городской дом, которые тоже пошли ей в приданое, он (Федор Карамазов. — И. Р.) долгое время и из всех сил старался перевести на свое имя и наверное бы добился того (В... Но, к счастью, вступилось семейство Аделаиды Ивановны и ограничило хапугу (А)* [БКР 14: 9].

Трансформация: 'Если бы семейство А. И. не вступилось и не ограничило хапугу (А), он бы наверное добился того, что перевел на свое имя деревеньки и хороший дом, которые пошли ей в приданое (В)'

Толкование: 'Почему он не добился своего ('не-В')? Благодаря тому, что вступилось семейство А. И. (*causa gratia*) ('А')' Здесь помимо собственно бенефактивного индикатора (*к счастью*) наличествует еще бенефактивно-каузативный глагол *вступиться*, и все это, как и следовало ожидать, находится в части (А), описывающей превентивный, спасительный фактор. Этот компонент, вводимый противительным союзом *но*, является индикативным, но вполне замещает условное придаточное с глаголом в косвенном наклонении. Предсказание носит весьма уверенный характер: наречие *наверное* здесь употреблено без запятых.

Модель 4. 'Если бы было А, то не было бы В // но А не было, поэтому было В'

4.0. Прогноз: 'Плохое могло бы и не быть, но, к несчастью... 'не-А' — нереализованный превентивный фактор, 'В' — предотвращенная катастрофа; *causa poxa* 'не-А' не помешала 'В' [плохое 'В' не каузировано не быть]'

- (12) *Господи! Если бы Ты был тогда здесь (А), не умер бы брат мой (В)* (цит. по: [ПРН: 251]).

Сестра Лазаря сетует на то, что Учитель не смог предотвратить несчастье и спасти ее брата. Толкование: 'Из-за чего (как могло случиться, что) умер мой брат? ('В') Из-за того, что Тебя с нами не было (causa poxa) ('не-А')'. Хотя формальных показателей предсказания в этой фразе не наблюдается, объяснение здесь настолько тесно спаяно с предсказанием, что можно говорить уже о ретропрогнозе-объяснении, как о синтезе того и другого.

- (13) *Если бы вы тогда поговорили со мной по-человечески, если бы хоть намекнули об этой проклятой игре (А), я, может быть, не втянулся бы как дурак (В)* [ПОДР: 216].

Толкование: 'Почему (из-за чего) я втянулся в игру ('В')? Из-за того, что вы мне ничего не сказали = не предупредили об опасности (causa culpa) ('не-А')' «Обвинение», которое предъявляется собеседнику, состоит в том, что тот своим намеренным воздержанием от объяснений не спас автора объяснения (и прогноза) от пагубного увлечения. О малой вероятности прогноза свидетельствует все тот же модальный оборот может быть.

Подведем теперь некоторые итоги.

1. С точки зрения глубинного содержания, все четыре структурные модели КО, реализующиеся в контрфактических условных высказываниях, различаются как разнообразием содержащейся в них бенефактивной этиологии, так и степенью семантической плотности каузального блока. **Первая** модель (отрицания в обеих частях) отличается наибольшим содержательным разнообразием, так как включает в себя три аксиологические субмодели: одна с бенефактивно «плохими» и две с бенефактивно «хорошими» 'А' и 'В'. Реализующийся в них каузально-бенефактивный блок отличается разной степенью сложности. Так, в случае causa culpa/poxa имеет место каузация первого ранга, как непосредственная «связка» событий, без предыстории: *спровоцировать* [= каузировать плохое 'В' быть]. Causa gratia может участвовать в каузации как первого (*способствовать* [= каузировать хорошее 'В' быть]), так и второго ранга, с предысторией. Во втором случае состоявшееся 'А' разворачивает в противоположную сторону уже готовый осуществиться неблагоприятный ход событий: *помешать (предотвратить, спасти)* [= каузировать плохое 'не-В' не быть]. **Вторая** модель (без отрицаний) несколько дальше отстоит от «земли», ее не совершившиеся 'А' и 'В' суть лишь «фантомы» тех 'А'

и 'В', которые ожидалось по ходу событий. И тем не менее речь идет о фактах, а стало быть, и о контрфактических презумпциях в обеих частях. Понятно, что «плохие» и «хорошие» причины здесь могут лишь помешать, соответственно, хорошему [= каузировать хорошее 'В' не быть] и плохому [= каузировать плохое 'В' не быть]. Третья модель (с отрицанием в зависимой части) является своего рода «гибридом» первой и второй моделей: реализовавшееся 'А' от первой и несостоявшееся 'В' от второй. *Causa culpa/poха* и *causa gratia* составляют, как правило, каузацию второго ранга; в качестве интерпретирующего предиката выступает обычно глагол *помешать* с его двойным оценочным потенциалом. Четвертая модель (отрицание в главной части) соединяет в себе элементы второй (ожидаемое, но не сбывшееся 'А') и третьей моделей (реализовавшееся 'В'). И хотя содержательно эта модель является наименее богатой (бенефактивный «выход» только отрицательный), ее характеризует наибольшая плотность каузального блока; это каузация уже третьего ранга, что и выражается в отрицательной форме предиката и метапредиката: *не помешать (не предотвратить, не спасти)* [= не каузировать плохое 'В' не быть].

2. В структурном плане все четыре модели располагают для своей реализации довольно обширной парадигмой синтаксических конструкций, особенно первая и третья, содержащие отрицательный формант в части (А). Так, первая модель обладает помимо прототипической конструкции такими структурными вариантами зависимой части (А), как отрицательный императив (*не будь*) и непредикативная реализация (*если бы не + существительное*). Третья модель присоединяет ко всему этому также и особую структурную модификацию, в которой только главная часть (В) является неиндикативной, а эквивалентом условного предложения (А) выступает индикативная структура, вводимая противительным союзом *но*. Синтаксический «ассортимент» второй и четвертой моделей разнообразием не отличается, если не считать довольно многочисленные случаи препозиции части (В) по отношению к части (А).

3. Степень спаянности прогностического и экспликативного компонентов может быть разной: от параллельного сосуществования до полного их синтеза, особенно во второй и четвертой моделях. Прогностический смысл может ощущаться как чисто интуитивно, так и выходить на поверхность в виде модальных наречий и словосочетаний, выражающих разную степень вероятности предсказания и сопровождающую этот подсчет меру субъективной уверенности. Эти «значения» могут быть представлены в виде следующей шкалы: минимальное (*может быть*), среднее (*пожалуй* и *наверное* в запятых), максимальное (*наверное* без запятых, выражение *дошло бы и до...*).

Довольно высокая частотность употребления оборота *может быть* дает все основания предположить, что большинство прогнозов особой уверенностью не отличается.

ЛИТЕРАТУРА

- Гулыга 1976 — Гулыга Е. В. О взаимодействии смысла и синтаксической семантики предложения // Филологические науки. 1976. № 1. С. 67–75.
- Ильенко 1962 — Ильенко С. Г. Сложноподчиненные предложения с придаточными, присоединяемыми к главному союзом *если*, в современном русском языке // Уч. зап. ЛГПИЯ им. А. И. Герцена. Т. 225. Л., 1962. С. 29–53.
- Кузнецова 1981 — Кузнецова Л. К. Функционирование сложноподчиненного предложения ирреального условия в тексте // Функционирование синтаксических единиц в тексте. Л., 1981. С. 99–105.
- Ляпон 1979 — Ляпон М. В. Взаимодействие категорий отрицания и ирреальности в тексте // Синтаксис текста. М., 1979. С. 204–213.
- Падучева 1986 — Падучева Е. В. Высказывание и его соотношение с действительностью. М., 1985.
- Плунгян 2004 — Плунгян В. А. О контрафактических употреблениях плюсквамперфекта // Исследования по теории грамматики. Вып. 3. Ирреалис и ирреальность. М., 2004. С. 273–292.
- Теремова 1990 — Теремова Р. М. Конструкции ирреального условного обоснования в текстовом аспекте // Текстовый аспект в изучении синтаксических единиц. Л., 1990. С. 19–34.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- БРК — Достоевский Ф. М. Т. 14–15. Братья Карамазовы. Л., 1976.
- БС — Достоевский Ф. М. Т. 10. Бесы. Л., 1974.
- ИД — Достоевский Ф. М. Т. 8. Идиот. Л., 1973.
- ПОДР — Достоевский Ф. М. Т. 13. Подросток. Л., 1975.
- ПРН — Достоевский Ф. М. Т. 7. Преступление и наказание. Л., 1973.
- УиО — Достоевский Ф. М. Т. 3. Униженные и оскорбленные. Л., 1972.

М. В. МАЛИНОВИЧ, Ю. М. МАЛИНОВИЧ

СЕМАНТИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ ВНУТРЕННЕГО МИРА ЧЕЛОВЕКА: КАЖИМОСТЬ

В последние годы все более прочные позиции в науке о языке завоевывает антропологический подход к анализу языка во всех ипостасях его бытия. Базисными основаниями естественного языка являются его носители и «исполнители» — *homo sapiens* и *homo loquens*. Данный подход предполагает учет в статике и динамике биопсихосоциальной природы человека. Эта природа напрямую корреспондирует с языком в различных аспектах его реализации. При этом имеет место соотношение: естественный язык — человек как единое и нерасторжимое целое. На эту взаимную корреляцию обратили внимание такие философы как М. Хайдеггер, Л. Витгенштейн, Г. Гадамер, К. Ясперс и др. В философии объективное наличие такой взаимосвязи нашло отражение в следующих формулировках: «...сущность человека покоится в языке» [Хайдеггер 1993: 259], «Предложение — модель действительности, какой мы ее себе представляем» [Витгенштейн 1994: 19]. Если философы ведут свои поиски в направлении «Путь к языку», то лингвисты — «Путь к человеку через язык». Все это замыкается не только и не столько на философской, но преимущественно на лингвистически релевантной проблеме, сформулированной Н. Д. Арутюновой как «Язык и мир человека» [Арутюнова 1999] в самом широком смысле этого слова. Одной из составных частей этой проблемы является внутренний мир человека и его представленность в семантической системе языка.

Кажимость — одна из семантических констант внутреннего мира человека. Это общее универсальное семантически энергоемкое понятие простирается в целый ряд таких сопряженных сфер как видение и видение, правда и ложь, искренность и неискренность, реальность и ирреальность.

Через язык оно обращено к вербальному художественному творчеству (искусство слова), а также к другим видам творчества (живопись, скульптура и т. д.). Здесь кажимость соприкасается с видением мира художником в границах реального и воображаемого, и видением человека в рамках реальности и фантазии. Данное понятие простирается также в житейский мир «маленького человека», мир его фантазий и грез, снов и сновидений.

Кажимость как универсальная когнитивная структура имеет место, по всей вероятности, во всех естественных языках, о чем свиде-

тельствуют фрагменты различных типов дискурса с ядерными лексемами в различных языках, например, *казаться* (русский язык), *scheinen* (немецкий язык), *seem* (английский язык).

Научный дискурс:

Дело в том, что как раз во Франции, как мне кажется, и возоблада-ло желание скрыть тот факт, что структурализм — это метод, и очень плодотворный... [Эко 2004: 9].

Слова *дух* и *душа* обозначают очень близкое, иногда кажется, что это почти одно и то же [Урысон 1999].

Fodor's position seems closer to mine [Jackendoff 1992].

Политический дискурс:

Nach dem Fall von Paris schien es Deutschland den Ersten Weltkrieg mit 22 Jahren Verspätung doch noch gewonnen zu haben [Kulturjournal 2/05].

Поэтический дискурс:

*Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей
Они летят и подают нам голоса* (Р. Гамзатов)

*И казался нам знаменем красным
Распластавшийся в небе язык* (А. Блок).

Публицистический дискурс:

Когда Петрову казалось, что жертва может не вовремя проснуться или впоследствии опознать его, он сразу же добивал ее (Е. Роткевич. «Доктор Смерть»).

В этих разноязычных фрагментах различных типов дискурса имеет место наличие эгоцентрических слов, а именно личных местоимений, что позволяет отнести Кажимость к категориям эгоцентрической семантики. Насколько нам известно, феномен Кажимость обсуждается в специальной литературе, но до настоящего времени не определен еще достаточно четко и даже не всегда номинирован в толковых словарях, а следовательно, не кодифицирован. Данное обстоятельство требует осмысления его понятийной онтологии, категоризации и определения места в системе категорий эгоцентрической семантики, номинирующих внутренних мир человека.

В этой связи уместно обратиться к рассуждениям М. Хайдеггера. «То, что требует осмысления, — пишет он, — отворачивается от че-

ловека. Оно уклоняется от него, скрываясь. Но скрывающееся уже постоянно пребывает перед нами. То, что удаляется, так себя скрывая, не исчезает... То, что удаляется, обращается к человеку более существенно и, взыскав, затребывает его глубже, чем любое сущее, которое его касается и к которому он отнесен» [Хайдеггер 1991: 138]. Эти рассуждения имеют самое непосредственное отношение к обсуждаемой нами категории.

Что есть Кажимость как сущее и что за этим скрывается? Тожественна ли такая диспозиция реальности?

Если она четко не определена и не кодифицирована, то в терминах У. Эко ее можно было бы определить как «отсутствующая структура». «Но как увидеть, описать, в конце концов, назвать то, что еще не кодифицировано?» — вопрошает У. Эко. Он считает возможным сделать это с помощью теории вероятностей [Эко 2004: 455]. Но весь вопрос в том, где увидеть. В реальном мире? В сознании? В языке? И единственным ли в данном случае является метод — теория вероятностей?

Если исходить из теории вероятностей, то необходимо иметь в виду, что она в гуманитарных науках не столь жестко определена, как, например, в математике. Суть ее можно свести к следующему: если в определенном множестве текстов/дискурсов в различных языках встречается одна и та же форма, то, вероятно, она имеет одно и то же функциональное назначение, что в терминах Г. Фреге, Л. Витгенштейна, Е. Косериу это и есть ее основное значение.

Но это умозрительная точка зрения. Существует и другой подход в гуманитарных науках, в первую очередь в лингвистике, предложенный в свое время Х.-Г. Гадамером, — поиск самих фактов: «Всякое правильное истолкование должно отрешиться от произвола озарений и ограниченности незаметных мыслительных привычек и сосредоточить внимание на „самых фактах“ (для филолога ими являются осмысленные тексты, которые в свою очередь говорят о фактах)» [Гадамер 1988: 318].

Предпочтительным, на наш взгляд, является второй подход — от эмпирических фактов к обобщениям.

В чем суть понятийной онтологии кажимости? Что является ее основным категориальным маркером? Реальность это или ирреальность?

Обсуждая проблему кажимости, следует с чрезвычайной осторожностью подходить к концепции У. Эко об отсутствующей структуре. Она может отсутствовать в реальности, но присутствовать в сознании (в воображении).

Как только обсуждение кажимости переходит в плоскость онтологии бытия и понимания его смысла, появляется «тень» проблемы фило-

софской абсолютизации мира или, другими словами, реальность/нереальность этого бытия, отраженного в сознании гносеологического Я-субъекта.

Любая реальность, как отметил в свое время Э. Гуссерль [Гуссерль 2005], осуществляется через «наделение смыслом», что не является «субъективным идеализмом». Для обсуждаемой нами проблемы принципиально важное значение имеет сделанное им осторожное допущение о том, что любые реальные единства суть «единства смысла». Следовательно, инвариантный смысл Кажимость — это и есть осознание «некоего кажущегося». Даже сама мысль о «некоем кажущемся» — это уже сущее как вторая реальность. Здесь имеет место определенная аналогия. Наше допущение относительно аналогии двухаспектно: внешняя аналогия связана с представлением о физическом мире всего Сущего, а внутренняя аналогия с психическими ассоциациями, что естественным образом «вписывается» в содержание философии концепта «Аналогия» и его эволюции, исчерпывающе изложенного академиком Ю. С. Степановым [Степанов 2004].

Человек как познающий субъект и одновременно объект познания является носителем определенной системы смыслов, закрепленных в системе естественного языка как второй реальности. «Проще говоря, смысл, конечно, укоренен в бытии, но это не перевод бытия на язык смысла, а извлечение, экстрагирование смысла из бытия, если он в нем имеется» [Зинченко 1996: 18]. Даже тот приведенный нами выше небольшой фактологический материал в контексте наших рассуждений о кажимости свидетельствует, что такой смысл имеется в языковом сознании говорящих. Частотность его употребления в речи чрезвычайно высока. Универсальность данного смысла определяется биопсихосоциальной природой человека, являющейся концептуальным (понятийно-содержательным) ядром, вокруг которого формируется, разворачивается и взаимодействует вся система таких понятий, как ощущение, восприятие, мышление, осознание и сознание, представление (воображение). Все они лежат в основе формирования определенной системы понятийно-содержательных смыслов и категорий, в том числе и категории Кажимости. Содержательная сущность смыслов, именуемых общими понятиями, или концептами, идеями, феноменами, опирается на определенную систему знаний и представлений, не всегда верифицируемых. Последние могут существовать только в ментальной сфере человека. Независимо от различных наименований смысла, необходимо его «распредмечивание» (интерпретация), в частности распредмечивание «скрытых» смыслов, т.е. переход с одного кода на другой, с кода реальных событий на код кажущихся событий в широком смысле этого слова.

Например, в предложении *Мне кажется, что это так* сенсорная или иная оценка говорящего может быть ошибочной. Поэтому данное высказывание не является категоричным. Но в высказывании *Это ему только показалось. Я знаю, что это не так, это не соответствует реальному положению дел* имеет место определенная аргументация. И, следовательно, оно категорично. В предложении *Он сказал, что это ему только показалось* есть что-то мистическое. Отсюда и фраза в русскоязычной культуре *Если кажется, надо креститься*.

Возможны и другие эвристически значимые посылки собственно лингвистического плана.

Чтобы выявить инвариант кажимости, можно также обратиться к исходному семантическому субстрату, давшему «жизнь» обсуждаемой нами категории — этимологии слова как одному из аналитических методов, позволяющих найти в каждом слове корень, на основе которого оно образовано. На теоретическую важность этого сегмента для современной филологии обратил внимание в свое время М. Фуко [Фуко 1977]. Этот метод анонимно применяется в современных когнитивных науках, в частности в когнитивной семантике, обратившейся к семантическим прототипам и категориям. В современном русском языке лексемы *сказать, показать, рассказать, казаться, показаться, оказаться* не требуют специального этимологического анализа. Здесь имеется общий корень — *каз*, восходящий к старославянскому *кажжэ* [Черных 1994: 623].

В словарных статьях русского языка *казаться, кажись* зафиксированы следующие значения: *кажется, думается, видится, мнится* [Даль 2002: 302].

В других европейских языках также возможно нахождение общего корня. Как отмечает М. Хайдеггер, *сказать* и *говорить* — не одно и то же. «А что зовем мы словом „сказать“? Чтобы вникнуть в это, будем держаться того, о чем зовет нас здесь думать наш язык. С-казать — значит показать, объявить, дать видеть, слышать» [Хайдеггер 1993: 265]. В немецкоязычном оригинале — „Sagen“ heißt: zeigen, erscheinen, sehen- und hören-lassen». Корневая морфема *zeig-* соответствует русской — *каз*. И далее: «Помня о древнейшем употреблении этого слова, мы будем понимать сказ от сказывания в смысле показывания и употребим для обозначения такого сказа, насколько в нем покоится существо языка, старое, достаточно засвидетельствованное, но умершее слово *каз*» [Там же: 266].

Весь язык, по мнению Хайдеггера, является сказом, т.е. показом реального и воображаемого (мир фантазий), виртуально сопresentствующих в сознании человека. К числу последнего относятся мифы,

легенды, сказки. В таких типах вербального творчества, как правило, в эксплицитной или имплицитной форме присутствуют сказитель-рассказчик (автор) и адресат:

*Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю (М. Ю. Лермонтов).*

Слышание и говорение человека уже содержат в себе всякое восприятие, представление и память. И с этим трудно не согласиться. Восприятие и представление не как первичный акт сознания, а как базирующийся на известном (предзнание).

Восприятие и память, именуемая в психологии семантической памятью, взаимосвязаны. Они являются сложным синтезирующим процессом воссоздания целостного образа объекта, образа, сформированного в прошлом опыте извлеченных из памяти эталонов как вторичных образов [Веккер 1999]. В памяти человека хранится не только исторический и генетически унаследованный опыт поколений, но также индивидуальный опыт и личностная память. Зафиксированный в памяти отдельного индивида, этот опыт связан со сложным психическим процессом восприятия человеком окружающей его действительности. Восприятие, как отметил в свое время Дж. Брунер, соотносится не только с чувствами человека, но и с его активной деятельностью вообще. Исторический опыт такой деятельности запечатлен в языке как хранителе опыта поколений, его генетической памяти. Данный опыт позволяет выходить за пределы непосредственно получаемой здесь и сейчас информации. Он является «...психологической основой процессов создания субъективного образа объективного мира, т.е. психологической основой процесса отражения» [Брунер 1977: 7]. Если бы восприятие оказалось не включенным в систему категорий, то «...оно было бы обречено оставаться недоступной жемчужиной, жар-птицей, погребенной в безмолвии индивидуального опыта» [Там же: 62].

Приведем пример индивидуально-ассоциативного образа восприятия (по памяти) из песни военных лет «Синий платочек»:

Письма твои получая, слышу я голос живой...

Здесь имеет место своего рода алогика (тогда и сейчас: разрыв во времени и пространстве — хронотоп). Возможна трансформация: *Письма твои получая, мне кажется (как будто) я слышу твой голос живой*. Но такая трансформация переключает императив уверенности в сферу модальности кажимости: там — тогда, здесь — сейчас. Таким образом, появляется «тень» понятия «хронотоп», чрезвычай-

чайно важного в создании художественной семантики, определяющего, по мнению М. М. Бахтина, образ человека в литературе, который всегда «существенно хронотопичен» [Бахтин 1986: 122].

Другой пример из поэтического дискурса:

А. Суркову

«Мы вас подождем! — говорили нам пажити,

«Мы вас подождем!» — говорили леса.

Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,

Что следом за мной их идут голоса.

(К. Симонов, 1941)

Все «кажущееся» связано с событием и фактом, существующими, либо не существующими в пространстве и времени, либо оно — только воображаемое в сознании человека, суть его фантазии.

Референтные ситуации реальности осмысливаются и эксплицируются человеком говорящим сложным комплексом их основных признаков: кому кажется (показалось) — где кажется (показалось) — когда кажется (показалось) — почему кажется (показалось): *Мне показалось, что я его вчера где-то видел* (место). *Мне кажется, что все это не так. Но почему тебе только кажется? Это ведь действительно так* (факт, событие).

Эти признаки являются тем первичным механизмом, который порождает в сознании человека новые мысли, обладающие огромной силой, и которые хранятся в памяти как семантические константы в категориальной форме-модусе как способ постижения человеческим сознанием сущности конкретных фрагментов бытия одного и того же порядка (рода), способ, форма их языковой категоризации. Эти механизмы интерпретации закреплены в системе языка в лексических единицах: *кажется, представляется, чудится, мерещится, мнится* и др., реализуемых в речи.

Приведем ряд примеров из поэтического дискурса (В. Жуковский):

1. *Раз в крещенский вечерок*
Девушки гадали:
За ворота бабмачок,
Сняв с ноги, бросали: <...>
Подпершись локотком,
Чуть Светлана дышит...
Вот... легохонько замком
Кто-то стукнул, слышит;
Робко в зеркало глядит:
За ее плечами

- Кто-то, чудилось, блестит
Яркими глазами.*
2. *Вот Светлане м н и т с я,
Что под белым полотном
Мертвый шевелится.*
3. *Всё так манило под сумрак прозрачный, что я поневоле
Злился на глупых людей, которым страшилища в райском
Месте таком могли по мере щ и т ь с я.*
4. *Но виделось страшно очам,
Как двигались в ней безобразные груди
Морской глубины несказанные суды.*

Пример из художественного дискурса (Повесть Гоголя «Вий»):

...Он подошел ко гробу, с робостию посмотрел в лицо умершей и не мог зажмурить, несколько вздрогнувши, своих глаз.

Такая страшная, сверкающая красота! <...> В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшною. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза, и когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови <...> Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб, и невольное чувство, казалось, шептало ему: «Вот, вот встанет! вот поднимется, вот выйдет из гроба!» <...> Пришедший на отдаленный ночлег, философ долго не мог заснуть, но усталость одолела, и он проспал до обеда. Когда он проснулся, все ночное событие казалось ему происходившим во сне.

Таким образом, Кажимость как семантическая константа внутреннего мира человека раскрывается в двух ее основных ипостасях: как 'видение человеком мира реального, возможного, предполагаемого, прогнозируемого на основе предзнания пресуппозитивной природы, и как видение, как то, что чудится, мерещится, представляется в сознании, то есть как фантазийное, мистическое, призрачное.

Кажимость — это возможный маргинальный мир между виртуальной реальностью и ирреальностью. Базовые языковые знаки в различных языках (*кажущееся, scheinbar, seeming*) номинируют семантическую константу Кажимость и, следовательно, смысл-концепт — основу соответствующей семантической категории.

Согласно научно-философскому принципу синергетики Кажимость есть идеальное ментально-психическое образование, единица

информационной структуры знания о том, что есть в памяти человека, его сознании и воображении.

Семантика языковых единиц, репрезентирующих смысл-концепт Кажимость, формирует семантически непрерывное пространство, в котором каждое слово связано со значениями других слов, что обусловлено синергетикой речемыслительной деятельности.

Смысловая синергетика языкового знака, как известно, порождается в результате основного механизма двух взаимопревращаемых явлений: энергетики психических процессов (Зигмунд Фрейд, Пьер Жане и др.) и энергетики языкового значения в рамках закона сохранения энергии как всеобщего свойства реальности.

Следовательно, в контексте наших рассуждений о Кажимости можно утверждать, что в речевой деятельности человека языковые знаки, номинирующие данный смысл, функционируют как субъект познания с его интенцией на объект познания — истинное содержание смысла того, что является «кажущимся»: будь оно реальным или ирреальным. Словесные знаки лексико-семантической парадигмы базовой лексики «казаться» по-разному участвуют в порождении смысла высказывания, поскольку «кажущееся» переплетается с прагматическими значениями: определенность/неопределенность, референтность/нереферентность. Например, объект, вводимый субъектом познания — словом «кажется», имеет реальный референт, то есть и для адресанта и для адресата он существует в реальности.

ЛИТЕРАТУРА

- Арутюнова 1999 — *Арутюнова Н. Д.* Язык и мир человека. 2-е изд., испр. и доп. М., 1999.
- Бахтин 1996 — *Бахтин М. М.* Литературно-критические статьи / Сост. С. Бочаров и В. Кожин. М., 1996.
- Брунер 1977 — *Брунер Дж.* Психология познания: за пределами непосредственной информации / Пер. с англ. К. И. Бабицкого. М., 1977.
- Веккер 1998 — *Веккер Л. М.* Психика и реальность: единая теория психических процессов. М., 1998.
- Витгенштейн 1994 — *Витгенштейн Л.* Философские работы. Часть 1 / Пер. с нем. М. С. Козловой и Ю. А. Асеева. Сост., вступ. ст., примеч. М. С. Козловой. М., 1994.
- Гадамер 1988 — *Гадамер Х.-Г.* Истина и метод: Основы философ. герменевтики / Пер. с нем. Общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. М., 1988.
- Гуссерль 2005 — *Гуссерль Э.* Избранные работы / Сост. В. А. Куренной. М., 2005.
- Даль 2002 — *Даль В. И.* Толковый словарь русского языка: Современное Написание. М., 2002.

- Зинченко, Назаров 1996 — *Зинченко В. П., Назаров А. И.* Когнитивная психология в аспекте психологии. Вступ. статья // *Солсо Р.Л.* Когнитивная психология. Пер. с англ. М., 1996.
- Степанов 2004 — *Степанов Ю. С.* Протей: Очерки хаотической эволюции. М., 2004.
- Черных 1994 — *Черных П. Я.* Историко-этимологический словарь русского языка: 13 560 слов. 2-е изд., стереотип. Т. 1–2. М., 1994.
- Фуко 1977 — *Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. Вступ. ст. Н. С. Автономовой. М., 1977.
- Хайдеггер 1993 — *Хайдеггер М.* Время и бытие: Статьи и выступления / Пер. с нем. М., 1993.
- Эко 2004 — *Эко У.* Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Пер. с итал. В. Г. Резник и А. Г. Погоняйло. СПб., 2004.

О. П. ЕРМАКОВА

МЕТАФОРА В ОТНОШЕНИИ К КАТЕГОРИИ КАЖИМОСТИ

— Это же метафора.

— Метафора... У лжи десятки таких под-
польных кличек.

(С. Довлатов. «Компромисс»)

Сама метафора очень близка к категории кажимости. В частности, приравнивание человека к нечеловеческой сущности основано на том, что нам кажется, представляется. Только в одних случаях это признается социумом (распространенные языковые метафоры), а в других — остается на уровне субъективного представления. И это не зависит от выразительности метафоры и от того, воспринимается ли она нами как удачная. Так, блоковские *глаза вагонов (как много жадных взоров кинута в пустынные глаза вагонов)*, несмотря на выразительность метафоры, не породили у слова *глаза* значение ‘ókна’.

Чаще всего, употребляя метафору, мы выдаем то, что кажется, за то, что есть. Ср.: «Подобие может быть иллюзорным. Это то, что показалось. Метафора — это то, что есть» [Арутюнова 1990: 27; 1999: 354].

Но в определенных случаях кажимость обнаруживается, сам говорящий ее объективирует посредством разного рода ограничителей утверждения: он устанавливает истинность утверждения лишь по отношению к месту, времени, условиям и чьей-то точке зрения.

Относительно синтаксической подвижности метафоры (термин Н. Д. Арутюновой) существуют разные мнения. Так, Н. Д. Арутюнова пишет: «Субстантивная метафора лишена синтаксической подвижности. Она не принимает ни аспектирующих, ни уточняющих, ни интенсифицирующих, ни обстоятельственных модификаторов» [Арутюнова 1990: 27; 1999: 354].

Было высказано и другое мнение [Ермакова 1995: 146–147].

Мысль Нины Давидовны очень интересна и побуждает к размышлениям. Но здесь не все однозначно. Приведу примеры разного рода ограничителей характеристик, выраженных субстантивной предикатной метафорой. Их очень много в художественной литературе, в разговорной речи и в прессе.

В армии он зверь, а дома ангел; В клинике для всех Оля — смиренный обаятельный ребенок, несмотря на свои двадцать пять лет; На

охоте ты — олень: быстры ноги, чутки уши (Шекспир, пер. С. Маршака); *В сравнении с ней эта тетка просто корова; Для матери он кумир и бог; В семье отцов мы жалкие пигмеи* (Мандельштам); *Если правду сказать, я по крови домашний сверчок, заповедную песню пою над печною золой* (А. Тарковский); *При всегдашней скуке моего життя-бытья такой рассказчик был просто клад* (Достоевский); *Во всем мире чиновник — это наемный работник. Его общество нанимает на работу. А у нас — бог, царь и господин* (АиФ, № 11, 2006); *Якушев — самая сильная на сегодняшний день шахматная фигура* (Т. Устинова); *По отношению к детям она просто свинья* (Г. Куликова); *Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, зять палача и сам в душе палач, — возьмет венец и бармы Мономаха* (Пушкин); *Мужичонка так себе: жилистый, лысоватый, глаз узкий, зеленый... По виду не орел...* (Б. Акунин); *И опять поворачиваю на воспитание и культуру, без которых соколом нипочем не станешь, хоть бы и при богатстве* (Б. Акунин); *В детстве я была гадким утенком* (АиФ, № 11, 2006); *Человек человеку — волк*.

Все эти пространственные, временные, условные и модальные ограничители метафорического признака в сущности вводят метафору в категорию кажимости.

Но столкновение метафоры с откровенным выражением кажимости — со связками *казаться, показаться, представляться* — это особый вопрос.

И в нем есть две стороны:

1. Возможность сочетаемости метафор с этими связками;
2. Сохранение метафорического статуса субстантивным предикатом, если такая сочетаемость возможна.

Наблюдения показывают, что по отношению к связкам со значением кажимости метафоры ведут себя неодинаково: одни сочетаются с такими связками и при этом остаются метафорами, для других это сочетание неестественно или, если сочетаемость наблюдается, то, при видимости метафорического значения, оно таковым не является — связки возвращают имя к прямому значению.

Вот некоторые примеры метафор, сочетающихся со связкой *казаться* и сохраняющих свой статус. Ср.: *При первой встрече он мне показался совершенным ослом, потом я убедился, что это не так; Влас не показался ему зверем; В этой шубе она кажется огромной и толстой — прямо коровой; В группе все считали его эдаким тюленем (байбаком, тряпкой, тюфяком и т. п.), а он оказался скорее хорьком; Я кажусь вам чудовищем?; Она такая лиса! А казалась милым котенком*.

Однако некоторые высказывания явно были бы восприняты как противоестественные: *Улица показалась мне кашей; повозки, люди,*

лошади (трансформация примера из Григоровича — «Улица представляла собой совершенную кашу из людей, подвод, лошадей»); Или: *В лесу он показался мне зайцем — все чего-то боялся.*

В других случаях связка *кажется* просто наносит ущерб метафоре и возвращает имя к прямому значению. Это особенно заметно в языке художественной литературы.

И будут в лунном свете фонари глазами утомленными казаться (Бунин); *Мне тогда показалась гробом Кольки нашего колыбель* (И. Уткин); *И долго мне, лишенному ума, казался раем ад, а светом — тьма* (Шекспир, Сонеты, пер. С. Маршака); *Дворец казался островом печальным* (Пушкин); *Из-за плетня высунулись двое ребятишек, совсем голые, чумадые. Корнелиусу они показались совершеннейшими зверенышами* (Акунин).

В чем здесь дело? Можно ли найти объяснение сочетаемости или несочетаемости метафор со связкой *казаться*? На мой взгляд, здесь играет роль несколько факторов.

1) Сочетаются со связкой *казаться* те метафоры, у которых сильная отрицательная оценочность почти заглушила образность и при употреблении метафоры прямое значение фактически не просвечивает сквозь переносное. Это касается в первую очередь очень распространенных метафор, передающих и наиболее распространенные человеческие качества: *глупость*, *злость* и т.п. Так, *осел* — это эталон глупости, и прямое значение слова *осел* практически не присутствует в нашем сознании, в отличие, например, от *зайца*, которому приписывается трусость. Поэтому высказывание — *Он показался мне ослом* представляется вполне естественным.

Слово *ведьма* для нас — эталон *злости*. Эта метафора обладает полной синтаксической подвижностью: может проявляться в любом времени, сочетаться с любыми распространителями и со связкой *кажется*.

Этот прокурор — Карла дель Понто — это ведьма в своем роде (Жириновский, АиФ, № 11, 2006); *Потери никак не повлияли на ее нрав, как была ведьмой, так ведьмой и осталась* (Т. Куликова, Брюнетка в клетку); *Учительница показалась мне просто ведьмой* (Д. Донцова); *Она милая женщина? Что же с детьми-то она была ведьмой?; Вчера я была ведьмой, да? Но я не всегда такая.*

2) Сочетаются со связкой *казаться* и те метафоры, у которых породивший их образ расплывчат, неопределенен или применим к очень широкому денотативному пространству. Таковы, на мой взгляд, метафоры *чудовище*, *ангел*, *зверь* и др.

Мы весьма смутно представляем себе *чудовище* (в отличие, например, от *дракона*), его изображения бывают весьма нестандартны-

ми. А *зверь* — это гипероним, имеющий массу разных гипонимов, в единый образ это многообразие не соединяется, поэтому таким словам образность не мешает соединению со связкой *казаться*. Ср. приведенные ранее примеры: *Я кажусь вам чудовищем*; *Влас не показался ему зверем*; *Дети показались ему совершенными зверенышами* и еще: *Когда о нем [Дон Жуане] упоминала только, Ты изменялась вся в лице, Тебе чудовищем казался он* (А.К.Толстой); *[Людмила] со своим потупленным взором, с пылающими щеками своими казалась ангелом красоты и непорочности* (Жуковский).

3) Тем более легко сочетаются со связкой *кажется* метафоры с немотивированной образностью: *бревно, дуб, дубина, чурбан* и т.п. Ср.: *А мне он показался просто дубиной (бревном)* и т.п.

Второй момент отражает как бы противоположный полюс в пространстве метафоры: индивидуальная, не закрепленная в языке метафора не может состояться в категории кажимости — связка *кажется* (*казался, показался*) обнажает прямое значение. Ср. приведенные выше примеры из Бунина, а также: *Вся поверхность земли [в степи. — О.Е.] представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов* (Гоголь); *...Саша — хрупкая, беленькая... представлялась фон Дорну залетной птицей* (Акунин).

Таким образом, отношение к категории кажимости определяется типом метафоры.

Метафора и отрицание. Отрицание также один из видов модальности. И если метафора выдает то, что нам кажется, за то, что есть, то отрицание должно разрушать метафору.

Прямое утверждение — *Он [Петр] акула (волк, обезьяна)* не допускает предположения о буквальности значения.

Хотя модальность кажимости и отрицания не идентичны, в них есть общее — они колеблют или совсем снимают категоричность утверждения. И потому в сочетаемости метафор с *не* есть некоторая аналогия с *казаться*.

Наблюдения показывают сопротивляемость некоторых типов субстантивных метафор к употреблению с отрицанием.

Довольно очевидно, что гораздо охотнее с отрицанием сочетаются метафоры положительной оценки, чем отрицательной: *не ангел, не клад, не геркулес, не Аполлон, не Венера, не рай, не мед, не сахар, не подарок, не лев, не сокол, не соловей, не газель, не праздник* и т.п. Всё это слова с положительными коннотациями. И тем самым метафора обращается к отрицательной оценке, которую всегда предпочитает.

Ср. также употребление некоторых собственных имен, не являющихся метафорами (в отличие от ставших таковыми — *Отелло*,

Кармен и т.д.), но обладающих коннотациями: *Он не Лев Толстой (Пушкин, Шекспир), не Карузо (не Шалапин), не Паганини и т.п.* Коннотации здесь могут носить и сугубо индивидуальный характер, в зависимости от вкусов и уровня говорящего.

— *Не хочу сплетничать, но знаете, Степаниде Петровне ваши фельетоны не нравятся... Не хочу сплетничать, но она говорит про них, что это не Бичер-Стоу (Тэффи); Моя Синди всем хороша, но, конечно, не Барби (Караван истории).* Говорит человек, для которого эталон женской красоты — кукла Барби.

Однако отмечается употребление с отрицанием и метафор, заключающих явно негативную оценку: *Она не зверь (не акула, не рыба, не змея, не свинья, не лягушка и т.п.).*

Это касается в первую очередь распространенных языковых метафор, называющих наиболее известные человеческие свойства.

Но все же метафоры с яркой отрицательной образностью не склонны к предикативному употреблению с частицей *не*. Употребление оскорбительной характеристики с *не* — это отрицание отрицательной оценки. Но это неоправданно сложный путь: идти к положительной оценке через отрицание оскорбления. А кроме того, отрицательная характеристика в ярком непривлекательном образе при любом отрицании (скрытом или явном) имеет тенденцию приклеиваться к объекту, и отрицание либо полностью, либо частично достигает обратной цели. Ср.: *Она не глупа и она не гусыня; Он не надменный и он не индюк; Она не толстая и она не корова.* Уже сам выбор характеристики для ее отрицания «наводит тень на плетень», подобно запрещению думать об обезьяне: без запрещения она никому и в голову не приходит.

Важно отметить, что отрицание может нейтрализовать различие между прямым и метафорическим значением. Некоторые примеры: *Я не ангел, чтобы терпеть все это.* Ср.: *Конечно, у меня есть недоброжелатели: я не ангел, а человек. Врачи не боги: болезнь неизлечима. Я не дипломат и не гождусь для таких переговоров; Ты ко мне не вернешься, грезы больше не маги (И. Северянин); Это серьезное обсуждение, а не цирк; Появится тут у нас... новая фигура да и выскочит в губернаторы! — Никто никуда не выскочит, у нас не цирк (Т. Устинова).*

На мой взгляд, нейтрализация наблюдается там, где распространитель может соответствовать и прямому, и метафорическому значению предиката. Ср.: *Декан не зверь, чтобы так его бояться.* Бояться можно и зверя, и злого человека.

Я не акула, чтобы столько съесть. Много съесть может и акула, и прожорливый человек.

Я не ребенок, чтобы всему верить. Всему верить может и ребенок, и наивный простодушный человек.

Я не ангел, чтобы все это терпеть. Терпеть бесконечно может ангел и подобный ангелу по кротости человек. И т. п.

Несомненно, «подверженность» нейтрализации обусловлена и самим типом метафоры.

1. Нейтрализация различий прямого и метафорического значения наблюдается в тех случаях, когда метафора не очень далеко отходит от прямого значения: *дипломат, цирк*.

2. Когда коннотации отражают реальные, а не приписанные предмету признаки: ловкость, гибкость акробата, прожорливость акулы.

Эти особенности метафор (1 и 2) могут совпадать, но не всегда.

Так высказывание — *Я не обезьяна, чтобы прыгать с ветки на ветку* обращает нас только к прямому значению, хотя метафора основана на реальных свойствах обезьяны. Ср.: *Я не успела оглянуться — он уже на дереве сидит. Вот обезьяна!* [о мальчишке. — О. Е.].

Разумеется, существуют контексты, в которых и при отсутствии отрицания может происходить нейтрализация прямого и метафорического значения. Но мне хотелось показать, что отрицание создает для этого наиболее благоприятные условия.

Ср.: *Петр Иванович — ребенок и всему верит.* Может быть только метафорическое значение. *Петр Иванович не ребенок, а всему верит.* Может быть и прямое, и метафорическое.

Таким образом, отрицание стремится вернуть метафору в мир реальный, что, естественно, вызывает сопротивление со стороны метафоры. И в определенных случаях это приводит к нейтрализации метафорического и прямого значений.

Метафора, фактически создавая иллюзорный мир, нередко противится откровенному выявлению ее кажимости, предпочитая иметь дело с разными ограничителями того, что «она — есть».

ЛИТЕРАТУРА

Арутюнова 1990 — Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. М., 1990.

Арутюнова 1999 — Арутюнова Н. Д. Языковая метафора // Язык и мир человека. М., 1999.

Ермакова 1995 — Ермакова О. П. О синтаксической обусловленности и синтаксической подвижности метафор // Филологический сборник. К 100-летию со дня рождения академика Виктора Владимировича Виноградова. М., 1995.

Н. Г. БРАГИНА

«И К БЫЛЯМ НЕБЫЛИЦ БЕЗ СЧЕТУ ПРИЛЫГАЛ». О ГРАНИЦАХ МЕЖДУ ПАМЯТЬЮ И ВООБРАЖЕНИЕМ

Введение. В статье я бы хотела затронуть проблему подвижности границ, точнее открытости границ между миром реальности и миром кажимости и показать это на примере отношения между *памятью* и *воображением*.

Разные формы отклонения от истины в рассказе о прошлом являются результатом одновременной работы *памяти* и *воображения*. Если, говоря о своем прошлом, человек *приврал, пригнал, пригнул, присочинил, прибавил для красного словца, приукрасил, отлакировал что-л., изображал или представлял что-л. в розовом свете/цвете, преувеличил, сгустил краски*, то это значит, что работа *памяти* и *воображения* протекала практически в одном режиме. В результате этого получился текст неполной достоверности, соединяющий в себе «плоды» *воспоминания* и *воображения*.

Цитата из басни И. А. Крылова, которая собственно и называется «Лжец»: «И к былям небылиц без счету прилыгал» — как раз характеризует этот процесс: за *были* отвечает *память*, а за *небылицы* — *воображение*. Попутно также замечу, что *воображение* работает скорее на добавление, прибавление к воспоминаниям новой информации, чем на ее редукцию (последнее, как известно, также ведет к искажению истины), поэтому *преувеличивать* согласуется с деятельностью *воображения*, *преуменьшать*, как кажется — нет.

Таким образом, один из главных механизмов создания текстов неполной достоверности о прошлом, и в первую очередь о личном прошлом, основан на работе *памяти* и *воображения*.

Смысловая близость *памяти* и *воображения*. *Память* и *воображение*, не являясь синонимами, обнаруживают семантическую близость. Перечислю области сближения.

(1) Их толкования имеют сходные компоненты. *Память* и *воображение* отвечают за 'мысленное воспроизведение чего-л.'. Опирируя образами (*во-обращение*; *образы памяти*), они оказываются сближенными по характеру ментальной деятельности:

Память 'Способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления' *Воображение* 'Способность воображать, мысленное воспроизведение чего-н., фантазия' [Ушаков 1; 3]. *Память*

‘Способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления’ *Воображение* ‘Мысленное воспроизведение кого-, чего-л. в уме’ [МАС].

(2) Память и воображение имеют общие предикаты: *память/воображение восстанавливает что-л., работает, воспроизводит что-л.¹; кто-л. развивает... память/воображение; вызывать кого-что-л., видеть кого-что-л. в памяти / в воображении; в чьем-л. воображении / в чьей-л. памяти появилось, возникло что-л.; что-л. тревожит память/воображение...*

(3) *Память и воображение* часто употребляются в пределах одной фразы:

1. Подобно последним лучам заходящего солнца, прошлое скользит по моей памяти, освещает ее и оживляет в воображении многое из забытого (Ф. Булгарин, *Воспоминания*).

2. В памяти у нее была недлинная темноватая галерея, череда всех лиц, чем-либо задевших ее воображение (В. Набоков, *Защита Лукина*).

3. С фантастичностью его памяти могла соперничать только фантастичность его воображения (Ф. Искандер, *Поэт*).

4. Попробуйте вспомнить память, вообразить воображение, подумать саму мысль (А. Битов, *Жизнь без нас*).

5. Когда воображение гаснет, память тупеет, охота пропадает (Ф. Вигель, *Записки*).

6. Ведь жизнь образов в его произведении обусловлена сознанием писателя, его памятью, воображением, опытом, всем строем его души (К. Паустовский, *Золотая роза*).

7. А если закипит еще у него воображение, восстанут забытые воспоминания, неисполненные мечты, если в совести зашевелятся упреки за прожитую так, а не иначе жизнь — он спит непокойно <...> (И. Гончаров, *Обломов*).

(4) *Память и воображение* связываются сочинительной связью (с помощью соединительного и разделительного союзов *и, или*).

¹ Новый объяснительный словарь синонимов отмечает, что глагол *воображать* сочетается с глаголами, обозначающими усилие или попытку: *пытаться вообразить*, а также с наречиями, описывающими количество усилий, затраченных на формирование образа: *легко/трудно вообразить* [Апресян 2004: 138]. Это свойственно и глаголам памяти: *пытаться вспомнить, припомнить, запомнить; легко/трудно вспомнить, припомнить, запомнить*.

С союзом *и*:

1. Люди из прошлого, объекты памяти и воображения (*М. Палей, Long Distance, или Славянский акцент*).

2. Он говорил о творчестве, как о величайшем бунте, о природе ума, о памяти и воображении, смерти и бессмертии, об Абсолюте, о красоте бесформенного, неосязаемого, непостижимого... (*М. Москвина, Небесные тихоходы: путешествие в Индию*).

3. И сам предмет рассказа предстает перед читателем высвеченным с разных сторон яркими софитами авторской памяти и воображения (*И. Ефимов, Сергей Довлатов как зеркало Александра Гениса*).

4. Этот визуальный мир воспроизводился из памяти и воображения юноши, которые рождались от восприятия тифлисского культурного мира (*Р. Ангаладян, Параджанов: коллаж тени и цвета в диапазоне одного человеческого сердца*).

5. Память и воображение, таким образом, могут оказаться в той же нерасторжимой, взаимоисключающей связи, как жизнь и смерть (*А. Битов, Жизнь без нас*).

6. Она с простотою и добродушием Гомера, с тою же животрепещущею верностью подробностей и рельефностью картин влагала в детскую память и воображение Илиаду русской жизни... (*И. Гончаров, Обломов*).

С союзом *или*:

1. Таня напрягла память, или воображение, или еще какой-то орган, отвечающий за ночную жизнь сознания, и вспомнила: да, и во сне есть музыка, только ее невозможно упомнить (*Л. Улицкая, Путешествие в седьмую сторону света*).

2. Пишут или из памяти, или из воображения; но что такое воображение, как не память, вскипаченная, улетученная пламенем сердца? (*А. Бестужев-Марлинский, Он был убит*).

3. — Но позвольте, — сказал я, с недоумением смотря направо, — тут должен быть еще второй пруд, потом третий. — Нет, дорогой князь, на этот раз память или воображение вам изменяют. Другого пруда нет (*А. Апухтин, Между жизнью и смертью*).

(5) *Воображение* может концептуализироваться как деятельная часть памяти, участвующая в появлении воспоминаний. Процессы припоминания, воспоминания описываются в этом случае как результат работы воображения: воображение восстанавливает, выхватывает воспоминания [из памяти]; воображение основано на памяти. Память при этом употребляется в метафорическом значении 'хранилища', ср.:

1. Вспоминая все, что произошло вчера, до малейших подробностей, он прислушивался с удивлением к тону ее «нового» голоса, который восстановило в его памяти воображение (*В. Короленко, Слепой музыкант*).

2. Какие-то смутные воспоминания бродили в его памяти; минуты из далекого детства, которые воображение выхватывало из забвения прошлого, оживали в виде веяний, прикосновений и звуков (*В. Короленко, Слепой музыкант*).

3. Он пробовал больше заниматься, но ему наука не шла в голову, книга не читалась, или пока глаза его читали, воображение вызывало светлые воспоминания былого, и часто слезы лились градом на листы какого-нибудь ученого трактата (*А. Герцен, Кто виноват?*).

4. Воображение основано на памяти, а память — на явлениях действительности (*К. Паустовский, Золотая роза*).

5. Отыскивая в памяти эту минуту — перелом в Зоинем настроении, Роллинг напрягал воображение, привыкшее к совсем другой работе (*А. Толстой, Гиперболоид инженера Гарина*).

(6) Возможна и обратная связь: воспоминания инициируют деятельность воображения, ср.:

1. И тут же он подумал, что ничего похожего в реальности не может быть, что все это — и доверчиво-беспомощное выражение ее лица, и излучение робкой вины — лишь результат воображения, всколыхнутого воспоминаниями его военной молодости: ведь внешне она изменилась так, что он не узнал ее... (*Ю. Бондарев, Берег*).

2. А в этом хламе было много очень любопытных документов, из которых два особенно резко запечатлелись в ее памяти, сильнее других затронув детское воображение (*Е. Дашкова, Записки*).

(7) Воображение может концептуализироваться как место появления воспоминаний (большая часть текстов относится к XIX в.), ср.:

1. Я дремал, и в моем воображении возникали какие-то легкие, светлые и прозрачные воспоминания... (*Л. Толстой, Детство*).

2. По мере удаления от предметов, связанных с тяжелыми воспоминаниями, наполнявшими до сей поры мое воображение, воспоминания эти теряют свою силу и быстро заменяются отрадным чувством сознания жизни, полной силы, свежести и надежды (*Л. Толстой, Отрочество*).

3. Так, воспоминания о прошлом, картины не менее страшного настоящего постепенно сменялись в его воображении своеобразными «воспоминаниями о будущем» человечества (*М. Сидур, Послание из Атлантиды*).

4. Но на этот раз это перечисление не бытовых деталей, а поэтических воспоминаний и ассоциаций, которые возникают в воображении писателя при скрипе дверей простого деревенского дома (Ф. Раскольников, *Статьи о русской литературе*).

Рассмотренные примеры показывают, что отношения между *памятью* и *воображением* несколько более близки, чем это до сих пор отмечалось словарями².

Смысловые различия памяти и воображения. Между *памятью* и *воображением*, однако, есть существенные отличия. Рассмотрим основные линии разграничения *памяти* и *воображения*.

(1) *Память* с равной степенью легкости концептуализируется и как деятельное (*в памяти возникают, всплывают... воспоминания*), и как статичное пространство (*память хранит... воспоминания*). *Воображение* описывается по преимуществу как деятельное пространство. На это указывает также большинство его эпитетов: *горячее, дерзкое, пылкое, живое, разгоряченное, распаленное, экзальтированное, страстное, пламенное, нетерпеливое... воображение*. Метафора хранения не свойственна *воображению*.

(2) Деятельность *воображения* реализуется (преимущественно) в создании, деятельность *памяти* — в воссоздании образа. *Воображение*, как правило, «работает «с нуля». Напротив, *память* как бы имеет заранее свои «заготовки»: *следы, отпечатки, образы, картины...*

В той мере, в которой *памяти* свойственна идея *восстановления, воскрешения, возрождения, оживления прошлого*, на которой, в частности, основывается вера в обратимость некоторых процессов и событий, в том числе и таких необратимых, как *смерть*, *памяти* не свойственна идея *рождения, создания. Образы, воспоминания, картины...*

² Новый объяснительный словарь синонимов в статье, посвященной воображению и фантазии, делает небольшой комментарий, указывая на семантическое сближение воображения и памяти, поскольку воображение способно воссоздавать то, что субъект воспринимал в прошлом. Вызывает, однако, возражение следующее утверждение: «...образы, создаваемые воображением, в отличие от образов, всплывающих в памяти, не ощущаются субъектом как воспоминания, т.е. как то, что целиком осталось в прошлом [Урысон 2004: 140]. Если не ощущаться субъектом, то называться воспоминаниями образы, создаваемые воображением, могут. Это показывают примеры: возникающие в воображении картины могут быть названы воспоминаниями и относиться к прошлому.

скорее возникают в *памяти*, чем рождаются. *Воображение* отвечает за рождение, за создание нового. Это, в частности, одна из причин, по которой мы говорим: *плод воображения*, но не *плод памяти*.

(3) И *память*, и *воображение* концептуально согласуются с *творчеством*. Однако, поскольку в современном восприятии *творчество* связано, в первую очередь, с созданием нового, а не с воспроизведением канона, то отношения между *воображением* и *творчеством* более эксплицитно выражены в современном языке, чем отношения между *памятью* и *творчеством*, ср. словосочетания: *творческое, поэтическое, художественное, неиссякаемое, неистощимое, вдохновенное, романтическое... воображение*.

(4) Границы *памяти* совпадают с границами прошлого. У *воображения* как бы нет границ, с ним сложно совладать, его трудно контролировать, и это согласуется с концепцией свободы творчества, ср.: *необузданное, безудержное, буйное, бурное... воображение; простор для воображения; обуздать воображение*. Это отмечает Е. О. Опарина, ср.:

В способе концептуализации качественно-количественных и предикативных параметров воображения прослеживается метафора дикого животного, с трудом поддающегося управлению со стороны человека. Возможно, это восходит к мифу о крылатом коне Пегасе (ср. *необузданное, резвое воображение, держать свое воображение в узде, полет воображения*), связанному с концептом *вдохновения*. Воображение, как и вдохновение, — неотъемлемая составляющая творческого процесса (ср. *творческое, научное, поэтическое воображение*) [Брагина и др.].

(5) В отличие от *воображения* *память* свидетельствует. Она соотносится с категориями истинности, подлинности и эвиденциальности, *воображение* — с ирреализмом. *Память* связана с реально происходившими событиями, с тем, что имело место, ср.: *в памяти откладывается, запечатлевается, фиксируется, остается что-л.; по памяти восстанавливают, воспроизводят, воссоздают, рисуют что-л., читают, цитируют что-л.* и др. С этим, по-видимому, связано отсутствие у *памяти* игрового начала. Хотя ментальная деятельность может иметь игровой характер, ср.: *игра мысли, игра ума, игра воображения; воображение разыгралось*, — словосочетание *игра памяти* допустимо только как окказиональное, используемое в стилистических целях. Чаше в текстах встречаются словосочетания *капризы, причуды памяти*. Они также окказиональны, ср.:

В другой раз ему довелось пережить состояние полета над землей под легкими полупрозрачными крыльями, и это уже невозможно было

объяснить причудами памяти или игрой воображения: он никогда не летал на дельтаплане и не мог знать деталей его устройства (Н. Подольский, *Книга Легиона*).

Словосочетания *память изменяет*, *подводит* описывают болезнь памяти (*слабеющая память*), *амнезию*, т.е. возникновение большого числа *пробелов* и *провалов в памяти*. *Плохая память* деформирует прошлое. При этом сохраняется пресуппозиция, что *хорошая память* его не искажает, или эти искажения не принимаются в расчет.

(6) Концептуально согласуясь с *разумом*, *знаниями*, *опытом*, *память* выступает, в отличие от воображения, как достоверный источник информации. Она «имеет гораздо более авторитетный гносеологический статус, чем воображение» [Томпсон 2000: 31]. Мы говорим: *Это все не более чем плод [воспаленного] воображения*, но плохо, или окказионально: *Это не более чем образы памяти*, поскольку следующим вопросом будет: а на каких иных фактах строится наше знание прошлого?

Образы прошлого: работа памяти и воображения. Рассмотренные выше отношения между *памятью* и *воображением* провоцируют некоторые вопросы: если *память* соотносится с категориями истинности, подлинности, эвиденциальности, то как она может взаимодействовать с *воображением*? И наоборот: если *воображение* относится к ирреалису, то как оно может концептуально и семантически быть сближено с *памятью*, замещать ее в ряде контекстов?

По-видимому, следует здесь иметь в виду, что в воссоздании *прошлого* участвуют и *память*, и *воображение*, иногда дополняя, иногда замещая друг друга, ср.:

1. Действовал он расчетливо и умело, словно не в первый раз, на самом же деле нехитрая процедура всплыла в *памяти*, где-то подслушанная, где-то *достроенная воображением* (П. Алешковский, *Жизнеописание Хорька*).

2. Он сам выстроил ее в своем *воображении* с немислимой достоверностью, и *память* угодливо подбросила ему реальные подробности в виде коричневой вельветовой курточки с огромной застежкой-молнией на груди и густой россыпи розовых прыщей, сконцентрировавшейся на переносице белого и чистого лица юноши, которого и видел-то он всего один или два раза (Л. Улицкая, *Чужие дети*).

Иллюстрации, расширяющие контекстное употребление слова *память*, показывают, что, воссоздавая *прошлое*, она тяготеет к ирреалису.

На характер интерпретации *прошлого* могут оказывать влияние: желания человека; актуальное настоящее; мир кажимости (*сон, бред, фантазия*). В первом случае воссоздается *желаемое прошлое*, во втором — *провидческое*, в третьем — *прошлое кажимости*. Рассмотрим примеры.

(1) *Желаемое прошлое*: объединяет воспоминание с мечтой, воображение с памятью. Инвестиция желаний в *прошлое* осуществляется путем его корригирования, корректировки, смещения акцентов, нюансов. Часто это служит улучшению (иногда безотчетному) образа самого себя³. Ср.:

1. Он долго ходил по комнате, и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее, как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была; и сам он казался себе лучше, чем был тогда, в Ялте (*А. Чехов, Дама с собачкой*).

2. А перед Челкашом быстро неслись картины прошлого, далекого прошлого, отделенного от настоящего целой стеной из одиннадцати лет босяцкой жизни. <...> Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда... (*М. Горький, Челкаш*).

3. Но с годами ужасы изглаживались из памяти, и в воображении жили, и пережили молодость, только картины тропических лесов, синего моря, золотого, радужного неба (*И. Гончаров, Фрегат «Паллада»*).

4. На самом деле никаких запретных, заколдованных комнат в доме не существует: воображение, память и сновидения легко проникают сквозь закрытые двери, обнаруживая за ними то, чего хочется на самом деле, а не то, что там на самом деле (*Ю. Буйда, Щина*).

(2) *Провидческое прошлое*: интерпретируется «из актуального настоящего» с учетом последующих событий. *Память* соединяет *прошлое* с *актуальным настоящим* причинно-следственными отношениями. *Прошлое* мыслится как исток, начало того, что нашло выражение в актуальном настоящем: события настоящего побуждают искать в *прошлом* причину их возникновения, их зарождение. Обращаясь к *прошлому*, человек приписывает себе дар предвидения. Это выражается во фразах: *Я так и знал(а)!*; *Я так и думал(а)*; *Я это предчувствовал(а)/предвидел(а)*; *Я сразу понял(а)/почувствовал(а) [неладное]*. Ср. также:

³ Ср. описание *воображать* в словаре синонимов: «воображают часто то, что приятно субъекту, тешит его самолюбие и т. д.» [Апресян 2004: 136].

1. Чета Чернышевских, как и родители Рудольфа, как и Олина мать <...> не только не чуяла, какое нарастает событие, но с уверенностью ответила бы, <...> что всё хорошо, все совершенно счастливы. Зато потом, когда всё уже случилось, обокраденная память прилагала все усилия, чтобы в былом ровном потоке одинаково окрашенных дней найти следы и улики будущего, <...> и представьте себе, находила, <...> так что госпожа Г <...> вполне верила в свои слова, когда рассказывала, что давно предчувствовала беду... (В. Набоков, *Дар*).

2. Затем, тонким, назидательным голосом, он принялся читать всем знакомую добролюбовскую статью, но вдруг оборвал и <...> стал чрезвычайно подробно объяснять, что Добролюбовым он де не руководил; при этом не переставая играл часовой цепочкой, <...> это вlepилось в память всех мемуаристов и тогда же послужило темой журнальным зубоскалам; но, как подумаешь, он быть может потому часы теребил, что свободного времени у него и впрямь оставалось немного (всего четыре месяца!) (В. Набоков, *Дар*).

(3) Прошрое кажимости: реальность прошлого смешивается с фантазиями, сном, бредом. Это происходит в ситуациях, когда граница между тем, что было и что показалось, в силу разных причин оказалась нечеткой, или нечетко осознается, или вообще отсутствует, ср.:

1. Самого возвращения он не помнил, любопытней всего, что, быть может, предыдущее произошло на самом деле иначе, чем многое у него в памяти было потом добавлено, взято из его бреда... (В. Набоков, *Защита Лужина*).

2. Ганин теперь напрасно напрягал память: первую, самую первую встречу он представить себе не мог. Дело в том, что он ожидал ее с такою жадностью, так много думал о ней в те блаженные дни после тифа, что сотворил ее единственный образ задолго до того, как действительно ее увидел, потому теперь, через много лет, ему и казалось, что та встреча, которая мерещилась ему, и та встреча, которая наяву произошла, сливаются, переходят одна в другую незаметно, оттого что она, живая, была только плавным продленьем образа, предвещавшего ее (В. Набоков, *Машенька*).

3. Не знаю, так ли было в действительности, или уже разыгралось не на шутку мое воображение — память предлагает вот какую картину: посредине зала стоит длинный стол, на нем в ряд — горят костры (М. Москвина. *Небесные тихоходы: путешествие в Индию*).

Контекстные употребления показывают не только концептуальное сближение *памяти* и *воображения*, но и синкретизм этих концеп-

тов, способность *воображения* в определенных ситуациях частично замещать *память*. Это ведет к смещению области реального в область воображаемого, порождая в человеке неуверенность в реальности событий. Замещения подобного рода являются одним из основных источников возникновения чувства неопределенности⁴.

Память и воображение: философский, семиотический и другие типы дискурса. Философы, начиная с античности, а также семиотики и психологи сближают *память* и *воображение*. Оснований для этого может быть несколько. Перечислим их.

(1) Общая область локализации у *памяти* и *воображения*.

Согласно Аристотелю, *память* и *воображение* локализуются в душе, в определенной ее части. Он пишет: «Итак, какой части души принадлежит память, ясно: той, которой и воображение. И предметами памяти в собственном смысле являются те, которые можно вообразить, а уже по совпадению — те, которые не связаны с воображением» [Аристотель 2004: 162].

Средневековые авторы мыслили *память* и *воображение* наряду со *здравым смыслом* и *способностью оценки* или *размышления* как представляющие собой четыре внутренние потенции и относили их к области восприятия [Эко 2003: 161–162].

(2) Участие *воображения* в актуализации образа прошлого (*воспоминания*).

Память и *воображение* по существу заменяют друг друга в устной культуре. Это объясняется тем, что и *память*, и *воображение* в равной мере способны формировать образы, в которых прошлое, настоящее и будущее являются неразрывно связанными: «В устной традиции память считается архетипической формой, которую принимает воображение» [Хаттон 2003: 63].

Об образе, диалектично соединяющем прошлое с моментом «сейчас», пишет В. Беньямин, ср.:

Не то, чтобы прошлое высвечивало настоящее, а настоящее высвечивало прошлое; [но сам] образ есть то, в чем происходит молниеносное соединение бывшего с [моментом] «сейчас» и вместе они образуют созвездие. Иными словами, образ есть застывшая диалектика. Ибо, в то время как соотношение настоящего и прошлого сугубо временное, при-

⁴ Совмещение реального и воображаемого свойственно поэтам-символистам, ср.: *Никогда не забуду (он был или не был, // Этот вечер: пожаром за-ри // Сожжено и раздвинуто бледное небо, // и на желтой заре — фонари* (А. Блок. «В ресторане»).

рода соотношения бывшего и «сейчас» диалектическая — не временная, но образная... (цит. по [Павлов 2005: 14]).

А. Бергсон связывал «пробуждение» образов прошлого с деятельностью *воображения*, разграничивая, однако, область действия *памяти* и область действия *воображения*: «*Воображать* — это не то же самое, что *вспоминать*. Конечно, воспоминание, по мере того как оно актуализируется, стремится ожить в образе, но обратное неверно» [Бергсон 1992: 245].

(3) Имманентно присущая *памяти* способность корректировать реальность прошлого, включая в него элементы «воображаемой реальности».

Термин «корректирование реальности» использовал в своих работах Ю. М. Лотман, полагая, что оно неотделимо от самого понятия *памяти* [Лотман 1994: 428]. *Воспоминание* при этом оказывается на границе между реальностью и ирреальностью (*воображаемой реальностью*).

Корректирование прошлого хорошо иллюстрируется на примере автобиографий и мемуарной литературы. В них прошлое не только воссоздается, но и создается. В него включено *вспоминаемое* и *воображаемое*. Это отмечается в литературоведческих, семиотических, культурологических, социологических работах [ЛЭС; Lambek, Antze 1996; Хаттон 2003; Owen 1986].

Психологи отмечают возможность возникновения у человека *воображаемых воспоминаний*, которые выступают как репрезентант прошлого: образы памяти приведены в соответствие с тем, что мы знаем и во что верим. Это явление получило название «амнезия источника» [Kirmaier 1996: 174–175]. Существует также понятие «ложной памяти». *Ложная память* возникает вследствие желания людей стать частью истории: они отчетливо помнят ключевые исторические события, себя, свою роль и свое участие в них, однако эти воспоминания часто недостоверны [Лоуэнталь 2004: 312].

(4) *Память* и *воображение* мыслятся как взаимодополняющие, а иногда и замещающие друг друга в процессе творчества.

В греческой мифологии *Мнемозина*, богиня *памяти*, была матерью девяти муз. Она воспринималась также как богиня *воображения*.

В разные эпохи *творчество* понималось как деятельность *памяти* (средневековые) и как деятельность *воображения* (романтическая и модернистская культура). Как отмечает М. Каррузерс, «различие состоит в том, что если сейчас о гении говорится, что он обладает творческим воображением, проявляющимся в утонченных рассуждениях и оригинальных идеях, то в более ранние эпохи говорилось, что гений

обладает богатой памятью, которая проявляется в утонченных рассуждениях и оригинальных идеях».

Средневековые авторы также рассматривали взаимодействие *памяти* и *воображения* в творческом процессе. Ср.: «Следовательно, художник творит посредством воображения, благодаря которому перед его взором предстает — как нечто реально существующее — образ, лишь напоминающий подсказанные памятью формы или комбинирующий их между собой (*Sentencia libri de anima*)» [Эко 2003: 162].

О творческом начале памяти и ее отношении к воображению писал П. Флоренский: «Память есть символ-творчество. Помещаемые в прошедшее, эти символы, в плоскости эмпирии, именуются воспоминаниями; относимые к настоящему, они называются воображением; а располагаемые в будущем — считаются предвидением и предведением» [Флоренский 1990: 195].

Таким образом, области концептуального согласования *памяти* и *воображения* наиболее четко проявляются в процессе творчества.

Заключение. Анализ употреблений показывает, что *память* и *воображение* имеют определенные смысловые отношения, которые можно описать через системные сближения и системные различия.

Такого сорта отношения в лингвистике не узаконены с помощью терминов и не имеют официального статуса: это не синонимы, не антонимы, не гипонимы и не аналоги. *Память* и *воображение* находятся в гражданском лингвистическом соседстве и в отдаленном родстве.

Специфика этой пары, *памяти* и *воображения*, заключается в том, что описание их смысловых отношений дает нам картину того, как собственно в языке устанавливаются границы между реализмом и ирреализмом и как они размываются.

Границы между *памятью* и *воображением* напоминают РУССКИЙ забор (не НОВОРУССКИЙ забор!). Будучи поставленным для того, чтобы разграничивать, он непременно содержит дырки и лазы, через которые можно проникать на соседнюю территорию. *Память* и *воображение* часто ходят друг к другу в гости, садятся на терраске, пьют чай и разговаривают о человеческом прошлом, временами меняя, подправляя и насыщая его новыми смыслами.

ЛИТЕРАТУРА

Апресян 2004 — Апресян Ю. Д. *Вообразать 1, Представлять 3, Видеть 3.1* // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 2-е изд., испр. и доп. / Под общ. рук. Ю. Д. Апресяна. М.; Вена, 2004. С. 135–139.

- Аристотель 2004 — *Аристотель*. О памяти и припоминании // Вопросы философии. № 7. 2004. С. 161–168.
- Бергсон 1992 — *Бергсон А.* Материя и память // Собрание сочинений. Т. 1. М., 1992.
- Брагина и др. — *Брагина Н., Ефимова А., Опарина Е., Сандомирская И.* Фразеология в перспективе коллективной культурной идентичности (исследование русских устойчивых словосочетаний). Рукопись.
- Лотман 1994 — *Лотман Ю. М.* Смерть как проблема сюжета // *Лотман Ю. М.* и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
- Лоуэнталь 2004 — *Лоуэнталь Д.* Прошлое — чужая страна. СПб., 2004.
- ЛЭС — Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.
- МАС — Словарь русского языка: В 4 т. / Гл. ред. А. П. Евгеньева. М., 1981–1984.
- Павлов 2005 — *Павлов Е.* Шок памяти. Автобиографическая поэтика Вальтера Беньямина и Осипа Мандельштама. М., 2005.
- Томпсон 2000 — *Томпсон Д. Э.* «Братья Карамазовы» и поэтика памяти. СПб., 2000.
- Урысон 2004 — *Урысон Е. В.* Воображение, Фантазия // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 2-е изд., испр. и доп. / Под общ. рук. Ю. Д. Апресяна. М.; Вена, 2004. С. 139–142.
- Ушаков 1935–1940 — Толковый словарь русского языка / Гл. ред. Д. Н. Ушаков. Т. 1–4. М., 1935–1940.
- Флоренский 1990 — *Флоренский П. А.* Столп и утверждение истины. Т. 1. М., 1990.
- Хаттон 2003 — *Хаттон П. Х.* История как искусство памяти. СПб., 2003.
- Эко 2003 — *Эко У.* Искусство и красота в средневековой эстетике. СПб., 2003.
- Kirmayer 1996 — *Kirmayer L. J.* Landscapes of Memory: Trauma, Narrative, and Dissociation. P. 173–198 // *Tense past: cultural essays in trauma and memory* / Ed. by Paul Antze & Michael Lambek. Routledge New York; London 1996.
- Lambek, Antze 1996 — *Lambek M., Antze P.* Introduction: Forecasting Memory // *Tense past: cultural essays in trauma and memory* / Ed. by Paul Antze & Michael Lambek. Routledge New York; London, 1996. P. XI–XXXVIII.
- Owen 1986 — *Owen S.* Remembrances. Cambridge (Mass.), 1986.

РЕАЛЬНОЕ SUB SPECIE LINGUISTICAE

Различение *реального* и *ирреального* является, по всей видимости, одним из важнейших для языка: даже «в языке с бедным набором грамматических категорий наиболее вероятно обнаружить в первую очередь именно показатели ирреальной модальности» [Плунгян 2000: 312]. Помимо этого, данное противопоставление может рассматриваться и как компонент семантики граммем других категорий или как их импликация и инференция независимо от того, имеются ли в данном языке соответствующие грамматические показатели. При этом существенно, что хотя, с точки зрения логики, реальное и ирреальное взаимоисключают друг друга: нечто либо имеет, либо не имеет места в действительности, третьего не дано, — в практике лингвистических исследований оба эти понятия оказываются градуируемыми.

По отношению к ирреальности наиболее существенным представляется введенное В. Б. Касевичем различие двух ее разновидностей — «позитивной» и «негативной». В случае «позитивной» ирреальности «акцент делается на потенциальности ситуации, которая мыслится как возможная, желательная и т. п.», тогда как «негативная» ирреальность «обычно включает отрицание»: это обозначение того, что не осуществилось и уже не может осуществиться [Касевич 1988: 67]. К этим значениям можно добавить значение долженствования (необходимости), поскольку «в отличие от законов модальной логики, по которым все необходимое является существующим, в естественном языке как высказывания типа *X может Р*, так и высказывания типа *X должен Р* в равной мере предполагают, что Р не имеет места» [Плунгян 2000: 312]. При этом и то, и другое возможно, но то, что может произойти, может и не произойти, а то, что должно случиться, случится обязательно. Таким образом, «различие возможностью и необходимостью связано с той или иной степенью детерминированности данной ситуации» [Беляева, Цейтлин 1990: 124].

Дж. Байби, скептически оценивавшая полезность обобщающего понятия «ирреалис», отмечала, что «проще дать определение „реалису“, чем противоположному полюсу: высказывания являются „реалисом“, если говорящий утверждает их истинность» [Bybee 1998: 269]. Между тем и понятие реального также не является вполне определенным.

Признак реальности/ирреальности используется прежде всего при описании наклонений для противопоставления индикатива другим — «косвенным» — наклонениям: «Косвенные наклонения указывают на то, что действия в действительности нет, но что оно или должно произойти, или могло бы произойти при известных условиях, т.е. косвенные наклонения сигнализируют нереальность действия» [Молошная 1991: 76].

Среди косвенных наклонений наиболее четко выделяются «воли- тивные» («дезидеративные») наклонения: императив, оптатив, хортатив и их разновидности, для которых в целом характерно выражение «позитивной» ирреальности. При этом «позитивная» ирреальность — по контрасту с «негативной» ирреальностью — нередко понимается как нечто реальное; ср.: «Оптативные ситуации могут быть реальными и ирреальными, в зависимости от реализуемости желаемого действия» [Гусев 2002: 176], где «ирреальное» равнозначно невозможному («негативной» ирреальности), а «реальное» — возможному («позитивной» ирреальности). То же относится и к пониманию противопоставления ирреальных и реальных условий как противопоставления невыполнимой возможности (т.е. невозможности) — выполнимой (т.е. собственно возможности) [Храковский 1998: 34].

«Сдвиг» возможного в сферу реального наблюдается также в той интерпретации, которую дает А.В.Бондарко трактовке значения изъявительного наклонения как форм, выражающих значение «реальности в широком смысле слова». «Реальное» при таком понимании — это не только то, что имеет или имело место в действительности, но и обозначаемые индикативом «ситуации, в которых есть элементы ирреальности»: возможность, необходимость, желание [Бондарко 1990: 73]. Аналогичное соединение собственно реального и потенциального («позитивно» ирреального) характерно и для обычного языка, в котором реальным (и особенно вполне реальным или совершенно реальным) очень часто называют то, что достижимо только в будущем, а в действительности еще не имеет места; ср.: *Пробиться на Олимпиаде в тройку призеров вполне реально* (Известия, 3.01.2002).

«Воли- тивным» косвенным наклонениям противостоят «эпистемические» наклонения, которым Г.Г.Сильницкий в своем исчислении наклонений дает общее наименование «суппозитив»; в подобных случаях субъект речи обуславливает свое сообщение «некоторыми предварительными, понижающими степень его достоверности факторами» [Сильницкий 1990б: 101]. Их классификация отражает характер фактора, снижающего степень достоверности и/или реальности сообщаемого. Косвенное наклонение, употребление которого обусловлено синтаксической зависимостью глагольной словоформы от слов со значением желания, возможности, необходимости, создающих контекст ирреаль-

ности, обычно называют конъюнктивом; ср.: *Хочу, чтобы он пришел; Нужно, чтобы все было сделано вовремя* и т. п. Другой столь же широко распространенный термин — *кондиционал* — отражает использование «суппозитивных» наклонений в условных конструкциях, выражающих зависимость реализации одной ситуации от реализации другой ситуации; ср.: *Если бы я знал это заранее, я бы все сделал иначе*¹.

Конъюнктивные косвенные наклонения (в принятом здесь понимании) обычно используются для выражения «положительной» ирреальности. Что же касается кондициональных наклонений, то, как свидетельствуют результаты типологического изучения условных конструкций, они используются прежде всего для выражения «негативной» ирреальности. Основная тенденция такова, что в реальных условных конструкциях употребляются преимущественно индикативные глагольные формы, а в ирреальных условных конструкциях — формы косвенных наклонений [Храковский 1998: 111–114]; ср. в русском языке:

- (1) а. *Если он придет вовремя, он нам поможет;*
б. *Если бы он пришел вовремя, он бы нам помог.*

В свою очередь, среди форм индикатива особое положение занимает будущее время. Если настоящие и прошлые события принадлежат реальному миру, то будущие события еще только ожидаются, а потому, как писал О.Есперсен, «по отношению к будущему времени мы не можем высказывать никаких утверждений, кроме предположений и догадок» [Есперсен 1924/1958: 310]. На этом основании очень многие исследователи в той или иной степени сближают значения форм будущего времени со значениями косвенных наклонений.

Если же обратиться к настоящему и прошедшему времени, то их соотношение в плане большей или меньшей реальности/ирреальности не вполне очевидно.

С одной стороны, действие в прошлом уже реализовалось, а потому считается, что прошедшее «по своей природе является наиболее фактивным временным планом» [Храковский 1998: 42]. Вместе с тем именно в силу того, что такое действие в момент речи уже не имеет места, сообщение о нем может включать ту или иную долю предположительности («негативной» ирреальности). Ср. следующее высказывание историка: «О предшествовавших эпохах мы можем говорить

¹ Ср. толкования, предложенные И.А.Мельчуком: конъюнктив «выражает нереферентный характер описываемого факта, причем соответствующий глагол является дополнением другого глагола — со значением типа ‘хотеть’, ‘надеяться’»; кондиционал «выражает обусловленный характер описываемого факта» [Мельчук 1998: 155].

лишь на основе показаний свидетелей. Мы играем роль следователя, пытающегося восстановить картину преступления, при котором он сам не присутствовал, или физика, вынужденного из-за гриппа сидеть дома и узнающего о результатах своего опыта по сообщениям лабораторного служителя. Одним словом, в отличие от познания настоящего, познание прошлого всегда будет „непрямым“» [Блок 1973: 30]. Примечательна также формулировка, которую использует И. А. Мельчук, констатируя наличие связи между временем и косвенными наклонениями: «Связь с наклонением основана на непрезентных, т.е. „нереальных“ (разрядка моя. — Ю. К.) временах типа имперфекта, плюсквамперфекта или футурума, которые легко принимают значения косвенных наклонений» [Мельчук 1998: 61]. Нечто подобное в определенных речевых сферах наблюдается и в русском языке. Как отмечает Тэк-Гю Хонг (со ссылкой на П. Рестана), в шахматной литературе при указании на возможный в данной позиции, но не осуществленный игроком ход вместо сослагательного наклонения часто используются индикативные формы прошедшего времени: *Ошибочная идея. Более свободную игру белые получали* (*≈ получали бы*), *продолжая...* [Хонг 2003: 128–129].

С другой стороны, поскольку формами настоящего времени могут обозначаться ситуации, находящиеся непосредственно в поле зрения говорящего, оно должно было бы характеризоваться большей степенью реальности по сравнению с прошедшим. Однако поскольку в этой ситуации обычно описываются в некоторый произвольный срединный момент, их начальная точка лежит в прошлом, а конечная — в будущем [Князев 1997: 131–138]. Поэтому к ним отчасти приложимо то, что говорилось выше о связи будущего времени с «позитивной» ирреальностью. В этом отношении показательно, что Б. Комри, перифразируя значение предложений типа

- (2) *The Eiffel Tower stands in Paris*
‘Эйфелева башня стоит в Париже’,
- (3) *The author is working on chapter two*
‘Автор работает над второй главой’

как комбинацию утверждений, относящихся к прошлому и будущему, использует в первом случае «чистый» индикатив — *began* ‘начались’, а во втором — сочетание с модальным глаголом *may* — *may well continue* ‘вполне могут продолжаться’: «in particular, the present tense is used to speak of states and processes which hold at the present moment, but which **began** before the present moment and **may well continue** beyond the present moment» (выделено мной. — Ю. К.) [Comrie 1985: 37].

Если же обратиться к косвенным наклонениям, то ситуация оказывается совершенно иной. В этом случае формы с перспектив-

ной презентно-футуральной временной отнесенностью, выражающие главным образом «позитивную» ирреальность, противопоставляются формам с претеритальной временной отнесенностью, для которых характерно выражение «негативной» ирреальности. Тем самым роль «наиболее ирреального» времени переходит от будущего времени к прошедшему.

Так, в условных конструкциях локализация условия в прошлом в наибольшей степени способствует выражению «негативной» ирреальности:

(4) *Если бы он меня вчера принял, я бы ему все рассказал,*

а выражению реального условия («позитивной» ирреальности) благоприятствует локализация обозначаемой ситуации в будущем [Храковский 1998: 41–45]; ср. практически равнозначные предложения с сослагательным наклонением и индикативом:

(5) а. *Если бы он меня завтра принял, я бы ему все рассказал;*

б. *Если он меня завтра примет, я ему все расскажу.*

Аналогично, конструкции, выражающие реальное (выполнимое) желание, характеризуются направленностью в будущее, поскольку только в этом случае за желанием может последовать намерение совершить соответствующее действие, а затем и само это действие. Употребление же оптативных конструкций по отношению к событиям прошлого обычно влечет за собой их интерпретацию как «негативно» ирреальных (контрафактических) [Шатуновский 1996: 303; Добрушина 2001: 25; Гусев 2002: 179–181]:

(6) *Я хотел этим летом поехать в Одессу (но не съездил);*

(7) *Если бы я тогда не ушел! (но я ушел);*

(8) *Взять бы мне тогда эту фотографию (но я не взял).*

Другое противопоставление, существенное для оценки ситуации в плане реальности/ирреальности, — это ее единичность или повторяемость. М.Хаспельмат, выделяя «прототипические предложения со значением реальности» (prototypical realis sentences), в которых не могут употребляться нереферентные неопределенные местоимения типа *кто-нибудь*, относил с ним утвердительные неотрицательные предложения в актуальном (ongoing) настоящем (*Смотри, кто-то бежит*) и перфективном прошедшем времени (*Кто-то пришел*) [Haspelmath 1997: 39]. Общим для них является конкретная временная локализованность. В свою очередь, к факторам, благоприятствующим употреблению таких местоимений, относится, наряду с

контекстами «снятой утвердительности»², и глагольная множественность; ср.: *Иногда кто-нибудь из нас его навещает*.

Дополнительным эмпирическим свидетельством существования семантических «мостов» между хабитуальностью (итеративностью) и ирреальностью является возможность выражения обоих этих значений одними и теми же средствами. В европейских языках можно найти многочисленные примеры подобного рода многозначности. Приведу лишь два из них.

В сербохорватском языке аналитические формы сослагательного наклонения, соответствующие русским формам типа *купил бы*, сохраняя способность выражать условное значение, приобрели также и способность выражать повторяемость в прошлом; ср. близкие по лексическому составу предложения, приведенные в [Mønnesland 1984: 72]:

- (9) а. *Kad bi popila čašu rakije, napila bi se*

‘Если бы она выпила стакан ракии, то напилась бы’;

- б. *Kad god bi popila čašu rakije, napila bi se*

‘Когда она выпивала стакан ракии, то каждый раз напивалась’

В македонском языке формы будущего в прошедшем, способные выражать и кондициональные значения, используются и для обозначения повторяющихся действий в прошлом [Усикова 1977: 363, 368]:

- (10) а. *Ќе дојдев, ако имав време*

‘Я пришел бы, если бы имел время’;

- б. *Ќе дојдеш, ќе седнеш, па ќе станеш, и ќе се излезеш без да прозбори*

‘Придет, бывало, сядет, потом встанет и молча уйдет’³.

Одним из связующих семантических звеньев в данном случае, возможно, служит то, что в обоих случаях действие в описываемый момент не реализуется. Ирреальные ситуации либо еще не осуществились, либо уже не могут осуществиться, а реальные проявления хабитуальных ситуаций, как правило, не имеют конкретной временной

² К ним относятся, в частности, повелительное наклонение, будущее время, значения желательности, необходимости, возможности, произвольного выбора, цели, предположительности [Вейнрейх 1963/1970: 173–177; Падучева 1985: 94–102].

³ Близкую параллель набору значений, выражаемому македонскими формами будущего в прошедшем, составляют английские конструкции, состоящие из вспомогательного глагола *would* и знаменательного глагола в форме инфинитива, которые также совмещают функции будущего в прошедшем, кондиционала и показателя повторяемости в прошлом. См. также другие примеры совмещения этих значений в различных языках, приведенные в [Князев 1987: 68–69; Cristofaro 2004: 256–272].

локализации. Т. Гивон, называющий хабитуалис «a swing category par excellence», считает, что основной чертой, сближающей его с ирреалисом, является то, что «unlike realis, which typically signals that an event has occurred (or state persisted) at some specific time, a habitual-marked assertion does not refer to any particular event that occurred at any specific time» [Givón 1994: 270].

Другую точку соприкосновения между этими двумя значениями можно выделить, если следовать линии рассуждений Г. А. Золотовой, в соответствии с которой в сообщениях о конкретных единичных событиях находит свое отражение непосредственное восприятие действительности, тогда как сообщения об узуальных, многократно повторяющихся событиях соответствуют более высокой ступени абстракции — «уровню знания» [Золотова 1973: 179–185]. Между тем, как заметил Ю. И. Левин, «чем больше рефлексии потрачено для получения данного суждения, т. е. чем больше его расстояние от непосредственно данного, тем менее несомненным оно становится» [Левин 1994: 126]. Отсюда следует, что при прочих равных условиях высказывания о единичных событиях должны характеризоваться большей степенью достоверности по сравнению с хабитуальными высказываниями, в основе которых лежит индуктивное обобщение⁴.

Обращаясь к единичным ситуациям, можно заметить, что и они не вполне однородны в плане реальности/ирреальности. Так, у А. В. Бондарко (который исходит из представления о существовании «постепенных переходов» между реальностью и ирреальностью) «реальности в узком смысле» соответствует актуальность, понимаемая как «такое существование в действительности, в котором нет элементов, так или иначе связанных с ирреальностью, — потенциальности, а также недостоверности, „чужого опыта“ и т. п.»; в свою очередь, в значении актуальности он выделяет «ядро, в котором специфика реальности находит максимально четкое и непосредственное выражение»; таковым, по его мнению, является ситуация настоящего актуального — обозначение действительности «переживаемой, наблюдаемой (так или иначе воспринимаемой), конкретной и очевид-

⁴ В свою очередь, индуктивное обобщение содержит элемент предположения, а следовательно, и ирреальности. В этой связи можно привести высказывание Ч. Пирса, цитируемое Р. О. Якобсоном: «Все истинно общее относится к неопределенному будущему, потому что прошлое содержит только некоторое множество таких случаев, которые уже произошли. Прошлое есть действительный факт. Но общее правило не может быть реализовано полностью. Это потенциальность; и его способ существования — *esse in futuro* ‘быть в будущем’» [Якобсон 1965/1983: 116–117].

ной» в сочетании с конкретной референцией всех участников ситуации [Бондарко 1990: 72–73], что иллюстрируется примером (11):

(11) — *Что ты там делаешь?* — *Пишу письмо*⁵.

Наличие связи между наблюдаемостью ситуации и ее оценкой как реальной не вызывает сомнений⁶. Вместе с тем, восприятию обязательно сопутствуют ментальные процедуры, связанные с узнаванием, классификацией, идентификацией и интерпретацией воспринятого, основанные на знании каузальных и следственных связей [Арутюнова 1988: 114–115], а это значит, что даже утверждения, основанные на сенсорных данных, могут иметь различную степень достоверности. В качестве иллюстрации можно привести следующий пример, в котором ситуация, актуальная именно для данного конкретного отрезка времени, описывается с точки зрения непосредственно воспринимающего ее персонажа:

(12) *В городском саду уже играла музыка. Лошади звонко стучали по мостовой; со всех сторон слышались смех, говор, хлопанье калиток. Встречные солдаты кланялись Никитину; и, в и д и м о, всем гуляющим, спешившим в сад на музыку, было очень приятно глядеть на кавалькаду* (А. Чехов. Учитель словесности).

В этом фрагменте сообщение об эмоциональном состоянии гуляющих сопровождается показателем предположительности *видимо*⁷, тогда как предшествующие ему высказывания (кроме самого первого из них, но только если его рассматривать изолированно) не допускают модальной оценки степени достоверности сообщаемого. Таким

⁵ Аналогичные употребления форм прош. вр. А.В.Бондарко относит к «следующей ступени в иерархии разновидностей актуальности» [Бондарко 1990: 72].

⁶ Ср. типичные контексты, используемые для выявления актуально-длительного значения НСВ: *Смотри, вот он...*, *Я вижу, как он...* Как пишет В.С.Храковский, «информация, получаемая с помощью зрения (значение прямой эвиденциальности), всегда является полной и объективной (значение абсолютной, стопроцентной достоверности высказывания)» [Храковский 2005: 91].

⁷ При характеристике особенностей функционирования лексики *видимо* в сравнении с другими показателями достоверности в русском языке отмечается, что ее использование «свидетельствует, с одной стороны, о привлечении говорящим логического вывода при формировании суждения о наличии ситуации $P <...>$; с другой стороны, о построении этого логического вывода на основе непосредственного (хотя бы и минимального) восприятия или контакта (разрядка моя. — Ю.К.) с описываемой предметной ситуацией» [Иоанесян 1993: 91].

образом, и в пределах «ядра реальности», можно различать ситуации, допускающие и не допускающие однозначную интерпретацию.

Очевидно, что ближе всего к «ядру», или прототипу реальности находятся высказывания о таких ситуациях, при описании которых необходимость обращаться к логическим выводам минимальна, а доля собственно перцептивного компонента максимальна. А. В. Бондарко называл такие ситуации «микропроцессами» [Бондарко 1983: 133], а А. Д. Кошелев — «текущим процессом», определяя его следующим образом: «Текущий процесс разворачивается буквально на глазах говорящего. Соотнесенное с ним высказывание описывает изменения, синхронные моменту наблюдения и распознаваемые на весьма малом (соизмеримом с моментом речи) интервале времени» [Кошелев 1996: 170]. И. Б. Шатуновский также связывает «отсутствие временной дистанции между событием и его описанием» с непосредственной восприимчивостью описываемого [Шатуновский 1999: 241].

Следует заметить, что и А. Д. Кошелев, и И. Б. Шатуновский, имеют в виду не настоящее актуальное, а другой режим употребления форм настоящего несовершенного — настоящее репортажа (или настоящее динамическое)⁸, а в этом случае они выражают особое видо-временное значение, которое «является и процессуальным, и точечным одновременно» [Апресян 1995: 237]⁹. Различие между ними проявляется, в частности, в том, что в настоящем историческом и сценическом возможно употребление моментальных глаголов *находить*, *приезжать*, *вспыхивать* (что не допускается в настоящем актуальном); ср. пример, приведенный в [Гловинская 2001: 224]:

- (13) [Чарнота] *В Париж или в Берлин, куда податься? В Мадрид, может быть? Испанский город... Не бывал. Но могу пари держать, что дыра* (Присаживается на корточки, шарит под кипарисом, находит окуроч) (М. Булгаков. Бер);

с другой стороны, поскольку в настоящем репортажа сообщаемое представляется говорящим (и воспринимается слушающим) как «поток действительности», здесь, в отличие от настоящего актуального и

⁸ Ср.: «Типичной областью применения текущих глагольных значений являются ситуации репортажного типа, когда требуется синхронное описание быстро-текущих процессов на очень коротких интервалах времени» [Кошелев 1996: 171].

⁹ Ср. аналогичную точку зрения Ю. С. Маслова: «В историческом настоящем *встречаю знакомого* (или *входит, открывает окно* и т. д.) „протекание“ и „целостность“ совмещены в одной форме: конкретно-фактическое значение образно выражено здесь с помощью значения процессного, хотя в других случаях эти значения антонимичны друг другу» [Маслов 1984: 84].

исторического, невозможно употребление показателей типа *наверное*, *я думаю*, ставящих под сомнение фактивность описываемых событий [Шатуновский 1999: 237].

Тем не менее эти семантические разновидности в одном отношении близки между собой. Независимо от того, обозначаются ли формами настоящего несовершенного события, синхронные моменту речи (настоящее репортажа), процессы и состояния, длящиеся в момент наблюдения (актуально-длительное значение), события, имевшие место в прошлом (настоящее историческое) или в условном мире театрального действия (настоящее сценическое), — все эти характеризуются присутствием нетривиального семантического компонента 'действие происходит на глазах (или «как бы» на глазах) говорящего'.

С учетом сделанных оговорок, можно очертить контуры семантического класса глагольных лексем, используемых в этих функциях.

Прежде всего, из этого класса выпадают глаголы, обозначающие ситуации, которые требуют для своей реализации «сверхдолгого» временного интервала. К ним относятся, с одной стороны, обозначения устойчивых состояний — навыков, умений, предрасположений и т. п. (ср. *уметь*, *знать*, *любить*), а с другой стороны, глаголы, обозначающие «занятия»: *воспитывать*, *питаться*, *преподавать*. Их общей чертой является неопределенность («неспецифицированность») способа реализации, в силу чего такие глаголы названы в [Плунгян, Рахилина 1990: 201–210] «абстрактными». В этом отношении им подобны «интерпретационные» глаголы (ср. *мешать*, *выручать*, *помогать*, *ошибаться*, *обманывать*, *преувеличивать*, *проигрывать*), которые «сами по себе не обозначают никакого конкретного действия, а служат лишь для оценочной интерпретации другого, вполне конкретного действия» [Апресян 2006: 145–160], также не используемые в рассматриваемых употреблениях. Причина этого состоит, видимо, в том, что «оценка и интерпретация предполагают определенное дистанцирование от непосредственно наблюдаемого» [Семенова 2004: 37].

Возможность однозначной интерпретации наблюдаемых действий может также зависеть от характера результата действия и ясности его конечной цели.

Как отмечает в другой связи М. Я. Гловинская, даже при обозначении простейших физических действий типа *Мальчик идет в школу* «о цели движения, его конечном пункте может знать только субъект движения» [Гловинская 1993: 162–163]. Таким образом, в этом высказывании совмещается обозначение реального и ирреального: на основе каких-то внешних наблюдаемых признаков говорящий делает предположение, что наиболее вероятным итогом дальнейшего развития событий окажется приход мальчика в школу. Между тем при непре-

дельном употреблении этого же глагола (ср. *Мальчик идет по улице*) необходимости в такого рода предположениях нет.

Что же касается результата, то наиболее он очевиден у конкретных физических действий типа *красить/покрасить забор*, *пахать/вспахать поле*. Именно такие глаголы Ю.С.Маслов приводит в качестве иллюстрации предельных видовых пар, в которых «каждая частица действия непосредственно отлагает в объекте соответствующую частицу результата» [Маслов 1984: 61]. В этом отношении различаются, например, действия *писать/написать* и *читать/прочитать*, хотя оба они предполагают постепенное накопление результата, синхронное деятельности субъекта, и относятся к одной и той же разновидности видового противопоставления (см. [Гловинская 1982: 85]). Вместе с тем, их внешние проявления и следствия не одинаковы: действие «писать» имеет однозначный видимый результат — постепенно возникающий написанный текст, тогда как непосредственный результат чтения — изменение ментального состояния субъекта — нематериален и неочевиден, да и сам процесс чтения, в силу отсутствия у него прямого наблюдаемого результата, трудно отличить от простого перелистывания страниц.

Свои проблемы возникают и при интерпретации глагола *писать* (и соответствующего действия), поскольку его результатом является создание предмета, не существовавшего ранее. Субъект называет свое действие *Я пишу письмо*, опираясь на мысленный образ будущего результата, а посторонний наблюдатель говорит *Он пишет письмо*, предполагая дальнейшее развитие событий по доступным его восприятию проявлениям (например, увидев недописанный текст). Сравнивая приводимые О.Есперсеном примеры употребления глагола с дополнением-пациентом и дополнением-результатом типа *dig a ground* ‘копать землю’ и *dig a grave* ‘копать могилу’ [Есперсен 1924/1958: 181], нельзя не заметить, что в первом случае действие идентифицируется намного более однозначно, чем во втором. Из сказанного следует, что соотнесение наблюдаемой фазы действия с его будущим результатом существенно усиливает интерпретационный компонент в обозначении ситуации.

Используя противопоставление глаголов результата (verbs of result), называющих только вид изменения (ср. *break* ‘ломать’, *spoil* ‘портить’), и глаголов способа (verbs of manner), называющих вид воздействия безотносительно к его цели и результату (ср. *sweep* ‘мести’, *rub* ‘тереть’ и т. п.), введенное в [Levin, Rapaport Novav 1995: 147–155], можно сказать, что глаголы способа в существенно меньшей степени используют операции логического вывода при отображении действительности. Что же касается глаголов результата, то возможность употребления наиболее абстрактных из них, таких, как

улучшать, ухудшать, упрощать, усложнять, облегчать, затруднять, в настоящем актуальном вообще трудно представить.

Таким образом, противопоставление реальность/ирреальность в его языковом преломлении представляет собой шкалу, один из полюсов которой образует максимально достоверное (реальное) настоящее репортажа, а другой — контрфактические употребления сослагательного наклонения (и его аналогов) [Князев 1998: 209–215].

Из сказанного можно сделать двоякого рода выводы. С одной стороны, в теоретическом и дескриптивном языкознании ощущается явная нехватка терминов для характеристики разных «степеней реальности», что проявляется в необходимости прибегать к выражениям типа *реальность в широком смысле, реальность в узком смысле, актуальность, фактивность, прототип реальности, ядро реальности* и т. п. С другой стороны, в поисках безусловной реальности лингвистика находит в качестве ее эталона единичную быстротекущую ситуацию, непосредственно воспринимаемую конкретным лицом, совмещающим роли наблюдателя и говорящего. В этой связи представляется уместным привести следующее высказывание В.Б.Касевича: «в конечном итоге — если требуется проследить всю цепочку обоснования — мы неминуемо должны прийти к тем или иным аксиомам; т.е. истинам, принимаемым в качестве не требующих доказательства, или же к эмпирически наблюдаемым фактам. Здесь и открывается известная свобода для субъективизма, релятивизма, веры и т. п., ибо самоочевидность, равно как и наблюдаемость, по природе своей субъективна и относительна» [Касевич 2004: 83].

ЛИТЕРАТУРА

- Апресян 1995 — *Апресян Ю. Д.* Избранные работы. Том II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Апресян 2006 — *Апресян Ю. Д.* Основания системной лексикографии // *Апресян В. Ю., Апресян Ю. Д., Бабаева Е. Э., Богуславская О. Ю., Иомдин Б. Л., Крылова Т. В., Левонтина И. Б., Санников В. З., Урысон Е. В.* Языковая картина мира и системная лексикография. М., 2006.
- Арутюнова 1988 — *Арутюнова Н. Д.* Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
- Беляева, Цейтлин 1990 — *Беляева Е. И., Цейтлин С. Н.* Соотношение полей возможности и необходимости в семантической сфере потенциальности // *Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность.* Л., 1990.
- Блок 1973 — *Блок М.* Апология истории, или ремесло историка. М., 1973.
- Бондарко 1983 — *Бондарко А. В.* Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983.

- Бондарко 1990 — *Бондарко А. В.* Реальность / ирреальность и потенциальность // Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л., 1990.
- Вейнрейх 1963/1970 — *Вейнрейх У.* О семантической структуре языка // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. V. М., 1970.
- Гловинская 1982 — *Гловинская М. Я.* Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.
- Гловинская 1983 — *Гловинская М. Я.* Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов // Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993.
- Гловинская 2001 — *Гловинская М. Я.* Многозначность и синонимия в видо-временной системе русского глагола. М., 2001.
- Гусев 2002 — *Гусев В. Ю.* Императив и смежные значения // Семиотика и информатика. Вып. 37. М., 2002.
- Добрушина Н. 2001 — *Добрушина Н. Р.* К типологии оптатива // Исследования по теории грамматики. Вып. 1. Глагольные категории. М., 2001.
- Есперсен 1924/1958 — *Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958.
- Золотова 1973 — *Золотова Г. А.* Очерк функционального синтаксиса русского языка. М., 1973.
- Иоанесян 1993 — *Иоанесян Е. Р.* Классификация ментальных предикатов по типу вводимых ими суждений // Логический анализ языка. Ментальные действия. М., 1993.
- Касевич 1988 — *Касевич В. Б.* Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988.
- Касевич 2004 — *Касевич В. Б.* Буддизм. Картина мира. Язык. 2-е. изд. СПб., 2004.
- Князев 1987 — *Князев Ю. П.* Итеративность и ирреальность: точки соприкосновения // Конференция аспирантов и молодых научных сотрудников Ин-та востоковедения АН СССР. Тезисы докладов. Т. 2. Языкознание, литературоведение. М., 1987.
- Князев 1997 — *Князев Ю. П.* Настоящее время: семантика и прагматика // Логический анализ языка. Язык и время. М., 1997.
- Князев 1998 — *Князев Ю. П.* Шкала реальности / ирреальности: наклонение, время и таксономические классы глагола // Типология. Грамматика. Семантика. СПб., 1998.
- Кошелев 1996 — *Кошелев А. Д.* Референциальный подход к анализу языковых значений // Московский лингвистический альманах. Вып. 1. М., 1996.
- Левин 1994 — *Левин Ю. И.* Истина в дискурсе // Семиотика и информатика. Вып. 34. М., 1994.
- Маслов 1984 — *Маслов Ю. С.* Очерки по аспектологии. Л., 1984.
- Мельчук 1998 — *Мельчук И. А.* Курс общей морфологии. Т. 2. Морфологические значения. М., 1998.

- Молошная 1991 — *Молошная Т. Н.* Аналитические формы косвенных наклонений в славянских языках // Советское славяноведение. 1991. № 4.
- Падучева 1985 — *Падучева Е. В.* Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985.
- Плунгян 2000 — *Плунгян В. А.* Общая морфология. М., 2000.
- Плунгян, Рахилина 1990 — *Плунгян В. А., Рахилина Е. В.* Сирконстанты в толковании? // Saloni Z. (ed.) *Metody formalne w opisie języków słowiańskich*. Białystok, 1990.
- Семенова 2004 — *Семенова Н. В.* Категория таксиса в современном русском языке. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 2004.
- Сильницкий 1990 — *Сильницкий Г. Г.* Функционально-коммуникативные типы наклонений и их темпоральные характеристики // Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л., 1990.
- Усикова 1977 — *Усикова Р. П.* Македонский язык // Славянские языки. М., 1977.
- Хонг 2003 — *Хонг Тэк-Гю.* Русский глагольный вид сквозь призму теории речевых актов. М., 2003.
- Храковский 1998 — *Храковский В. С.* Теоретический анализ условных конструкций (семантика, исчисление, типология). Анкета для описания условных конструкций // Типология условных конструкций. СПб., 1998.
- Храковский 2005 — *Храковский В. С.* Эвиденциальность и эпистемическая модальность // B. Hansen, P. Karlík (eds.). *Modality in Slavonic languages. New perspectives*. München, 2005.
- Шатуновский И. 1996 — *Шатуновский И. Б.* Семантика предложения и нереперентные слова. М., 1996.
- Шатуновский И. 1999 — *Шатуновский И. Б.* Настоящее динамическое НСВ в современном русском языке // Логический анализ языка. Языки динамического мира. Дубна, 1999.
- Якобсон 1965/1983 — *Якобсон Р.* В поисках сущности языка // Семиотика. М., 1983.
- Bybee 1998 — *Bybee J. L.* «Irrealis» as a grammatical category // *Anthropological linguistics*. Vol. 40 (2). 1998.
- Comrie 1985 — *Comrie B.* Tense. Cambridge; London, 1985.
- Cristofaro 2004 — *Cristofaro S.* Past habituals and irrealis // Исследования по теории грамматики. Вып. 3. Ирреалис и ирреальность. М., 2004.
- Haspelmath 1997 — *Haspelmath M.* Indefinite pronouns. Oxford, 1997.
- Givón 1994 — *Givón T.* Irrealis and the subjunctive // *Studies in language*. Vol. 18 (2). 1994.
- Levin, Rapaport Hóvav 1995 — *Levin B., Rapaport Hóvav M.* Unaccusativity: At the syntax-lexical semantics interface. Cambridge, 1995.
- Mønnesland 1984 — *Mønnesland S.* The Slavonic frequentative habitual // Aspect bound. A voyage into the realm of Germanic, Slavonic and Finno-Ugrian aspectology / C. de Groot, H. Tømmola (eds.). Dordrecht, 1984.

ТЕАТРАЛЬНОСТЬ: ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ ВОССОЗДАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ?

Относительность и условность категории «реальность» не только обуславливают множественность ее интерпретаций, но и предполагают различные формы ее воссоздания. Так, реальность обязательно предполагает трансформацию в фантазию, а любая фантазия зиждется на реальности. Разумеется, такая закономерность наиболее полно проявляется в искусстве, в частности театральном.

Между тем в сознании носителей языка (что отражено и в самом языке) укоренилось представление о театральности как о некоем противоестественном, нереальном явлении, действии, поведении. В словосочетаниях *театральные жесты, театральная реакция, театральный голос* и т. д. выражается отрицательная оценка, преимущественно нормативная, характеризующая неправильное, некорректное, нестандартное проявление человека [Арутюнова 1988: 75].

Предметом нашего анализа является понятие «театральность» в его соотношении с категориями реальности/ирреальности/нереальности в научной, наивной и профессиональной картинах мира.

1. В сложном, трансцендентном, многоуровневом процессе межличностных отношений человек тяготеет как к искренности, доверию, открытости, надежности, так и к позерству, игре. Все, что относится к первой части человеческих потребностей, соотносится с семантическим полем правды. Последнее же граничит с отрицательными оценками, с тем, что не соответствует правде.

В научной картине мира, отраженной, в частности, в лексикографических источниках, понятие театральности включает в себя ряд сем, противопоставляющих профессиональное и обыденное видение явления: 1. Совокупность специфических средств и приемов, свойственных театру как особому виду искусства // Элементы сценического представления в чем-либо. 2. Искусственные приемы в чем-либо, рассчитанные на внешний эффект. 3. Действия, поступки, рассчитанные на внешний эффект; деланность, наигранность в поступках, в поведении [БАС 1965: 184]. Следовательно, наряду с атрибутами театрального искусства подчеркивается некая внешняя сторона, эффектность, неестественность, что противоречит неким нормам поведения.

В словаре синонимов в одном синонимическом ряду представлены *театральность* и *фальшь, лицемерие, двуличие, притворство*, а также —

маскарад, лицедейство, комедия, актерство [Александрова 1986: 262]. При абсолютно отсутствующей профессиональной интерпретации доминирует подход к *театральности* с нравственных позиций, с точки зрения нарушения норм доверительных отношений.

Таким образом, беглый обзор материала свидетельствует, что в научной картине мира *театральность* интерпретируется преимущественно в коммуникативном (отчасти — экзистенциальном) ракурсе, ассоциируя с понятием комплекс «антинравственных» характеристик. Однако в толковом словаре понимание *театральности* как категорий, связанной с соответствующим искусством, остается приоритетной семей.

2. Для определения понятия «театральность» в «наивной» картине мира мы обратились к свободному психолингвистическому ассоциативному эксперименту, проведенному в студенческих аудиториях Киева. Среди информантов было 50 студентов гуманитарных специальностей (преимущественно филологов). В качестве слова-стимула было предложено «*театральность*». В ответах (в статье цитируются наиболее интересные и даются общие статистические данные) прослеживается следующая закономерность:

Преимущественно «*театральность*» представляется как *игра* в различных ракурсах.

Игра как неискренность в проявлениях и отношениях (всего — 14% ответов): *Наигранность, игра; Исполнение определенных ролей, которые человек играет на протяжении жизни; Наигранность, насмешка, что-то фальшивое, ненастоящее; Выдуманная реальность; Ненастоящие чувства, ирония; какие-то отработанные проявления в жизни человека; Поведение человека, исполненное пафоса и ненастоящих чувств.*

Частым компонентом выступает наличие публики, на которую рассчитана демонстрация (всего — 9% ответов): *Игра, направленная на создание определенного впечатления у окружающих людей, игра на публику.* Игра не обязательно неискренняя, она просто «не своя»: *Демонстрация не своих чувств.* Следовательно, коммуникативно-нравственная интерпретация выступает доминирующей, и лишь в одном ответе *игра* понимается и как театральное действо: *Игра актера, сокрытие настоящего за маской, неправдивость.*

Профессиональная интерпретация «вне игры» оказалась достаточно частотной, окрашенной положительными коннотациями (всего — 10% ответов): *Маски, величие, актеры; Искусство, интерес, умение, талант, блеск; Кулисы, сцена, актеры, маски, величие сцены; Грим, умение, актерские способности человека.* Многоплановые эмоции, связанные с театром, отражены в интересном комплексе ассоциаций: *Эмблема театра: грустная и веселая маски, серое здание, афиша,*

плохая аудитория, антракт, громкий смех, движения эпилептика, коричневый цвет, слезы, грусть.

Понимание театральности как компонента обыденной жизни («вне игры») представлено в комплексе ассоциаций, как продолжающих «антинравственную» линию (всего — 4% ответов): *Умение быть позером; Манера поведения, которая, возможно, имеет отношение к лицемерию, так и «приветствующих» данную коммуникативную способность (всего — 8% ответов): Внутреннее развитие мира человека, желание обрести духовный мир и отдохнуть от реальности, параллельности мира и помечтать о чем-то большем, но не всегда это так; Способность человека управлять своими чувствами и эмоциями; Поведение человека; явление, которое украшает нашу жизнь, делает ее интереснее; Коммуникативность, изобретательность, находчивость, игра, друзья, талант, жест.*

Классические литературные ассоциации представлены двумя ответами «Джулия из „Театра“ Моэма».

Таким образом, к пониманию неискренности присоединяются коннотации таинства, особого уровня проявления эмоций, отношений, в конечном итоге, выход за рамки обыденности, нестандартность. Разрушение стереотипов может быть абсолютно искренним, но, имея нестандартную форму проявления, считаться необычным, театральным.

3. «Театральность» в профессиональном дискурсе — многоплановое понятие, в котором практически отсутствует обыденная, коммуникативная интерпретация. Способы и принципы воссоздания и трансформации реальности в театре, безусловно, зависят от различных подходов, стилей, школ, систем, что может быть предметом специального театроведческого изучения.

В театральной энциклопедии представлены различные оттенки смысла анализируемого феномена:

1. В общем плане (по аналогии с понятиями «музыкальность», «живописность») — когда хотят подчеркнуть, что данное произведение органично соответствует природе театрального искусства, отличается выразительностью, достигнутой специфическими театральными средствами.
2. Употребляется для определения особой яркости и выразительности сценической формы спектакля или актерского исполнения. Постановочное и исполнительское решение спектакля обладает качеством подлинной театральности, если характер его образности соответствует стилю и жанру пьесы, помогает раскрытию ее внутренней сути и смысла... Театральность, оторванная от решения идейно-смысло-

вых задач, выдвинутых содержанием драматического действия спектакля, лишается своей поэтичности, художественной целесообразности, вырождается в формализм и трюкачество.

3. Определение собственной неповторимой манеры театрального мышления какого-либо писателя.
4. Иногда так называемое пристрастие режиссеров и актеров к обнажению сценической условности представления, нарочитому подчеркиванию используемых в театре игровых и постановочных приемов, сознательный отказ от создания на сцене иллюзии подлинной действительности [Театральная 1967: 151–152].

Интерпретация связана только с различными уровнями оценки театрального искусства.

Универсальность и действенность системы Станиславского, по мнению Г.А.Товстоногова, заключается в том, что режиссер «соединил в единую стройную систему творческий опыт огромной плеяды выдающихся актеров XIX и XX веков, ...открыл объективные законы поведения человека на сцене, ...пытался найти сознательный путь к актерскому подсознанию» [Товстоногов 1980: 36–37].

В определении Г.А.Товстоногова представлены ключевые смысловые блоки, подробно раскрывающие смысл рассматриваемой категории в театральном дискурсе, чему будет посвящен дальнейший анализ на материале книг крупных театральных деятелей — известных режиссеров 2-й половины XX в. Г.А.Товстоногова и А.В.Эфроса.

Театр представляется искусством не обособленным, непосредственно и опосредованно связанным с иными художественными реалиями, а посему в постановке большое значение имеют музыкальные понятия — абсолютность звука, ритм, партитурность строения спектакля и т. д.:

— «Как строить партитуру своей роли, учитывая еще пять-шесть партитур рядом и вокруг?» [Эфрос 4: 77].

— «Из-за фальши одного актера, тем более нескольких, могут разладиться многие внутренние связи, на которых держится не только спектакль, но вообще театр» [Там же: 78].

— «...у Калягина абсолютный слух. Ему ничего не надо объяснять логически, формулами. Достаточно подсказать какую-то одну интонацию, и он ее всегда услышит и поймет ее значение. Можно подбросить краску — и он ее тут же уловит. Это совсем не значит, что он нуждается в чужих красках, — у него их множество, и все свои. Но бывает, что в одной краске — смысл, который словами скучно объяснять» [Там же: 105–106].

— «Одной из последних стадий работы над спектаклем для меня является его ритмическая организация. Очень редко режиссер может пре-

доощущать ритм, он возникает в результате соотношения частей внутренне уже построенного спектакля» [Товстоногов 1980: 210]

Реалистичность изображаемых событий выступает как один из возможных приемов воссоздания действительности, требующий скрупулезной работы:

— «Для того, чтобы поставить, например, „Трех сестер“, вы должны раскрыть для себя обстановку жизни в доме Прозоровых, увидеть его обитателей, увидеть сам дом, улицу, на которой он стоит, и т. д.

К. С. Станиславский сказал однажды, что пьеса — это как бы запись тех слов, которые произносили люди в жизни, не зная, что их записывают. И задача режиссера заключается в том, чтобы раскрыть смысл и значение их высказываний с позиции того времени, той обстановки, тех условий, в которых они жили, понять, почему они говорили эти слова, а не другие...» [Товстоногов 1980: 152].

— «Передо мной на столе два интереснейших документа: режиссерский план Станиславского к „Трем сестрам“ 1901 года и недавно вышедшая статья в какой-то французской газете о новом спектакле Питера Брука „Вишневый сад“. Брук выбрал для своей постановки старый, заброшенный театр где-то на окраине Парижа. Когда-то это был популярный буржуазный театр, теперь видны только остатки позолоты, здание обветшало, выглядит смешновато со всеми своими ярусами и тоненькими колоннами. Можно только догадываться о прежнем великолепии. Это ли не подходящая площадка для „Вишневого сада“, спрашивает критик. Сцена оголена, и взгляд упирается в поцарапанный брандмауэр с проступившей красной и зеленой краской. Высокие оконные рамы вынуты и стоят у каменных стен, причем они без стекол. Сценическая площадка устлана восточными коврами. Их красота тоже в прошлом, краски выцвели. На большом ковре — обилие маленьких ковров, они похожи на холмики и служат сиденьями для Раневской, Гаева и других. Есть еще пара стульев да шкаф с игрушками. В четвертом акте ковры скатываются — и все видят отталкивающе некрасивый пол.

...Режиссерский план Станиславского к „Трем сестрам“. ...Начать хотя бы с перечня реквизита первого акта „Трех сестер“, который делает Станиславский. Уже один этот перечень говорит о скрупулезнейшем подходе к быту...

Тридцать ученических тетрадей. Один синий, один красный карандаш...

У Станиславского подробнейшая бытовая разработка поведения героев» [Эфрос 3: 36–37].

Таким образом, доподлинное соответствие реальным фактам перестает быть основной и единственной задачей театральности.

— «Но Немирович считал, что настало время сделать все по-иному. Новый спектакль должен быть лишен натуралистической бытовой достоверности» [Эфрос 3: 37–38].

Задачей воссоздания действительности становится символичность, условность прочтения и понимания реальности:

— «А. Д. Попов сказал однажды, посмотрев наш спектакль: „Ваших актеров могут переиграть только собаки“. Это было для нас большой похвалой, ибо мы тогда стремились к абсолютной, если хотите, „реактивной“ естественности. А если к этому прибавить некоторые попытки соединить эту естественность с элементами условной постановки, то вот тот стиль, который мы тогда пытались проповедовать. Ну и, конечно, открытая полемичность. Борьба с фальшью, с неправдой, с грубостью, с примитивом и стремление к какой-то почти детской чистоте характеров» [Эфрос 1975: 6].

Как отмечалось, в обыденной интерпретации театральности доминирует представление о фальши, в то время как в профессиональном дискурсе театральность предполагает искоренение той же фальши, неестественности или же грубой естественности в жизни:

— «Сегодня меня волнует массовое заболевание в актерской среде. Вполне возможно, если театр зеркально отражает жизнь, это заболевание тоже отражает жизнь, отсюда явилось. Тем хуже. Тем страшнее. Потому что театр — слишком хрупкое здание, чтобы противостоять натиску жизни. Уже даже неудобно напоминать в тысячный раз, что Станиславский упрямо называл театр «храмом» и упрямо твердил, что всю грязь, всю грубость жизни надо оставлять за дверьми театра, как оставляют грязные калоши и сапоги.

Грязные калоши и сапоги сегодня внесли в театр и расхаживают в них не только за кулисами, но и по сцене. Все знают, что „служенье муз не терпит суеты“ и требует бескорыстия...» [Эфрос 4: 80].

Общая концепция постановки спектакля предполагает различные «отношения» с действительностью, однако от актера требуется глубинное проникновение в истинный характер героев, в его психологию, природу и мотивы чувств, ощущений, мыслей:

— «Профессионализм — это скрупулезность, способность трудиться, отсутствие суеты.

Профессионализм — это деловая скромность, способность служить своему делу, самокритичность.

Профессионализм — это не притягивание роли к себе, а умение идти от себя к роли, ломая не роль, а себя. Это умение не задерживать на себе лишнего внимания. Это способность ощущать действие и его развитие.

Профессионализм — это умение слышать режиссера и чувствовать локоть партнера. Тяга к изживанию в себе поверхностного, тяга к углубленности.

Профессионализм — это воспитание в себе особого слуха к внутреннему ходу сценического действия.

Профессионализм — это подвижность внешняя и внутренняя. Наконец — это подвижничество» [Эфрос 4: 94].

Следовательно, в противоречие вступает еще один тезис обыденного представления, согласно которому театральность — это прежде всего работа на публику, в то время как в профессиональном дискурсе предполагается сосредоточение на внутреннем содержании роли, хотя и очевидна адресованность публике.

Значимость воссоздания всех тонкостей характера героя очевидна при различных интерпретационных подходах:

— «Сила и интерес пьесы не в хитросплетениях сюжета, драматических или комедийных ситуациях, а в сложном, мучительном процессе становления характеров, в раскрытии их сущности, как правило, до поры до времени скрытой от окружающих» [Товстоногов 1980: 157].

Подлинность воссоздания внутреннего мира героев, по мнению театрального режиссера, представляется ведущим качеством работы актера в спектакле. Если кино максимально точно передает все детали реальных событий, то в театре преобладает подлинность, напряженность, глубина передачи чувств:

— «Как много разговоров, что в кино сниматься тяжело! Эту легенду поддерживают все, байку за байкой. Начинают вспоминать, как снимались в горящем лесу или под проливным дождем. Действительно, это тяжело. Только это совсем иная тяжесть, чем та, с которой приходится преодолевать психологические трудности в работе над ролью.

В театре нет ни болот, ни пожаров. Но попробуйте прожить три часа такого душевного накала — и вы в какой-то степени драматический артист. Тут приходится жертвовать и честолюбием, и самолюбием, тут приходится становиться учеником, и чем безбоязненнее им становишься, тем больше выигрываешь» [Эфрос 4: 93].

Концепция спектакля как театрального произведения, определенным образом представляющего действительность, основывается на эмоциональном осмыслении изображаемых действий, ситуаций, поступков:

— «Основой решения каждой сцены должны быть психологические мотивировки поведения героев. Если же решение не связано с психологией людей, на столкновении которых строятся конфликт и действие

пьесы, — это не решение. Должен быть ясен эмоциональный возбудитель каждой сцены, только это поможет создать нужную среду, максимально выражающую внутреннее течение жизни спектакля. Надо найти, так сказать, психологический камертон сцены. Без этого в решении не будет души» [Товстоногов 1980: 189].

Подобное осмысление происходит на интуитивном уровне, что объединяет работу актера и режиссера:

— «Работать с хорошим актером — одно удовольствие. Он подхватывает вашу мысль на лету. Он заполняет собой режиссерское предложение, как воздухом заполняется шарик. Не всегда это происходит сразу — это значит, что ты, режиссер, еще что-то не понял в „шарике“, который перед тобой. А понимание наше во многом интуитивно, оно не головное, не рассудочное» [Эфрос 4: 74].

В театре каждый элемент, каждая деталь, должна приобретать новую знаковость, а посему — является плодом сложных режиссерских поисков:

— «...о постановке „Трех сестер“: Тогда во МХАТе как будто и не бились ни над чем. Кажется, все было ясно: сегодня пятое мая — именины Ирины. Сегодня весело, а год назад было грустно...

Ольга проверяет тетрадки и громко говорит о том, что думает. Чего тут мудрить изобретать что-то, просто надо так и сделать. Но не выходит, не выходит, хоть ты и лопни.

Возможно, у тех старых артистов все это было в крови и ни о чем специальном не надо было думать. А тут начинаешь разбираться, расчленять, раскладывать, и все получается как-то однобоко. Все хочется что-то излишне подчеркнуть, объяснить. Кажется, что иначе, без особой подчеркнутости, получится избито, тривиально. Ведь столько раз мы уже слышали эти фразы. Они перестали звучать для нас как нечто интересное. Уже не вслушиваешься в них. И тогда думаешь: а может, пусть вначале потанцуют и Ольга именно на это скажет, что вот так и идет время. Было мрачно, а стало веселее. Но тут же я обрываю себя: нет, не надо никакого танца. Что это еще за танец. Зачем он? Как надоедает иногда эта режиссура. А может быть, это тревожное размышление над противоречивостью жизни?» [Эфрос 3: 44–45].

Размышления Г.А.Товстоногова, А.В.Эфроса, как, несомненно, и других выдающихся театральных деятелей, многопланово представляют сложный процесс трансформации литературного произведения в сценическое искусство, определенным образом воссоздающее реальность. Скрупулезная работа над каждым образом, над об-

щей концепцией спектакля предполагает, как отмечалось, глубинное проникновение в психологические таинства мировосприятия, ощущений и поведения человека.

На протяжении многовековой истории театральное искусство апеллировало к различным формам художественной репрезентации действительности, что, безусловно, может быть предметом подробного искусствоведческого анализа.

Противоречивость интерпретаций самого понятия «театральность» (в частности, его соотношения с «реальностью») в различных дискурсах отражает скорее относительность понимания самой реальности. Неискренность, фальшь, неестественность в поведении и отношениях, являющиеся приоритетными интерпретациями понятия в наивной и научной картинах мира, представляются глубоко реалистичными, свойственными обыденной жизни, продиктованы многочисленными коммуникативными задачами. Ассоциация с театром сформирована лишь на внешнем сходстве — игре на публику и «демонстрации не своих чувств».

Однако профессиональная игра на публику предполагает воссоздание, кристаллизацию различных реальных чувств, эмоций, отношений. Потому высокохудожественное театральное произведение лишено фальши, внешнего эффекта, не может быть только иллюзией действительности. Театральность апеллирует к тонким материям существования человека, и спектакль как «всякое произведение тем или иным способом отражает жизнь» [Товстоногов 1980: 173]

ЛИТЕРАТУРА

- Александрова 1986 — Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. М., 1986.
- Арутюнова 1988 — Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
- БАС — Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. Т. 15. М., 1965.
- Театральная 1967 — Театральная энциклопедия: В 5 т. Т. 5. М., 1967.
- Товстоногов 1980 — Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. Кн. 1. Л., 1980.
- Эфрос 1975 — Эфрос А. В. Репетиция — любовь моя. М., 1975.
- Эфрос 3 — Эфрос А. В. Продолжение театрального романа. Т. 3. М., 1993.
- Эфрос 4 — Эфрос А. В. Книга четвертая. Т. 4. М., 1993.

ЛЬСТИТЬ: СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ И АКТУАЛЬНАЯ ПОЛИСЕМИЯ

Как известно, слово *лесть* представляет собою заимствование из древнегерманского *list* 'хитрость, уловка' [Фасмер II: 487]. От этого существительного был образован глагол *лѣстѣти*, который в свою очередь оказался мотивирующим для производного имени деятеля *лѣстец*. Именно значения, связанные с обманом, были основными значениями указанных слов в древнерусском языке (в словаре Срезневского у существительного *лѣсть* в качестве первого значения указывается 'обман, хитрость', у глагола *лѣстити* первое значение — 'обманывать'). Эти значения сохранились до настоящего времени в церковнославянском языке, как, напр., в отрывке из Евангелия от Матфея (27, 63–64), который каждый год читается на утрени Великой пятницы: «помянухом, яко *лѣстец* он рече, еще сый жив: по триех днех востану: повели убо утвердити гроб до третияго дне, да не како пришедше ученицы его нощию украдут его и рекут людем: воста от мертвых: и будет последняя *лѣсть* горша первая» (ср. синодальный перевод на русский язык: «Мы вспомнили, что *обманщик* Тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну; итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и будет последний *обман* хуже первого»).

В современном русском языке значение обмана у всех трех слов утрачено. Эти слова описывают очень специфический тип введения в заблуждение, когда некто не искренне хвалит адресата речи, с тем чтобы доставить ему удовольствие, этим вызвать к себе его расположение и получить какую-то выгоду, ср.:

- (1) Оказалось, что ты все врала, *лѣстила* мне, чтобы выманить больше денег, а вещи, мол, у меня сохранятся и можно в любое время у меня их забрать... (ruscorpora)¹.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований отделения историко-филологических наук РАН «Русская культура в мировой истории» (проект «Эволюция русской языковой картины мира в аспекте культуры речи») и ИНТАС (проект 05-1000008-7917 «Ядерная лексика в типологической перспективе: семантические переходы и корреляция форма–значение»).

¹ Примеры, помеченные (ruscorpora), взяты из Национального корпуса русского языка.

Назовем это ситуацией «лести». Обратим внимание на то, что для существительных *лесть* и *льстец* использование по отношению к ситуации «лести» является единственно возможным, тогда как глагол *льстить* и его видовой коррелят *польстить* подверглись дальнейшей семантической эволюции и приобрели еще одно значение, о котором речь пойдет несколько позже.

В типичном случае *лесть* осуществляется «снизу вверх»: подчиненные *льстят* начальникам, подданные могут *льстить* властителям. Это обусловлено тем, что *льстец* надеется получить от адресата «лести» какие-то блага и тем самым в той или иной степени зависит от него. Но возможна *лесть* и со стороны того, кто не находится «ниже» в социальной иерархии, а просто оказался в ситуативной зависимости от адресата. Прототипическая ситуация «лести» для носителей русской культуры изображена в басне Крылова «Ворона и Лисица», где преимущество Вороны, выражающееся в обладании сыром, отражено еще и в том, что она находится наверху, а Лисица внизу, и тем самым *лесть* Лисицы направлена «снизу вверх» одновременно в прямом и переносном смысле.

С другой стороны, похвалы *льстеца* могут представлять для адресата ценность только в том случае, если адресат признает за ним достаточную компетентность, чтобы высказывать суждение. Слова ребенка, говорящего матери: «Мама, ты такая красивая, такая умная, такая хорошая! Купи мне велосипед!», могут быть описаны как *лесть* только в шутку.

Лесть может быть успешной или неуспешной. Успех *лести* состоит в том, что ее адресат принимает похвалы за чистую монету, в результате чего *льстец* получает желаемое; при этом часто адресат успешной *лести* терпит ущерб:

- (2) Любил войти в доверие, *польстить*, растрогать, а потом — обокрасть да поиздеваться... (И. Грекова).

Если адресат идентифицировал чьи-то слова как *лесть*, то есть понял, что похвалы были неискренни, то в этом случае *лесть* не достигает цели. Поэтому задача *льстеца* — скрыть тот факт, что он *льстит*². В этом от-

² Поэтому невозможно перформативное употребление глагола *льстить*: выражение типа *я льщу* возможно либо в контексте *не подумай, что...*, либо при оценке собственного речевого поведения *post factum*; ср.: *Я ведь вот уверен, что тебя кто-нибудь обидел и скорей перед тобой виноваты, чем ты перед ними. Я ведь ничего из твоей истории не знаю, но такая девушка, как ты, верно, не с охоты своей сюда попадет... — Какая такая я девушка? — прошептала она едва слышно; но я расслышал. «Черт возьми, да я льщу. Это гадко. А может, и хорошо...» Она молчала* (Достоевский. Записки из подполья).

ношении различаются *грубая* (т. е. неприкрытая) и *тонкая лесть* (когда неискренность говорящего хорошо замаскирована).

С другой стороны, поскольку *лесть* представляет собою действие, включающее в себя обман и осуществляемое с корыстными целями, она обычно осуждается. Поэтому человек, высказывающий похвалы кому-то, от кого он тем или иным образом зависит, часто сопровождает эти похвалы уверениями в том, что они не содержат *лести* (ср. известные строки Пушкина *Нет, я не льстец, когда царю / Хвалу свободную слагаю: / Я смело чувства выражаю, / Языком сердца говорю*), — как в случае, если он на самом деле *льстит*, так и в том случае, когда он высказывает искреннюю похвалу. Различить эти два случая практически невозможно, поскольку уверения в искренности вовсе не обязательно означают, что высказываемые похвалы реально не являются *лестью*; напротив того, часто они только усиливают подозрения в неискренности; ср. комментарий Войновича по поводу девиза на гербе графа Аракчеева: *Граф Аракчеев называл себя преданным без лести, то есть льстил, однако потоньше*³.

Наряду с только что рассмотренным, глагол *льстить* и его видовой коррелят *польстить* могут описывать ситуацию иного типа, которую мы назовем «польщенностью». «Польщенность» уже не включает идею обмана и вообще не соотносится с речевым действием. Соответствующее значение чаще всего реализуется в конструкции *Z льстит/польстило Y-у*, где *Z* — обстоятельство или высказывание, свидетельствующее, что некий *X*, мнение которого почему-либо важно для *Y-а*, высоко оценивает те или иные качества *Y-а*, и эта оценка приятна *Y-у*. В этом случае *Y* чувствует себя *польщенным*; *Y-у лестно*, что имеет место *Z*. Обратим внимание на то, что ни пассивное причастие *польщенный*, ни предикатив *лестно*, используемые в ситуации «польщенности», не могут соотноситься с рассмотренной выше ситуацией «лести». Более того, если *Y* распознал, что имела место *лесть*, о «польщенности» не может быть речи. Иными словами, ситуация «лести» совместима с ситуацией «польщенности» только в том случае, если адресат «лести» счел похвалу искренней и поверил ей; в этом случае он чувствует себя *польщенным* (как Ворона в басне Крылова).

Приведем примеры:

- (3) Оба мнения мне страшно *льстят* (Елена Хаецкая, guscorpora).
- (4) О нем заговорили печатно — это было для него новостью... Сравнение с Вандиком и Тицианом ему сильно *польстило* (Гоголь. Портрет)).

³ В. Войнович. Преданные с лестью // «Невское время», 25.04.2003.

- (5) ...разнообразие занятий московских армян производило нужное впечатление: от главврачей и маршалов до народных артистов и руководителей предприятий. Перечень имен *польстил* моему пробуждающемуся армянскому самосознанию (Максим Ассимилян. Москва армянская // «Столица», 1997.10.28, ruscorgora).
- (6) Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь: — Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает древнегреческий. Это *польстило* ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Гадячском уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки! (Чехов. Человек в футляре).
- (7) Ничто не может так *польстить* русским, как признание за ними исключительных умений и возможностей — от математической одаренности нации (один из основных предметов гордости России) до богатства ресурсов (Сергей Сумленный. Россия и Европа — границы в головах // «Европа», 2001.06.15, ruscorgora).

Это значение возможно также в конструкции *X польстил Y-у Z-ом*:

- (8) Не знаю, чем было объяснить их снисходительность: может, я *польстил* им своим восторгом (А. Битов).

В отличие от ситуации «лести», в ситуации «польщенности» эта конструкция синонимична конструкции *Z льстит/польстило Y-у* (ср.: *мой восторг польстил им*).

В центре ситуации «польщенности» находится субъект Y, который испытывает некоторые приятные ощущения, вызванные тем, что чье-то мнение (эксплицитно выраженное или выводимое из каких-то поступков или высказываний) тешит его тщеславие (ср. частотность словосочетания *льстить чьему-либо самолюбию*).

Как уже говорилось, помимо *льстить/польстить*, в ситуации «польщенности» используются пассивное причастие *польщенный* (часто в краткой форме) и предикатив <кому-то> *лестно*. Это, разумеется, не случайно. Как пассивное причастие, так и предикатив в конструкции с дательным падежом субъекта специализируются на передаче внутренних состояний (ср., соответственно, *огорчен, удивлен, встревожен; мне приятно, интересно, совестно, обидно* и т. п.)⁴:

⁴ Обратим внимание на то, что пассивное причастие *польщенный* образовано от формально непереходного глагола *польстить* <кому>, что, скорее всего, свидетельствует о повышении статуса участника Y в ситуации «польщенности» по сравнению с ситуацией «лести».

- (9) — Тебе это интересно? — спросила я, *польщенная* (И. Грекова).
- (10) И вот из МХАТа сообщают: Вайда намерен в собственном театре по-своему инсценировать «Петушки», и уже в 89–90-м годах сделать по «Петушкам» фильм! Венчик ответил, что он целиком полагается на его вкус и интеллект, поскольку считает его непревзойденным режиссером из живущих. Ерофееву ответили, что Вайда будет чрезвычайно *польщен* такой оценкой его творчества (Наталья Шмелькова. Последние дни Венедикта Ерофеева (2002), ruscorpora).
- (11) Он протер толстые стекла очков и сказал: — А я и не знал, что моя статья кому-то пригодилась. *Польщен*. — Что вы, товарищ профессор, кто же из зенитчиков вашего метода не знает? Мне даже на экзамене он попался (И. Грекова, ruscorpora).
- (12) Угощают старика да наговаривают: одна надежда на тебя. Коли тебе не в силу, к кому пойти? Старику *лестно* такое слушать... (П. П. Бажов. Орлиное перо, ruscorpora).
- (13) Солдату скорее всего будет *лестно*, если столь авторитетный командир обратится к нему в неофициальной обстановке, назовет по имени, расспросит о делах, даст хороший совет (Д. Говорун, ruscorpora).

В каких же случаях человек бывает *польщен*? Как уже говорилось, стимулом к состоянию *быть польщенным* является чье-то высокое мнение о твоих способностях. Так, напр., *лестным* для человека может оказаться ревность со стороны соперников, чье-то внимание к его даме, приглашение посетить престижный ресторан и т. п.:

- (14) ...уловив в этом и в тоне некую ревность, что ему опять *польстило* (А. Битов).
- (15) Внимание, оказанное его даме, очевидно, ему *польстило* (Григорович).
- (16) Так мы и жили, неплохо по советским меркам зарабатывая, пользуясь кое-какими привилегиями — домами творчества, специальной поликлиникой, оплаченным бюллетенем, недурным ведомственным рестораном, побывать в котором всем прочим гражданам было весьма *лестно* (А. Макаров. Писать или жить // «Профессионал», 1998, ruscorpora).

Обычно человек бывает *польщен*, когда ему оказывают внимание. Но бывает, что внимание оскорбляет самолюбие, а *лестит* как раз его отсутствие:

- (17) Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого особенного внимания; это *польстило* ему. Обыкновенно смотрели на молодого негра как на чудо, окружали его, осыпали приветствиями и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий, не только не радовало его сердца, но даже исполняло го-

речью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего (Пушкин. Арап Петра Великого).

Следует упомянуть также о существовании некоторых «промежуточных» случаев (или «совмещения значений»). Так, в конструкции *X польстил Y-у (Z-ом)* не всегда ясно, идет ли речь о ситуации «лести» или «польщенности» из-за того, что неизвестно, был ли *X* искренним в своей похвале:

- (18) — А сколько вам лет? — почему-то полюбопытствовал он, пристально всматриваясь в меня. — А как вы думаете? — Лет тридцать с небольшим, — *польстил* он мне. — Двадцать четвертый пойдет с августа, — огорошил я его (А. И. Левитов. Степная дорога днем, *ruscopora*).

Здесь неизвестно, действительно ли он так оценил возраст адресата и тем самым доставил ему удовольствие ненамеренно или сделал это нарочно. Точно так же в примере (19) оборот *нельзя было лучше польстить ему, как сказав...* может пониматься двояким образом: это лучший способ доставить ему удовольствие (достичь «польщенности») или лучший способ достичь корыстных целей (при помощи «лести»).

- (19) ...он ненавидел все русское, и *нельзя было лучше польстить* ему, как сказав, что он по выговору, привычкам своим и наружности представляет совершеннейший тип француза или англичанина (Григорович, *ruscopora*).

Несколько иной тип промежуточности представлен в высказывании *Вы мне льстите*, которое в наиболее естественном понимании означает: «вы преувеличиваете мои достоинства» [Булыгина, Шмелев 1997: 187]. Иными словами, это высказывание не содержит ни обвинения собеседника в неискренности (ситуация «лести»), ни указания на полученное удовольствие (ситуация «польщенности»).

Дальнейшая семантическая эволюция произошла с прилагательными *лестный* и наречиями *лестно*. Она состоит в том, что человек *Y* и его ощущения уходят на второй план. *X лестно отозвался* (дал *лестный отзыв*) о книге *Y*-а означает, что *X* высоко оценил книгу *Y*-а и говорящий считает, что если *Y* узнает об этом отзыве, ему будет *лестно*:

- (20) Специалисты отзываются о новом приобретении только *лестно* («Горная промышленность», 2004, *ruscopora*).
- (21) Последняя работа молодого уральского коллектива получила самые *лестные* оценки критики («Культура», 2002.04.01, *ruscopora*).

Отметим, что *лестный* и *лестно* в этом значении — это чисто оценочные слова, которые могут присоединять отрицание (*нелестно отозвался, нелестный отзыв*), в отличие от предикатива *лестно* (ср. **Х-у нелестно, что...*):

- (22) Он дал весьма *нелестные* характеристики варианту армейской модернизации, который лоббируют Министерство обороны и Генеральный штаб (Максим Гликин, Иван Родин. Думцы обсудили с Путиным военную реформу // «Независимая газета», 2003.03.31, ruscorpora).
- (23) Все помнят, что весной прошлого года президент России весьма *нелестно* отзывался о планах правительства обеспечить стране 5–6-процентный экономический рост к 2005 году (Наталья Ильина, Анастасия Скогорева. Новая программа со старыми идеями // «Газета», 2003, ruscorpora).

Тем не менее *лестно* или *нелестно* отозваться можно не о любом объекте, а только о таком, который находится в зоне ответственности некоторого *У*-а (тем самым *У* устраняется из ситуации не полностью). Нельзя *лестно/нелестно отозваться* о климате в Бразилии или о вкусе купленного вчера вина, но можно — о дизайне парка или качестве вина на чьем-то приеме.

Наряду с глаголом *лстить* в русском языке существуют отчасти устаревающие приставочные производные *прельстить/прельщать*, который обозначает в зависимости от одушевленности субъекта контролируемое или неконтролируемое соблазнение [Булыгина, Шмелев 1997: 184], а также *обольстить/обольщать*, который всегда обозначает контролируемое соблазнение. Слово *прелесть*, за исключением религиозных контекстов, утратило — по-видимому, уже в пушкинскую эпоху — свою внутреннюю форму и, соответственно, отрицательные коннотации (ср. обсуждение возникающих в связи с этим проблем при толковании строки Пушкина *Чистойшей прелести чистойший образец* в статье [Перцов 2000]).

Итак, глагол *лстить* и его производные претерпели следующую семантическую эволюцию. Первый шаг состоял в сужении идеи ‘обмана’ до его очень частного случая: намеренного преувеличения достоинств адресата речевого акта. Второй шаг — перенос акцента на фигуру адресата и приятное ощущение, доставляемое ему высокой оценкой его достоинств. Наконец, на третьем шаге субъект этого приятного ощущения также уходит в тень и центральным оказывается компонент положительной оценки.

ЛИТЕРАТУРА

- Булыгина, Шмелев 1997 — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Типы каузации и лексикографическое описание русских каузативов // Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.
- Перцов 2000 — Перцов Н. В. О последнем сонете Пушкина // Логический анализ языка. Языки этики. М., 2000.
- Срезневский — Срезневский И. И. Материалы к словарю древнерусского языка. В 3 т. М., 1994.
- Фасмер — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. СПб., 1996.

СОДЕРЖАНИЕ

Памяти Максима Ильича Шапира (<i>М. В. Акимова, И. А. Пильщиков</i>)	5
<i>М. И. Шапир</i> . Символическая заумь Федора Сологуба: между ложью и фантазией	14

ПО ТРОПАМ ЛЖИ И ОБМАНА

<i>Ю. Д. Апресян</i> . От истины до лжи по пространству языка	23
<i>Е. Г. Драгалина-Черная</i> . Есть ли жизнь в возможных мирах? Семантика веры и неверия	46
<i>А. Г. Козинцев</i> (Санкт-Петербург). Об антиреферентивной функции языка	55
<i>И. М. Богуславский</i> . Между истиной и ложью: адвербиалы в контексте снятой утвердительности	67
<i>В. О. Филиппов</i> . Дзэн-буддийские коаны: приближение к истине по сути посредством удаления от нее по форме	78
<i>А. В. Вдовиченко</i> . Парадокс лжеца как коммуникативная стратегия	85

СЕМАНТИКА ОБМАНА И ПРИТВОРСТВА

<i>Н. Д. Арутюнова</i> . Видение и виденье (проблема достоверности)	92
<i>Анна А. Зализняк</i> . Предикаты ошибочного мнения в аспекте семантической типологии: глагол <i>мнить</i>	106
<i>А. Д. Кошелев</i> . К описанию универсального концепта 'Обман–Обмануть'	118
<i>О. Ю. Богуславская</i> . Реальность и интерпретация поведения	134
<i>Е. Л. Доценко</i> . Вербальные средства влияния в современном судебном дискурсе	143
<i>Т. В. Радзиевская</i> (Киев). Справочно-информационный текстотип и стилистика истинности	151
<i>Г. И. Кустова</i> . Оценки истинности/ложности (на материале прилагательных <i>истинный</i> и <i>ложный</i>)	159

ИСТИНА И ЛОЖЬ В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

<i>Е. М. Верецагин</i> . «Вот подлинный человек, в котором нет лукавства!». Выявление (не)подлинности в конфессиональном дискурсе	171
<i>В. И. Постовалова</i> . «Истина» и «заблуждения» в православном миросозерцании	188
<i>К. Г. Красухин</i> . «Не послушествуй ложна на друга своего»: ложь и клятва в Евангельской этике	210

<i>В. А. Матвеевко.</i> Обман и выдумка по-древнерусски	214
<i>Н. В. Гатинская.</i> Из лексикона достоверности: форма <i>въ очю</i> в древнерусских памятниках	229

ПАРОДИЯ И САТИРА В КОНТЕКСТЕ ЯЗЫКОВЫХ ИГР

<i>Л. А. Трахтенберг.</i> Поэтика абсурда в русской рукописной пародии XVII–XVIII вв.	251
<i>М. А. Дмитриовская</i> (Калининград). REAL/LIAR (разрешение «парадокса лжеца» в эстетико-художественной системе В. Набокова-Сирина)	264
<i>М. Ю. Михеев.</i> Кто лжет? Перекличка мотивов рассказа Л. Андреева «Иуда Искарriot» и романа Булгакова «Мастер и Маргарита»	272
<i>С. Н. Туровская</i> (Таллинн). О философском и художественном оправдании лжецов: роман «Мастер и Маргарита»	291
<i>Л. Н. Рягузова</i> (Краснодар). Художественная правда и искусство «индивидуальной магии» в эстетике В. Набокова	302
<i>Л. Г. Панова.</i> Софийный дискурс Александра Блока (на примере «Снежной Девы»)	311
<i>С. В. Шешунова</i> (Дубна). От фантазии к фэнтези	318
<i>А. В. Обухов.</i> Проблема субъекта в дискурсе Новой волны англо-американской фантастики	326

ПРИБЛИЖЕНИЕ К ИСТИНЕ И ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НЕЕ

<i>В. И. Шаховский, С. С. Тахтарова</i> (Волгоград). Мейотические формы отклонения от истины	334
<i>С. Дённингхаус</i> (Базель). Между ложью и иллюзией: способы дезориентации со стороны лингвистической семантики	344
<i>Е. Л. Григорьян</i> (Ростов-на-Дону). Уточняющие формулировки и синтаксическая семантика	360
<i>Е. Н. Боровицкая</i> (Луцк). Ложь и варианты ее проявления в дискурсе (социально-прагматический анализ)	367
<i>Н. А. Абиева</i> (Санкт-Петербург). Степень отклонения от истины в электронном дискурсе	378
<i>А. Э. Левицкий</i> (Киев). Приблизительность и ее языковые маркеры	393
<i>Б. Тошович</i> (Грац). Ложные языковые различия	407
<i>О. А. Казакевич.</i> О способах маркирования степени достоверности информации в селькупских, кетских и эвенкийских текстах	416
<i>В. М. Труб</i> (Киев). О разнообразных типах отклонения от истины (шутка, ошибка, сенсорные девиации, умолчание)	426

<i>В. А. Нуриев.</i> Ложь и истина в художественном переводе: наблюдения читателя	442
<i>С. А. Крылов, О. А. Митрофанова.</i> Текст о воображаемом мире как косвенный источник сведений о реальном мире	451

ПРАВДА И ЛОЖЬ В ОБЫДЕННОМ СОЗНАНИИ

<i>Н. Б. Мечковская</i> (Минск). Два взгляда на правду и ложь, или о различиях между языковой картиной мира и обыденным сознанием	456
<i>М. Л. Ковшова.</i> Анализ афористических высказываний (ложь и фантазия в интерпретации студентов)	471
<i>Т. Б. Радбиль</i> (Н. Новгород). Язык как среда порождения аномальных «возможных миров»	481
<i>А. Мустайоки</i> (Хельсинки). Причины и мотивации лжи в свете комментариев рассказчика	494
<i>А. Н. Гладкова.</i> Концепт 'откровенность' в русской и английской языковых картинах мира	502
<i>А. Г. Грек.</i> Об «ирреальной» семантике в символической поэзии (на материале творчества Вяч. Иванова)	515
<i>О. В. Гальчук</i> (Киев). Современность как фикция в поэтическом наследии киевских неоклассиков	531

КОЛЕБЛЮЩАЯСЯ МУДРОСТЬ ФОЛЬКЛОРА

<i>М. В. Ляпон.</i> Истина, уличаемая во лжи	540
<i>Г. И. Берестнев</i> (Калининград). «Сказка — ложь, да в ней намек...»	551
<i>Н. Г. Мед</i> (Санкт-Петербург). Моделирование этической оценки «лживый человек» в испанском языке (в сравнении с другими романскими языками)	559
<i>Е. В. Вельмезова.</i> Проблема истины и лжи в противоположных по смыслу поговорах (на примере дескриптивных vs. прескриптивных русских пословиц)	567
<i>Е. Я. Шмелева.</i> Анекдот и обман — точки соприкосновения	575

ТАК ГДЕ ЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ?

<i>А. Д. Шмелев.</i> Вранье в русской «наивной этике»	583
<i>И. Ф. Рагозина</i> (Дубна). «Если б да кабы...»: Об одном подходе к анализу контрфактических условных предложений	597
<i>М. В. Малинович, Ю. М. Малинович</i> (Иркутск). Семантические константы внутреннего мира человека: кажимость	608

<i>О. П. Ермакова</i> (Калуга). Метафора в отношении к категории кажимости	618
<i>Н. Г. Брагина</i> . «И к былям небылиц без счету прилыгал». О границах между <i>памятью</i> и <i>воображением</i>	624
<i>Ю. П. Князев</i> (Н. Новгород). Реальное <i>sub specie linguisticae</i>	637
<i>О. В. Сахарова</i> (Киев). Театральность: иллюзия или воссоздание реальности?	651
<i>Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев</i> . <i>Льстить</i> : семантическая эволюция и актуальная полисемия	660